В. В. Верещагин

В. В. Верещагин

повести
очерки
воспоминания

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Замечательный русский художник Василий Верещагин (1842–1904) был известен и как оригинальный, даровитый писатель. В книгу вошли избранные литературные произведения Верещагина: повесть «Литератор», очерки, воспоминания, путевые заметки, размышления об искусстве.

Книга снабжена репродукциями верещагинских картин, в ряде случаев с авторскими комментариями, где художник выступает талантливым, эрудированным и объективным исследователем. Многое из литературного наследия Верещагина, подобно его бессмертному художественному наследию, обретает неожиданную свежесть и актуальность для современного читателя.

- Василий Васильевич Верещагин
  - ○
  - ○ «Этот все может!»
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
  - ○ Литератор
  - ○ Федор Викторович Немиров. Мастеровой
  - ○ Очерки, наброски, воспоминания
    - ■ Из рассказов крестьянина-охотника
    - ■ Из путешествий по Закавказскому краю
    - ■ Из путешествия по Средней Азии
    - ■ Дунай
    - ■ И. С. Тургенев
    - ■ Воспоминания детства
  - ○ Обер-Аммергау
  - ○ Реализм
  - ○ О прогрессе в искусстве
  - ○ Иван Николаевич Крамской[118]
  - ○ Наивности
  - ○ Листки из записной книжки
  - ○ Из записной книжки
  - ○ Наполеон I в России в картинах В. В. Верещагина

- Иллюстрации
- Примечания
-
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128

- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172

- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216

- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260

- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304

- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310

Василий Васильевич Верещагин

Повести
Очерки
Воспоминания

В.В.Верещагин

повести
очерки
воспоминания

Москва
«Советская
Россия»
1990

«Этот все может!»

Верещагин слишком живой человек, чтобы нам рассуждать о нем хладнокровно. В нем есть нечто, кроме художника…

И. Н. Крамской

Словосочетание «забытый писатель» стало едва ли не термином. Сколько их, русских талантов, кем-то когда-то почему-то зачисленных в «забытые» и «второстепенные»? Сам механизм «забвения» надо бы изучать и изучать… Но в любом случае «забытый» — это оценка не писателя, а нашего отношения к русской культуре, того особенного отечественного снобизма, который еще Пушкин охарактеризовал грустной фразой: «Мы ленивы и нелюбопытны…»

Нелюбопытны настолько, что не стремимся постичь талант в его цельности и полноте. Никто и никогда не забывал художника Василия Васильевича Верещагина. Его многократно захваливали и обругивали, его могли принимать и не принимать, — но для всех было ясно: его живопись — крупнейшее явление русского искусства. И мало кому известно, что Верещагин был еще и писателем… Литература вовсе не была только эпизодом в этой бурной биографии. Его перу принадлежат 12 отдельных книг, а в них — повести, очерки, воспоминания, путевые заметки, публицистические этюды. Множество статей рассеяно по журнальной и газетной периодике рубежа XIX и XX веков. Сохранились и некоторые стихотворные опыты.

Наше художественное сознание, кажется, успокоилось, зачислив Верещагина в «батальные живописцы». Но любой, соприкоснувшийся с его творчеством, ощущает недостаточность такого представления. Батальные, военные полотна Верещагина наполнены особого рода философией, которая была частью его оригинального мироощущения. Его представление о жизни требовало оригинальных форм ее отражения — форм, включавших в себя и живопись, и литературу. А Верещагин одинаково уверенно чувствовал себя и с кистью, и с пером в руках, постоянно подтверждая ту оценку, которую дал ему старший современник, немецкий художник А. Менцель: «Der kann alles!» — «Этот все может!»

1

Я буду всегда делать то и только то, что сам нахожу хорошим, и так, как сам нахожу это нужным.

В. В. Верещагин.

Биография художника Верещагина — это, собственно, часть его творчества. С юности он привык творить собственную жизнь в соответствии с раз и навсегда выработанными представлениями о добре и зле, о должном и невозможном. М. В. Нестеров назвал его человеком «американизированного» типа. В отношении биографии это действительно так: Верещагин сделал себя сам.

Он родился 14(26) октября 1842 г. в маленьком уездном городе Череповце, в большой семье богатого провинциального помещика. В двухэтажном особняке, где родился Верещагин, сейчас находится его единственный мемориальный музей.

Могилы у него нет. Прославленный художник погиб 31 марта (12 апреля) 1904 г. при взрыве броненосца «Петропавловск», погиб вместе с адмиралом С. О. Макаровым[1].

На склоне лет он выпустил книгу воспоминаний: «Детство и отрочество художника В. В. Верещагина, том I». Второго тома он издать не успел, — а рукопись затерялась… Мало что осталось сегодня от верещагинского Череповца. Воды Рыбинского водохранилища скрыли имение Пертовка, где прошло его детство.

В автобиографии, подготовленной для словаря С. А. Венгерова, Верещагин заметил: «Я учился сначала у матери, потом у гувернера-немца, не из ученых; потом у не посвященного еще в попы, кончившего курс семинариста. Затем в Александровском малолетнем кадетском корпусе и затем в Морском кадетском корпусе, ибо, неизвестно почему, предназначен был в моряки. Богу одному известно, почему именно в моряки: была вакансия, отдали туда же сыновей соседи, приличная служба и тому подобные соображения руководили, вероятно, родителем. Никогда не любил никакой службы, а тем более морской, в которой меня укачивало…»[2]

Несмотря на значительные трудности в учении, на нелюбовь к точным наукам, Верещагин кончил корпус первым гардемарином. Быть первым во всем становилось его потребностью, чертой характера…

Тяга к изобразительному искусству, проявившаяся еще в детстве, в корпусе приобрела черты призвания. Способности юноши заметил и поддержал один из учителей, и на старших курсах ему выделили даже отдельную комнату для занятий рисованием. Потом были посещения Рисовальной школы, знакомства с известными художниками. И в конце концов выпущенный из корпуса морской офицер должен был выбирать: служба или искусство. Предложенный ему компромисс — совмещать службу с занятиями в Академии художеств — мог бы удовлетворить любого другого. Кого угодно — но не Верещагина.

Верещагин решал однажды и навсегда. Рано открывшейся чертой его характера стала независимость. Он никогда и никому не позволял ничего решать за себя.

В 1860 году, восемнадцатилетним юношей, Верещагин отказался от блестяще открывавшейся служебной карьеры и, преодолев раздраженное несогласие родных и недоумение начальства, поступил на казенный кошт в Академию художеств. Отец не захотел помогать непослушному отпрыску: «Делай как знаешь, — заявил он, — не маленький. Только на меня не рассчитывай, я тебе в этом не помощник, ничего не дам».

Череповец. Вид на южную часть города

Это ощущение — «не маленький» — осталось с тех пор у Верещагина на всю жизнь. Он не переносил неопределенности. Жизнь без цели для него была немыслима, а однажды поставленная им самим задача превращалась в человеческий и

художественный долг. Всю жизнь он оставался человеком долга — обязанности перед собой и перед людьми. Ни перед кем не считал нужным отчитываться — был то что называется «сам большой»… Болезненно реагировал на любую, пусть даже дружескую, попытку вмешаться в его жизненные и творческие планы…

Начало художественного пути Верещагина совпало с первыми путешествиями: в Париж, на Кавказ… «Много ездил, — записал он в автобиографии, — рано понял, что железные дороги и пароходы на то и созданы, чтобы ими пользоваться… Путешествие признаю великою школою — много видел и слышал и имею сказать много. Говорил, рисовал и писал с искренним намерением поведать другим то, что узнал сам».

Верещагин был «очарованным странником», — путешественником, завороженным многообразием жизни. Не «охота к перемене мест», не жажда острых впечатлений и даже не страсть к экзотике заставляли художника устремляться то в Туркестан, то в Индию, то в Америку. Он считал себя обязанным познать мир во всех его проявлениях. Постигать, прикоснувшись, изучив на месте, не доверяя свидетельствам третьих лиц.

«Много передумал и пережил, — продолжает Верещагин, — за одинокие странствования во всех, кроме Австралии, частях света. Собрал массу заметок, до сих пор не разобранных, и еще большее количество костюмов и предметов этнографии, всё в намерении писать картины, издавать книги и проч. Перечень всего написанного решительно не могу представить».

Семья Верещагиных

В. В. Верещагин в период окончания Морского кадетского корпуса

Не сразу обрел себя Верещагин как художник. Но уже в первых вещах чувствуется неудержимый интерес к человеку, как он есть, — многообразному во внешнем облике, в быту, обычаях и единому в своей человеческой сути. Внешне яркий облик его первых «незамечательных» персонажей — абхазца, цыгана, калмыка, нищего грека — лишь подчеркивал проявление в необычном общечеловеческого. Так, жив человек и в причудливых одеяниях духоборца, и в пестрых лохмотьях самаркандского дервиша, и даже «в ужасающем счастье лишенных всего в мире среднеазиатских париев» (В. Стасов о картине «Опиумоеды»).

Но все сильнее влечет художника образ человека, оказавшегося «на пределе» душевного и физического бытия, в критической ситуации «Режущийся» мусульманин-шиит, скопцы и молокане, изможденный бурлак, тянущий вечную бессмысленную лямку, смертельно раненный солдат… В 1867 году Верещагин

попал в Туркестан и стал свидетелем и участником жесточайшей войны. С тех пор человек на войне становится главным персонажем его картин, через несколько лет принесших их создателю всероссийский успех и мировое признание.

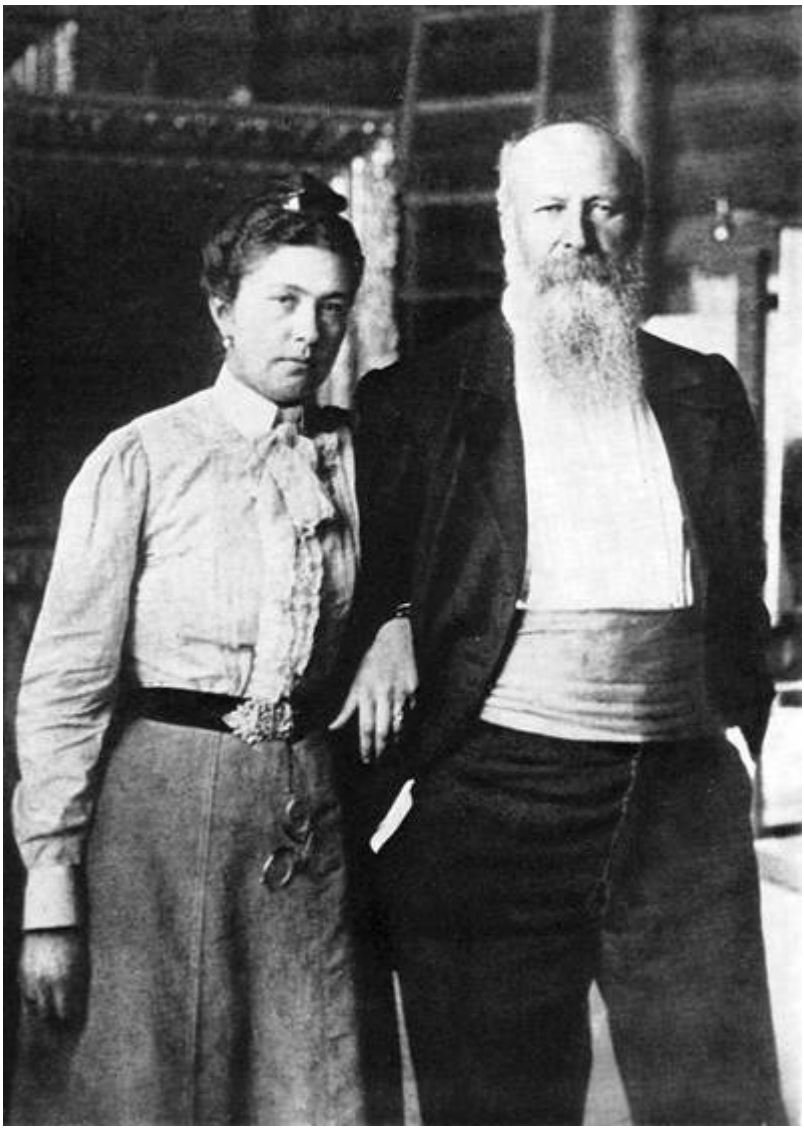
Грандиозность замысла требовала особых форм исполнения. С 1871 года, в мюнхенской мастерской, оставшейся после его умершего друга, художника Горшельта, Верещагин начинает работу над «туркестанским» циклом картин. Циклом, строившимся на иных, не живописных, принципах. Уже сами названия полотен — «Выслеживают», «Окружили! Преследуют!», «Т-сс! Пусть войдут!», «Вошли!», «Представляют трофеи», «Торжествуют» — как главы романа…

Дом-музей Верещагиных в г. Череповце

Позже, разъясняя принципы создания этого цикла, Верещагин писал Стасову: «…весь ряд военных сцен, под общим названием „Варвары“, скорее может быть назван эпической поэмой… Для лучшей передачи своих впечатлений художник не побоялся… развить один и тот же сюжет во многих картинах, дать несколько непрерывно один за другим следующих моментов одного события (более или менее идеального — это все равно). …Присяжные критики могут сказать, что художник переступил этим предел задачи и средства живописца; но вернее кажется, что он в этом случае выступил новатором, только перешагнул через рутинное,

ничем в сущности не оправдываемое правило: „*художнику живописцу довольствоваться моментом и предоставить дальнейшее развитие этого момента литературе*“… Правила эти, — господствующие еще со времени Лессинга и комп, и давно ожидающие погребения»[3].

Так в сознании художника живопись сближается с литературой.



Л. В. и В. В. Верещагины. 1900 г.

Семья В. В. Верещагина

В. В. Верещагин. 1880 г.

2

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Н. А. Заболоцкий

Художник, отложивший кисти и взявшийся за перо… Все решительнее этот образ входит в наши представления о русской культуре. Николай Рерих, Ефим Честняков, Павел Радимов…

Впрочем, в русской культуре союз живописного и словесного воздействия существовал издавна. Взять хотя бы лубочные картинки… Павел Федотов считал необходимым сопроводить свою первую «жанровую» картину «Сватовство майора» обширной «Рацеей…» — подробным стихотворным разъяснением сути происходящего…

Во времена Верещагина, однако, такое соединение признавалось скорее неестественным. Илья Репин, вспоминая свои парижские впечатления, замечал: «…там слово *литератор* в кругу живописцев считается оскорбительным: им клеймят художника, не понимающего пластического смысла форм, красоты глубоких, интересных сочетаний тонов. *Литератор* — это кличка пишущего сенсационные картины на гражданские мотивы»[4].

Верещагин был не меньше, чем Репин, знаком с нравами парижских художников, — но не преклонял головы под ярмо общественных мнений. Бравируя независимостью, он назвал одну из первых книг своих именно этой «кличкой»: «Литератор».

Художнику Верещагину явно не хватает только живописного эффекта.

Смертельно раненный

Вот картина «Смертельно раненный» (1873), изображающая момент гибели русского солдата, простреленного неприятельской пулей. Предсмертная конвульсия. Судорожный жест. Потухающие глаза. На раме, вверху, авторская надпись: «Ой убили, братцы… убили… ой смерть моя пришла!..» Что это? Последний крик человека? Или — последняя мысль? Совершенно ясно, что эта фраза, знаменующая наступившую границу бытия и небытия, нужна не для того, чтобы объяснить изображенный на картине

момент. Это — факт собственно поэтического восприятия, усиливающего художественное впечатление от целого.

Вот знаменитый «Апофеоз войны» (1871–1872): гора человеческих черепов посреди опустошения. На раме — надпись: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим». Именно это посвящение, в котором литературно отточенным оказывается буквально каждое слово, поднимает изображенное на полотне до символа. Не случайно скульптор Михаил Антокольский сравнивал эти верещагинские надписи со знаменитой подписью Микеланджело на скульптуре «Ночь»:

> Молчи, прошу, не смей меня будить.
> О, в этот век преступный и постыдный
> Не жить, не чувствовать — удел завидный…
> Отрадно спать, отрадно камнем быть.
>
> *(Перевод Ф. И. Тютчева)*

Апофеоз войны

В этом сосуществовании зрительных и словесных образов обогащались те и другие. Верещагин-литератор становился не дополнением к Верещагину-живописцу (как это было, например, у Федотова), а тем, что по-латыни называется vice versa — «обратная чреда».

Он гордился, что во Франции его всерьез именовали «художником-философом», имея в виду особенный размах живописных серий. А свои литературные труды характеризовал как «философские заметки из путешествий и войн». И картины, и очерки ставились им в единый философский ряд осмысления мира и человека посредством искусства.

К литературному творчеству Верещагин приступил тогда же, когда решился стать живописцем. В автобиографии он вспоминает, как в начале 60-х годов попытался напечататься в петербургской газете «Голос»: «„Рассказ старого охотника“, впоследствии одобренный И. С. Тургеневым, следовательно, не дурной, был мною снесен, кажется в 1862 г., в эту газету. „Можно узнать, будет ли напечатан мой рассказ?“ — спросил я толстого господина (Бильбасова?), вышедшего ко мне из редакции. „Какой рассказ?“ — „Рассказ старого охотника“. Толстый господин ушел и, воротясь, передал мне мою рукопись со словами: „Извините, это такая гадость…“ Я давай бог ноги…»

Первая книга вышла только через 20 лет. Ее открывал именно этот, отвергнутый некогда, рассказ.

«…Прежде оленей много было; нынче неизвестно для чего не стало…» — так он начинается. Читатель погружается в нехитрый, но особенный и очень цельный мир крестьянина-охотника. И не охотника «вообще» — а непременно конкретного представителя северного российского крестьянства — «Новгородской губернии, Череповецкого уезда» (это подчеркнуто уже в подзаголовке).

Все повествование — рассказ «от лица» крестьянина-охотника. Звучит живая, самобытная и, кажется, лишенная всякой литературной обработки речь. И, может быть, именно поэтому она, эта речь, пленяет своей глубинной логичностью, меткой образностью и какой-то почти вещественной «художнической» осязаемостью: «А то еще с оленем шутка у меня была: лесом я шел, вижу я, лежит; ён было стал вставать — я с руки хлоп, в шею попал, а ён и пал… ну, как пал, я лыжи бросил, побег, ножик выхватил да горло перерезал; пока стал ружье заряжать, запыжил, и пули еще не пустил, — а ён как вскочит, да как побежит…»

Внешне весь очерк предстает единым монологом, некоей фольклорной записью, где нет и не может быть образа «записывающего». Но этот образ присутствует. И «зримо» — в небольших авторских ремарках типа: «Кажется, старик преувеличивает опасность встречи с медведем». И «незримо»: автор умело направляет повествование, дает возможность крестьянину воссоздать свой мир целостным и всесторонним. С умелой подачи этого «незримого» собеседника перед читателем предстает и опасный промысел охотника, и повадки

многочисленного зверья, и пестрая, враждебная человеку, затейливая лесная «нечисть», и сдержанная, несознаваемая — потому что и нет в том нужды — нежность и любовь ко всему живому в окружающем мире. Классичен финал очерка, где по-гоголевски вкрадывается и занимает свое место в человеческом бытии сила зла, намечается своеобразная демонология крестьянского мира. Этот мир в тяжелой жизни выстрадал свое видение действительности и потому не смущается звучащими «за кадром» сомнениями слушателя: «Али не знаете этого? Вот поживете да состаритесь, так узнаете и не это еще…»

Первую книгу (вышедшую в 1883 году) Верещагин назвал «Очерки, наброски, воспоминания». Она была, по свидетельству самого автора, «наполовину урезана цензурой»[5], но даже и в урезанном виде отразила серьезнейший замысел Верещагина. Сложная художественная ткань книги определяется уже в названии. Это, собственно, и не название, а просто содержание. Тут — и очерк, и моментальный «набросок» пером, и многообразные воспоминания. И, конечно, рисунки — неотъемлемая составная часть всех верещагинских книг.

3

Не хватит силы все понять,
Не хватит силы все увидеть.
Довольно мне — себя познать
И всех людей — не ненавидеть!

В. В. Верещагин

Очень неоднозначной рисуется в мемуарах фигура Верещагина. Вот суждение М. В. Нестерова: «Личность В. В. Верещагина не имела в русском искусстве предшественников. Его характер, ум, техника в жизни и искусстве были не наши. Они были, быть может, столько же верещагинские, сколько, сказал бы я, американизированные. Приемы отношения к людям были далеко не мирного характера, — были наступательные, боевые»[6].

Суждение неточное — хотя бы в том, что касается «нерусскости» художника. Почему, собственно, «нерусскими» оказываются такие черты, как самоуважение, деловая хватка, страсть к путешествиям? Самобытность, энергия, неутомимая жажда новых впечатлений, огромная, поразительная работоспособность — все это было у Верещагина как раз исконно русскими чертами.

Верещагин-путешественник сопоставим с такими замечательными русскими людьми, как Афанасий Никитин или Иакинф Бичурин. И не только потому, что они тоже увлекались «экзотическими» странами и еще не познанными явлениями. Есть и нечто другое, что сближает эти легендарные личности, — терпимость. Терпимость к необычным, кажущимся извращенными и жестокими, нравам далеких народов. Философски вдумчивый, тактичный подход к непохожему и странному. Недаром Русь в старину славилась не только своей мощью, но и умением найти общий язык с соседями, тонкой и продуманной дипломатией. Недаром Верещагин, вспыльчивый, неуживчивый и действительно «наступательный» в домашней обстановке, часто раздражающийся из-за пустяков, — в вещах серьезных был очень терпим и тактичен. И при этом никогда — ни ради дипломатии, ни ради какой-либо корысти — не допускал ни малейшего ущемления собственного достоинства.

Автор «Очерков, набросков, воспоминаний» смело переносит повествование из Новгородской губернии в края, для русского читателя неведомые, — Закавказье, Средняя Азия… И картина, и

название полны экзотики — «Религиозное празднество мусульман-шиитов».

В. В. Верещагин. 1878 г.

Грозное, кровавое зрелище религиозной мистерии.

Подробное описание, почти лишенное авторских замечаний, комментариев, оценок, — почти бесстрастное перечисление порядка шествия, организации, ритуалов… Но пугающая картина «режущихся» и кающихся другими способами не может скрыть от наметанного глаза художника и других сторон действа — комических. Нарушая высокоторжественную атмосферу заключительного дня представления, появляется… полковая музыка. Для театрализованного показа врагов имама приглашены русские казаки, которые, по предварительному соглашению, должны по ходу действия в страхе бежать… Но увлеклись, забыли свою роль — и вот уж теснят «молодого имама»! Межнациональные отношения оказываются представлены совершенно необычно: недавний враг, которого приглашают играть роль врага «театрального», нарушает ход представления и в наказание выводится из образованного зрителями круга…

И снова — экзотика. Закавказский край стал местом обитания многочисленных русских религиозных сект: духоборцев, молокан, субботников, скопцов. И вновь удивительный такт проявляет путешественник, общающийся с этими, отчужденными от своего народа людьми. Все интересует его: быт, нравы, традиции, образ жизни, особенности вероисповедания и отправления культа… Да, признает Верещагин, они неграмотны. Да, образ их жизни наивен, культура богослужения граничит с дикостью. Но — «те же духоборцы, которые славят бога и свою веру по странным и подчас диким псалмам, живут честно, разумно и зажиточно». Он умеет увидеть главное — и быть терпимым к остальному. Интерес его всегда глубоко человечен и совершенно лишен пренебрежительного высокомерия.

Однако, как бы ни был «снисходителен» художник к чуждым нравам, его не может не радовать, например, упадок работорговли в Средней Азии. Столкновение психологии рабовладения — и европейской культуры, все глубже проникающей в устои средневекового Востока, — также получает недвусмысленную оценку повествователя. Возникают на страницах очерков и мальчик-«батча», и корпорация нищих с ее уставом и ритуалом, и призрачные фигуры живых трупов — курильщиков опиума… Внимательный наблюдатель-художник видит, что, как бы ни были разительны перемены, внесенные «Западом» в устои «дремлющего Востока», взаимоотношения двух культур не исчерпаются победой «Запада», и побежденный может нанести страшную рану победителю. Пророческими оказались верещагинские слова: «Едва ли можно сомневаться, что в более или менее продолжительном времени опиум войдет в употребление и в Европе; за табаком, за теми приемами

наркотиков, которые поглощаются теперь в табаке, опиум естественно и неизбежно стоит на очереди».

Очерки, внешне разнородные, оказываются умело связаны в некое единство. Тема путешествий естественно приводится к теме военной. Завершая описание поездки по Средней Азии, автор представляет восточный базар, из пестроты и шума которого слышится голос войны: «Из новостей, ходивших на базаре, была одна крупная: именно рассказывали, что эмир бухарский в Самарканде и готовится воевать с Россиею. Я посмеялся тогда вздору, каким показалось мне это известие, но оно оказалось вскоре если не совсем справедливым, то близким к тому».

«Дунай. 1877». Генерал М. Д. Скобелев-младший. Отряд Скобелева-отца. Ожидание начала военных действий. Будни армии. Обстрел. Художник, наблюдающий падение снарядов в воду и залезающий для этого в центр «мишени»: «Когда показывался дымок, делалось немного жутко, думалось: „Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек“». Зачем, кажется, художнику такое вот непосредственное наблюдение взрыва снаряда, — неужели нельзя, увидев издали, вообразить или заменить чем-нибудь? Откуда это таинственное предощущение собственной гибели — гибели в воде, на море, исчезновения в пучине? Только вместо снаряда — мина…

Кабинет В. В. Верещагина (отца художника). Дом-

Операция по установке мин на миноноске «Шутка» под командованием лейтенанта Н. Л. Скрыдлова. Вновь — тяжелый и неблагодарный труд, необходимый, хотя и безрезультатный, риск, тяжелое ранение — и тут же лукавая усмешка. Скрыдлов и Верещагин ранены; их предлагают перенести из дома, попавшего под обстрел. «Скрыдлов согласился, но я уперся, объяснивши, как мне и теперь кажется, не без резона, что в крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет». Можно было бы принять эту сцену за нарочитую: а не рисуется ли автор своей безоглядной храбростью? Но в том-то и дело, что, вовсе не чуждый страха и мыслей о смерти, Верещагин, даже под угрозой гибели, оставался непреклонен в своих, странных для окружающих, «резонах»…

С Дуная — в Париж, к другой, свершившейся, смерти. Верещагин подробно пишет о своем знакомстве с И. С. Тургеневым, о последних месяцах, днях и часах великого русского писателя…

Завершается книга возвращением на родину, в Череповец. Возвращение в детство, нежные воспоминания о няньке — Анне Ларионовне Потайкиной.

Книга оказывается очень цельной композиционно: от неуловимых, порой ассоциативных, связей отдельных частей до кольцевого обрамления всего мозаичного повествования. Это как бы жизненный круг художника, круг его исканий, мыслей, странствий и обретений…

4

Кто-то кистью, кто-то мыслью
Измерял фарватер Леты.
Кто-то честью, кто-то жизнью
Расплатился за сюжеты.

А. Дольский

Не связанный званием профессионального писателя, Верещагин чувствовал себя в литературе свободно и непринужденно. Его раскованность и неподотчетность традиции, вытекавшие как из «непрофессионализма», так и из особенного склада характера, привели к целому ряду серьезных литературных открытий. Это прежде всего очень своеобразное, в какой-то степени уникальное сочетание факта и его художественного осмысления, необычный автобиографизм.

Повесть «Литератор» вышла в свет в 1894 году, через 10 лет после «Очерков, набросков, воспоминаний», и так же, как и первая книга, сильно пострадала от цензуры. Содержание ее — очередной круг жизни художника. Русско-турецкая война, ее перипетии, которые легли в основу сюжета, — это одновременно и война вообще, очередная страница кровавой мировой трагедии.

«Художник-философ», Верещагин всегда отталкивался от конкретного факта — и это следование факту делало его философию необычной. Он тонко чувствовал многозначность всякого «мелкого» эпизода или события — и всегда отталкивался только от того, что видел собственными глазами. При этом подчас мельчайшая деталь вырастала до символа…

«Мне как-то обидно было, — писал Верещагин о Балканском цикле, — когда называли эти картины батальными — что за академическая кличка! — картины русской жизни, русской истории…» Об этой же широте верещагинского «факта» писал и В. В. Стасов, сравнивая художника со Львом Толстым: «Оба они уже давно покончили с Ахиллесами и Агамемнонами… оба они давно не веруют в идеальности битв и неумолимо рисуют всю их оборотную сторону, потому что видели ее собственными глазами и потрогали собственными руками. Изображение правды, и только одной неподкрашенной правды — самое высочайшее достоинство их обоих»[7].

В повести «Литератор» причудливо переплелись автобиографизм и вымысел, факты жизни Верещагина — и судьбы многих людей, объединенные в произведении. Кроме того,

повесть неотделима от картин Верещагина «балканского» цикла: она продолжает и поясняет картины «На Шипке все спокойно», «Под Плевной», «Перед атакой»…

Автобиографизм повести имеет сложную природу. Ее герой, литератор Верховцев, во многом напоминает художника Василия Верещагина. Но есть в этом образе и черты младшего брата — Сергея, который погиб при третьем штурме Плевны. Именно Сергей был адъютантом-волонтером у Скобелева, прославился решимостью и отвагой при выполнении сложнейших поручений генерала, любившего риск и дерзость… Однако военная биография самого художника проступает в этом облике не менее явственно: подчеркивается внешность — гражданская одежда, Георгиевский крест, не по уставу прикрепленный в петлице. И сама не терпящая уставности и проформы натура — чисто авторская. Как и его герой, Верещагин был ранен в бедро, рана так же гноилась и угрожала гангреной. Подобно Верховцеву, Верещагин пристрастился к большим дозам морфия — единственного средства хоть на время снять боль — и точно так же мужественно отказался от наркотика, как только организм немного окреп…

Перечень подобных перекличек биографии автора и его героя можно было бы продолжить. Но еще более важным здесь оказывается их духовное сближение. Верховцев наделяется авторским видением мира — пренебрежением ко всяким условностям и формальностям и почти фантастической верностью своим принципам. Именно принципы заставляют Верховцева (и Верещагина!) побеждать страх и предчувствие надвигающейся смерти. Подобно автору, герой остается до конца верен реальности в искусстве — и за утверждение единства искусства и действительности он расплачивается собственной жизнью.

Логики поступков Верховцева не понять, если не учитывать характер самого Верещагина. На первом месте у них — долг. Долг художника и человека, взятый на себя однажды: добровольно и навсегда. В этом суть самобытности Верещагина: он никому не позволял навязывать себе обязанности, он всю жизнь делал только то, что считал нужным. И делал, как и герой его, до конца, не считаясь ни с людским мнением, ни с опасностями, не отступая даже перед смертью.

Здесь-то и возникает не сформулированная, но мощно звучащая в повести проблема сути и формы. Для Верещагина они непримиримы: подлинный Литератор живет в центре боя, а отчет о ходе военных действий пишет другой, находящийся в безопасности. Художник Верещагин, создававший бессмертную

летопись войны за освобождение Болгарии, — на переднем крае. Но ведь был и официально признанный придворный «баталист» — полузабытый ныне П. О. Ковалевский, предпочитавший иные сюжеты для своих картин… И не Ковалевский в этом виноват.

Для Верещагина важна суть человека — суть его поступка и его призвания. Герой и автор «Литератора» — люди свободные. Они провозглашают, как высшую степень личной свободы, право и способность самим выбирать свою судьбу — не на день, не на год, а на всю жизнь…

Каждый раз, отправляясь на войну или в очередное далекое путешествие, Верещагин писал завещание. Он боялся, что не вернется. И однажды не вернулся — так же, как и его герой, Литератор.

В 1883 году Стасов послал Льву Толстому рукопись книги воспоминаний Верещагина о войне — «На войне в Азии и Европе». Толстой отвечал: «Вы не ошиблись о Верещагине. Это именно тот художественный историк войны, которого не было — поэтический и правдивый. Очень бы желал, чтобы книга эта была напечатана»[8].

Но это — Толстой! Книги художника Верещагина лишь немногими были восприняты как факт большой и самобытной литературы. Для читающей же публики они пришлись «не ко времени», а сам Верещагин был слишком одинок и независим, чтобы стать представителем какого бы то ни было «течения» или «направления»… Тяготился ли он этим? Вероятно, да. Поэтому столь ярким было желание прокомментировать, разъяснить собственные «философские заметки из путешествий и войн»…

С. В. Верещагин. 1877 г.

Была в этом постоянном желании и особенная гордость Литератора и Художника, который не уговаривает обратить на него внимание, а требует понимания, точного и глубокого, того, что им создано. А значит — и понимания его самого. «Свидетельствовать о мире можно, только раскрывая себя», — заметил французский писатель Ж.-М. Ле Клезио. Раскрывал себя и Верещагин. Способ его самораскрытия — отдать выстраданное…

5

Передо мною, как перед художником, Война, и ее я бью, сколько у меня есть сил…

В. В. Верещагин

Это высказывание Верещагина (из письма к П. М. Третьякову) достаточно известно. Менее известно продолжение: «Вас же, очевидно, занимает не столько вообще *мировая идея войны*, сколько ее частности…»[9] Верещагин подчеркивает: не конкретные факты побед и поражений, — а «мировая идея войны». Из другого письма: «…передо мною ясно, во всеоружии (говоря книжно) стоит ужасный призрак войны, с которым, при всем моем желании схватиться, я боюсь не совладать, к которому, прямо сказать, не знаю, как подступиться, с которой стороны его подрыть, укусить, ужалить…»[10]. Конечно, здесь не до патриотических утешений.

Война представала перед Верещагиным как страшная явь непрерывающейся человеческой трагедии, как феномен истории человечества, ужасная, но постоянная сторона человеческого бытия. Война, в представлении Верещагина, постоянно следует за человеком, то приближаясь вплотную, то отходя в отдаленные страны, то высверкивая сквозь дали истории.

Война и завоеватель — две стороны медали. Верещагина особенно интересуют фигуры великих завоевателей, окруженных ореолом славы и крови: от средневекового Тамерлана («Апофеоз войны») до недавнего Наполеона I… С 1887 по 1904 год художник работает над огромной серией картин, посвященной событиям Отечественной войны 1812 года.

Замысел его уже с самого начала был по-верещагински нетрадиционным. Задумав «показать в картинах двенадцатого года великий национальный дух русского народа», он решает эту задачу не с позиций прославления «успехов русского оружия», а — глазами захватчика, Наполеона Бонапарта. Авторское название этой серии картин — «Наполеон I в России». Она достаточно известна, многие из полотен хрестоматийны: «Перед Москвой — в ожидании депутации бояр», «На большой дороге — отступление, бегство», «Не замай — дай подойти!»…

Менее известны две литературные работы, с этой серией связанные. Одна — монография «Наполеон I в России. 1812» (1895), демонстрирующая детальное изучение художником всех

русских, французских и английских источников. Другая — небольшой каталог, содержащий пояснения к уже созданным картинам (1899).

Подобные каталоги Верещагин писал уже с 1874 года, со времени первой выставки картин «туркестанского» цикла. Это был особый жанр, который может быть определен как развернутое рассуждение художника перед своими созданиями. Это — не объяснение картин, это — словесная вариация на тот или иной живописный «мотив». Стремясь в своих сериях к сюжетности, к эпическому рассказу, Верещагин естественно дополнял его «сюжетом» каталога. Что такое Наполеон? Почему он вступил с войной в Россию? Каковы были потери русской и французской армий при Бородине? Кто виновен в пожаре Москвы? Как был одет Наполеон во время наступивших морозов?..

Последний вопрос — далеко не праздный. Наше мифологизированное сознание привыкло представлять Героя вне конкретного пространства: «На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук…» Таковым и представал Наполеон посреди российских снегов в знаменитых картинах француза Мейсонье… Верещагин провел детальные изыскания (нашел даже набросок, сделанный спутником Бонапарта, генералом Лежёном) и доказал, что великий полководец во время мороза «преисправно кутался в длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги».

Казалось бы, мелочь. Но и эта мелочь, отразившаяся и в картинах, и в каталоге, возводит эпичность замысла художника до символического значения. Текст и картины сливаются в единое полотно минувшей войны. Цифры, факты, фрагменты воспоминаний… Они служат одному — постижению истины в конкретных событиях. Нет Героя. Нет Гения. Нет Полубога. Правда не допускает условности: она должна быть точной.

В. В. Верещагин. 1885 г.

Казалось бы, мелочь. Разве не было примеров более ярких и значительных? Были, конечно, — но не для Верещагина. Так уж

был устроен его взгляд на мир, что ложь для этого взгляда не распределялась по принципу: «больше — меньше». Ложь в детали так же преступна, как и ложь в идее. Герой, щеголяющий посреди мороза в сером сюртуке, был равнозначен Полубогу, Гению, оставленному судьбой и людьми… А верещагинский Наполеон в шубе и меховой шапке трудно отличим от окружающих. Он — вождь. Но вместе с тем он — часть некоего единства, пришедшего грабить и убивать, жечь и кощунствовать… Вот она — «мировая идея войны».

Подлинный художник способен видеть невидимое — судьбу своего героя. Судьба Наполеона переплелась с судьбой безвестного русского мужика из картины «Не замай — дай подойти!». В каталоге он назван: это староста Семен Архипович. Именно его, схваченного «с оружием в руках», Бонапарт приказал расстрелять. А на картине, стоящей рядом, — «В штыки! Ура! Ура!» — изображен среди наступающих его сын Иван, готовый отомстить за смерть отца…

Идея ложного «величия» опять-таки сталкивается с философским представлением Верещагина о войне. Война — это страшнейшее, но реально существующее проявление деятельности человека. Это гибельный, порочный, но постоянно продолжающийся способ человеческих отношений. Поэтому он требует объяснения, точного и бескомпромиссного приговора. «Разве война, — пишет Верещагин, — имеет две стороны: одну, приятную, привлекательную, и другую, некрасивую и отталкивающую? Существует лишь *одна* война, во время которой стараются заставить врага как можно больше потерять людей убитыми, ранеными и пленными и во время которой сильный бьет слабого до тех пор, пока слабый не запросит пощады». Последнее, впрочем, — как показывает Верещагин — относится только к воюющим государствам. Человек на войне часто лишен права просить пощады. А еще чаще лишен права быть пощаженным…

6

Верещагин в высокой степени грандиозное явление в нашей жизни. Это государственный ум, он гражданин-деятель. И как гения, сверхчеловека, его невозможно всецело отнести к какой-нибудь определенной специальности.

И. Е. Репин

К концу XIX века имя Верещагина становится популярным не только в России, но и во всем мире. Кроме Петербурга, Москвы, Одессы, выставки его картин с блистательным успехом прошли в Лондоне, Париже, Вене, Берлине, Дрездене, Гамбурге, Брюсселе, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Бреславле, Кенигсберге, Праге, Ливерпуле, Стокгольме, Копенгагене, Амстердаме и Нью-Йорке.

Работоспособность художника была поразительна. Огромный «туркестанский» цикл картин был написан за три года (в Мюнхене); «индийские» полотна — за полтора года (в Париже); серия картин о русско-турецкой войне создавалась в течение двух с половиной лет (в местечке Мезон-Лаффит, под Парижем). В 1890 году он поселился под Москвой (в деревне Нижние Котлы), и работа художника как будто замедлилась. И в то же время резко возрастает его литературная активность. Одна за другой выходят его книги (в 1894–1895 годах — сразу шесть отдельных изданий!), журнал «Русская старина» из номера в номер печатает его воспоминания, газета «Русские ведомости» — цикл «Листков из записной книжки». В «Новостях и биржевой газете» по 2–3 раза в месяц появляются его заметки. Журнал «Искусство и художественная промышленность» в это же самое время ежемесячно публикует серию его очерков об Америке…

Похоже, к концу жизни Верещагин-писатель, наконец, обрел свой стиль, создал свой жанр.

Не роман, не повесть, не очерк, даже не мемуары. Избранная форма отнюдь не традиционна, отчасти даже не совсем литературно-художественна — но зато вполне отвечает исканиям автора.

В 1895 году выходит книга Верещагина с программным названием: «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей». Первая часть этого названия — «Иллюстрированные автобиографии…» — раскрывает метод

соединения средств различных искусств. Вторая часть — это провозглашение равноправия для художника жизненного материала: «незамечательный» не значит не замеченный художником; для художника эти простые русские люди оказываются не менее интересны, чем персонажи его картин о войне 1812 года.

Верещагин как бы сливает воедино два идущих параллельно, но никогда ранее не пересекавшихся процесса — создание портрета и рассказ позирующего, беседа художника с тем, чей облик он запечатлевает на полотне. Рассказ «модели» — не комментарий к картине. Он — именно автобиография, развернутая предыстория портрета, его жизненная и психологическая мотивация. Портрет и автобиография, сливаясь и дополняя друг друга, рождают очень цельное конкретное представление о человеке. Невозможно разобрать, картина ли является иллюстрацией к автобиографии, или наоборот — автобиография иллюстрирует картину?..

Стоит вглядеться в черты лица, вчитаться в немудреный рассказ «незамечательного человека», как понимаешь, что этот эпитет — не что иное, как авторский вызов падкой на внешние эффекты публике. Каждый персонаж оказывается поистине замечателен, совершенно оригинален и в то же время тесно связан с другими — связан внутренне, единством своего национального видения мира. Так создается яркий и глубокий образ русского человека.

Следуя своим путем философско-эстетического познания мира — через деталь, через факт, через житейскую конкретность, — Верещагин видел смысл деятельности художника в том, чтобы прояснить изначально заложенную в каждой частности, но не всем очевидную, мощь обобщения, символа.

Природа другого жанра — «Листков из записной книжки» — гораздо более «литературна». При чтении их на память прежде всего приходит «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. Как и Достоевский, Верещагин непринужденно соединяет лирический эскиз с замечаниями на злобу дня. Он так же прямо и откровенно личностен, так же честно раскрывает свою позицию художника и гражданина. Да и движет обоими близкое чувство — ответственность за будущее мира и человека. «Красота спасет мир!» — воскликнул Достоевский. «Искусство должно и будет защищать общество», — продолжил Верещагин.

Основной признак жанра выражен уже в заглавии: «записная книжка» предполагает калейдоскопичность сюжетов и некоторую непредсказуемость, хаотичность повествования. Критический

разбор знаменитых картин Брюллова, Иванова, Сурикова по законам жанра легко переходит в воспоминания об Александре Дюма-сыне. А прекрасно организованная пожарная служба в Америке по сложной ассоциации вызывает мысли о труднодоступности тибетских монастырей. От романтических свиданий таинственной незнакомки и великолепного моряка — к критике идеи о возможности протектората России над Тибетом. От поварского искусства — к повадкам различных животных…

Пестрота и хаотичность? Конечно, — разве не так же пестра и не так же внешне хаотична сама жизнь, модель которой и создает Верещагин в своих «Листках…». Эта модель подвижна, опираясь на прошлое и настоящее, она устремлена в будущее. Верещагин всегда был трезв в суждениях и самооценках, он не претендовал на их окончательность и безапелляционность. Находясь более чем в напряженных отношениях с новым поколением художников, с представителями разнообразных модернистских течений, он допускал возможность широкого распространения их взглядов на искусство в будущем: «Пожелаем нарождающейся школе, — писал он, — столько же терпения и настойчивости в труде, сколько проявили реалисты во всех своих манифестациях в науке, литературе и искусстве, прежде чем добились своего теперешнего положения.

Пока в работах юных школ недостает связи, усидчивости, но это только пока, и можно надеяться, что дружными усилиями молодых талантов нового направления выработаются взгляды и понятия, которые составят серьезный вклад в сокровищницу человеческого духа».

И далее: «…весьма вероятно, что к середине XX столетия нас зачислят в разряд старых колпаков, идеалистов, а декадентские потуги конца нынешнего века выработаются в связное, стройное целое…

Говорят, что слепой сказал: увидим! — этим слепым будем мы — наверное, не увидим!»

Ты, живописец, берешь только облик вещей, но не в силах так написать, чтоб могли краски твои зазвучать.

Лукиан

Механизм «забвения» в искусстве не изучен, так же как и механизм «возвращения». Художник, если это настоящий художник, создал свой мир, который рано или поздно предстает перед людьми, поражает их своей цельностью и страстностью.

Верещагинскому миру еще предстоит явиться — явиться во всем многообразии красок, искренности боли за человечество, непреклонности в выполнении своего долга. Литература и живопись — две стороны этого единого мира. Разъединить их, не разрушив целое, нельзя. Понять их можно лишь в единстве.

Мы часто вспоминаем слова Пушкина о том, что писателя следует судить по законам, им самим над собою признанным. Но не всегда понимаем, что писатель не только творит, но и живет по законам, созданным им самим. Живет и гибнет.

Не раз и не два предсказывал Верещагин свою гибель. Он осознавал ее страшную логичность и неотвратимость. Но и в этом, взятом на себя, праве выбора своего конца — великая свобода великого человека.

Всю жизнь сражавшийся с предвзятостью и стереотипами, Верещагин в литературе был обречен на забвение как раз в силу этих стереотипов. Созданное им вырывается из любой схемы, разрушает любую классификацию. Оно многообразно и динамично, как сама действительность. Та действительность, которой Верещагин поклонялся, за приближение к которой готов был платить любую цену.

В. Кошелев, А. Чернов

Литератор

(повесть)

I

В Кирилловском, попросту Кирилловке, сегодня суета: молодой барин уезжает на войну.

Господи, как время-то идет! Володя, — тот самый Володя, которого дворня, все, что постарше, бывшие крепостные, нянчила, видела младенцем, мальчиком, подростком, — звенит теперь шпорами, заглядывается на девок в крестьянском хороводе, крутит молодой ус и вот хочет помериться с врагом на Дунае[11]. Юный офицер, еще не совсем оправившись от тяжелой болезни, перенесенной в отпуску, настоял на немедленном отъезде в армию, так как ему совестно было благодушествовать в деревне в то время, как почти все товарищи дрались с турками.

Отъезд назначен на сегодня, и проводы, а с ними и хлопоты в самом разгаре: стряпают, пекут и жарят с раннего утра. Как ни отказывался Владимир, как ни уверял мать, что он все достанет дорогою, потому что до города и железнодорожной станции недалеко, Анна Павловна решила, что он возьмет с собой всего, благо все, наверное, пригодится.

— Право, я весь пропитаюсь маслом и начинками, — шутя жаловался он матери.

— Что ж, пропитайся, зато не испортишь себе желудка, да и товарища будешь продовольствовать.

— Ну, уж товарищ-то так невзыскателен в еде, что может глотать решительно все.

Атмосфера большого Кирилловского двора была до того полна запахами пирогов, печений и жареной дичины, что друзья дома, дворняжки Жучка, Катайка и сам лягавый Бокс не отходили от кухонного крыльца.

Кучера на конюшенной «галдарее» справляли тарантас, и Поликарп, готовившийся ехать с молодым барином, кажется, успел уже «налить глаза», как выражался о его слабости барин-отец: изготовляя экипаж и лошадей, он все разговаривал не только с животинами, но и оглоблями и постромками[12], браня их за оказавшиеся неисправности. Это последнее поползновение

одушевлять неодушевленные вещи своего обихода и объяснять им вред неисправности и неготовности к службе было всегда верным признаком расстроенного состояния кучера и выдавало его слабость; в прежнее, крепостное время оно доводило его до экзекуции «на конюшне», а теперь, после смягчения нравов эмансипациею[13], до угроз быть прогнанным. Последняя мера бывала, впрочем, приводима в исполнение, но Поликарп обыкновенно, после недолгого отсутствия, снова возвращался на старое пепелище, наивно объясняя, что «в чужих людях» ему не живется.

Больше и едва ли не глубже всех была огорчена предстоящим отъездом старая-престарая няня Марфа, начавшая плакать с самой той поры Володиного отпуска, когда была отправлена просьба о переводе в действующую армию; со времени же назначения его ординарцем к важному лицу она буквально не осушала глаз. Назначение это устроил граф А., бывший корпусной товарищ Володиного отца, всегдашний покровитель семьи. Теперь няня в хлопотах увертывания, увязывания и укладывания — чего-чего только она ни втиснула бы, если б ее не останавливали! — морщилась и крепилась, но временами «силушки» ее не хватало — нет-нет, она всхлипывала, а за дверями даже и подвывала. Шутка ли? Ее «дите», как по старой памяти она называла своего любимца, несмотря на то, что ему уже шел двадцать четвертый год, уедет на войну, под пули, на смерть! Слыханно ли идти на такое дело, еще не оправившись толком от болезни? «Не снести ему, пожалуй, головушки, — ой, напророчу я, чего доброго, старая дура! Господи, сохрани и помилуй его! — шептала она беспрерывно, почти бессознательно. — Что холоду и голоду натерпится; кто там присмотрит за ним, прислужит, походит в болезни? Заступница усердная, мать господа всевышнего, защити робенка, покрой его святым твоим покровом!.. Не видать мне тебя, роженый мой, не дожить уж до этого!» — шевелили ее дрожащие губы и говорили слезливые глаза, когда, выбрав минутку, входила она в двери гостиной: сложивши на желудке руки и понурив голову, она следила за разговором и за всеми движениями Володи, вглядываясь без конца в знакомые дорогие черты.

В ожидании невеселой минуты расставания семья сидела вместе: мать беседовала с сыном, тихо разглаживая его волосы; около них ютились другие двое детей, занимавшихся своими разговорами. Отец ходил из угла в угол, изредка вставлял свои замечания и нервно ощипывал сухие листья цветов или, усиленно мигая, смотрел через балкон на наволоку[14] и реку, барабаня пальцами по стеклу.

Иногда мамаша выходила как будто для распоряжений, но, вернее, для того, чтобы на свободе поохать и всплакнуть, так как возвращалась с еще более красными глазами.

Двое младших братьев — девочек в семье не было — один — гимназист 3-го класса, другой — подросточек, вели речь и о войне, и об осмотренном ими оружии брата, отточенной сабле и двух револьверах. За отсутствием гувернера-немца, отлучившегося в город, они были на свободе и с утра уже освидетельствовали лошадей и экипаж, а младший не раз садился на козлы, воображая себя едущим вместе с Володей на войну. Теперь они глядели в окна и наблюдали за дорогою, по которой должен был приехать священник.

— Отец Василий едет! — первый провозгласил мальчуган. И точно, отворили ворота и в них въехал в таратайке священник с дьячком из большого соседнего села — в Кирилловке не было церкви, а только часовня.

Батюшка вошел в зал, расправляя свои длинные волосы, и все присутствовавшие пошли ему навстречу под благословение.

— Будьте здоровы, — повторял отец Василий, раздавая кресты. — А воин наш в каком расположении духа изволят находиться?

— Молодцом! — ответил отец. — Еще бы, даст бог, скоро вернется и порасскажет немало интересного нам, старикам. Что в городе новенького, отец Василий; вы недавно оттуда? Какие слухи?

— Слухи все одни, Василий Егорович: не сдается да не сдается; опять, говорят, штурмовать будут — от последнего курьера, говорят, слышали…

— Ну, нет, довольно и двух раз, пора за ум взяться!

— Отчего же, папа? Центр тяжести войны перенесен теперь туда, войска стянуто много — я уверен, что возьмут. Чего же еще ждать? Надобно разбивать этот глиняный горшок…

— Ах, друг ты мой любезный, не можешь ты быть уверен, когда имеешь дело с правильно построенными земляными укреплениями; что за день мы разобьем, то в ночь они починят! А тут еще такая природная позиция. Помнишь, что рассказывал раненый генерал Т.? Мы, видимо, ошиблись: у них есть и генералы, и офицеры, и вооружены их солдаты хорошо.

— Да, Османа[15] недаром зовут кротом, он и в Сербии…

— Ну, вот и тут он ведет себя, как крот, и против него надо действовать кротовыми же мерами…

— Ах, ведь забыл сказать! — с живостью перебил отец Василий, обращаясь к Анне Павловне. — Вера Андреевна Бегичева кланяются вам; они получили письмо от сына: пишут,

что они теперь на самом театре войны, находятся в отряде генерала Скобелева.

— Браво, Петя, — весело воскликнул офицер, — молодец! «Я рад за него; если это только правда», — подумал он про себя, так как знал за своим приятелем Петей слабость прихвастнуть.

— И сами они рады: храбрости, говорят, генерал Скобелев[16] необычайной, но и опасно около них: сами никакого страха не знают, и другие не прячься. Генерал Гурко[17], говорят, разумнее; они так не рискуют…

— Ну, волков бояться — в лес не ходить.

— Это, конечно, так, — продолжал отец Василий, — но уж, кажется, очень они собой не дорожат. Как Петр Николаевич описывают, так даже и турки этого генерала отличают от других, «белым пашою» называют. Пишут, такие поручения задавал им, — насилу, говорят, живой вышел…

— Господи! — громко вздохнула Анна Павловна при мысли о том, что и ее Володе тоже будут давать поручения, из которых он насилу будет выходить живым, да и выйдет ли? Сын понял ее мысли и поспешил успокоить:

— Не бойтесь, мама, за меня… в штабе не так ведь опасно.

— Дай бог, дай бог, друг мой!

— Читали мне Вера Андреевна из письма, что раз посылали их пленного достать, — я, говорят, не достал, где ж его достать? — так недовольны, говорят, были: плохо, говорят, батенька, вы поворачиваетесь. Пишут, что получили уже солдатский Георгиевский крест и в офицеры хотели их представить. В военной, говорят, много легче, чем в штатской, — проще служба… Были, говорят, больны, теперь поправились.

— Какой ужас, какой ужас! — шептала Анна Павловна, отвечая на ту же внутреннюю мысль о Володе, представлявшемся ей то больным, то убитым, то захваченным в плен и увезенным куда-то далеко.

Должно быть, те же мысли мелькали и у детей, с раскрытыми ртами смотревших то на отца Василия, то на старшего брата: вот-вот, как он приедет на войну, так сейчас же его пошлют добывать пленных, а то и самого возьмут в плен, да еще ранят и он заболеет, похудеет, приедет к ним умирающим или без ноги, без руки…

Младший Алеша решил, что пленный должен быть непременно со связанными руками, как тот недавно пойманный в конокрадстве мужик, приведенный к ним на двор, которого папаша допрашивал и потом отослал в город. Что касается турок, то они должны быть — ни дать ни взять — как те страшные, всклокоченные крестьяне, что, проезжая прошлою весной мимо

Кирилловки, затеяли ссору с дворовыми людьми из-за Жучки, укусившей одну из их лошадей.

Мальчуган так задумался над турками, что и не заметил, как все кругом него стали выходить в зал, к напутственному молебну.

Засветили свечи перед старым потемневшим образом Спасителя, за рамкою которого всегда были воткнуты колосья двойнички и тройнички; запахло ладоном от усердно раздутого дьячком кадила; волны дыма заходили по комнате, переливаясь во врывавшихся лучах солнца: день был теплый, ясный, праздничный.

— Благословен бог наш, — начал отец Василий, выправляя волосы из-под ризы, обтягивая ее и дергая при этом плечами и локтями.

Голос отца Василия был несколько гнусливее и значительно торжественнее того, которым он только что передавал новости. Дьячок подпевал ему негромко и немного тоскливо, с перевздохами, настойчиво упирая взгляд в косяк окна, что, по давно установленному замечанию, означало «выпитую с утра».

Теперь, благо был уважительный предлог, Анна Павловна больше не сдерживалась: она буквально смочила своими слезами пол во время беспрерывных припаданий к нему головою и не вставала с колен за весь молебен.

Даже отец, всегда державшийся в глазах семьи твердым и невозмутимым, сначала только усиленно крестился своим большим крестом и кланялся в землю, касаясь пола концами пальцев, потом не вытерпел и несколько раз утер глаза, отведенные для приличия в сторону.

Няня заливалась-плакала, перемежая рыдания большими же, очень большими, начинавшимися на маковке головы и спускавшимися почти до колен, крестами; ее поклоны представляли настоящее бросание всего тела на землю, и она проделывала их с замечательными для ее семидесятипятилетнего возраста ловкостью и живостью.

Прислуга, дворовые и некоторые крестьянские женщины, нашивавшие на руках теперешнего воина, тоже всхлипывали и усердно сморкались в подолы в задних углах залы и прихожей.

— О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их господу помолимся! — слышался ровный голос отца Василия.

— Господи, помилуй! Господи, заступи и помилуй нас! Царица небесная матушка! Заступница наша! — слышалось со всех концов залы, наполненной клубами ладана.

Подход ко кресту послужил некоторым облегчением для всего общества.

Глаза еще не успели высохнуть от слез, как послышался вдали звон колокольчика. Дети, а за ними и большие вышли на балкон.

Кто бы это мог быть? Кажется, Надежда Ивановна?

В деревне отворился отвод, ведущий с поля, и тройка карих проскакала мимо крестьянских изб, въехала на мостик и внеслась затем на гору.

— Она! Надежда Ивановна! Наташа! — вскрикнуло разом несколько голосов. Владимир сбежал с балкона и бросился к крыльцу так стремительно, что отец с матерью переглянулись. Он торопился встретить если не видимо усталую, полную, добродушно улыбавшуюся Надежду Ивановну, то ее хорошенькую племянницу Наталочку, очень красивую девушку, свежо и весело смотревшую из-под загара и пыли.

Взгляд петербуржца Владимира невольно остановился на патриотической, но немного провинциальной форме головного убора девушки, на чем-то вроде высокой мужицкой шапки, перевитой кисеей и лентами; но так как «девушке в девятнадцать лет и эта шапка приставала»[18], он быстро перевел глаза на милое личико приятеля своего детства, своей «кузиночки», как он называл ее, помог ей выпрыгнуть из экипажа и провел в дом.

— Хорошо, хорошо, — дружески пеняла Надежда Ивановна, — до того занялся племянницей, что тетушка сама выбирайся!..

Это было не совсем справедливо, так как слуга уже помогал ей спуститься с подножки.

— Ну, друзья мои, — заговорила она, войдя в комнаты и обращаясь к хозяевам, — не взыщите с меня за откровенность: не поехала бы по такой жаре, если бы не баловница моя. Шутка ли, ехать провожать за 60 верст по такому пеклу; но ведь что вы с ней станете делать, не дала мне покоя, пока я не согласилась; чуть не плачет, уговаривает: поедем да поедем. Вот она сама тут, слышит, выдаю ее вам головою… Владимир Васильевич, пожурите ее перед отъездом.

— Непременно, непременно, сейчас же намылю ей голову! — отозвался Владимир уже с балкона, куда вышел вслед за «баловницею».

— После, после наговоритесь, пока сядем за стол!

За поцелуями, розданными Надеждою Ивановной детям, и за упреком отцу Василию в том, что, объезжая паству своего благочиния и побывавши у их отца Степана, не заглянул к ним в дом, все разместились в зале за большим накрытым столом.

Приезжая объявила, что на такой жаре кушать она ничего не будет, но берет на себя наблюдать, чтобы кушали другие,

особенно отъезжающий, и, оглянув свою племянницу, сидевшую против нее рядом с Владимиром, заставила отца Василия повторить рассказы Пети Бегичева о Скобелеве и слухи о вероятности нового штурма.

Ее «баловница» даже побледнела немножко, выслушав догадки о предполагающейся битве, в которой другу ее, Володе, придется, конечно, участвовать.

— Смотрите же, Владимир Васильевич, — сказала она быстро и серьезно, — уговор дороже денег: если с вами… (маленькая пауза) что-нибудь случится… (пауза побольше), напишите, телеграфируйте, и мы с тетей сейчас же приедем к вам… Так ведь, тетя?

— Хорошо, хорошо, после увидим; ты, кажется, думаешь, что без нас с тобой там не обойдутся.

— Нет, нет, тетя, вы мне обещали, вы обещали: мы пойдем тогда в сестры милосердия — нельзя отказываться от своих слов.

— Хорошо, хорошо, душа моя, я ведь и не говорю: нет; надеюсь только, что надобности в нас с тобой не будет.

— Дайте слово, Владимир, — сказала девушка, протягивая руку, — что вы откровенно известите нас, если …заболеете?

— Даю честное слово! Но вы должны обещать мне с своей стороны не выезжать раньше, чем я позову вас. Дело сестры милосердия ведь трудное и требует серьезной подготовки; для этого месяцами работают в госпиталях, готовятся, а без приготовления вы рискуете не принести никакой пользы, только сами заболеете — что в этом было бы хорошего?

— Это правда, болезни быстро развиваются между труженицами святого дела, и гибнут многие из них, особенно молодые, неопытные, — вставил отец Василий.

— В Крымскую кампанию[19], в госпиталях… — начал было хозяин, но Наташа, не дав ему кончить, перебила:

— Нет, нет, нет, я не отдам тете обратно ее слова: если война протянется долго или если, не дай бог… мы приедем. Вы обещали, тетя, вы обещали! — обратилась она со слезами на глазах к тетке, понявшей, что противоречить долее небезопасно, и тотчас же решившейся торжественно подтвердить свое обещание. Василий Егорович взят был в посредники для выбора момента отъезда к армии будущих сестер милосердия.

Мать Владимира, видимо, страдавшая все тою же болью предстоявшей разлуки с сыном, чтобы переменить тяжелый разговор о войне, начала расспрашивать Надежду Ивановну о соседях, но разговор плохо вязался, так как всем было не по себе; очевидно, над всем и всеми тяготел издали дурной поворот кампании, а вблизи кошмар предстоявшего отъезда молодого

человека.

Подъехала еще соседка с мужем и двумя дочерьми-невестами, и разговор снова перешел к войне. Попреки начальствующим за их действительные и предполагаемые ошибки, решения и догадки, очень убедительные и après coup[20], конечно, справедливые о том, что надобно было и чего не следовало делать, хотя и прежде высказывались несколько раз, снова убежденно и не без жара повторялись, иногда с обоюдными уступками, а когда и с маленькою нетерпимостью.

Отец Василий в третий раз должен был повторить известия с театра войны, чем он был, по-видимому, не недоволен.

— Вы одни едете, Владимир Васильевич?

— Один до Москвы, где меня дожидается известный Верховцев.

— Какой такой известный Верховцев?

— Неужели вы не знаете Верховцева? — вмешалась Наталочка и немножко покраснела, что не укрылось ни от Владимира, ни от приехавших подруг, — известный писатель, тот самый, что жил прошлое лето у Евграфа Алексеевича и, помните, еще упал, танцуя с Сонечкой!

Все засмеялись, а присутствовавшая Соня раскраснелась.

— Как не помнить, — ответил сосед, — его называли «букою»; признаюсь, только я думал, что речь идет о каком-нибудь военном. Что же он-то там будет делать? Там ведь не танцуют!

Опять все рассмеялись.

Владимир объяснил, что его приятель, — к которому, к слову сказать, он почувствовал маленькое охлаждение с того момента, как заметил румянец девушки и живость ее воспоминания о нем, — приятель его решился видеть войну как можно ближе, собственными глазами, для чего принял обязанность корреспондента в газету *Век*, всегда отличавшуюся свежестью и полнотою новостей.

— Его посылают на хороших денежных условиях, но, признаюсь, на его месте, с его талантом и известностью, — и он взглянул на девушку, — я потребовал бы более…

— Что-то уж такой громкой известности мы не знаем за ним, — заметил сосед.

— Как можно, его последний роман имеет большой успех. А повести его! Путешествия!.. Он очень, очень талантлив, и большая часть того, что он написал, переведена за границей.

— Прочитал и я пару повестушек его, помнится, но не в восторге от них. Ничего в них нет эдакого возвышенного… все обыкновенно, серо, точно выметенный сор… Впрочем, может

быть, мы ведь здесь зарылись, всего-то и не знаем, что у вас в Петербурге делается, пишется и что ценится…

— Тетя, почему бы и нам не писать в какую-нибудь газету? — заявила Наташа.

Все дружно засмеялись.

— Нет, ты не понимаешь, тетя, это когда мы будем там…

— Хорошо, хорошо, и ухаживать за ранеными будем, и писать будем. Вы знаете, что «моя» собирается и меня за собою тащить в сестры милосердия, — осведомила Надежда Ивановна приезжих.

Барышни стали расспрашивать Наташу, почему и для чего, а мальчуган, братишка Володи, прямо высказал свое мнение, что Наташа еще и не сумеет написать, так как живо представил себе всю трудность писания в книгах и особенно в тех больших газетах, которые ежедневно методично папашею его развертывались и от доски до доски прочитывались.

Среди разговоров хозяева переглянулись, а отец выговорил: «Однако пора». Поднялся с места и пригласил всех в гостиную «присесть».

— Присядемте, присядемте, — по возможности равнодушно приглашал он, и все молча уселись, стараясь не глядеть на удрученную мать. Двери притворили.

Василий Егорович встал, осенил себя тем же знакомым Володе большим крестом и грузно опустился на колени; то же сделали все присутствовавшие.

Няня, не ожидавшая такого скорого наступления последнего акта расставанья, не вовремя вошла; она сама смутилась того, что сделала, и немножко смутила других — все стояли на коленях, все плакали, даже у воина текли слезы.

Опять отец первый поднялся, отер глаза и обнял сына.

— Ну, брат, будь же здоров! Прощай, лихом нас не поминай! — сострил он, но шутка замерла на губах и не нашла отклика.

Пошли поцелуи: мамашины без конца, с горячими слезами; поцелуи справа, поцелуи слева, поцелуи даже расплакавшейся Наташи и какие-то засасывающие поцелуи старушки няни.

— Прощай, наш батюшка! Прощай, сокол наш ясный! Кормилец ты наш! — повторяли люди, порываясь целовать отъезжающего в губы, щеку, руку, плечо, спину.

Все вышли на крыльцо.

— Володя, Володя, меня-то поцелуй! — лез под колеса разревевшийся братишка, которого стоило труда оторвать и оттащить.

Володе показалось, что только теперь он оценил прелесть всего окружающего; даже при первом отъезде в корпус, как ни

было жутко, не чувствовалось впечатления того, что все от него точно отрывается, безвозвратно уходит, — впечатления, которое охватило его теперь: уж не предчувствие ли?

«Ворочусь ли, полно, увижу ли все опять?» — и он махал платком, поворотясь в экипаже и не отрывая глаз от фигуры матери, поддерживаемой под обе руки у порога крыльца, — махал, пока тарантас не скрылся за отводом деревни, окруженным мужиками, бабами и ребятишками, всем миром, высыпавшим на дорогу с пожеланиями здоровья и всякого добра отъезжающему воину.

— Прощай, сокол, дай бог тебе! За нас стараешься! — выкрикивали ему с поклонами.

Потом он вглядывался еще в далекие разноцветные точки дорогих фигур, проезжая полем, и только миновавши ручей и въехавши в лес, потерял из глаз красную крышу и всех обитателей своего милого, дорогого гнезда.

На душе Владимира стало легче, и будущее представилось более светлым.

II

За Дунаем, в городе Систове, шла по улице пожилая, довольно полная дама рядом с красивою цветущею девушкой; они пробирались домой, в одну из глухих улиц, таща в узелке платка несколько окуней, купленных на базаре.

За суетою и шумом улицы, где поминутно нужно было давать дорогу встреченным конным и пешим, обходить стоящих, беседующих, жестикулирующих, нельзя было расслышать, о чем шел у них разговор: кажется, о письме, только что полученном через коменданта, из-под Плевны. На углу молодая обратилась к другой:

— Почему же он сам не приедет, когда знает, что мы здесь? Так, право, хотелось бы его видеть! Тетя, милая, зайдемте в ресторан, может быть, опять что-нибудь услышим.

— Нет, душа моя, пойдем скорее пообедаем, да и назад. Ты слышала, что Федор Иванович просил сегодня же обойти всех вновь прибывших.

Это были Надежда Ивановна с Наталочкой, после отъезда Володи начавшей систематически мучить тетку просьбами о скорейшем отъезде.

Слухи о вероятности нового штурма плевненских укреплений[21], приготовления медицинского персонала и

известие о приезде новой партии сестер милосердия лишили девушку сна и пищи. Она похудела, осунулась, и тетка, сначала отделывавшаяся своими обычными «хорошо, хорошо, вот увидим», — решилась, наконец, обратиться к обещанному посредничеству Василья Егоровича.

Тот посоветовал подождать и не приносить пока ненужной жертвы. Но Наталочка не сдалась и скоро открыла себе поддержку в молчании Анны Павловны, тоже жалевшей молодую девушку, но еще более горевавшей о своем Володе, который, как она втайне думала, был бы все-таки в меньшей опасности близ добрых знакомых.

Она не выговорила этого, но Наташа поняла ее мысль — поняла, что она скорее за отъезд, и решительно пристала:

— Ведь да? Ведь да? Ведь вы советуете ехать?

Слезы подступили к горлу матери, и она нашла в себе силы только ответить, что не решается ни советовать, ни отсоветовать — пусть будет, как богу угодно.

После нескольких предлогов, новых и старых, но еще раз выдвинутых вперед, тетка увезла свою «баловницу» домой, еще более расстроившись и почти решившись на отъезд, — она по-всегдашнему заключила, что, «должно быть, так угодно богу: ведь и волос не спадет с головы нашей без воли его».

Они заехали еще раз к Половцевым, уже на пути к месту военных действий, и приняли несколько посылочек для Володи, между которыми его любимое варенье занимало не последнее место.

Как ни скрывала Анна Павловна свои чувства, видно было, что она рада отъезду добрых соседей и дальних родственников в те места, где, окруженный всевозможными опасностями, находился ее Володя; какая-то уверенность явилась у нее теперь в том, что он воротится к ней в целости и сохранности.

Между нею и Наташей за это последнее свидание установилось нежное чувство доверия и интимности, которое, как они обе понимали, должно было не только остаться навсегда, но и скрепиться вскоре более близкими родственными отношениями.

Когда расплакавшаяся Наташа, перед тем чтобы сесть в экипаж, принявши все нежные поручения к сыну, в последний раз обнялась с Анною Павловной, их принуждены были просто разнять: и сами они, и Надежда Ивановна, и Василий Егорович понимали, что прощаются не только добрые соседки, но и будущие мать с дочерью.

Отец Наташи, Ган, перед смертью живший в своей усадьбе Ярославской губернии, раньше служил товарищем председателя окружного суда в Казани, но принужден был выйти в отставку по довольно странному обстоятельству.

Всем было известно, что он не только не принимал подарков, но и не занимал денег у заинтересованных в суде лиц, — кто не знает, что эта последняя мера увеличивать свои доходы заменила прежнее принятие пачек и пакетов с ассигнациями? Но случилось раз, что он изменил решение суда после объявления приговора, — изменил не смысл, а букву, чуть не грамматическую ошибку, — все-таки самый факт перемены в тексте послужил достаточным предлогом для враждовавшего с ним прокурора возбудить уголовное дело, кончившееся отставкою Наташиного отца.

Случай этот наделал столько шума, поднял столько официального негодования, что не помогло вмешательство влиятельных лиц, благодаря которому удалось только прикрыть отставку пенсией.

Ган уехал с семьею в имение, стал хозяйничать, но, в конце концов, не смог вынести такого тяжелого, неожиданного удара и вскоре умер. Через несколько месяцев после него умерла и жена его, поручивши обеих дочерей Надежде Ивановне, сестре покойного.

Старшую дочь Машу удалось пристроить в одном из петербургских институтов, а младшую, Наташу, или, как Надежда Ивановна зазывала ее по-малороссийски, Наталку, тетушка взяла к себе, привязавшись к ней, как к родной дочери, и перенесла на нее всю свою нежность, преданность и любовь к покойному Гану.

Своих детей Надежда Ивановна Глиноедская, малороссиянка по происхождению, не имела. Ее муж умер лет десять тому назад; всегда будучи деликатного здоровья, он заболел, наконец, горловою чахоткой и, не вынеся страданий, застрелился.

В свое время он был очень хороший хозяин, завел в имении порядки, выстроил удобный, поместительный дом и даже сумел отложить немного денег, незаметно ушедших, впрочем, потом во время его болезни. Надежда Ивановна, не будучи никогда влюблена в него, покорно переносила крутой подчас нрав и болезненную раздражительность супруга из-за его ласки, предупредительной внимательности и доставляемых ей удобств.

Смерть мужа огорчила ее, но характера покладистого и снисходительного не испортила; ее тихая, почти безвыездная жизнь мало изменилась, а несколько романтическая натура

расположилась только больше прежнего к набожности, меланхолии и …к морфию: в большом перстне на ее руке, памяти мужа, всегда хранился небольшой запас морфия, к которому она иногда, тайком, конечно, ото всех, прибегала.

Старшая племянница редко бывала в деревне, так как ее охотно взяла на свое попечение другая тетка, двоюродная; у нее в Петергофе она провела целое прошлое лето, изредка переписываясь с деревенскими сестрою и тетею. Младшей, как любимице, Надежда Ивановна назначила свое имение с усадьбою, что, вместе с половиною отцовского наследства, составило Наталочке хорошее приданое и при ее красоте сделало из нее завидную невесту.

Еще при жизни отца и матери девушка отличалась от сестры не только более живым, впечатлительным характером, но и какою-то решительностью, инициативою. Высокого роста, красивая, всегда краснощекая, здоровая, она сразу располагала к себе и вызывала доверие.

Начитавшись «хороших книжек», Наталка тотчас же решила применить к делу то, что нашлось в вычитанном практичного: стала учить грамоте крестьянских детей, помогала беднейшим семьям деревни, чем могла, между прочим, и лекарствами, составленными по медицинскому ежегоднику, с одобрения тетки; кажется, не было случая, чтоб она грубо ошиблась и принесла вред, так что в деревне ей серьезно доверяли и не шутя советовались с девушкою в трудных обстоятельствах.

Володю Половцева Наташа знала с самых юных лет; их связывали воспоминания игр и ссор и даже совместного житья в продолжение некоторого времени, так как после смерти Гана не на шутку заболевшая тетя сама попросила Половцевых взять к себе девочку и присмотреть за нею. После Наташа встречалась с молодым человеком, сначала кадетом, потом офицером, по нескольку раз в год, и он, приезжая в отпуск, бывал у Надежды Ивановны, да и тетка с племянницею наезжали гостить в Кирилловку, так как были большими друзьями Володиной матери. Родители Половцева и Глиноедская с удовольствием видели сближение молодой пары и радовались ему; один бог знает, что́ было переговорено, перешептано между приятельницами по этому поводу.

Для Наташи не существовало пока молодых людей, кроме Володи Половцева. Немало было за ней ухаживателей между молодежью уезда, изредка наезжавшею к Глиноедской и в свою очередь зазывавшею и ее в гости, но Наталка прямо, откровенно, без всякой задней мысли говорила, что Володя нравится ей больше всех.

Не будучи ни особенно богатым, ни выдающимся красавцем, молодой Половцев был, что называется, во всех отношениях молодцом и притом добрым малым; танцевал же он, особенно с появлением шпор на ногах, так, что на него заглядывались не только в деревне, но и в Петербурге.

По этой последней части, впрочем, Наталка была ему совсем уж не пара, потому что умышленно забросила танцы со времени чтения «хороших книжек»; из-за них же она оставила и музыку. Как ни уговаривала тетка, как ни пеняли Половцевы, Наташа упрямо отстаивала свое решение, называя все эти светские развлечения пустой тратой времени, и высказывала еще разные мысли, новые для окружавшей ее среды и не вязавшиеся со взглядом на жизнь и ее назначение ни стариков Половцевых, ни Глиноедской.

Надежда Ивановна знала, впрочем, виновника маленькой путаницы в понятиях своей племянницы: это был тот самый Верховцев, — бог ему судья, — который теперь уехал с Володею в действующую армию как корреспондент. Ей показалось даже, что Наталочка задела более чем дружескую струну в сердце Сергея Верховцева, которого она ласково принимала, но недолюбливала; больше того, она серьезно побаивалась, не было ли взаимности, так как ее Наталочка очень уж покорилась этому «новому» человеку; но тетушка помалчивала, да и думать-то боялась, — страшна казалась ей возможность чего-либо подобного, так как она знала, что молодые люди переписывались.

Проведя лето в гостях у соседа Глиноедской, своего родственника, Сергей часто бывал у нее, подружился с Наташей и скоро, как-то незаметно, сделался руководителем ее развития и самообразования; он составил список книжек для чтения, которые, по его мнению, подходили к требованиям предстоявшей ей деятельности, и книжки эти частью были уже поглощены, частью еще читались и перечитывались. Они вместе занимались с крестьянскими ребятами, вместе и часто гуляли, о многом говорили, — вернее, он говорил, а она слушала, — слишком много говорил, по мнению Надежды Ивановны, видевшей в Верховцеве что-то недворянское, серое, но в то же время осмысленное и крепкое.

Даже Володя заметил «измену» своей Наталки, но, каким-то капризом увлеченный в это время Сонею, — тою самою хорошенькою соседкой, которую плохо танцевавший Верховцев уронил раз в вальсе, — он довольно легко и снисходительно отнесся к этой неверности, так что, когда Верховцев еще в июле уехал, заставив от души порадоваться Надежду Ивановну, тотчас же, совершенно незаметно, вошел в прежнюю роль всегдашнего

кавалера и вероятного жениха Наталки.

В этом последнем неофициальном звании Владимир и пребывал до самых тех пор, когда, оправившись от тяжелой болезни, вынесенной в доме отца, стал проситься в действующую армию и, как уже сказано, по протекции графа А., получил назначение в ординарцы к его светлости князю***.

Когда приказ о назначении был получен и день отъезда на войну назначен, Наташино воображение, живо занятое предстоявшими Владимиру опасностями, решило, что *он* и есть тот самый идеал мужа, друга, любовника, который неясно носился в ее голове, — тот самый, которого она действительно любит, любит давно, сама того не замечая, любит сильно и, конечно, неизменно. Он должен быть, он будет, когда воротится с поля битвы, ее мужем, так как она, наверное, никого, кроме него, не полюбит. Мало того, если на войне его ранят или он заболеет, она уговорит тетю ехать туда ухаживать за ним. Просто удивительно было, как случилось то, что такое ясное чувство, такая сильная любовь не была сознана ими обоими прежде…

Надежда Ивановна только порадовалась такому обороту дела и, по своему обыкновению, увидела в нем подтверждение справедливости ее убеждения в том, что все и всегда делается по воле божией.

С самого назначения дня отъезда Володи в армию чтение и занятия с ребятами потеряли для Наташи прежнюю прелесть; Володя-воин, Володя-герой заполонил все ее воображение, все ее мысли. Он, наверное, будет способствовать более благоприятному ходу дел на театре войны. Она вперед знала, что Володя проявит храбрость и обратит на себя внимание, — за то же и придется ему пройти через опасности! Если его ранят, — это решенное дело, — они с тетею поедут ухаживать за ним.

После отъезда Половцева Наташа потеряла покой и даже самообладание; никогда не быв нервною и капризною, она стала так беспокойна, всеми правдами и неправдами так стала допекать свою тетю, что та, наконец, собралась к месту военных действий, в намерении пристроиться где-нибудь за Дунаем, разумеется, поближе, где нет опасности, — «как можно подальше, где поопаснее», — мечтала Наташа.

Движение военных поездов с войсками, встреча с санитарными поездами, наполненными больными и ранеными, шум, гам и беспорядок; рассказы об изнанке войны и многие

картины этой неприглядной изнанки, сразу представившись молодой девушке, захватили все ее внимание и заставили открыть глаза на многое такое, что она не совсем поняла в «хороших книжках». Ее собственное «я» и даже «я» всех близких ушло куда-то далеко, и на смену их выступило нечто вроде того, что побуждало ее заниматься с деревенскими детьми и помогать крестьянским семьям, только в более сильной и требовательной форме, — чувство той братской любви и сострадания к обездоленным, которое постоянно жило в ней и в известные минуты, под влиянием известных стимулов, требовало выхода и применения на деле.

Стоны раненых надрывали ей сердце; беспорядок, разные недочеты, иногда видимое безучастие лиц, заинтересованных в этом народном бедствии, выводили ее из себя. Для нее было очевидно, что всем людям с доброю волей надобно было действовать словом или делом, стараться принести какую-нибудь пользу, хоть сколько-нибудь облегчить общую беду.

Новые неясные мысли, зародившиеся под влиянием новых впечатлений в ее голове, как будто были не совсем незнакомы ей, — где-то и когда-то читала она о чем-то подобном… Но когда, где, в какой книге?

Не скоро, но все-таки она добилась: оказывается, что не читала, а слышала, — слышала из уст Верховцева, не раз заводившего с нею речь по поводу событий в славянских землях и отражений этих событий, со всеми последствиями, на России. По правде сказать, она имела тогда обо всем этом такое смутное понятие, что не могла воплотить слышанного в дело и поступки, составить себе ясное представление о ходе событий. Теперь вспомнились мысли и речи приятеля «буки», получили смысл и такую окраску правды, какой прежде она за ними не подозревала, а сам «бука», Сергей Иванович, показался еще умнее и симпатичнее прежнего.

Приехавши в Систово, «сестры» не мало походили по городу, ища себе приюта, и уже стали серьезно побаиваться того, что им не удастся сколько-нибудь сносно устроиться, когда молодой, довольно образованный болгарин, писарь комендантского управления, принял участие в них и поместил к одному своему старому родственнику, жившему с такою же древнею старушкой женой, в уютном домике, на маленькой, кривой и узкой улице в конце города. Дамы разместились в двух чистеньких комнатках,

завели дружеские отношения с хозяевами, сначала не совсем охотно принявшими их, и стали ходить заниматься в один небольшой госпиталь, расположенный в нескольких покинутых турками домах.

Госпиталь помещался немножко далеко от них, и первое время они намеревались подыскать занятий где-нибудь поближе; но их услуги были там приняты с такою предупредительностью, даже радостью, формализма в управлении и при занятиях с больными было так мало, забот или хлопот и всяческих нужд так много, что они решили потом от добра добра не искать, остаться тут и, несмотря ни на какую погоду, каждый день по нескольку раз перебегали по дурно вымощенным улицам города полторы версты расстояния, отделявшие их квартиру от госпиталя.

Обе женщины сразу почувствовали себя в своей сфере, — в сфере любви и помощи ближним.

Девушке недоставало только опытности, хотя ей очень пригодилась тут практика той помощи, которую она оказывала больным в деревне. Она скоро приноровилась и уже через несколько дней прилежного и усидчивого выслеживания приемов ухода за ранеными работала, как заправская сестра милосердия. Зато Надежда Ивановна, исключая некоторых технических подробностей, касавшихся специально промывания и перевязки трудных ран, сразу выказала ловкость и уменье, не уступавшие никакой обученной сестрице; она припомнила приемы ухода за больным мужем и пустила их в дело: успех был для нее самый неожиданный.

Старший доктор, давно уже тщетно просивший о присылке ему «сестер», не мог нахвалиться своими «волонтерами», как он называл тетушку с племянницей.

Случалось, что ни сам доктор, ни его помощники не могли держаться около раненого без крепкой сигары во рту, — так силен был запах от нескольких гнойных, сочившихся язв, — а Надежда Ивановна и даже Наташа, как склонятся над таким больным, так и не разогнутся, пока всего не перемоют, не вычистят, не перевяжут. Зато солдатики называли их не только «сестричками», но и «анделами нашими небесными».

— Не правда ли, тетя, как это похоже на то, что мы делали у крестьян? — спрашивала Наташа. — И говорят они, и жалуются, и благодарят все так же. Сначала я думала, что перевязка раненых что-нибудь особенное, очень-очень трудное; помните, Володя говорил, что к этому нужно готовиться несколько месяцев, а выходит, что надобно только не лениться. Ах, тетя милая, они ведь и капризничают, и сердятся так же, как наши ребятишки! Настоящие дети!

— Благодари бога, душа моя, за эту легкость, это тебе награда за то, что ты ухаживала за больными дома, оттого тебе и легко теперь; побрезгуй ты этим делом раньше — трудно, очень трудно было бы приниматься теперь за него! Володя говорил правду.

Надежде Ивановне невольно приходило в голову, что и ей это награда за то, что она безропотно ухаживала в свое время за больным «покойником», награда за честно исполненный долг.

Тетушка занималась методически, не торопясь, как человек опытный, уверенный в себе, в противоположность своей племяннице, работавшей запоем, — всегда увлекавшаяся Наталка и тут отдалась делу всем своим существом.

Ей казалось, будто все, что она до сих пор делала, чем жила, просто ничто в сравнении с теперешним занятием помощью раненым, в которую она внесла всю нежность, всю женственность девического участия к обиженным, обездоленным; она деликатно мирила ссоры, писала письма к родным и даже не брезговала штопать кое-что из особенно плохого солдатского белья.

Один раз совершенно нечаянно услышала она, как за забором госпитального двора грамотный солдатик писал для своего неграмотного товарища письмо на родину о деньгах, причем, как более опытный, вставлял в речь такие запугивания и застращивания, что Наташе живо представилось положение крестьянской, вероятно, небогатой семьи, на которую свалится это «ужаственное» послание с требованием непременной присылки денег: «Если вы, милые родители, — гласило окончание письма, — останетесь глухи к сей моей слезной сыновней просьбе, то плачевная жизнь моя решится от глада, ран и болезней».

— Ну, братец, — прибавил писавший, прочитавши вслух не без самодовольства свою стряпню, — если и по этому письму не пришлют тебе, то махни ты на них рукой, — значит, ничего с них не возьмешь!

«Ах, негодный! — подумала Наташа, — это Федоров! Ведь какой смирный с вида… Надобно будет остановить это глупое письмо». И она ухитрилась выпытать, заставить показать себе послание, поправила его как бы для большей верности присылки денег, смягчила угрозы и сама сдала письмо на почту.

Другой раз ей пришлось мирить двух бывших друзей, рассорившихся из-за булавок, так-таки из-за булавок! Одному из них Надежда Ивановна заколола перевязку на руке полудюжиной булавок, но потом взяла назад пару для бинта на ноге товарища: батюшки мои, как первый рассердился! «Это ты, — говорит, — выманил, на чужой счет разбогател, взял бы уж все: твоя нога

ведь не в пример дороже моей руки».

Сама по себе ссора была бы не важна, если бы приятели не услуживали и не были полезны друг другу, а то безрукий помогал безногому бродить на прогулке, а безногий вертел для безрукого папиросы; со времени ссоры обоюдные услуги прекратились, и оба раненые затосковали; только благодаря Наташе они примирились и снова стали стараться помогать один другому.

— Ах, тетя, какие они дети, пресмешные, право, на них и сердиться нельзя! — говорила Наташа вечером за чаем.

— Мы должны благодарить бога, душа моя, за то, что они так наивны, — что было бы, если б они не были детьми? — ответила Надежда Ивановна, едва ли сознавая, что сказала большую истину.

Между ранеными был один болгарин, с четырьмя ранами, из них две навылет, так что всего на теле было шесть язв. Он все время громко ныл, жаловался и требовал, чтоб его отпустили из лазарета в родную деревню в Балканах, где у него жена, дети и где он, наверное, скорее бы выздоровел, чем тут. Даже Надежде Ивановне он надоел вечным недовольством, воркотней и протяжными, плаксивыми, на весь госпиталь раздававшимися жалобами; только Наталка и имела терпение уговаривать и увещевать его с некоторым успехом.

— Ишь ты, как тоскует по деткам! С шестью печатями, а и то рвется вон; несладко, видно, и ему в разлуке-то, — говорили солдаты-соседи из сердобольных.

Еще один раненый, русский солдатик, получил удар пулей на излете в голову, с раздроблением черепной кости. Пулю вынули, но рана дурно заживала, и больной все время горько плакал, буквально обливался слезами, — откуда только брались они у него в таком количестве. Даже и Наташины утешения не действовали: он как-то машинально исполнял все, что от него требовали, но не трогался из своего угла и плакал, плакал без конца.

Профессор Ликасовский, работавший в большом систовском госпитале и приглашенный на консультацию к этому интересному раненому, высказал догадку: не нажал ли кусок разбитой черепной кости на мозг? И точно: лишь только удалили осколок кости, больной перестал плакать, повеселел и начал выздоравливать.

У Наташи скоро оказалась маленькая привязанность: немудреный пехотный солдатик Никифоров, или, как сам он выговаривал свое имя, «Никифороу», их корпуса князя Шаховского, тяжело раненный при отступлении после второго штурма Плевны.

Наташа особенно заинтересовалась им потому, что он произнес имя Верховцева.

Раненому запрещено было говорить, но он никак не мог утерпеть, чтобы не пускаться в россказни всякий раз, как находил, что ему «полегчало». В одну из таких минут он не без юмора представлял, как картавый генерал Скобелев, прикрывая отступление отбитого корпуса с горстью солдат, бывших в его распоряжении, давал приказание своему ординарцу: «Вегховцев, Вегховцев, отзовите назад этих дугаков — их всех сейчас пеге-бьют!»…

— Ты видел Верховцева? — перебила его девушка.

— Точно так, — ответил солдатик, — мы, значит, подбирали ротного, его вдарило в ногу, а генерал, значит, посылали этого самого адъютанта своего, чтобы собрать людей. Тут и двадцати шагов не прошли — и меня вдарило. Подобрали меня уж поздно, этот самый адъютант генеральский и подобрал с казаками…

— А как одет этот адъютант генерала, есть ли у него борода?

— Ходят они, как казаки же, в балахоне, и борода у них тоже казацкая — нас, раненых, они до ночи подбирали…

Наташа запретила больному говорить больше, но после, когда ему «полегчало», не утерпела, чтобы не направить его еще раз на тот же рассказ, и образ «буки» встал перед нею как живой: сначала роняющий Соню в вальсе, потом толкующий смысл «хороших книжек» и, наконец, на поле битвы подбирающий раненых под турецкими пулями и гранатами.

Девушка удвоила свои попечения о раненом, и тот начал поправляться, что, по словам доктора, был из редких редкий случай.

— Не знаю, может быть, разве уж вашими молитвами, — отвечал он прежде на ее вопросы о том, есть ли надежда на выздоровление Никифорова. — Разве уж если он захочет доставить вам особенное удовольствие, — шутил тогда доктор, а теперь, после одной из перевязок, объявил, что раненый и вправду, должно быть, вздумал отблагодарить и порадовать Наташу, что он выздоровеет и очень скоро.

Радость Наташи была безмерна, но не долга и сменилась большим горем: Никифоров помещался не в доме, а в одной из турецких палаток, раскинутых на дворе, в которых воздух был лучше, чем в четырех стенах, и выздоравливающие скорее становились на ноги; но ночью разразилась буря с ливнем, сбила палатку и нескольких больных тяжело повредила; в числе их был Никифоров.

Когда рано утром, в заботах о том, не подмочило ли сильным дождем больных, спавших на соломенных матрацах на земле,

Наташа торопливее обыкновенного вошла во двор госпиталя и заглянула в палатку, снова водворенную на прежнем месте, она не сразу и поняла то, что ей стали рассказывать; ясно было только, что зеленовато-землистого цвета лицо и потухшие глаза ее приятеля не сулили более ни малейшей надежды. Его вскоре вынесли, а «сестрица» только с помощью Надежды Ивановны добралась в этот вечер до своей квартиры.

Долго горевать, однако, было некогда, и у Наталочки скоро завелась новая слабость, чуть ли еще не сильнейшая прежней: донской казак с пробитою грудью, в последней степени чахотки.

Щадя надломленную недавним случаем девушку, доктор скрывал от нее, что дело больного совсем плохо и что в последние дни болезнь приняла скоротечную форму, так что самые часы донца были сочтены.

— Да зачем вы связываете вашу судьбу с жизнью ваших больных? — выговаривал Наташе доктор. — Ведь у вас не хватит ни сил, ни здоровья так «выхаживать» их. Работайте потихоньку — право, лучше будет, я вам добра желаю, — и доктор серьезно предостерегал Надежду Ивановну от увлечений ее племянницы, которою, к слову сказать, сам готов был увлечься.

— Месяца не даю ей такой работы запоем, — говорил Федор Иванович тетушке, — она у нас непременно свалится; я ведь уж насмотрелся на таких рысаков: бежит, не уменьшая шага, не передохнувши, пока не треснется сразу.

— Хорошо, хорошо, спасибо вам, доктор, послежу за нею, — отвечала Надежда Ивановна и возможно чаще, под разными предлогами, стала сменять Наташу у изголовья казака, неотступно умолявшего о том, чтоб его отправили на родину, на Дон: «Там я поправлюсь, там беспременно поправлюсь!»

Он не доверял ни доктору, ни даже Наташе, успокаивавшим его тем, что его «скоро отправят», и постепенно нарушал госпитальную дисциплину тем, что, стараясь, вероятно, по мере сил укоротить расстояние, отделявшее его от родной хаты на Дону, собирал последние силенки и съезжал с своего соломенного матраца в углу комнаты до середины ее, а когда не успевали доглядеть, то и к самым дверям, а потом жалостно пищал оттаскивавшим его назад служащим: «Пустите меня домой, я там поправлюсь!» Скоро его действительно отправили, только не на Дон, а в общую могилу.

По всей вероятности, сбылись бы слова доктора и Наташа слегла бы под сильным впечатлением этих неудач, если бы нервы ее не укрепились сразу перебившею все другие интересы дня новостью: «Штурм Плевны!»

Как ни ждали этого, как ни обсуждали заранее всего за и

против, тем не менее чисто лихорадочная деятельность охватила все отрасли служебных должностей Плевненского района.

— Вот видишь, душа моя, почему Володя не приехал, хотя и обещал; он, верно, был занят, а ты уж его обвиняла в том, что он нас забыл, знать не хочет: почему да почему не едет — ты просто несправедлива к нему.

— Вы думаете, тетя, что он будет участвовать в битве?

— Станем надеяться, что молитвы Анны Павловны будут услышаны и опасность минует его.

— Федор Иванович говорил, что штабным легко живется, что они всегда выйдут сухи из воды.

— Федор Иванович хорошо бы сделал, если бы больше заботился о своем деле, вместо того чтобы пересмеивать других, — не без досады ответила тетушка. — У него нет ни хинина, ни хлороформа, и если на днях он их не добудет, то я не знаю, что мы будем делать с новыми ранеными, как их будут оперировать?

— Говорят, у Скобелева уже много раненых; у него, говорят, очень опасно, — продолжала Наташа, следуя за своею мыслью, и недоговорила: она боялась, не убили бы Верховцева, о храбрости которого много слышала. Тетушка поняла, однако, ее боязнь и сначала, ничего не отвечая, подумала только про себя очень не по-христиански: большой потери не было бы, — потом, впрочем, спохватилась и поспешила выговорить: «Все мы, душа моя, во власти божией, и волос не спадет с головы нашей без воли его!»

III

В то время как его вспоминали в Систове, Владимир Половцев возвращался из возложенной на него командировки к Никополю. Туда и обратно он проехал очень скоро, прямым путем, и теперь уже ясно слышал пушечные выстрелы плевненских батарей. За ним ехал донской казак, то отстававший, то трусцою догонявший ходкого коня «барина».

Дорога была пустынная, местность невеселая. Только еврей-маркитант, попавшийся на дороге, вставил коротенькую нотку развлечения в скуку и монотонность переезда: он выскочил из-под повозки, стоявшей близ дороги, бросился к лошади офицера и, в припадке сильнейшего отчаяния, стал бить себя по щекам и дергать за пейсы, приговаривая: «ой вей! ой вей!»

Владимир насилу мог добиться от него, в чем дело: оказалось, что ночью у беспечно спавшего под повозкою еврея

увели привязанную к ней четверку лошадей, и он остался с фурою, тяжело нагруженною всякими припасами, без возможности добраться до места расположения войск, где, конечно, рассчитывал сделать выгодный «гешефт» — распродать свои питья и закуски по удесятеренным ценам.

Половцев понял, что украли лошадей солдаты, но помочь делу, конечно, был не в состоянии.

— Теперь уж эти кони за 50 верст, — вставил казак его, может быть, из бывалых по этой части.

Втолковать, однако, еврею невозможность что-нибудь сделать для него было трудно; он не унимался и перемежал свои рыдания возгласами вдогонку проезжему: «Ваше превосходительство, помогите! Заступитесь, ваше превосходительство!»

Выстрелы становились яснее; под их звуки юноша замечтался. Ему вспомнились дом, мать, теперь как и всегда думающая, конечно, о нем. Вспомнились интимные отношения к хорошенькой крестьянской девушке, тоже со слезами прощавшейся с ним. Вспомнилась Наташа, преданная, влюбленная; ее глаза, за время последнего разговора на балконе подернутые какою-то влагой, глядевшие на него мягко, нежно, сулившие дружбу и любовь, теперь как будто снова смотрели на него близко, близко… Ах, как захотелось ему посмотреть на них вправду поближе! «При первой же возможности съезжу в Систово, — решил он, — должно быть, они ждут не дождутся меня!»

Владимир мало изменился с отъезда из деревни, только сильно загорел и оттого казался немного возмужавшим, — все тот же стройный, недурной собою и неглупый малый, немного брезгливый, немного белоручка, но далеко не принадлежавший к патентованным хлыщам щеголям.

Отец и мать его были хорошие люди, типичные представители зажиточных помещиков. Прослуживши три трехлетия сряду предводителем дворянства, Василий Егорович совсем зарылся в хозяйстве, которое вел, как большинство, без научной подготовки, по навыку: двадцать тысяч в год получал, их и издерживал на работы и прожитие семьи. Когда случалась экстренная надобность в деньгах для поездки в Петербург или для сына, иногда пробивавшего маленькие бреши в семейном бюджете, прибегал к рубке леса, причем барышники, большею частию совершенно беззастенчивый, бессовестный народ, не упускали случая стакиваться со старостою и вырубать вдвое более против назначенного, в полной уверенности, что проверять господа не будут: старый барин не пойдет, а молодой не сумеет.

Мать сама занималась с детьми в младшем возрасте: учила

французскому языку, которым владела в совершенстве, также задавала и спрашивала уроки «от сих и до сих», по учебникам географии и истории. Потом дети переходили к гувернеру из немцев, приготовлявшему в младшие классы корпуса или гимназии.

Старики редко навещали Петербург, предпочитая почаще брать в деревню своего Володю, не слишком, впрочем, скучавшего и в городе благодаря помянутому графу А., товарищу Василия Егоровича по пажескому корпусу[22]. Этот сановник, занимавший видную должность при дворе, брал к себе молодого человека из корпуса на праздники и, насколько позволяли хлопотливые и многотрудные занятия по службе, следил за его учением и воспитанием.

Знакомство с таким важным человеком поставило Половцева в корпусе в число привилегированных, «аристократов». Когда граф А. приезжал иногда навестить его, поднимался настоящий переполох: являлся директор, расшаркивались не только все, кому должно было, но и многие, для которых это не было прямою обязанностью, — всем служащим лестно было поклониться важному человеку.

По выходе в офицеры то же знакомство невольно заставило юношу держаться круга титулованных товарищей, сообщавших его манерам, тону речи и даже самым мыслям некоторую дозу фатовства, очень не нравившегося Наташе.

Владимир чутьем понимал это и заметно проще держался с нею, чем с другими претендентками на его руку и сердце, но совсем освободиться от раз усвоенных манер не мог, да, пожалуй, и не хотел. Может быть, это было и не легко, так как кружок друзей тесно держал его в зависимости и каждый раз, что молодой человек попадал в эту «школу злословия», он быстро забывал уроки простоты и искренности, усвоенные около Наталочки.

«Воображаю, что сказал бы животное Р*,— размышлял теперь на седле Владимир, — если бы увидел ее; как он, выпрямивши грудь, тотчас заходил бы петухом; как этот мученик монокля стал бы искоса поглядывать на нее через свое стеклышко и, пожалуй, прищелкивать языком, будто перед блюдом с трюфелями, — это не то, что его „Фризетка“»…

И он мысленно сравнил Наташу с другими девушками и женщинами; даже сравнивать нельзя было: то — наряженные, подрисованные куколки, а это — настоящая русская красавица, здоровая, смелая, разумная.

Вот только манеры ее часто вульгарные, выражения, выходки! Недавно подарила она ему карточку свою, с надписью: посылаю

мою *рожу*… И есть что-то намеренное в этом. Впрочем, оно пройдет, обойдется… А если нет, если угловатости и резкости останутся? — девка-то с характером…

Ему показалось, что он теперь близко, близко от этой девки с характером, что она наклонилась к его лицу и шепчет те слова, что сказала на балконе перед отъездом… Неудержимо захотелось ему обнять, поцеловать Наталочку, губы инстинктивно вытянулись, кровь прилила к голове…

— Бум! бум! — раздались близкие выстрелы.

Владимир нервно повернулся на седле, досадуя на потерю сладких грез. Скоро, однако, мысли его, следуя за нежными образами, вызванными расходившимся воображением, перешли на Соню: и это хорошая девочка, только сравнительно с Наталкою она всегда казалась ему какою-то «разменною монетой», «на всякий случай». Даже вышло как-то странно, что он удостоил обратить внимание на эту девицу и заметил ее хорошенькое личико только с того злополучного вечера, когда Верховцев, танцуя, уронил ее самым неловким образом и она так переконфузилась, бедная.

«Чудак! — думал далее Владимир, — не умеет танцевать, а суется». Впрочем, ведь это неверно: сам же он уговорил приятеля, который не желал танцевать, представивши, что кавалеров мало, а девиц много; следовательно, тот не только не совался, а прямо пожертвовал собою.

«А все-таки он чудак! Вот хоть теперь: ну, чего ради вздумал воевать? Поехал наблюдать, писать, а вместо того пристрастился к Скобелеву, да и заразился от него, право, заразился! И откуда прыть взялась! Не знаю, написал ли он десяток корреспонденций в свою газету».

Поздеев, который знал об их дружбе, воротясь с левого фланга, рассказывал, что Верховцев просто дивит своею храбростью: или он не сознает опасности, что трудно предположить, или он ищет смерти, для чего нет резона, — заразился да и только!

Скобелев, кажется, решительно заездил его, дает самые опасные поручения: разузнавать о положении и силе неприятеля, набрасывать кроки местности[23] под выстрелами, проводить полки по буеракам, которые тот изучил по всей окрестности, и Сергей будто бы очень доволен этими поручениями, исполняет их не сморгнувши, что с ним сделалось? Заразился, положительно заразился — не подыщешь другого слова.

Князь Черкасский, вернувшись оттуда, рассказывал в главной квартире, что Михаил Дмитриевич при нем послал Верховцева осмотреть местность, влево от редута, и когда после, во время их

разговора, раздался грохот выстрелов, с улыбкой ответил на его, князя, вопрос, не нападение ли это: «Ничего, не обращайте внимания — это Верховцев забрался, по обыкновению, за турецкую цепь».

Мысль Володи невольно перешла к опасности, которой ежедневно подвергался его приятель. Это не то, что у нас, — откровенно признался он сам себе, — где можно прослыть храбрецом, не будучи только трусом; а награды-то — вопиющая несоразмерность: за прошлую поездку с его светлостью для обозрения турецких батарей все, кто ездили, и он, Владимир, в числе их, получили золотое оружие, а ведь это большая награда, за которую армейский офицер согласится принять несколько ран.

«Один день ординарца Скобелева по опасности стоит месяца страхов нашего брата, привилегированного». — решил Володя, всегда честно и справедливо рассуждавший сам с собою, но, по маленькой слабости характера, не всегда проводивший и поддерживавший эту справедливость в жизни. Мысли его, воздавши должное приятелю, опять перешли к сладким грезам и стали ловить образ чего-то только что упущенного, нежного, близкого… «Ах, да, Наташа!» — и сопоставление этого имени с только что помянутым именем Верховцева неприятно поразило его; он даже невольно остановил лошадь, так что дремавший сзади казак едва не наехал на своего барина.

Неугомонная мысль стала теперь искать объяснения какого-то неясного тоскливого чувства, его охватившего… Да, вот в чем дело: Наташа и прежде, — он хорошо это заметил, особенно перед отъездом, — неравнодушно относилась к Верховцеву, а теперь, узнавши о его сумасшедшей храбрости, чего доброго, просто влюбится в него как в «героя»; она такая, ее на это станет, — и что-то захолонуло у него на сердце, — это очень возможно… Ну, что же, пусть!

А он?.. Кто его знает, какой он в этого рода делах, он скрытный… «Впрочем, что этим так интересоваться? Он мне не брат, не сват, да и она не одна на свете — большой беды не будет, скатертью дорога!»

Владимир старался перенести свои мысли на Соню или на ту барышню, за которою ухаживал в Петербурге, но не мог: первая была разменная монета, а вторая уж слишком казовая невеста, видимо, настойчиво желавшая выйти замуж, если можно, за него, а коли нельзя, так и за другого кого-нибудь, только поскорее; она даже намекала ему на свое действительно большое приданое.

Орудийный выстрел, совсем близкий, заставил его вздрогнуть и оглядеться: он проехал деревню Сгаловицы и незаметно поднялся на высоту, с которой стали открываться плевненские

позиции и дымки выстрелов.

Расспросив встретившегося казака из главной квартиры о том, где находится его светлость, и узнав, что князь уехал сегодня на левый фланг, Владимир взял в ту же сторону в намерении поскорее встретить отца-командира, всегда требовавшего от ординарцев скорой езды и немедленного донесения о результате поручения.

Завидевши группу в лощине, он принял было ее за тех, кого искал, но скоро увидел ошибку и распознал офицеров штаба генерала Глотова.

— Утром он проехал здесь, — объяснили ему, — на левый фланг; теперь он должен возвращаться, тут скоро где-нибудь и встретите его.

Владимир приложил руку к козырьку и проехал далее. Немного правее, пониже, открылась батарея; он поехал к ней рысью, чтобы не представлять из себя мишени для турецких выстрелов, но не обошлось, однако, без того, чтобы две-три гранаты из заметившего его редута не перелетели через голову.

— Не проезжал ли здесь его светлость и если проехал, в какую сторону, чтобы мне не разъехаться с ним?

— У нас начальство редко бывает, — ответил артиллерийский офицер, — турки слишком любезно принимают всех приезжих… Видите, как они и вас приветствуют! — В самом деле, гранаты одна за другою стали ударять по брустверу батареи. — Слышали, что проехал на левый фланг, только отсюда не видели его.

Поблагодарив, Половцев воротился на дорогу и тут уже не вытерпел, пустил лошадь вскачь, с редута стали угощать его шрапнелью так старательно, что он невольно упрекнул себя за любопытство, заставившее без нужды рисковать жизнью. «Что сказала бы мама?» — мелькнуло у него в голове.

Спустись еще раз в лощину, Володя опять поднялся и увидел множество всадников, далеко державшихся один от другого и ехавших прямо к нему навстречу; он узнал своего начальника со свитою.

— Половцев, в сторону! — крикнул ему издали милейший Г., — вы привлекаете выстрелы!

И в самом деле, вблизи шлепнула граната, за нею другая.

Князь был в добром расположении духа и, когда возвышенность скрыла из глаз турецкий редут, подозвал Владимира, расспросил о том, что он узнал и сделал в командировке, потом поблагодарил за быстрое, толковое исполнение поручения.

В тот же день вечером Владимир имел случай видеть

офицера, приехавшего с левого фланга, много рассказывавшего о делах у Скобелева за эти дни и, между прочим, сообщившего, что ординарец-волонтер генерала Верховцев завел дальше, чем было приказано, Ветлужский полк, сильно через это пострадавший.

«Да неужели же это правда, — думал Володя, — и зачем он только взялся не за свое дело?»

Так как офицер возвращался в ту же ночь к своему генералу, то Половцев попросил его передать Верховцеву поклон и просьбу не очень рисковать, отдохнуть. «Надеюсь, вы будете завтра в Плевне», — полушутя, полусерьезно заметил он ему на прощанье.

— Будто в самом деле завтра состоится общая атака?

— Конечно, — ответил Володя, удивленный таким наивным вопросом, — а что?

— Войска нет, с чем мы будем атаковать?.. Непременно отобьют!

— Ну, теперь поздно об этом толковать, — отозвался Половцев возможно хладнокровно, хотя сердце его сжалось. «Не предчувствие ли это?» — по обыкновению подумал он.

На другой день все, от рассыльных казаков до старшего начальства, поднялись очень рано.

Давно уже моросил мелкий дождик, до того размывший почву, что и по ровному месту трудно было ходить, — на целые вершки приставала глина к подошвам, — взбираться же на высоты было еще труднее.

«Как наши пойдут сегодня?» — думал Володя, глядя на обложенное кругом небо, однако воздержался от сообщения своей мысли, так как понимал, что, ввиду сделанных приготовлений, рассуждать больше не будут, а станут действовать.

«Почему бы, однако, не отменить штурма? — опять мелькнуло у него в голове; но суета кругом, сборы и все распоряжения дали понять, что такой мысли суждено остаться праздной. — Наверное, не отменят». Мелькнуло затем и другое предположение: «А что, как сегодня возьмем Плевну?.. Авось!»

Половцев поздно вышел к чаю, за общий стол, где шли те же разговоры, что и обыкновенно. Остроумный Горяинов рассказывал о новом подвиге своего казака Паршина на трудном поприще добывания ячменя для лошади, — подвиге воровском и хитром в то же время; он рассказывал так забавно, что все, не исключая начальства, смеялись. Впрочем, было уже как-то заведено, что если Горяинов рассказывал что-нибудь, то всем непременно было смешно; его большой рот еще только открывался для рассказа, как уже лица всех присутствовавших расцветали, в долг.

На другом конце стола шел бойкий спор о собаках.

Горяинов потом перешел к рассказу о том, как общий всем знакомый, начальник наградного отделения Белищев, приходил в отчаяние от ухаживанья за ним чуть ли не всей армии: «Волочатся за мной, — будто бы жаловался он, — точно за хорошенькою женщиной!» У него заболели ноги, старый ревматизм, и вот всякий приходящий справиться о награде считал нужным скорчить постную физиономию и выразить ему соболезнование: «Как ваше здоровье, Петр Дмитриевич? Что ваша нога? Что с вашею ногою, Петр Дмитриевич? Лучше ли ноге вашей?» — «Я уж, — будто бы говорил он, — прерываю всегда эти нежности вопросом в упор: говорите прямо, о чем вы хотите справиться, о чине или о кресте, не будем терять время!»

Все за столом смеялись, не отставали, конечно, и те, у которых рыльце было в пушку, т. е. которые частенько заглядывали в наградное отделение справляться о ходе своего представления к наградам.

Начальство скоро уехало на позицию с несколькими офицерами; за ними, наскоро допивая и доедая, заторопились и остальные.

Володя поднимался на гору вместе с уланом Дементьевым, тучным и добрым малым, регулярно каждый день смешившим весь стол своими попытками глотать водку тайком от начальника. Дело в том, что ему строго запрещено было докторами все спиртное и хозяин сам смотрел и всем велел наблюдать, чтобы Дементьев не опрокидывал традиционных «рюмочек очищенного» ни перед завтраком или обедом, ни в продолжение их. Опекаемый с этим, однако, не мирился и всегда улучал минуту, чтоб обмануть бдительность начальства; что же касается других охранителей, то все они, смеясь, потворствовали, заслоняли, под столом передавали рюмки. Только Володя, новичком принявши дело к сердцу, вздумал было громко заявить о только что проглоченной рюмке горькой, но ему так внушительно показан был кулак, что он более не покушался шпионить упрямого улана и скоро сделался с ним большим приятелем.

Александр II под Плевной 30 августа 1877 г.

Теперь, въезжая на гору, товарищи перекидывались замечаниями о предстоявшем деле, когда за ними раздался оклик: «Дорогу, дорогу!» Офицеры едва успели дать шпоры лошадям, отскочить в кусты и взять под козырек, как запряженная четверкою вороных коляска промчалась мимо них и скрылась, провожаемая казаками.

……

На горе шли приготовления к божественной службе перед походною церковью, помещавшеюся в довольно просторной зеленой палатке.

Владимир окинул взором картину, расстилавшуюся перед ним: на сером фоне плевненских окрестностей и укреплений, перед церковною палаткой, начальство с большою свитой, все на коленях. Меж раскатов неумолчной ружейной дроби и пушечной пальбы слышится голос священника, молящегося о даровании победы и одоления.

Небо тяжелое, точно свинцовое; продолжает моросить все тот же мелкий дождичек. Вдруг страшный треск ружейных выстрелов в центре обратил на себя общее внимание: как, откуда, отчего так рано? Все знали, что по диспозиции дело должно было начаться в три часа, — очевидно, или вышло недоразумение, или напали сами турки. Был послан офицер с поручением разузнать, откуда эта преждевременная стрельба

……

Дым от орудий и от непрекращавшихся ружейных выстрелов закрыл все поле битвы. Некоторое время видны еще были дымки выстрелов дальних турецких редутов и нашего левого фланга, потом и они задернулись и слышны были только крики: «Ура! Ура! Алла! Алла!» — перешедшие с началом общего дела в непрерывный рев нескольких десятков тысяч голосов.

Его светлость лично подвел Половцева к главнокомандующему для доклада о результате поездки на Дунай.

……

— Земляк, земляк! — раздался голос за Владимиром, когда он отходил еще с рукой под козырек, и цепкие длани милого старика князя Суворова охватили его. — Земляк! — Половцевы были помещиками в Новгородской губернии, родины князя. — Сколько лет, сколько зим! — и старик облобызал молодого человека; потом он стал говорить ему о Верховцеве, которого знал:

— Молодец, молодец драться, нам, военным, подает пример, только не лечится — три раны, не перевязывается; доктор жаловался, дикое мясо растет, а молодец, молодец, ай да

писатель!

От него Половцева принял и чмокнул тут же стоявший покровитель его граф А.

— Ну, что пишет отец, а?

Володя передал поклон и некоторые домашние подробности.

— Он писал мне не очень давно: о тебе почти не поминает, но я между строк читаю, как он и мать боятся за тебя, а?

Владимир, покраснев, улыбнулся в знак согласия.

Его светлость румынский князь Карл, здесь находившийся, тоже удостоил его несколькими словами, вопросами о дороге, встреченных частях войск и т. п.

Еще двое важных генералов, знакомых Володе по дому графа А., приветливо подали ему по пальцу в перчатке и запросто, не по-начальнически, перекинулись приветствием и шутливыми замечаниями.

Все глаза завистливо-добро смотрели на Володю, когда он вернулся к товарищам, при всех обласканный большим начальством. Раньше здоровавшиеся спешили еще покрепче пожать ему руку, а не видевшие со вчерашнего дня чуть не задушили в дружеских объятиях.

С места расположения штаба не видно было ни румынских, ни наших войск правого фланга, действовавших против Гривицкого редута, и князь Карл с своими офицерами спустился ниже по горе, откуда Гривица была видна; за ними пошел старик Скобелев[24], взявший с собою нескольких офицеров, и в числе их Половцева.

Разместившись в кустах, куда иногда шлепали неприятельские гранаты, они могли наблюдать за действиями правого фланга: хорошо были видны изгибавшиеся линии наших войск, шедших в атаку, то раздаваясь, то снова стесняясь; линии ломались, часто прерывались и от неровности местности, и от бивших по ним неприятельских снарядов, но снова смыкались и подвигались вперед. Не только слышно было их «ура», но, казалось, чувствовалось самое биение сердца всего этого извивавшегося по высотам коллективного живого тела.

Что сталось с Гривицким редутом! Безмолвный за время бомбардировки предыдущих дней, он многих ввел в заблуждение: вчера еще передавались догадки и чуть не верные сведения о том, что у него не хватает снарядов, подбиты орудия и т. п., и вдруг он начал теперь фыркать и плеваться, — очевидно, не хотел прежде тратиться на бесполезную перестрелку.

Поминутно стали показываться белые дымки, и снаряды начали ударять по рядам наших войск.

Вот граната ударила между шеренгами, взвился столб дыма,

все шарахнулось в стороны и словно замерло в ожидании: взрыв! — и десятка два народа полетело, как снопы. Некоторые, просто оглушенные, вскочили и побежали дальше догонять штурмующих; из раненых одни сами поднялись и поплелись, опираясь на ружья, вниз в лощину, под закрытие; к другим стали подходить санитары с носилками.

Владимир ясно увидел поднимающиеся с той стороны редута румынские войска: они бегут с криком, некоторые смельчаки прыгают в ров, даже пробуют лезть на бруствер, но вся масса войска не следует за ними, она прилегла во рву, шумит, кричит и вперед не двигается. Малейшее неосторожное движение головою или рукою, видимо, стоит смерти или сквозной раны, так как пули сыплются.

«Так-то штурмуют укрепления!» — думал Володя, в первый раз видевший эту историю и почувствовавший маленькое разочарование к ней. Уж очень это все было просто, по-человечески, не так, как описывают и как он представлял себе. И все-таки он внутренне порадовался, что не на его долю выпало вести солдат на штурм Гривицы, в этот негостеприимный клочок вскопанной, изборожденной гранатами земли.

Вот отдельные фигуры, темными пятнами выделяющиеся на фоне неба, начинают выскакивать изо рва и, кто тихо, кто бегом, отходят назад… потом, как муравьи из кучи, выползает изо рва масса фигурок, сильно работающих руками и ногами, едва встав на ноги, устремляющихся вниз, под прикрытия уклонов, в более безопасные места, и провожаемых выстрелами неприятеля, видимо, едва только успевающего заряжать и заряжать орудия.

Володя не сразу сообразил, что это значит, и только раздавшийся около него голос: «Отбиты!» — вывел его из недоумения. Опять невольно подумалось: «Так вот что значит быть отбитыми! Как и это просто, не так, как по реляциям!» Он невольно взглянул на князя Карла: его светлость был так встревожен, что, казалось, шатался на ногах.

— Лошадь!.. Я поеду туда, скорее лошадь! — отрывисто приказал он.

— Как ваш князь встревожился, однако, — заметил один из наших офицеров оставшемуся после отъезда князя румынскому полковнику.

— Он знает, что если отобьют, так ему несдобровать, — флегматично, не отнимая бинокля от глаз, ответил тот, — его прогонят из Румынии.

Наши войска, буквально осыпаемые гранатами и пулями, тоже воротились, даже не дойдя до бруствера редута.

Высоты были гладки с этой стороны, и солдатики очутились

как на ладони у турок, — стреляй на выбор! Видно было, как ряды стали двигаться все медленнее и медленнее, как от действия неприятельского огня линии людей стали чаще разрываться и, главное, не смыкаться дружно сейчас же снова; «ура» сделалось нерешительным, прерывистым, не только не увлекающим, а скорее каким-то предостерегающим… Некоторые попятились назад, но большая часть стояла еще в нерешительности, продолжая шуметь… Одна, другая граната шлепаются между шеренгами, разрываются с страшным шумом, валят много народа и окончательно обескураживают штурмующих… Все беспорядочно поворачивает назад: кто похладнокровнее, отходит тихо, нервные бегут…

Приблизительно около пяти часов Владимир увидал влево, внизу, какую-то фигуру верхом, в странной шляпе с широчайшими полями. Выдвинувшись из дыма, покрывавшего поле битвы, фигура слезла с лошади и приблизилась. Оказалось, что это поручик Грин[25], военный агент Соединенных Штатов. Он возвращался из центра, из отряда генерала Глотова, и уверял, что в этой части войск полная неудача: солдаты воротились усталые, обессиленные физически и нравственно, и нельзя было надеяться снова двинуть их с расчетом на успех, при наличных силах, недостаточных против высот, укрепленных траншеями и такими страшными редутами, да вдобавок грязных, скользких.

Стало смеркаться, треск ружейных выстрелов начал утихать, орудия стали молчаливее. Начальник Володи тут и остался ночевать, чтобы быть ближе к полю битвы.

Надвигалась ночь, моросил все тот же назойливый мелкий дождичек; мало было огней, немного разговоров, еще менее шуток и смеха. Все, начиная с его светлости, устраивались и примащивались на ночь, как могли, в колясках, тарантасах, даже телегах и под теми и другими.

Владимир забрался в повозку к полковнику Ассенкапу и считал себя еще счастливее других, так как имел надежду согреться и заснуть, но бравый полковник, бывший до той поры молчаливым, вдруг тоненькою фистулой стал выпевать различные мотивы из *Травиаты* и *Трубадура*. Вряд ли полковник попевал по тому побуждению, по которому обыкновенно заливается соловей, вернее, что он хотел внести нотку развлечения в свое и общее грустное настроение; но только Половцев, как ни старался, не мог заснуть, и когда, наконец, хозяин успокоился, гость, убедившись, что ему не заснуть эту ночь, тихонько вылез из повозки и подошел к ближнему огню, около которого грелось несколько офицеров и казаков.

Глядя на эту кучку людей, ярко освещенных пламенем костра,

ему вспомнилось классическое выражение: «картина, достойная кисти Сальватора Розы»[26].

Сидели на чем попало: на седле, на бурке, на заготовленном для костра хворосте и просто на траве; другие стояли кто передом, кто задом к огню, широко расставивши руки и ноги, щурясь от дыма и искр. Шутили, смеялись вполголоса, чтобы не нарушить покой князя, спавшего неподалеку в своем экипаже.

Вдруг Владимир услышал громко и резко раздавшийся в тишине голос, по которому узнал генерала Тимур-хана:

— Ваша светлость!

— Что тебе?

— Ведь Гривицкий редут взят!

— Врешь?

— Ей-богу, взят!

— Да врешь ты, я тебе говорю!

— Зачем же я буду врать? Я оттуда, говорил с нашими и румынами.

— Ну, если ты врешь, я тебе надеру уши, а если говоришь правду — расцелую!

Начальство распорядилось позвать и послать к редуту генерала Крюкова, для того чтобы хорошенько разузнать, в наших он руках или нет.

Крюков хотел взять с собою Володю, но один из гревшихся у огня офицеров генерала Глотова, хорошо знавший дорогу на Гривицу, предложил свои услуги.

— И охота тебе называться на езду в такую темь! — шепнул тому товарищ.

— Командировка, брат, разве не знаешь чем пахнет?

Офицеры скрылись в непроглядной темноте, а его светлость, выйдя из экипажа, подсел к огню и под влиянием хорошей вести стал без стеснения шутить и смеяться с окружавшими.

Откуда-то взялся капельмейстер одного из пехотных полков, немец, живо напомнивший Володе аптекаря их уездного города, — так же плохо говорил он по-русски, с тем же видимым расчетцем смешил притворною флегмой и наивностью, с которыми рассказывал разные рискованные анекдоты из своей семейной жизни.

Meine Frau, meine Frau в различных комических положениях не сходила у него с языка, и, конечно, его Frau не поздоровилось бы, если б она увидела, в какой веселой военной компании произносилось ее имя и рассказывались разные сюрпризы интимной жизни, нельзя сказать, чтобы относившиеся прямо к капельмейстерским обязанностям ее супруга.

Володя хохотал до неприличия, но, впрочем, немало

смеялись и другие, начиная с его начальника, — у всех нервы, болезненно натянутые в продолжение многих суток, может быть, недель, месяцев, не прочь были порасправиться и отдохнуть на шутке.

Право, можно было подумать, что г. капельмейстер О-го полка и не подозревал присутствия важного лица в окружавшей его компании, им потешавшейся, — так беззаботно весело, так наивно-эгоистично расписывал он то, о чем обыкновенно не только перед начальством не говорят, но и перед товарищем умалчивают. Увы, хитрый Тедеско отлично знал, что делал: в самый разгар шуток и смеха он ловко вставил, обратившись прямо к его светлости, маленькую просьбицу, касавшуюся его маленького благополучия.

Крюков воротился с положительным известием о том, что Гривицкий редут взят и что румыны и наши архангелогородцы оспаривают одни у других честь первого входа в редут. Флигель-адъютант полковник Шлиттер, командир этого полка, смертельно ранен.

Как ни печально было последнее известие, так как Шлиттер пользовался репутацией «рыцаря без пятна и упрека», Половцев, вместе со всеми присутствовавшими, вздохнул свободнее: тяжесть гнетущего впечатления неудачи уменьшилась, наполовину свалилась с плеч.

С рассветом возвышенность опять оживилась, стали получаться донесения, офицеры сошлись группами для обмена впечатлений и свежих новостей.

С левого фланга приехал адъютант главнокомандующего, ротмистр Тертельн и, между прочим, сообщил, что литератор Верховцев, состоявший при Скобелеве ординарцем-волонтером, убит.

Половцев тотчас же отпросился съездить туда, чтобы проверить справедливость известия и, если оно верно, предать земле тело друга.

Не дожидаясь общего чая, он сунул булку в карман, вскочил на лошадь и поскакал по направлению к левому флангу, не большою, кружною дорогой, а прямиком, возвышенностями и оврагами, не без основания рассчитывая, что после такого кровопролитного дела, как вчерашнее, не только мы, но и неприятели наши должны были отдыхать и сидеть дома.

Боже мой, какое разрушение по дороге! Деревни дотла выжжены, кое-где торчат только части труб и груды кирпичей; жатва хлебов, кукурузы и винограда вытравлена, и вся местность изрыта гранатами. На местах, обстреливавшихся нашими орудиями, бросалось в глаза большое количество русских гранат,

оставшихся неразорванными. Много попадалось мертвых тел, а к стороне ближнего редута их виднелось и еще более. Предположение Володи вполне оправдалось, так как даже по открытым для турецких выстрелов местам он проехал с казаком совершенно благополучно, не вызвавши огня, — видимо, туркам было не до одиночных всадников.

За деревней Брестовац, выбравшись из ущелья на дорогу, Владимир встретил двух докторов, шедших с левого фланга: «Не знают ли, не слыхали ли чего об Верховцеве? Правда ли, что он убит?»

— Верховцев, Верховцев… фамилия известная; кажется, убит, а впрочем, может быть, и ранен; спросите в дивизионном лазарете, тут, наверное, знают.

— Давно бы так! — подумал Володя. — Где дивизионный лазарет?

— Сейчас здесь, вот переедете пригорок, в лощине и будет.

Скоро в указанном направлении показалось несколько больших палаток с массою толпившегося перед ними народа. Сестры милосердия входили в них с тазами, полными теплой воды, и выходили с грудами перепачканных в крови корпии, ваты и бинтов.

Время от времени доктора выбирались из палаток на свежий воздух, который вдыхали в себя, как щуки на песке; курили, созерцая хороший солнечный день и голубое небо, затягиваясь столько же из удовольствия, сколько и из гигиенической предосторожности, и затем опять ныряли под палатку осматривать, перевязывать, резать. Они все были без сюртуков, с засученными рукавами рубашек, и кожаные фартуки их сплошь краснелись от крови; кровь была на руках и даже на лицах, — где тут мыться, когда насилу урвешься покурить?

Видимо, чертовски усталые, они не прочь были поболтать со свежим человеком, так что когда Володя, отдавши лошадь казаку, подошел к одному из них, чтобы расспросить об интересовавшем его деле, тот охотно вступил с ним в беседу и любезно сообщил, между прочим, что идет перевязка «восьмой тысячи», причем не утерпел, чтобы не пожаловаться на все трудности и недостачи: не хватает ни рук, ни материала. Вот ждем не дождемся хлороформа, — слышите, какой рев стоит?

В самом деле, из одной палатки слышался раздирающий душу крик: «Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие!» — на который следовал мерный, отечески-внушительный ответ: «Подожди, братец, подожди, какой ты нетерпеливый; еще плясать будешь, подожди только!»

Володя повторил вопрос о Верховцеве, не слышали ли чего о

нем?

— Тут много привезли. Кто он такой?

— Ординарец генерала Скобелева, волонтер, это известный литератор.

— А, знаю, знаю, т. е. не лично знаю, а слышал о нем! Нет, он не убит, его провезли. Помнится мне, говорили, что он останавливался у нас для перевязки. Да, да, я ведь прежде много слышал о нем и даже, грешным делом, читал кое-что из его сочинений, так хотел взглянуть на него, да не успел, опоздал, завален был работой, его сейчас же увезли дальше. Кажется, я не ошибаюсь. Впрочем, советую вам все-таки проехать на левый-то фланг, там уж наверное узнаете, что и как.

— Да я туда и еду. Покамест позвольте войти, взглянуть на раненых?

— Сделайте одолжение! Коли не видели раньше — прелюбопытно.

Доктор повел офицера внутрь палатки между стоящих, сидящих и лежащих у входа ее солдат. Каких-каких тут ран не было!

Самые окровавленные физиономии, с разбитыми челюстями, смотрели особенно непривлекательно: у не перевязанных еще вся масса наверченного около головы, как от тяжелого вида флюса, тряпья была обыкновенно сплошь пропитана кровью, и запекшеюся, и свежею; при попытке такого субъекта говорить выходило какое-то однообразное беззубое лепетание, сопровождавшееся брызгами крови во всех направлениях и, прежде всего, в лицо слушавшему.

У самого входа, в палатке, сидел раненный в ногу пехотный генерал; он обрадовался приезжему из штаба и стал расспрашивать о результатах вчерашнего боя. Володя вскользь рассказал о неудачно выполненной части общей программы и указал на важность занятия Гривицкого редута, чем порадовал почтенного воина, с видимо облегченною душой перекрестившегося и сказавшего: «Ну, слава богу, слава богу!»

У входа же, в углу, лежал навзничь тяжелораненый офицер в полковничьем флигель-адъютантском мундире; лицо было закрыто кисеею от назойливых мух, грудь судорожно и высоко вздымалась.

— Это Шлиттер… Очень жаль, никакой надежды, — сказал доктор. — Здесь все трудные, — прибавил он тихо, — тех, что ранены полегче, держим снаружи — нет места. — Это что?. — сердито крикнул доктор фельдшеру, указывая ногою на фигуру солдатика, растянувшегося среди палатки, — убрать!

Труп унесли.

— Ну, каково тебе сегодня? — спросил доктор одного коренастого, красного от лихорадки пехотинца.

— Лучше, ваше высокоблагородие, много лучше, даст бог, поправлюсь теперь, — отвечал солдат, глядя с видимою надеждою в глаза доктору.

— Он не переживет сегодняшней ночи, — объяснил тот Володе по-французски. — Ну, а ты как?

— Полегчало, ваше высокоблагородие, только вот повыше стало как будто сказываться; ну, да даст бог, пройдет и это… Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие…

— Гангрена поднимается; умрет через несколько часов.

Сестрицы, как тени, скользили мимо, поднимали глаза на офицера и тотчас же проходили, серьезные, озабоченные, усталые, изломанные работою в продолжение всей ночи.

Не видевши еще такой массы раненых, Володя и тут должен был сознаться, что прежние его понятия о них были не верны; и держались, и умирали все эти люди гораздо проще, чем он представлял себе. Ему всегда казалось, что на перевязочных пунктах раненые лежат в более или менее картинных или, по крайней мере, интересных позах, а тут вот, при выходе из палатки, он наткнулся на принесенные носилки, только что опущенные санитарами на землю; доктор нагнулся к чему-то, представлявшему еще живое человеческое существо: на грязной, кровью залитой холщевине носилок лежала скорчившаяся фигура, вернее — комок бледного, зеленоватого человеческого мяса, прикрытого ветхою, разорванною, прожженною шинелишкой. Веки закрытых маленьких глаз приоткрылись, и воспаленный взгляд стал следить за движениями докторской руки, которая откинула шинель, завернула рубаху в том месте груди, где виднелось несколько капель крови, и… быстро опустила все это на старое место.

«Верно, не опасно», — мелькнуло в голове раненого, который уже бодрее глядел на доктора, тем временем вытиравшего руки о край шинели и бесстрастным голосом объяснявшего Володе, что не стоит возиться: сейчас умрет.

Слезы подступили к горлу Владимира, вырвавшегося, наконец, на чистый воздух. Близ дороги, до которой доктор любезно проводил его, он услышал не то стон, не то жалобу: «Господи! хоть бы хлеба кусок! Вторые сутки ничего во рту не было!»

Вспомнивши о захваченной им булке, он вынул ее из кармана, и тотчас же десятки рук потянулись к хлебу. Володя роздал ее направо и налево микроскопическими порциями, тут же лихорадочно проглоченными. «Господин офицер, ваше

высокоблагородие!» — слышалось с разных сторон, но уже раздавать было нечего.

— Что делать, ничего у нас не хватает; все они ни вчера, ни сегодня ничего не ели, да и завтра, вероятно, не будет раздачи, — сконфуженно пояснял доктор. — Нас ведь не спрашивают.

Тем временем навстречу несли носилки с ранеными в таком количестве, что, как бывает с экипажами на людном гулянье, когда передние останавливались, задние наталкивались друг на друга. «Чего стали? Проходи, что ли!» — слышались голоса санитаров.

Володя поехал далее. Вправо от его пути стоял отряд, ружья в козла, видимо, готовый к действию, но, по всем признакам, не намеревавшийся переходить в наступление.

С левого фланга все сильнее и сильнее доносилась непрерывная трескотня сильнейшей пальбы, вместе с криками «ура!» и «алла!». Очевидно, у Скобелева шла горячая битва.

«Убит»; «не убит, а, кажется, ранен»; «право, не знаю, должно быть, убит» — были ответы на вопросы о Верховцеве.

— Как же, знавал их, — ответил один донской казачий офицер. — Конечно, не смел беспокоить своим знакомством, потому как они состояли при генерале и исполняли важные поручения, а только они раз ночью по дороге заходили в мою палатку.

На вопрос же о том, жив ли Верховцев, и этот ответил: «Право, не могу в точности сказать, кажется, будто бы убиты, должно быть, убиты, а, впрочем, не знаю наверное».

Володя добрался до Зеленых гор, где ему указали на лужке около дороги начальника левого фланга, генерала Грузинского. Тут же бывший начальник штаба отряда, полковник Варенцов, хорошо знавший Половцева, сообщил ему, наконец, положительное сведение об участи его приятеля: Верховцев был убит наповал и тело его оставалось на поле битвы[27].

— Разве нельзя его было вытащить?

— Конечно, можно; осетины, его сопровождавшие, лучше других сумели бы перекинуть его через седло и вывезти, но — что вы хотите с этим народом? — он не *свой*, не казак, и они оставили его.

— Ну, так я вывезу его.

— И думать нечего об этом: турки наступают и теперь уже на оставленных нами местах; мы ведь ретируемся… Пойдемте, я представлю вас генералу.

Светлейший князь Грузинский, расположившийся на траве в полурасстегнутом мундире офицера генерального штаба, любезно принял Половцева, указал ему на место возле себя и на стоявшие

перед ним остатки вина и курицы, от которых Володя отказался, несмотря на сильное желание поесть.

— Что, вы не знаете, идут к нам на помощь? — спросил князь.

— Нет, не видел и ничего не слышал об этом.

— Приказания не было? не встретили войск?

Володя объяснил, что здесь, недалеко, видел отряд, расположенный близ дороги, в полной готовности, но двигаться к ним на помощь, кажется, не собиравшийся.

— Ну, так нам будет плохо, очень плохо: нас прогонят отсюда сегодня же, — и князь сделал движение рукою по направлению к турецкому редуту.

Глянув по этому направлению, Владимир только теперь сознательно вслушался в адский ружейный треск, оттуда раздававшийся, сопровождаемый частыми орудийными выстрелами. Тоску наводило протяжное непрерывное «ура!», казавшееся слабым, изнемогавшим, сравнительно с настоящим ревом турецкого «алла! алла!».

— Ах, это тот молодой человек! — сказал князь, прислушавшись к разговору Варенцова с приезжим. — Да, ужасно жаль, очень храбрый! Я хорошо помню — Михаил Дмитриевич присылал его ко мне.

— Знаете что? — предложил Баранцов. — Вам теперь лучше воротиться; теперь вы ничего не разыщете и не узнаете; обещаю вам дать знать тотчас же, как только отыщется его тело, если оно отыщется.

Володя согласился и, уезжая, вызвался передать по начальству то, что будет князю угодно сообщить; но Грузинский и Варенцов, поблагодарив, отклонили его предложение: «Просто расскажите, что вы видели и слышали, а просить помощи теперь бесполезно. Пока вы доедете, нас уже выгонят с этого места. Послушайте, что делается у Скобелева. Обратите внимание на то, что шум приближается, — плохой знак, как вы понимаете?»

Тяжело было на душе Владимира, когда он тою же дорогой ехал назад, — тяжело и за Верховцева, и за все виденное: неужели нельзя было подкрепить частью войска, ничем сегодня не занятого, Скобелева, отделывающегося теперь своими тощими боками от половины плевненской армии? Варенцов говорил, что на их настойчивые требования генерал Глотов[28] прислал один полк, до того расстроенный, что он почти ни к чему не послужил и что теперь оставалось только отступать, и это при полной тишине и спокойствии на всей линии, т. е. в виду не одного десятка тысяч наших войск.

Все еще доносившиеся издали крики «ура, ура, ура!» казались

Володе какими-то прощальными воплями бравого левого фланга, занявшего было позицию над самым городом и теперь принужденного отступать, чтобы не сказать бежать. Тяжело, очень тяжело!

Для себя, для разъяснения своих сомнений он решил немедленно же заехать по дороге в отряд генерала Глотова и разузнать, что мешало им помочь дерущимся товарищам по известному военному правилу «на выстрелы спешат», — какая цель, какие виды удержали их от этого?

Владимир нашел полную тишину в войсках центра. Он слез с лошади у палатки начальника штаба полковника Виницкого, где застал кроме хозяина одного из своих старых знакомых, бывшего дипломата Дедищева, теперь в чине гусарского юнкера состоявшего при штабе генерала. Когда Половцев завел речь об отчаянном положении левого фланга и о необходимости помочь ему, его встретили недоверчивые улыбки и замечание полковника:

— Вы увлекаетесь, дорогой гость, а мы-то с чем же останемся?

— Да ведь на вас не нападают?

— А если нападут?

— Сами турки не нападут, коли их не трогать.

— А вы почему это знаете? А если мы имеем, напротив, положительные сведения о том, что неприятель замышлял нападение именно на нас?.. Довольно, однако, об этом, юноша, вы сентиментальничаете, а мы взвешиваем хладнокровно… Извольте-ка, храбрый воин, «снять шляпу, сдеть шпагу, вот табурет, раскиньтесь на покой»! У нас есть еще жестянка сосисок, кажется, последняя, но мы откроем ее для редкого гостя.

Как ни грустно было Володе то, что главные силы наши бездействуют в то самое время, как левый фланг буквально погибает, от сосисок он не отказался. Жестянка была вскрыта и поровну разделена между четырьмя присутствовавшими. В палатку вошел еще один офицер штаба Глотова, товарищ Володи по корпусу, узнавший о его приезде.

Оба они тотчас же съели свои порции, но Виницкий с Дедищевым распорядились иначе: они зажгли спиртовую лампочку и стали разогревать на ней свои доли.

«Ах злодеи, — невольно подумали съевшие, — как они это хорошо придумали! Что бы и нам то же сделать?» А те, видя зависть приятелей, стали подтрунивать: «Ага! небось жалеете, что поторопились, вот и казнитесь теперь, любуйтесь, как мы будем есть!».

Аппетитный пар пошел от разогретых choux-croute[29], когда

ее выложили на тарелку, и буквально у всех присутствовавших слюнки потекли, но в эту самую минуту в двери палатки всунулась голова, в нахлобученной фуражке, с огромными темными очками, генерала Глотова.

— Э-э! да вы, господа, здесь роскошествуете!

— Ах, ваше превосходительство! — и офицеры повскакали со своих мест. — Милости просим! Не угодно ли закусить?

— Закусить не откажусь, — решительно ответил вошедший генерал, плотный, небольшого роста, седой. Он сел к столу, не теряя золотого времени, вооружился ножом и вилкою и, ни разу не повернувши головы, не проронив ни слова, съел все, решительно все, без остатка, к ужасу обоих голодных подчиненных своих, неподвижно стоявших за ним и только обменивавшихся грустными взглядами взаимного сочувствия и соболезнования.

Володя закусил губу от смеха, а товарищ его, состоявший адъютантом при Глотове и знавший, что расчетливому генералу редко доводилось пользоваться таким кулинарным праздником, ушел тихонько из палатки, чтобы не рассмеяться над унылыми физиономиями объеденных.

— Вы истинно роскошествуете тут, — повторил генерал, уходя и облизываясь, — сосиски у вас превкусные!

На другой день Варенцов прислал Владимиру казака с письмом, в котором уведомлял, что Верховцев был найден еще раньше его приезда, и не убитый, как думали по первым известиям, а тяжело раненный; что после долгих стараний его привели в чувство, перевязали и отправили сначала в дивизионный лазарет, а потом, после новой перевязки, далее, в Систово, где он и должен теперь находиться.

Он прибавлял далее, что об участи левого фланга лучше и не говорить — так буквально исполнилось все то, что они с князем предвидели и говорили.

В штабе Володина начальника знали уже, что Осман-паша с большими силами обрушился на Скобелева и прогнал его за шоссе, т. е. далеко за то место, где Владимир беседовал с князем Грузинским и его начальником штаба.

Половцев тотчас же послал депешу Надежде Ивановне:

«Верховцев ранен, едет в Систово, не пропустите. Привет, пожелание всего лучшего.

Владимир».

IV

Наталочка чутко прислушивалась к вестям из Плевны, продолжая вместе с теткою заниматься уходом за ранеными.

Мысли ее блуждали чаще всего около храброго Скобелева, который, как она знала из общих разговоров, раньше других повел решительные действия против турок перед общим штурмом.

От Скоболева мысль ее часто переходила и к Верховцеву; о нем она случайно слышала отзыв в единственном ресторане Систова, в который они с тетей изредка заходили, как бы для того, чтобы напиться чаю, в сущности же, чтобы послушать разговоры множества приезжавших из армии и из России; отзыв был малопохвальный, небрежный, как о человеке, не берегущем ни своей, ни чужой жизни из желания выказаться, сумничать, причем была повторена история завлечения полка дальше указанного генералом.

— Тетя, этого не может быть, — говорила она, идя домой.

— Что, душа моя?

— Чтобы Сергей Иванович был такой.

— Бог его знает; я всегда думала, что у него не совсем ладно в голове. И зачем он воюет? Поехал писать, а вместо того заводит полки чуть не в засаду, — как это ему поручают серьезные дела?

— Нет, тетя, этого не может быть, что-нибудь да не так; я его знаю, он выскакивать не любит… Очень бы хотелось узнать от кого-нибудь правду об этом!

— Вот узнаем от Владимира, он, верно, тоже слышал.

— Ну, от Владимира!..

Надежда Ивановна искоса взглянула на Наташу и, ничего не ответив, только подумала: «Что это с нею сделалось?»

В Систове все уже знали, что был третий штурм, очень кровопролитный и не вполне удачный. Непривыкшая скрывать своих мыслей и чувств, Наталка задавала и Надежде Ивановне, и докторам вопросы об исходе битвы у Скобелева: «Неужели и у него неудача? Это просто невозможно! Такой храбрый, все о нем говорят, и вдруг отступит, как и другие — не может быть!»

— Скобелев зарвался, он отступил дальше всех, он оставил в руках турок все раньше занятое, — отвечали ей.

Наташа не решалась верить этому: уж не шутят ли над нею,

над ее разгоряченным патриотизмом?

«А Верховцев, что с ним?» — этот вопрос она могла задавать, конечно, только тетке и по неудовольствию, с которым та встречала его, видела, что Надежда Ивановна нимало не переменила мнения о «сумасшедшем» — последняя аттестация, слышанная в ресторане, видимо, понравилась и заменила «буку», которым Сергей Иванович величался до того.

Напротив, о Владимире Половцеве Надежда Ивановна вспоминала часто и тепло, но, в свою очередь, встречала что-то мало отклика со стороны Наташи, помнившей слова Федора Ивановича, всегда метко определявшего людей, что штабным хорошо живется и они всегда выйдут сухи из воды.

«Володя-то остался цел, — думала Наташа, — а Верховцева, наверное, или убили, или ранили», — какое-то внутреннее чувство говорило ей это.

И почему он до сих пор не дал знать о себе — ведь знает, что они работают в Систове? Володя извещал его об этом — писать не хочет, бука эдакий, гордый! Она внутренне улыбнулась, еще раз вспомнивши, как «гордый бука» упал в вальсе на свою даму, бедную Соню, и даже ноги вскинул кверху. Боже мой! Как она смеялась тогда, смеялась, как дурочка, несколько дней подряд и, надобно отдать справедливость Сергею Ивановичу, он также искренно смеялся над своею неловкостью.

«Да, он, вероятно, не щадил себя во время штурма, не избегал опасности. Впрочем, как знать, может быть, и Володя бывает под пулями? Ведь их, говорят, посылают. Что Володя не струсит, я в этом уверена, — рассуждала Наташа, — но… он между щеголями, гвардейцами, „зараженными Петербургом“, как выражался Верховцев о золотой молодежи; за них бабушка ворожит, их берегут.

Однако что же за причина, что я так много забочусь о Сергее Ивановиче? Ведь он мне не родной. Володя ближе, а я так мало думаю о нем, — допытывала себя неугомонная Наталка. — Надобно мне „проверить себя“, как выражался Сергей Иванович. Разберу их обоих, разберу откровенно, ведь никто меня не видит, — она невольно оглянула комнату, в которой действительно никого, кроме нее, не было, — разберу без фальши, по справедливости», — и Наташе показалось, что от этого разбора будет зависеть что-то очень важное для нее.

«Володя добрый, честный малый, ума не очень большого, — нет, он не очень большого ума, — но и не глупый, надобно сказать правду. Обо всем судит здраво, все делает разумно, как следует. Словом, он хороший, право, хороший, только „заражен Петербургом“, — опять пришла ей на ум та же фраза, — и сильно

заражен!»

Она хорошо замечала, что с нею он старался скрыть эту «зараженность», старался держать себя просто, непринужденно; зато в обращении с другими, особенно девицами, она замечала за ним маленькое фатовство, некоторую надутость своим гвардейским мундиром и знакомствами, хорошим французским языком, уменьем танцевать и красивыми разговорами, в которых, — это не укрылось от нее — одну и ту же удачную остроту он повторял по нескольку раз, вероятно, по перенятой у великосветских товарищей в Петербурге манере. «А уж как он любит говорить истины, которые все знают, говорить назидательно, будто только сейчас открыл их!.. А все-таки он хороший, добрый и милый, милый, милый!

Почему, однако, он так заметно проще со мною, чем с другими? Почему со мною не мудрит, как с другими барышнями?.. О, я это хорошо замечаю почему!

Потому что не смеет.

А почему не смеет?

Почему? Потому что любит меня.

Будто он в самом деле очень любит меня?

Да, да, да! — подсказал внутренний голос, — в этом и сомневаться нельзя, это столько раз так явно сказалось; и любит, и ревнует.

А Сергей Иванович меня не любит?»

Она сама удивилась смелости этого вопроса, который еще никогда не задавала себе; но раз задавши, покраснела, как маков цвет, так как ей показалось, что на этот вопрос может быть один ответ: да, любит!

Кровь бросилась в голову с такой силой, что девушка остановилась среди комнаты, по которой ходила, с глазами, устремленными куда-то далеко, и мысленно выговорила: «Это ясно; как только я не поняла этого раньше?»

Быстро, одно за другим, вставали теперь перед нею доказательства этого открытия, разные мелкие, ничтожные факты, прежде прошедшие незамеченными и лишь теперь получившие настоящий смысл.

И то сказать, ей в голову не могло прийти прежде, чтобы Сергей Иванович, умный, начитанный, образованный, полюбил ее, не умную, дурно образованную. Вот когда объяснилось, почему и он с нею был не тот, что с другими, только в обратную сторону: сколько со всеми был прост и непринужден, столько с нею напускно холоден и строг — строг и к ней, и к самому себе. Недаром он видимо избегал большой близости с нею, интимности, частых шуток, смеха — не маленькая же она была,

чтобы не видеть всего этого, только относила все к его нежеланию снизойти до уровня ее понятий, не догадывалась, что в этом скрывался влюбленный человек…

Пришло на память и то, что она нередко чувствовала на себе его долгий, упорный взгляд, за те минуты, когда он полагал ее занятою чем-нибудь и не замечающею этого. Сколько раз он, как школьник, старался извернуться, когда она перехватывала этот взгляд и спрашивала: «Вы хотите мне что-нибудь сказать, Сергей Иванович?»

«Как же я не понимала всего этого прежде? Ведь это так ясно! Будто так ясно? Ясно, ясно!» А засохшие цветы, забытые им в книге, она их хорошо узнала: те самые колокольчики, которые она сорвала, гуляя с ним, и потом бросила; очевидно, он тайком поднял их и сохранил.

Почему-то ей сделалось весело и радостно.

Хорошо, что Надежда Ивановна подошла из госпиталя не сейчас, иначе она подумала бы, что с ее Наталочкою что-то неладно. Однако, когда тетка воротилась, она тотчас заметила чрезвычайную живость, чуть не восторженность племянницы.

— Был у нас кто-нибудь?

— Нет, тетя.

— Не было писем?

— Нет, не было, тетя.

— Ты что-то особенно весела? — не утерпела, чтобы не спросить, Надежда Ивановна.

— Нет, тетя, я как всегда; сегодня хорошая погода, так хорошо дышится.

«Уж об этом-то открытии никто не должен знать, — решила Наташа, — зато первый же раз, что увижу Сергея Ивановича, я буду наблюдать — у-у, как буду наблюдать за ним! Теперь он от меня ничего не скроет: все, все дознаю!»

Как ни хранила она, однако, свою тайну, должно быть, открытие это не на шутку взбудоражило ее, потому что Федор Иванович заметил нервность девушки и первый раз, за все время их совместной работы, сделал замечание за какой-то промах или недосмотр: «Это, верно, Плевна сбила вас с толку», — сказал он, пытливо глядя в ее лихорадочные глаза.

Впрочем, было отчего явиться и заправской лихорадке: четверо, коли не пятеро суток прошло со времени битвы, а еще не было никакого известия не только от Сергея Ивановича, но и от Володи: «Куда ни шло, первый… с него и требовать нельзя было, а Половцев-то?.. Верно, что-нибудь случилось. Жив ли он? Живы ли они?»

Вот, наконец, поздно вечером болгарин из комендантского

управления с депешею! Наташа не утерпела, бросилась, вскрыла и… пошатнулась:

— Боже мой! Тетя! так и есть… Верховцев… — Да почему же так поздно? Депеша послана два дня тому назад! Почему вы не доставили ее раньше? — засыпала она вопросами болгарина, того самого, который устроил их на квартире и теперь ночью принес телеграмму, без него, вероятно, пролежавшую бы в комендантском управлении и еще два дня.

— Залежалась, много корреспонденции и занятий… все срочное, — бормотал тот в оправдание перед гневом хорошенькой барышни, не решаясь прибавить того, что только из любезности он взял на себя исполнение этой комиссии, не его, собственно, касавшейся.

— Ну, перестань же, душа моя, — унимала Надежда Ивановна по уходе молодого человека свою Наталку, старавшуюся скрыть охватившее ее волнение под напускным негодованием на позднюю передачу телеграммы. — Ты должна понять, что мы здесь не одни, не до нас…

— Где же нам найти его, тетя?

— Кого?

— Да Сергея Ивановича, тетя! Поймите, что он теперь, может быть, умирает на одной из этих ужасных телег, которые двигаются черепашьим шагом, или в каком-нибудь углу. Нам надобно его отыскать, тетя, понимаете, непременно! Может быть, от этого зависит его спасение.

— И отыщем, душа моя, только не горячись так; сделаем все, что будет возможно.

На другой день «сестры» встали ранее обыкновенного и пошли за город улицею, по которой обыкновенно двигались вереницы телег с ранеными.

Тотчас за чертою города они увидели приближавшийся транспорт. Быки лениво переступали по песчаной дороге, поднимая, несмотря на раннее время дня, громадные столбы пыли, скрывавшие от глаз удалявшуюся линию повозок. Сегодня их было менее обыкновенного, может быть, потому, что главная масса раненых была уже провезена.

Телеги двигались без шума, только поскрипывали плохо смазанные колеса да временами покрикивали погонщики. Некоторые солдаты, легко задетые в руку или голову, шли по сторонам дороги, опираясь на ружья и палки; другие сидели по телегам, кто раскинувшись, кто свернувшись, скорчившись. Одни спали или просто, подремывая, отдыхали на дне повозок; другие, сидя по краям, с повязками на лбу, на челюстях, на руках, исподлобья, сердито глядели на дорогу и на попадавшихся им

здоровых людей, конных и пеших.

Транспорт раненых

— Дорогу давай! Не видишь, раненые? — строго окликали они не успевших вовремя посторониться.

Не особенно приветливо смотрели солдатики и на «сестриц», остановивших переднюю телегу вопросом: нет ли у них в транспорте раненого Верховцева?

— А кто они будут? — спросил фельдшер, сидевший с несколькими унтерами и фельдфебелями в этой рогожею крытой повозке.

— Ординарец генерала Скобелева, только он штатский, не офицер…

— Слышал что-то о них, — сказал, подумав с минуту, фельдшер, — только ведь их в телеге не повезут, господ редко возят в них, должно быть, их увезли в госпитальной повозке, если только они не трудные и не остались временно в дивизионном или в Булгарени…

— Мы получили известие, что его отправили в Систово.

— Ну, значит, уж в городе нужно искать их, а что приехали они навряд в телеге, должно быть, в госпитальной повозке, — подтвердил фельдшер и велел трогать дальше.

— Тетя, слышишь? Ведь это, должно быть, правда! Как мы раньше не догадались, что он уже, верно, приехал? И в самом деле, надобно было спросить по госпитальным повозкам. Я почти уверена теперь, что его провезли третьего дня, — помнишь, сколько столпилось тогда этих повозок на нашей улице? Тетя, милая, пойдем к главному доктору, попросим его разузнать, он хоть скажет, где нам искать!..

— Нет, душа моя, уж если сделали глупость, что пошли сюда — ты же приставала — так теперь не будем продолжать ее. Прежде всего, пойдем в наш госпиталь, а то Федор Иванович будет недоволен, — ведь больные останутся без перевязки, — у него и узнаем, где нам искать.

Наташа согласилась с тем, что это было самое лучшее, что

они могли сделать, и даже удивилась, почему не додумалась до этого раньше. «Какая недогадливая! — мелькнуло у нее в голове. — Может быть, я буду причиною того, что он умрет; может быть, в это самое утро он уже умирает где-нибудь на руках фельдшера», — и она почти бегом пустилась по улицам, так что Надежда Ивановна в искреннем страхе не раз останавливала ее:

— Тише, душа моя, тише! Ты попадешь под лошадь! Да не беги же, Наталочка, куда ты? — успеешь!

Недалеко от своего госпиталя, на главной улице, Наташа поравнялась с дорожною повозкой, запряженною тройкой, в которой, рядом с дамою, сидел высокий брюнет с славною хохлацкою физиономией. Она узнала профессора Ликасовского и поздоровалась с ним.

— Вы едете, доктор, куда? — она слышала о каких-то неприятностях, бывших у профессора с походною военно-медицинскою администрацией, но не посмела спросить его об этих сплетнях.

— Едем вот с женою в Петербург; мне пора начинать лекции в академии. Одна часть плевненских раненых эвакуирована, другая перевязана и остается в надежных руках — пора за другую работу.

Подошедшая Надежда Ивановна объяснила предмет их розысков.

— Верховцев, — произнес профессор, как будто припоминая что-то, — кажется, он красивый блондин с бородою?

Наташа почему-то не ответила, а только кивнула головою — ей было очевидно, что профессор видел Сергея Ивановича, который был действительно блондин, с бородой и, наконец, действительно недурен собой. Даже Надежда Ивановна узнала по описанию Верховцева: хотя она никогда не находила его красивым, но ни в бороде, ни в блондинстве не могла ему отказать. Она ответила, что, должно быть, это он и есть.

— Так я вам скажу, что здесь вы его не найдете, — продолжал профессор. — Теперь я хорошо припоминаю: этот молодой человек был привезен в госпиталь в самую горячку; я его наскоро осмотрел, перевязал и так как у нас в офицерской палате решительно не было места, да и в других госпиталях то же самое, то велел направить его в Бухарест, в больницу Бранковано. Румынское правительство распорядилось отвести сто коек для наших раненых офицеров: там удобно, чисто, просторно, и ему будет спокойно. Не знал я, что вы принимаете участие в нем, иначе, конечно, уведомил бы вас, и вместе-то мы, пожалуй, нашли бы ему койку здесь в Систове.

— А перенесет он переезд?

— Думаю, да; доктор, сопровождавший их партию из Булгарени, припоминаю, передал мне, что молодой человек часто находился в забытьи, но в промежутках сознания охотно ел и пил, а это хороший знак, как вам известно. Лихорадки у него не было, и я думаю, что при этих условиях ему лучше было рискнуть переездом, чем оставаться в здешней тесноте и заразе… Постойте, постойте, — добавил доктор, — я был в таких хлопотах, что и не сообразил хорошо: помнится, мне говорили, что этот молодой человек статский, волонтер, — не тот ли это литератор, увлекшийся храбростью Скобелева и променявший перо на штык?.. — профессор не окончил, потому что девушка покраснела до корней волос.

— Да, это он, — выговорила она.

— Так я вдвойне сожалею, что не успел лучше заняться им. Обещаю проездом через Бухарест навестить его в Бранковано и известить вас о том, в каком он теперь положении.

— Мы, может быть, сами поедем туда, — сказала быстро девушка и опять сконфузилась, — не правда ли, тетя? — обратилась она к Надежде Ивановне.

— Ну, если так, — протянул профессор, улыбаясь на смущение хорошенькой «сестрицы», — если вы сами поедете, то, наверное, вылечите его… Покамест прощайте! Как же, как же, теперь припоминаю; мы ведь много слышали о нем, это наша слава, наша гордость, непременно повидаю его и посмотрю рану; она, признаюсь, тогда казалась мне не очень тяжелою, так что вы можете быть спокойны. Прощайте, если будете в Петербурге, милости прошу к нам в гости; в академии вам скажут наш адрес.

То же приглашение повторила и отъезжавшая жена профессора, после чего повозка запрыгала по убийственной мостовой, увозя «на север хладный и угрюмый» много поработавшего профессора, а «сестрицы» молча поплелись в госпиталь, каждая под впечатлением собственных мыслей: Наталочка с сознанием необходимости во что бы то ни стало уехать в Бухарест «выхаживать» Сергея Ивановича, для чего надобно было: во-первых, уговорить Надежду Ивановну, а во-вторых, покинуть больных — и то, и другое казалось тяжело и совестно; Надежда Ивановна, с своей стороны, раздумывала о том, что все как будто сговорилось против ее привязанности и за ее антипатию: как нарочно, все вело к разлучению Наташи с Володею, даже не показавшимся на глаза, и к сближению с Верховцевым, «красивым блондином с бородою», не без досады припоминала она слова Ликасовского.

«И нужно было ему пускаться при ней в эти похвалы! „Слава“, „гордость“! Нашел кем гордиться! А тут Володя не едет… Господи

боже мой, что же это такое? Правду сказано, что les absents ont toujours tort[30]».

Мысль бросить всех раненых и уехать для ухода за одним, как бы он ни был «славен», возмущала ее, и она решилась противиться предстоявшим, как она знала, атакам Наталки, хотя чувствовала, что, в конце концов, уступит и уедет.

Именно так и случилось: не далее как в тот же вечер, по возвращении домой, Наташа начала доказывать необходимость съездить в Бухарест, чтобы разузнать о Сергее Ивановиче, без чего они не исполнили бы обязанности доброго знакомства. Она говорила без своей обыкновенной шаловливости, серьезно, нервно, с дрожанием нижней губы, что всегда служило знаком решимости отстоять свою мысль слезами.

— Если вы, тетя, не хотите ехать, то оставайтесь здесь, отпустите меня с кем-нибудь, я все разузнаю и сейчас ворочусь, — серьезно закончила Наташа свою мысль.

Готовая на что угодно другое, только не на это, Надежда Ивановна едва дала и договорить ей:

— Что ты, что ты, душа моя? Да мыслимое ли это дело, чтоб я отпустила тебя одну? Уж если ехать, так поедем вместе.

— Поскорее же, тетя! Когда мы выедем?

— А вот, душа моя, сначала поговорим с Федором Ивановичем, — не очень-то он будет доволен этим сюрпризом, — потом и поедем.

В самом деле, Федор Иванович был очень огорчен, когда узнал о намерении «сестер» ехать в Бухарест, даже и для дела ухода за родственником, как они сказали ему.

В первую минуту он просто растерялся и только повторял: «Да меня-то на кого же вы покидаете?» Потом попробовал уговаривать, но увидевши, что решение их непреклонно, не утерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Вот они, волонтеры-то, вздумали — приехали, вздумали — уехали!» Однако он скоро выхлопотал себе двух сестер милосердия из недавно прибывших, взамен отъезжавших, так что через несколько дней обиход больных и все, что лежало на руках Надежды Ивановны, было сдано все до мелочей и в полной исправности.

Тетушка особенно настаивала на этом последнем, несмотря на нетерпение Наташи, сделавшейся крайне нервною за последнее время и даже всплакнувшей от неотвязной мысли о том, что Сергей Иванович умрет на чужих руках и ей, «ученице» и, как она теперь была уверена, «другу» его, не удастся ни помочь ему, ни хоть закрыть глаза.

— Мы не могли так сбежать, как ты хотела, душа моя, — говорила тетка, когда они выезжали из Систова, — ведь, право,

могли подумать со стороны, что мы здесь задолжали или сделали что-нибудь дурное и что за нами гонятся по пятам. Не умрет Сергей Иванович, если ему не определено. Помни, что все мы под богом ходим и что волос не спадет с головы нашей без воли его!

V

Сергей Верховцев лежал в бухарестском госпитале Бранковано, в одной комнате с товарищем по несчастью, казацким офицером, раненным в икру левой ноги.

У Сергея была контужена голова, задета грудь, а главное, сильно ранено бедро: пуля, пройдя на большом пространстве мягкое место, вышла, затащив в рану куски белья и платья[31].

За месяц перед тем у него была уже пробита рука и контужена голова, — контужена так сильно, что он упал тогда с лошади. Рана на руке успела зажить и только от небрежности и нерегулярности перевязок грануляции разрослись и образовали по краям дикое мясо. Относительно головы доктора затруднялись сказать, новая ли была контузия теперь или отклик старой, вызванный потрясением.

Рана в грудь была неопасна, почти под мышкою правой руки, и должна была скоро зажить. С бедром, напротив, дело обстояло хуже, — кость оказалась затронутою.

— Разрежьте рану, — советовал докторам госпиталя профессор Ликасовский, сдержавший свое обещание и посетивший «красивого блондина», — разрежьте, промойте и давайте ему больше хинина; это субъект нервный, у него будет лихорадка.

Доктора: старший — австриец, младший — пруссак, не захотели последовать этому совету и решили, что можно обойтись без операции, небезопасной ввиду того, что больной перестал принимать пищу и слаб. Что касается хинина, то, — так как лихорадки почти не было, да и вообще эта болезнь держалась в Бухаресте лишь в легкой форме, — решили повременить с приемом его.

Во время дорожной тряски в ужасной больничной повозке, будто придуманной специально для вытряхивания душ из больных, лихорадка начала было беспокоить обоих раненых, но по прибытии в госпиталь, в сравнительную прохладу, чистоту и довольство, она их покинула. Скоро, однако, не трогая казака, эта болезнь снова начала поигрывать с Сергеем, потому что у него ежедневно таскали из раны загнившие клочья белья и платья, затащенные в рану пулею: он зеленел, стискивал зубы, чтобы не кричать, но маленькая операция всегда вызывала усиленное биение пульса и возвышенную температуру, т. е. нагоняла лихорадочное состояние.

Немалым неудобством для Верховцева было то, что он

должен был выносить беспрерывные посещения приятелей его товарища по несчастию, раненного легко и потому охотно болтавшего со своими бесчисленными знакомыми обо всем, что делалось в армии и дома, т. е. на Кавказе.

Один такой приятель, «из молодых ранний», есаул, был едва ли не самый надоедливый. Не будучи раненным, он ухитрился получить отпуск для поправления здоровья, упавши с лошади так ловко, что лишь помял себе плечо, и, не стесняясь, рассказывал, как он надеялся с этим изъяном поправляться на Кавказе до конца «проклятой Плевны», т. е. до того времени, когда служба в строю сделается менее беспокойною и опасною.

Теперь он был в поисках доктора, который дал бы ему свидетельство о том, что повреждение плеча было серьезно; он забыл позаботиться на той стороне Дуная об этой, необходимой для будущего, бумажке.

Раненые указали ему на госпитальных, по-видимому, хороших докторов, но бравый есаул воротился от них в негодовании: «Какие же это доктора, помилуй, Иван Степаныч, — говорил он товарищу, — нашел к кому послать! Я понял, что они толкуют: говорят, у вас вывиха вовсе нет, а есть ушиб, пустяки. Если это не вывих, так какого же им еще вывиха?»

После нескольких дней поисков есаул воротился сияющий и, показывая свидетельство на французском языке, рассыпался в похвалах отысканному румынскому лекарю: «Вот доктор так доктор, этот понимает дело!» В бумаге было сказано, что «есаул такой-то, на всем скаку упавши с лошади, совершенно вывихнул плечо, чем надолго сделался неспособным садиться в седло и двигать рукой, требовавшей серьезного лечения». Очевидно, но этой бумаге не только следовало сейчас же с легким сердцем ехать домой на поправку, но и можно, даже должно было рассчитывать впереди на пенсию от комитета о раненых.

Вообще, к слову сказать, Сергей убедился, что казаки были совсем отличное от других войско, с понятием о храбрости тоже особенным. Суворовское правило: «бить неприятеля, а не считать» было для большинства их совершенно неправильно. Они, напротив, находили необходимым всегда сначала пересчитать врагов, а потом смекнуть, можно ли ударить? Коли казачьей силы больше, — бей, руби, круши! А коли, напротив, неприятель сильнее, — утекай! Не в пример солдату, казак не стеснится рассказать о том, как в таком-то деле они улепетывали — почему, зачем? Очень просто, потому что неприятеля было больше, и казак всегда сочтет за глупость лезть на сильнейшего или стоять в строю под выстрелами, теряя людей и лошадей. «За каждого человека, за каждую лошадь, — скажет полковой командир, — я

должен буду дать ответ своим; как ворочусь домой, вдова убитого спросит: „Куда ты девал моего Григория?“» Логика неотразимая, имеющая свои достоинства и свои недостатки.

Вне этих посещений Сергею было не легче от самого милого раненого казачка, от его постоянных расспросов о том, скоро ли заключат мир и можно ли надеяться вскоре ухать домой под Ставрополь, где у него была молодая жена и семья; о том, как удобнее пересылать домой деньги, особенно золото, и, главное, на какую награду бравый сотник может рассчитывать. О «Станиславке» он и слышать не хотел, одна мысль о нем приводила казака в негодование; для «Аннушки» тоже не стоило трудиться, а «Владимира» не дадут, как, пожалуй, не дадут и «золотого оружия».

— А? как вы думаете, Сергей Иванович? Должно быть, третьей «Аннушкой» наградят, как вы полагаете, а?

Сергей должен был серьезно, со всех сторон, обсуждать вопрос и соглашался, что, пожалуй, ни «Владимира», ни георгиевского темляка не выйдет и дальше «Аннушки» дело не пойдет.

— Если бы была справедливость, меня следовало бы представить к «Георгию», — говорил сотник, нервно привставая на постели и упираясь глазами в соседа. — Ведь мы прогнали, смяли турок, наша ли вина, что нас отозвали, а?.. Сергей Иванович, ведь следовало бы мне «Георгия»?

Сергей, чтобы не отвечать категорически на такой щекотливый вопрос, иногда притворялся дремлющим, а один раз отвечал, что следует справиться со статутом ордена.

— Что штатут, какой тут штатут? — говорил с сердцем казак. — Справедливости у нас нет, а не в штатуте дело; и тут нужна протекция, вот что!

Те же самые вопросы сотник ставил и всем своим знакомым, приходившим навещать его, так что Сергею много раз пришлось выслушать жалобу на отсутствие справедливости вообще и неимение протекции в частности.

Нервы Верховцева раздражались ходом раны, начавшей сильно загнивать: боли сделались так сильны, что он готов был кричать при перевязках; лихорадка стала наседать сильнее и сильнее, — отпрыск страшной перемежающейся лихорадки, схваченной несколько лет назад на персидской границе и с тех пор никогда вполне не покидавшей его.

По ночам явился бред; вдобавок левая нога, при ране на правой, стала до того невыносимо ныть, что для уменьшения страданий пришлось прибегнуть к морфину.

Впечатление теплоты и благополучия, разливавшихся по

всему телу больного после впрыскивания морфия, успокаивало и давало возможность спать, но лихорадка от того не уменьшалась, а нервность и беспокойство возрастали, аппетит же совсем пропал.

Сергея перевели в отдельную комнату и окружили полным покоем. Морфин сделался ежедневною потребностью[32], от которой доктора начали, наконец, предостерегать. Больной соглашался, решался не прибегать больше к уколам, но приходил вечер с невыносимыми болями, беспокойством, бессонницей, и он начинал упрашивать, чтобы впрыснули положенную дозу. Силы больного уменьшались, и от сознания этого он падал духом.

Положение Верховцева было часто невыносимо от невозможности объясняться: ни прислуга, ни фельдшера не говорили по-русски, а он не понимал ни слова по-румынски; когда он просил воды, сиделка тащила его вверх по подушке, полагая, что исполняет желание больного подняться. Он указывал знаком, чтобы затворили дверь, — его стаскивали пониже, в полной уверенности, что исполняют его просьбу.

Случалось, что в полузабытьи, полудремоте он чувствовал, если не сознавал, как чьи-то руки шарят у него под подушкой или в ящике столика, где лежали ключи и кошелек.

— Целы ли ваши деньги? — спросил раз смотритель госпиталя, отставной румынский полковник, ухаживавший за ним, как за сыном. — Знаете ли вы, сколько у вас было денег и сколько теперь?

— Право, не смотрел; почему вы об этом спрашиваете?

— Ваша сиделка отпросилась в деревню и так быстро собралась и ушла, что мы подозреваем, не попользовалась ли она чем-нибудь около вас?

— Конечно, попользовалась, — мог только заметить Сергей, когда смотритель освидетельствовал наличные деньги и из двух десятков золотых оказалось на месте только восемь.

Под постоянным действием морфина и удручающего сознания своей немощи и одиночества лежал раз так Верховцев в полудремоте-полусне, когда почувствовал над собою тихое движение воздуха и даже как будто шелест листьев. Что это, галлюцинация? Нет, он ясно слышал, что его обмахивают.

Больной приоткрыл глаза и увидел девушку, свежею веточкой отмахивавшую от него мух.

«Это сон», — подумал он, — девушка знакомая, Наталья Григорьевна, Наталочка; она смотрит добро, нежно и, видя, что он открыл глаза, пожалуй, заговорит, — улыбаясь, поднимает палец к губам: тшшь!

Сергей не шевельнулся, опять сомкнул веки в чувстве

неизъяснимого блаженства, наполнившего все его существо; потом, совсем уже открывши глаза, ясно увидел милое, улыбавшееся лицо Наташи и понял, — понял, что *свои* приехали выручать его.

С этой минуты он стал бодрее духом, стал меньше скучать и больше верить в возможность выздоровления. По временам едва слышным голосом он перекидывался несколькими словами с Наталочкой и Надеждой Ивановной; последняя при виде беспомощного состояния угасавшего «красивого блондина» сменила гнев на милость и, понимая, чье присутствие ему особенно дорого, возможно чаще оставляла Наташу у постели днем, взявши на себя дежурство по ночам.

Ночи были особенно тяжелы с их лихорадочными приступами, в продолжение которых приходилось менять по дюжине рубашек — так быстро они намокали.

Спать при этих лихорадках раненый совсем не мог; как только закрывал он глаза и начинал забываться, страшные, дикие видения, настоящие картины Дантова ада представлялись ему: из неизмеримых темных пространств выносились вперед, освещенные точно заревом пожара, бесконечные вереницы сотен тысяч живых существ, будто ведьм и чертей на палках и метлах. Как только больной начинал дремать, все эти ватаги с искаженными, ярко залитыми красным светом лицами, адски хохотавшими прямо ему в глаза, быстро проносились мимо, уступая место следующим нескончаемым вереницам, и раненый с невольным стоном открывал глаза.

— Что вам, душа моя? — заботливо спрашивала Надежда Ивановна, — не хотите ли пить?

Она опускала нитяную кисточку в кружку с питьем и смачивала засохший язык больного. Тот снова пробовал забыться и снова изнемогал от страшных грез.

Иногда в тишине ночи он перебирал свое прошлое, вспоминал начатые и неоконченные работы: что с ними будет в случае его смерти, неужели станут рыться в его портфелях, самых интимных записках? Пожалуй, издадут в свет все неоконченное, только еще наброшенное?..

Случалось, он спрашивал себя, ладно ли сделал, бросивши, хотя и на время, писать и начавши помогать Скобелеву? Конечно, легко обвинять со стороны, — думал он, — но разве возможно здоровому и сильному человеку спокойно смотреть на кровь и страдания кругом себя, хладнокровно замечать разные недочеты, не стараясь помочь по мере сил? К тому же он много наблюдал, многому учился за это время, — этого не понимают…

Сергей начинал чувствовать, что, несмотря на все старания и

усилия докторов, какая-то невидимая сила толкает его в лапы смерти, силы покидают, жизнь отходит. Это читал он и на смущенных лицах окружавших, на заплаканных глазах Наташи, замечал по предупредительности, чуть не нежности Надежды Ивановны.

В одну из бессонных ночей он поверил почтенной женщине маленький секрет. Ему было очень дурно, и тетушка, против обыкновения не клюкавшая носом, с беспокойством следила за его неровным дыханием, когда он назвал ее по имени.

— Что вам, душа моя? — спросила она, нагнувшись к нему, — не хотите ли напиться?

— Нет, наклонитесь еще, — шепнул он, — исполните одну мою просьбу… боюсь, что мне придется скоро умереть…

— Полноте, душа моя, может быть, вы еще выздоровеете…

Как ни был слаб Верховцев, а подумал: «Хорошо утешает; кажется, она совсем собралась хоронить меня».

— Возьмите кусок бумаги, — продолжал он, — запишите имя и адрес особы, которой я попрошу передать, в случае моей смерти, все, что останется после меня в векселе и деньгах.

Надежда Ивановна исполнила.

— Вы любили? — не утерпела она, чтобы не полюбопытствовать.

— Нет, — тихо выговорил Сергей. — Была привязанность и привычка, любви не было. Я полюбил раз в жизни только нынче летом и теперь продолжаю быть верным этой любви… Вы знаете, о ком я говорю, — прибавил он после небольшой паузы и потом замолк, совсем обессиленный.

Надежда Ивановна, конечно, поняла и хотя ничего не сказала, но с этой ночи стала верить в силу любви Сергея Ивановича к Наталке и доброжелательнее относиться к их взаимной склонности. Прежняя тайная и очень нехристианская ее мысль, чтоб он «хоть умер бы поскорее» и освободил страдающую девушку, сменилась желанием ему здоровья, — как знать, может быть, Наташа будет с ним счастлива? Все в божьей власти!

Новый приступ лихорадки, явившийся как раз утром, за ночью сердечных излияний, обеспокоил всех, — раненый был совсем плох, что называется, «краше в гроб кладут».

Во время перевязки в это утро Верховцев заметил, что доктор долго и упорно смотрел на него, ощупывая пульс, а снявши повязку с раны, изменился в лице.

«Что-то есть, — подумал больной, — должно быть, дело плохо. Уж не гангрена ли, которой они так боялись?»

Доктора переглянулись, объяснились полусловами, фельдшера забегали, и Надежда Ивановна объяснила Сергею, что

теперь наступит настоящее выздоровление, так как будет сделана маленькая операция.

— Чтобы и вам, с вашей стороны, помочь хорошему исходу дела, — прибавила она, — необходимо, чтобы вы что-нибудь съели; это непременно, непременно нужно!

Уступая просьбам, в числе которых была и усиленная Наташина, больной заставил себя проглотить несколько кусков котлеты, принесенной из лучшего ресторана, после чего было решено тотчас же приступить к операции.

Верховцев больше чувствовал, чем видел то, что делалось около него. Милая Наташа очутилась около изголовья с каким-то мокрым кисейным кружком.

— Что это? — спросил он.

— Хлороформ, — ответила она с боязливою улыбкой, — но вы не бойтесь, дышите!

— Вдыхайте, вдыхайте! — повторили все.

Он вдохнул и… умер или заснул.

Первое, что он увидел по пробуждении, был стакан шампанского перед его ртом.

— Пейте, — сказал доктор.

Вторым представилось ему личико Наташи, по-прежнему боязливо улыбавшееся и вглядывавшееся в него; видно было, что она хотела и не смела надеяться. Сергей, чувствуя себя положительно бодрее, ответил ей едва заметною улыбкой, и девушка просияла.

После операции наступил положительный поворот к лучшему, и выздоровление быстро пошло вперед, — так верен был совет Ликасовского разрезать и очистить рану, которому не решались последовать ранее, пока приближение гангрены не принудило к тому, — госпитальной гангрены, которая давала о себе знать дурным видом раны, покрытой налетом и местами омертвением.

В отношениях Верховцева к Наташе не было ничего нового: по-прежнему они только перекидывались несколькими словами, относившимися к болезни, но он яснее и веселее смотрел на нее, смотрел часто подолгу, и она, чувствуя этот взгляд, без слов, без объяснений понимала, что он любит ее, любит так, как ни Володя и никто не любили ее.

«Ведь это тот самый взгляд, который я и прежде замечала на себе, — думала она, — только тогда он был более робкий, не такой открытый, как же это я не понимала его?»

В часы, когда его лихорадило, Сергей, несмотря на запрещение доктора, был порядочно болтлив; один раз, как он особенно много говорил, она медленно, дружески-наставительно

выговорила: «Мы потолкуем об этом после, когда *тебе* будет лучше!»

Этого Верховцев не ожидал: ощущение счастия и блаженства, охватившее его, было так велико, что сказалось новым приступом лихорадки.

Немец-доктор, давно уже выражавший неудовольствие на то, что у нас в госпиталях допускают в сестры милосердия молодых, хорошеньких девушек, чего у них не было, — он разумел датскую, австрийскую и французскую кампании, сделанные в рядах прусских войск, — решительно посоветовал Надежде Ивановне реже допускать племянницу к изголовью раненого; и умная девушка, по внушению тетки, ловко уверила Сергея в том, будто ей необходимо присматривать еще за двумя ранеными соседней палаты, так что он без протеста согласился отпускать ее.

Новая беда едва не испортила дела выздоровления. Один раз, поправляя постель, Надежда Ивановна невольно вскрикнула.

— Что случилось? — спросил больной, испуганный ее восклицанием.

— Ничего, ничего, капельки крови на простыне, — ответила она ему, потом ушла и, вероятно, перебудоражила всех, потому что скоро явились встревоженные фельдшер и доктор.

— Что вы делаете? Как вы неосторожны! — говорил последний, осматривая рану и посылая за нужными ему вещами. — На этот раз будет недолго, обойдемся без хлороформа; надеюсь, вы будете умны…

Оказалось, что кровь совсем залила кровать, так как рана открылась и остановить кровотечение можно было только забивкою в нее множества маленьких связок или кисточек мягкого шелка.

Сергей кусал пальцы от боли, стараясь не кричать, пока сильные руки доктора буквально раздирали рану, впихивая в нее пучки шелка. Кровь унялась, и дело опять пошло на поправку.

Наташа пришла раз очень веселая.

— Угадай, кого я видела; не угадаешь, наверное, — Володю! Кланяется тебе и просит сказать, что не мог увидеться теперь, так как очень спешит, — он послан курьером в Петербург и заедет на возвратном пути. Он просидел очень недолго, вчера вечером, когда ты уже спал, и прямо от нас переехал через Дунай.

— Не хорошо, что мы не повидались… Не сердит он на меня?

— Может быть, немножко.

— Не ревнует?

— Может быть, немножко.

— Подозревает?

— Может быть, может быть, все может быть, а я все-таки рада, что видела его.

— Почему?

— Так; мне кажется, все выяснилось и для меня, и, вероятно, для него.

— Что же именно?

— Ах, какой ты непонятливый! Впрочем, нет, ты понимаешь, о чем я говорю, только хочешь слышать, как я об этом рассуждаю. Изволь: для меня выяснилось то, что я, в сущности, никогда не любила его, просто была к нему сначала привязана, а потом, когда он пошел на войну… как бы это объяснить?.. очень жалела его.

— Ну, а для него что выяснилось?

— Да почти то же самое: он привык смотреть на меня, как на свою невесту, а любит, пожалуй, не больше, чем других, чем Соню или ту богатую петербургскую барышню, о которой рассказывал, что она неравнодушна к нему и хочет заставить жениться на себе. Впрочем, нет, я несправедлива, он любит меня больше, чем их, но я думаю, почти уверена, что еще не решил окончательно, на ком женится: на мне или на той богатой барышне, — на Соне он не женится, за нею мало приданого, — видишь, какая я проницательная!.. Я заметила в нем какую-то осторожность, — я ведь уже не маленькая, мне девятнадцать лет, все замечаю, — точно он боялся увлечься и сказать больше, чем следует, что-нибудь такое, что связало бы его на будущее время. О, я все, все замечаю!

— Ну, если ты такая «замечательная», скажи мне, что ты подметила за мною?

— Что подметила? — Наташа рассказала, что прежде ничего не замечала, даже не смела замечать, считала его гордым, неприступным, таким, какой он и теперь в ее глазах относительно других. Как глупая, мимолетная мысль, ей приходило в голову, что, верно, он кого-нибудь любит, и если уж сказать всю правду, — а с ним она хочет быть совсем, совсем откровенна, ничего от него не утаивать, на условии, что и он с своей стороны заплатит ей тем же, да, да? ведь так? — если сказать всю правду, ей хотелось быть на месте той, которую он любит. Только не приходило в голову, чтоб это было возможно.

— Почему?

— Так, потому… потому что мы — не пара.

— Это почему, разница в летах?

— Нет, потому, что ты умный, ты учился, а я дурочка, ничему не училась.

— Что за вздор! Мы не пара скорее по летам: ты гораздо моложе меня.

— Нет, этому я рада, это дает мне выгоду над тобою и немножко приближает меня к тебе; если бы ты был еще старше, седой, я была бы еще больше рада…

— Какой вздор, какой вздор! Ну, а Володя тебе пара?

— Нет, и Володя не пара; я уже думала об этом, особенно с тех пор, как мы с тобой сошлись. Видишь: он городской, «заражен Петербургом», как, помнишь, ты говорил, а я совсем деревенская; я говорю, что придет в голову, а он только то, что считает приличным. Он любит общество, без него жить не может, а я нет. Он любит быть постоянно в мундире, болтать с дамами, любезничать, танцевать, а я… пожалуй, и я люблю быть хорошо, к лицу одетой, но кавалеров, говорящих любезности, я не люблю, танцевать тоже разлюбила… Словом, я вижу, что не любила Володю, даже если и думала это прежде, так как я теперь только поняла, что такое настоящая любовь, — Наташа как будто вспомнила что-то, верно, из своего интимного прошлого, потому что немножко покраснела, но, как бы отвечая на это воспоминание, еще раз прибавила: — Нет и нет, я его не любила, как не любила и то общество разных модных дам и кавалеров, которое ему мило, — видишь, какая я злая!

— Что же ты любишь? — допрашивал неугомонный Сергей.

Наталка приняла серьезный вид и начала высчитывать по пальцам.

— Люблю думать, — сказала она, загибая мизинец, — люблю читать, — загнула второй палец, — люблю дружески разговаривать, — загнула третий палец, — но не со многими сразу и не с «кавалерами», — она улыбнулась, — а с людьми неглупыми и простыми. Больше всего и прежде, и теперь любила и люблю говорить с тобой, люблю слушать тебя, — ты так хорошо говоришь, — все бы сидела и слушала тебя.

— А когда ты поцелуешь меня? — тихо спросил Сергей.

— Довольно, однако, мы заболтались, это я виновата, лежи смирно и постарайся заснуть, пока я пойду в другую палату, к другим больным.

Новый, совершенно беспричинный приступ лихорадки, охвативший Верховцева в этот же вечер, заставил доктора решительно потребовать, чтобы Наташа реже приходила к больному, меньше оставалась и говорила с ним. Доктор стал подозревать отношения молодых людей, и Надежда Ивановна, как виноватая, выслушав выговор, не только намылила голову

племяннице, но и серьезно пристращала немедленным отъездом в деревню.

Однако Сергей все-таки поправлялся быстро, рана на груди уже зажила, и голова была ясна. Нога тоже стала совсем заживать, хотя он все еще лежал, не поворачиваясь, так что страшные пролежни на «здоровом» боку стоили немалых хлопот Надежде Ивановне, ухаживавшей за ним, как за родным сыном. Теперь она уже попросту журила его за беспокойное лежание, последствием которого были иногда струйки крови, и — последнее доказательство дружбы и интимности — каждый день вытирала все его тело одеколоном с водою, не стесняясь, как бы делала это с Наталочкою.

В дни ясной и даже теплой погоды, часто стоявшей в конце сентября, когда воздух широкою струей входил в окна из больничного сада, особенно трудно было неподвижно лежать в постели. Один раз раненому так захотелось встать, что, уступая его настоянию, доктор с Надеждою Ивановной обвели его кругом комнаты: нога еще не действовала, подгибалась, приходилось волочить ее, и усилие вызвало снова кровь в рану; тем не менее больной набрался храбрости и стал каждый день вставать, а вскоре даже и выезжать кататься. Мало того, он задумал покинуть госпиталь и при первой возможности удрать в действующую армию, о чем пока не проговаривался даже и Наташе.

Давно уже манила его мысль снова присоединиться к Скобелеву. Что-то он теперь поделывает? По вестям, до него доходившим, Плевна была обложена плотнее, так как пришло много подкреплений и дело осады сосредоточено в руках Тотлебена; ждали решительных действий на Софийском шоссе, по которому турки получали всю помощь войсками, снарядами и припасами и где действовал энергичный и рассудительный генерал Гурко с гвардией.

К Верховцеву заезжали в госпиталь немногие знакомые из армии, между другими и Скобелев, который не мог видеть больного, так как ему было тогда очень плохо; приезжали многие ехавшие из России и возвращавшиеся туда, любопытствовавшие узнать о здоровье «молодого талантливого литератора», чуть было не потерянного родиною.

Иллюстрация поместила портрет Сергея с известием о его геройской смерти и с посмертною биографией его. Потом она, как и другие газеты, известила, что, к счастью, молодой талант не погиб, что Верховцев лежит в бухарестском госпитале и подает надежду на выздоровление, так как раны его не серьезны.

Спустя некоторое время, однако, появилось известие, что одна из ран оказалась опаснее, чем думали сначала, и что

больной в критическом положении, — все это возбуждало большой интерес и внимание в обществе, и желавших видеть Верховцева, лично убедиться в состоянии его здоровья было так много, что в непрерывном ряду посетителей Надежде Ивановне, не мало польщенной этою ролью, приходилось делать выбор и пускать лишь избранных, предваряя их о необходимости щадить силы больного.

«Шестая великая держава», газета Times[33], знавшая имя Верховцева по литературным работам его, переведенным на английский язык, выразилась, что «смерть Верховцева была бы для России равносильна потере большого сражения». Наташа была в восторге от этого определения значения ее друга и жениха.

— Чему ты радуешься? — спрашивал ее Сергей, как будто не понимая причины ее радости, в сущности же, сам польщенный и этим видимым знаком уважения представителя иностранной прессы, и гордостью своей невесты.

— Радуюсь тому, что ты знаменит. Это только справедливо, но это же и печалит меня.

— Почему? — спросил он, заранее угадывая ответ.

— Потому что мы — не пара.

— Летами, конечно, не пара: я на целых пятнадцать лет старше тебя.

— Не летами, а умами; я не шутя боюсь, что тебе со мною будет скучно. Ты все знаешь, все читал, все видел. Даже в музыке, хотя и не знаешь нот, понимаешь больше меня, слышал почти все оперы, повторяешь много мотивов…

Как ни оспаривал, ни разуверял ее Сергей, она оставалась при своем мнении и твердила одно и то же: не пара да не пара!

— Почему, — спросил он, — летом, еще когда я гостил у дяди, ты, заметивши, как говоришь, что я на тебя заглядываюсь, не подумала о том, что мы могли бы быть счастливы вместе? Помнится, у вас не было особенной близости с твоим «кузинчиком», как ты его называла; он даже больше ухаживал тогда за твоею приятельницей, чем за тобою.

— Потому что *это* мне и в голову не приходило, не могло прийти.

— Да почему же?

— Потому, что это было бы уже слишком хорошо, я не смела об этом и думать.

— Вот тебе на! Отчего это?

— Потому, что мы — не пара…

Между посещавшими теперь Верховцева был и казацкий офицер, бывший товарищ по несчастию; он давно уже выздоровел,

побывал в Ставрополе и, хорошо отгулявшийся, возвращался к своей части. Воин степей ликовал, потому что узнал, по письмам из отряда, о представлении его к «Владимиру».

— Думаете, дадут? — спросил Сергей, помня доводы приятеля против возможности получения этой высокой награды без протекции.

— Выйдет, беспременно выйдет! — уверенно отвечал казак, весело поворачиваясь на каблуках. — Коли «наш генерал» представил, так выйдет: он все штатуты знает наизусть, «умеет», к чему представить. — Видимо, и статуты, о которых прежде он отзывался презрительно, получили значение в его глазах.

Приезжал также товарищ Сергея по службе при Скобелеве, есаул Таранов, из кавказских горцев. Он пришел во время сна Верховцева, присел пока в комнате сестер и рассказал им многое из боевой жизни в отряде вообще и деятельности Сергея Ивановича в особенности.

— Верьте, сударыня, — говорил он с увлечением и искренностью первобытного или, как Скобелев называл его, «дикого человека», — верьте, что это герой, храбрец, каких мало в армии. Ему давно следовало бы дать все четыре креста. Вы думаете, я преувеличиваю? — нет, зачем, я с ним каждый день был вместе, хорошо его узнал. Кто из нас не рубил, я и сам не одного зарубил под Ловчей, но он ходил в атаку, не вынимая шашки, бил турок плетью. Ей-богу, я сам это видел… Ведь семь лошадей под ним убили!

И Таранов ударял себя по груди, в знак уверенности в том, что говорил.

— Если бы вы только слышали, как жаловался мне на него командир наших черноморцев за то, что он извел столько лошадей. Полковник заикается и смешно сердится: «Прих…ходит ко мне — д…дай, брат, к…коня! — А г…где же т…твой? — У… убили! — Я д…дал л…лошадь. Смот…трю, оп…пять идет: — Д… дай, пож…жалуйста, к…коня! — А гд…де же т…тот? — У… убили! — Дал еще л…лошадь. Что ж ты д…думаешь, оп…пять п… приходит: — Д…дай, с…сделай ми…милость, к…коня! — Нет, с…слуга пок…корный!»… Все мы устали около Михаила Дмитриевича, всех он загонял, и мы стараемся просто не показываться ему на глаза, особенно вечером, чтоб он не послал куда в темноту, иногда, правду сказать, без нужды. Днем куда пошлет — съездишь, исполнишь, да и засядешь в виноградник — отдохнуть, поесть, поспать, один Сергей Иванович всегда у него на виду; зато же генерал и заездил его: не успеет тот стакана чая выпить, как Михаил Дмитриевич уже кричит: «Вегховцева позвать!» Нас, как мы отсидимся в винограднике, хоть и

выбранит, — он хорошо представил, как Скобелев бранит: «Чегт знает где вы там все вгемя шгяетесь!» — а все-таки оставит в покое, хоть на некоторое время, а его сейчас опять пошлет.

Наташа не утерпела, чтобы не спросить, правда ли то, что она слышала в ресторане, будто Сергей Иванович завел один раз пехотный полк дальше, чем следует, чем ему это было указано Скобелевым и его начальником штаба, и что полк этот разбили?

— Ветлужский полк, знаю. Вздор! — живо ответил Таранов. — Я хорошо знаю эту историю. Михаил Дмитриевич добрый человек, но когда у него выйдет что-нибудь неладное, он сгоряча, не разобравши дела, обрушится на того, кто подвернется. Сергей Иванович хорошо изучил местность, и Скобелев часто поручал ему разводить войска; он провел Ветлужский полк и указал ему ту высоту, которую следовало занять, но солдаты увлеклись и полезли дальше, на следующую, — попробуйте их остановить!.. Помилуйте, я хорошо это дело знаю, — видимо, волнуясь воспоминанием, говорил Таранов, — Светницкий ведь сам видел и рассказывал мне, что Сергей Иванович на его глазах скакал и кричал: «Ветлужцы, стой, стой!» — но его не слушали, не слушали и офицеров… Полковой командир, чтобы не быть в ответе, и говорит Михаилу Дмитриевичу: так и так, ваше превосходительство, ординарец ваш завел нас. Ну, Скобелев напал на Сергея Ивановича…

— Смотрите, не говорите с ним об этом сегодня, — предупредила Наташа.

— Конечно, конечно, — поспешил уверить Таранов и не утерпел: просидел до полуночи, вспоминая это и другие дела недавнего прошлого; да и как было утерпеть — чего-чего не переговорили они об одном Михаиле Дмитриевиче!

Рана Сергея была еще не закрыта, но он был уже настолько крепок, что свободно ходил и ездил по городу, причем Наташа всегда требовала, чтобы он носил солдатский Георгиевский крест, недавно полученный.

«Скажи своему бесчинному приятелю, если найдешь его в живых, — сказал его светлость Володе, — что государь лично приказал послать ему солдатского „Егорья“»; но Владимир не мог тогда передать об этом высоком подарке, уведомление о котором было прислано уже в госпиталь, причем был препровожден и самый крест.

Сергей и Наташа проводили теперь почти все время в

больничном саду, так как погода, при свежих утренниках, стояла еще теплая. Они строили там немало планов относительно их будущей жизни вдвоем: решено было, прежде всего, съездить за границу для поправления здоровья, а потом начать ездить по России и изучать ее во всех отношениях, чтобы творить после сознательно, с готовым материалом в руках. Наташа, с своей стороны, обещала снова приняться за музыку, в которой полгода тому назад она была довольно сильна уже.

— Нужно много, много потрудиться, — говорил Верховцев. — Я твердо верю, что только при этом условии мы можем быть счастливы. Мы должны купить право быть счастливыми трудом и прилежанием, — правда?

Наташа вполне соглашалась и приходила в восхищение от мысли о том, что они будут много путешествовать. Куда бы они ни поехали, она будет вести дневник, — на этом условии ей было обещано, что если средства позволят, они поедут на крайний восток, — туда девушку, по ее словам, «неудержимо манило».

— Разумеется, если у нас не будет детей, — оговорился Сергей.

— О, детей у нас не будет, я в этом уверена!

— Почему?

— Наверное, наверное не будет!

— Да почему же? Разве потому, что мы — не пара?

— Фу, какой ты насмешник! Просто потому, что мне так кажется, я в этом уверена.

Тайно беспокоило Верховцева то, что перед осуществлением всего этого предположенного счастья надобно было еще пройти через искус дальнейшей службы при Скобелеве, — службы хотя и добровольной, но тем не менее тяжелой и опасной. Почему, зачем он пойдет? — спрашивал внутренний голос; он серьезно закалил свой характер в опасностях, принес уже большую, серьезную жертву своею кровью и заслужил право на отдых, на пользование тем счастьем, которое начинало ему улыбаться.

То же самое говорила Надежда Ивановна, то же, не выговаривая, видимо, думала Наташа; но Сергей считал себя не вправе перейти на отдых в то время, когда армия, вместе со всею Россией, готовилась к последнему отчаянному усилию. Нет, худо ли, хорошо ли, умно или смешно он поступит, но он дотянет свою службу волонтера-ординарца Скобелева до конца!

Между навещавшими Верховцева в госпитале было несколько литераторов, приезжавших на театр войны, также корреспондентов русских и иностранных. Часто беседовал он с издателем одной известной газеты, старым знакомым, много видевшим и слышавшим на месте военных действий за это время

и сообщившим ему несколько крайне неутешительных вещей, над которыми приятели не раз покачивали головой.

Настоящим развлечением были любезные посещения маститого князя Коркунова; он жил тогда в Бухаресте и довольно часто навещал Сергея, литературную деятельность которого, по-видимому, хорошо знал. Читал он его работы или был о них только осведомлен другими, но не упускал случая поговорить о них и хвалить, причем называл Верховцева, неизвестно почему, то нашим Купером, то Вальтер-Скоттом. Он приезжал всегда в сопровождении чиновника, служившего ему, как «dame de compagnie»[34], помогавшего не только ходить и взбираться по лестницам, но и выбираться из лабиринта фраз, в которых почтенный старец иногда запутывался.

Особенно громки были предупреждавшие «Гм, гм!» этого чиновника, когда старый князь пускался в нескромные рассказы, забывая о присутствии сестер милосердия.

Надежда Ивановна очень жаловала посещения «милого старичка», как она его называла, и с большим интересом слушала всякие его рассказы, и постные, и скоромные, но Наташе от последних приходилось иногда уходить. Почтенный сановник, герой стольких громких дипломатических подвигов, не замечал, конечно, своей слабости и, как большой любитель хорошеньких лиц, наивно осведомлялся при этом: «Куда же ушла наша красавица?»

Голубки, долго ворковавшие о том, что и как они со временем сделают, порешили, наконец, на том, что он, как только будет в состоянии, уедет к отряду, — скрывая свой страх, Наташа согласилась с этим, — а она поедет опять в Систово или какое-нибудь другое место, в котором можно будет продолжать служить делу помощи больным и раненым, по-прежнему с тетею, конечно.

Теперь на театре войны было уже много сестер милосердия, даже Надежде Ивановне, для ухода за трудным Сергеем, давали помощницу из одной одесской общины. Но все-таки дела было еще много, так как война затянулась и уезжать в такое время не по расстроенному здоровью, а просто со скуки казалось совестным. Правда, тетушка заговаривала было с Наташей о том, что им пора бы и домой ехать, но та, во всем согласившись уже с своим женихом, слышать об этом не хотела и прямо объявила, что не перенесет отъезда так далеко, заболеет.

«И то, пожалуй, заболеет от беспокойства *о нем*», — подумала

тетка и решилась продолжать ухаживать за ранеными, по возможности оберегая Наталку от лишних трудов и волнений.

С Сергеем Ивановичем она теперь примирилась, не примирясь, — тайным избранником ее продолжал оставаться Володя: и знала она того хорошо, и понимала вполне, тогда как этот был не только мало понятен, но, сказать правду, даже немножко страшен, — страшен и своею европейскою репутацией, и умом, и, главное, свободою мысли. Ну, как это: за время болезни, болезни такой серьезной, он ни разу не перекрестил лба. Конечно, она не упрекала его за это, зная, что таков образ мыслей большинства молодых людей, но все-таки ей, твердо верившей, что ничего не делается без воли божией и что даже волос не спадет с головы нашей без его воли, тяжело было вступать в родство с «материалистом».

Еще пугала ее иногда мысль: не увлек бы он по этой дороге Наталочку, — недаром она его так заслушивается; но, с другой стороны, приходило и то в голову, что девочка ее не глупа и может не только отстояться, но даже и его самого пошатнуть, — на этом она покамест несколько успокоилась.

Сергей ходил теперь уже совершенно бодро, хотя и с палкой; по настоянию Надежды Ивановны ему при перевязках стали залеплять не закрывшуюся еще рану полосками липкого пластыря. Она видела это в систовском госпитале и удивлялась тому, что «немцы» упорствуют обходиться без такого практического средства для выздоравливающих раненых — не сбивать перевязку.

Вспрыскивания морфина были давно оставлены. Многие знаменитости медицинского мира, и русские, и иностранные, проезжавшие в это время Бухарестом и интересовавшиеся раною Верховцева, настойчиво требовали, чтоб он оставил морфин как ослабляющий его организм и задерживающий выздоровление, но Сергей, после неоднократных попыток, отказывался, обещая сделать это после, когда он будет крепче.

— После вы так привыкнете, что будете уже не в состоянии обходиться без него.

— Нет, я уверен, что сумею отвыкнуть, когда сделаюсь сильнее и боли уменьшатся.

Дело оказалось настолько серьезным, что когда один раз вздумали тихонько убавить положенную порцию морфина, то, вместо успокоения, Сергей был охвачен жесточайшею лихорадкой, продолжавшеюся всю ночь.

Однако процесс отучивания организма от яда оказался легче, чем можно было ожидать: один вечер заменили морфий хлоралом — больной заснул; другой раз стаканом крепкого вина — опять

заснул; там опять хлорал, вино и вино, и через неделю Верховцев засыпал своим натуральным сном без всяких «средств», так что лежавший в соседней палате кавалерийский полковник с раздробленною рукой присылал потом узнавать секрет Сергея: каким образом удалось ему отвыкнуть от морфина, от которого бравый полковник не мог отвязаться?

Доктора не допускали и мысли о возможности скорого выхода из госпиталя и отъезда с незакрытою раной. Со стороны было также не мало советов искренней дружбы ехать в Россию отдохнуть и работать там. «О чем вам хлопотать, зачем беспокоиться и рисковать жизнью?» — говорили ему, но вопрос этот был уже бесповоротно решен между молодыми людьми и даже день отъезда назначен. Как раз в это время пришло известие о битвах гвардии под Горным Дубняком и Телишем, о том, что Плевна осаждена, наконец, вполне, кольцо сомкнуто и что решительные события были недалеки. Ехать при таких условиях в иное место, кроме скобелевского отряда, казалось Верховцеву нечестным.

Когда настал день отъезда, Сергею и сестрам стало жаль госпиталя, — места, в котором они столько пережили и перечувствовали, где все с ними были так добры и внимательны.

Как раз в этот день умер один из офицеров соседней комнаты, раненный на третьем же штурме. Рана его шла было хорошо, но он захватил тиф, пожелтел, стал день и ночь бредить. Еще накануне Верховцев ходил к нему и хотя ухаживал за ним, но беседовать уже не мог, так как больной все время говорил вздор: ясно и спокойно рассказывал, не сводя с одной точки своих стеклянных глаз, о том, что не далее, как в эту ночь он ездил в Плевну и только что оттуда воротился, — теперь он отправился туда, откуда еще никто, говорят, не возвращался. Его похоронили торжественно, с хором музыки, и Верховцев с сестрами проводили соотечественника. Потом, распрощавшись с докторами и всем штатом госпиталя, они выехали по железной дороге в Журжево, а там наняли вольного извозчика с коляскою, обязавшегося служить за Дунаем сколько потребуется.

Свежим, почти зимним, но солнечным днем поехали друзья вдоль Дуная. Наташа была пока в восхищении, и даже Надежда Ивановна несколько развлеклась от мрачных дум, навеянных на нее этою новою поездкой в места «военного ада», как она называла войну.

Если бы не мысль о предстоявшей разлуке, Наталочка была бы вполне счастлива, но теперь, не доезжая Систова, она уже начала грустить, а там совсем упала духом, и внушенное ей женихом храброе решение стойко перенести разлуку поколебалось.

Ни возвращение на старую квартиру, часть которой была занята какими-то возчиками-евреями, ни свидание с добрым доктором Федором Ивановичем, искренно обрадовавшимся встрече, не могли отвлечь ее от одной неотвязной, гнетущей мысли о близкой разлуке с Сергеем. Несколько утешало ее то, что они будут недалеко один от другого и станут переписываться, также и его обещание не рисковать жизнью, думая и помня о ней. Все-таки было очень тяжело, и они долго крепко сжимали друг друга в объятиях и еще крепче целовались перед расставанием.

— Прощай, Сергей, береги же себя, возвращайся скорее!

— Прощай, Наташа, прощай, дорогая, милая, хорошая! Прощайте, тетя, — улыбнулся он Надежде Ивановне, совсем растроганной горем своей племянницы, которую ей никогда еще не доводилось видеть в таких слезах.

— Еще кабы он берег себя, тетя. Наверное, опять пойдет в опасность. Ведь как я его уговаривала доехать в коляске, — нет, взял лошадь у какого-то казацкого офицера их отряда и поехал верхом. Ну, как он доедет? Что с ним будет, что с ним будет? Кажется, я не увижу его больше!

Тетя, сама внутренно глубоко огорченная, все-таки принялась уговаривать свою девочку, даже усовещевать; ее главный довод был все тот же: «Все мы, душа моя, под богом ходим, и волос не спадет с головы нашей без воли его».

VI

Дорогой Верховцев задумался о том счастье, которое ждало его в недалеком будущем, заслужено ли оно? Если не заслужено, то заслужится.

Он, всегда живший независимо, ревниво охранявший полную свободу мыслей и поступков, разделит теперь свою судьбу с другим человеком, который может просто соскучиться в постоянном обществе его и его литературных работ; не слишком ли он рискует, не выйдет ли помехи в работе, в выборе знакомств, местожительства, во всех его вкусах и привычках?

Вероятно, нет, отвечал он сам себе. Есть повод надеяться, что, напротив, будет поддержка во всем этом, так как товарищем будет человек неглупый, любящий, преданный ему, — сомневаться в любви и преданности Наташи он не мог, настолько-то он наблюдал и знает людей.

Чувство беспокойства, однако, не унималось, и под влиянием меланхолического настроения, вызванного, может быть, столько же разлукой, сколько и пустынностью дороги, по которой лишь изредка попадались отдельные казаки да братушки-болгары, Сергей раздумался о прошлом, настоящем и будущем своей деятельности, светлых, добрых и неприятных, тяжелых сторонах ее.

Нет ли какого-нибудь недоразумения между ним и Наташей? Может быть, она полюбила не столько лично его, сколько что-нибудь такое, что видит в нем, но чего в действительности нет? Например, талант, о котором бабушка еще надвое сказала, есть он у него или нет? Что из того, что не одна она, а многие, почти все, предполагают его в нем? В часы неудач и упадка духа сам он искренно думал, что у него нет настоящего призвания к литературе, темперамента литератора, а находят его, пожалуй, потому, что общество любит всякие новинки: старые имена в литературе и искусстве надоедают скорее, чем на других поприщах человеческой деятельности, и им охотно находят заместителей в новых людях, подкупающих молодостью и оригинальностью. Да и оригинальность-то есть ли в нем? Сам себе он должен был признаться, что в юности многие писатели имели на него влияние и некоторые из его работ были прямо навеяны примером. Допустим, однако, что она, т. е. оригинальность, есть, — ведь этого еще недостаточно и время только покажет, действительно ли она соединена с творческим духом.

Наташа, в искренности которой он не сомневался, говорила ему, что мысли и речи его с первого знакомства показались ей сильны, образны, выразительны, не похожи ни на что, прежде ею слышанное и читанное. В этом есть, может быть, правда, но ведь она натура непосредственная, слишком неопытная и впечатлительная, ее оценка натурально снисходительна. Лично сам он далеко не удовлетворялся тем, что делал, — почти все ему казалось вымученным, добытым не талантом, а тяжелым трудом.

Обыкновенно он долго вынашивал в голове запавшую туда мысль нового создания, повести, романа, и чем долее носился с нею, тем яснее и легче выливались потом его мысли на бумагу.

В процессе зарождения новых работ у себя он находил сходство с характером творчества некоторых громких исторических имен, и это, как оно ни мелочно, несколько успокаивало его. Например, еще в ранней молодости он читал с удивлением и недоверием, что многие бессмертные произведения науки, литературы и искусства были задуманы при самых тривиальных обстоятельствах: Ньютона будто бы непосредственно навело на его мировую формулу притяжения тел упавшее на нос яблоко, в то время как он лежал на траве в саду. Моцарт будто бы сочинил большую часть знаменитой «Панихиды», играя на биллиарде. Недалеко ходить: наш Гоголь принялся за свою чудную комедию *Ревизор* под влиянием анекдота, рассказанного Пушкиным. И что же? Сам на себе, сохраняя расстояния, он испытал то же самое: главнейшие сцены его последнего романа, имевшего огромный успех и у нас, и в Европе, задуманы и частью наброшены в продолжении скитаний по Закавказскому краю или на седле лошади, или во время искания грибов, близ тамошних молоканских поселений. Словом, он проследил у себя процесс созидания совершенно аналогичный с описанным под именем *творчества* у других, бесспорно талантливых, людей и искренно радовался этому.

Если это «творчество», а позыв к нему — «вдохновение», — думал Сергей, — то они не зависят прямо ни от богатства или бедности, комфорта или убожества обстановки, а скорее обуславливаются или жизнерадостным, или горестным настроением духа. Что вдохновение осеняет чаще, что оно плодовитее под первым влиянием, это следует, может быть, отнести к тому, что человек, чувствующий себя счастливым, например, влюбленный, экспансивен, по французскому выражению — ищет возможности высказаться, тогда как огорченный, несчастный, обманутый, расположен скорее скрывать свою беду, — ему не до изложения своих мыслей.

Для вдохновения нужно очень многое и в то же время очень

немногое, — думалось Верховцеву, — к нему ведут часто те минуты, в которые, при стечении разных благоприятных обстоятельств, человек наслаждается, счастливо любит, удачно играет на биллиарде, любуется красивыми видами или, страстный любитель собирания грибов, встречает лесную лужайку, покрытую грибными шляпками…

Так это или нет, верно было то, что ему работалось легче в иные часы, чем в другие; иногда целый день ничего не выходило, и только вечер или даже ночь выручали, наквитывали неудачу дня.

Вот если встречались препятствия, необходимость справляться с литературой предмета, разузнавать о местностях, одеждах, характерах лиц и проч., то такая масса энергии уходила на борьбу со всем этим, что ее мало оставалось на самое творчество, которое замедлялось тогда и нужно было, чтоб известное настроение, — скажем, вдохновение, — было очень сильно для устранения всех препятствий: сейчас узнавать, расспрашивать, рыться в библиотеках было иногда так тяжко, что задуманная работа откладывалась.

С самого начала своей литературной деятельности, когда он только еще покинул службу, прельстившись «набросками» одного талантливого француза, Сергей стал писать короткие, легко читающиеся очерки и, странно сказать, только после замечания одного светского знакомого с развитым вкусом, сказавшего раз, что это мило, но не серьезно, пошел по другому пути, — пути осмысливания работы и тщательной отделки ее.

Теперь он давно уже строго держался правила давать в каждой вещи все, на что он был в данное время способен, не обходя «неприятных» фактов, если таковые встречались. За эту литературную добросовестность его упрекали в поползновении копаться в грязи и в сухости, излишке подробностей. Первое он извинял тем, что смотрел на большую часть своих работ не больше, как на материал для будущего, а по поводу второго допускал, что он еще не выработал в себе великого искусства жертвовать подробностями, часто интересными, но мешающими общему впечатлению, — это ведь дается годами опыта, долгим навыком творчества.

Многие подозревали искренность и правдивость путевых рассказов Верховцева, но в этом ошибались. Дело в том, что, несмотря на сравнительную молодость (ему было 34 года), он столько видел и слышал, что когда оглядывался на пережитое, то не шутя спрашивал себя: «Уж полно, я ли все это перевидел и переиспытал?»

Ему припомнился случай по поводу книжки *Путешествия по*

Персидской границе[35]: участвуя там раз в поимке персов-разбойников, грабивших наши пограничные пределы, он просто, без ложной скромности, описал эту оригинальную экспедицию и свое участие, — какой же поднялся шум по этому поводу: «он увлекается, он все сочиняет, он просто врет», — говорили со всех сторон, и нужно было, чтобы свидетельство английского корреспондента в одну лондонскую газету совершенно подтвердило как самый факт, так и подробности происшествия, для успокоения ревнителей правды.

Сергей полагал и часто говорил, что если б он вздумал хоть сжато и сухо изложить все то, что с ним в различных обстоятельствах приключилось, то рассказ его окрестили бы названием: *Не любо — не слушай, а врать не мешай.*

От воспоминаний о пережитых впечатлениях мысль Верховцева невольно перешла к заметкам и наброскам недавно виденного и перечувствованного, сделанным в свободные часы, за последнее время его пребывания в госпитале, едва ли менее интересным, чем те, что делались на поле битвы; они остались вместе с некоторыми другими вещами в руках Надежды Ивановны, то есть в надежных руках, но хорошо ли она понимает цену этих каракулей для него?

Не мешало бы предупредить ее — написать пару слов с кем-нибудь из встречных, вот хотя бы с этим казаком. Нет, вернее, с тою повозкой «Красного Креста» — это народ милый, который не откажет в услуге.

Плотный, добродушного вида доктор шел рядом с повозкой, и когда Сергей попросил его передать написанную на лоскутке из записной книжки записку в Систово, сестрам милосердия, охотно согласился исполнить.

— Скажите им, пожалуйста, поклон от Верховцева, которого вы встретили в добром здоровье.

— Вы — литератор Верховцев? — переспросил доктор.

— Да, я — литератор.

— Mesdames, — закричал толстяк зычным голосом, — ступайте Верховцева смотреть!

Как муравьи, высыпали из повозки сестры милосердия и окружили сконфуженного литератора, едва успевавшего пожимать протянутые к нему руки.

— Не трудитесь, не беспокойтесь, не церемоньтесь! — наперерыв залепетали веселые голоса, когда он сделал движение, чтобы слезть с лошади.

— Как ваша рана? Мы так интересовались вами. Ведь она еще не закрыта, как же вы едете верхом, зачем вы так рискуете? Мы все поклонницы вашего таланта и боимся за вас!

— Жаль, что вы не в моих руках, — сказала самая хорошенькая и поэтому, вероятно, самая смелая сестрица, — я ни за что не позволила бы вам такой вольности.

— Она держала бы вас в ежовых рукавицах, — вмешалась другая.

— Я готов, возьмите меня под свою команду, — ответил Сергей и невольно подумал: «Как ты ни хороша, а моя Наталка все-таки лучше».

Обещано было не только исправно передать записку, но и пожаловаться, всячески очернить и оклеветать его.

«Вот эти, поработавшие, поверят, когда я буду писать о войне, — подумал Верховцев, направляясь далее, — поверят тому, что нужно самому перечувствовать, выстрадать войну, для того чтобы верно писать о ней, а общество, особенно высшее, непременно укорит меня в преувеличении, легкомыслии и злой тенденции».

Вообще в обществе утвердилось мнение, что работа легка литераторам, а Верховцеву в особенности, что ему стоило только присесть, чтобы набросать очерк, написать повесть, продать в какое-нибудь повременное издание, получить денежки и т. д.

Какая это была ошибка! Сергея Ивановича сердило такое фальшивое представление о его трудах, потому что он страшно мучился над своими работами: достаточно было того, чтобы характер одного из действующих лиц вышел непоследователен или чтобы какие-нибудь подробности не укладывались в намеченные рамки, — он впадал в отчаяние и буквально лишался аппетита, сна и всякого покоя, часто на несколько суток сряду, пока дело не поправлялось. Он знал, что за это время становился тяжел и неприятен для всех тех, с кем приходил в соприкосновение, но изменить себя не мог.

Когда благодаря упорному труду или случайно набежавшей мысли удавалось побороть трудность, он становился сообщителен, экспансивен, пожалуй, даже слишком, и весьма возможно, что люди, знакомившиеся с ним в один из таких часов, выносили впечатление, что в «верхнем» этаже у него не совсем ладно.

«Он увлекается», — говорили о нем, чтобы не сказать: «Он бредит», — не принимая в соображение того простого обстоятельства, что бедный литератор, пробывши несколько недель буквально в одиночном заключении, в борьбе с характерами, типами и разными подробностями, понятными и интересными пока только для него одного, натурально рад был поболтать с первым подвернувшимся ему после того живым человеком о вещах, долгое время бывших для него как бы

запретными.

Предстоявшая женитьба сулила ему больше правильности и покоя в этом отношении, тем более, что в Наташе была артистическая жилка; она серьезно занималась прежде музыкой, и ей должны были быть понятны радости и разочарования артиста-писателя. Кто знал, впрочем, что́ готовило будущее в этом отношении и два художественных темперамента не сулили ли столкновений? Во всяком случае, приходилось заранее мириться с некоторым ограничением свободы, и Верховцев сознательно соглашался с этим из любви к Наталочке, — любви, которая заставила его понять, что все прежние вспышки этого чувства были только временными привязанностями довольно невинных свойств и силы. Противиться новому чувству он не мог, потому что это значило бы без всякой пользы казнить себя, накладывать руки на живого человека и на возможное развитие его таланта; вышло, что, всегдашний противник всего банального, он мысленно повторил избитые фразы о том, что «не мог бы жить без Наташи» и что «он просто не жил до знакомства с ней».

«Однако что было бы со мной, — рассуждал он, — если б я лишился ее: умер бы? Заболел бы? Пожалуй, нет, а вот разве заехал бы подальше за турецкую цепь… Во всяком случае, это было бы страшно тяжело, так же тяжело, как, например, передвигаться после того, как отняли бы ногу, — что это была бы за ходьба?»

Познакомившись с Наталкой в деревне, где он хорошо ее узнал и понял, что это честная, неглупая и энергическая девушка, Сергей серьезно пожалел о необходимости расстаться с ней и, уехавши, просто заскучал. Его первое письмо к ней, — они уговорились переписываться, — было даже немного восторженное от сквозившего между строк чувства, но Наташа не поняла его, потому что далека была от мысли, что умный Сергей Иванович может полюбить ее.

В ее ответе не было никакого выражения привязанности, и он показался Верховцеву так холоден, что его второе послание было умышленно-рассудительно и коротко, а затем последовавшее представляло обыкновенные дружеские сообщения отсутствовавшего старшего товарища. «Напрасно я тратил мой порох, — думал он, — напрасно позволил себе увлечься, — излияния мои нимало не интересны ей».

«Так и есть, — думала, с своей стороны, Наташа, — как ему прежде скучно было со мной, так теперь скучно переписываться, мои письма глупы и неинтересны, в них сквозит деревенский неуч», — и самолюбивая девушка нарочно укоротила свой второй ответ, исключила из него все, что могло дать тень намека на

навязчивость и желание непременно продолжить переписку.

Тогда Сергей, чтобы покончить с официальными фразами, просто перестал писать. «И она, — подумал он, — такая же, как другие: увлеклась, когда пришел каприз, потом охладела и бросила».

«Оно и лучше, — решила Наташа, — хороший урок мне вперед — не думать много о себе».

В то время, как она, при наступившем перерыве отношений, таила в душе надежду получить еще какое-нибудь известие от него, теперь она удовольствовалась бы самым коротеньким вопросом о здоровье, — он, скучая, старался уверить себя, что, конечно, гораздо лучше было покончить со всем этим и перестать думать о невозможном, довольствуясь тем, что есть. Однако в то же время он смутно чувствовал, что зародившаяся привязанность не угасала и при первом свидании вспыхнет, пожалуй, разрастется в настоящую любовь. Вот почему он решился избегать встречи и не ездить снова в деревню, куда дядя опять звал его на следующее лето.

К тому же хотя Владимир и не казался ему серьезно влюбленным в свою «кузиночку», а все-таки неловко было становиться между ними; да, вероятно, она и не променяла бы Владимира на него?

Позже, будучи при армии и узнав от Володи о том, что Наташа с теткой близко, в Систове, ухаживают за ранеными, Сергей не поддался желанию увидеться, чтобы не дать чувству снова одолеть его. Он даже ничего не ответил на их поклон, что стоило ему немалого усилия над собой.

Держась, таким образом, вдали от искушения и будучи в постоянных разъездах с поручениями беспокойного Скобелева, он все-таки часто думал о Наташе: она — та хорошая русская девушка, которая давно грезилась ему и во сне, и наяву; он знал, что в женской молодежи есть такие славные характеры, но искать их ему было некогда, — так всегда занят он был и настоящими работами, и мыслями, предположениями о будущих.

«Есть, да не про нашу честь, — смеялся он внутренно над собой, — это цветы, которые надобно культивировать; за ними надобно ухаживать и в прямом, и в переносном смысле, а нашему брату, вечному работнику, нет на это времени; нам надобно довольствоваться теми дичками, которые растут под ногами, около которых нет традиционного билетика: „Мять и рвать воспрещается“».

Случайная встреча его, раненного, с Наталкой как сестрой милосердия перевернула все соображения, и теперь, после двухмесячного «сна наяву», он был как в тумане от

неожиданности и полноты счастья. Ясно было, что она искренна, и этого было довольно; недостатки в их характерах и разные другие препятствия, которые могли бы находиться на пути осуществления его надежды на хороший исход дела, не могли изменить сущности его; главное решено, остальное он обдумает и, конечно, устроит «по-хорошему».

Владимир Половцев невольно представился ему при этих мыслях; что, если он захочет стать поперек дороги? Правда, воля Наташи и ее полная искренность в выборе должны быть приняты во внимание; к тому же ведь товарищ его благоразумен и не захочет разыграть мавра, на роль которого, пожалуй, и не имеет права, но… кто знает? Володя молод, горяч и к этому гвардейский офицер, т. е. с экзальтированными понятиями о чести, особенно в делах любви…

«Ну, что ж, я готов на все, — мелькнуло в голове Верховцева, — даже и на глупость…»

С другой стороны, с какой стати он будет отказываться от любви девушки? Черт побери! Серьезно говоря, почему ему не быть семьянином? Ведь он уже довольно поработал, и семейное счастье не было бы в данном случае похоже на известную малороссийскую галушку, готовою сваливающуюся в рот.

Вероятно, все устроится и в этом случае, как часто сбывалось то, что намеченное в общих чертах сначала казалось трудно осуществимым, главным образом, из-за его недоверия к «своему счастью», своего рода суеверия, которое за ним водилось.

К работам своим, например, он приступал всегда с маленькою дозой этого суеверия, со страхом, не надеясь осилить разных трудностей, и только благодаря настойчивому труду доводил их до конца; много поработавши и даже выстрадавши, повертывал дело в свою пользу, заставлял судьбу улыбнуться ему.

В противность распространенному убеждению, что постоянное счастье портит человека, Сергей убедился из опыта, что лично его успех только бодрил, сообщал новые силы, давая право рассчитывать, что, осиливши раз, осиливши другой, осилит и третий. Тем не менее всякий новый труд казался ему тяжелее предыдущего: «Ну, да, — рассуждал он, — то вышло потому, что было легче по существу, а вот с этими трудностями, наверное, не совладать, нет материала, мало данных!»

«Нет, не могу, — часто говорил он себе, — надобно отказаться, бросить; выходит слабо, дальше будет еще хуже, скажут, что я опустился, потерял талант…» — и нужны были огромные усилия воли, чтобы не поддаться таким рассуждениям, после которых, в лучшем случае, работа оставлялась, и он принимался пока за другую, — этот прием часто удавался, — а в

худшем — бросалась, рвалась или иначе уничтожалась, чтобы уж не иметь возможности возвратиться к ней, постылой.

Только после многих лет опыта понял он, что уничтожение начатого не обусловливало еще невозможности возвращения к нему: мало того, иногда прямо приходилось жалеть о потраченных силах и времени, снова приниматься за старое, кляня свою нетерпеливость и давая торжественное обещание быть впредь благоразумнее. Увы, все это служило до нового прилива недовольства, когда сразу забывалось разумное решение и начатая работа опять летела в печку!

Эти внутренние страдания литератора были, впрочем, не так неприятны, как разные несправедливые проявления неприязни со стороны. Больше всего возмущали Верховцева обвинения в тенденции: «Дашь что-нибудь отделанное, красивое, но без руководящей мысли, похожее на хорошенький цветок без запаха, — говорят: пусто, бессодержательно; выпустишь труд хорошо обдуманный, осмысленный рассказ из пережитого, перечувствованного, — „Тенденция, тенденция! Злой умысел! Это вредный человек!“» — не затруднятся и не постыдятся изречь несогласные со взглядами автора люди.

Этой нетерпимости было меньше за границею, откуда Сергей получил немало отзывов о его переведенных работах; там судили преимущественно литератора, а в России выворачивали наизнанку самого человека, доискивались его тайных помыслов и побуждений: критика граничила с ненавистью, сыском и доносом.

— О вас столько писано и говорено, что вам, конечно, это прискучило; на вас не оказывают влияния ни похвалы, ни порицания — не правда ли? — говорили Верховцеву люди, не знавшие натуры писателя, а он в последнее время даже перестал читать критику, чтобы не наталкиваться на брань, неизменно появлявшуюся вслед за каждым новым произведением его, — так возмущали его часто умышленно обидные отзывы и подозрения.

Напрасно старик Тургенев, ценивший талант и искренность Сергея, успокаивал его[36], настаивал на том, что никогда не нужно обращать внимания на печатную брань, а тем более отвечать на нее. Сам же утешитель вскоре схватился печатно с одним господином, излившим на него жидкость своего приготовления, как Иван Сергеевич выразился: «не из тучи, а из навозной кучи», и когда Верховцев напомнил о преподанном и позабытом правиле, старик принужден был сознаться, что и он не вытерпел.

Сергей серьезно задавал себе вопрос: не уйти ли, не спрятаться ли, как улитке, в ракушку «искусства для искусства» от всего этого озлобления, от вечных подозрений в подрыве

устоев государства, святынь религии, семьи и общества?

С одной стороны, однако, он чувствовал, что не вытерпит роли олимпийца, с другой — рассудок брал-таки свое, признавая, в конце концов, ничтожность таких обид, — на миру не без тревог и битв, тем хуже для слабонервного, который не выдержит и отступит; он даст возможность противникам отпраздновать лишнюю победу.

Верховцев подъезжал теперь к деревне Булгарени, в которой расположен был центральный госпиталь. Он заехал в тот самый барак, в котором останавливался на пути в Систово для перевязки. Даже тот самый доктор, который встречал его тогда, осмотрел его рану.

— Сначала мы слышали, что вы умираете, потом — умерли; нет, живы еще, стали поправляться, а вот вы и на лошади… Э-э! милостивый государь, да ведь вы рано рискнули сесть на лошадь, бинт сбился и от перевязки не осталось следа; все съехало, рана воспалена и полна крови, что вы делаете?

— Уж очень я был рад вырваться из госпиталя на чистый воздух; но, по правде сказать, доктора предупреждали меня…

— Насколько чистый воздух и эта езда нравственно оживили вас, настолько же материально вы напортили себе.

И доктор серьезно посоветовал, остановивши лошадь, доехать до Парадима в повозке. А там как-нибудь добраться и до Скобелева.

— Как же как-нибудь? Нет, уж я лучше полегоньку поеду, как поехал, а потом, пожалуй, хоть и совсем оставлю на время лошадь.

— Двигайтесь меньше и старайтесь быть как можно спокойнее, пока рана не закроется совсем, — напутствовал его доктор перед отъездом. Кроме того, он повторил ему наказ, данный уже в Бухаресте: не посещать ни тифозных, ни каких бы то ни было заразных больных под опасением заразиться самому, так как теперь эта процедура проделается с замечательною легкостью; рану же советовал перевязывать не менее двух раз в день, — а он-то уверял добрейшую Надежду Ивановну, снаряжавшую его перед выездом из Систова, что, вероятно, это «еще одно последнее сказание»!

Выехавши из Булгарени под впечатлением таких неутешительных наставлений, Сергей возвратился мыслями к обсуждению своего положения, на которое, впрочем, в общем, все-таки нельзя было особенно жаловаться.

Благодаря некоторому состоянию, оставленному отцом, он сразу вступил в круг самостоятельных литераторов, так как писал не спешно, не то, что от него требовали, а то, что сам хотел. С

одной стороны, от этого выигрывали оригинальность и самостоятельность работ, с другой — ему не было надобности принимать невыгодные условия, предлагающиеся обыкновенно начинающему; он сам издал первые свои работы, издал хорошо, хорошо и распродал, чем заставил господ издателей и редакторов быть внимательнее к себе.

Теперь, однако, когда небольшое состояние было издержано и предвиделась семья с новыми расходами, материальная сторона дела опять стала приходить в голову и даже немножко беспокоить.

Родители Сергея умерли сравнительно недавно. Первым умер отец; никогда не болевший прежде, он браво ответил на вопрос сына, что это с ним случилось: «Заболел, брат, и знай, что это первый и последний раз». Мать, раньше болевшая в продолжении нескольких лет, лечившаяся чуть не у всех докторов столицы, пережила его, но не надолго: одной ей, как она говорила, не было места на этом свете, и она умерла через два года после мужа.

Только тут, когда «совершилось», Сергей понял, что значит лишиться родителей, какую страшную пустоту оставляет за собою эта непоправимая беда. Он пожалел о своих ссорах с отцом и матерью: понимая жизнь по-новому, в то время как они думали и поступали по-своему, по-старому, — откуда нелады, — он крепко схватывался иногда со стариками; впрочем, в последние годы, часто отлучаясь и видясь реже, он жил с ними мирнее.

Решение его покинуть службу и отдаться литературе встречено было отцом и матерью враждебно: они сулили ему смерть на соломе; но уже первые успехи его заставили их настолько переменить мнение, что еще при жизни они отдали ему часть состояния. Когда же молодой Верховцев сделался известен и о нем начали говорить и писать, старики стали гордиться им, и мать, смеясь, сознавалась, что при выходе в свет всякого нового труда его ей смертельно хотелось всем объявить, что она мать его. Старушка признавалась, что в то время она нарочно заводила разговоры с незнакомыми, чтобы иметь удовольствие назвать себя «матерью Верховцева» и затем выслушивать изъяснение уважения «матери нашего молодого высокоталантливого писателя». «Милая, нежная мама, — подумал Сергей, — где-то ты теперь? Как порадовалась бы ты за меня и полюбила бы *ее*!»

«Как, однако, бедная Наташа плакала! Она горевала, боясь, не убили бы меня. Даже и она не прочь была бы, чтоб я бросил свое волонтерство и уехал домой; про других и говорить нечего, все дивятся: „Ну, чего вы-то? Добро были бы обязаны, а то жертвуете собою из любви к искусству!“ Но ведь писать-то я буду всю жизнь, а войну вряд ли когда придется изучать так близко. Они не

понимают, что это мой пост для наблюдения, что если я пишу мало корреспонденций, для которых приехал, так запечатлеваю много в голове. И какие впечатления! Чего стоит наблюдать одних раненых: по эгоизму и экзальтации эти люди превосходят намного даже обыкновенных больных».

Он убедился, напр., что раненому, возвращающемуся с поля битвы, положительно нельзя верить, когда он описывает положение дел, обыкновенно отождествляемое им с собственным положением. А как интересны примеры их крайностей, то капризов, то терпения! Он не мог без улыбки вспомнить одного раненого на Зеленых горах, ворчливо усевшегося около Скобелева, который расположился было на разостланной бурке вместе с начальником штаба. Генерал, зная «ндрав» раненых вообще, ничего не сказал на такую вольность и остановил офицера, хотевшего дать заметить солдату его бесцеремонность. Тот тем временем, продолжая ворчать и осматривать свою язву, пересел на самую бурку и, передвигаясь мало-помалу, так стеснил генерала, что Михаил Дмитриевич потихоньку встал и, сделавши знак другим, ушел с ними прочь, предоставив все устроенное сиденье солдату.

А другой старый солдат, пронизанный пулями, как решето, и сохранивший способность шутить! Семнадцать или восемнадцать пуль в теле, некоторые раны сквозные, так что всего-навсего около 20–22 отверстий по телу, в руках, ногах и груди — и шутит! Этот субъект, кряхтя немного, дал себя осмотреть и на замечание Сергея, вынувшего записную книжку, что он желает записать его имя, лета, родину и проч., а также набросить его портрет, ответил: «Мне уж теперь один патрет — на тот свет!»

Очевидно, тут не одна живучесть только.

«Жаль, — думал Верховцев, — что я не довольно занимался естественными науками: при настоящих познаниях я не могу делать ни правильных сравнений, ни обобщений. Надобно же было отдать меня в инженерное училище! Что из того, что я кончил курс одним из первых? На что мне теперь инженерное искусство, разве для набросков ситуации для Скобелева? Разговор был бы другой, если бы, изучив хорошо животное царство, я мог проверить психологическую сторону его инстинктов наблюдениями над человеком, над храбрым, нервным, честолюбивым, плутом, героем, умирающим и т. д., — к каким великим выводам мог бы я прийти! Материал ведь единственный, поле для наблюдения удивительное!»

Однако и теперь он не мало извлек пользы из виденного и слышанного, удастся ли только выразить все прочувствованное? Масса в высшей степени интересного материала собрана уже,

остается высмотреть недостающее, тогда можно будет и уехать со спокойною совестью. Покамест пусть думают и говорят, что он без толку суется туда, где его не спрашивают, чуть не с жира бесится, — он служит своему отечеству не менее, если не более других!

А что, коли напоследки-то опять ранят, а то и совсем ухлопают? И мысль его невольно перенеслась в Систово: что *она* теперь делает? Что бы ни делала, конечно, думает о нем, как мысль о ней постоянно примешивается теперь ко всему, о чем он рассуждает.

Что с нею будет, коли его убьют? От одной этой мысли не будет ли он теперь избегать опасности, трусить? Не заметит ли, не скажет ли Скобелев, что он обабился? Скобелев был у него в госпитале, он это знал, но в самое дурное время болезни, так что его не впустили. Однако Михаил Дмитриевич видел Наташу и теперь, злодей, верно не утерпит, чтобы не подтрунить над ранами, за которыми ухаживала такая хорошенькая; и ему пришел на память добродушный смех Скобелева: «Гхи, гхи, гхи!»

Сидя бочком в седле, — рана таки давала знать о себе, — Сергей размышлял о том, как неловко будет для него пребывание в отряде теперь, пока он такой инвалид, — рана-то оказывается упорнее, упрямее его и, пожалуй, еще долго не придется ему ездить с поручениями. Здоровый, всегда готовый сесть в седло, он был очень полезен Скобелеву, он знал это, но не будет ли ворчать милый генерал, когда сам «Вегховцев» начнет «отлынивать»?

Залп с ближней батареи заставил вздрогнуть Верховцева, подъезжавшего к плевненским позициям и взявшего в сторону от Парадима, чтобы проехать прямо на левый фланг, поскорее в руки своего приятеля-доктора, милого малого, неистово упивавшегося всегда у него чаем.

Сергей не вытерпел, чтобы не полюбопытствовать на стрельбу залпами, о которой он слышал еще в Бухаресте, как о нововведении Тотлебена.

Одна из батарей центра была как раз перед ним. Он въехал на возвышенность, потом взял вправо и направился по дороге, ведшей мимо батареи к неприятельскому редуту. Турки тотчас же заметили всадника и стали посылать ему гранату за гранатой. Верховцев привязал лошадь в стороне, к дереву, и, прихрамывая, опираясь на палочку, отправился дальше пешком.

С редута стали стрелять шрапнелью, пролет которого сказывался шумом будто горячего веника в бане. Интересно все-таки было, что вся эта масса металла, очевидно, предназначенная специально ему, пролетала мимо, совсем близко, ни на волос не задевая его. Он дошел до бруствера, поклонился офицерам и

опустился между двумя орудиями.

Ввиду того, что турки стали засыпать батарею гранатами, прием путнику был не особенно симпатичный. Пока Сергей жевал предложенный ему солдатский сухарь, один из офицеров рассказывал, что «на том самом месте, где он теперь сидел, вчера убило двоих да одного третьего дня». Ясно было, что его хотели выжить, чтоб утишить гнев турок, — видимо, здесь, как и в некоторых других местах, практиковался негласный «вооруженный нейтралитет», в силу которого избегали раздражать турок, стараясь стрелять пореже, пока те держали себя спокойно. Этот раз, однако, на бешеную стрельбу, обрушившуюся без видимого резона по одному человеку, командир батареи приказал ответить, «да хорошенько, чтобы проучить их, подлецов!». Раздалась команда: «Батарея!», за которою последовал оглушающий удар всех орудий.

— Выпустил! — кричал поминутно сигнальщик. Со стороны «подлецов» показывался белый дымок, и граната, жужжа все сильнее и сильнее, ударялась где-нибудь поблизости, иногда зарывалась в землю, большею же частью с страшным треском разрывалась, поднимая раструбом огромный столб земли и каменьев, увенчанный круглою шапкой порохового дыма — настоящие кочаны цветной капусты, думалось Сергею. По слову «выпустил» все прилегали к брустверу, пока не проходил адский шум взрыва; тогда расправляли спины, даже выглядывали через бруствер, чтобы проверить действие наших ответных снарядов.

Верховцев помнил, что у Скобелева это прятанье мало практиковалось: так как сам он не любил хорониться от неприятельских выстрелов, то и окружающим было неповадно делать это. Белый генерал до такой степени привлекал на себя неприятельские выстрелы, что его начальник штаба и ординарцы, только становясь рядом с ним или окружая его в такие минуты, заставляли volens-nolens[37], не без воркотни и брани, уходить под закрытие.

Сергей встал и, не торопясь, пошел к дереву, росшему у конца бруствера и, видимо, служившему точкою прицела для турок, — странно, что оно не было срублено. Он вынул бинокль и стал рассматривать турецкие укрепления, мало изменившие свои физиономии, зато наши работы сильно подвинулись вперед. Далеко-далеко увидел он скобелевские дымки, и сердце его забилось.

— Однако, вы обстрелянный, — сказал один из офицеров, когда он воротился к орудию.

— Крепко бьют сегодня, — заметил другой.

Раздался стон раненого… Носилки!

— Много перебьют людей…

Сергей понял намек и решил уйти; ему думалось, однако, что не было беды в происшедшем перерыве этого негласного перемирия, так противоречившего, казалось ему, и цели, и ходу осады.

И стреляли же по нему турки, пока он шел назад к своей лошади! Снаряд за снарядом массою шрапнели устилал дорогу. Он вскарабкался на своего коня, сильно фыркавшего и поводившего ушами на выстрелы, и выехал на дорогу.

Теперь он был уже недалеко от места расположения штаба левого фланга и направился прямо туда.

«Что-то делает мой казак Иван, Вано, как его в шутку называли? Верно, съел и выпил весь чай и сахар, рассчитывая, что я умру. Хорошо, если он запустил лапу только туда и не растерял чемоданов, где мои сокровища — записные книжки… Кормит ли этот злодей лошадей? Цела ли палатка?»

Опять начинается старая жизнь: постоянно захожие офицеры будут с утра до вечера пить у него чай, валяться на его кровати, постоянно будет раздаваться голос генерала: «Вегховцева позвать!» — а вслед за этим и его голос: «Иван! лошадь! живо!»

Он издали увидел палатку Белого генерала, близ которой виднелась и его собственная, — кто бы мог жить теперь в ней? — и не утерпел, рысью поехал туда.

Бесспорно, Верховцев искренно любил Наташу, обещал, помня ее, избегать опасностей, но — чудное дело! — приблизившись к местам, на которых чуть было не сложил свою голову, забыл на время и рану свою, и невесту, и будущие опасности: очевидно, в его стремлении к опасностям сказывалось, кроме желания наблюдать и учиться, как он уверял, еще и серьезное увлечение войною, как спортом. Недаром начальник штаба Скобелева, умница Перепелкин, говорил ему, что он ошибся призванием, сделавшись литератором, так как из него вышел бы образцовый кавалерийский офицер-партизан.

VII

Владимир воротился из России в невеселом настроении духа.

Посланный вслед за тем в отряд одного известного бравого генерала, командовавшего гвардейским отрядом, он присоединился к войскам в то время, как они занимали город Этрополь.

Половцев тотчас же по праву вошел в среду блестящей

молодежи, окружавшей командира отряда и составлявшей «английский клуб», — почему английский, это было неизвестно, разве потому, что, как и его прототипы в столицах, он носил несколько аристократический характер.

В «клубе» были представители большей части полков гвардии: лейб-драгун, лейб-улан, гусар, кавалергард, кирасир; дипломат, бывший секретарь одного из наших посольств, теперь казацкий урядник, тоже исполнял должность ординарца. Был титулованный корреспондент большой московской газеты, за которым ухаживали, как за хорошенькою дамочкой; особенно после того, как в одной из корреспонденций он выдвинул ординарца генерала, ротмистра Волона, всем остальным захотелось, чтоб и их помазали по губам, чтоб и о них что-нибудь сказали в «письмах с театра войны». Наконец, был известный художник и представитель «Красного Креста» при отряде.

Один из членов кружка, гусар, превосходно рисовал карикатуры, чем почти ежедневно утешал и заставлял хохотать товарищей: сходство портретов и остроумие замысла рисунков были поразительны. Другой молодой воин прелестно пел… Шутивших и отпускавших острые словечки нечего было и пересчитывать: все были таковыми, все были добрые ребята.

Бравая компания занимала хорошие квартиры в городах и местечках, всегда близ генерала, в складчину ела и пила совсем недурно для военного времени и жила благодаря молодости не скучно.

В «клуб» зазывались все приезжавшие в отряд, как из наших гвардейских офицеров, так и иностранцы, до англичан в пробковых шлемах включительно.

Нельзя, однако, сказать, чтобы все и всегда улыбалось членам «английского клуба»: когда отец командир был не в духе, — а это случалось не редко, — он и вечером, в дождь, слякоть и непроглядную тьму звал ординарца; все сердца соболезновали товарищу, которому, по всем вероятиям, предстояло протрястись ночью на нескольких десятках верст; каждый побаивался к тому и за свою особу, так как не было ничего невероятного в том, что за одним ординарцем грозный голос не вызовет другого и третьего.

Командовавший отрядом, очень популярный в армии и очень добрый человек, называвшийся в «клубе» «папашею», был из тех, с которыми шутить не следовало. Когда под Этрополем генерал Двугородный, выбившись из сил, поднимая пушки на высоты, дал знать, что втащить туда орудия нет возможности, отец командир лаконично ответил: «Пусть втащит зубами», и Двугородный хоть не зубами, а десятками волов и буйволов, главное же — сотнями солдатских рук, втащил-таки орудия. Нравственный эффект залпа

с этой высоты на турок, никак того не ожидавших, был так велик, что они бросили город и побежали к Шандорнику, — укрепленной скале, командовавшей над Софийским шоссе, — главным перевалом западных Балкан в Болгарии.

Артиллерия их, сбившись на дороге, отступила туда очень медленно, и Половцеву показалось, что с нашей стороны была сделана серьезная оплошность тем, что, во-первых, захватили не всю эту артиллерию, а только несколько орудий и, главное, не попробовали следом за нею ворваться в самое укрепление.

«Папаша» также очень сердился за недостаток энергии, проявленной при этом случае его подчиненными. В сущности, ошибка произошла оттого, что назначенный для преследования турок донской генерал Чернов не имел достаточно авторитета, чтобы заставить слушать себя титулованного командира фешенебельного гвардейского полка, отданного ему под команду.

Володя и прочая молодежь штаба немало смеялись разговору между генералами, в котором суровый при случаях дурного исполнения его приказаний командир отряда выговаривал Чернову, зачем он упустил случай попробовать ворваться в Шандорник вслед за турками.

— Как же это ваше превосходительство не попробовали побывать у них в гостях?

— Я хотел, ваше превосходительство, только князь Зволенский ответил мне, что это, говорит, не входит в нашу программу.

— Хоть бы вы поинтересовались узнать, умеют ли турки в Шандорнике стрелять-то?

— Хотел, ваше превосходительство, хотел, да князь Зволенский положительно сказал: «Не входит, — говорит, — в нашу программу».

Генерал Чернов был тип старого донца: «Вон, видите эту дорожку, — говорил он конфиденциально Володе, которого полюбил, может быть, отчасти за то, что тот состоял при штабе, — видите, куда она выходит? Вон куда! Вот я по этой дорожке и пошел бы, да врасплох и напал бы на них…»

В этих соображениях, по какой тропинке или дорожке лучше было бы напасть, непременно врасплох, — иначе было бы не по-казацки, — сказывался весь донской офицер; зато когда ему пришлось идти по большой дороге, наступать грудью, что казак считает всегда неразумным, пороху у него не хватило.

В общем, в этом штабе жилось легче, чем у Скобелева. Генерал, бесспорно храбрый человек, и сам не рисковал без крайней нужды, и ординарцам его не приходилось каждый день ходить на смерть; несмотря на суровую внешность, в нем

слышалось доброе сердце, и от хорошо знавшего его Берендеева Володя слышал, что грозный генерал — очень нежный отец и семьянин; это показалось ему даже несколько странным. В отряде боялись его и хорошо знали, что не нужно попадаться на дороге «папаше» в сердитую минуту, которые выходили-таки частенько.

На другой день помянутого объяснения с Черновым Володя ехал за начальством вместе с адъютантом и ординарцами. Был как раз дурной день, он начался с того, что проводник сбился с дороги, и когда «папаша» своим громовым голосом пообещал ему «сорвать голову», бедный болгарин заранее принес эту жертву, совершенно лишившись ее.

Дорога на Шандорник оказалась грязна до невозможности; выпавший за ночь снег растаял и под ногами лошадей обратился в жидкую грязь; колеса орудий и повозок выбили страшные ямы и ухабы. Тащившиеся на горы повозки, запряженные часто в одну лошадь, поминутно заседали в колеях и рытвинах, и вытаскивать их приходилось солдатам. Генерал вышел из себя.

Поравнявшись с полным, аккуратным генералом Двугородным, ехавшим на сытой кругленькой лошадке, в сопровождении денщика, повара и полного штата прислуги, он на него первого и обрушился.

— По Тамбовской губернии изволите прогуливаться, ваше превосходительство?

— Никак нет, ваше превосходительство!

— По Тамбовской губернии, говорю я вам, гуляют в одну лошадь, — загремел голос «папаши», — извольте перепрячь! В кручу спущу все одноконные повозки!

Володе было жаль своего приятеля Двугородного, элегантного, остроумного офицера генерального штаба, тут как-то съежившегося и ответившего только, с рукою под козырек: «Слушаю-с!»

Далее по дороге горой набитую телегу с офицерскими вещами целая сотня солдат, вместе с парою лошадей, силилась и не могла вытащить из грязной выбоины.

— Перепадет владельцу, — только успел шепнуть Половцев товарищу, как опять раздался голос, хотя и выходивший из довольно тщедушной груди, но казавшийся настоящею трубой:

— Чьи вещи?

— Полкового командира, ваше высокопревосходительство! — отвечали солдаты из грязи, в которой увязли чуть не по пояс и которою залиты были буквально от головы до пяток.

— Позвать сюда полкового командира!

Тот немедленно явился, бледный, с дрожавшею у козырька рукою.

— Вашу хурду-мурду тащит, выбиваясь из сил, целая рота солдат, — почему запряжена только пара лошадей? Стыдитесь, полковник! Извольте сейчас впрячь быков, или я вашу повозку спущу в кручу!

Далее, ближе к горам, лагерь драгунского полка оказался расположенным в большом беспорядке.

— Полкового командира сюда! — Ваш табор?

— Мой полк, ваше превосходительство.

— Не полк, а табор, говорю вам! Извольте сейчас привести лагерь в порядок, — стыдно смотреть на него!

Володе вчуже было жутко за бросившегося исполнять приказание полкового командира, как рассказывали, потом сломавшего себе ногу в этот день, должно быть, от усердия.

Половцев провел два дня на высотах у своего знакомого, генерала Двугородного, в продолжение которых был свидетелем нападения турок на Московский полк.

Дело было как на ладони видно с позиции нашего правого фланга при Шандорнике. Началось с того, что в этот день стали стрелять залпами по туркам, которым большой беды от этого не вышло, да и сами они к тому же не остались в долгу. Но Московский полк, забравшийся с артиллериею на южную сторону Софийского шоссе, пришелся солон одному из араб-конакских укреплений, выславших на него несколько таборов пехоты. Дело было, по-видимому, настолько жаркое, что Владимир взял на себя дружески уговорить Двугородного послать сражавшимся один за другим три батальона гвардейцев. Злые языки, впрочем, уверяли потом, что в этом сражении было больше шума, чем дела, — кто разберет? — в кампании прохаживаются насчет начальства и товарищей еще усерднее, чем в мирное время.

Здесь, на высотах, Половцев встретил того Петю Бегичева, содержание письма которого к своей матери передавал отец Василий в день отъезда из деревни. Бегичев служил прапорщиком в Новгородском полку, одном из двух, которыми командовал Двугородный, перед тем как принял гвардейскую дивизию. Володе интересно было поболтать о своих стариках и разных знакомых, но приятель стал что-то сбиваться в ответах, когда зашла речь о его рассказах насчет храбрости Скобелева и мужества Гурки, — можно было понять, что все это было написано понаслышке, так как у первого генерала Петя, оказывается, вовсе и не был под командою, а ко второму поступил только недавно.

Одною из самых интересных военных процедур было втаскивание на высоты орудий, — процедур, свидетелем которых Владимир часто бывал за проезды на горы и обратно, при

исполнении поручений: без церемонии, по пояс в жидкой снежной грязи, солдаты, в числе нескольких сот человек, припряженные в подмогу двум десяткам волов и буйволов, под звуки «Дубинушки» тянули каждое орудие на протяжении двух-трех верст подъема; несмотря на частые передышки и совсем не теплое время года, они буквально обливались потом и выбивались из сил; лица ни на одном человеке не было видно, так как обыкновенно вся фигура, начиная от башлыка и кончая сапогами, густо покрывалась грязью, чистыми оставались лишь глаза. Казалось бы, тут-то уж было не до смеха, а все-таки, проезжая мимо этих чучел человеческих, до половины тела завязших в колеях и ямах, Половцев слышал шутки и остроты, видимо, смягчавшие страшную работу. «Какая разница с нашею работой!» — невольно думал он под звуки далеко раздававшихся по лесу звуков «Дубинушки».

Владимир служил, т. е. исполнял свои обязанности ординарца, исправно, но на душе у него было неладно — смутно и тоскливо. Он часто задумывался и нередко из-за пустяков раздражался; как будто характер его испортился, что товарищи вскоре заметили, и дело не обошлось без подтрунивания, иногда участливого, а когда и кусавшегося.

— Что с тобой, Володя? — спрашивал гусар, знавший его в Петербурге за доброго малого, с открытым, сообщительным характером.

— «Cnerches la femme»[38], — вставил казак-дипломат. — Пари держу что ему изменили… Сознайтесь нам, Половцев, вам легче будет.

— Все по этой дорожке бегали, понимаем, что les absents ont tort, — добавил другой и не шутя посоветовал Владимиру «плюнуть на изменившую бабу».

Шутки попадали недалеко от больного места, и Володе стоило немалого усилия не выказать этого, не рассердиться. Раз, однако, он не вытерпел, вспылил и попросил одного из смехунов прекратить шутки, «потому что они ему не нравятся». В глаза шутить перестали, но за глаза уже серьезно жалели его, когда видели засиживавшегося над раскрытою книгой, с глазами, устремленными куда-то в пространство, что стало случаться чаще и чаще.

По правде сказать, сначала он и сам не мог бы объяснить, что за тоска напала на него — смутная и в то же время неотвязная. Во все часы дня, и особенно просыпаясь по утрам, чувствовал он, что ему предстоит считаться и разделываться с чем-то интимным, но нехорошим и порядочно для него обидным; и чем больше думал он, тем крепче останавливался на мысли, что произошло что-то

непочетное для его самолюбия.

Первое время по возвращении и пребывании в отряде он сравнительно меньше думал о перемене своих отношений к Наталке, смотрел на дело довольно хладнокровно и снисходительно. «И любовь ко мне была каприз, — думал он, — и это еще новый каприз, — считать их за хорошенькими девушками, значит, терять напрасно время; одним больше, одним меньше — не все ли это равно?» Но с течением времени, отчасти под влиянием шуток товарищей, тотчас заметивших и понявших его дурное расположение духа, он незаметно пришел к более нетерпимому образу мыслей.

По возвращении из России Володя не сдержал своего обещания посетить друзей в Систове просто потому, что очень уж не хотелось этого делать, — его тянуло скорее подальше от них. В письме к Надежде Ивановне он, опять под предлогом необходимости спешить с важными бумагами, сдал поклон от своих, попросил передать поклон Наташе и Верховцеву, который, вероятно, был уже здоров, и проехал мимо.

Больше и больше думая об одном и том же, он не раз вспоминал про последнее свидание на балконе, когда Наташа, девушка откровенная и искренняя, говорила ему то, что совсем не мирилось с происшедшим; так и слышался дрожавший, прерывавшийся от слез голос, говоривший ему: «Знайте, что я полюбила в первый раз и чувствую, что никогда никого, кроме вас, не полюблю!»

Зачем она сказала ему это? Чтобы что-нибудь сказать? — нет, она не такая. Разве он старался вызвать ее на это признание? — нимало, оно было совершенно неожиданно для него самого.

Строго проверяя свои тогдашние впечатления, он вспомнил, что как будто заметил у нее потом сознание опрометчивости сказанного, желание, когда он снова навел было разговор на эту тему, обойти необходимость повторения высказанного. Но ведь не было сомнения все-таки в том, что это было ее искреннее чувство. Прямая и независимая девушка, какою он ее всегда знал, ведь не сделала бы такого признания для шутки или для того, чтобы порисоваться.

Как же все это так быстро прошло, куда улетучилось, из-за чего, по чьей вине? — конечно, не по его; он виноват разве только тем, что не поехал к ним, так как служба не позволяла, и ничем другим.

Нет, виноват не он, а другой, и этот другой — *он*! Ведь *он* знал об их отношениях? Владимир хорошо помнил, как сам говорил Сергею, что Наташа нравится ему и что он хочет — не теперь, а со временем — на ней жениться; значит, *он* сознательно

сделался их разлучником, — сознательно, обдуманно отнял у него, Владимира Половцева, девушку, бывшую товарищем его детства и теперь считавшуюся его невестой.

В Петербурге самолюбие Владимира, вероятно, скоро нашло бы утешение: он перенес бы свое ухаживание и искательства на другую особу, благо многие заглядывались на него, но здесь, при отсутствии женского общества, постоянной работе воображения и поддразнивания товарищей, ему представилось, что он лишился существа, страстно им любимого, и что слова Наташи на балконе, а потом ее плач и поцелуй при расставании дали ему полное право и на сердце, и на руку ее, — право, которое он не очень-то был намерен уступить другому.

Недавно, когда он виделся с матерью, нарочно приезжавшею в Петербург с Василием Егоровичем для свидания с сыном во время его командировки курьером, она много, с участием расспрашивала о Наташе, и теперь, в последнем письме, еще раз спрашивая о ней, шутя высказывала подозрения, что девушка похорошела там и из-за нее, конечно, больше, чем из-за турок, он не находит времени писать им, старикам. Заметно было, впрочем, в письме и серьезное беспокойство о том, как бы из-за привязанности к Наташе он не отвлекался от своих прямых обязанностей: «на все свое время», — замечала она. Милая мама! возможно ли так сильно ошибаться?

— Как это все не ладно! — думал он. — Что она похорошела — это верно, что мысли о ней часто отвлекают его от дела — это тоже верно, но при каких же обстоятельствах? Ведь ему прописана чистая отставка и все дело улажено у него под носом так же ловко и гладко, как фокусник, не дотрагивающийся до платья, вынимает из кармана кошелек или часы. И кто проделал с ним эту штуку? — раздражался Володя. — Его друг, проповедник честности и справедливости, нелюдим и бука с вида, но, очевидно, себе на уме, плут в душе.

Как будто чей-то голос заступался, однако, за Сергея в мыслях Владимира и говорил, что вряд ли такое определение верно; кажется, напротив, поведение *его* было безупречно.

— Во-первых, — спрашивал голос, — вполне ли Володя уверен в том, что Наташа разлюбила его, если любила прежде и привязалась к Сергею?

— О! в этом нет никакого сомнения: и привязалась, и полюбила *его*, и уговорилась, и, пожалуй, отдалась ему… Впрочем, нет, не такая она девушка, чтобы сделать последнее, но что она его, Владимира, покинула, променяла — это верно выдавали и лицо ее, и разговор, и письмо Надежды Ивановны, сконфуженное, виноватое, с поклоном от Наташи, — конечно,

вместо *поклона*, было бы целое излияние девушки, если б у нее было прежнее желание его видеть и с ним болтать. А главное, ее глаза, так знакомые ему, они совсем не те, что прежде, — они чужие, беспощадно чужие для него!

— Хорошо, — продолжал защиту тот же голос, — положим, что это верно, — хотя ручаться в таких вещах нельзя, — все-таки название плута не подходит к Сергею Верховцеву, не сделавшему ничего бесчестного. Можно думать, что Наташа понравилась ему уже давно, с первого знакомства — так? — Да, Владимир это смутно чувствовал тогда и ясно сознавал теперь, — *он*, однако, Володя верно помнит, ничем никогда не показал этого, вел себя с нею просто, беспритязательно, не рисовался, не интересничал, не завлекал. Как же все это сделалось, когда переменилось? Да, с этой раны, за которую *его* меньше всего можно было винить: она свела его, беспомощного, умирающего, с Наташей, для того ведь поехавшею на театр войны, чтобы ухаживать за ранеными; девушка ходила за ним, выходила, вынянчила, подняла на ноги и привязалась к нему. И кто же сдал *его* на руки своей «кузиночки», если не сам он, Володя, когда, в искренней заботе о друге, телеграфировал, просил «не пропустить, встретить» раненого, а значит, и успокоить, пригреть своим участием и заботами?

Верховцев все время неизменно оставался настолько искренним «букою», что, несмотря на его, Владимира, многократные напоминания о пребывании Наташи с теткою здесь, при раненых, о желании их видеть его, так-таки им не показался, не напомнил о себе. Значит, он, несмотря на то, что был уже к ней неравнодушен, поступал с полным самообладанием и уважением к чувству друга, не делал подвоха под него, не навязывал своей особы. Можно ли удивляться тому, что, чуть не воскрешенный от смерти Наталкою, он перестал дичиться ее и сошелся с нею, — может ли благоразумный человек удивляться, сердиться на это?

— Все это так, — подсказывал другой, обвинительный, раздраженный голос, — но ведь Сергей хорошо знал, что это он, Владимир, его друг, послал ему свою невесту в сестры милосердия, — как же мог он дозволить себе, в благодарность за эту услугу, лишать его этой девушки?.. Это низко, подло! Поступи так человек без правил, щеголь, искатель «bonnes fortunes»[39] или выгодной женитьбы, вина была бы меньше, — что тут была вина и очень серьезная, Владимир больше не сомневался, — но сделал это человек, гордящийся честными правилами, проводящий их в своих сочинениях.

Правда, официального предложения с его, Володиной, стороны Наташе не было, женихом ее он еще не состоял, но,

ввиду того, что всем была известна их близость и что сама она перед ним, как перед мамою и другими, не скрывала своей привязанности, он не только может, а должен заявить о себе и своих правах.

Он очень ошибается, если думает, что дело кончится так, как оно стоит теперь, и что Владимир великодушно благословит их согласие и союз. Конечно, в продолжение кампании неудобно будет разрешить этот вопрос, придется отложить его до окончания войны, но, во всяком случае, при первом же свидании он выскажет Верховцеву то, что думает о его поступке, выскажет прямо, без обиняков, а там, — кровь бросилась ему в голову, при мысли о том, что, вероятно, будет затем, — там видно будет!..

Владимир решил воспользоваться первым же случаем возможности съездить в штаб, а оттуда, конечно, можно будет не надолго отлучиться в отряд Скобелева, куда, как он полагал, Верховцев уже воротился.

Служба ординарца шла тем временем своим чередом. Половцев ходил с отрядом, занимавшим Златицкий перевал, где провел убийственную ночь в покинутом турецком блокгаузе, битком набитом солдатами. Первый раз в жизни испытал он здесь удовольствие принять во все складки своего белья и платья известную «серенькую солдатскую животинку».

Турок видели только издали, они покинули перевал без боя, и Владимиру так-таки и не удалось попасть в схватку, на что он надеялся. Как ни жутко было бы принять участие в настоящей драке, ему казалось совестным хотя бы перед тем же Верховцевым, которого он так строго судил, воротиться домой, не понюхавши пороха вблизи, а, пожалуй, оно так и будет.

Одно сражение, в котором, тоже издали, Половцев участвовал, было особенно картинно. Это — дело под Правцем, происходившее на горных вершинах, в облаках, освещенных яркими розоватыми лучами заходящего солнца. С места расположения штаба хорошо была видна противоположная вершина и на ней турецкий отряд, готовившийся встретить наш, посланный ему в обход; все офицеры наблюдали: вот показалось из-за скал несколько солдат Семеновского полка… еще и еще… вот весь отряд наш с криком «ура» бросился на турок, которые не выдержали, сначала попятились, потом побежали вниз по горе, наши за ними… В это время поднявшиеся облака окружили сражающихся радужным от света заходящего солнца кольцом, так что вся сцена представила чисто театральную феерическую картину.

Штаб отряда перешел скоро после этого в город Орхание, расположенный перед входом в балканский проход, откуда

турецкая армия, после правецкого сражения, отступила так стремительно, что оставила в наших руках много разных запасов, начиная от сухарей и кончая хинином; кстати, этого последнего у нас почти не было, и если бы не «Красный Крест», понемногу снабдивший им армейские госпитали, нечем было бы лечить массу лихорадочных больных армии.

Наконец, среди установившейся уже зимы пришло известие о сдаче Плевны[40].

Половцев узнал, что Скобелев назначен комендантом города, значит, *он* в Плевне и там можно будет перехватить его и с глазу на глаз переговорить о деле.

Как раз начальник штаба отряда объявил Владимиру, что он едет в большой штаб с донесением о положении дел — пусть он приготовляется, его пошлют, лишь только будут собраны по отряду необходимые для доклада сведения.

Получивши, наконец, бумаги и кое-какие устные поручения к начальству, Половцев выехал с казаком, позабывшим подковать лошадей на острые шипы, что, ввиду наступившей гололедки, до крайности затрудняло езду. Вдобавок, будучи занят большую часть последнего времени мыслями о скором свидании и объяснении с своим бывшим приятелем, — причем даже придумывалось, что и как скажется, что получится в ответ, — он совсем позабыл о бедном, ни в чем не повинном желудке. Вышло, что в дорожной сумке оказалось немного сахару, но совсем не было чая, затем была связка баранок, бутылка водки, и только. По дороге удавалось доставать и кое-где ставить самовар или чайник и пить горячую сахарную воду, но раздобыть чего-либо съестного на этом выгложданном пути оказалось решительно невозможно. С другой стороны, в грустных мыслях о разных недочетах положения недостатка не было, и Половцев думал, думал дорогой без конца…

За эту командировку в горы, в продолжение которой на глазах его совершилось столько интересного, Владимир более чем когда-нибудь пожалел о том, что не поступил в академию генерального штаба; конечно, тогда все им виденное не только дало бы пищу его наблюдательности, но и повело бы к более прямым и практическим результатам по службе: и сам он заинтересовался бы более, и других сильнее сумел бы теперь заинтересовать своим личным докладом, неизбежно поверхностным при настоящих условиях.

«Вероятно, — приходило ему в голову в хорошие минуты раздумья, — если бы я был более приготовлен к делу, все кругом происходящее заставило бы меня забыть тот вздор, который наполняет теперь мою голову, всю эту нелепую ревность и

пошлые мечты о мщении, ближайший результат которых тот, что службу я люблю, а служить как следует не могу».

Впрочем, таких светлых минут размышления было немного; образ Наташи все-таки не покидал головы Владимира, и досада на случившееся не давала покоя. Дело сложилось, в конце концов, как-то так, что вся эта досада перешла на одного Верховцева, почти выгородивши и все еще милую Наташу, и не менее дорогую свою собственную, полную самолюбия, личность.

А самолюбия Володе Половцеву не занимать было стать, — и в корпусе, и на службе оно почти всевластно направляло все его мысли и поступки. Хорошее поведение, хороший фронт, порядочные успехи в науках, — все достигалось почти бессознательно из-за желания не отстать от одних, если возможно, опередить других. Когда, в 17 лет, по окончании курса в корпусе, пришлось выбирать направление для карьеры, когда и отец, и граф А., и собственный здравый смысл стояли за приготовление к поступлению в академию генерального штаба, одно самолюбие оказалось против, — самолюбие сначала аристократа-кадета, потом блестящего офицера, полного светских успехов, перед более обойденными внешностью, но, может быть, более одаренными духовно товарищами.

Казалось, вся практика военной жизни последнего времени указывала на то, что и в военной службе «претерпевший до конца спасен будет», то есть доучившийся не будет «произведен в генерал-майоры с мундиром и пенсионом по положению».

Один из бывших товарищей Владимира, срезавшийся на экзамене в академию, на вопрос Половцева о том, зачем он все-таки хочет поступить в нее, пренаивно ответил: «И генеральство, братец мой, не будет так страшно, и при женитьбе, смотришь, десяток тысяч набросят на аксельбанты».

Владимир был выше этих маленьких расчетцев, но самолюбие его возмущалось при мысли о необходимости напрашиваться на роль «последнего в городе», когда он бы уже «первым в деревне»; иными словами, ему очень не хотелось тянуть лямку в числе плохих учеников академии, в то время как он уже буквально блистал в кругу золотой военной молодежи петербургского света.

«Успех в обществе, при исправной службе в полку, даст мне не менее того, что принесло бы долбление», — повторил он себе выслушанную у богатого лентяя фразу и, выставив благовидные предлоги отцу и графу А., не желавшим его принуждать, покинул мысль о приготовлении к продолжению учения и остался в Преображенском полку, где вскоре аксельбант полкового адъютанта заменил таковое же украшение генерального штаба, — заменил, не заменив.

Владимир скоро заметил фальшивость своего рассуждения и ошибочность сделанного, чем с течением времени все более и более казнился. В походе, например, служба, состоявшая исключительно в разъездах, мало улыбалась ему, так как он не мог не заметить, что другие осматривали, докладывали, решали, он же с товарищами только развозил эти доклады и решения, и не было надежды, чтобы даже в далеком будущем порядок этот изменился. Самолюбие его редко было так уязвлено, как теперь, ответом начальника штаба на его вызов объехать части отряда и добыть нужные для доклада сведения, — что для этого нужен офицер генерального штаба, — очевидно, оставалось надеяться только на исправность по службе и, главное, на протекцию.

Как ни хотелось Владимиру свернуть, хоть ненадолго, в Плевну, сознание обязанности взяло верх, и он, миновав город, направился в место расположения штаба своего начальника. Тут пришлось прослушать массу рассказов о событиях последнего времени: тот сделал то-то, ездивши туда-то; этот — другое.

Один давно уже предсказывал то, что потом сбылось, но его не хотели слушать; другой доказывал как дважды два — четыре, что если бы сделано было по его, то результат наступил бы скорее, был бы лучше, полнее, — всего не перечтешь, и все надобно было выслушать со вниманием, чтобы не обидеть говоривших. Всякий слушал другого рассеянно, лишь дожидаясь возможности снова самому рассказывать. Для приличия, как бы из снисхождения, спрашивали и Володю о виденном им, но так как он был не особенно разговорчив, то охотно снова переходили к нашпиговыванию его своими новостями.

Сейчас же побывать, хоть ненадолго, в Плевне, как рассчитывал Половцев, не удалось потому, что его послали для личного доклада о положении дел в Балканах. Это взяло еще два дня. Когда, наконец, он урвался съездить в город, оказалось, что генерал Скобелев и все при нем состоявшие выехали по направлению к Тырнову и Габрову для обхода, как говорили конфиденциально, турецких шипкинских позиций.

Незадача эта неприятна была Владимиру уже по одному тому, что кошмар нехорошего чувства к Верховцеву, долженствовавший так или иначе разрешиться, затягиваясь, просто отравлял ему жизнь.

«Бросить все это, плюнуть как на вздор, — мелькнула было мысль в голове его, но не удержалась. — Игра отложена, но не проиграна и уж во всяком случае не кончена!» — решил он сам собою и пока воспользовался случаем пребывания в Плевне для того, чтобы осмотреть прославленные последними событиями места, а раньше всего поле битвы, на котором последний удар

турок разбился о наш гренадерский корпус.

Всюду лежал снег. По дороге к реке Виду Владимира поразила масса валявшихся ружей; десятки тысяч их грудами торчали из-под снега, и никто не заботился о том, чтобы прибрать их. Тут же были рассыпаны патроны сотнями тысяч, и в ящиках, и отдельными грудками, постоянно взрывавшиеся под колесами повозок и орудий отрядов, шедших на подкрепление балканских войск.

Наши убитые были уже унесены с поля битвы, но турок валялось еще множество.

Особенно поразил Володю один молодой турецкий кавалерист, лежавший, широко раскинувшись, рядом со своею лошадью. Видно, умирая, воин не забыл своего верного друга: в последнюю минуту нежно обнял его шею, да так оба и застыли.

На возвышенном месте поля, на котором во время боя стояла наша артиллерия, случившийся солдат-артиллерист рассказал, как на его глазах турки сначала лезли, потом бежали назад; наивно и живо представил он свое незавидное положение, когда, стоя у орудия и зная, что прикрытия по какому-то случаю не было, приходилось ждать, что вот-вот всех их переколют; несколько наших картечных выстрелов не помогли, и турки наседали уже совсем близко. «Так и вижу, — рассказывал солдат, — турецкого офицера, что бежал впереди; из себя пожилой, рыжебородый, бежит да все твердит в такт: алла, алла! Тоже и солдаты за ним, эдак всякий полегоньку ревет: алла, алла! Которые как если и упадут от наших выстрелов, а другие не останавливаются, все бегут да ревут… Вижу потом, этот офицер уж лезет на нашу орудию, тут мы поворотили и назад к своим, а они наши пушки захватили да по нашим и давай стрелять. Только не долго было ихнего верха, — глядим, бегут назад, а наши тут их вдогонку… все поле покрыли».

Пленные уже были отправлены в Россию, и Владимир встретил лишь последние партии этого несчастного, обессиленного долгою осадой народа, в промерзших одеждах, голодного, в большинстве больного, отправлявшегося, при сильных морозах, в дальнюю ссылку. Половцев понимал, что чувство жалости должно было молчать тут, так как не только не уводить, но и просто согреть и досыта накормить их не было возможности.

Дорога, по которой шли пленные, представляла нечто оригинальное в своем роде: на всем протяжении ее и по сторонам, — пока видно было глазу, десятками валялись замерзшие и замерзавшие тела. Там, где партии останавливались, отдыхали или ночевали, десятки сменялись сотнями.

Сама дорога, казалось, была вымощена трупами: повозки, не имея возможности объезжать множество попадавшихся тел, переезжая через них, втискивали часто еще не умерших людей в снег, и, конечно, никому в голову не приходило портить дорогу, делать выбоины, вытаскивая из колей этот своеобразный щебень.

Кое-где торчали части головы, спины, рук или ног, по которым было видно, что весь путь представлял одно сплошное кладбище[41].

Дорога военнопленных. Дорога в Плевну

Никто, конечно, не обращал на это внимания, — не до того было, — только к не совсем замерзшим еще туркам, порывавшимся двигать кто ногой, кто рукой и издававшим какие-то неясные звуки, чтобы обратить на себя внимание, солдатики, что проходили мимо, торопясь догонять свои отряды, обращались, не уменьшая шага, с отческими увещаниями быть впредь умнее: «Вот и знай, брат турка, каково воевать-то с нами, — наставительно говорили они, — и детям, и внукам закажи!»

Надобно было думать, однако, что тем, к кому относились эти внушения, было не до наказов детям и внукам, по крайней мере, в этой жизни.

Потом Владимир поехал посмотреть некоторые из турецких редутов, и прежде всего тот, что был занят Скобелевым, так и называвшийся Скобелевским. Около него ранили бравого Верховцева.

Свернув с дороги вправо, чтобы подняться на высоту,

Половцев наехал на целое море трупов или, вернее, скелетов наших солдат, павших в августе и не подобранных, так как места эти были под выстрелами турок. Обобранные неприятелем фигуры солдатиков валялись в разных позах, как бросили их снимавшие с них сапоги и платья турки. Только обрывки ситцевых и холщовых рубах уцелели на некоторых, вероятно, потому, что были так разорваны, пропитаны кровью, что их не стоило снимать: кожи на костях, по большей части, не было, но связки костей уцелели, почему скелеты представляли самые невероятные фигуры, то скорченные, то развалившиеся с широко раскинутыми руками и ногами. Некоторые держали руку над головою с указательным пальцем, направленным к небу, причем глаза, т. е. глазные впадины черепа, чернели на проходящего так внушительно, что становилось жутко.

— Мати божия! — процедил казак и сплюнул от зловония, все еще стоявшего в воздухе над этим своеобразным кладбищем.

«Урожай будет хорош на этом месте!» — подумал Владимир, оглядывая все кукурузное поле с кое-где торчавшими пнями срубленных деревьев, покрытое этим оригинальным удобрением.

Скобелев занял тогда не самый большой редут Кришинский, черневший недалеко отсюда, а боковой, на обрыве всей высоты, расположенной прямо над городом, и только собирался атаковать Кришин, но за недостатком сил должен был оставить это намерение и уступить прежде занятое укрепление.

Тут только правильно понял Владимир критику действий Скобелева за эти дни, слышанную им от офицеров генерального штаба, прежде казавшуюся совершенно неосновательною. «Зачем он атаковал и взял сначала малый редут, а не пошел прямо на Кришин? — говорили они. — Ведь немыслимо было держаться в нем, так как турки засыпали его снарядами с рядом и выше его расположенного большого редута. К тому же, показавши свое намерение и давши неприятелю приготовиться, он позже-то не взял бы, вероятно, вторую турецкую твердыню даже и с подкреплениями».

Владимиру показалась, однако, эта критика слишком теоретическою: в битве, — думалось ему, — делают не всегда то, что должно, а и то, что возможно. Атаковать такой страшный редут, как Кришинский, было бы, пожалуй, не резонно с небольшими сравнительно силами, да, кроме того, если занятое укрепление, вернее, два, будучи ниже Кришинского, действительно легко обстреливались с него, то, в свою очередь, и сами могли обсыпать снарядами весь город Плевну.

Словом, впечатления Владимира были более за Скобелева и за целесообразность его действий, причем не выходил у него из

головы отказ центра помочь ему в памятный день после общего штурма.

Бывшее расположение и все тогдашние действия войск рассказывали любопытствовавшему офицеру два солдата, бродившие тут при его приезде. Особенно хвалили они начальника штаба Скобелева, полковника Перепелкина, а на вопрос о Верховцеве ответили: «Знаем, это штатский, что при нем, — молодец, чуть было не убили».

Солдатики, оставшись в городе за разными хозяйственными полковыми необходимостями, должны были скоро догонять свой отряд, выступивший к горам, и покамест пришли разыскивать между мертвыми своего товарища-земляка, но так и не нашли его.

— Посгнивали все ребята-то, как их разберешь? — объяснял один, доводившийся родственником убитому. — По рубахе только и смотрели, — знали, значит, какая на ём было рубаха, — так много таких рубах нашли, а глаз ни у кого нет; скалят все на тебя зубы, не разберешь, кой наш-то будет!

Солдаты объяснили, что еще на днях были на молебне, отслуженном генералом Скобелевым на этом редуте, причем генерал будто бы горько плакал «вот над этою самою канавкой».

— Какая же это канавка? — переспросил Половцев, следя за едва заметным продольным углублением, обращенным к стороне Кришинского редута.

— Это… это траншея. Как наши пошли, — объяснил солдат, — так шанцевый струмент побросали, для легкости, значит. Ну, когда турка стал осиливать, пришлось обороняться траншеей, а копать-то нечем, вот и стали рыть штыками да горстями, небось не много нарыли, всех тут перекололи турки, вместе с начальством…

Около больших редутов, посещенных затем Половцевым, опять бросилось в глаза множество неразорванных гранат из наших осадных орудий, каждый выстрел из которых, как говорили, стоит около полутораста рублей; некоторые из этих страшных заостренных чугунных цилиндров лежали даже не зарывшись в землю, цельными, — очевидно, в приготовлении их были какие-то недочеты.

Уже под вечер, возвращаясь в город, Владимир наткнулся на новое «поле мертвых»; на этот раз трупы были не обобраны, в платьях, тем сильнее было впечатление массы мертвецов, к оголившимся костям которых одежды прилегали плотно, как к палкам.

Вид этих тысяч погибших жизней произвел на Володю такое действие, что ему стало совестно за призрак собственной

неприятности, раздутой воображением до степени горя, — клин действительного несчастия вышиб клин деланного, напускного.

Возвращаясь, он стал подумывать о том, что, в сущности, большой беды нет и ничего не потеряно от того, что Наташа добыла себе жениха помимо его, — мало ли девушек без нее? Пусть она выходит за него, пусть они будут счастливы, довольно он портил себе здоровья из-за этого.

В прямое, однако, противоречие такому добродушному направлению мыслей, когда ему передали в штабе письмо от Надежды Ивановны, уведомлявшее о переезде в Габрово, он вспыхнул и сказал себе: «Понимаю, для того, чтобы быть поближе к *нему*», и решил, что все-таки дело это нельзя так оставить, слишком уж оно обидно, — необходимо один на один переговорить о нем с Верховцевым.

VIII

Скобелев был нервен накануне Шейновского боя[42], но в самый день битвы несколько успокоился.

Накануне его мучило сознание того, что, не успевши спустить с гор свои полки, он не мог атаковать турок и поддержать другой отряд, от самого утра с боем приближавшийся к турецкому лагерю с противоположной стороны. Как военный в душе, он чувствовал, что должен был спешить на выстрелы — и не мог, потому что, несмотря на самые настойчивые приказания, не спустилось еще и половины всего войска.

В этот самый день, потерявши своего начальника штаба и друга, он, не привыкнув еще к занявшему это место офицеру, часто отводил Верховцева в сторону с разными наивными вопросами: «Ну, что, как вы думаете, дело идет ладно? Как вам кажется, есть порядок? Я знаю, меня будут винить, укорять за то, что я не атакую сегодня — пусть! Я подам в отставку, — мне все равно! Как вы думаете, следовало все-таки атаковать, а? Да скажите же откровенно!»

Верховцев успокаивал пылавшего генерала уверением, что идти на укрепленную позицию с огромным лагерем рядом — просто немыслимо при двух полках наличных сил; что он поступил только благоразумно, так как, по всей вероятности, был бы отбит и тогда испортил бы дело… «Дождетесь завтрашнего дня и атакуете со всеми силами»…

Этот день наступил. Утро стояло довольно туманное, догорали костры, зажженные вчера вечером для того, чтобы

скрыть отход наших войск на ночь. То там, то сям раздавались в долине одиночные ружейные выстрелы, а на Шипке и пушечные.

Балканы были наполовину в облаках, и выстрелы оттуда производили оригинальный, театральный эффект. Вся знаменитая «долина роз» была под снегом, снег стоял на деревьях, на горах, снег же слышался и в воздухе.

Верховцев, плохо выспавшийся в эту ночь в грязной, полной блох избенке деревни Иметли, был со своим приятелем Тарановым впереди, перед неприятельскою позицией, откуда посылал генералу донесения обо всем замеченном, когда казак привез им приказание: «Отойти назад, так как сейчас начнется сражение».

Войска стали надвигаться, и подскакавший Скобелев, сойдя с лошади, принялся осматривать в бинокль шейновские укрепления.

С ним было двое ординарцев; присоединились Верховцев с Тарановым и казак с неизбежным генеральским значком, порядочно истрепанным ветераном всех туркестанских битв, в которых Скобелев принимал участие.

Турки тотчас начали стрелять из орудий по генеральской группе, и так метко, что несколько гранат разорвалось совсем близко.

— Да разойдитесь вы, дураки! — сердито крикнул Михаил Дмитриевич на казаков-денщиков, жавшихся к нему с лошадьми своих офицеров. — Ведь перебьют вас всех!

Войска подходили стройно, с музыкою, с развернутыми знаменами. Видимо, общий дух солдат и офицеров был веселый, праздничный.

Сергей, несколько раз ездивший с приказаниями генерала, мимоходом любовался на поле битвы: таких стройных движений войск, шедших навстречу неприятелю, как на прогулку или пирушку, он еще не видывал до сих пор даже и у Скобелева.

Левый фланг наш, состоявший из стрелков и болгарских дружин, пошел в атаку на правый фланг шейновской позиции. Скобелев внимательно следил в бинокль за атакующими; широко расставив ноги и откинув ножны сабли, он так и впился глазами в место действия.

Резервов у атакующих не было или, вернее, во избежание потерь они были расположены далеко, и от этого вышло что-то неладное: солдаты пошли дружно, оттеснили сначала турок, но… неприятеля было много и подкрепления из рядом расположенного лагеря подходили к нему быстро, а наши как оглянулись да увидели, что «сикурса» нет, так и не выдержали, дрогнули…

Сергей, стоявший близ Скобелева, глазам своим не верил: вот наши начали пятиться, все еще стреляя и продолжая кричать «ура!»… Множество раненых возвращаются сначала одиночно, потом группами; вот как будто вся линия наша подалась назад и уже не раненые только, а все повернули домой… все бегут…

— Ваше превосходительство, наши ведь отбиты, — тихо заметил он генералу.

— Это бывает, — ответил тот спокойно, не отнимая бинокля от глаз. — Позовите сюда Пашутина с полком, а потом съездите на левый фланг, узнайте, что там случилось, почему отошли?

Когда устюжане подошли, генерал сказал полковому командиру: «С богом!»

Полковник снял фуражку и перекрестился, то же сделал весь полк и под музыку двинулся вперед.

— Если Пашутина отобьют, — сказал Скобелев стоявшему за ним ординарцу, — я сам поведу войска.

По обыкновению, генерал потребовал музыкантов.

— Жидов сюда! — и стоявшая около него музыка Владимирского полка — вместе с суздальцами они больше всех пострадали под Плевною и были этот день в резерве — огласила окрестность звуками традиционных «Боже, царя храни», «Коль славен наш господь в Сионе» и разных бойких маршей.

Устюжский полк шел хорошо, как на ученье: то быстро двигаясь вперед, то, по команде, припадая к земле для отдыха. Перед самыми турецкими траншеями полковой командир — высокий, тучный и голосистый — изобразил из себя картинку: взял знамя в руки и с криком «ура», бегом, повел войска на штурм.

Тоже стройно, тоже под музыку прошли мимо генерала костромичи, в поддержку устюжанам. Поздоровавшись с полком, Скобелев сказал и им: «С богом!»

Победа, видимо, начала склоняться на нашу сторону, наступавшие полки скрылись из глаз: очевидно было, что они завладели неприятельскими укреплениями и вошли в сады, окружавшие деревню Шейново.

Скобелеву привезли неуклюже посаженного на лошадь пленного пехотного турецкого офицера, бледного, перепуганного, вероятно, ожидавшего, что вот-вот его сейчас убьют. Он несколько раз приложил руку ко лбу перед генералом и быстро заговорил на своем гортанном языке, что дело их окончательно проиграно, русские везде одолели.

Пока офицеры рассматривали пленного, подъехал еще казак с левого фланга и что-то сообщил генералу.

— Где он теперь? — спросил Скобелев.

— Их понесли с перевязочного пункта в деревню Иметли, ваше превосходительство; полковник приказали доложить вашему превосходительству.

— Верховцев опять ранен, — обратился генерал к стоявшему около него ординарцу Коробчевскому, и голос его как будто дрогнул. — Съездите на дорогу к Иметли и узнайте, что с ним. Вечером, когда дело кончится, я приеду проведать! — крикнул он вдогонку.

Со стороны Шейнова марш-маршем прискакал еще казак со словами:

— Ваше превосходительство, турки выкинули белый флаг!

Тотчас же Скобелев и все при нем бывшие вскочили на лошадей и понеслись в деревню, а оттуда влево, к стороне расположения турецкого лагеря, где перед небольшою землянкой, окруженный громадною толпой офицеров, ждал его грустный и сумрачный Вессель-паша, главный начальник сдавшейся турецкой шипкинской армии.

Верховцева между тем несли в деревню; он был с закрытыми глазами, по-видимому в забытьи; но когда догнавший его ординарец заговорил с сопровождавшим носилки молодым стрелковым офицером о том, куда лучше направить его, раненый открыл глаза и выразил желание быть перенесенным прямо в Габрово, в госпиталь.

Офицеры удивленно переглянулись; Коробчевский заметил, что это будет трудно, так как придется нести через Балканы, по дороге, по которой еще продолжают спускаться орудия, вьюки и повозки. Но Сергей повторил просьбу не класть его в грязную избу, а сдать прямо в госпиталь. Он извинился за труд, который налагал на носильщиков, обещал хорошо заплатить им и дружески просил которого-нибудь из офицеров не оставить его.

— Куда он ранен? — тихо спросил Коробчевский санитара.

— Не могим знать, ваше высокоблагородие, должно, в животик.

— Уж, право, не знаю, как быть, — продолжал перешептываться с офицером Коробчевский, — ведь Михаил Дмитриевич хотел наведаться вечером.

— Что такое, в чем затруднение? — раздраженно протянул раненый, неподвижно лежавший на спине и понимавший, что речь идет о нем.

— Ничего, — ответил поспешно стрелковый офицерик, — говорим, трудновато будет нести, но я попробую…

— Пожалуйста, сделайте все, что возможно, — выговорил Сергей, ухватившийся за мысль хоть перед смертью увидеть Наташу в Габрове, куда она с теткой переехала. «Если я могу еще

жить, то, конечно, она скорее, чем кто бы то ни было, возвратит мне здоровье», — подумал он, и появление девушки над его кроватью в Бухаресте, с зеленою веточкой в руках, будто символом выздоровления и счастия, мелькнуло в его голове. «Теперь, — подумал он, — коли я выздоровею, Наташу в охапку и домой, в Россию — баста! Довольно воевать, пора за перо!»

Исполняя приказание генерала, Верховцев поскакал на левый фланг и, охваченный волной отступавших солдат, пробовал кричать: «Стой, стой!» — но никто его не слушал. «Да, как же, стой сам!» — проговорил солдатский голос и потерялся в общем шуме. Он обратился к какому-то молодому офицеру, отходившему с саблей наголо, но тот прошмыгнул мимо, даже не подняв на него глаз.

Другой, должно быть, уже сам пробовавший останавливать солдат, сначала, ничего не отвечая, тоже миновал было, но потом, вдруг остановись, досадливо выкрикнул совершенно охрипшим голосом:

— Что вы с этими подлецами поделаете!

Верховцев увидел невдалеке храброго командира стрелков, барона Келлера-Ковельского, собиравшего отступавшие разрозненные части для нового наступления, и только что повернул к нему лошадь с намерением передать вопрос генерала, как схватился за живот. Сопровождавший его осетин видел, что «барин» что-то сначала покривился на седле, потом вздрогнул всем телом, повалился на шею лошади и, тихо перевернувшись, свалился с нее.

Его подняли, положили на носилки, и молоденький стрелковый офицер, не раз видевший этого волонтера с крестом около генерала и в разъездах с поручениями, озаботился доставить раненого на перевязочный пункт.

Точно горячим чем-то ударило Сергея по животу, но боли он не почувствовал. Затем еще удар в голову, — этот раз будто обухом топора, — и он почувствовал, что все окружающее пропадает у него из глаз. Несмотря на сознательное желание удержаться на седле, он понял, что это невозможно: невольно выпустив из рук повод, ударился о землю и на минуту потерял сознание.

«Кажется, я жив», — подумал он вслед за тем, смутно сознавая и свое падение, и беспомощное желание освободиться от чего-то, дергавшего его по земле. Кто-то остановил лошадь и выпутал ногу из стремени, в котором она запуталась.

Как в тумане, услышал он над собою вопрос:

— Убит?

«Голос чей-то начальнический, знакомый, будто барона

Ковельского», — подумал Сергей, но не мог поднять глаз.

— Никак нет! Ранены, должно быть, — ответил другой голос.

«Мой осетин», — узнал раненый.

Тот же голос начальника выговорил быстро:

— Вы с ним? Смотрите же, позаботьтесь! Поручаю его вашему вниманию, скажете мне потом, как вы распорядились…

Сергей слышал и сознавал, как подошли санитары и завозились с укладыванием его на носилки, причем перепихивались и переговаривались: «Да бери же! Чего стал? Иди, што ли!» — как понесли его, стараясь попасть в ногу.

Сначала он не чувствовал никакой боли, но только до тех пор, пока не начали его встряхивать, а это случилось тотчас же, как несшие вступили в сферу орудийного огня, направленного по резервам: каждая граната, рвавшаяся вблизи, заставляла людей останавливаться, бросаться в сторону, сбиваться с шага.

Сергей открыл глаза только тогда, когда доктор начал бережно ощупывать и осматривать рану: стала чувствоваться сначала неловкость, потом жгучая боль в кишках, несколько капель крови показалось на рубашке. Доктор знал Сергея, где-то пивали вместе чаек, и отнесся к нему с полною внимательностью: не беспокоя много, старательно осмотрел, снова привел в порядок белье и платье и ласково, ободрительно выговорил:

— Шальная пуля, на излете, не вышла. Бог даст, поправитесь.

Сергей глазами поблагодарил его, и носилки, по приказанию юного офицера, снова потащились по направлению деревни Иметли, как месту расположения штаба генерала; раненый впал в новое полубеспамятство, прервавшееся только, когда офицеры заговорили около него о том, куда его направить.

Путь в Габрово был очень тяжел: чтобы протащить по нем больного на носилках, надобно было немало самоотвержения и со стороны людей, и со стороны офицера, попросившего Коробчевского уведомить на всякий случай барона о принятой им на себя печальной обязанности.

— Да ведь он же поручил вам его, как вы говорите, так чего вам беспокоиться?

Верховцева потащили на перевал по той самой прорытой в снегу дороге, по которой сутки тому назад, здоровый и сильный, он спускался с гор. Несшие не раз падали, задевая за колеса и зарядные ящики, роняли носилки с раненым, снова и снова падали и, проведя всю ночь в пути, к двум часам следующего дня, совершенно обессиленные, доставили больного, не раз кряхтевшего, стонавшего и даже впадавшего в обморок, в габровский барачный госпиталь, по ту сторону Янтры.

Твердая надежда скоро увидеть Наташу поддерживала Сергея

и помогала переносить страшную боль. Принявший его доктор, вместо того, чтобы выразить удивление прямо геройскому подвигу людей, в сутки перенесших раненого через Балканы и от перевала до Габрова, не утерпел, чтобы не обругаться, — в таком ужасном виде оказалась рана, воспалившаяся от толчков и падений, вынесенных на пути.

Санитары, получившие по золотому, забыли обращенную к ним «дохтурскую» реприманду, а юный офицерик так опешил от нее, что, не зная, как теперь поступить, сел в ногах больного в ожидании чего-нибудь более утешительного, — а ну, как ему достанется от начальства?

Есаул Таранов был послан Скобелевым для извещения командовавшего шипкинскою позицией генерала Радецкого о том, что турецкий главнокомандующий Вессель-паша со всею армией положил пред ним оружие. Он выпросил позволение проехать потом с Шипки в Габрово, чтобы повидать раненого Верховцева, по словам Коробчевского, туда направленного.

— Скажите ему, чтобы поскорее поправлялся, — крикнул в напутствие Скобелев, — вместе пойдем в Константинополь!

Бравый осетин, как кошка, взобрался на гору св. Николая, быстро выполнил официальное поручение и не менее быстро очутился в Габрове.

Но как найти Сергея Ивановича?

В главном госпитале его не было, советовали осведомиться в бараках.

Первые лица, встретившиеся Таранову по выходе из госпиталя на улицу, были Надежда Ивановна с Наталочкою, пробиравшиеся домой от своих больных.

— Вы здесь? — мог только выговорить он от изумления.

— Как видите, а вы? Что? — широко открывши глаза, спросила девушка, знавшая уже о бывшей за Балканами большой битве, выстрелы которой доносились с утра до них. Она заметила сконфуженный вид офицера. — Что Сергей Иванович? Что вы не говорите? Да отвечайте же! — допрашивала она потевшего от смущения под ее взглядом Таранова, не решавшегося сказать правды. — Он ранен? Где он? Да говорите же скорее!

— Здесь он, здесь, только я сам не знаю, где именно… Не бойтесь, он здоров, то есть нет, он ранен, но легко, ей-богу, легко!.. Хочу навестить его, знаете, Михаил Дмитриевич просил непременно… только вы не беспокойтесь. Вы знаете, ведь турецкая армия положила оружие пред Михаилом Дмитриевичем — Вессель-паша прислал ему шпагу… Какой клинок!.. Впрочем, где же вам это знать, я и забыл ведь, что я первый с этим известием… Да, да, надобно поискать! — заговорил он в ответ на

нетерпеливое движение девушки. — Где тут бараки?

Не долго думая, женщины потащили его, по хорошо знакомым уже им улицам, к баракам.

В первом же офицерском помещении, на койке только что умершего перед тем майора, положен был Верховцев.

Он был в глубоком забытьи. В ногах, на кровати, сидел, ожидая прихода больного в сознание, молодой стрелковый офицерик, шибко сконфузившийся при появлении Наташи и Надежды Ивановны.

До прихода дам он сидел в жалостном настроении, с одной стороны, жалея боевого товарища, с другой — боясь ответственности за долгое отсутствие из батальона; к тому же он недоумевал, какой принести ответ о раненом своему начальству, давшему такой положительный наказ. Увидев хорошенькую девушку, подошедшую к кровати, он быстро вскочил и еще быстрее улетучился из барака, так что, когда фельдшер захотел указать на него приступившим к расспросам дамам, как на очевидца всего того, что произошло с раненым, его уже и след простыл.

Сергей Иванович открыл через некоторое время глаза, но скоро снова закрыл их, даже не обратив внимания на пришедших, по-видимому, не признавши их.

Доктор, на вопрос Надежды Ивановны о том, в каком положении рана, увидевши, с каким боязливым интересом молодая девушка — родственница, невеста? — ожидала его определения, скомкал свой ответ в несколько неясных фраз: «Есть надежда, что поправится, лихорадки пока нет… после увидим».

Надежда Ивановна и Наташа изъявили желание перенести раненого в более спокойное место, туда, где они занимались с больными, в госпиталь, расположенный в женском монастыре, и доктор, усталый-преусталый от работы над начинавшими уже прибывать ранеными, тотчас дал свое согласие на это.

Таранов, внутренне мучившийся за своего приятеля, тяжесть положения которого ясно видел, чтобы не показать перед дамами своего беспокойства, стал усиленно суетиться и распоряжаться: достал чистые носилки, обещал людям на водку, если понесут в ногу и не будут встряхивать больного, а по улицам, как власть имеющий, расчищал дорогу, что было не легко, потому что она была вся запружена пешими, конными и повозками. В здании монастыря «дикий человек», как его называл Скобелев, в сущности же добрый и бравый, пустил в ход авторитет своего патрона для придания важности и значения своему товарищу, что, пожалуй, было лишнее, так как «сестрицы» были тут у себя дома и все, что можно было сделать для более покойного

помещения больного, исполнили.

Сергея поместили очень хорошо вместе с одним офицером генерального штаба; на пол постлали войлоков, войлоком же велели обить стучавшую дверь, — это последнее уже прямо по настоянию предупредительного Таранова, со слезами на глазах простившегося с барынями и с все еще не приходившим в себя другом своим.

Сестры по-прежнему стали дежурить около больного: Наташа днем, Надежда Ивановна по ночам.

Первую же ночь, почти всю напролет, тете пришлось пробиться около раненого, которому было нехорошо: пульс был очень част, в сердце сказывался беспорядок, сознание временами затемнялось… рана, видимо, вступала в какой-то нехороший период развития. Сергей был часто в забытьи, но в сознании, серьезен и как-то мало сообщителен; на вопросы отвечал «да» или «нет» и только раз выговорил доктору, осведомившемуся о том, как он себя чувствует:

— Начинаю слышать какую-то глухую тяжесть, должно быть, конец…

Он не обмолвился ни одним интимным словом с Наташею, даже в часы, когда товарищ его по комнате спал и девушка с замиранием сердца ждала хотя нескольких, хотя одного ласкового слова. Она приходила в отчаяние от его безучастного взгляда, часто подолгу устремленного на нее, как на чужую, — сердце ее холодело от этого металлического взора.

Только раз ей показалось, что, когда она дотронулась до его руки, чтобы пощупать пульс, он тихо пожал ей пальцы, но так ничего и не промолвил. А как бы ей хотелось расспросить его о том, что он чувствует, где у него больше болит!

Наказ доктора был ясен и положителен: «Никакого возбуждения!» — особенно ввиду возможности сотрясения головного мозга, — не вызывать больного на разговоры, и она не решалась спрашивать его ни о чем, так как последствия всякого напряжения мысли могли быть очень печальны.

— Это шок, — объяснил молодой доктор Наташе, удрученной особенно бесстрастием и равнодушием Сергея Ивановича, — состояние, которое иногда следует за травматическими повреждениями. Нервная система ведь не у всякого относится одинаково к одним и тем же раздражениям, к тому же душевное состояние в момент поражения имеет не мало значения.

— Но что же это значит, доктор, что он смотрит и как будто не видит, не узнает?

— Сущность этого состояния заключается в необыкновенно сильном раздражении нервной системы, после которого она уже

относится почти безразлично к новым раздражениям… Мысль его и все психические отправления черезвычайно вялы, отсюда то, что вас смущает.

На вторую ночь, когда Надежда Ивановна, как когда-то в Бухаресте, дремала около подушки больного, он тихо окликнул ее.

— Что вам, душа моя?

— Я скоро умру.

— Полноте, душа моя, даст бог… на все его святая воля…

— Возьмите бумаги, запишите… как тогда… помните?

Надежда Ивановна принесла перо и бумаги, но видела плохо от застилавших глаза ее слез.

«Мое единственное желание, — тихо, с расстановкой, но довольно твердо продиктовал Сергей, — состоит в том, чтобы остающееся после меня имущество… было употреблено на дело устройства школ… на моей родине. Поручаю это дело заботливости друзей моих… Владимира Половцева и Наталии Ган…»

— Согласится ли она? — тихо спросил он Надежду Ивановну, которая только кивнула головой, так как душившие слезы совсем отняли у нее голос.

— Что касается той особы, о которой… помните ли?.. я уже распорядился… — проговорил Сергей, делая последнее усилие.

К утру Верховцеву сделалось видимо хуже.

— Если это шок, — наедине советовалась Надежда Ивановна со старшим доктором Пожарным, перевидавшим много ран на своем еще не старом веку и особенно в эту кампанию, — если это шок, то ведь он может пройти… можно ли иметь надежду?

— Надежды покидать никогда не следует, — ответил тот, — но кто вам сказал, что это шок?

— Мы слышали, здесь говорили…

— Шок совсем не то. В данном случаем мы имеем дело с «септизэмией», или гнилостным воспалением брюшины. Вы видите эту подавленность, безучастие к окружающему, тусклые глаза, подернутые как бы легким флером, — больной не просит ни есть, ни пить, так ведь?

— Да, он ничего не требует, только по нашему настоянию проглотил немного бульона.

— Ну, да, вот видите, обратите внимание на сухие, потрескавшиеся губы, сильно обложенный язык…

— Но ведь он ни на что теперь не жалуется, доктор.

— Это-то и дурно, нервная деятельность его тихо угасает…

— Значит, рана очень опасна?

— Сама по себе — нет, бывают и хуже; но вследствие дурных

условий она загрязнилась или дорогою, или от пули, которая могла затащить с собою клочья платья, белья… Меня беспокоит температура его, — он сгорает. Кроме того, возможно, что есть сотрясение мозга.

— Сказать правду, доктор, с первого взгляда он поразил меня своим осунувшимся лицом и каким-то темно-желтым цветом… Скажите правду, доктор, есть ли надежда или ждать…

— Повторяю вам, что надежды не надобно терять, — у него крепкий организм, — ответил доктор, стараясь не глядеть в глаза тетушке и делая вид, что ему пора идти к другим больным. — Может быть, в борьбе с септическим или заразным началом организм победит… — и доктор прописал к мускусу, дававшемуся внутрь, еще подкожные впрыскивания эфира, для поддержания падавшей деятельности сердца.

Надежда Ивановна поняла, но поостереглась сообщить свои опасения Наташе, как-то застывшей в страхе и ожидании всего худшего.

Володин начальник князь***, переезжая в Казанлык, остановился на время в Габрове, где он должен был осмотреть лазареты и сделать кое-какие распоряжения. Одно из первых посещений было в монастырский госпиталь, где он пробыл довольно долго в беседе с ранеными и докторами.

Там лежал между прочим и полковник Перепелкин, начальник штаба Скобелева, один из лучших офицеров армии, раненный в спину, в то время как он вместе с неуязвимым генералом рекогносцировал дорогу спуска с гор.

Его светлость долго говорил с ним, а потом хотел посетить и Верховцева, но доктор заметил, что раненый находится в крайней степени опасности, так что всякое возбуждение может привести прямо к «концу».

Владимир переехал в Габрово за своим начальством, более чем когда-нибудь занятый мыслью о том, что теперь уже скоро, не далее как завтра, увидит своего бывшего приятеля и, наконец, сведет с ним счеты: без задора, но и без слабости, потребует от него объяснения побуждений, заставивших его нарушить самые элементарные правила дружбы — отбить у него невесту.

Полковник Воллон, бывший при обходе госпиталя и встретивший потом Половцева, спросил мимоходом, видел ли он своего приятеля Верховцева?

— Нет, не видал, — ответил Владимир, покрасневший от

волнения при этом вопросе, — разве он здесь?

— Здесь, умирает…

Володе показалось, что он ослышался.

— Что такое? Кто умирает? — переспросил он.

— Сергей Верховцев умирает, говорю тебе.

— Где? Ты видел его?

— Нет, не видал. Его светлость хотел войти, но его не впустили. Я спрашивал доктора, есть ли надежда, — он ответил, что ни «малейшей», больше часу, говорит, не проживет, так что если ты хочешь застать его в живых — поторопись!

Владимир схватил фуражку и опрометью бросился на улицу.

О! как жалки, как ничтожны показались ему теперь его счеты с Сергеем! «Неужели он умер? неужели я его не застану в живых?»

Он — не застал.

Сергей лежал с спокойным величием неостывшего еще трупа молодого, красивого человека, осмысленно жившего, браво умершего и как будто не расставшегося еще с мыслями, наверное, не злобными, наполнявшими его голову при жизни. Едва заметная ироническая улыбка как будто блуждала на губах почившего, и лицо показалось Владимиру таким привлекательным, каким, может быть, оно никогда не было при жизни.

Около тела сидела, нагнувшись, молодая девушка, в которой, раньше чем она подняла голову, Владимир узнал Наташу. Когда она взглянула на него, Половцев чуть не вскрикнул, — до того ее личико изменилось: оно осунулось и похорошело, в то же время глаза расширились, блестели лихорадочно, — видно, много пережила и перечувствовала она за то время, пока сначала строилось, а потом разрушалось ее счастье.

Владимир заплакал; он крепко поцеловал рано надломившегося товарища и, вглядываясь в дорогие черты чуть-чуть улыбавшегося лица — такая знакомая улыбка! — мысленно извинился за все дурные предположения и намерения, долго не выходившие у него из головы.

На вопрос, с которым Владимир обратился к Наташе, девушке было так трудно, по-видимому, отвечать, что он не настаивал и стал расспрашивать подошедшую Надежду Ивановну, прямо обнявшую его и откровенно выплакавшую на его груди горе своей Наталочки.

— Как это случилось? Как же я не слышал об этом раньше? Мы узнали только, что турецкая армия положила оружие, — быстро стал расспрашивать Володя тетушку в углу комнаты.

Потом он стал расспрашивать о Наташе: как она это переносит — как она похудела!

— Я ведь знаю, что они близко… сдружились за это время… Что делать?.. Вам необходимо скорее уехать отсюда домой, дорогая Надежда Ивановна, — чем скорее, тем лучше. Расстояние, время умалят, сгладят потерю…

— Да, милый Владимир Васильевич, уехать, уехать! Помогите мне уговорить ее! У нас не было еще с нею разговора об этом, — все случилось так неожиданно, — но она способна еще остаться, совсем убить себя… Конечно, я могу употребить власть, заставить ее послушаться, но ведь я всегда избегала этого, да и, сказать вам правду, душа моя, боюсь прибегнуть к этому теперь — она на себя не похожа.

— Конечно, конечно, — ответил Владимир, и они решили, что сейчас он уйдет, но затем, сказавшись по начальству, придет скоро снова и поможет уговорить Наталочку уехать в Россию тотчас же после похорон Сергея Ивановича.

Против ожидания девушка не выказала сопротивления и выслушала, не прерывая, все, что сказал Владимир в пользу немедленного отъезда; не прерывала его и тогда, когда он говорил о своем сочувствии ее горю.

Они похоронили Сергея на другой же день, просто и скромно, на общем кладбище.

Владимир, получив разрешение князя остаться в Габрове на сутки, чтобы проводить до могилы тело своего приятеля, торопился выпроводить барынь из зараженного города еще при себе. Он говорил, что не будет покоен, пока не посадит их в дорожный экипаж.

Перед отъездом он еще раз просил Наташу, когда-то его Наталочку, не думать теперь ни о чем, кроме своего покоя и здоровья.

— Она так много поработала, принесла столько жертв своим ближним, что имеет право на покой и… на счастье, — прибавил он, едва сдерживая слезы.

Надежда Ивановна умилилась, слушая Владимира: «Милый молодой человек, золотая душа!» — шептала она и решила сделать все от нее зависящее, чтобы загладить рану его сердца и снова сблизить молодых людей.

Наташа, с своей стороны, очень серьезно слушала пожелания Владимира, и можно было думать, что она хорошо понимает, ценит его дружбу, может быть, даже не теряет надежду на счастье…

Они простились хорошими приятелями и горячо, со слезами на глазах, пожали друг другу руки. Кто знает, однако, к кому относились ее слезы?

События на театре войны шли быстро. Главная квартира

перешла в Казанлык, откуда сначала кавалерия с Докторовым и Струковым, а потом и пехота со Скобелевым выступила по дороге к Адрианополю[43].

Скоро было получено известие о том, что Струков встретил и отправил к главнокомандующему турецких послов, Намика и Сервера пашей, для переговоров о мире.

Потом стало известно, что тот же бравый генерал занял с отрядом кавалерии Адрианополь.

Молодежь в штабе не утерпела, чтобы не подшутить над почтенными пашами, чересчур торговавшимися с нами и искренно уверявшими наших дипломатов, что те не должны быть слишком требовательны, так как в Адрианополе войска наши встретят новую Плевну. Когда один раз ночью пришло известие о занятии города передовым кавалерийским отрядом, пашей нарочно тотчас же разбудили для того, чтобы поздравить со сдачею этой второй Плевны. Бедные паши чуть не заплакали.

Для Владимира были как-то смутны и все эти события, и то, что происходило в его внутренней жизни. С одной стороны, сожалел он о потере своего товарища и друга, с другой — все происшедшее было уж очень горько и для сердца его, и для самолюбия.

Самолюбие, впрочем, начало утешаться тем, что, по всей вероятности, Наташа увлеклась не столько собственно Сергеем, сколько его положением одинокого, беспомощного, страдающего, — ведь женщины любят самих себя в лице тех, которым они оказывают помощь. Значит, дело тут было не в предпочтении ему Верховцева, а чисто в сострадании к больному, раненому.

Также и сердцу делалось легче от размышления о том, что памятные ему слова сказаны были Наташею не столько потому, что она решила окончательно соединить свою судьбу с его, Владимира, судьбою, сколько выразить свою привязанность ему, уезжавшему тогда на войну, казавшемуся ей героем, жертвою… Это ведь натурально! Так что в тогдашней близости их многое было не досказано и нарушение этой близости, наверное, не могло быть названо неверностью, — измены не было.

К тому же нельзя было не видеть, что *она* держала себя теперь совсем не как виноватая в чем-нибудь, кому-нибудь изменившая, а как ни в чем не повинная, честная девушка, открыто оплакивающая свое горе. Вот Надежда Ивановна скорее как бы заискивала в нем, будто сознавала за собою что-то неладное, но и ее винить нельзя, так как ей, конечно, не под силу направлять побуждения сердца такой независимой девушки, как Наташа.

Словом, Владимир, умягченный неожиданною смертью друга,

сам собою, без всякого постороннего заступничества, совершенно выгородил Наташу, Сергея и даже Надежду Ивановну и признал во всем несправедливым себя, а свое намерение мстить за обиду, на три четверти созданную его воображением, прямо ребяческим.

Этому полному примирению со всеми помогло и то обстоятельство, что Наталочка еще похорошела за последнее время; красота ее расцвела, развернулась за дни ее счастья, дни любви к Сергею, хотя Владимир относил перемену совсем к другому, именно к ее трауру, к черному платью, которое, казалось ему, поразительно шло к ней.

«Она никогда не была хороша так, как в эти два последние дня, — черное к ней положительно идет!» — и он представлял себе эффект появления Наталочки в черном бархатном платье в Петербурге…

Неужели, однако, он в самом деле думал жениться на ней?

А почему бы нет? Ведь эта глупая история с Сергеем никому не известна, и девушка теперь больше, чем когда-нибудь, оценит его любовь и поймет его великодушие; нет сомнения, что теперь она ответит полною, беспредельною взаимностью. Тщеславие при этом подсказывало, что красота Наташи непременно будет замечена в столице, и воображение рисовало самые блестящие успехи с нею в обществе.

Он опять сравнил Наталочку с тою светскою барышней, которая намекала на свое приданое и свою привязанность, так же как и на готовность выйти за него замуж, и сравнение выходило опять в пользу первой; правда, Наташа не так богата, как та, но, во-первых, и у Наташи, с имением тетки, кругленькое приданое; во-вторых, за нее все остальное: способности, ум, красота и неиспорченность; нет уменья жить и держать себя в свете, но ведь это пустяки, это само собою придет с годами и привычкою.

Владимир уверен был, что ко времени приезда его в деревню, по окончании кампании, и ко времени свидания с Наташею мимолетная смута в хорошенькой головке ее пройдет и отношения их сделаются еще более искренними, чем были до отъезда его в армию.

Письмо Надежды Ивановны из Систова уведомило о том, что они благополучно выезжают из этого города, направляясь в Бухарест, где, по всей вероятности, останутся некоторое время, чтоб отдохнуть и развлечься как от дороги, так и от тяжести пережитого.

О Наташе она писала, что, не будучи больна, девушка выказывает признаки не то усталости, не то маленького недомогания, вернее, и того, и другого вместе. Надежда Ивановна не объясняла, чем именно проявляется это недомогание,

упоминала лишь о вялости и легких головных болях и выражала сожаление о том, что Володя не с ними, — наверное, он развлек бы свою «кузиночку», отвлек бы ее от печальных мыслей, вроде того, что для нее все кончено, что ей надобно ждать теперь только смерти и т. п.

Тетушка передавала ему поклон Наташи и еще — по ее настойчивому требованию — «желание Владимиру быть счастливым и ее дурно не поминать».

Надежда Ивановна сделала приписочку, что ей стоило усилия исполнить последний каприз племянницы, но не послушать ее она не решилась, ввиду маленькой нервности девушки.

От себя почтенная дама подчеркивала выражение надежды *видеть Владимира у себя в деревне в возможно скором времени.*

Молодому человеку тем приятнее были этот намек и это приглашение, что они как нельзя более согласовались с его собственным, бесповоротно принятым решением. Нетерпеливее прежнего стал он ждать теперь конца кампании и возможности получить отпуск. Так как письмо Надежды Ивановны немножко обеспокоило его, то мысль, сказавшись больным, сейчас поехать провожать развинтившуюся Наталку не раз приходила ему в голову, но сознание служебного долга брало верх и прогоняло малодушное намерение.

Когда главная квартира перешла в Сан-Стефано и переговоры о мире стали подвигаться, Володя начал считать дни, остающиеся до отъезда. «Терпение, терпение! — приходилось ему говорить себе, — ждать уже не долго!» — и действительно, ждать пришлось не долго.

Новое письмо от Надежды Ивановны, на этот раз с черною печатью.

Половцев так и замер. Он долго не решался вскрыть конверт, потому что содержание письма было для него и так ясно. Желание знать подробности заставило, наконец, прочесть его.

Наташа умерла в Бухаресте от тифа, зачатки которого, надобно думать, таились в ней уже несколько дней, — так, по крайней мере, сказали доктора, те самые, с которыми она вместе занималась прежде в госпитале Бранковано.

В болезни она часто много бредила, но перед самой смертью пришла в сознание и еще раз попросила «передать Володе Половцеву ее последний поклон и пожелание счастья», а также просьбу «не сердиться на нее».

Надежда Ивановна заканчивала письмо обычною фразой выражения доверия к Провидению: «Да будет во всем его святая воля — и волос не спадет с головы нашей без воли его!»

Володя женился на той самой светской барышне, которой он нравился и которая не ненравилась ему. Наташу он вспоминает только про себя, потому что молодая жена относится не совсем хладнокровно к памяти «об этой девочке»: от кого-то как-то слышала она про романтическую историю за Дунаем и о ранней любви своего мужа к героине этой истории.

Надежда Ивановна вся ушла в дела благотворительности, в память своей Наталочки. В перстне на ее руке морфин, от употребления которого она отвыкла на театре войны, заменен теперь маленькой прядью мягких белокурых волос, над которыми она почасту и подолгу плачет.

Федор Викторович Немиров. Мастеровой

Из книги «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей»

Здешней губернии, Вологодской губернии, батюшка, из самого города, мещанин природный, даже цеховых дел мастер, можно назвать, — Федор Викторович Немиров, имя и фамилия, и отчество. Семья была 5 человек: 4 брата и одна сестра. Семейство, теперяча, примерно сказать, кормилось — как мой-то отец, он был столяр, коностасник, в храмы иконостасы делал и пропитывал тем семейство.

Старший брат был образован столярному; уехал в Петербург, позамотался там, значит, не высылал родителям ничего. Я по этому случаю и отведен был от хозяина, от живописца, подсоблять родителям.

Когда малолетние были — стручки воровал: были у нас кирпичные заводы на поле, и тут горох был. Рабенков десять нас собралось, кое-кого, воровать. Хозяйка тут узнала меня по волосам — белые были волосы.

Пришла к родителю с жалобой, изъясняться, что вы, говорит, потакаете своим детям по чужим огородам ходить! Потом родителя рассердила она этим разговором: вот как, говорит, потакаю! И стал сечь меня без милосердия. Я не столько думал о боли от розог, как думал, что между ногами у родителя задохнусь, кровь уж хлынула у меня. Она после отнимать стала, он и ее потолкнул: я, говорит, вот как умею потакать детям, чтобы баловали у меня.

И посейчас, где вижу горох, сейчас в голову: «Вот почин-от мой!»

Парень хороший был, жалобы часто были: поколотить кого — это мое дело было — с жалобою ходили, и часто за это меня хлестали, прекращали мою удаль.

Особенно кутейников не любил, — вот семинаристы, иначе «семинары», мы всё прежде «кутьей» их звали. Здесь, из

семинарии идут, народишко такой вздорный, мы, мещане, их не любили. Особенно, вот, в ярмарочное время, было так же, как будто война была на реке, как вроде бы этакие кулачные, которая сторона осилит; одна сторона от семинарии, другая от рыбных рядов; которая осилит, та и погонит. Полиция слаба была в те времена. Праздничные дни, мастеровым когда свободно, сначала из маленьких пойдут, после и большие пристанут, и они из классов, от чина к чину выше придут… Было этих глупостев, сударь! Долго-то нельзя ведь, они начальство имели; всё больше наши мастеровые брали верх, и прогонят их, в семинарию, и загоним своею-то партией.

Тут в детстве тоже было. Отец послал: «Поди, Федюшка, дай подпаскам гривенник, чтобы из лошадей мне волосков надергали». Дал три копейки — для смычка, для скрипки, починивал он. Гривну я получил, мне понравилась она, новенькая еще, подумал: не отдам подпаскам, лучше сам выдерну — это в уме и держал сам. Увидал некованого жеребца, стрижку еще, и стал дергать из хвоста; он меня и лягнул; аршина два отлетел от его и успел ведь выдернуть волосы, только в колено, в левую ногу он попал; кабы я дальше стоял, убил бы меня. И теперь вся левая сторона болит, сказывается. Страдал, а родителю не поведал — он бы высек меня!

У Бориса Егоровича Монахова обучался живописному; семь месяцев рисовал только азбуку, значит, зеницы ока; и до всего человека вырисовывал фигуры карандашом, за краски не принимался; последняя фигура оставалась, зады человека вырисовать, и ее не вырисовал.

От бога не утаишь, теперяча, но от вас могу утаить; однако, хочу я сказать, отчего я сделался столяром: у хозяина, теперяча, вышпаклеваны были шесть икон, под живопись, приготовлены были, и я сейчас на печку поднял эти деки, чтобы они скорее сохли, а их и разорвало с концов-то вершков около 4-х, по стругам-то!

Случилось на масленой неделе[44]. За 90 верст от Вологды естя волость Шуйская, где хозяин жил. Я увидел свою беду — неизбежная гибель от хозяина будет, попало бы на орехи! Никому не сказал и сейчас сходил в одно место, узнал, что в Вологду едут, и стал просить у хозяина уволения на масленичной неделе отпустить меня к родителям, даже поклонился в ноги, и он отпустил меня с удовольствием. Я, значит, собрал деки с печки и заставил, чтобы никто не видел этого моего греха, и уехал в Вологду, в гости, отпущен был. Высекли бы меня за такое недосмотрение, на такой жаре поставить!

Приезжаю домой, родители заплакали и тот, и другой, не

видаючи семь месяцев. Мать покойная, теперяча, говорит отцу: «Виктор, ты ведь пропитывал семейство! Один сын замотался, по миру не пустил; мне жаль его отпустить, пускай дома работает?» Отец согласился, а я давай стараться помогать ему. Следовало бы мне задницу высечь, а не только что оставлять дома. Прекраснейший был хозяин, а взнудили эти деки.

Когда, значит, нужно было, я краски приготовлял, тер на плите: крон, киноварь, шихирвейс и берлинскую лазурь, винцейскую ярь, слоновую кость, ржевский бакан — каких только колеров не требовалось, все приготовлял — полукармин и кармин тер. Ультрамарину только не имел в руках и не знаю до сих пор, этого не держал в руках — называли дороже золота его! здесь и не было в те времена.

А кость сами жгли, эти кобылечки самыя от студени: бросишь в печку, и потом сгорят; сверху белое ножиком очистишь, эту белизну; там смолевое, совершенно как голландская сажа. Конечно, оно твердо в терке, тереть ее на плите.

Хозяин говорил: «Все единственно, что слоновая кость, что эта; один и тот же скот, ту же кость имеет; обманывают, — говорит, — нас: где же столько слонов натягать, сколько ее идет в Россию!»

Слоновая кость сквозность имеет. Вот на Иосифе Прекрасном, когда он к Пентефриевой жене в спальню приходит[45] и она хочет его в блуд ввести и хватает к себе на постель, — эта история при мне писалась у Бориса Егоровича, и фигуры были вершков по 20-ти — и Пентефриева жена, и Иосиф. Этая самая верхняя одежда у Иосифа-то писалась аглицкой желчью, а светá, переломы тушевали слоновой-то костью; а на Пентефриевой жене, когда они лежали на постели и обнажены были сосцы, была белая сорочка, — белилом или крымшихирвейсом.

Слоновая кость не закроет колер, — она большую сквозность имеет; а сажа, например, замарает какую хотите краску.

Тоже, помню, в Духов монастырь семейство Спасителя, Предтечу и Божию Матерь писали. Предтеча держал голубка в руках, а Спаситель его берет от него, во младенчестве друг от друга. Эта икона при мне была писана.

Как, я не знаю, в нынешние веки, а в прежние веки жалели бумаги и карандашей для нас, мальчишек: так возьмешь, настрогаешь лучинок и сделаешь, теперяча, вроде карандашей этаких, в тряпку мокрую завернешь, и потом бросали в огонь. Сгорит эта мокрая тряпочка, и остаются эти самые головешечки этих лучинок, оне твердыя, как вроде карандаша — обчистишь, и рисовали им. На бумаге неладно нарисуешь, сейчас счищаешь — и потребление малейшее было в бумаге: один лист существовал

вместо десяти; неладно нарисовал, сметали уголь, опять на ней же и мараешь. Хозяин не только иконы писал в храмы, но и патреты заказывали ему. Давнишния, теперечныя времена, могу и забыть, а помню, это самое, что Виплогов был — с его взяли три рубля, десять на ассигнации за патрет, это мне памятно. При нас порядились, так это в памяти.

Мастеровой

Был у хозяина Тюрин Платон Семеныч[46], да Ягодников Алексей Иваныч, мальчик был, да я; — оба академики были после, и оба теперь на праведном пути. Я один остался. После на

того и на другого столярную работу я работал.

Значит, работал с отцом столярную и иконостасную работу, рамы и двери делал в дома. Мебель ничего не умели, мебель я в Петербурге научился делать. Нечаянно встретил раз хозяина на высокой галдарее: «Борис Егорович, — говорю, — сделайте божескую милость, возьмите меня, теперяча, как есть я у вас жил, и, теперяча, у меня смыслу побольше прежняго». И в ноги ему поклонился. «Нет уж, Федор, — говорит, — скоро ты за ярушками пойдешь, у тебя не тот развив в голове будет!»

Я заплакал слезно, пришел домой и бросил столярную работу, взялся за малярную, — комнаты убирать. Прежнее время по столярному делу жили за два рубля в месяц, а за три — так хорошо, а по малярному — полтора и два целковых в неделю, только на своем содержании, а содержания были дешевыя. Вижу, однако, сера моя работа, захотелось попросветлиться в Петербурге. Отец отпустил меня. Прежде на извозчиках ведь, не на машине — в 19-ый день попал от Вологды. Ехал на Мочалы, Сомины, на Тифин, потом Аракчеевское село Грузино[47], на Шексне, потом в Чудово и в Петербург.

В Петербурге по Лиговскому каналу против немецких бань Леонид Карлович Воронов был мой хозяин. Тоже помер теперь.

Сначала был в Петербурге, теперяча, совершенно что и не знал, куда идти. Потом бог принес нашего земляка, и он меня по вологжанам повел, которые хозяйствовали. Взял меня хозяин наш вологодский, подмастерье, работать, значит, 8 рублей в месяц; проработал у его я полтора года. Работа была простая, я не смел по хорошей идти; вижу, мне надо у мальчишки спрашивать — только и знал рамы да двери. Потом, теперяча, перешел к Гальпе (француз) на Невский проспект в дом Калугина, эту работу знающую стал делать; попаивал водочкою, чтобы показывали бы мне, как делать мягкую работу по мебели, обойную, вот как сейчас делают, и дошел до тех же самых мастеров, теперяча, как и прочие, стал равняться.

Поживши тут, образовал себя, вздумал хозяйствовать и взял квартиру на Петербургской стороне, в доме Молина; в два окошка квартира была. Стала теснить меня полиция: зачем без свидетельства производишь мастерство, надо правское свидетельство взять, а свидетельство взять оченно дорого было. Значит, я снова и поступил к русскому мастеру, вроде старшого в мастерской, и управлял 20-ю человеками, только и знал, что расчертить работу и раздать которому что. В Гостином покупал дерево, орех и красное, сахардин — какое там заказано, фанер и толстый орех: это моя все была попечность, и потом, три года поживши, и поехал в Вологду.

Я очень попечителен был: в течение шести лет сотни две переслал родителям и сам одевался чистенько, не был в тряпках.

Водкой не заражался, значит, с позволения сказать, рюмку выпьешь где, но нет, не заражался, — попечительно жил.

Сам я вздумал побывать дома, погостить, в свое отечество захотелось, и опять думал было обратить в Петербург, потому жизнь была очень приличная, хозяин меня любил и хотел опять к нему же ехать; даже он писал мне письма, чтобы приезжал.

А я, в Вологду приехавши, на 400 рублей ассигнации, не знаю, как на серебро перевести, и порядился иконостас у храма, от хозяина взял — Резухин был, столбовой хозяин, по храмам.

Эту работу покончил, значит, у церкви — на труды осталось.

В то самое время было влюбилась вдова в меня, попа дочка, вдовой была на 21-м году. Я у них квартировал наверху, и она стала этакия мины делать, сама задирать стала; я, про себя сказать, маху не дал — стыдно и говорить! Маской-то был от господа бога доволен, много влюблялись в глупца.

Кончив работу у церкви, уехал от них в Вологду. Много работ стали мне заказывать. Диваны всё, кресла, стулья, мягкое все. В Вологде не было совсем по этой части мастеров, с позволения сказать, я был просветитель по этой части. Значит, меня и выбрали в ремесленные старшины на 27-м году, по этому цеху, по столярному.

Тут я понабаловался и водочку пить стал, там мастеровой потчует, другой, третий. Я и просидел с водочкой-то да с товарищами 55 рублей ремесленных!

Нашлись господа, эти деньги я взял вперед, внес в ремесленную управу. Потом заработал эти и опять стал хозяйствовать. Потом и вздумал жениться, как несколько стал оправлять себя. В деревне сироту взял и, можно сказать, что была она жена мне.

Тринадцать лет только велел бог жить с ней. Я уехал к церкви, под плащаницу гробницу делать, а была здесь холера. Она изволила травы корове жать утром рано — ее и приняла холера. В больницу как увезли, так к вечеру и готова была, — мне туда на девятый день известие пришло! Лесное место, так ходока-то не было; холерное время — боялись.

Ну вот покончил это дело у церкви, приехал в Вологду и зачал винцо попивать. В работники ушел от хозяйства.

Родители уж померли, раньше хозяйки померли, а я до самой богадельни все в работниках. И людям обидно, и богу во грех: зарабатывал десять рублей и все пропивал.

Скажу вам, теперяча: Алексей Федорович Ахматов, помещик, имел село Закрышкино, в семи верстах от Вологды. Я порядился в

работники к нему и жил у его, работал, рамы в доме делал. Комнаты убирал — обоев не было — крыл колерами, которую голубцом, которую белую. На голубце серебряныя были сделаны, а по белой комнате — золотыя звезды. Делал по нашим колерам позолотчик, был тут и жил, золотил по комнатам, отличныя были комнаты!

В зимнее время я уехал домой, сами уехали из села в город — потому помещик.

Когда жили они в Вологде, женщина мне принесла армяк… 12 рублей; я и пошел поклониться к барину к этому.

Лакей и сказал: ты, такой-сякой, что дашь, я тебе скажу хорошее! Я поднести пообещал. «Барин, — говорит, — выиграл вчера 500 целковых, ты враз пришел, он тебе даст денег».

Я, теперяча, и осмелился попросить вперед, на предбудущее лето заработать.

Он ходил по комнатам, не помню теперь, свистал: «Рукавички барановыя, за них денежки не заплачены»… Куражило, следовательно, что он выиграл 500 целковых.

Лакей докладывает ему. «Пошли его, — говорит, — ко мне, что ему нужно!» Я говорю: «А. Ф., к вашей милости, нельзя ли, — говорю, — сделать милость, одолжить мне 12 рубликов, — сходно очень продают армяк, — говорю, — отпустить жалко, а денег нет; я заработаю, — говорю, — на будущее лето, как я вижу у вас в предмете работа есть».

«Послушай, — он говорит, — братец, отчего тебе не дать; я вчера выиграл 500 рублей! да у кого, спроси-ка? первейшие, — говорит, — игроки в Вологде, — у тех 500 рублей выиграл». И подал деньги мне.

Значит, я ушел; это было около Рождества. Слышу-послышу, на масленой неделе Ахматов проиграл все село и с людями: какая вотчина была при селе, и этим же самым людям, у которых раньше выиграл — значит, они его заманили!

Дарья Борисовна, жена его была, рассердилась, уехала в свое имение Воронежской губернии, и он, поживши на квартире без ея, надумал сам, теперяча, уехать с квартиры, не знаю уж куда, не могу хорошенько знать.

Я приходил к нему: «Алексей Федорович, я вашей милости двенадцать рублей должен, теперяча как же?»

«А вот, — говорит, — вставь ты мне во флигеля и в комнаты, — в которых он жил, — стекла, я прощаю тебя в остальном».

Я обделал все как следует быть, целковых на шесть или на семь ушло; рублях в пяти попользовался, простил он меня.

После, когда я из Петербурга приехал, годов уж это в течение

шести, прихожу я в питейный дом и увидел этого самого Ахматова в лавке.

— Поднеси, брат, — говорит, — любезный, стаканчик!

Он меня признал, а у меня и в уме не было признать их. «Вы кто есть, мол, такие?» — «Я, — говорит, — помещик Ахматов». В то время не мог утерпеть не всплакать: «Неужели ж вы?» — говорю. «Я, — говорит, — Немиров, я».

Купил я, теперяча, французской водки полштофа, сам выпил, в то время мне очень неслободно было, оставил остальное им: «Кушайте, мол, на здоровье, Алексей Федорович! Напредки, если где вас увижу, я благодарность помню»…

«Я, — говорит, — здесь и пребываю днем, а ночью к повару своему Никифору хожу ночевать, он у помещика живет и меня пущает ночевать». Никифор, теперяча, крепостной его, один, не знаю каким способом, остался у него.

И в прочия времена угощал его часто за старую хлеб-соль и не знаю — здесь ли он помер или где в другом месте… Прежде 65 000 давали за село, хорошо жил и водки очень мало употреблял.

Когда приехал молоденьким, на 23-м году, лакей передразнил, как Дарья Борисовна умывалась. Оне и заплакали: «Вы в свое имение привезли меня, и ваши люди стали надо мной насмешки делать». И, значит, он его и высек немилосердно за это, — в два кнута секли кучера на конюшне.

А тут сидел в крашенинной поддевке в этакой, застал я его, как сидел в кабаке, — если и всю амуницию его взять было, она 40 копеек стоила…

Очерки, наброски, воспоминания

Из рассказов крестьянина-охотника

Новгородской губ., Череповецкого у.

«…Прежде оленей много было, нынче неизвестно для чего не стало; нынче лоси забегают, а пока олени были, не было и лосей, так думаю, уж не эти ли выжили оленей-то. Олень траву ест да мох с елочек, а лоси-то вересняк да крушинник, да осинку или сосенку молодую гложет; коли осину стоячую или лежачую или сосняк мелкий гложут — значит, есть лоси, поэтому их и узнаешь. Олень-от допущает близко; когда так сажен на 20 подпустит, а лось и за полверсты учует человека. Прошлую зиму только одного лося убили мы с сыном; да ноги-то худ ходят, так я уж прочь отваливаюсь от этого дела, а вот в П*** много убили… Как можно! Лось крепко чутчее; где еще ты идешь, а ен уж убежал, так устрелить-то и хитро. Вот как двое али трое, так встричу заходят; один на след станет, да тут и стоит, а другой за ним идет; олень-то все по своему же старому следу и ходит, так мало ли, много ли постоишь, ен на тебя опять и выйдет. На лыжах все ходишь, лыжи-то иное положишь рядком, да и ползешь, на лыжах-то, с полверсты, да как близко подползешь, поднимешься да и убьешь. Одиново двух устрелил; сажен за сорок из оленя в оленя, так пуля скрозь и прошла: одному в грудину, через сердце — тут и ткнулся и пяди не отошел, а другого в бок, поперек брюшины, тот убег, да с версту бежал — пал, да тут и издох.

А то еще с оленем шутка у меня была: лесом я шел, вижу я, лежит; ен было стал вставать — я с руки и хлоп, в шею попал, а ен и пал; в грудину метил-то, да повернулся ен, так в шею попало; ну, как пал, я лыжи бросил, подбег, ножик выхватил да горло перерезал; пока стал ружье заряжать, запыжил и пули еще не пустил, а ен как вскочит да как побежит; сажен десяток отбежал, да тут и бух, тут и мой стал. Каков? С перерезанным-то горлом!.. А то шел я раз серединами-то этими же, по следам. След есть, так, думаю, пойду все по следу; иду, да как вышел из лесу на ниву, ан они и идут мимо меня; артель шесть штук — и идут. Я ружье с плеч снял да с руки и пустил (больше-то все на сосну норовишь приладить да на два сука, это верней) — в самы пахи попал, и пуля скрозь перелетела, а ен и пал; я ружье опять стал заряжать, думаю, не настигну ли тех, эту ламу, думаю, убил — а

ен вскочил да и убег, в заповедь убег, вон куды!.. Сажен 20 отбежит, да и ляжет; как я иму подходить, он вскочит и побежит; где полежит — на обе стороны кровь. Цельный день за ним ходил, ночью уж не пошел. На другой день пришел, думаю, не издох ли за ночь-то, а ен опять вскочил и побег; нельзя стрелять, да и что хошь, не подпускает! Почитай, к самому П***, к полям, выгнал его, тут лыжи-то бросил, на них лег да на брюхе на лыжах и пополз; как близко, сажен на 20, подполз, на ноги поднялся, ен меня увидел, тоже подниматься только стал, тут я с руки — так и чубурахнулся. Ты думаешь, ведь зверь, все хочется уйти! Двое суток вот за одним ходил; иное подшибешь, да как имет ен погуливать, так и бросишь. Далеко-то зайдешь, так только и думаешь, как бы домой добраться; дома не знают, что с тобой и делается, не знают, что и думать!

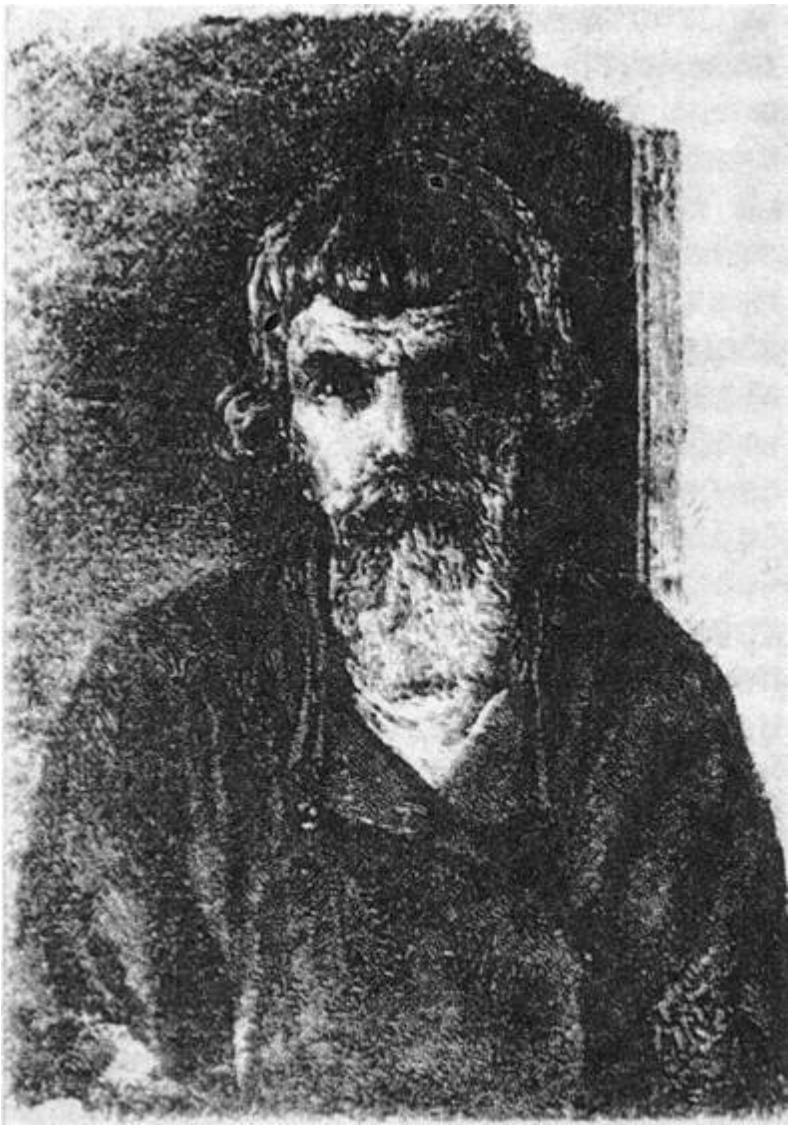
И в кляпец (ловушку) оленей лавливал; этакий же, как зайцев что ловят, только большой, в полпуда будет (кляпцов у меня много: заячих штук двадцать, да волчьих с десяток будет). На ход на ихний поставлен был; ен попал да с кляпцом-то и ходит, волочит его, меня-то не подпускает — за им опять и пошел; так три денька ходил. Убить нельзя — далеко убегает; я бы уж и бросил, да кляпца-то жалко — кляпец-от пропадет с ним. Обошел уж, навстречу ему и вышел; ен идет да поедает, с елок да с сосен мошек ен все ест, да ко мне-то и подвигается, меня не видит; с рук я спустил — в задния ноги попал, да живого так на барский двор и привез, там и зарезали. Совсем живой! Как лежит, так и не знать, что подстрелен; пытала в те поры пенять барыня-то: „Ты бы, — говорит, — ухитрился бы как ни есть здорового доставить“. Да как тут ухитришься-то; пожалуй, не стреляй совсем, так и останется жив — ищи его после…

На лосей так вот у меня особенное, большое ружье, сажен на 50 пулей берет, только покрепче держи, как хватит! Сколько ведь и мимо свинцу-то летит! Случится, приложиться некуда: сосны гладки, все равно что с руки; маленько с глазу-то ружье опустил — уж и мимо летит. Все ладишь на два сучочка класть ружье, тут как спустишь, так и чубурахнется…»

Олени действительно пропали из наших мест; прежде хаживали они стадами штук по тридцать, а нынче совсем их не видно стало. Некоторых зверей, как, например, волков и лисиц, стало больше; очень может быть, что волки выжили оленей. Зато с недавнего времени появившиеся лоси с избытком вознаграждают за оленей. Недавно у нас убили лося вышиною 3 аршина (до хребта), весом 15 пудов: одна задняя лопатка с жирным, вкусным мясом весила более 2 пудов. Насколько олень сухопар и поджар, настолько же лось крепок корпусом и ногами:

осенью он походит телом на хорошо откормленную лошадь. Бегает лось очень скоро, не тише оленя, и с тем преимуществом, что не так скоро устает, как олень. Шкурки лосиные продаются здесь не дороже 3 руб. штука. Крестьяне пробовали отдавать кожу в обделку на сапожный товар; по общему отзыву, обувь из этого товара крепка и носится хорошо в сухое время, мокроты же не переносит, что, впрочем, могло происходить от дурной выделки кожи, так как сделан был только один опыт. Превосходные лосиные рога, которые бывают четвертей по 5-ти длиною, не находят себе употребления. Впрочем, лосей здесь не так много, чтобы можно было составить отдельный промысел из добывания их шкур, рогов и проч.

«…С большого Спасова дни[48] начнет вот медведь похаживать, каждое лето сколько коров мнет. А. В. — покойник послал меня за медведем — корову подшиб верст за 5 всего: „Ступай-ка, — говорит, — покарауль, не можешь ли ушибить“. Я и сошел караулить, рано сошел, солнышко еще не закатилось — в сенокосное время было, недосуг… Ну, да нельзя нейти… Вижу, идет медведь, ботает так, на гриву выходит, и падаль уж близко; ен же и подшиб корову, к ней и идет. Вересняк такой частый хрустит! Дух-то мой, вишь, учуял, так взял да и пополз; подполз совсем близко, да и зачал эдак вверх поглядывать; да меня понюхивать — тут и увидел меня, да и на дыбы встал, да как фукнет на меня!.. Что же ты, братец, думаешь, не взяло ружье; в затравке, что ль, отсырело — на полке-то вспыхнуло, а выстрела нет. Ен вскочил да как побежит прочь!.. Всю ночь я сидел; бродит около, кругом, а близко не подходит; что делать-то, заряжено не для глупости было, да так вышло; а медведь хороший был, большой да жирный. Эти медведи ой какие лукавые! И не пришел бы ен, кабы я на ходулях сажен сотню не прошел: до следу человеческого как дойдет, так и поймет дело и поворотит. Иное идешь за птицей али без ружья, так думаешь, что коли встречу-то, ведь он убьет. Вот с волками, так хоть и палкой иное справишься, а с медведем хитро, как сердит! В лес-от пошел раз, так на селище посереди моста — мост там такой большой, — медведь идет, а ружья-то не было, за грибами ходил, так мостовину взял, да на него эдак и машу да рычу: „У! У, ты!“… Остановился ен близко уж да застонул, да застонул, да в сторону и повалил.



Крестьянин-охотник

Все больше его по ночам опасаешься. Ен прямо и к падали не пойдет, не одинаго обойдет: не прошел ли кто — прошел, так поворотит назад и идет в свое место. Тут надо одному ходить; в первый день, как корову зарезал, на ели или на чем случится тихим образом и сиди и не зевай; ружье-то обмой хорошенько, духу-то не давай; один вот только испугаешься, коли не привычен. Это, братец, за медведем ходить, так по книге божией показано, что двенадцати сил надобно быть; только не разговаривай: и потихоньку что скажешь товарищу — ен услышит, чу́ток! Тут уж на смерть идешь: убьешь — так убьешь, а

не убьешь — так пропадешь. Мы хоть из-за оброка ходим; только и добычи, только тем и покормимся, а господа из-за чего ездят? Из-за потехи, поглядеть да потешиться — охота-то пуще денег»…

Кажется, старик преувеличивает опасность встречи с медведем. Я, правда, например, слышал, что здешних баб, когда они ходят за ягодами, медведь часто пугает, но чтобы какую тронул когда-нибудь — случается очень редко. Не знаю, справедливо ли поверье у здешних крестьян, что когда человек первый увидит медведя, то всегда может испугать и прогнать его; если же, наоборот, медведь первый заметит человека, то тут надобно ждать беды.

Вот несколько случаев из рассказов о встречах с медведем: «…Инде и кинется на человека, так если заденешь да бежать ему невмочь. Кое смелый человек, так за ним просто ходит; в Л*** вон старичонко один все колол, семнадцать медведей заколол, а охотничек и весь немудреный! Я вот за рябчиками ходил, гляжу, а ен морашевник (муравейник) и роет; как я эдак хрюкнул! Ен как повернется да вякнет! Да прочь от меня; гнал я его с версту. Все лесом бежал-то, болотом — так стрельнуть неловко, в топкое болото и ушел. Этта мужичонок пошел уток смотреть; медведя встретил да испугался, да присел, так и сидит, скорчился и молчит; а медведь-от заревел да на дыбы, да на дыбах-то вкруг него и ходит; ходил да ходил, заморил со страху-то, да так и ушел, не тронул».

«…Волк вот со мной дрался одиново: в кляпец попал да и пошел, и пошел; долго не мог настичь его — настиг, а ен, брат, драться со мной; смелому надо быть тут человеку; думал я, самого ен меня задавит. Ружья-то не было, а стяжочек (палка) в руках эдакой хорошенькой был; я замахивать стяжочком стал, а ен на задницу сел; кляпец-от, фунтов[49] 12, поднял на лапе-то, да с ним так и стоит на дыбах, как мужик с образом, и стоит с кляпцом-то. Я на лыжах стою да боюсь, не сбил бы меня; с лыж-то скочил да стягом-то и хочу ударить, как ен ко мне под ноги-то скочит! схватит меня! — я тут изловчился да стяжочком-то его вдоль спины, гляжу — ен повесил уши, тут я давай по голове да по чем попало. Храни бог! как бы до ног доскочил. После, как много их переловил, и опасаться их меньше стал; махнешь раз, другой да веревку возьмешь да на сук, кожу долой — да и домой.

Без кляпцей их не бивал, не случалось, да даже и видал мало: дух он слышит, прочь бежит от человека. И нор волчьих не видал, сколько ни исходил местов, а не видал; должно быть, на мхах они строются, где народ не ходит, в широких лесах, где середь болот гривки сухие есть. Одного если изловишь в кляпец, так месяца два никакой волк не побывает; вот он какой боязливый на воле-

то, ну а в ловушку-то попадет — злее станет. Кляпец изломает иное, как начнет об лес колотить; волков пяток я упустил эдаким манером — пропали с кляпцами.

Этих волков как хорошенько бить, так зимою, в глухих местах избушечку надо поставить, чтоб и с печкой была, да лошадиной либо коровьей падали и принести, да сажен за 20 и положить, да кое время и не ходить; одна артель бы поела да другая, да потом и приди, печку затопи и сиди в тепле на карауле. Избушку хоть елочками уставь, чтобы тебя никак не видно было, и духу-то твоего от елочек не слышно будет. Тут всех перебьешь: хоть и убил одного, другие все похаживать имут; не одна артель перебывает.

Прежде у господ так было же этой волчьей охоты: ямы у них эдакие состроены были, камнем обложены, верх-от легкими камышиками да сучьями завален, да снегом обложен, а мяско-то в середине; есть-то им охота — как имут по сучьям ступать, так все в яме и будут. Ловят и нынче этими самыми ямами, да мало попадается, вороватее, что ли, волки стали»…

Старик, кажется, ошибается: волчьи норы есть и в наших лесах, только он, вероятно, принимал их всегда за норы «язвиц»[50]; и те и другие устраивают часто свои логовища в старых угольных ямах, роют их далеко внутрь по разным направлениям; разница их в величине, т. е. волчья нора больше: в нее свободно пролезет взрослый человек. Ее можно знать и по следам, натоптанным перед входом. Здесь зимой, с голоду, волки бывают очень смелы; они прибегают в самую деревню под окна; а к нам волк зашел даже на двор и, привлеченный запахом кушанья, залез было в кухню.

Вот случай, бывший недавно с одним крестьянином: он повез дрова на угольную яму; лишь только он подъехал к ней, как оттуда выскочили четыре волка и бросились на бежавшую с ним собачонку; он схватил собачонку к себе в сани и поворотил назад, в деревню; волки побежали за санями: два бегут с одной стороны да два с другой. Вплоть до деревни бежали рядом; им все хотелось собачонку-то схватить; только тем он отстоял ее, что махал палкой попеременно то в ту, то в другую сторону. «Так, — говорит, — зубами и щелкают, того и смотри, что самого схватят».

Как уже выше было сказано, нынче волков стало больше в здешних лесах; это и не удивительно, если принять в соображение, что теперь меньше охотятся за ними; одни помещики прежде много истребляли их, отправляясь на охоту иногда целыми обществами; нынче это совсем вышло из моды в наших местах.

«…Ну, а язвиц знаешь? Пестренькие да полосатенькие: черная одна полоса, а другая белая; в наших лесах есть, я их половил довольно. Как вот лисица живет — в ямах эдаких, в норах; нору там сажен на 20 разными ходами выроет, вот это какая зверина! Этим в нору кляпец ставишь; две ли норы или три — в каждую по кляпцу; попадет ли, нет ли — всякие сутки ходишь проведывать; где она входит в нору, тут и поставишь, только ставить надо хитро; не изловить другому ни за что, как кто не лавливал, не знает, как поставить, учует зверь-то. Я кляпец-от в землю зарою, чтобы ровно было, да хвоей завалю; и духу не дает от железа-то, как хвоей-то завалишь; вот ен как стал, как полотенца прижал — скобы-те и схватят его. Кроме как этой ловушкой, ничем не изловишь его. Как с собакой идешь, так собака по духу в нору-то залезет, все ходы выбегает: там ведь всё кривулями, да далеко ходы-то, да из норы в нору выходы. Другой раз думаешь: ну, пропала там моя собака! Как лает, так и не чуть — вот как глубоко.

Одиново я сам дорылся: посмотрю эдак, куда нора идет, колышком пощупаю — да наперерез; перва вдаль да вглубь все нора шла, а тут опять кверху пошла; тут смотрю трое и сидят, мать да два детеныша; багорком вытащил да и заколотил. С аршин длины будет зверинка-то эта, а вышины и пол-аршина нет, лапки коротенькие, а сам жирный; как лето-то погуляет, а осенью поймаешь, так фунтов пяток сала из него вытопишь; а сало хорошее. Этой зверины сало у меня и теперь есть, да раздавал много: кто там руку али ногу посечет, так хорошо прикладывать; или вот у лошади усечка — тоже этим лечат. А то мне в кляпец раз сова попала, большущая! Когти, так зайца с кляпцом унесет, да сальная, братец, какая! По кулаку сала-то местами; два фунта вытопил из ней, и хорошее сало, как у язвицы же — не мерзнет.

Куниц да норок много я переловил, все кляпцами же; а кто не знает, тот и не изловит — тоже все под след да хранительно… Перво надобно ее прикормить, этих без прикормки не изловишь: зайца ли убьешь да в лом, где ни есть и положишь, норка-то и имет ходить, тут на дорогу кляпец и ставишь. Куничка эдак же: убьешь зайца да повесишь на нижний сучок, привяжешь; она, как где есть в лесу, уж найдет, ходить имет, тут под след-то и поставишь, да снег опять заровняешь, да следочки опять, как у ней были, и поделаешь, чтобы не узнала. Зимой все эдак ловишь, а летом мудрено — разве с собакой: да собаке другой не настичь — отстанет: она вон из рощи в рощу верст за 5 убежит — ищи! Эта зверина проворная! Живет все больше в белочьих гаинах: на елях из моху у векши-то[51] эдакие гнезда настроены — и чего она туда не натаскает, а куничка-то белку заест, да сама там и имет

жить. Я их в этих гаинах часто бивал. Только где раз пройдешь с ружьем, так не станет жить; она пороховой дух чует, она проворна! Нынче меньше что-то стало куниц; а ведь шкурка ее, ты как думаешь, хорошая 4 и 5 целковых стоит; ну, норка — та дешевле, та за полтора идет…»

Кроме волков и лисиц, из которых первые мало преследуются, а последние трудно поддаются и потому мало ловятся, все остальные мелкие пушистые звери, как язвицы, куницы, норки, белки и другие понемногу переводятся; по крайней мере, в здешних лесах количество их значительно уменьшилось. Разве одних белок и теперь еще бьют много; я знаю охотника, который в три недели наколотил их более трехсот штук.

…«Лисиц ноне надо бы добывать; прошлым годом все больше птицу бил: рябков да тетеревей под осень-то. Эту охоту знаешь ли? Как мы их, дураков-то, обманываем? Чучела есть эдакие: тетеревей убить да оснимать, да отрепья туда набить — на такие больше летят, а то и просто деревинку синим платком обвить да только забрать белым, где у его есть в перьях, краской или мелом и набровнички красные делают. Шалашик построишь да чучелов-то сверху и выставишь; в шалаше и сиди тихохонько на карауле. Как солнышко взойдет, тетерева имут с места на место перелетать; вылетит на сосну или на березу да чучело увидит, к ним и летит, ты из шалашика-то и стреляй — тут просто. Вот лисиц ловить хитро. Надо быть, она родит к Петровкам[52]: в эту пору хорошо их маленькими брать; только приходи, когда они еще не решатся, а все вместе у матери живут. Где лисий выводок есть, там у них утерто да утоптано, да всячины натаскано, перьев и шерсти: она зайцев да птах детям-то таскает. Днем-то они бегают, так тут их не застичь, а надо маленько к вечеру приноровить, тут они все собираются, тут и таскай детенков-то клещами. У меня трое были, зиму целую кормил: от Петровок самых да до зимнего Егорья[53]. Их просто кормить: хлебца побрасывай, да где ворону убьешь — бросишь; да разгородить надо тесинками, а то загрызут одна другую: и сверху тесинками прикроешь, только щелки оставь для воздуху. Больших лис мало я лавливал — эта хитра! Дойдет, наднесет лапку над кляпцом, услышит дух и отойдет. Кто ежели знает колдовство, тот может и по пятку изловить и по десятку; те приговор знают, тому *добрый человек*[54] заганивает. Другой охотник с лесовым, как мы с тобой али брат с братом сойдется — ен этим и ловит. У нас в В*** ворожей вон в две недели восемь штук изловил; четыре лисицы да четыре волка — вот и знай! Мы у него и спрашиваем, как ен ловит, да сказать-то ему нельзя: ему ловли не будет самому; ему

не велит сказывать нечистый. Что, не веришь? А как же у меня, примером, бывает наставлено, сколько места огородишь кляпцами, а лиса-то, ровно человек, обойдет да выйдет; это *ен*-то и отганивает за то, что мы *ему* не служим: *ему* не кошные (наемные) заганивать-то — дьяволят много. Да чего! Мало ли у нас этих ворожей! Лисицу ничем больше не словишь: она и не рада бы идти, да гонят и духу тут не чует; а у нас вон, хоть сколько глубоко зарой кляпец, — что волк, что лисица железный дух чуют… Этому, братец мой, верь; это кого хошь спроси, так всякий тебе скажет — кто и не охотник. Нам иные ворожеи срушны, так истину правду сказывали: *ен* им, вишь ты, не в своем виде кажется-то, а словно как и человек; коли ты в своем-то виде его увидишь, так тебе, живым не бывать — смотри-ка, ен выше лесу ходит! Ворожей сказывал: идешь где лесом да на след его только наступишь, так сейчас какое ни есть место и заболит у тебя. А что думаешь? Я валежник в лесу таскал да на след, должно, и наступил. Мне как бок схватит! Да ломило, да ломило, так насилу до дому дошел, да уж солью оттерла ворожиха. Али зубы ни с чего заболят: опять, ни к кому другому, к ворожихе ступай. Стало быть, ты не знаешь, как вот ворожихи-то людей портят! По ветру-то пущают: настрижет с собаки шерсти да на шерсть наговорит, да по ветру-то пустит — на человека и налетит. В которой день „Отче“ или „Верую“[55] прочитаешь — андел не допущает, а кое не умеет читать молитву али и забыл только, тот погибает: у его в утробе нечистый расти имет. На свадьбах-то у нас мало ли народу изводят… Вот П…у старуху знаешь? Ей и не попадай встричу, как на охоту пойдешь. Зайца просила раз, а зайца в ту пору у меня не было. Так что! И напустила она на меня — с той поры не могу ни одного зайца поймать. Боимся мы этих ворожей! Ох, боимся! И охоты-то лишат, и сам-от бойся.

Чего и не натерпишься по лесам; да другому что хошь, хоть 10 руб. дай, чтоб в лесу заночевал, так не возьмет; а мы-то, как ходишь да ходишь за оленями-то, верст 20 или 30 идешь, так неволей в лесу ночуешь. В другой раз и не заснешь, в скуке тут спанье: дума-то на горах ходит — чего и не причудится! Только молитву творишь, так бог милует. Ведь власть-то над тобой какая! Их двенадцать братьев и двенадцать сестер, нечистых-то! Да такая сила, что ен и в церковь идет, да только до Херувимской песни[56] стоять может — тут уж выходить должен… Али не знаете этого? Вот поживете да состаритесь, так узнаете и не это еще…»

Из путешествий по Закавказскому краю

I

Религиозное празднество мусульман-шиитов[57]

Я подъехал к Шуше, административному центру Карабахской провинции в Закавказье, поздно вечером: сквозь темноту можно было видеть только темный силуэт городской стены, построенной на верху высокой, крутой горы. Шуша — областной город Шушинского уезда — прежде был резиденциею карабахских ханов. Это место довольно хорошо укрепленное, потому что с двух сторон защищено отвесною скалою, а с остальных — стеною с башнями весьма прочной постройки. Подъем к городу очень труден, дурная, грубо вымощенная большими каменьями дорога так крута, что 5 лошадей с трудом тащили мою повозку. Еще не доезжая горы, я видел, что над городом появился сильный свет, и слышал гул от какого-то крика; по мере того, как я приближался, свет все более и более увеличивался и, наконец, обратился как бы в зарево большого пожара, а гул перешел в беспорядочный рев многих тысяч голосов. Я въехал в город узкими крепостными воротами, и здесь картина, подобной которой я никогда ничего не видел — картина оригинальная, дикая, представилась мне: вся площадь, буквально, была запружена народом, шумящим, беснующимся и просто глазеющим. Партиями, человек в сто, вытянувшимися в линию, татары *прыгали* по площади и прыгали бешено, с дикими возгласами; каждый левою рукою держался за кушак своего соседа, а в правой держал высоко над головою толстую палку, которою с каждым прыжком потрясал. Таких партий было три, и впереди каждой мальчишки, наряженные в какую-то странную смесь разного тряпья и вывороченных кверху шкур, скачут, кривляются и бьют в турецкие барабаны и медные тарелки под общий такт криков и пляски. Муллы-распорядители поощряют словами и жестами прыгающих, расталкивают народ, бранятся; наконец, какой-то важный бек (бек — дворянин)[58], по-видимому, главный распорядитель, скачет в толпе взад и вперед, размахивает шашкою и ругается на чем свет стоит. К этому гаму примешивается еще говор и шум глазеющей толпы, ржанье

лошадей и проч. Сцена освещена огромными нефтяными факелами: в железные решетчатые коробки набросано тряпье, постоянно обливаемое нефтью; сотни этих факелов, горящих сильным пламенем, носятся, вслед за прыгающими, на высоких шестах. В массе скачущих на площади отделяются группы персиян: они не держатся друг за друга, а на левой руке носят, как бы собравшись в дорогу, плащи; они тоже неистово скачут во все стороны.

Каждый год, в продолжение девяти первых дней месяца Мохаррема, справляют таким образом татары свои вечера в память страданий и мученической кончины имамов, почитаемых шиитским толком; десятый день посвящен памяти самого Гуссейна, первого имама, сына Алия, внука Магомета. Эти десять дней — время скорби и траура для мусульман-шиитов: полагается в эти дни держать строгий пост, то есть не есть ничего в продолжение дня, с рассвета до сумерек; набожные люди не бреют ни лица, ни головы, не курят, не ходят в баню, не пускаются в путешествия, а проводят большую часть времени в благочестивых разговорах, которые переводятся прозою татарской жизни в сплетню. Те, которые действительно воздерживаются в продолжение дня от пищи и кальяна, с избытком вознаграждают это лишение в дозволенное время, то есть обжираются после сумерек и до рассвета. В мечетях за эти дни читаются страницы из описания страданий имамов и говорятся на эту тему проповеди.

Эти страдания имамов служат также содержанием для мистерии или драмы, разыгрываемой частию в первые девять дней, частию, с особенным торжеством, на десятый день. Согласно древнему обычаю, вся драма должна была бы разыгрываться в последний день, но для облегчения как самих актеров, так и зрителей представление дается отдельными действиями в продолжение многих дней.

В Шуше дело велось таким образом: при мечети, в товарном караван-сарае или в другом каком месте, где есть большой двор, окруженный зданиями, устраиваются подмостки. Действующие лица набираются из желающих горожан, а для главных ролей часто выписывают актеров из Персии, где, как в главном гнезде шиитства, есть недурные мастера этого дела. Главный распорядитель представлений заведует и костюмировкою, которая оригинальна и фантастична, но довольно произвольна; странно, например, видеть в группе актеров, разодетых в кольчуги, шлемы и со щитами в руках, одного одетого в современный русский чиновничий вицмундир, со старою пуховою шляпою на голове. Мне объяснили, что эта смешная фигура

представляет французского посланника (по преданию, присутствовавшего при некоторых из представляемых событий). Другой актер, представляющий арабского калифа, преважно восседает в старой французской кавалерийской каске, с длинною прядью конских волос на гребне. Все женские роли исполняются мужчинами, закутанными в платки и шали до самых глаз, т. е. так, как это принято у туземок. Двор, на котором дается представление, битком наполняется народом, верхние галереи караван-сарая — женскими чадрами.

Актеры расстанавливаются и рассаживаются на платформе полукругом; каждый держит в руках маленькую тетрадку, по которой и читает свою роль, обыкновенно жалобным голосом, нараспев. Помню одного актера из Персии, исполнявшего роль убийцы пророка: он декламировал с большим одушевлением сильным, звучным голосом; присутствовавшие буквально электризировались его словами. Вообще, представления эти производят на толпу сильное действие: раздаются со всех сторон плач и рыдания, при некоторых сценах, особенно трогательных, как, например, когда молодой имам, последний родственник Гуссейна, оставшийся в живых, перед выходом на битву прощается с матерью и родными, стоны и вопли поднимаются такие, что заглушают и прерывают ход действия. Я видел около себя седых стариков, которые плакали и рыдали, как дети. О женщинах и говорить нечего: они заливаются, мечутся и рвутся во все продолжение представления. Можно сомневаться в полной искренности такой необыкновенной горести; вероятно, немалую роль играет тут уверенность в том, что *каждая слеза, пролитая при этом случае, смывает целые горы грехов*.

Персиянин

В продолжение помянутых девяти дней татары ходят процессиями по городу, поют разные жалобные гимны и бьют себя в грудь под такт общего напева. С наступлением вечера, как я уже говорил выше, с разных концов города начинают сходиться на площадь партии прыгающих и беснуются таким образом до поздней ночи. Так выказывают татары свою печаль и в то же время готовность стоять за свою веру и имамов, или, так как имамы уже перешли в вечность, то пускай, дескать, знает мир, как защищали бы мы их, если бы они жили и страдали в наше время…

До последних годов эти ночные собрания были запрещены правительством, потому что они часто вели к кровопролитиям, и вот в чем дело: в каждом татарском городе непременно есть партии, происхождение которых теряется в далеком прошлом; они сами не разъясняют себе как следует причину недоразумений между собою и перемешивают неурядицы своей истории с современными житейскими дрязгами и интригами дня. Так в Шуше потомки партий, враждовавших когда-то из-за двух претендентов на персидский престол, Гойдари и Неэмети (страна принадлежала Персии), переименовались просто в губернаторцев и противогубернаторцев; тем не менее они и теперь при удобном случае не прочь подраться между собою, точно так же, как дрались их предки. Эти воинственные наклонности хорошо известны местной власти, которая обыкновенно почетно выпроваживает с места сборища одну партию, в то время как гикания другой возвещают об ее приближении. Мне рассказывали о случае в одном городе Закавказья, когда после одного такого ночного празднества, кроме увечных и раненых, осталось на месте несколько десятков убитых.

Перед тем как перейти к последнему, десятому, дню праздников, скажу несколько слов об исторической основе их.

«Имам Гуссейн (сын Алия, двоюродного брата Магомета, женатого на дочери пророка Фатьме), живший в Медине и давно уже втайне преследуемый арабским халифом Езидом за привязанность к нему народа, наконец восстал против этого халифа; ему удалось поднять жителей преданного ему города Кюфа и собрать войско, но восстание было скоро подавлено, и сам Имам, оставленный почти всеми приверженцами, загнан в пустыню на берег Евфрата, где все его дети и родственники, за исключением одного больного сына, после подвигов высокой храбрости, пали, один за другим, в слишком неравной борьбе; тела их подверглись поруганию неприятеля, имущество — разграблено, а жены и родственницы Гуссейна, вместе с головами убитых, воткнутыми на пики, доставлены в Шам (Дамаск) к халифу Езиду. Девять дней продолжалась неравная борьба с войсками сунитов[59]; последним — на десятый день — сложил свою голову и храбрейший из храбрых, сам Гуссейн. Смертные останки его были впоследствии похоронены на месте, названном Кербелай (керб и бела — земля печали и горя), сделавшемся великою святынею, главным местом поклонения шиитов»[60].

Память этих-то десяти дней и справляется ежегодно молитвою, постом и теми церемониями, о которых идет речь. Празднество десятого дня отличается особенною торжественностью. Огромная процессия, сопровождаемая всем

населением, выходит за город, где располагается на лугу слушать и смотреть представление последнего действия кровавой драмы, когда-то разыгравшейся на берегах Евфрата и с тех пор прикрашенной и получившей легендарный характер.

В толпе народа, на городской площади в Шуше, ожидал я зрелища, подобного которому по фанатизму и дикости, вероятно, не сохранилось в наше время ничего и нигде. Протяжные крики «Гуссейн! Гуссейн!» дали знать о приближении процессии, которая вскоре и показалась. Впереди тихо двигаются *режущиеся*: несколько сот человек идут в две шеренги, держась левою рукою один за другого; в правой у каждого по шашке, обращенной острием к лицу. Кожа на головах фанатиков иссечена этими шашками; кровь льется из ран буквально ручьями, так что лиц не видно под темно-красной корой запекшейся на солнце крови; только белки глаз да ряды белых зубов выделяются на этих сплошных кровяных пятнах. Нельзя без боли смотреть на режущихся таким образом малолетних, идущих в общей шеренге, в голове шествия. У каждого обвязана кругом шеи белая накрахмаленная простыня; накрахмалена она для того, чтобы не пропускала кровь на платье, а крови на простынях довольно: лучше сказать, они залиты ею сверху донизу.

В середине между рядами режущихся идут главные герои дня, ищущие чести уподобиться своими страданиями самому Гуссейну — полунагие фанатики, израненные воткнутыми в тело разными острыми предметами. Передняя сторона головы такого мужа украшена наподобие зубцов короны тонкими деревянными палочками, заткнутыми за кожу на лбу и на скулах, до ушей; тут же затыкаются небольшие замочки; эти замочки и еще небольшие же складные зеркальца нанизаны по рукам, на груди и на животе. Зеркальца затыкаются за кожу небольшими проволочными крючками. На груди и на спине привязаны к телу, концами накрест, по два кинжала и привязаны так плотно, что одного неловкого движения достаточно для того, чтобы лезвие вошло в тело. С боков, поперек корпуса, две шашки, также небезопасно расположенные лезвием по телу; на концы шашек накидываются медные цепочки или тяжелые железные цепи — то или другое, смотря по усердию. Кроме того, всюду по телу натыканы железные и деревянные, длинные и короткие палочки, более или менее привязанные к телу для уменьшения боли; желающие попарадировать перед народом, не нанося себе большого вреда, очень легко или и вовсе не затыкают за кожу все эти предметы и так ловко подвязывают их, что издали они имеют вид входящих в тело. Кающихся этого второго разряда, т. е. с утыканною кожею, вообще бывает гораздо меньше, нежели режущихся, человек 5, 6

— не более, и надобно думать, что они страдают менее первых, из которых многие на моих глазах падали без чувств или выводились своими родственниками из рядов в состоянии полного изнеможения.

Режущийся (Добровольный мученик)

За этими верными идет толпа народа, избравшего себе благую часть — отделываться в общем покаянии одним трауром. Черные или фиолетовые траурные архалуки их расстегнуты на груди, по которой они бьют себя, причем вторят общему крику. Некоторые ударяют себя не просто ладонями, а большими

тяжелыми кирпичами: бедная грудь делается пунцовою от ударов, и народ теснится, толпится около этих изуверов: «Вот они, наши праведные, опоры нашего благочестия…» Один дервиш, в абе и в остроконечной шапке с священными надписями, навесил себе на шею цепей и веревку с огромным камнем, совсем согнувшим его спину; женщины, следующие за процессиею, наперерыв прорываются к нему, чтобы хоть одним глазком взглянуть на праведника. Впрочем, дервиши, по большей части, избирают себе в эти дни более спокойное занятие: они расстилают коврики по дороге, раскладывают на них четки, камешки и прочие безделушки из Кербелаи и других св. мест, а сами, рассевшись около, вопят, размахивают руками и просто требуют у проходящих милостыни *божьим людям*. Далее в процессии несут на плечах четырехугольный остроконечный ковчежец, увешанный шалями и зеркалами; поперек носилок лежит человек в богатом платье — это убитый молодой имам. Множество народа поддерживает носилки, каждый считает за счастье хоть прикоснуться к ним. Этот молодой имам, племянник Гуссейна, едва умолил своего дядю отпустить его на битву, и тот, перед тем как отправить его на верную смерть, исполнил свое давнишнее желание, обручил его со своею дочерью — вот почему, следом за ковчежцем, несет татарин на бритой голове расписанный лоток с атрибутами свадебного обряда.

Молодой Имам, убитый

Далее идет воин в шлеме и кольчуге, перевязанной шалями; он несет в правой руке красивый топорик — это военачальник халифа, совершивший избиение имамов. За ним ведут лошадь Гуссейна в золотой сбруе и богато расшитом седле. Седло утыкано стрелами, так же как и вся лошадь, только на последней стрелы заменены свернутыми бумажками, прилепленными красным, изображающим кровяные пятна, воском.

Затем несут с большой честью и самого имама Гуссейна — чучелу без головы, одетую в богатое платье; на месте шеи вставлено между одеждами несколько коровьих позвонков с окровавленным мясом. Вся грудь убитого утыкана стрелами, и к ней привязаны два живые голубя, изображающих невинность. На этих же носилках стоит на коленях мальчик, весь с головой закутанный в белый саван, испятнанный кровью; для глаз проделаны отверстия в одежде, а к месту рта пришит длинный красный язык — для означения жажды, которую претерпевал имам и все его семейство; мальчик держится руками за голову и поминутно припадает к ногам убитого Гуссейна. Новые толпы

народа с рыданием следуют за этою святою ношей. Затем едут муллы и актеры; эти последние в полных костюмах и вооружении. Народ валит за процессиею густою толпою, женщины и мужчины, конные и пешие. Двери, окна и балконы соседних домов, так же и городская стена усеяны народом. Наконец, процессия выходит за город, где на лугу устраивается круг для представления. Режущиеся усаживаются впереди других, по внутренней линии круга, за ними остальной народ, позади всех конные. Начинается представление и с ним плач и вопли зрителей. Для большей торжественности к представлению этого дня приглашается русская полковая музыка, плохо гармонирующая с характером всей обстановки. Еще более неэффективную роль играют донские казаки, пополняющие, за недостатком актеров, число убийц имамов. С этими казаками, которые обыкновенно заканчивают представление атакою, вышел при мне пресмешной случай. Молодой имам, вышедши на битву с своими врагами, обращает всех их в бегство; казаки, представлявшие воинов Езида, должны были таким образом отступить перед четырнадцатилетним мальчиком. Должно быть, это им не понравилось, потому что вместо отступления они так поприжали юношу, что тот, в свою очередь, дал тягу. Ход действия нарушился, и весь народ начал высказывать свое неудовольствие; со всех сторон кричали казакам, что им надобно отступить, бежать — не тут-то было: они вошли в задор и вложили сабли свои в ножны только тогда, когда схватили лошадей их под уздцы и вывели из круга.

С окончанием представления оканчиваются и все церемонии этих праздников. Говорят, что прежде народ считал своею обязанностью при шабаше поколотить всех представляющих убийц имамов, так что даже трудно было находить желающих исполнять роли этих последних. Нынче это вывелось.

II

Духоборцы[61]

С высокого хребта открылась перед нами долина, в которой расположена духоборческая деревня Славянка. Немного далее, за ближними горами, как мне объясняли, есть еще несколько деревень этих же сектаторов, но тех мне не удалось видеть. Скоро повстречались и сами духоборцы: большой гурьбой возвращались они с ближнего сенокоса домой с косами и граблями на плечах.

Одеты в белые рубашки, заложенные в широкие шаровары — по-солдатски, на головах картузы с большими козырями. Толпа смотрела весело, слышны были говор и смех. Проезжему все вежливо приподняли шапки.

Деревня Славянка лежит в лощине, при быстром горном ручье, текущем в Куру; до Елисаветполя (Ганжи) отсюда будет верст 60 с лишечком. Кругом горы, почти лишенные растительности, но в самом селении много зелени и деревьев. В деревне теперь считается 205 домов и до 600 душ мужеского пола.

Духоборцы вышли сюда или, лучше сказать, были выселены из Таврической губернии, куда, в свою очередь, их переселили в 20-х годах из внутренних губерний. Многие старики хорошо помнят еще родные места в старой России, в Тамбовской, Саратовской и др. губерниях. Первая партия пришла в 1840 году, другие несколько позже. Сначала было им здесь довольно тяжело: пришлось, на первое время, селиться у соседних армян и татар, которые обращались с ними очень немилостиво, без церемоний грабили их и даже резали. Строиться было трудно, лесу вблизи нет, и провоз его по горным тропам очень затруднителен; многие тогда возвратились в православие и вернулись в Россию.

Кое-как, впрочем, оставшиеся оправлялись понемногу, и теперь, т. е. через 25 лет, духоборческие поселения в числе, если не ошибаюсь, четырех деревень выстроились и обставились отлично, на зависть всем окрестным туземцам.

Очень строго преследовали их толк, стараясь препятствовать распространению его; в этих-то видах духоборцы были выселены сначала в Таврию, а потом в еще более глухое место, в горы Закавказского края. Император Александр I посещал их еще в Таврической губернии, присутствовал при молении и своим милостивым обращением не только оставил по себе добрую память между сектаторами, но и улучшил их, крайне незавидное тогда, гражданское положение. «Только со времени его посещения, — говорят духоборцы, — стали смотреть на нас, как на людей: и скотинку погонишь в город, и что другое продашь или купишь; а то прежде купец или кто другой первым делом начнет ругаться перед тобой: нехристи да такие, сякие… просто хоть и не показывайся никуда». Вообще, можно заметить, что прежние гонения и оскорбления еще очень памятны им, так что, несмотря на лучшие времена, охотников на переселение назад в Россию между духоборцами найдется, вероятно, немного. Основная религиозная идея духоборцев может быть выражена в нескольких словах. Единый Бог в трех лицах: Отец Бог — память, Сын Бог — разум, Дух св. Бог — воля, Бог-троица едина. Никаких

писаний они не имеют; не признают ни Евангелия, ни Библии, ни книги св. отцов православной церкви: все это, говорят они, написано человеками, а все, что от человека — несовершенно. Понятие о Христе чрезвычайно сбивчивое: вместе с смутным признанием его как Богочеловека полнейшее отсутствие понятий о том, как он жил и за что страдал. Понятие о Христе ограничивается тем, что сказано о нем в их так называемых *Давидовых псалмах*. Эти псалмы — единственная молитва, общеупотребительная у духоборцев; насколько они Давидовы, т. е. насколько могут быть приписаны пророку Давиду, который пользуется у них большим уважением, можно судить по тем образцам, которые у меня есть, но которые неудобны для печати. Может быть, в первое время образования толка молитвы эти имели более смысла; но так как они передавались и теперь передаются в семействах от отца к сыну *только устно*, то и неудивительно, что при совершенной безграмотности этого народа многие слова и целые фразы искажены и обессмыслены до смешного. Духоборцы же уверены, что каждое слово этих псалмов идет по преданию от уст самого псалмопевца.

Недоверие или, даже вернее будет сказать, отвращение ко всяким писаниям доводит их иногда до бессмыслиц вроде следующей. Вместе с пророком Давидом три ветхозаветные личности пользуются у них большим почетом; это Анания, Азарин и Мисаил[62], и почему же? Потому что *они достояли при кресте до конца*. «На что уж апостол Петр был близок ко Христу, — толкуют духоборцы, — и тот отрекся от него, а они выдержали». На замечание мое, что, живя гораздо ранее Христа, они не могли присутствовать при его страданиях — отвечают, что не их дело рассуждать об этом, *довольно верить тому, что передано от отцов*. Смысл поверия понятен, но в хронологии, повторяю, бессмыслица. — Не известны ли вам, — говорю я нескольким старичкам, беседовавшим со мною, — кроме Давида и другие ветхозаветные пророки, также много предсказывавшие о Христе, как, например, Исаия?.. — Какой это, батюшка, Исай, — перебивают меня, — это что Авраам, Исай, Иаков-то?.. Где же их знать, и много их всех, да и давно они очень жили[63].

О святых, почитаемых греческою церковью, отзываются, что это были, может быть, очень добрые люди — и только.

Догмат почитания властей, вследствие практической необходимости, начинает входить у них в силу и, с другой стороны, утрачивает значение любимый догмат духоборца:

> …Не убоюся,
> На Бога сположуся.

По поводу этого стиха припоминаю смешной случай. Как-то в воскресенье, справляемое у духоборцев с водкою и гульбою, пьяный отставной солдат (которых много между этими сектаторами) крепко ругался под моим окном; я послал бывшего со мною провожатого, казака, попросить его уйти с бранью куда-нибудь в другое место. Смотрю в окно и вижу, что казак принялся усовещивать:

— Что ты это вздумал тут ругаться, разве не видишь, здесь остановился проезжий чиновник, ведь нехорошо…

Пьянчужка мой презрительно посмотрел на посланного, подбоченился и пропел ему в ответ:

Я тебя не убоюся,
А на Бога положуся!

Казак махнул рукой и воротился ко мне огорченный.

— Ничего с ним, ваше благородие, не сговоришь, грубиян, известно — пьяный человек…

«Царя мы почитаем, — говорят духоборцы, — это на нас пустое взвели, что мы власть не чтим; царя нельзя не почитать, только что отцом его, как православные, не называем».

Расскажу о богослужении духоборцев, крайне простом и несложном.

В воскресенье провели меня в избу, назначенную для собраний. Очень чистая, обыкновенная крестьянская горница, просторная, но низкая, с большою русскою печью и увешанная красивыми полотенцами, битком набита народом. Мужчины с одной стороны, жинки с другой; постарше летами сидят на лавках, остальные стоят. Начинают поочередно читать молитвы; если кто ошибается, его тотчас же поправляют:

— Не так ты говоришь!

— Как не так, как же еще?

— А вот как… — и, в свою очередь, ошибается — опять со всех сторон раздаются поправки. Я заметил, что ошибаются больше мужчины, женщины знают молитвы (псалмы тож) тверже и поправки идут больше с их стороны. Чтение молитв продолжается довольно долго, пока не истощится весь запас их или, что бывает в тяжелую рабочую пору, пока не начнет сказываться в присутствующих усталость, послышатся с углов и укромных местечек всхрапывания. Тогда кто-нибудь приглашает собрание перейти к пению:

— А что, господа, тяжко (душно) что-то, не выйти ли на двор

попеть-то?

Все отправляются на двор, где опять мужчины становятся в одну сторону, женщины — в другую. Обычай становиться мужчинам и женщинам одним против других строго соблюдается. Этим исполняется заповедь: *иметь перед собою, во время молитвы, образ божий*.

Поют также долго, на один и тот же заунывный и такой грустный напев, что непривычному тоскливо сделается: вспоминается что-то родное, далекое… Волга и бурлаки с их песней, подобною стону… Впереди мужчин всегда стоит запевало, который и начинает *выпевание* каждого псалма.

В деревне Славянке исправлял эту почетную должность пренаивный старичок, часто приходивший ко мне беседовать и всегда не с пустыми руками: то с сотовым медом, то с свежими огурчиками, за что, впрочем, не упускал случая упрятывать в карман добрую горсточку папирос, которыми после, как мне сказывали, похвалялся перед соседями: «Чиновник это меня все потчует — уважает».

Мне он несколько раз тонко намекал на важность исполняемой им обязанности: «Поди ты, вот другому, хоть что хошь, не *зачать* псаломчика — это уж в кого что господь вложит…» Только запевало и, может быть, еще несколько человек при пении следят за словами, остальные же просто вторят *воем*.

Перед окончанием богослужения становятся полукругом и начинают кланяться и целоваться друг с другом; мужчины обходят поочередно всех мужчин, женщины — женщин. Взявшись за правые руки и поклонившись один другому два раза, целуются, затем еще два раза кланяются; последний поклон, особенно низкий, обращен со стороны мужчин к женщинам, и к мужчинам — с женской стороны. Поклоны отвешиваются как-то очень неуклюже и немного в сторону. Каждый обойдет непременно всю присутствующую братию, не исключая и подростков. Очень маленьких детей мне не случалось видеть на молитвах. Во все время церемонии поклонов пение не прерывается. По окончании ее — шабаш, шапки на голову, и по домам.

Я записывал их псалмы буквально, со слов старых и молодых; те и другие, старики же в особенности, плохо понимают, что они говорят; зазубривая слова наизусть, они часто не понимают их смысла, и когда я спрашивал объяснения некоторых мест, старички отвечали большею частью так: «Кто ж его знает, премудрость божия, не достигнешь всего этого». Или: «Бог его знает, я этого не знаю, так родители наши читывали, так и мы читаем; так маленьких приучили, и господь знает, что там к чему». Случалось получать и объяснения, но по большей части

очень темные; видно было, что сходство в выговоре слов и выражении фраз принималось за сходство в смысле. Стоит читающему забыть одно слово псалма — он тотчас сбивается и начинает сначала.

Случится, что бравый духоборец выпустит из середины добрую часть молитвы и догадается об этом только тогда, когда окончит. Подумает, подумает, да и говорит: «Должно, пропустил я чего-нибудь, потому уж очень скоро конец пришел».

Иногда же спохватится вовремя: «Нет, нет, что-то не так; ну-тка почитайте, что там у вас записано?» Я читаю: «…И причащаемся мы ко святым его тайнам, божественным, страшным, животворящим…» — «Ну, ну, так, так; еще теперь пиши: Христовым, — и потом начинает припоминать весь запас книжных слов и бормотать про себя: божественным, страшным, животворящим, Христовым… Божественным, страшным, животворящим… Ну, пиши еще: бессмертным»… Ох! как теперь дальше-то, не забыть бы чего… Ну-ка, почитай-ка же еще сначала… и т. д.

При общественных молитвах этого, разумеется, не случается, потому что ошибка сейчас поправится несколькими голосами.

Молятся не только по воскресеньям, но и по будням, поздно вечером, после работ, в особенности по субботам.

Нельзя не удивляться, что духоборцы, с их здравым житейским смыслом, приписывают составление своих псалмов пророку Давиду, когда содержание большей части их ясно указывает на время и обстоятельства, сопровождавшие образование и развитие их толка.

Вот, например, одна из молитв или псалмов, представляющая род катехизиса духоборского вероучения; повторяю, что я записывал ее слово в слово:

«Иже духом Богу служим, хвалимся мы о Христе Иисусе; духа забрали, от духа берем, духом и бодрствуем. Веруем мы во единого Бога Отца Вседержителя, Творца, который нам сотворил небо и землю и белый свет открыл, в Того мы и веруем. Окрещаемся[64] мы во имя Отца и Сына и св. Духа. Молимся мы Богу духом, духом истинным и Богу истинному; гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолюся. Исповедаемся Бога небесного, яко благ Господь, во веки милость Его, понеже все согрешения оставляем и причащаемся мы ко святым Его тайнам божественным, страшным, животворящим, Христовым, бессмертным во оставление грехов. Ходим мы в церковь в Божию, во единую святую, соборную, апостольскую, где есть собрание истинных христиан. Священника мы имеем праведного, преподобного, не ложного, не злобного, который

отлучен от грешника. Богородицу мы именуем и почитаем, из ней же народился Иисус Христос на потребление грехов Адамовых. Святых угодников почитаем и подражаем стопам их[65]. Кланяемся мы образу Божию — неоцененный образ Божий, лик небесный поет и глаголет. Иконы истинные и естественные, непремерные к хартерам[66] со его же обчества, показует Сын Отца, Св. Духа.

Царя почитаем, спаси, Господи, царя, услыши нас. Имеем мы пост — воздержание в мыслях. Содержи меня от всего зла, от уст роптания, от рук убиения, от всякого зла воздержания, отыми у меня всю неправду. Имеем мы брак, дело вечное блаженство, в том мы себя и утверждаем. В рукотворную церкву ходить не желаем; написанным образам не кланяемся, и мы в них святости не чаем и спасения не заключаем; потому мы на себя рук не воскладаем, а мы прибегаем к слову Божиему, кресту животворящему — и Богу нашему слава».

Записав каждый из приведенных псалмов по словам одного духоборца, я перечитывал его буква в букву многим другим, чтобы узнать: не будет ли с их стороны поправок: за исключением самых незначительных изменений и добавок нескольких пропущенных слов все остальное признано было верным и согласным с сохранившимся в памяти их преданием.

Те же духоборцы, которые славят бога и свою веру по странным и подчас диким псалмам, живут честно, разумно и зажиточно. Правда, что эти качества присущи и другим загнанным и забитым религиозным обществам, каковы, например, секты молокан, субботников и скопцов[67] в Закавказском крае.

Но я, познакомившись с молоканами и духоборцами, ставлю последних далеко выше первых в нравственном отношении.

У молокан, например, запрет на вино и на табак, и наружно они не пьют, не курят, но зато втихомолку не откажутся от запретного плода. У духоборцев этого нет: они открыто пьют и курят и даже сами разводят махорку. Молокан, при случае, не прочь надуть или даже украсть — у духоборцев случаи того и другого так редки, что все наперечет. Замечательно, что духоборцы считают молокан отщепенцами своей веры, а молокане уверяют, что духоборцы отстали от них — и это последнее вероятнее.

Теперь оба толка ненавидят один другой: «Безбожники хуже псов», — отзываются молокане о духоборцах. «Разве это люди?» — говорят, в свою очередь, духоборцы о молоканах.

Относительно моего приезда и занятий, например, духоборцы были гораздо менее подозрительны, чем молокане; эти последние так, кажется, и остались уверены, что мое пребывание у них

имело целью тайные розыски и в перспективе ссылку на Амур. Правда, и духоборцы не вдруг разговорились: «Вот вы нас спрашиваете об том да об другом, — говорил мне один старикашка, — а мы еще не знаем, кто вы такие».

— Да тебе зачем это знать?

— Как зачем? Не знаем, что можно вам говорить и что нет. Чиновники вы или нет, благородный или высокоблагородный — будем знать, как величать вас.

Я объяснял, насколько мог вразумительно, что просто, мимоездом, заехал посмотреть, как живут русские люди между татарами и армянами.

— Вы заперты в горах, у вас мало кто бывает, да и сами вы редко выходите из своих мест, так об вас ходят разные слухи, не знаешь, чему и верить; мне захотелось узнать, сколько правды в том, что об вас рассказывают.

Некоторые, по-видимому, проникались этими доводами и одобрительно качали головами.

— Так, так, это точно, что рассказывают об нас много вздорного.

Нашлись даже такие политики, что благодарили меня за честь, которую я им делаю своими расспросами.

Как я уже говорил прежде, ни книг, ничего писанного у духоборцев нет: старики и сами не знают грамоты, и детей своих не учат — считают это занятие излишним для мужика. Исключение составляют только занимающие должность писцов при сельских управлениях — это по большей части грамотеи из отставных солдат. Только узнав о таком организованном невежестве, понял я, что не шутил старичок, просивший меня сделать милость сосчитать, сколько ему будет лет теперь, если он в 1822 году шел с отцом в Таврию из Тамбовской губернии мальчишкою 14 лет: «Давно, — говорит, — хотел я об этом узнать, да все не у кого было спросить». Этот же приятель, узнав, что я поездил по белу свету, добивался узнать, где именно солнышко садится?

«Так-таки и нету такого места, где солнышко садится?» — переспрашивал он потом еще несколько раз.

Откуда духоборцы взяли свой наряд (говорю о мужчинах)? Когда я спрашивал у них об этом, они отвечали, что это «платье настоящее россейское», но именно в настоящей-то России его и нельзя встретить. Еще широкие, длинные шаровары — туда-сюда, но откуда перенять коротенький, на манер солдатских, архалук со стоячим воротником, застегивающимся на груди крючками, внутрь, по-казацки? Все без исключения носят этот архалук. Женщины одеты в обыкновенное русское платье, и при этом

волосы у них закрыты платком или куском материи, свернутым наподобие сахарной головы, со свесившимися назад концами. Дома у духоборцев совершенно те же, что и во всей южной России: снаружи резьба, полотенца, коньки со всадниками, петушки и т. п. украшения. Внутри дома чрезвычайно опрятны, стены чисто выбелены и иногда позавешены чем бог послал: полотенцами, узорными бумажками, лубочными картинками и др. в этом роде.

Духоборец

Духоборка

Телеги, например, совершенно такие, как мне случалось видеть в Восточной Пруссии: очень большие дроги, обставленные со всех сторон наклоненными наружу перилами. В такую телегу усядутся двадцать человек и еще останется место для двадцать первого.

В деревне много ульев, и хороший хозяин продает в год рублей на 100 меду; кроме того, продают нитки и полотна, и почти всегда, а в урожайные годы в особенности, картофель и хлеб.

Почва земли хотя немного и каменистая, но плодородная. Сеют рожь, и она дает сам-десять и сам-пятнадцать; пшеница идет похуже ржи, так же как и ячмень; гречиха родится хорошо, просо опять похуже; сеют полбу, и родится хорошо; из конопли

работают масло и едят его, и продают, а картошкой и льном не нахвалятся.

На 205 дымов у духоборцев, в деревне Славянке, тысяч до 7-ми разного скота. Крупный рогатый скот прекрасный — помесь туземной породы с черноморскою. Замечательны также бараны, так называемые у них *шпанки*, вероятно, действительно испанской или южнофранцузской пород; шерсть от этих баранов продается по 8 и 9 руб. за пуд, тогда как окрестные туземцы продают этот товар, от своих баранов, по 3, по 4 и много по 5 рублей за пуд[68].

Как видно, духоборцам жить можно, одно не хорошо — соседи. Об них, т. е. о татарах и армянах, духоборцы отзываются очень дурно: только та и разница между ними, что татарин смотрит, как бы ограбить да убить, а армянин не пропустит случая обсчитать да надуть. О грабежах и убийствах не переслушаешь всех рассказов.

«Только с приездом *нового* (т. е. нового уездного начальника), — говорят они, — стали мы жить как следует, а то просто в раззор раззорили татары. Грабили среди белого дня: схватят тебя, завяжут руки назад да кинжал над горлом и держат, а другие в это время уводят лошадей. Управы и не ищи: таскают тебя к суду в самую рабочую пору, когда т. е. день стоит рубля серебром. Вытребуют так-то в город, да и то затем, что вот, мол, по твоему делу воры не отысканы — так подпишись, братец, под этой бумагой, что удовлетворен — и делу конец. Едешь куда-нибудь, так и не знают, ждать тебя назад или нет; а приедешь, хоть неиздалечка, так и говорят: слава тебе господи! Ночь пройдет спокойно, воровства на деревне не было — все бога благодарят, ну, авось и завтра как-нибудь проживем».

III

Молоканы

В Закавказье очень много молокан; живут они все хорошо, зажиточно, но только не так согласно, как духоборцы. Между молоканами много раздоров: недовольные почему-либо старыми порядками выдумывают новые, отделяются и увлекают за собой целые партии; отделившееся таким образом общество начинает собираться под руководством нового наставника и уже в отдельном доме. Таким образом, сначала незаметно, потом все в

больших размерах разрастаются несогласия и превращаются, наконец, в открытую злобу. Так-то и вышло, что *секта духов*, как молоканы называют себя, разделилась еще на несколько обществ: во-первых, *чистые* молоканы — наиболее благоразумные в отправлении своих обрядов. Они признают Ветхий и Новый заветы, читают и поют Давидовы псалмы, которые, как и личность самого псалмопевца, пользуются большим уважением у молокан всех толков. Некоторые ветхозаветные праздники справляют наравне с общеустановленными в православной церкви.

По поводу почитания этих библейских праздников не все чистые молоканы согласны между собою; есть общества, желающие, по примеру субботников, наблюдать *все*; так что образовалась партия, занимающая среднее положение между чистыми молоканами и субботниками или жидовствующими. Они, впрочем, немногочисленны, и отдельными поселениями мне не случалось их встречать.

Разногласят также и по другим второстепенным предметам: так, некоторые находят соблазн в обычае *общественного целования*, соблюдаемого молоканами при всех молитвах — новый раздор и отделение. Важнее — несогласия *чистых* с *прыгунами*[69]; эти последние принимают догмат ниспослания верующим св. Духа в самом крайнем смысле: они учат, что это сошествие св. Духа проявляется настолько видимо, что в состоянии заставить молящихся приходить в восторг, т. е. попросту бесноваться и даже говорить разными языками. Поэтому богослужения прыгунов, в особенности вечерние или, вернее сказать, ночные, так как они продолжаются далеко за полночь — чистый соблазн, а подчас и смех для всех непринадлежащих к их толку. «Народ ведь не разбирает, да и нас приплетает к их содомству», — говорят чистые и крепко негодуют на нововводителей; так негодуют, что один ни за что не ступит ногой в собрание других — чтоб не осквернить. Не менее прыганья послужило поводом к раздору и введение прыгунами *новых песен*, составляемых их современными пророками и псалмопевцами. Песни эти поются на новый лад и обыкновенно предшествуют прыганью, своим веселым, все более и более учащающимся напевом подготовляют и располагают к беснованию.

В свою очередь и прыгуны разделились: часть их, опираясь на свидетельства ветхозаветных писателей и на примеры многих древних патриархов и царей, допускает многоженство. Эти нововводители покамест немногочисленны, и пропаганда их ведется осторожно.

Подозревая во мне официозное лицо, эти люди или, лучше

сказать, вожаки их просили представить начальству составленную ими добавку к обыкновенному и известному учению прыгунов. Разумеется, я должен был отказать в этом, но тем не менее добыл себе копию с этого *добавления*.

Сколько я мог заметить, личные неудовольствия и разные домогательства наставников и руководителей играют главную роль во всех этих несогласиях. Масса, сравнительно далеко менее начитанная и развитая, легко поддается на всякое нововведение, льстящее тем или другим страстям и прихотям: так, в прыгуны и многожены валит больше народ молодой, который не прочь поплясать и попеть под веселый напев, да и от нескольких жен не откажется.

Надобно заметить, что многожены, кроме своих полигамических наклонностей, почти сходятся в остальном с прыгунами; так что, для большей ясности, можно разделить все общество молокан собственно на две главные группы: *чистых* (или общих) и *прыгунов*.

Скажу прежде несколько слов о первых.

Поздним вечером, в одну субботу, вхожу я в избу их собраний. Изба простая, русская, и вся заставлена скамьями: народу не много; моление еще не началось: толстый пожилой мужик с обрюзглой физиономией (пресвитер, как я после узнал) сказал мне: «Милости просим, батюшка, садитесь поближе, побеседуем». Пока я перекидывался с близсидевшими обычными пожеланиями здоровья, начал собираться народ, сделалось жарко, душно; известно, народ рабочий…

Пресвитер, т. е. наставник или руководитель, сидит на почетном месте, в переднем углу, под киотом, задернутым занавескою. За отсутствием образов у молокан в этих киотах хранятся священные книги и другие вещи: бумаги, чернильница, счеты, подсвечники и прочая канцелярско-хозяйственная рухлядь. На время молений книги выкладываются на небольшой, покрытый чистою белой скатертью, стол, поставленный, по русскому обыкновению, в этом же переднем углу. Рядом с пресвитером сидит его помощник или несколько их. Около этих руководителей и по скамьям, кругом стола, садится народ попочтеннее — молодежь подальше, в глубь избы. Женщины также не очень суются вперед и все больше пристраиваются у дверей и к уголкам.

— Отчего это у вас женщины сидят позади мужчин? — спрашивал я после в разговоре.

— А чином они пониже, батюшка, так и сидят позади, — отвечало несколько голосов, и тотчас же привели мне, в подтверждение этих слов, несколько текстов…

Пока моление не началось, разговоры идут о посторонних предметах и, несмотря на страшную жару и духоту в избе, большая часть сидит в полушубках.

Но вот пресвитер возвышает голос: «Ну, чего бы нам нынче читать… Не горазд я и прежде был читать-то, а теперь и глаза плохи стали. Читай, брат Иван Власьич». — «Нет, Яков Никифорыч, где нам до вас, читайте уж вы». — «Да то-то, вишь, глаза-то плохи стали; ну да, пожалуй… Давай, вот, что ли, из апостола Иоанна». Словом, после маленького жеманства, необходимого ради скромности перед заезжим барином, напялил на нос очки и начал читать одно из посланий Иоанна, останавливаясь на каждой фразе для толкования. Объяснения были часто очень произвольные, а иногда неправильные; напротив, были и такие, которые отличались здравым смыслом и практичностью: «Вот вишь, братцы, что апостол-то приказывает, не ссориться. А у нас, вон, третьева дня ребята-то на покосе повздорили да и до заседателя дошли; вот уж этого-то апостол и не велит. Случаем, как ежели до спора дошло, и ступай к старичкам, они рассудят и помирят, и поцеловаться заставят — и делу конец; а то, ишь ты, что вздумали, заседателя беспокоить, тут грех один; так-то вот… Ну, давай дальше…» и т. д. В тех местах, где читающий, видимо, сам не понимал смысла фразы, он ловко обходил толкование, в таком роде: «Да, ну это тоже апостол не приказывает», или: «И это надо помнить, не забывать».

Молоканка

По поводу слов апостола о будущем царствии небесном пресвитер толковал, что, «когда наступит оно — этого никто не знает, так что, может быть, и внуки наши еще не доживут до второго пришествия Христова». Очевидно, близость этого пришествия, как и Страшного суда, крепко держится в умах.

Окончив, таким образом, главу из апостола, пресвитер сказал народу: «Ну, теперь спойте что-нибудь, ребята». Тут собрание видимо оживилось. Один из помощников пресвитера открыл псалтырь и, посоветовавшись с соседями насчет выбора предмета для пения, громко произнес первую фразу которого-то псалма.

Запевало, а за ним и вся толпа начали *выпевать* ее, под общий тон наших простонародных песен, только еще более заунывно. Так следовала фраза за фразою: пресвитер выговаривает стих, остальные подхватывают его и тянут однообразно, долго, долго… Поют молоканы очень громко, бабы визжат так, что пенье раздается с одного конца деревни до другого; бывало, вечером, в субботу, когда затянут в нескольких собраниях, ничем нельзя заниматься: и двери, и окна закроешь — нет, раздается вой, будто под самыми окнами. После пенья постлали на пол небольшой коврик и, став вокруг него, начали читать молитвы и стоя, и с коленопреклонением; пресвитер громко, остальные нашептывали вслед за ним. Потом опять сели по лавкам и запели; затем разместились кругом всей избы — начался обряд целования: кроме пресвитера, который никому не кланялся, а только первый принимал лобызания других, каждый, Иван или Петр, например, обходил всех, каждому три раза кланялся в ноги и два раза целовался с каждым. У духоборцев мужчины целуются только с мужчинами, а женщины — с одними женщинами; у молокан не так: здесь мужики и бабы, все перецелуются между собою, с тем только правилом, что мужчины, вероятно, как высшие чином, исполняют это первые. Во все время церемонии поклонов и целования пение продолжается; по окончании ее опять молитва, потом опять пение, наконец, заключительная молитва и — конец. Тут пресвитер обыкновенно приглашает собрание приходить тогда-то: «Завтра, братцы, около полудня, собирайтесь опять, помолимся господу богу». При разборе шапок я слышал такие книжные выражения: а где-то моя *риза ветхая* или *риза светлая* — дело шло об отыскании своего кафтанишка в общей груде снятого верхнего платья. Припоминаю одно обыкновение, очень деликатное, о котором забыл упомянуть: во время богослужения запоздавшие входят не поодиночке, а группами, собираясь предварительно за дверями; они входят в избу в один из промежутков между пением или чтением, останавливаются у дверей и читают про себя молитву; все присутствующие встают со своих мест и также тихо произносят молитву. Затем обоюдный низкий поклон, и богослужение продолжается.

Во время чтения и толкования писания пресвитером помощники его делают добавления и пояснения, а слушатели, в случае непонимания чего-либо, свободны переспрашивать.

В одном месте, где упоминается о крещении, я спросил:

— Почему вы, молокане, не креститесь водою, ведь Христос показал на себе пример этому и сам так крестился?

— Христос-то точно что так крестился, да это только для порядка; а в писании-то, батюшка, что сказано? Иоанн Креститель

говорит: «Я крещу вас водою, а грядет по мне, которому я не достоин развязать ремня у сапога, — тот будет крестить водою и огнем». Так если теперь принять крещение водою, надобно принять и крещение огнем — а это что же будет-то?..

Можно заметить из выбора псалмов и текстов для поучений, что молоканы дают большую силу тому догмату христианства, что господь милосерд бесконечно и что нет того прегрешения, словом, делом или мыслию соделанного, которое не могло бы быть заглажено покаянием. Они идут даже дальше и говорят: «Не согрешишь, так и не покаешься, а не покаешься — не получишь св. Духа и не спасешься». Этот вожделенный св. Дух только и сходит на человека в момент покаяния: у чистых молокан общение с ним человека почти не сказывается видимо, разве только повздыхает счастливец, а то и всплакнет, когда почувствует от молитвы облегчение в земных скорбях.

У прыгунов не так. У этих покаявшийся и чувствующий в себе духа считает долгом высказать восторженное состояние своей души: начинает его сначала подергивать и шатать, как пьяного; потом все топают, скачут, вертятся, прыгают на лавки, даже на стол; а то схватятся за стол, налягут на него да и таскают по хате — и мужчины и женщины — женки бесятся еще больше мужчин. Азарт этот, пожалуй, будет понятен, если принять во внимание, что прыгуны, большею частью, народ молодой, которому тяжелы пуританские правила секты, запрещающие всякий намек на светское веселье: пенье, пляску и т. п. Так или иначе они наквитывают это лишение и, как видно, с лихвою; к тому же надобно знать, что молятся молоканы очень долго; бдения их продолжаются по четыре, по пяти и более часов сряду, и это в жаркой душной избе, в глухую ночь, после тяжелого трудового дня — тут не трудно не только временно забыться, но и совсем сойти с ума. Прихожу я на *бдение прыгунов*; время было уже за полночь. В избе жара — что в бане, и почти темно: горит одна заплывшая свеча. Весь народ, тесно сжавшись один подле другого, лежит на полу ничком, только пресвитер стоит, скрестив руки и опустив голову на грудь, тихо читает молитву. Торжественно и явственно раздаются его слова: «Господи помилуй, господи помилуй, слава Отцу и Сыну и св. Духу…» За теснотою некоторые из молящихся стоят по лавкам, изнеможенно облокотясь на стену, с растянутыми по стене руками и поднятою кверху головою… Один, на лавке же стоя, уткнул лицо в угол — и плачет тихо, горько заливается… Время от времени из середины молящихся раздаются громкие тяжелые вздохи и явственно произносятся слова: «О, господи! за что наказуешь, господи! за что они бьют-то меня! сами-то не знают… О!о!у!у!у!»… В другом

месте кто-то громко зарыдал и долго, долго потом всхлипывал… Вдруг один из лежавших на полу вскакивает, поднимает руки и голову кверху и так остается как прикованный — это он покаялся и объявляет о своей готовности *лететь на Сион* — недостает только крыльев. Более часу продолжалось при мне такое бдение; потом все как-то разом поднялись и запели *новые песни*, сначала довольно тихо, но далее, с учащением напева, все с большими и большими движениями тела… Вижу, один парень, до сих пор стоявший смирно, вдруг бешено топнул ногой, встряхнул волосами и начал качаться из стороны в сторону. Я думал, он упадет; но детина мой не только не упал, но еще начал выкидывать ногами и всем телом разные фокусы. Скоро все собрание заходило — стон пошел по хате: скаканье, топанье, взвизгивания баб, руками все размахивают, лица пресвирепые. Я сжался в уголок, просто страшно сделалось, кажется, вот-вот сейчас пришибут… Наконец, какой-то, расходившийся, как говорится, до чертиков, сшиб кулаком свечу со стола, в избе сделалось темно… впрочем, огонь появился тотчас же.

Как особенно сильный аргумент в защиту *восторгов* при молитве приводится молоканами пример пророка Давида, певшего, плясавшего и игравшего на гуслях перед ковчегом завета… В деревне *Новой Саратовке*, где я также останавливался, желание более точного подражания любимому пророку привело прыгунов к мысли раздобыться и гуслями, но так как гуслей достать не могли, то заменили их барабаном и таким образом славили бога «в песнях и тимпанах», так как последнее слово, по выговору, подходило к барабану. В бытность мою в Саратовке барабан этот уже не существовал; он произвел такой соблазн, что даже сами сторонники этого нововведения решились его уничтожить, во избежание раздора и разделения.

Как я уже говорил выше, у прыгунов есть избранники, которые, находясь *под духом*, говорят разными языками. Мне не случалось слышать таких вдохновенных речей, но говорили другие слышавшие, что бормочется в этих случаях страшная чепуха, — иного, разумеется, и нельзя ожидать от людей едва грамотных.

— Да как же вы можете поверять их, — спрашиваю я, — ведь у вас, кроме как по-татарски и по-армянски, не говорят ни на каких языках; может, они вам говорят просто, какую-нибудь чушь?

— Точно, что мы не говорим, но только, если дух кого умудрит, так тот может, потому это сходит на него от бога.

Замечательно толкование, по которому языкознатели эти будут нужны им со временем, когда устроится *сионское царство*

из разных народов и где молоканы будут первыми избранниками. Что это будет за царство — они, видимо, не понимают и не разъясняют себе; но идея об нем крепко вкоренилась в умы. Один *пророк*[70] или вождь прыгунов (прехитрый мужик, знающий наизусть все главные места Ветхого и Нового завета) объяснил мне идею об этом царстве следующим образом:

«Сион гора (Апокалипсис, 21 глава) — это вечный Сион; но будет еще видимый Сион (Апокалипсис, глава 20), царство, набранное из народа божия, в котором будет царствовать сам Христос; место этого будущего царства еще неизвестно, но что оно будет — это верно; верно также и то, что в него попадут только избранные. Вокруг этого Сиона будет Новый Иерусалим — из всякого народа, всех языков и племен».

По поводу этого Сиона рассказывали мне такой случай: «Прихожу я, — говорит рассказывавший, — вечером, во время богослужения, в избу к прыгунам и, между прочим, вижу, что в темноте на печке что-то шевелится; разглядываю — оказывается, что это ворочается с боку на бог мужик уже пожилой, весь голый и претолстый. Я, — говорит, — думал, что это какой-нибудь юродивый, но мне объяснили, что „он *перится*“.

— Как так перится?

— Ну, значит, ослободился от греха (покаялся) и просит у бога крыльев, на Сион лететь».

Когда я передал этот рассказ нескольким, беседовавшим со мною, наставникам прыгунов, они смеялись и повторяли обычную фразу, что это все по ненависти выдумывают на них: «Бывает, правда, что если кто чувствует духа в себе, так поднимает руки кверху, как будто т. е. готовится переселиться от мира и греха куда господь прикажет, а что догола — не раздеваются». Эти поднятия рук я часто видел и только удивлялся, как они не устают держать их в таком положении чуть не по целому часу.

Сказывают молоканы, что если который-либо из членов собрания согрешит и не покается, то Дух св. непременно открывает кому-нибудь из присутствующих, во время молитвы, грех их собрата; тот сообщает об этом пресвитеру и виновного в таких случаях увещевают миром: примеров этому, говорят они, у нас много. В случае каких-либо проступков по плоти или других домашних грехов виновного не допускают, смотря по вине, или только до общественного целования, или и до самой молитвы в собрании.

Всякий, поступающий в общину прыгунов, должен прежде всего принести покаяние перед пресвитером и обещать впредь по возможности воздерживаться от греха. Затем в следующее же собрание пресвитер объявляет, что вот, дескать, братцы, такой-то

покаялся и просит у бога св. Духа. Для испрошения новопоступающему этой благодати все прежде покаявшиеся и уже получившие Духа — так называемый *священный хор* — возлагают на него руки, по примеру апостолов, и наделяют его видимым знаком, например пояском, который тот постоянно и носит на себе.

Обряды молоканского вероучения очень просты. Крестят ребенка так: соберутся, прочитают приличные обстоятельству молитвы, попоют, нарекут младенцу имя, обыкновенно того святого, память которого празднуется в день рождения, и затем покушают миром.

Обряд свадебного венчания состоит в чтении молитв, пении псалмов и благословении родителей; после этого невеста вручается жениху, и дело с концом.

Пророк молокан

За свадьбою также, по русскому обыкновению, следует угощение, большее или меньшее — смотря по достатку родителей новобрачных.

Мертвецов своих молоканы сами отпевают и хоронят.

Молоканы не пьют вина, не курят табаку и называют его *чертовым ладаном*. Втихомолку, впрочем, и то и другое, водка же в особенности, употребляется.

О молоканах говорят, что они лукавы и к этому довольно *кляузны*; что они далеко не так прямодушны, как их соседи духоборцы — это видно с первого же знакомства. Мне часто

приходилось слышать их жалобы на недостаток земли и другие неудобства, хотя живут они довольно зажиточно и, кажется, не имеют причин быть недовольными льготами.

Многие молоканы изрядно торгуют разным сырьем; многие также занимаются извозничеством, возят товары между Тифлисом и прочими городами Закавказья.

Надобно заметить, что между ними очень мало неграмотных.

В Закавказский край молоканы выселены административным порядком лет 25 или 30 тому назад. Нынче объявлено им разрешение переселиться на старые места, внутри России; но как еще не определены условия, на которых должно состояться это переселение, т. е. неизвестно еще, какие земли и угодья будут им отведены, то покамест они держат себя осторожно на этот счет — не торопятся.

Надобно думать, что если будет отведено им достаточно земли, то многие уйдут из Закавказья, с которым не могут помириться. Гор, по-видимому, особенно не жалуют: «Как и сравнить! — говорят. — Одно слово, там ровное место, а здесь — вишь какие махины!..»

Из путешествия по Средней Азии

I

…Для начала несколько слов о невольничьих караван-сараях и торговле рабами. Правда, что ни невольничьих караван-сараев, ни торговли рабами теперь уж не существует в Ташкенте, тем не менее сказать кое-что по этому поводу будет, думаю, неизлишне и небезынтересно. Здания для этой торговли в городах Средней Азии устраиваются так же, как и все караван-сараи; только разделяются они на большее число маленьких клетушек, с отдельною дверью в каждую; если двор большой, то посредине его навес для вьючного скота; тут же, большею частью, помещается и продажный люд, между которым малонадежные привязываются к деревянным столбам навеса. Народу всякого на таких дворах толкается обыкновенно много: кто покупает, кто просто глазеет.

Покупающий расспросит *товар*: что он умеет делать, какие знает ремесла и т. п. Затем поведет в каморку и там при хозяине осмотрит, нет ли каких-нибудь телесных недостатков или болезней. Женщины молодые большею частью на дворе не выставляются, а смотрятся в каморках и осматриваются не самим покупателем, а опытными пожилыми знахарками.

Цены на людей, разумеется, различны, смотря по времени и большему или меньшему приливу «товара». Под осень обыкновенно торг этот идет шибче, и в городе Бухаре, например, под это время в каждом из десятка имеющихся там невольничьих караван-сараев бывает, как мне говорили, от 100 до 150 человек, выставленных на продажу. Так как больше всего доставляют рабов Средней Азии несчастные, смежные с туркменскими племенами персидские границы, то удачи или неудачи охотничьих подвигов туркменцев в этих местах главным образом устанавливают цену на рабов в Хиве, Бухаре и в Коканде; но иногда войны и неизбежные при этом обращения в рабство всех пленных, если они не мусульмане сунитского толка (в противном случае захват и перепродажа всех рабов побежденной стороны), значительно и разом на всех этих рынках изменяют цены: в таких

случаях человек идет за очень дешевую цену — за несколько десятков рублей, иногда даже за 10 рублей.

Вообще, мужчин в продаже гораздо больше, чем женщин, между прочим потому, что туркмены, продавая охотно мужчин, больше удерживают у себя женщин. Красивая молодая женщина стоит очень дорого, рублей до 1000 и более.

В хорошей цене также стоят хорошенькие мальчики: на них огромный спрос во всю Среднюю Азию. Мне случалось слышать рассказы бывших рабов-персиян о том, как маленькие еще они были захвачены туркменами: одни в поле, на работе, вместе с отцом и братьями, другие просто на улице деревни, среди белого дня, при бессильном вое и крике трусливого населения. Истории следующих затем странствований, перехода этих несчастных из рук разбойника-туркменца в руки торговца рабами и отсюда в дом купивших их крайне печальны и нельзя не порадоваться, что благодаря вмешательству русских этот грязный омут стал видимо прочищаться.

Влияние русское на торговлю рабами сказалось в трех наиболее выдающихся фактах: во-первых, вообще уменьшилось число рабов, потому что во всей присоединенной к России стране они сделались свободными; во-вторых, вообще уменьшился спрос на новых рабов, потому что во все эти новоприобретенные страны нет более сбыта их, а в такие города, как Ташкент, Ходжент, Самарканд и другие, сбыт их был не мал; в-третьих, торговля эта значительно упала, уменьшилась в размере и во всех соседних варварских государствах Средней Азии по тому простому и не лишенному смысла предположению, что русские не сегодня-завтра могут пожаловать в каждый из них, и так как в каждом из них хорошо знают, что рабов русские немилосердно освобождают, то и все покупки и сделки этого рода принимают теперь малонадежный, неблагодарный вид.

Но не одни только, так сказать, официальные рабы вздохнули теперь свободнее: всякого рода бедность и загнанность начинают смело смотреть в глаза капиталу, знати, могуществу, чувствующим оттого немалое смущение.

А другой сорт рабов, который не поименован так обидно ни в одном учебнике, но который тем не менее представляет самый ужасный вид невольничества — матери, жены, дочери среднеазиатских дикарей, разве не испытывают медленного, но неотразимого влияния на их положение и судьбу кяфирских («кяфир» — неверный) законов и всех кяфирских порядков? Без сомнения, *да*; и чтоб не ходить далеко, достаточно послушать осторожные, но горькие жалобы, которые изливает в беседе со мною хозяин моего дома, старик аксакал. «Последние дни

приходят!» — говорит он и машет отчаянно рукою. «Что так?» — «Да как же! Чего же еще ожидать, и жену свою муж не поучи: станешь бить — стращает, что к русским уйдет»… В самом деле, как не смутиться азиатцу, когда его собственность, его вещь, правильно приобретенная, законно закабаленная, начинает заявлять о каких-то своих правах и прежде всего о праве не быть по произволу битою! Как не огорчиться таким расколом и как не угадать виновников всей этой ереси!..

Торговец рабами

О незаслуженно униженном положении восточной женщины

было уже говорено немало многим множеством путешественников, и здесь повторять общих мест не буду; скажу только, что судьба женщины в Средней Азии, говоря вообще, еще печальнее судьбы ее сестры в более западных странах, каковы Персия, Турция и другие. Еще ниже, чем у последних, ее гражданское положение, еще сильнее замкнутость и отверженность от ее властителя-мужчины, еще теснее ограничение деятельности одною физическою, животною стороною, если можно так выразиться. С колыбели запроданная мужчине, неразвитым, неразумным ребенком взятая им, она, даже в половом отношении, не живет полною жизнью, потому что к эпохе сознательного зрелого возраста уже успевает состариться, задавленная нравственно ролью самки и физически работою вьючной скотины. Все умственное движение, все развитие может сказываться поэтому только в самых низших проявлениях человеческого ума — в интриге, сплетне и т. п., зато и удивляться нечего, что они интригуют, сплетничают…

Такое крайне униженное положение женщин составляет главную причину, между прочим, одного ненормального явления, каким представляется здешний «батча». В буквальном переводе «батча» значит мальчик; но так как эти мальчики исполняют еще какую-то странную и, как я уже сказал, не совсем нормальную роль, то и слово «батча» имеет еще другой смысл, неудобный для объяснения.

В батчи-плясуны поступают обыкновенно хорошенькие мальчики, начиная лет с восьми, а иногда и более. Из рук неразборчивых на способ добывания денег родителей ребенок попадает на руки к одному, к двум, иногда и многим поклонникам красоты, отчасти немножко и аферистам, которые с помощью старых, окончивших свою карьеру плясунов и певцов выучивают этим искусствам своего питомца и раз выученного нянчат, одевают, как куколку, нежат, холят и отдают за деньги на вечера желающим, для публичных представлений.

Такие публичные представления — «тамаша» мне случалось видеть много раз; но особенно осталось в памяти первое мною виденное, бывшее у одного богатого купца С. А.

«Тамаша» даются почти каждый день в том или в другом доме города, а иногда и во многих разом, перед постом главного праздника байрама, когда бывает наиболее всего свадеб, сопровождающихся обыкновенно подобными представлениями. Тогда во всех концах города слышны стук бубен и барабанов, крики и мерные удары в ладоши, под такт пения и пляски батчи. Имев еще в городе мало знакомых, я просил С. А. нарочно устроить «тамашу» и раз, поздним вечером, по уведомлению его,

что представление приготовлено и скоро начнется, мы, компаниею в несколько человек, отправились к нему в дом.

В воротах и перед воротами дома мы нашли много народа; двор был набит битком; только посередине оставался большой круг, составленный сидящими на земле, чающими представления зрителями; все остальное пространство двора — сплошная масса голов; народ во всех дверях, по галереям, на крышах (на крышах больше женщины). С одной стороны круга, на возвышении, музыканты — несколько больших бубен и маленькие барабаны; около этих музыкантов, на почетное место, усадили нас, к несчастью для наших ушей. Двор был освещен громадным нефтяным факелом, светившим сильным красным пламенем, которое придавало, вместе с темно-лазуревым звездным небом, удивительный эффект сцене.

«Пойдемте-ка сюда», — шепнул мне один знакомый сарт, подмигнув глазком, как это делается при предложении какого-нибудь запретного плода. «Что такое, зачем?» — «Посмотрим, как батчу одевают». В одной из комнат, двери которой, выходящие на двор, были, скромности ради, закрыты, несколько избранных, большею частью из почетных туземцев, почтительно окружали *батчу*, прехорошенького мальчика, одевавшегося для представления; его преображали в девочку: подвязали длинные волосы в несколько мелкозаплетенных кос, голову покрыли большим светлым шелковым платком и потом, выше лба, перевязали еще другим, узко сложенным, ярко-красным. Перед батчой держали зеркало, в которое он все время кокетливо смотрелся. Толстый-претолстый сарт держал свечку, другие благоговейно, едва дыша (я не преувеличиваю), смотрели на операцию и за честь считали помочь ей, когда нужно что-нибудь подправить, подержать. В заключение туалета мальчику подчернили брови и ресницы, налепили на лицо несколько смушек — signes de beauté[71] — и он, действительно преобразившийся в девочку, вышел к зрителям, приветствовавшим его громким, дружным одобрительным криком.

Батча тихо, плавно начал ходить по кругу; он мерно, в такт тихо вторивших бубен и ударов в ладоши зрителей выступал, грациозно изгибаясь телом, играя руками и поводя головою. Глаза его, большие, красивые, черные, и хорошенький рот имели какое-то вызывающее выражение, временами слишком нескромное. Счастливцы из зрителей, к которым обращался батча с такими многозначительными взглядами и улыбками, таяли от удовольствия и в отплату за лестное внимание принимали возможно униженные позы, придавали своему лицу

подобострастные, умильные выражения. «Радость моя, сердце мое», — раздавалось со всех сторон. «Возьми жизнь мою, — кричали ему, — она ничто перед одною твоею улыбкою» и т. п. Вот музыка заиграла чаще и громче; следуя ей, танец сделался оживленнее; ноги — батча танцует босиком — стали выделывать ловкие, быстрые движения; руки змеями завертелись около заходившего корпуса; бубны застучали еще чаще, еще громче; еще быстрее завертелся батча, так что сотни глаз едва успевали следить за его движениями; наконец, при отчаянном треске музыки и неистовом возгласе зрителей воспоследовала заключительная фигура, после которой танцор или танцовщица, как угодно, освежившись немного поданным ему чаем, снова тихо заходил по сцене, плавно размахивая руками, раздавая улыбки и бросая направо и налево свои нежные, томные, лукавые взгляды.

Чрезвычайно интересны музыканты; с учащением такта танца они еще более, чем зрители, приходят в восторженное состояние, а в самых сильных местах даже вскакивают с корточек на колени и донельзя яростно надрывают свои и без того громкие инструменты. Батчу-девочку сменяет батча-мальчик, общий характер танцев которого мало разнится от первых. Пляска переменяется пением оригинальным, но и монотонным, однообразным, большею частью грустным! Тоска и грусть по милом, неудовлетворенная, подавленная, но восторженная любовь и очень редко любовь счастливая служат обыкновенными темами этих песен, слушая которые туземец пригорюнится, а подчас и всплакнет.

Интереснейшая, хотя неофициальная и не всем доступная часть представления начинается тогда, когда официальная, т. е. пляска и пение, окончилась. Тут начинается угощение батчи, продолжающееся довольно долго — угощение очень странное для мало знакомого с туземными нравами и обычаями. Вхожу я в комнату во время одной из таких закулисных сцен и застаю такую картину: у стены важно и гордо восседает маленький батча; высоко вздернувши свой носик и прищуря глаза, он смотрит кругом надменно, с сознанием своего достоинства; от него вдоль стен, по всей комнате, сидят, один возле другого, поджавши ноги, на коленях, сарты разных видов, размеров и возрастов — молодые и старые, маленькие и высокие, тонкие и толстые — все, уткнувшись локтями в колени и возможно согнувшись, умильно смотрят на батчу; они следят за каждым его движением, ловят его взгляды, прислушиваются к каждому его слову. Счастливец, которого мальчишка удостоит своим взглядом и еще более словом, отвечает самым почтительным, подобострастным образом, скорчив предварительно из лица своего и всей фигуры

вид полнейшего ничтожества и сделавши *бату* (род приветствия, состоящего в дергании себя за бороду), прибавляя постоянно, для большего уважения, слово «таксир» (государь). Кому выпадет честь подать что-либо батче, чашку ли чая или что-либо другое, тот сделает это не иначе как ползком, на коленях и непременно сделавши предварительно бату. Мальчик принимает все это как нечто должное, ему подобающее, и никакой благодарности выражать за это не считает себя обязанным.

Я сказал выше, что батча часто содержится несколькими лицами: десятью, пятнадцатью, двадцатью; все они наперерыв друг перед другом стараются угодить мальчику; на подарки ему тратят последние деньги, забывая часто свои семьи, своих жен, детей, нуждающихся в необходимом, живущих впроголодь.

* * *

Календархан — приют для нищих; места, в которых эти приюты выстроены, всегда полны тени и прохлады и принадлежат к лучшим уголкам города.

Посредине двора возвышение, место для молитвы — непременная принадлежность всякого общественного места. Далее, другое возвышение, более просторное, посредине которого стоит низкое, бедное, грязное, убогое зданьице нищих, тут же и заседающих, обыкновенно вдоль стен и по платформе. Одни из них разговаривают, другие курят, пьют чай, а иной, напившись кукнару, спит врастяжку.

Нищенство здесь сильно развито и хорошо организовано. Нищая компания составляет род братства с одним главою; глава этот потомок того святого, который дал организацию нищенствующему люду и закрепил за ним полученную от общества землю, даровую для всех желающих пристроиться на ней, сделаться диваном. Дом этого главы, очень порядочный, непохожий на грязный домишко его подчиненных, стоит тут же близ дороги, близ спуска с городской улицы на площадку календархана. Я несколько раз хотел повидаться с этим *тюрою* нищих (тюра — господин), порасспросить его хорошенько об истории и времени основания его *нищенствующего ордена*, но его постоянно не было дома: один раз говорили, что тюра в Чемкенте, другой раз в Ходженте или в каком-нибудь другом городе: дело в том, что, будучи главою нищего братства, он живет то в том, то в другом из них по нескольку месяцев в году: собирает с своих подчиненных доходы, судит и рядит их, если нужно. Доходов

собирает он, надобно думать, немало, потому что каждый диван обязан ежедневно внести ему все полученное им в продолжение дня, исключая того, что нужно себе на пищу и необходимую одежду.

В официальные нищие, диваны, может поступить всякий желающий, всякий предпочитающий бродяжничество работе; холостые большею частью живут вместе в календарханах, женатые — отдельными домами; мне указывали семейства, в которых дед, отец и внук — диваны.

Поступающий в общество календа́рей получает некоторого рода форму: ему выдается особого вида шапка красного цвета, расшитая шерстью, снизу опушенная бараньим мехом, широкий пояс, чашка из тыквы, в которую собираются куски говядины и жирного риса, бесцеремонно опускаются и медные чехи (чехи — $^1/_3$ копейки); остальная одежда дивана хотя принадлежит ему самому, но делается по известному, принятому образцу: халат должен непременно иметь вид одежды, покрытой заплатами, и есть мастера творить удивительно пестрые, бросающиеся в глаза от разнообразия заплаток одеяния.

У дивана есть всегда старое будничное платье, в котором он ежедневно ходит: это сплошная масса лохмотьев, в которых, что называется, *живого места нет*; другое праздничное, надеваемое в торжественные дни, все составленное из расположенных в живописном беспорядке, одна возле другой, пестрых, разноцветных, новеньких, недавно выпрошенных на базаре лоскуточков: когда виден и кусочек шелковой материи или сукна, а больше ситца, которых образчики русского и туземного производства не на шутку конкурируют на плечах дивана прочностью и цветом.

— Зачем это у тебя палочка? — спрашивал я одного; у него был в руках тоненький зеленый прут, шкурка которого была узором вырезана.

— А когда я у кого-нибудь прошу милостыню, — отвечал он, — да он меня не слушает, так я этой палочкой тихонько и трону…

Каждый день утром нищая компания расходится на промысел, и вечером опять все собираются, сводят счеты, приходы, рассказывают виденное, слышанное, городские новости и сплетни. По улицам и базарам постоянно встречаются диваны, то в одиночку, то целою группой; первые вытягивают соло своего лазаря, вторые ревут хором; человек десять, пятнадцать, а иногда и более, все в высоких мохнатых шапках, с желтыми обрюзглыми физиономиями, апатично вытягивают знакомые слова, подхватывают их за впереди стоящим запевалой, разбитным

вожаком всей компании; запевало этот выпевает такие штуки и так уморительно, что непривычному нельзя не рассмеяться: заткнувши уши пальцами, нагнувшись корпусом вперед, он весь надувается и как бы грозит лопнуть, если не дадут подаяния.

Вечером диван возвращается в свою грязную хату; форма, т. е. шапка и проч., снята; чашка, за вынутием из нее собранного, отправляется в угол или на гвоздик, и святой муж садится к огоньку, рассказывает, сплетничает, слушает других, причем курит крепкий *наша*, попивает чаек или кукнар; от кукнара, сильно опьяняющего, спит он крепко до утра, до новых бродяжнических подвигов.

Почти все диваны записные пьяницы, почти все опиумоеды. Кукнар и опиум принимают дозами, раза по три, по четыре в день — первый большими чашками, второй кусками; многие, впрочем, готовы глотать тот и другой, сколько войдет, во всякую данную минуту.

Я скормил раз одному целую палку продажного на базаре опиума и не забуду, с какою жадностью он глотал, не забуду и всей фигуры, всего вида опиумоеда: высокий, донельзя бледный, желтый, он походил скорее на скелет, чем на живого человека; почти не слышал, что кругом его делалось и говорилось, день и ночь мечтал только об опиуме.

Сначала он не обращал внимания на то, что я говорил ему, не отвечал и, вероятно, не слышал; но вот он увидел в моих руках опиум — вдруг лицо его прояснилось, до тех пор бессмысленное, получило выражение: глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, он протянул руку и стал шептать: дай, дай… Я не дал сначала, спрятал опиум — тогда скелет этот весь заходил, начал ломаться, кривляться, как ребенок, и все умолял меня: дай бенг, дай бенг!.. (бенг — опиум). Когда я, наконец, подал ему кусок, он схватил его в обе руки и, скорчившись у своей стенки, начал грызть его потихоньку, с наслаждением, зажмуривая глаза, как собака гложет вкусную кость. Скоро он начал как-то странно улыбаться, нашептывать бессвязные слова; временем же судорога передергивала и искривляла его лицо…

Он сгрыз уже половину, когда близ него сидевший опиумоед, давно уже с завистью смотревший на предпочтение, оказанное мною скелету, вдруг вырвал у него остальное и в одну секунду положил себе в рот. Что сделалось с бедным скелетом? Он бросился на своего товарища, повалил его и начал всячески теребить, бешено приговаривая: «Отдай, отдай, говорю!» Я думал, что он ему выворотит скулу…

Календарханы не только приюты нищих — это также нечто среднее между нашим кафе-рестораном и клубом: желающий

покурить *наша* или, еще более, запретного опиума и стыдящийся или не имеющий возможности заводить эти вещи дома — идет в календархан; пьяница отводит свою душу кукнаром также в календархане; разных новостей, как это можно себе представить, между бродягами-диванами не переслушаешь; поэтому народа всякого, болтающего, курящего, пьющего и спящего всегда немало. Мне случалось встречать там лиц довольно почтенных, которые, впрочем, как бы стыдились того, что я, русский тюра, заставал их в компании опиумоедов и кукнарчей.

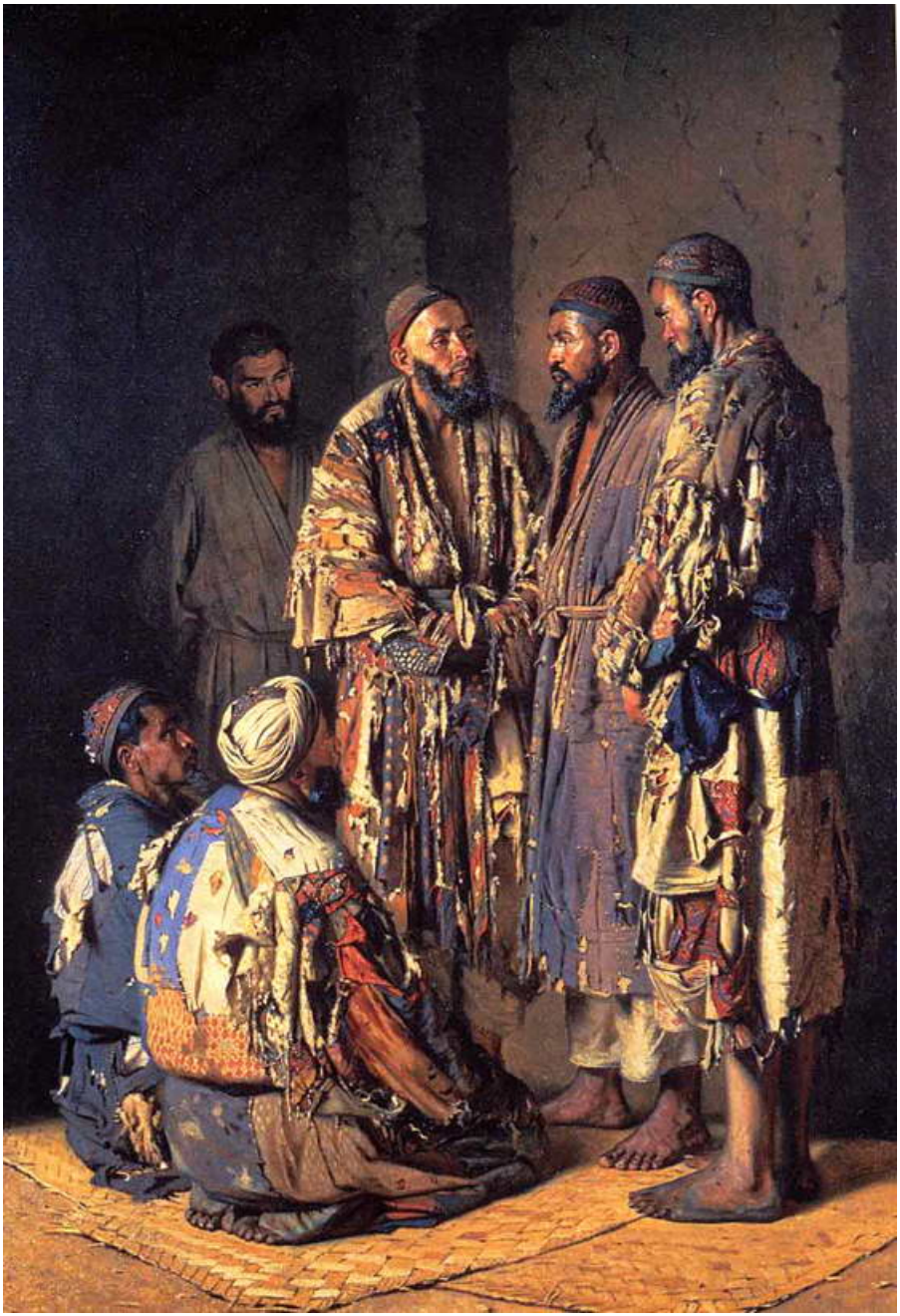
Между опиумоедами есть личности поразительные; физиономия каждого из них уже прямо говорит: *я опиумоед*; но те, которые едят его много и с давних пор, особенно отличаются вялостью, неподвижностью всей фигуры, какою-то пугливостью всех движений, мутным, апатичным взглядом, желтым цветом лица и донельзя обрюзглым видом всей физиономии. Мне говорили (и я имел случай проверить это на деле), что опиумоед оказывается непременно трусом.

Летом жизнь этих людей далеко не горька: птицы божьи, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы — впрочем, вернее сказать, только не сеют и не собирают в житницы; жать же, хоть и с грехом пополам, но жнут и жнут изрядно; от плодов этой жатвы бравый диван исправно напитается, напьется и, если время свободное, валяется, пока душа просит, в тени деревьев.

Зимою беднякам приходится туже: как ни кутаются они в свои дырявые халатишки, но все-таки мерзнут и коченеют, потому что зимы здесь бывают, сравнительно с жарами лета, довольно холодны.

Пришедши раз, довольно холодным днем, в календархан, я застал картину, которая врезалась в моей памяти: целая компания нищих сидела, тесно сжавшись, вдоль стен; недавно, вероятно, приняла дозу опиума; на лицах тупое выражение; полуоткрытые рты некоторых шевелятся, как будто шепчут что-то; многие, уткнувши голову в колени, тяжело дышат, изредка передергиваются судорогами…

Близ базара есть множество конур, в которых живут диваны, опиумоеды: это маленькие, темненькие, грязные, полные разного сору и насекомых каморки. В некоторых стряпается кукнар, и тогда каморка получает вид распивочной лавочки, постоянно имеющей посетителей; одни, выпившие в меру, благополучно уходят, другие, менее умеренные, сваливаются с ног и спят вповалку по темным углам.



Политики в опиумной лавочке. Ташкент

Кукнар — очень одуряющий напиток, приготовляемый из шелухи обыкновенного мака: шелуху эту разбивают на мелкие кусочки и кладут в горшок с водою, которую нагревают; когда шелуха поразмокнет, ее выжимают руками в воде, делающейся от

этого красноватою, мутною и горькою; горечь кукнара так неприятна, что я не мог никогда проглотить его, хотя не раз был угощаем приветливыми диванами.

В подобных же конурах устраиваются лавочки и для курения опиума; каморка такая вся устлана и обита циновками — и пол, и стены, и потолок; курильщик ложится и тянет из кальяна дым от горящего шарика опиума, который маленькими щипчиками придерживается другим у отверстия кальяна. Одурение от курения опиума едва ли еще не сильнее, чем от приема его внутрь; действие его можно сравнить с действием табака, но только в гораздо сильнейшей степени; подобно табаку, он отнимает сон, сон натуральный, укрепляющий; зато, говорят, он дает сны наяву, сны беспокойные, скоропроходящие, галлюцинации, сменяющиеся слабостью и расстройством, но приятные.

Едва ли можно сомневаться, что в более или менее продолжительном времени опиум войдет в употребление и в Европе; за табаком, за теми приемами наркотиков, которые поглощаются теперь в табаке, опиум естественно и неизбежно стоит на очереди.

II

Чиназ очень небольшое селение, неизвестно почему называющееся городом. Он расположен на возвышенном берегу бывшего русла Чирчика, теперь почти пересохшего, болотистого и только местами покрытого камышом. Крепость чиназскую мы оставили влево и через маленький базарчик, тихий, немноголюдный, проехали в указанный нам единственный, кажется, постоялый двор некоего Мулля-Фазиль, местного торговца…

Прежде Чиназ был многолюднее, теперь часть жителей его, особенно торгующих, переселилась в новый Чиназ, основанный русскими, несколько верст впереди, при слиянии Чирчика с Сыр-Дарьею, где построена и новая крепость, а здешняя оставлена. Крепость эта была занята русскими без боя, потому что гарнизон рассудил заблаговременно уйти. Мне казалось, однако, что она в других руках могла бы постоять за себя: стены, еще довольно крепкие, стоят на высоком валу, окруженном очень глубоким рвом; края стены, по обыкновению зубчатые, кое-где с пробитыми бойницами. В средине только груды развалин, между которыми

бродила, что-то отыскивая, целая ватага мальчишек, как брызги рассыпавшаяся в стороны при нашем приближении. Кирпич и весь годный строительный материал выломаны и употреблены на постройку крепости и домов нового Чиназа.

Сильный ураган, разразившийся в этот день, 14(26) марта, задержал нас в этом мало интересном местечке до следующего утра: около 3-х часов пополудни поднялся такой вихрь, что в продолжение некоторого времени страшные массы пыли скрывали от глаз предметы даже в нескольких шагах расстояния, затем пошел сильнейший дождь, ливший всю ночь.

Я познакомился здесь, между прочим, с способом выделки масла из семян хлопчатой бумаги, масла, которым Чиназ, кажется, изобилует: в маленькой темной клетушке стоит высокий сруб с углублением наверху, в которое вставлено наклонно бревно; к верху бревна с помощью рычага привешена значительная тяжесть, которую вместе с ними ворочает кругом ходящая лошадь; нагнетаемое тяжестью бревно давит семена, и масло льется в отверстие сруба. Вся эта машина страшно громоздка и в темной каморке, вместе с скелетом кружащейся лошади, с засаленным работником и производимым ею шумом, скрипом, делает впечатление чего-то крайне первобытного.

На другой день дорога оказалась размытою так, что лошади ступали с трудом, а в местах, где она проходила чрез камыши, топка и небезопасна; вода, накопившаяся от сильного дождя в этих камышах, сильными потоками лилась в Чирчик.

Местность около дороги, оживленная дождем, была ярко зелена от прекрасной травы. Киргизы пахали и боронили; пашут всё теми же незатейливыми сохами и перед бороненьем разбивают заступом большие комья земли; борона — доска, двух аршин длины при полуаршине ширины, с несколькими железными тычинками, привязанная цепью к деревине, идущей к воловьему ярму; на доске, для пригнетения ее, стоит погонщик…

Новый Чиназ смотрит очень печально: крепостца маленькая, постройки малы, бедны и почти нет деревьев, что довольно странно видеть вблизи двух рек; правда, при некоторой возвышенности места относительно уровня воды, провод арыков, а с тем вместе и разведение садов должны быть несколько затруднительны, но породы ивовые могли бы быть легко и скоро разведены. Здешняя ива при всякой воде принимается еще быстрее, чем наша, так что ее прозвали даже бессовестною; но при таком климате, как здешний, нельзя гнушаться никаким, даже и бессовестным деревом.

Поселение Чиназа стоит на самом берегу Сыр-Дарьи; в нем довольно большой базар с торговцами, преимущественно из

туземцев, так падкими на всякий барыш, как бы он мелок ни был, и потому всегда во множестве прилепляющимися к месту, заселенному русскими…

В Сыр-Дарье ловятся отлично осетры, сомы и другая рыба; но рыболовов мало.

Я нашел в Чиназе ташкентского знакомого Ф., жившего здесь ради какого-то весьма кляузного дела. Между прочим, он жаловался мне на трудность что-либо дознавать, что-либо разбирать между туземцами.

По этому поводу приведу один случай, рассказанный мне здешним комендантом Г** — случай вздорный, но довольно характерный. Приходит к нему раз киргиз и жалуется, что такой-то укусил ему палец; обжалованный и спрошенный по этому поводу положительно объявляет, что он пальца не кусал; как тут быть? «Покажи рану». Рана оказывается продольная, как от разреза ножа, и призванный доктор решает, что она сделана никак не зубами, а именно чем-нибудь вроде ножа. Дело объяснилось так: жаловавшийся служит вместе с своим мнимым обидчиком в Ташкенте, был раз уличен им в каком-то воровстве, за это наказан и с тех пор питал к нему такую злобу, что, по словам последнего, в состоянии был не только поранить палец, но и совсем отрезать один, два, три или сколько нужно, чтоб только взвести на него клевету и напакостить, отомстить…

Ранним утром мы переправились чрез неширокий Чирчик на небольшом железном баркасе; в крутом берегу речки я видел какие-то отверстия и после, от одного из сопровождавших меня казаков, узнал, что это их зимовки; бедные воины не имеют, вероятно, покамест лучшего жилья. «Да ведь, поди-ка, там худо жить вам?» — спрашиваю я его. «Совсем худо». — «А теперь и летом, где же вы живете? В палатках?» — «Нет, так, на вольном воздухе». — «Как так? А ветер, дождик ведь мочит?» — «Дождик помочит, а солнышко высушит»…

Мы ехали довольно низким местом; кое-где виднелись пашни, травы почти нет, а много камыша, от которого видна была только одна окружающая обыкновенно камыш трава; от самого камыша торчат только обгорелые остатки стебельков: камыш ежегодно срезывается жителями и идет или на домашнее употребление, или на продажу; остатки же, для лучшего роста, сжигаются.

Много посевов клевера, который родится здесь превосходно и снимается до пяти раз в год, а три раза соберет и ленивый, как говорят.

Мы видели несколько вспорхнувших перепелок, и Б. рассказывал, что здесь их очень много и что сарты и киргизы

ловят их и выкармливают для драк, причем, разумеется, держатся заклады. Немало гордится владелец перепела, когда говорят, что питомец его победил столько-то соперников. Туземцы страстно любят эту забаву и в состоянии целые дни проводить за нею. Хорошо выдрессированная птица стоит очень дорого. «Я знаю, — говорил Б., — некоторых хозяев перепелов, которые не возьмут и пятидесяти тиллей за штуку» (тилля — четыре рубля).

Горные куропатки ловятся и выкармливаются для той же цели.

Сеют здесь пшеницу, ячмень, просо, горох, лен; из семян льна жмут масло, волокно же варвары употребляют на подтопку. Есть сарачинское пшено, но мало, потому что оно требует большой и частой поливки; его много в долине Ангрена и далее к Тляу и к Ходженту. Сеют мак, который идет в пищу; из него делают род похлебки, а из скорлупы жмут *кукнар*, хотя сильно хмельной и потому противный мусульманскому богу напиток, но неоговоренный Кораном и потому веселящий сердца правомерных туземцев без удручения их совести. Впрочем, жители не брезгают и виноградным вином, когда можно раздобыться им, и только более совестливые из них успокаивают себя тем, что разбавляют вино своею *бузою* или, вернее, в водку и вино, делаемое из винограда, подбавляют бузы: выходит и людям приятно, и Корану необидно. Один из провожавших меня казаков, бывший при взятии крепости Джузак, говорил мне, что они нашли там много вина и водки…

В одной большой деревне *Ходжакент* мы остановились. Мужчины большею частью были на работе, женщины же целыми семьями выскакивали посмотреть на *урусов*; некоторые боязливо выглядывали, спрятавшись за что-нибудь; другие, видя, что никого из своих мужчин нет, показывались смелее, улыбались, кивали головами и даже покрикивали: *аман* (аман — будь здоров) …

Лишь только мы поместились в отведенном нам домишке, как на новоселье собралось к нам множество народа, старого и малого. Стали допытывать, кто я, куда и с какою целью еду?

Объяснять туземцу возможность существования не прямо практической, а отвлеченной, научной или художественной цели — потерянное время: он не поймет этого, и потому, как я ни старался объяснить, что еду просто для того, чтоб познакомиться с краем, еще мало известным нам, русским, познакомиться с жителями, с их житьем-бытьем и потом, в свою очередь, познакомить с этим других, живущих далеко отсюда — они не могли взять этого в толк и так, кажется, и остались в убеждении, что дело не совсем ладно, что еду я для каких-нибудь розысков.

Я расспрашивал, между прочим, об окрестностях и о дорогах отсюда к Ходженту и к Джузаку, причем вынул карту, по которой смотрел называемые ими деревни на пути. Карта эта возбудила всеобщее любопытство, а когда я по ней назвал окрестные селения и сказал, что могу по ней перечислить все деревни и города, реки, горы и степи, не только Туркестанской области, но и Коканда и Бухары, то удивлению не было границ.

Случилось, в разговоре о разных разностях, спросить, от каких болезней терпит здесь всего более народ — говорят, что особенно от горячек и лихорадок; лихорадки бывают особенно часты в пору поспевания плодов; против них не знают никаких средств; они, говорят, редко излечиваются совершенно и всегда, года через два или три, если не раньше, возвращаются и сказываются, хотя без прежней силы, без пароксизмов тряски, сильным изнеможением и утратою бодрости на долгое время.

— Есть вот еще один больной, — говорит хозяин дома, — не знаем, как его лечить.

— Где, который?

— Да вот мой сын, — и указывает на малого лет пятнадцати, здорового на вид и краснощекого.

Расспросивши, я понял, что это довольно обыкновенная болезнь, против которой, кстати, между несколькими запасными в дорогу лекарствами было у меня отличное средство.

— Хорошо, — говорю, — я дам тебе лекарство, через два или три дня ты будешь здоров.

Меня поблагодарили за это обещание, хотя не без видимого недоверия, потому что болезнь была довольно упорная, продолжавшаяся уже около четырех месяцев, и туземному лекарству не поддавалась. Но вот на другой же день больному моему, которому я предписал все должные предосторожности и диету, делается лучше; на следующий день болезнь совсем исчезает. Молва об этом немедленно же обходит всю деревню, а затем и все селения; отовсюду начинают являться за советами и помощью. На мое несчастье, следующий пациент также если не совсем выздоровел, то почувствовал облегчение — это был мальчик из той же деревни, на которого жалко было смотреть; восемнадцать лет, очень миловидный, он года три уже как не рос более и как-то сгорбился, покривился всем туловищем, жаловался на стеснение в груди и сильное, давнее, периодически повторяющееся расстройство желудка.

Так далеко, чтоб понять эту болезнь и тем более помочь ей, мои сведения не простирались, и я откровенно сказал это отцу мальчика, предложив, впрочем, от расстройства желудка известные, весьма безвредные капли. Каково же было мое

удивление, когда через несколько дней приема их малый мой объявляет, что и расстройство желудка прекратилось, и стеснение в груди уменьшилось. Разумеется, результат был достигнут благодаря воображению пациента, а я в нем ни душой, ни телом не виноват; тем не менее репутация моя как человека опытного в лечении разных болезней упрочилась, и, к немалому моему огорчению, ежедневно стало стекаться множество больных. Говорю «к немалому огорчению», так как в самом деле положение неприятное: отказать в совете нельзя, во-первых, потому, что к русскому доктору не пойдут, отчасти по недоверию, отчасти же — и это главное — потому, что он не под рукою и лечение его сопровождается издержками; во-вторых, потому, что, по тем или другим резонам, обойдя науку в лице ее посильного представителя ближайшего русского поселения, туземец необходимо обратится к шарлатану, к своему доморощенному уста, редко совестливому, а большею частью только берущему деньги и подарки, пользы же не приносящему. Когда я советовал, например, больному обратиться к чиназскому доктору, говоря, что сам помочь не могу, он уходил всегда, почесывая затылок, с намерением подождать немножко: может, и так пройдет. Ужаснее всего то, что говоришь, бывало: не знаю, не понимаю болезни, не имею лекарства, не могу помочь — не верят. «Мы слышали, — говорят, — что *твое лекарство* многих вылечило».

Так или иначе приводилось давать посильные советы, состоявшие, главным образом, в объяснении пользования водою, трения, закутывания в мокрые простыни и т. п., что для ревматических болезней, удручавших большую часть моих пациентов, было, разумеется, далеко не бесполезно.

Каждый день, бывало, ранним утром А. Н. уже зовет меня. «Да выйдите, пожалуйста. Страх сколько их пришло: все просят *усту* повидать». (Уста — мастер, доктор.) Некоторых приносили на носилках; другие приходили звать в свою деревню, к больным, которые не могут двигаться. Были и такие, которые просили заочно дать лекарство — это случалось большею частью, когда дело касалось женщин; говорит, объясняет, что болит то-то и то-то и просит какого-нибудь такого лекарства, чтоб принять и выздороветь сейчас.

В одной соседней деревне показывали мне раз мальчика лет двенадцати, тринадцати, которого никогда не забуду. Его вынесли ко мне на руках, обложенного ватою, закутанного в целую массу тряпья; лицо его, донельзя пухлое и обезображенное, было бледно, как чистейший белый воск; вместо глаз какие-то гнойные ранки; нос провалившийся; вместо рта щелка, более не закрывающаяся и не открывающаяся, сквозь которую видны

мягкие крошащиеся зубы, страшная гнойная болезнь на голове и на теле. Мальчик, разумеется, не двигался, почти ничего не ел и едва-едва говорил. «Сколько уж наших докторов лечило его — не могли вылечить». — «Как же они его лечили?» — «Больше ртутью». — «И много ее давали ему?» — «Кто ж его знает, мы этого не знаем; кажется, *коп*» (коп — много). — «Зачем же вы позволяете глупым людям распоряжаться так вашими детьми?» — говорю я отцу ребенка. «Не знаю я, — отвечает он, — мы люди темные; кто что посоветует, то и делаем; сами видим, что нас обманывают, только чтоб сорвать *селяу* (селяу — подарок); да что же делать-то? Ведь жаль ребенка, ну и слушаешь, что скажут»… Бедный мальчик этот через несколько дней умер.

Очень многие из жителей, чуть не половина, изрыты оспою; у многих на лице и голове следы лишаев и других накожных болезней. Чтоб не дать лишаю распространяться, намазывают пораженную им часть сажею, и смешно видеть, как иной мальчик бегает с физиономиею наполовину белою, наполовину черною.

Уморительная старуха явилась раз ко мне из одного соседнего аула; хриплым голосом рассказала она, что черви съели у нее маленький язычок и теперь уж начали есть печенку, так, по крайней мере, объяснил ей *уста*, и что поэтому кричать и громко говорить она не может; при этом чувствует давление в груди и боль в горле. Я хотел посмотреть на этот бедный маленький язычок, но она завопила, взмолилась: «Не тронь, не тронь, бога ради!» — «Да отчего же? Я хочу только посмотреть, что у тебя там…» — «Нет, нет, лучше подожди; я приведу сына; ты уж при нем сделай что надо; тогда, если я умру, так при нем: он будет знать, что со мною делать»…

Деревня Ходжакент расположена близ Сыр-Дарьи, в сотне шагов от нее; дом, в котором я живу, стоит на берегу арыка (арык — канава), широкого, с высокими берегами, ведущего воду с полей к мельницам и потом в Сыр-Дарью. Набережная этого арыка, осаженная кое-где деревьями, составляет лучшую во всем селении улицу; на ней помещается между прочим одна из двух имеющихся в деревне лавочек, около которой ежедневно, по вечерам после работы собирается народ: кто просто посидеть в компании, кто поболтать, перекинуться словечком, узнать новости, которые, если только имеются, непременно будут туда снесены, а кто поиграть в игру, сходную с нашею шашечною: прутиком расчерчиваются на земле фигуры, по которым ходят красненькими и серенькими камышками; я подсаживался иногда к игрокам и, разумеется, постоянно проигрывал, к большому удовольствий и смеху всей публики.

Деревня Ходжакент, близ Ташкента

В те дни, когда в Чиназе базар, собрание в лавочке бывает многолюднее и оживленнее; ездившие на базар сообщают собранные там новости и сплетни, а так как новостей и сплетен на всяком базаре больше, чем товару, то и материала для разговоров ходжакентцев, собравшихся у лавочки, бывало немало, притом разговоров самого разнообразного сорта, начиная от крупного местного политического события до мелкой дневной новости. Один раз аксакал, т. е. старшина (буквально аксакал значит белая борода, *ак* — белая, *сакал* — борода), пресерьезно сообщил мне, что продавали-де на базаре рыжую кобылу, продавали не просто, а с барабанным боем. Так как народу на базаре при этой продаже, вероятно, было немало, то, без сомнения, о продаже рыжей кобылы с барабанным боем, о ее цене, летах, пороках, достоинствах и проч. узнали и толковали далеко по окрестностям…

Кроме городов, базары еще бывают в больших деревнях и один раз в назначенный день недели: по понедельникам, например, базар бывает в *этой* деревне, по вторникам — в *той*, по средам — в *третьей* и т. д., так что каждый день может крестьянин купить, что ему нужно, посплетничать, сколько душа его просит, не ездя для этого в далеко отстоящий город. В Ходжакенте базаров не было потому именно, что он недалеко от Чиназа.

Садов в Ходжакенте мало; улицы, кроме большой, о которой я упоминал, грязны, узки и во время дождей просто непроходимы; дома, за исключением немногих зажиточных, весьма жалкого вида; они, как и все, построены из земляных комьев и грязи. Недалеко от моего дома была мечеть — небольшое, простое снаружи и внутри зданьице, каждое утро и вечер наполнявшееся крестьянами, совершавшими положенный намаз. Я замечал, впрочем, что посещали мечеть далеко не все жители, а больше только люди пожилые, старики.

Управление деревни сосредоточивается в руках старшины и казы (каза — духовное лицо, род судьи); должности эти не выборные, а по назначению и в большинстве случаев даже наследственные — так, мой приятель Таш, аксакал Ходжакента, наследовал должность от отца, который, в свою очередь, получил ее от своего родителя и т. д. При таком порядке управление, разумеется, чисто патриархальное в самом многозначительном смысле этого слова: аксакал и казы, на условии взаимного дележа, грабят народ, и, сколько мне ни случалось слышать, людей честных в том смысле, как мы это слово понимаем, нелицеприятно, без взяток и поборов судящих и управляющих, между ними нет. Новое положение, введенное русскими, делающее почти все должности избирательными, без сомнения, не по вкусу будет деревенским аристократам, зато байгуши (бедняки) вздохнут свободнее…

Работает здешний крестьянин всякую работу допотопнейшими приемами и орудиями. Вот, например, недалеко от меня на арыке меленка для очистки риса: два толстых куска дерева, окованные железом, с остриями, попеременно опускаясь и поднимаясь, бьют по зернам, насыпанным в углубления, сделанные в земле и прикрытые шалашом из камыша. Эти куски дерева приводятся в движение каким-то подобием колеса, с шумом и скрипом медленно повертывающимся и попеременно то поднимающим, то опускающим деревины, бьющие по зернам.

Три раза последовательно очищают и просеивают крупу, прежде чем она освободится от шелухи, и благодаря способу очистки из четырех батманов неочищенного риса получается только два очищенного. Это, впрочем, зависит и от сравнительно малого орошения здешних рисовых полей: в тех местах, где орошение сильнее, зерно крупнее и в очистке получается его более. За целый день работы очищается совершенно едва два батмана зерна; но как и таких меленок немного в окрестностях, то крупу привозят для очистки в ходжакентскую мельницу довольно издалека и платят за это одну шестнадцатую часть…

Случалось мне видеть, как гнут обод колеса; хотя у здешних

арб колеса и большие, а потому и деревянные обручи, для них служащие, довольно плотны, тем не менее жалко видеть, как десять человек, буквально в поте лица, целый день возятся около одного такого обруча.

* * *

Я поехал далее и приехал в места поселения киргизов таминского рода. По их словам, когда-то очень давно предки их пришли сюда войною с запада, по окончании которой часть воротилась назад, а другая, не имевшая средств, осталась здесь. Теперь почти все таминцы живут в пространстве между Ташкентом, Чиназом и Ходжентом, занимаются хлебопашеством, и большая часть живет оседло круглый год. Тип лица их не киргизский или, если несправедливо называют здесь обыкновенно оседлых таминцев сартами, то и за кровных киргизов принять их трудно…

По обыкновению, множество народа тотчас же явилось к нам в гости «пожелать здоровья», и по мере того, как раскладывались мои вещи и развьючивалась моя собственная особа, любопытство моих собеседников усиливалось: непременно все им покажи, расскажи, в чем я, разумеется, не отказывал, и вот поднимаются выражения удивления на разные лады: один щелкает языком и совершает это очень долго, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, как бы замирая; другой вытаращит глаза и твердит протяжно: па! па! па! па! па!..; третий весь как-то раскачивается; четвертый, наконец, просто немеет от удивления и только по временам отряхивается, как от чертовщины.

Да как в самом деле и не удивляться! Еще складной ножик с несколькими клинками, складной зонтик, складной стул, положим, не так чудны; но вот, например, складной карманный револьвер *кичкине-милтык*, т. е. маленькое ружье — это такая удивительная вещь, которая дает бравому туземцу тему для рассуждений на все лады, на многие и многие часы досуга…

Ангрен протекает под самою деревнею, и переправить нас через него обещали на следующее утро на *сале*, плотике из камыша. Ангрен — небольшая речка, впадающая в Сыр-Дарью; эти горные речонки, ничтожные в сухое время до того, что, как говорится, курице впору перейти вброд, осенью от дождей и особенно весною от таяния снегов так разбушевываются, что переправы через них делаются если не невозможными, то крайне опасными. Именно через одну из таких речонок нам предстояло

теперь переправиться.

«Сал у нас хороший; переправим живо», — говорят мне. Но на другое утро, когда я отправился посмотреть этот хваленый сал, он оказался преутлою штукою: несколько снопов камыша, плохо связанных — всё вместе два аршина. Я дал денег на камыш, все веревки от своего багажа и велел сделать что-нибудь понадежнее.

Через час посудина была готова, увеличилась и площадью, и толщиною.

Вода неслась с чрезвычайною быстротой; переправа предстояла небезопасная, и вся деревня высыпала смотреть на нее. Сначала пустили двух лошадей понадежнее, попробовать, как они терпят воду; два киргиза в одних только коротеньких штанишках сидели на них верхом. Когда лошади всплыли, их страшно понесло течением; но киргизы соскочили с них тогда и, держась одною рукою за гривы, другою за узду, ловко направляли наперерез воды; саженях в тридцати ниже они вышли на тот берег, потом, зайдя вверх, переправились обратно. Бедные лошади дрожали все еще, отфыркивались и пугливо смотрели на воду; но им не дали опомниться, привязали к хвостам нагруженный плот и снова пустили в воду. Два человека плыли при лошадях, пять или шесть кругом плота; шума не было — все напряженно следили за переправою; слышалось только сопенье и фырканье выбивавшихся из сил лошадей.

«Плакали чемоданы мои», — думал я, глядя вслед понесшемуся, как щепочка, салу — едва-едва не пронесло его мимо единственного отлогого места того берега, к которому можно было пристать: если б это случилось, без сомнения, погибли бы и вещи, и лошади. Однако выбрались на берег, затащили плот повыше против течения, переправили на нашу сторону и на свежих лошадях перетащили и нас с остальным добром.

Бедные киргизы страшно передрогли и запросили ара́ку (водки); но так как его не оказалось, то мы напоили их чаем и сами отправились дальше к деревне Буке, до которой отсюда два таша, т. е. шестнадцать верст.

Кстати замечу, что употребление *таша* как меры расстояния вошло здесь в обыкновение со времени последнего завоевания Коканда Бухарою: таш — бухарская мера; прежде измеряли пути днями и часами езды, теперь начинает входить в употребление *чахрым* — русская верста.

Путь наш лежал пашнями и лугами; не было ни дороги, ни тропинки. На горизонте было видно много курганов; Б. стал называть мне их всех по именам: «Вот это Ак-Тубе (ак — белый, тубе — гора, сопка), вот тот Кок-Тубе (кок — синий, зеленый), а

этот, самый высокий, Ханка…»

Ханка, о котором я еще прежде слышал, рисовался вдали громадным силуэтом, и я, не долго думая, направился к нему…

Долго ли, коротко ли ехали мы, но наехали на кочевку киргизов, в которой остановились ненадолго, отдохнули и подкрепились *гатыхом* (гатых — кислое молоко). Кочевка принадлежала таминским же киргизам и смотрела очень бедно.

Я побродил по палаткам и в некоторых был так нескромен, что развернул и раскрыл все мешочки, узелки, тряпочки, лежавшие по углам и висевшие по стенкам кибитки: тут просо, немножко риса или конопли; там шерсть, лоскутки и разная хурда-мурда незатейливого, неприхотливого быта; стоит станок для пряжи хлопчатой бумаги, скатанной для этого в трубочки. Я нарочно сказал, что не знаю употребления этой машинки; хозяйка, пожилая киргизка, любезно села и допряла начатый моточек; я выразил удивление, улыбнулся — улыбнулись и киргизы, вероятно, моей простоте.

На прощание я отдарил бабусю за ее вкусный гатых платком ярко-красного цвета, предметом, может быть, давнишних желаний ее дочери, которая, мимоходом сказать, во все время моего пребывания в юрте сидела, забившись под одеяла и разную рухлядь, и только испуганным, неровным дыханием давала знать о своем существовании. Впрочем, фигура матери, становившейся в позу курицы, защищающей своего цыпленка, перед тем местом, куда запряталась дочь, каждый раз как я приближался к нему, давала понимать, что тут находится вещь, которую она с меньшей готовностью допустит открыть и посмотреть, чем мешочек с просом или коноплею.

Около высокого кургана Ханки, который мы видели издалека, рассыпано множество меньших насыпей, заросших травою, но без остатков каких-либо построек; только на одном виднеется одинокая могила какого-то аулие (святой), небольшая ограда недавней постройки и над нею шест с лоскутком материи.

Можно полагать, что тут был город большой; высокий курган составляет северо-восточный угол насыпи, служившей, вероятно, местом расположения крепости; совершенно ровные, круто и глубоко опускающиеся края этой почти квадратной насыпи были, надобно думать, валы, на которых стояли стены. В другом месте мне казалось возможным распознать следы глубокого пруда. По курганам валялось много обломков крупной и мелкой глиняной посуды, отчасти, может быть, после недавно бывших здесь киргизских зимовок; показались также мелкие обломки костей, но не видно было никаких следов древних построек.

* * *

Бий (бий — почетное лицо) деревни Бука, у которого мы остановились за отсутствием старшины, сообщил кое-что о Ханке: «От наших стариков слыхали мы, что тут жил когда-то *падишах* (государь) здешних земель по имени *Ка-га-ха* (вероятно, отсюда сокращенное Ханка), но когда именно он жил — неизвестно, может быть, две тысячи лет назад». — «А какой государь это был: мусульман *падишах* или кяфир *падишах* (т. е. мусульманский государь или государь неверных)?» — «Кяфир *падишах* урус (т. е. *падишах неверных, русский*)» (!). Я объяснил, что русские никогда прежде не владели этими местами и теперь пришли сюда в первый раз и что поэтому или предание неверно, или истолковано не так — он повторял настойчиво, что предание именно таково; в подтверждение вероятности этого сказал, что сами русские, когда они несколько лет назад занимали Той-Тюбе и окрестные места, объявляли будто бы, что «*пришли снова занять свои давнишние владения*». Откуда они взяли, что русские говорили подобную нелепость и когда-то в далеком прошлом владели здесь — знает Аллах.

Старик аксакал, когда приехал, подтвердил слова бия: рассказал, что здесь жил кяфир падишах и *именно урус*. Когда я опять возразил, что русского владетеля здесь не могло быть, он отвечал, что, может быть, это неправда, но что предание именно таково. «Лет пятьдесят назад, — говорил он (старику теперь под семьдесят), — я пас на тех местах скотину и случаем от многих доводилось слышать это. Город был большой, с семью рядами стен (?). Лет тридцать назад там были еще кое-какие развалины глиняных стен, не из хорошего кирпича, а просто из комьев — должно быть, остатки могил и зимовок; следов же построек из хорошего-то кирпича никто не помнит. На моей памяти тут бывали скачки и разные игры. На высоком кургане помещались почетные лица — оттуда они могли удобно следить за ходом игр и отличать победителей».

Старик говорил еще, что за Ара-Тюбе, в горах, есть место, которое также называется Ка-га-ха, и там, по преданию, были большие постройки и там будто бы владели когда-то *урусы* (!).

Деревня Бука окружена рисовыми полями, в это время года затопленными водою; там и сям бродит народ чуть не по пояс, разбивая заступом большие комья земли. Чтоб на покатых и неровных местах вода могла ровно напоить каждый уголок, все пространство, засеянное рисом, разделено на небольшие, сажен в пять или немного более, квадратики; каждый такой квадратик обнесен узким, в две или в три четверти вышины, валиком с

воротцами в одном углу, такими маленькими, что кома земли достаточно, чтоб завалить их, когда понадобится запереть напущенную туда воду. Вода берется из больших арыков, проведенных от Ангрена. В арыках этих немало рыбы: довольно крупных окуней, язей и др.

Раз позвали меня посмотреть, как ловят рыбу. Кроме нескольких взрослых крестьян пошла волонтерами огромная толпа ребятишек. Орудием для ловли была простая сетка на палке.

Старшие рыболовы разделись и в одних кратчайших штанишках спустились в арык: один стал держать сетку, другие, зайдя немного выше, загонять в нее рыбу — нечто вроде нашей ловли *в верши*, с той только разницею, что здесь операция похитрее: ставят сетку и начинают загонять в нее рыбу только тогда, когда увидят ее. «Эй, сюда, сюда! — кричит увидевший какого-нибудь злополучного окуня. — Здесь, вот он стоит в траве; вот, вот сейчас сюда ускочил!..»

При этом увидевший и вся ватага бросаются за ускочившею рыбою и, двигаясь по направлению к сетке, шарят руками и ногами по всем ямам и зажорам. Другая рыба, ушедши от всего этого шума и гама, преспокойно прошла бы между сеткою и берегом, потому что там всегда остается доброе пространство, но здешняя, которая или очень глупа, или чересчур уж добродушна, часто попадается в расставленную ей сеть.

В одном месте, двигаясь по арыку, набрели мы на запруду, поднявшую воду в верхних частях и спустившую в низших, проходивших нашею деревнею: хозяева прилегающих к этим местам рисовых полей устроили эту маленькую шалость в невинном желании сытнее напоить свои поля в ущерб своим соседям, букинцам. «Так вот отчего у нас так мало воды! Разваливай, ребята, запруду!» Большой и малый на «ура» бросились вынимать колья, вытаскивать укрепленные между ними комья глины и дерна, и высоко скопившаяся вода с шумом двинулась вниз.

В один хороший, ясный день в Буке был базар, на который с утра отправилось все население дома моего хозяина. Я пошел один, не закупать что-либо, а так побродить, посмотреть.

Я говорил уже, что каждый день недели бывает базар в которой-нибудь из окрестных деревень: в *Буке*, например, базар по понедельникам, в *Ак-Кургане* — по пятницам, в *Псхенте* — по средам и т. д.

На базарной площади около лавчонок, в которых обыкновенно не видно было ни души, теперь толпилось множество народа и конного, и пешего, съехавшегося со всех

окрестностей не столько, разумеется, для закупок, сколько для свидания с родными, знакомыми, для собирания новостей и сплетен; иной из-за двадцати верст торопится, спешит, боится опоздать — для чего? Чтоб поглазеть на толпу, целый день проболтаться между гуторящим народом, сунуть нос во все сделки, продажи, мены, во все споры, ссоры, если такие случатся, подставить свой рот под угощение, если оно предложится, и с запасом сведений и спокойною совестью возвратиться восвояси.

Вот, вытянувшись в несколько шеренг, сидят работающие веретенья, кто под шалашиком из циновок, кто просто на солнце. Они работают безустанно на своих простеньких станочках и едва успевают удовлетворять спросу туземных дам, около них толкущихся.

Евреи торгуют немного чаем и вообще всем, чем случится, но преимущественно сырым шелком; они и торговцы красным товаром, развесившие свои яркие богатства по обеим сторонам целой линии лавок, занимают самую фешенебельную часть базара.

Еврей из Бука

Тут же без лавок, просто на земле, разложены *бязи* (бумажная материя), разные крашеные ткани, множество халатов и многие принадлежности костюма. Тут же лавочки с зеркальцами, ножичками, кожаными кошельками и разными разностями, разными мелочами. Невдалеке лавочки, в которых стряпают и пекут превкусные пирожки *самуса* и варят в пару пельмени.

Мясники, торговцы конопляным маслом и вышивками и другими, менее деликатными предметами держатся больше по краям базара; с краев же идет продажа лошадей, баранов, коров, верблюдов и т. д.; здесь почти все, и покупатели и продавцы, и

мужчины и женщины, верхами.

Бродя там и сям, я понакупил кое-каких мелочей, но больше приценивался, присматривался и к товарам, и к физиономиям самих продающих; с другой стороны, и меня, в моем европейском пальто, осматривали с немалым вниманием и изумлением и закидывали вопросами: «Кто ты? Ногай (татарин)? Откуда ты? Ты купец?» — «Купец», — отвечаю. «Чем торгуешь?» — «Всем понемногу». — «Значит, разным товаром?» — «Да, разным товаром». — «Где твоя лавка? В Ташкенте есть у тебя лавка?» — «Есть». — «А в Чиназе есть?» — «В Чиназе нет». — «А зачем ты эту чалму купил? Веретенья эти тебе зачем?»…

С базара я зашел в календархан, грязную избушку, стоящую в прелестнейшем месте, в чаще деревьев на берегу широкого арыка. Народа застал там немного и то не постоянных обитателей, а посторонних, захожих bonvivats; часть их курила крепкий *наша*, другая спала врастяжку, должно быть, после лишнего приема кукнара. Постоянные обитатели календархана, диваны, отсутствовали; все они на базаре, где их остроконечные шапки и отборные лохмотья всюду виднеются между народом.

Один, я видел, таскает в чем-то вроде старого шлема с продетыми в края веревочками тлеющую пахучую траву; он с серьезным видом, заботливо, как бы делая важное дело, обходит всех по очереди, всем подставляет это благовоние, и потому ли, что трава эта хорошо пахнет, или потому, что она из какого-нибудь священного места — никто не отказывается опустить в дым свои руки, а потом провести ими по лицу и по бороде; но обычную чеху за это подает не всякий.

Перед каким-то тучным человеком, рассчитывавшимся мелкими деньгами и не обращавшим на него внимания, диван мой остановился и немилосердно обкуривал его в ожидании подачи. Я хотел посмотреть, кто из них, отказывающий или просящий, лучше выдержит характер, но так и не дождался; когда я отошел, простоявши на месте добрый десяток минут, первый все еще возился с деньгами и делал вид, что не замечает нищего; второй продолжал наделять его благоуханиями, в чаянии — бог не без милости — одной чехи…

Из новостей, ходивших на базаре, была одна крупная: именно рассказывали, что эмир бухарский в Самарканде и готовится воевать с Россиею. Я посмеялся тогда вздору, каким показалось мне это известие, но оно оказалось вскоре если не совсем справедливым, то близким к тому.

Дунай

1877[72]

Добрый генерал Галл представил меня гг. Непокойчицкому, Левицкому и др., а также, к большому моему удивлению, молодому генералу Скобелеву[73]. «Я знал в Туркестане Скобелева[74]», — говорю ему. «Это я и есть!» — «Вы! Может ли быть, как вы постарели; мы ведь старые знакомые». Скобелев порядочно изменился, возмужал, принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменил в разговоре со мною на искренний дружеский тон.

Он только что приехал. Над его двумя Георгиевскими крестами, полученными в Туркестане, посмеивались и говорили, что «он еще должен заслужить их». Я хорошо помню, что эта последняя фраза понравилась и повторялась, так же как и высказанная одним молодцом уверенность, что «этому мальчишке нельзя доверить и роты солдат».

Узнавши, что я пойду вперед вместе с отцом его, М. Д. просил ему передать о скором своем приезде, — он был назначен начальником штаба к отцу своему, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему передовою казачьею дивизиею.

* * *

Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с ингушами в другой. Первою бригадою командовал полковник Тутолмин, неглупый, добрый человек, большой говорун; второю — полковник Вульферт, Георгиевский кавалер за Ташкент, куда он первый вступил при штурме. Насколько Т. любил говорить речи, настолько В. любил молчать.

Полковыми командирами были: у донцов Денис Орлов, живой и симпатичный, хороший товарищ; у кубанцев Кухаренко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезненным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полурусский,

полушвед, толстый, красный, добродушный и бравый, словом, претипичный воин. Полковой командир ингушей и осетин — русский фигурою и фамилиею, кажется, Панкратьев.

Я помещался обыкновенно в хате со стариком Скобелевым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой мы выезжали утром по выступлении войск. Догнавши отряд, Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и казаками и затем опять садился в таратайку, причем папаха отправлялась под сиденье, а на смену ее вытаскивалась красная конвойная фуражка. Д. И. командовал несколько лет тому назад конвоем его величества и носил конвойную форму. Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать борты пальто и открывать свою нарядную черкеску, обшитую широкими серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала. Я помню, что во время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Скобелев-отец поразил меня своею фигурою: красивый, с большими голубыми глазами, окладистою рыжею бородою, он сидел на маленьком казацком коне, к которому казался приросшим.

* * *

Дорогою мы обыкновенно или рассказывали что-либо друг другу, или Д. И. рассуждал с кучером Мишкою о худо подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у колеса и т. п.; чаще же всего спорил с ним, бранился, угрожал отправить его домой, а с переходом через границу даже и выпороть, так как «законы теперь уже другие», но угрозы эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хорошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев, часто трудно было различить, о ком говорит, кого Д. И. зовет: Мишу сына или Мишу кучера.

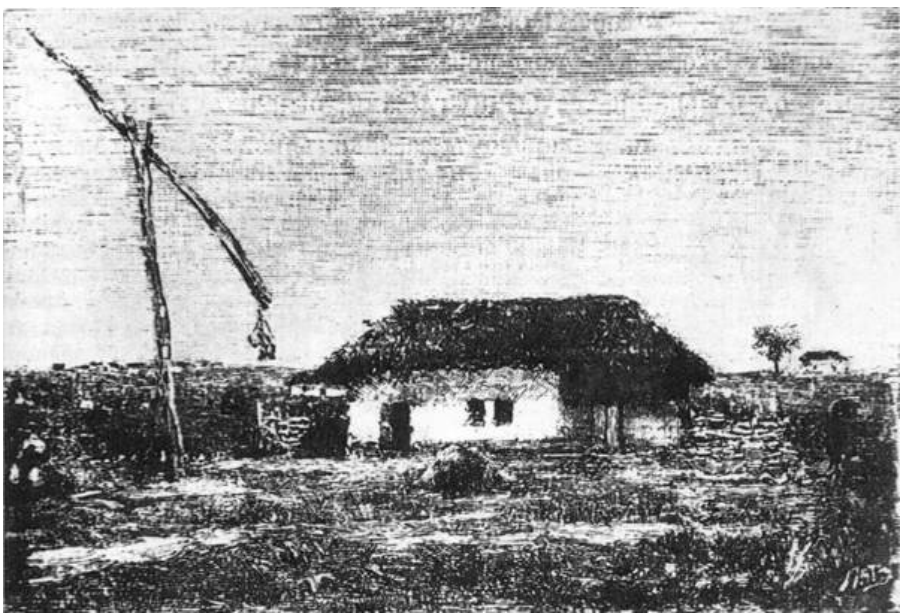
Мы ехали часто довольно далеко впереди войск; на полпути, выбравши хорошее место для роздыха войск, останавливались, добывали пресного или кислого молока, если поблизости было какое жилье или поселение, и затем, с подходом офицеров, завтракали чем-нибудь холодным.

Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего общества: капитане генерального штаба Сахарове, исправлявшем при отряде должность начальника штаба, очень остроумном человеке; штаб-ротмистре Дерфельдене, состоявшем при отряде,

славной русской натуре, несмотря на немецкую фамилию; наконец, штаб-ротмистре гатчинских кирасир Лукашеве, исправлявшем должность адъютанта штаба, если не ошибаюсь.

При отряде была и артиллерия Донского войска, но командир батареи держался более отдельно, между своими офицерами. Командиры полков второй бригады так же, как и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли сзади, на один переход, и являлись к Скобелеву, только когда догоняли нас на дневках.

Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под деревьями или под навесом румынской хаты были очень оживлены и веселы; после отдыха сигнал выступления, и затем снова наша таратайка, а за нею и отряд двигались вперед.



Румынская хата

Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и поболтать со встречным крестьянином или крестьянкою, причем сами немало смеялись нашим усилиям дать себя понять. «Вы не умеете, — говорил мне иногда Д. И., — дайте я объясню». И вправду, иногда добивался ответа. Раз мы свернули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уверившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел купить барашка, *на племя*, как он выражался; отставивши руки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким голоском: бя! бяя! Крестьянин понял, продал

барашка и долго улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе, но он вел себя так дурно и так запакостил нас, что был сдан в обоз.

* * *

С приходом отряда в назначенное по маршруту место, в хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие было такое, что сам Д. И. поставляет провизию и повара, Тутолмин вино, Сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне предложено было заботиться о сладком, т. е. изюме, миндале, орехах и т. д. Скобелев всегда сам приготовлял салат, причем от беспрерывного пробования вся борода его покрывалась салатными листьями.

Для супа он посылал часто повара тихонько утащить молодых виноградных листочков из ближнего виноградника.

Случалось, однако, что обед почему-либо заставлял себя ждать, тогда мы старались убить время всяким вздором и шутками. Сочинялись стихи: «К повару», «К обеду», а затем и вообще приноровленные к обстоятельствам: к походу, к погоде и т. п. Вот, например, стихи, сочиненные на артельном начале; в них грехи четверых: самого генерала Скобелева, полковника Тутолмина, капитана Сахарова и штаб-ротмистра Дерфельдена:

Скобелев — Не стая воронов слетается,
Тутолмин — Чуя солнышка восход,
Сахаров — Генерал в поход сбирается,
Дерфельден — И кричит: Давыд Орлов!

А вот мои вирши неоконченные, потому что Д. И. попросил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде, чем убил мое вдохновение, разумеется, к лучшему:

Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.

Старый Скобелев, с полками.
Со донскими казаками,
В Турцию идет,
В Турцию идет.

Тут же тянутся кубанцы,
Осетины оборванцы;
Бравый все народ,
Бравый все народ.

Артиллерия тащится,
Может в деле пригодиться,
Как знать наперед.
Как знать наперед.

А в тылу у всех драбанты[75],
Писаря и медиканты,
Словом, всякий сброд,
Словом, всякий сброд!

Предположение продолжить, как сказано, не состоялось. После обеда, перед чаем опять разговоры и шутки, а часто и песни, которым не брезговал подпевать басом и сам генерал. Песни очень любил Тутолмин; он так старательно вытягивал нотки, что иногда закрывал глаза от удовольствия, особенно когда пелась одна его любимая, солдатская, с припевом;

Будем жить, не тужить
И царя благодарить!

или

Будем жить, не тужить,
И я буду вас любить!

Спать ложились рано, так как вставать приходилось очень рано.

* * *

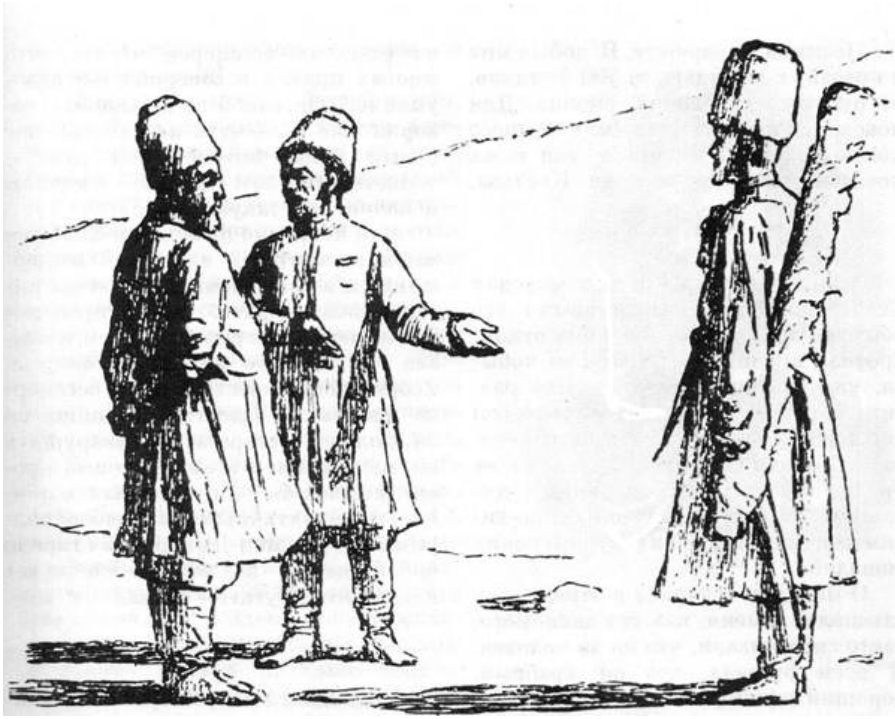
На одной стоянке только что мы легли было спать, как раздались выстрелы и за ними общая тревога. Наскоро одеваясь, спрашиваю у Скобелева, что бы это могло быть? «Турки», — отвечает он. В несколько минут отряд был на ногах. Как назло, казак затерял уздечку моей лошади, и я поспел выехать позже

всех. Темнота была хоть глаз выколи! Проехавши через какие-то канавы и буераки и едва не свалясь с лошади, я добрался до построившегося уже отряда. Раздаются негромкие голоса: «Где артиллерия, артиллерию сюда! Кубанцы вправо!» Слышу, зовет генерал: «Василий Васильевич! Где В. В.?» Я присоединился к штабу.

Послали разъезд, и что же оказалось: какому-то жиду-маркитанту, остановившемуся здесь ночевать и в темноте порядочно струсившему, вздумалось придать себе бодрости несколькими выстрелами из револьвера. Казаки, особенно Орлов, просили позволения хорошенько отодрать плетками этого героя, не давшего всему отряду выспаться, но я заступился и предложил дать ему только по нагайке за каждый выстрел; это было принято, и жид получил только 3 нагайки, но, кажется, здоровые!

* * *

По большим деревням казаки располагались в домах, а в стороне от селений в палатках. Вообще войско держало себя прилично, хотя и не обходилось без жалоб: там казак стянул гуся, там зарезали и съели барана так ловко, что ни шкуры, ни костей нельзя было доискаться; бывали даже жалобы, хотя и редко, на то, что казак «бабу тронул».



Бабу тронул

Шли мы с большими предосторожностями, как бы в неприятельской стране, с разъездами по сторонам, которые назывались «глазами». Хотя некоторые из офицеров и подтрунивали над этими предосторожностями, но так как нельзя было поручиться, что какая-нибудь шальная партия черкесов, переправясь темною ночью через Дунай, не набедокурит, не напугает всю окрестность, то, может быть, предосторожности эти были нелишние. Хоть мы еще были далеко от Дуная, но жители кругом, ввиду постоянных слухов о переправе неприятеля, то там, то сям через Дунай, были в сильнейшей тревоге.

И офицеры, и казаки в отряде вели жизнь скромную; ни кутежей, ни сильной игры не было. Помнится мне только одна пирушка у Кухаренко, командира кубанского полка, что-то такое праздновавшего, не помню, что именно. Орлов явился с полудюжиною доброго донского, последнего, как он уверял; потом, однако, явилась еще полудюжина, уже окончательно последняя, и едва ли не отыскалась еще третья, уже совсем, совсем последняя.

Главным интересом празднества была давно возвещенная жеребятина, которою К. собирался нас угостить. Мне случалось в Туркестане есть лошадь, но жеребенка не едал.

Подали. «Гоооспода! — протянул К., порядочно заикавшийся, — п-о-ожалуйте ж-ж-жеребенка!» На блюде какие-то громадные котлеты, ребра с несколько синеватым мясом. Все попробовали: мне мясо понравилось, но большинству нет, кто ел мало, а кто и совсем оставил тарелку.

Подали второе блюдо. «Го-о-оспода, кто н-не желает ж-жеребятины, в-вот п-о-ожалуйте б-а-аранинки!» Принялись за баранину, послышались голоса С. и других: «Вот это другое дело, это мясо…» Когда все наелись, К. опять затянул: «Не в-в-в-зыщите, гггоспода, о-о-оба блюда ббыли жжжеребятина!..»

* * *

У меня не было ни лошади, ни повозки, и всем этим надобно было завестись. Решено было, что достанет мне это сотник В., командир одной из кубанских сотен, умеющий добывать все, всегда и везде. Генерал познакомил меня с ним. «Это можно», — отвечал тот, и на другой же день я получил рыжего коня, хотя с бельмом на одном глазу, но доброго, хорошо видевшего и одним глазом, а главное, недорогого, за 70 рублей, что по тогдашним ценам на лошадей было немного.

Позже, в Букареште, В. добыл мне и повозку с лошадью, за 400 франков, от русского поселенца, скопца. Для повозки Скобелев дал мне пешего донского казака Ивана, а для моих поездок молодого осетина Каитова.

Вскоре подъехал к нам молодой Скобелев. Перед ним прибыли его лошади. Одна, подаренная ему отцом, кровная английская выводная кобыла, уже довольно старая, была разбита на ноги; другая, белый жеребец персидской породы, была, при некоторых хороших статьях, чуть ли не уродом в общем. Третий конь — хивинский, золотистый туркмен, по-видимому, не из лучших туркменских лошадей.

О молодом генерале в отряде уже слышали, и меня, как его знакомого, часто спрашивали, что он за человек. Я всем отвечал, что он храбрый, хороший офицер.

Отношения отца и сына Скобелевых были дружественные, но мне казалось, что Д. И-чу не совсем приятен был Георгий 3-й степени М. Д-ча, в то время, как у самого у него был только 4-й. При этом отец, отчасти как бывший кавказец, относился иронически к военным заслугам Михаила Дмитриевича в Туркестане, войны которого он назвал *бараньими*. Помню, что раз,

за столом, мне пришлось крепко заступиться за молодого генерала, так что старый даже надулся. Вообще М. Д. своими военными рассказами, так же как планами и предположениями для предстоявшей кампании, несколько нарушил ровный, патриархальный строй нашей походной жизни.

Помнится, молодой Скобелев строил такое множество планов перехода через Дунай и всех войск, и отдельных частей, предприятий для нападения врасплох на турецкие пикеты, батареи и проч. планов и предприятий, которые он постоянно, по секрету, сообщал то тому, то другому из старших офицеров отряда, что многих привел в совершенное недоумение. «Он какой-то шальной, — говорил мне С., — чуть не каждый час новый план; возьмет под руку — „знаете, что я вам скажу“ — и начнет, и начнет, да такую чушь!»

Как искренно любивший Скобелева, я посоветовал ему быть воздержанным и осторожным. Он очень интересовался знать, какое произвел впечатление в отряде, на что я и сказал ему, что его молодость, фигура, Георгиевские кресты и проч. бесспорно произвели известное обаяние, но он должен остерегаться разрушить его надоеданием всем со своими проектами, как бы они ни казались лично ему практичными и удобоисполнимыми. Михаил Дмитриевич горячо поблагодарил за это: «Это совет истинного друга», — сказал он мне.

* * *

Подойдя к Букарешту, мы не вошли в самый город, согласно конвенции; к отряду выехал полковник Бобриков, бывший наш военный агент в Константинополе, вместе с несколькими румынскими офицерами, и обвели нас кругом, предместьями, в одном из которых, к стороне Дуная, мы разместились. В отряде очень недовольны были этим и находили условие не проходить городом унизительным, с чем, пожалуй, можно было и не согласиться.

Лишь только части расположились, как старику Скобелеву дали знать, что главнокомандующий проездом в Букареште и остановился в доме консула Стюарта. Почтенный Д. И. так обрадовался этому, что как сидел на кровати, так и вскинул ноги кверху, совсем вертикально. Он поехал верхом со своим значком из голубого шелка с большим белым крестом, который шел по Румынии впереди отряда.

Я ездил по городу с М. Д. Скобелевым и, признаюсь, немного

совестился его товарищества: встречным барыням, особенно хорошеньким, он показывал язык!

Скобелев скучал бездействием; видно было, что ему не хотели доверить отдельного командования, и он сильно горевал о том, что не остался в Туркестане, где теперь, по слухам, готовилась демонстрация против Англии; мысль о походе в Индию не давала ему покоя. «Дураки мы с вами вышли, что сюда приехали», — говорил он оставившему вместе с ним службу в Туркестане капитану Маслову, тоже крепко порывавшемуся назад. Я советовал М. Д. не торопиться сетованиями. «Будем ждать, В. В., — говорил он, — *я умею ждать и свое возьму*». Маслову я советовал связать свою судьбу с судьбою С., который, как и можно было быть уверенным, действительно сумеет занять свое место. Жаль только, что это случилось поздно, что его молодость так долго служила ему помехою и такому рысаку не было хода — исход кампании был бы другой.

М. Д. Скобелев

Скобелев-отец угостил нас всех обедом в гостинице Гюк, где и я остановился на время нашего роздыха в Букареште. Гостиница порядочная, не дорогая, как говорится, делавшая дела за это время; впрочем, не было, вероятно, человека в Букареште, который так или иначе не пользовался бы от русских; трактирщики же и содержатели гостиниц просто, должно быть, наживали состояния в это бойкое время.

В Букареште я познакомился с полковником Паренцовым, настоящим начальником штаба нашего отряда, должность которого исполнял С. Теперь он состоял при каком-то другом

деле и не намеревался, по-видимому, присоединиться к нам.

* * *

Будучи обязан поставлять для нашей столовой артели сладости, я обегал все лавки в городе, но кроме дрянного изюма и твердого чернослива ничего не мог найти — все было раскуплено. Как ни стыдно это было, а пришлось угощать добрых товарищей по походу этой гадостью.

Кажется после 2-х дней роздыха мы выступили далее, в старом порядке. Один день шли впереди донцы, другой — кубанцы, большею частью с песнями и казацкою музыкою, хотя не всегда гармоничною, но громкою и залихватскою. Так и представляется мне, при воспоминании об этой музыке, офицер, заправлявший ею в Кубанском полку (забыл его имя): статный, красивый, огромного роста, он собственноручно дирижировал ударами в турецкий барабан, и какими ударами! Нельзя было слышать их иначе, как на почтительном расстоянии.

Войска, как и прежде, останавливались, где было место, по хатам, а где нет — в палатках, только бы была поблизости вода. Мы всегда добывали себе домишко, когда крестьянский, когда помещичий. Иногда заходили с Д. И. погулять в расположенные по соседству усадьбы, где, в отсутствии хозяев, охотно все показывали и угощали нас дульчесами, т. е. вареньем с неизменным стаканом воды. Раз остановились в большом помещичьем доме, очень просторном и удобном; но отряду в эту ночь было несладко: сколько ни разыскивали, не нашли подходящего сухого места, и казаки принуждены были поставить палатки на топком грунте; на беду, еще погода была сырая, моросил все время дождик; помнится, здесь обвиняли начальника отряда в том, что он слишком пригоняет место лагеря войск к месту собственной остановки.

Отсюда Д. И. Скобелев был временно вызван по начальству. За время отсутствия отца Скобелев-сын командовал отрядом. Как же и рад он был объехать казаков и сказать им: «Здорово, братцы!» Он уже жаловался мне, когда я сдерживал его новые поползновения проситься назад в Туркестан: «Думаете вы, В. В., мне легко не иметь права поздороваться с людьми после того, что я водил полки в битву и командовал областью…»

Казаки увидели разницу между сыном и отцом; слышно было, как говорили: «Вот бы нам какого командира надо». Старик Скобелев это узнал потом и рассердился. «Он не может быть на

этом месте, потому что я на нем», — говорил он мне. Не знаю почему, старого Скобелева называли все пашóю; С. даже называл его Рыгун-пашою, за то что он часто и громко рыгал.

Казаки певали часто пародию на известную солдатскую песню «Было дело под Полтавой», начинавшуюся стихом «Было дело под Джунисом», сложенную на тот же голос нашими добровольцами в Сербии. Между прочим, стих:

Наш великий император,
Память вечная ему и т. д.…

был пародирован так:

Наш великий М……е,
Чтобы черт его побрал,
Целый день сидел в резерве.
Телеграммы отправлял!

Старый Скобелев часто слышал эту песню и никогда не обращал внимания на нее; молодой, в первый же день своего короткого командования, сказал казакам: «Братцы, прошу вас не петь эту песню; в ней осмеиваются наши братья, храбро дравшиеся за славянское дело!»

Он успел осведомиться о пище людей и некоторых других порядках в отряде, что тотчас же сделалось известным нижним чинам и дало молодому генералу популярность.

* * *

Скоро мы пришли к Фратешти близ станции железной дороги этого же имени, откуда открылся Дунай далекою серебристою, сверкающею на солнце полосою. Так как отряд должен был расположиться вдоль реки и о переходе его еще не было и речи, то я надумал съездить ненадолго в Париж, если разрешат. В пути испортились некоторые из моих художественных принадлежностей; однажды, при падении вещей, помялись краски и полотна: приходилось или поскорее выписать, или съездить самому; я предпочел последнее и, сказавшись Скобелеву, в тот же день уехал на станцию, откуда через Букарешт в Плоэшти, где в это время была главная квартира.

* * *

Ровно через 20 дней я вернулся назад. Главная квартира в это время была очень людна и шумна, так как государь император уже прибыл к армии. Вечером в тот же день я переехал в Журжево, где стоял Скобелев со своею дивизиею, и на следующее утро был разбужен пушечною пальбою; прибежал казак от начальника дивизии звать меня: турки-де бомбардируют Журжево — пожалуйте!

Приезжаю на берег Дуная; день прекрасный, ясный; Рущук как на ладони со своими фортами, белыми минаретами и дальним лагерем. Д. И. Скобелев со штабом сидит под плетнем дома, выходящего на реку. Турки бомбардируют, как оказывается, не город, а купеческие суда, собранные перед городом между берегом и маленьким островком, на которых, по их предположениям, должны были переправиться наши войска; это были прекурьезные барки, конструкции прошлого столетия, и надобно было иметь очень дурное мнение о переправочных средствах русских войск, чтобы предположить себе их плывущими к турецким берегам на этих галерах.

Пока неприятель еще не пристрелялся, несколько гранат упало в крайние городские дома, и какой же там поднялся переполох! Все бросилось с самыми необходимыми вещами в руках на другой конец города. Я пошел на суда и поместился на среднем из них, наблюдать, с одной стороны, кутерьму в домах, с другой — падение снарядов в воду. Вон ударила граната, за нею другая в длинное казенное здание, что-то вроде складочного магазина, служившее теперь жильем полусотне кубанских казаков; по первой гранате, ударившей в стену, они стали собирать вещи, но по второй, пробившей крышу, повысыпали, как тараканы, и, нагнувши головы, придерживая одною рукою кинжал, другою шапку, бегом, бегом, вдоль стен в улицу.

Некоторые гранаты ударяли в песок берега и поднимали целые земляные не то букеты, не то кочки цветной капусты, в середине которых летели вверх воронкою твердые комья и камни, а по сторонам земля; верх букета составляли густые клубы белого порохового дыма.

Гранаты падали совсем около меня; когда турки пристрелялись, лишь немногие снаряды попадали на берег, большинство ложилось или на суда, или в воду, между ними и перед ними. Два раза ударило в барку, на которой я стоял, одним снарядом сбило нос, другим, через борт, все разворотило между палубами, причем взрыв произвел такой шум и грохот, что я затрудняюсь передать его иначе как словом *адский*, хотя в аду еще

не был и как там шумят не знаю. Грохот этот, помню, выгнал на верхнюю палубу двух щенят, исправно принявшихся играть и только при разрывах останавливавшихся, навастривавших уши, и — снова давай возиться.

Интереснее всего было наблюдать падение снарядов в воду, что поднимало настоящие фонтаны, превысокие.

Когда показывался дымок, делалось немного жутко, думалось: «Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Турки выпустили пятьдесят гранат, потом замолчали; результат этой бомбардировки был самый ничтожный.

— Где это вы были, — спрашивают меня, — как же вы не видели такого интересного дарового представления?

— Я его видел лучше, чем вы, потому что был все время на судах.

— Не может быть! — ответили все в голос.

— Пойдемте туда, посмотрим аварии, — говорит Скобелев.

Мы обошли суда, осмотрели поломки, но собачек не нашли уже: спрятались ли, испугавшись, или их сбило в воду?

Порядочно-таки досталось мне за мои наблюдения; некоторые просто не верили, что я был в центре мишени, другие называли это бесполезным браверством, а никому в голову не пришло, что эти-то наблюдения и составляли цель моей поездки на место военных действий; будь со мною ящик с красками, я набросил бы несколько взрывов.

* * *

Отряд держал пикеты по Дунаю на большом пространстве. На левом фланге, в Малороше донские казаки Орлова; в центре, до деревни Мало-Дижос — кубанцы; далее до дер. Петрошан — осетины.

Сначала я съездил к донцам, в Малорош; они выстроили себе образцовую вышку для наблюдений, очень рассердившую турок, которые начали обстреливать казаков, что, в свою очередь, Орлову очень не понравилось, — гранаты попадали в коновязи и так пугали и разгоняли лошадей, что их нескоро разыскивали. Пробовали отвечать из наших, донских пущёнок, но они не доносили, и, чтобы не срамиться, перестали стрелять. За бытность мою в лагере казаки под руководством сапер рубили фашины для закрытия. Я повидал Грекова и других знакомых офицеров.

* * *

Близ самого Журжева возводились батареи. Мы ходили вместе с обоими Скобелевыми смотреть на их постройку, и старик заметил саперному офицеру, что настилку над землянками он делает слишком легкую. Молоденький офицерик щеголевато приложил руку к козырьку и ответил: «Для турок довольно, ваше превосходительство».

Немного далее от города, у первой деревни Слободзеи возводилась еще батарея, кажется, осадных орудий, долженствовавших хватать на 9 верст; тут работал дельный полковник Плющинский.

* * *

Городишко Журжево продолжал жить обычною жизнью, местами еще более обыкновенного деятельною; правда, очень многие повыехали в ожидании бомбардировки, и особенно прибрежные дома были пусты, но далее, в глубь города, на площадях и по улицам, толпилось всегда много народа, торговля шла бойко; гостиницы и трактиры были просто переполнены офицерством, кутившим на все лады — и в одиночку, и толпами, с прекрасным полом и без оного. Разгул доходил до безобразия, до забвения приличий. Помню, зайдя раз вечером с С. и другими офицерами в трактир поужинать, мы застали там пьяную компанию, снявшую с себя сабли, фуражки, а некоторые даже и сюртуки, и одевшую в них гулявших с ними девчонок — это в общей-то зале!

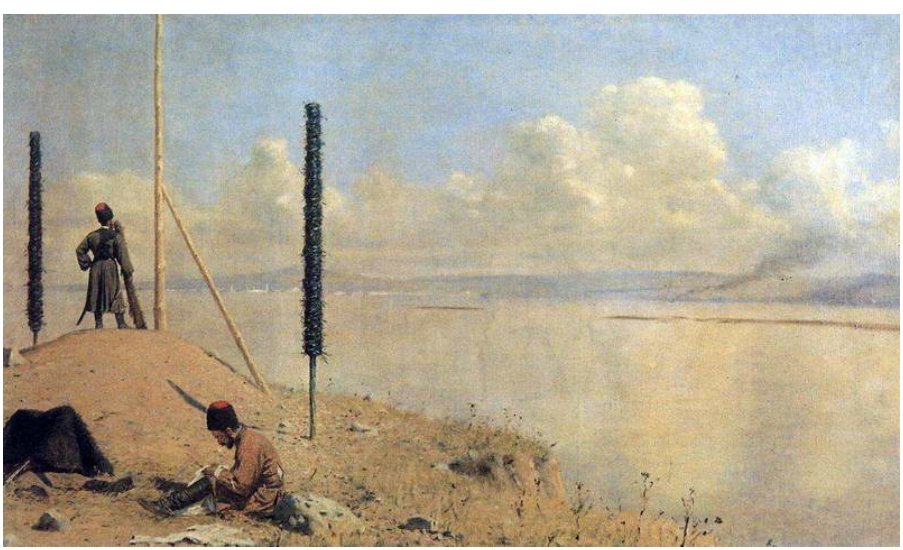
Наша молодежь, помянутый С., Л. и другие часто ходили в какой-то сад слушать арфисток и до того нарассказывали Скобелеву о приятностях времяпрепровождения там, что старик, не желавший компрометировать важность начальника дивизии прямым посещением этого рая, решился заглянуть туда обиняком — видели, как он подлезал и высматривал через забор, и смеялись же потом над ним!

* * *

Еще в Букареште я познакомился у М. Д. Скобелева с известным корреспондентом «Dailu News» Мак-Гаханом, а позже в Журжеве виделся с Форбсом, приезжавшим в штаб отряда, не помню, с каким-то сообщением. Я один говорил по-английски, и, переводя, старался, помню, смягчить убийственно холодный прием и ответы, встреченные им у нас. Сам я, чтобы не навлечь на себя нарекания в потворстве «коварным англичанам», избегал при встречах на улице вступать с ним в разговоры, что, признаться, было очень совестно; видно было, что Форбс чувствовал общую к нему подозрительность и старался заискивать, быть любезным.

* * *

Сам начальник дивизии помещался в небольшом домике на набережной, куда мы собирались ежедневно к обеду. Здесь присоединился к нам кн. Цертелев, бывший секретарь посольства в Константинополе, теперь поступивший урядником в Кубанский полк и состоявший при Д. И. Михаил Скобелев, хотя уже был теперь начальником штаба отряда, редко жил с нами, а больше пребывал в Букареште, куда его привлекали преимущественно женщины, всевозможных национальностей, со всей Европы, собравшиеся на жатву. И что за пиры, что за разгул стоял теперь в этом городе! От прапорщика, в первый раз имевшего при себе 300 рублей, до интенданта, бросавшего десятками тысяч — все развернуло, все распахнуло славянскую натуру, кутило, ело, пило, пило по преимуществу!



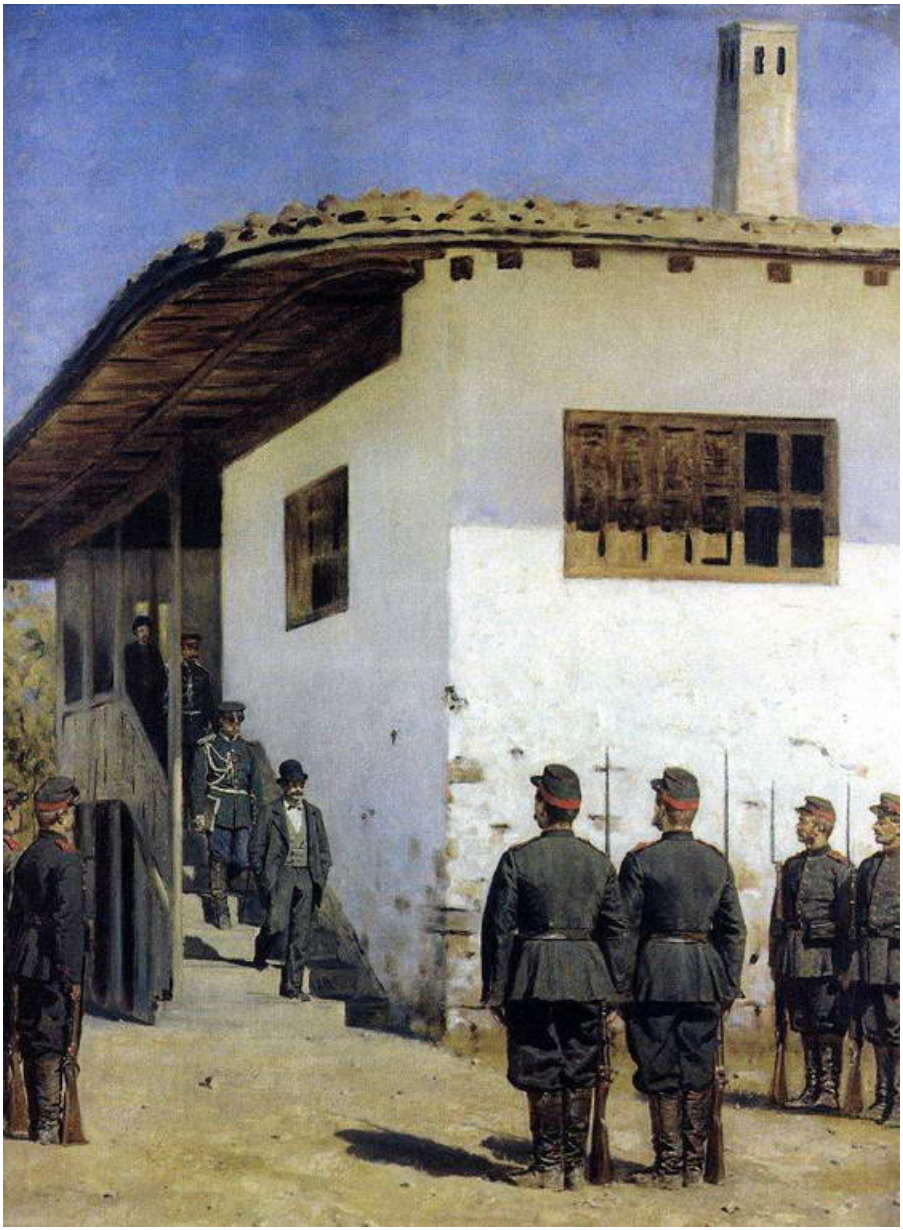
У М. Д. в это время сплошь и рядом не было ни гроша, так что он перехватывал где что можно и в особенности, разумеется, пробовал теребить отца, тугого и неподатливого на деньгу. Один раз, когда молодой послал к старому попросить денег, тот дал ему 4 золотых, что вывело М. Д. из себя. «Ведь я лакеям на водку больше даю», — говорил он с сердцем; по правде сказать, в такое бойкое время ему не хватило бы никаких денег.

* * *

Я часто гулял со старым С. по аллеям бульвара. Раз он мне говорит: «Пойдемте смотреть, как поведут шпиона». Мы сели на лавочку против дома, в который вошли полковник Паренцов и адъютант главнокомандующего; перед крыльцом поставили спереди и с боков по два солдата. Мы сидели, ждали довольно долго, и я было хотел войти посмотреть процедуру обыска и допроса, но С. удержал.

Вот, однако, они вышли на крыльцо: впереди шпион, руки в карманы пиджака, мне, дескать, наплевать, я не виноват; однако как он увидел солдат, то очевидно понял, что дело серьезно, и на несколько секунд приостановился, глубоко вдохнул воздух и… начал спускаться с лестницы.

Это был барон К., австрийский подданный; действительно ли он был шпион — не знаю, но, вероятно, нашли у него что-либо компрометирующее, так как малого отправили в Сибирь, только через 2 месяца воротили.



Шпион

* * *

Еще в главной квартире, перед поездкою в Париж, я встретился с лейтенантом гвардейского экипажа Скрыдловым. Он

отправлялся тогда на рекогносцировку Дуная и звал меня в Мало-Дижос, место расположения Дунайского отряда гвардейского экипажа. Сообщил он мне также, что готовится атаковать на своей миноноске один из турецких мониторов, и звал идти под турку вместе; я принял приглашение на том условии, что он дал честное слово показать мне картину взрыва. Случай был единственный, упускать его не следовало.

Вскоре по возвращении в Журжево я поехал в гости к морякам, жившим в части деревни, наиболее удаленной от берега, так как динамит и пироксилин, которыми они начиняли свои пироги, должны были содержаться в возможной безопасности от турецких выстрелов.

Скрыдлов был вместе со мною в Морском корпусе, на 2 года младше по классу; мы вместе плавали одну кампанию на фрегате «Светлана». Когда я был фельдфебелем в гардемаринской роте, он состоял у меня под командою; и распекал же я, помню, его, беднягу, в особенности за постоянные разговоры и перешептыванья во фронте.

Я поместился с ним и его товарищем Подъяпольским в домике их на краю большой, грязной площади. Обедали мы иногда в общей офицерской столовой, а чаще варили что-нибудь у себя; прислуживал матрос-денщик, добрый детина. Спали мы на крыльце домика, под пологами, так как комары в это время года (конец мая) были презлые.

С первого же дня я посвящен был словом и делом в великий секрет обоих товарищей. Дело в том, что когда гвардейский экипаж уходил из Петербурга, владелец известного английского магазина, бывший их поставщик, предложил отряду в напутствие ящик хересу, который С. взялся доставить на Дунай. Доставить-то он доставил, но кроме П. никому покамест об этом ящике не заикнулся, и приятели потягивали себе хересок, оказавшийся недурным, да угощали своих гостей, до поры до времени, конечно, пока *все* не узнали о проделке и не отняли ящик, значительно, впрочем, облегченный.

На той же площади жил начальник всего минного отряда капитан I ранга Новиков, очень бравый офицер, украшенный ещё в Севастопольскую кампанию маленьким Георгием. Первый раз я видел его на обеде у одного важного в армии лица, который спросил его, за что он получил крест? «Пороховой погреб взорвал», — отвечал Н. таким густым басом, что все просто изумились. Тот же бас, хотя и не столь высокой пробы, раздавался и в занимаемом им домишке. Мы ходили к нему пить чай и с интересом прислушивались и присматривались к его словам и распоряжениям, стараясь по ним угадать, скоро ли начнется

давно ожидаемая закладка мин в Дунай, для защиты переправы, которая должна была начаться немедленно затем.

Новиков был неутомим; храбрый и толковый, он имел только два заметные недостатка: во-первых, всех, без разбора, оглушал своим пушкообразным голосом, во-вторых, мины называл бомбами; и то и другое, впрочем, охотно всеми прощалось ему за его доброту и простоту обращения.

* * *

Несколько раз ездили мы со Скрыдловым по исполнению разных возложенных на него поручений. По Дунаю ездили, разумеется, ночью, ставить вехи для обозначения пути, по которому должны были следовать миноноски при закладке мин. Дунай был сильно разлит еще, и по затопленному низкому берегу не везде миноноски могли проходить, так как некоторые из них сидели довольно глубоко. Надобно было проследить и указать вехами фарватер речонки, впадавшей в Дунай; по ней-то и предполагалось следовать с минами.

Так как приказано было никак не беспокоить турок, не возбуждать их внимания никакими работами и по возможности усыплять их бдительность, то мы выехали, когда уже почти стемнело, и к утру вехи были поставлены, но с расчисткою фарватера речонки, загороженного при устье солидными сваями, долго провозились и так и не кончили в этот раз. Пробивши покамест небольшой проход для шлюпки, мы проехали в самый Дунай отчасти для того, чтобы побравировать, а отчасти для проверки, есть турки на островке при стоявшей там караулке или нет. Тихо, едва опуская весла в воду, пробрались мы мимо густых ивовых деревьев; всякий внезапный шум, всплеск рыбы, крик ночной птицы заставлял нас вздрагивать; мы пристали к островку, погуляли и уверились, что турок на нем нет, хотя они, видно, были там недавно, косили траву. Мы проехали Дунаем, турецкий берег был совсем близко. Течение так сильно, что трудно было продвигаться вперед и скоро, чтобы не мучить людей и не привлечь внимания турок, С. поворотил назад; к утру мы были дома, и мичман Нилов, помощник Скрыдлова, бывший с нами этот раз, поехал еще на следующую ночь и, окончательно развалившись запруду, прочистил путь.

Н. Л. Скрыдлов

Другой раз ездили мы по берегу с секретным поручением ко всем частям войск, содержавших посты на Дунае. Мимо наших кубанцев, владикавказцев, осетин проехали до Зимницы, где держали посты гусары, не помню, какие именно.

В Парапане познакомился я с генералом Драгомировым[76], проезжавшим по занятию приготовлениями к переправе; осведомившись о том, не корреспондент ли я, и получив отрицательный ответ, он начал говорить о ходе дел так свободно, разумно и логично, что удивил нас, т. е. меня, Скрыдлова и Вульферта, у которого мы останавливались. Драгомиров

пользовался и пользуется большою популярностью, и теперь, со смертью Скобелева, если не лучший, то наверное из лучших боевых генералов нашей армии.

Офицеры, в обществе которых мы останавливались и обедали, были чрезвычайно любезны с нами, хорошо кормили и исправно снабжали переменными лошадьми; впрочем, Скрыдлов, может быть, не прочь был бы, чтобы к последней исправности прибавилось немного и выбора: как нарочно, ему доставались такие россинанты, что на последнем переезде от гусар к казакам он всю дорогу должен был бить своего долговязого гнедого коня, а еще неприятнее то, что, несмотря на старание ехать по-английски, т. е. подпрыгивать на стременах, он стер себе до крови тело.

* * *

Я написал этюд Дуная и одного из казацких пикетов на нем, но вообще работал красками немного; ездил в Журжево, ходил к казакам и иногда бродил смотреть работы минеров или ездил со Скрыдловым пробовать машину и ход его миноноски «Шутка». Чтобы опять-таки не обращать на себя внимания турок, надобно было ездить или с заходом солнца, или в дурную погоду и не дымить, не давать искр, для чего брался только лучший уголь, — турки не знали и не должны были знать о существовании у нас целой паровой флотилии.

Один раз довольно поздно мы вышли в очень бурную погоду. Ветер так усилился, что при возвращении, против течения, «Шутка» не могла выгребать. Мутный Дунай страшно разбушевался, причем благодаря сильному дождю в нескольких шагах ничего не было видно, и это навело Скрыдлова на мысль привести в исполнение давно задуманное дело атаки одного из турецких мониторов[77], стоявших перед Рущуком. Мы знали, что один стоит перед фортами, а другой — правее, за островком, и так как по стуку в продолжение нескольких дней можно было догадаться, что около последнего выстроен *кринолин* или какая-нибудь подобная защита, то должно было рассчитывать на возможность подойти только к первому. В такую погоду, конечно, была возможность подойти почти незамеченным, почти вплоть. «Пойдем, хочешь?» — спрашивал С. «Пойдем, я готов…» Вышло, однако, то, что мы не пошли. «Дело не в том, — говорил в конце концов Скрыдлов, — чтобы уничтожить у турок один лишь монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность

переправиться армии; ввиду такой важной цели неблагоразумно, пожалуй, преступно рисковать одною из лучших миноносок, которых у нас мало. Как ты думаешь?» — «И то дело», — отвечал я.

Мы решили пристать к берегу, но так как непогода все застилала перед глазами, то ошиблись, приткнулись не туда, очень далеко от нашей деревни, и только к ночи добрались до дому. Интересно, что на том мысу, к которому мы пристали, стоял пикет из трех казаков — так глубоко спавших, завернувшись в бурки, что мы насилу растолкали их, и будь тут вместо нас партия черкесов, они, как бараны, были бы перерезаны. Я сказал об этом сотенному начальнику, взявши, однако, с него предварительно слово не взыскивать на первый раз.

* * *

Этот сотенный командир, стоявший в Мало-Дижосе, был К. П. В., тот самый всезнающий и вездесущий офицер, которому Скобелев поручил купить мне лошадь и повозку. Я довольно познакомился с этою своеобразною личностью и частенько бывал у него.

Когда я приходил, он прежде всего спрашивал, не хочу ли я борщу? «А ну, так чаю?» — и, уже не дожидаясь ответа на второй вопрос, приказывал *заварить*. Какой у него был чай, с каких плантаций — неизвестно; достаточно того, что он несколько окрашивал воду и что К. П. считал его *хорошим*. Ложечки, однако, не водилось, и хотя хозяин всегда приказывал Щаблыкину (денщику) «подать ложечку, помешать», но тот, зная уже, как понимать это, отправлялся к плетню, вынимал кинжал и вырезал аккуратный прутик. К. П. сам пил всегда вприкуску, экономно, и оставшийся кусочек попадал всегда назад в сахарницу.

Разговор мой, да, вероятно, и всякого другого посетителя с К. П. начинался обыкновенно вопросом его: «Что, не слыхать, скоро ли переправа?» Затем переходил к слухам о мире, неизвестно откуда, до начала военных действий, к нему доходившим, причем каждый раз также не забывал, более или менее конфиденциально, разузнать о том, как лучше, вернее и выгоднее пересылать домой деньги и можно ли посылать золото?

Дом свой Кузьма Петрович, очевидно, очень любил, и чем дольше затягивался поход, тем чаще и настойчивее доходили до него все тем же неведомым путем слухи о близком мире. Он

много рассказывал о своем хуторе близ Ставрополя, о старшем сыне Кузьмиче, его раннем уме и развитии. Рассказывал об охоте на зайцев и лисиц по первому снегу, для чего раздобыл гончую Милку, которую, впрочем, предлагал мне в подарок каждый раз, что я бывал у него.

Рассказывал также В. о делах против горцев, в которых он участвовал на Кубани, причем не рисовался, никаких геройских подвигов не выдумывал, а прямо сознавался, что в таком-то деле он, спасая свою жизнь, утекал, что совсем не считается постыдным у казаков, в силу правила, что коли ты сильнее неприятеля, тогда души, круши его, но если он тебя сильнее, тогда спасайся, и чем быстрее, тем лучше.

К. П. В. оказался и музыкантом; один раз, позванные к нему со Скрыдловым и еще двумя морскими офицерами, мы застали его в меховом бешмете, заправляющим хором песенников, со скрипкою в руках. Хотя и видно было, что рука, управлявшая смычком, брала больше смелостью, чем уменьем, но ведь — на нет и суда нет, говорит пословица. Речь К. П. была всегда ровная, покойная, так же как и его взгляд, куда-то как будто рассеянно направленный. И обращение с казаками тоже больше ровное, без брани, которая приберегалась лишь для самых экстренных случаев.

К. П. просто боготворил свою лошадь, небольшого вороного кабардинца; ездил всегда на другом коне, а этого только кормил и холил до того, что он был совсем круглый, как наливное яблочко; он говорил, что *таких* лошадей не сыщешь теперь и в Кабарде, и уверял, что не отдаст ее ни за какие деньги, что не помешало ему впоследствии продать мне ее за 300 с лишком рублей, хотя больше 100–150 она не стоила. Словом, это — тип выслужившегося из урядников казацкого офицера, не особенно храброго, но и не труса — и та и другая крайность между казаками редкость — без всякого образования, но очень смышленого, сумеющего найтись во всяком положении, раздобыться провиантом и фуражом там, где его, по-видимому, вовсе нет, лихо порубить отступающего врага и не без чести отступить перед наступающим…

* * *

Скрыдлов сообщил мне под секретом, что видел у Новикова бумагу, из главной квартиры, в которой высказывалось неудовольствие главнокомандующего на медленность

приготовлений, которою задерживается наведение понтонов (уже совсем готовых) и переправа всей армии. Значит, на этих днях должны пойти, хотя нет еще угля, нет того и другого… Сообщил также, что он и Х. назначены атаковать неприятельские мониторы, в случае если бы те вздумали мешать работать.

Далее он сообщил, что Новиков не хочет брать с собою никого из посторонних, к составу отряда не принадлежащих, что, следовательно, мне нужно будет переговорить с отцом командиром теперь же.

Модест Петрович сначала казался непреклонным и все советовал мне смотреть с берега — это за три-то версты, — однако сдался-таки наконец, и мы занялись приготовлениями к походу под турку: сварили несколько куриц, взяли бутылку хересу (*все* уже проведали про него и отняли ящик), взяли хлеба и проч., чуть не на неделю; я взял бумагу и мой маленький ящик с красками, которым, однако, суждено было не выглядывать на свет.

* * *

Накануне нашей экспедиции я получил телеграмму через Скобелева: «Художнику Верещагину немедленно следовать со стрелковою бригадою. Скалон».

Сначала я ничего не понял, но потом, съездивши в Журжево, разобрался, в чем дело: давно уже просил я Скалона дать мне возможность видеть переправу и для этого вовремя прицепить меня к самой передовой части; теперь стрелковая бригада выступала к Зимнице, значит, где-нибудь там готовилась переправа… Так как движение бригады по ночам (днем войска не двигались, чтобы не будоражить турок) потребовало бы не менее двух суток, то я рассчитал, что успею побывать с моряками при закладке мин, а потом и догнать генерала Цвецинского с его бригадою.

Я зашел в домишко, в котором были сложены мои вещи, чтобы захватить наиболее нужные, и, перебирая их, почувствовал маленькую неловкость: было немного жутко при мысли, что турки не останутся хладнокровны к тому, как Скрыдлов будет взрывать их, а я смотреть на этот взрыв, и что, по всей вероятности, мины наши нас же самих первыми и поднимут на воздух. Простившись с моею квартиркою, осмотревши лошадей, между которыми был новый беленький иноходец, купленный недавно за 25 золотых, я пошел повидать некоторых офицеров и затем, в ту же ночь,

воротился в Мало-Дижос.

Младший брат мой, поступивший из отставки на службу во Владикавказский полк[78], приехал в этот день ко мне, прямо с дороги; я направил его по начальству, а сам с моею дорожною сумкою пошел к морякам.

* * *

После обеда, во дворе дома, где помещался общий стол, Т., старший офицер морского отряда, заведовавший им, раздавал людям водку и делал это так торжественно и методично, что задержал наше выступление. Уже было почти темно, когда все собрались у берега маленького залива, в котором приютились миноноски, начавшие разводить пары.

Неожиданно приехал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, с жаром что-то стал говорить ему: он высказывал ему желание быть полезным отряду и предлагал взять его на одну из миноносок, но Н. наотрез отказал в этом.

Священник Минского полка, молодой, весьма развитый человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую передо мною: направо последние лучи закатившегося солнца и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу — матросы полукругом, а в середине офицеры, — все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памяти.

Когда кончился молебен, отходящие расцеловались с остающимися, в числе которых был и Подъяпольский, наш приятель и сожитель. Я обнялся со Скобелевым. «Вы идете, этакий счастливец! как я вам завидую», — шепнул он мне.

* * *

Скрыдлов не торопился разводить пары, и я попенял ему за это, так как нам приходилось выступать на веслах. «Будь уверен, — отвечал он, — что мы всех обгоним и выйдем в Дунай первыми; они не знают фарватера и все будут на мели». Так и

случилось. Было так темно, что вех нельзя было различить, и хотя на передней шлюпке шел лоцман, но когда пары у нас поспели и мы стали подвигаться пошибче, то вправо и влево стали различать какие-то неподвижные черные массы; мы их окликали, они нас окликали: все это оказывались миноноски, сидящие на песке; «Шутка» стаскивала многих, но, должно быть, они снова притыкались, потому что движение шло вперед медленно.

Предположено было еще до рассвета войти в русло Дуная и с зарею начать класть мины, вышло же, что уже рассвело, а еще никто даже не выбрался на фарватер. Было утро, когда прошли местом, где мы выворачивали сваи. Случилось, как говорил С., что мы вошли в фарватер Дуная почти первыми, впереди шел только Х., т. е. вторая миноноска, назначенная к атаке, самая легкая и ходкая из всех, — вторая по быстроте была наша «Шутка».

Мы долго стояли на одном месте, чтобы дать время подтянуться остальным, и потом пошли вдоль островка, густые деревья которого скрывали еще нас от турок. Очевидно, что сделать, как предполагалось, т. е. тайком подойти и положить мины к турецкому берегу, было немыслимо; вдобавок, кроме нашей и еще одной, двух, все остальные миноноски страшно дымили и пыхтели, так что одно это должно было выдать отряд.

Только что стали мы выходить из-за первого островка, как из караулки противоположного берега показался дымок, раздался выстрел, за ним другой, и пошло, и пошло, чем дальше — тем больше. Берег был недалеко, и мы ясно видели суетившихся, перебегавших солдат; скоро стало подходить много новых стрелков, особенно черкесов, и нас начали обсыпать пулями, то и дело булькавшими кругом.

Нас обогнал и пошел впереди Новиков; он стоял на корме, облокотясь на железную покрышку миноноски, не обращая никакого внимания на выстрелы, для которых его тучная фигура, облаченная в шинель, представляла хорошую мишень.

Сделалось вскоре очень жарко от массы падавшего свинца: весь берег буквально покрылся стрелками, и выстрелы уже представляли одну непрерывную барабанную дробь.

Грузно, тихо двигались миноноски; уже первые остановились у берега и начали работу, когда последние только еще входили в русло реки. Солнце давно взошло; было светлое, летнее утро, легкий ветерок рябил воду. Мины клались под выстрелами. Отряд, начавши погружать их, сделал большую ошибку тем, что сейчас же прямо не пошел к турецкому, т. е. правому берегу, а начал с этого, левого; вышло то, что первые мины уложили порядочно; даже около середины мичман Нилов бросил свою

мину, но второпях, не совсем ладно, так как она всплыла наверх; далее же никто из офицеров не решился идти, так что половина фарватера осталась незащищенною. После, ночью, Подъяпольский ездил поправлять эти грехи; но все-таки, если турки не пробовали пройти тут — что они могли бы сделать, — то это надобно отнести к тому, что они были напуганы предыдущими взрывами их судов русскими минами.

* * *

Наши две миноски притаились между тем за леском маленького острова, расположенного несколько ниже места работ. Мы слышали какой-то шум в кустах островка, но не обратили на него внимания, как вдруг из-за него показались две лодки и быстро направились к нам; уже мы приготовились встретить их маленькими ручными минами, изготовленными С. нарочно, на случай рукопашной схватки, как оказалось, что это наши казаки, еще ранее нас засевшие на островке для прикрытия работ. Сделано это было Скобелевым, и, по правде сказать, ни к чему не послужило.

Тем временем со стороны Рущука пришел пароход и стал стрелять по нашей флотилии, хотя без вреда для нее. «Николай Ларионович, — говорю Скрыдлову, — что же ты его не атакуешь?» — «А зачем его трогать, коли он близко не подходит, ведь его выстрелы не вредят…» Пароход скоро ушел, вероятно, за подмогою. Видим, летит к нам миноноска Новикова. «Н. Л., почему вы не атаковали монитор?» — «Это не монитор, М. П., а пароход; я думал, вы приказали атаковать в том случае, если он подойдет близко…» — «Я приказал вам атаковать его во всяком случае; извольте атаковать». — «Слушаю-с!» Новиков повернул снова к работам. «Ну, брат, Н. Л., — говорю С., — смотри теперь в оба, если будет какая неудача в закладке мин, ты будешь козлом очищения, из-за тебя, скажут, не удалось». — «Теперь атакую, теперь приказание ясно!»

Скрыдлов велел все приготовить; сам он поместился спереди, у штурвала, для наблюдения за рулевым и носовою миною, меня же просил взять в распоряжение кормовую, плавучую мину; уже раньше он выучил меня, как действовать ею, когда ее бросать, когда командовать: «Рви!»

Чтобы команда была веселее, он приказал всем вымыться. «Ты не мылся, хочешь помыться?» — спрашивает меня. «Я уже вымылся». — «Да у тебя мыла нет, помилуй!» Нечего делать,

помылся еще мылом.

Все мы облачились в пробковые пояса на случай, если бы «Шутка» взлетела на воздух и нам пришлось бы тонуть, что должно было быть первым, самым вероятным последствием взрыва мины. Мы закусили немного курицею и выпили по глотку заветного хереса, после чего приятель мой прилег вздремнуть, и — странное дело — его железные нервы действительно дали ему вздремнуть.

* * *

Я не спал, стоял на корме, облокотясь о железный навес, закрывавший машину, и следил за рекою, по направлению к Рущуку. «Идет», — выговорил тихо один из матросов: и точно, между турецким берегом и высокими деревьями островка, закрывавшего фарватер Дуная, показался дымок, быстро к нам подвигавшийся.

«Николай Ларионович! — кричу, — вставай, идет…» Скрыдлов вскочил. «Отваливай! Живо! Вперед: полный ход!..» Мы полетели благодаря попутному течению очень быстро. Турецкого судна не было еще видно. «Н. Л., — кричу опять, — задержись немного, чтобы нам встретить его ближе сюда, а то мы уткнемся в турецкий берег!» — «Нет уж, брат, — ты слышал — теперь пойду хоть в самый Рущук!» — «Ну, валяй…»

Вот вышел пароход, вблизи, вероятно, по сравнению с «Шуткою», показавшийся мне громадиною; С. тотчас же повернул руль, и мы понеслись на него со скоростью железнодорожного локомотива.

Что за суматоха поднялась не только на судне, но и на берегу! Видимо, все поняли, что эта маленькая скорлупка несет смерть пароходу; по берегу стреляли, и черкесы стали кубарем спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас поближе, и буквально обсыпали миноноску свинцом; весь берег был в сплошном дыму от выстрелов. На палубе парохода люди бегали как угорелые; мы видели, как офицеры бросились к штурвалу, стали поворачивать к берегу, наутек, и в то же время награждали нас такими ударами из орудий, что бедная «Шутка» подпрыгивала на ходу.

«Ну, брат, попался, — думал я себе, — живым не выйдешь». Я снял сапоги и закричал Скрыдлову, чтобы он сделал то же самое. Матросы последовали нашему примеру.

Я оглянулся в это время: другой миноноски не было за нами!

Говорили, что у них что-то случилось в машине…

Так или иначе «Шутка» была одна-одинешенька, отряд остался далеко назади нас. Огонь делался невыносимым, от пуль все дрожало, а от снарядов встряхивало; уже было несколько серьезных пробоин и одна в корме, около того места, где я стоял, почти на линии воды; железная защита наша над машиною была тоже пробита. Матросы попрятались на дно шлюпки, прикрылись всякою дрянью, какая случилась под руками, так что ни одного не было видно; только у одного из минеров часть лица была на виду, и он держал перед ним для защиты буек, причем лежал неподвижно, как истукан. Мы совсем подходили к пароходу. Треск и шум от ударявших в «Шутку» пуль и снарядов все усиливались.

Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло; его ударила пуля, потом другая. Вижу также, что наш офицер-механик, совсем бледный, снял фуражку и начал молиться; однако потом он оправился и, перед ударом вынувши часы, говорил С.: «Н. Л., 8 часов 5 минут!»

Любопытство брало у меня верх, и я наблюдал за турками на пароходе, когда мы подошли вплоть; они все просто оцепенели, кто в какой позе: с поднятыми и растопыренными руками, с головами, наклоненными вниз, к нам…

Матрос

В последнюю минуту рулевой наш струсил, положил право руля, и нас стало относить теченьем от парохода. Скрыдлов вцепился в него: «Лево руля, такой-сякой, убью!» И сам налег на штурвал; «Шутка» повернулась против теченья, медленно подошла к борту парохода и ткнула его шестом… Тишина в это время была полная и у нас, и у неприятеля, все замерло в ожидании взрыва.

«Взорвало?» — спрашивает меня калачиком свернувшийся над приводом минер. «Нет», — отвечаю ему вполголоса.

«Рви, по желанию!» — снова раздается команда Скрыдлова —

и опять нет взрыва!

Между тем нас повернуло течением и запутало сломавшимся передовым шестом в пароходном канате. Турки опомнились; и с парохода, и с берега принялись стрелять пуще прежнего. Скрыдлов приказал обрубить носовой шест, и мы пошли, наконец, прочь; тогда пароход повернулся бортом да так начал валять, что «Шутка», избитая и пробитая, стала наполняться водою; на беду, еще пары упали, и мы двигались только благодаря течению.

В ожидании того, что вот-вот мы сейчас пойдем ко дну, я стоял, поставивши одну ногу на борт; слышу сильный треск подо мною и удар по бедру, да какой удар! точно обухом. Я перевернулся и упал, однако тотчас же встал на ноги.

* * *

Мы шли по течению, очень близко от турецкого берега, откуда стреляли теперь совсем с близкого расстояния. Как только они не перебили нас всех! Бегут за нами следом и стреляют, да еще ругаются, что нам хорошо слышно. Я пробовал отвечать несколькими выстрелами, но оставил, увидевши, что это бесполезно.

Мы прошли уже довольно далеко по реке, мимо целого ряда купеческих судов, стоявших между берегом и островком в правой руке. Слева тянулся все еще тот же остров с большими, развесистыми ивами; русло реки тут очень узкое. Пароход вдогонку за нами не шел; но другая беда: навстречу от крепости бежит на всех парах монитор, очевидно, вызванный пароходом.

— Н. Л.! — кричу Скрыдлову — за выстрелами совсем не слышно было голоса, — Н. Л., видишь монитор?

— Вижу.

— Что ты намерен делать?

— Атакую твоею миною, приготовь ее!

Атаковать нам, почти затонувшим, несомым течением, было трудновато; однако другого-то ничего не оставалось делать. Монитор подходил и уже сделал по нас два выстрела: я обрезал веревку, державшую мину, и велел минеру приготовиться сбросить ее… как вдруг, на наше счастье, на конце левого острова открылся рукав реки, куда мы, собравши последние силенки машины, и свернули.

Здесь и только здесь вздохнулось свободно; большие суда не могли гнаться за нами теперь, и монитор успел только послать еще выстрел вдогонку.

Так как «Шутка» все более и более опускалась, то С. приказал подвести под киль парусину, чтобы несколько задержать течь, и, таким образом, мы могли надеяться благополучно добраться до дому.

* * *

Защищенные островком, мы подвели здесь итоги: «Шутка» была совсем разбита и, очевидно, не годилась для дальнейшей работы; были большие пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии; свинцу, накиданного выстрелами, собрали и выбросили несколько пригоршень. У Скрыдлова две раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть. Поднявшись после удара, я все время стоял по-прежнему, но, чувствуя какую-то неловкость в правой ноге, стал ощупывать больное место: вижу, штаны разорваны в двух местах, палец свободно входит в мясо. «Э, э! да, никак, я ранен? Так и есть; вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде я думал, что это гораздо сложнее!» Пуля или картечь ударила в дно шлюпки, потом рикошетом прошла от кости: тронь тут кость, верная бы смерть.

Из матросов никто не ранен.

Подведенные итоги выяснили прекурьезную вещь: взрыва не последовало оттого, что проводники были перебиты страшным огнем. «Ваше благородие, — доложил Скрыдлову минер, — ведь проводники перебиты». — «Не может быть!» — «Точно так; вот извольте посмотреть…» Как С. обрадовался! Снялась с него ответственность за незнание, неумение, пожалуй, нерадение, в которых не преминули бы его упрекнуть приятели. Когда мы удалялись от парохода, Скрыдлов только о том и жалел, что сломанный шест и недостаток паров не позволяют ему повторить атаку носовою миною; правда, мы шли тогда прямо на монитор и предстояла еще атака кормовою, но это удовольствие, очевидно, было ему менее занимательно. Приятель мой вцепился себе в волосы и вскричал с таким отчаянием в голосе, что жалко его сделалось: «Сколько работы, трудов, приготовлений — все прахом, все пропало даром!» — «Перестань, — кричу ему, — что за отчаяние такое! это неудача, а не неумение…» Зато, узнавши, что при данных условиях взрыва и не могло быть, мой Н. Л. повеселел, гора у него свалилась с плеч.

Остался, однако, один вопрос, которого мы не могли решить: почему вторая миноноска не пошла за нами в атаку? Надобно

думать, что этот случай атаки неприятельского судна *одною* миноноскою был первый и последний.

Впрочем, результат был удовлетворительный: пароход поворотил назад, так же как и монитор; значит, цель атаки была достигнута.

* * *

Кстати, позволю себе здесь сказать несколько слов по поводу волонтеров, о которых один специалист в Кронштадте выразился, что они мешают в деле. Я полагаю, напротив, что если волонтер знает дисциплину и то дело, на которое идет, то, разумеется, сумеет быть не только храбрым, но и хладнокровным, что весьма важно. Когда, напр., нужно было приготовить кормовую мину, минер до того оробел, что только бессвязно поворачивался, чего-то отыскивая, и я вынул свой ножичек, чтобы обрезать веревку; другой минер перед атакою, тоже, видимо, действовал не совсем сознательно, потому что без всякой нужды тронул привод, сообщавший ток мине, еще на огромном расстоянии от неприятеля; наконец, помянутый рулевой со страху положил не туда руля, да вдобавок взмолился перед Скрыдловым: нельзя ли, дескать, пройти мимо. Все эти примеры, мне кажется, доказывают, что матрос или солдат, *вынужденный* идти вперед, не делает это с тем сознанием и разумением, как волонтер, *желающий* идти вперед.

* * *

Покинув наше убежище, С. пошел снова к месту расположения прочих миноносок, чтобы отдать отчет Новикову. Все офицеры стояли на берегу и, видимо, не знали, что у нас творилось (мы были закрыты от них во все время атаки островом).

«Взорвали?» — кричат навстречу. «Нет, — отвечает Скрыдлов, — огонь был слишком силен, перебило проводки. Я и В. В. ранены!» Общее молчание, в котором слышалось неодобрение, только бравый Новиков сделал С. ручкою, поблагодарил за неравный бой.

Отряд отдыхал, завтракал и собирался идти дальше. Нас потащили на румынский берег; из весел сделали носилки и

положили на них Скрыдлова, а я пошел пешком; сгоряча я не чувствовал ни боли, ни усталости, но, пройдя с версту, почти повис на плечах поддерживавших меня матросов.

На берегу встретились Скобелев и Струков, издали наблюдавшие за установкою мин: первый, с которым мы расцеловались, только и повторял: «Какие молодцы, какие молодцы!» Этому бравому из бравых, видимо, было завидно, что не он ранен. Нас втащили в деревню Парапан и поместили в большом помещичьем доме, том самом, где жил Вульферт и где я познакомился с Драгомировым.

Скоро прискакала из Журжева конная батарея и уже было снялась с передков против места, где отдыхали моряки, но Струков вовремя предупредил флотилию, и она успела удрать вверх по реке, для закладки нового ряда мин. Батарея била по кое-каким лодкам и вещам, неосторожно брошенным миноносками, а также вздумала бомбардировать дом, в котором мы помещались. По этому случаю я совершенно нечаянно насмешил всех бывших около нас офицеров: чтобы не быть расстрелянным, нам предложили перейти в один из крестьянских домов подалее в деревне; Скрыдлов согласился, но я уперся, объяснивши, как мне и теперь кажется, не без резона, что в крестьянском домишке будут, наверное, блохи, а тут их нет.

И. С. Тургенев

(1879–1883)[79]

Я не был близок с Тургеневым, но виделся с ним в последние годы его жизни и об них пишу теперь несколько слов.

Наше незнакомое знакомство относится ко времени пребывания моего в младшем классе Морского корпуса (1855 г.), куда он привез своего племянника, тоже Тургенева. Тогда я не читал еще ничего из его сочинений, но помню, что и мы, кадетики, и офицеры наши с любопытством смотрели на Ивана Сергеевича; а посмотреть было на что! Он казался великаном, особенно в сравнении с нами, мелюзгой, — как теперь вижу его, прогуливающегося между нашими кроватями, с заложенными назад руками.

Племянник его был карапуз, с физиономией барбосика, с первых же дней прозванный *отчаянным*; он скоро убежал из корпуса, и Иван Сергеевич снова привез его, уже связанного. Я забыл спросить об этом племяннике, — если он не был тот самый Мишка, о котором Тургенев впоследствии писал и рассказывал, то очень походил на него.

* * *

Прошло много лет; я прочитал и перечитал сначала «Записки охотника», а затем и все его повести и романы. Случилось так, что критику Антоновича на «*Отцов и детей*»[80] я прочел раньше самого романа, и хорошо помню, что она показалась мне пристрастною; когда же прочитал роман, то был поражен односторонностью и узкостью суждений рецензента. Впечатление, произведенное на меня этим романом, было громадно. С тех пор я перечитал его не один раз и постоянно открывал новые красоты, новое мастерство, каждый раз удивлялся беспристрастию автора, его умению скрывать свои симпатии и антипатии. Не только главные лица, но и второстепенные, означенные всего несколькими штрихами, живые люди, намеченные гениальным художником.

«Новь» мне очень не понравилась[81]; еще в первой части многое натурально и типы верны; но вторая часть, очевидно,

писалась не по наблюдениям, а по каким-нибудь, из третьих рук добытым, сведениям и догадкам. Признаться, я просто бранился, читая эту вторую часть. Не то, чтобы сюжет шокировал — нимало; я полагаю, что все в руках большого таланта может быть предметом художественного изображения; необходимо только, чтобы этот большой талант знал предмет, о котором пишет.

* * *

Для лучшего объяснения моей мысли возьму в пример известного французского романиста Золя. Некоторые из романов его, как, напр., «Assomoir[82]», дышат правдою и верностью типов, другие, как «Nana»[83], слабее. Автора укоряют за сальности, описанные в последнем, но я далек от того, чтобы делать ему этот упрек, так как полагаю, что известную среду нельзя описывать, не вдаваясь в известные объяснения и не рисуя известные картины, а между тем, для истории развития человечества, все стороны современного быта должны быть прослежены и описаны. Мой упрек Золя состоит в том, что в «Нана» он сплошь и рядом не знал той среды, которую описывал; поэтому, схвативши только наружные, наиболее выдающиеся черты и шероховатости, не мог проследить и передать внутреннюю связь явлений; нагромоздил уродливости одну на другую, удивил, но не убедил читателя.

Если от этого рассуждения a priori[84] перейти к ознакомлению со средствами и материалами Золя, то окажется, что он и не мог знать так называемого полусвета; ведя очень уединенную жизнь, он только раз заглянул в будуар шикарной кокотки, во время ее отсутствия, для описания спальни «Нана» и проч.

Иван Сергеевич рассказывал мне, что, будучи раз позван вместе с автором «Нана» в общество, где последний должен был читать, он заметил, что приятель, по мере того как дом наполнялся гостями, все более трусил, бледнел и даже дрожал. «Что с тобою, любезный друг?» — спросил он его. «Признаюсь тебе, — отвечал ему Золя, — что мне еще не случалось бывать в обществе дам, которым я не мог бы ……» Мыслимо ли, спрашивается, с таким знанием света описывать как интимную жизнь аристократии, так и приемы, рауты и проч.?

Возвращаюсь к «Нови», чтобы сказать, что вот подобное же незнание описываемой среды, только в другой сфере действия, поразило меня во второй части этого романа; ничего нет с натуры, по наблюдению, все *от себя* как говорят художники.

* * *

Кажется, в 1876 году мне случилось остановиться в Париже, в маленькой гостинице одного русского, В. Знал ли он И. С. или хотел тогда при удобном случае с ним познакомиться, только раз он спрашивает, знаком ли я с Тургеневым? «По имени, — ответил я, — хотя давно уже знаю и высоко уважаю все его работы». Через несколько дней В. показывает письмо: «Узнаете почерк?» — «Нет, не узнаю». — «Это письмо Тургенева, он пишет, что будет рад познакомиться с вами, пойдемте к нему, когда хотите». Я ответил, что не пойду вовсе, потому что не люблю напрашиваться на знакомства к известным лицам, и просил никогда более ни к кому не адресоваться моим именем.

* * *

После турецкой войны художник Боголюбов[85] сказал мне как-то: «Есть один человек, очень, очень желающий с вами познакомиться». — «Кто такой?» — «И. С. Тургенев». Я был душевно рад этому и просил приехать в какое угодно время. Когда этот дорогой гость приехал в Maison Loffitte[86], мне, признаюсь, просто хотелось броситься к нему на шею и высказать, как я глубоко ценю его и уважаю. Однако вышло иначе, пришлось представить бывшего у меня в то время приятеля, генерала С., и мы обменялись только обычными банальными любезностями. Тургенев с большим интересом рассматривал мои работы. Тогда были уже начаты две, три картины из турецкой войны; из них особенно понравилась ему перевозка раненых: каждого из написанных солдатиков он называл по именам: «Вот, это Никифор из Тамбова, а это Сидор из-под Нижнего» и т. п.

После этого И. С. был у меня еще два раза, и однажды привез и представил своего приятеля Онегина[87], который потом, за время последней болезни, чаще всех нас навещал его.

* * *

Я был у Тургенева тоже несколько раз. В первый приход

застал его больным подагрою. Кажется, и тогда уже припадки болезни были очень сильные, потому что после них он казался сильно изнуренным и дряхлым.

Тургенев принимал посещавших его с замечательною любезностью и предупредительностью; даже и больной, всегда с участием расспрашивал о работах настоящих и будущих; о себе говорил скромно, откровенно, своим тоненьким голосом, сопровождая слова доброю улыбкою.

Мне показалось и, думаю, не ошибочно, что после оваций, которыми И. С. встречали и провожали в Москве и Петербурге, он стал немного важнее. В письмах его *многоуважаемый* заменился *любезным*, но он все-таки всегда был приветлив, всегда готов был помочь, чем только был в состоянии. Когда я выставлял в Париже мои работы, он сначала старался помочь отыскать место для выставки, а потом написал в «*XIX Siècle*» несколько строк, которыми представил меня парижской публике.

Впрочем, не только словом, но и материальными средствами помогал он решительно всем, кто к нему обращался; помогал деньгами многим из молодежи, вынужденной покинуть Россию и проживать в Париже, как выражался один из этих молодых людей, на *нигилячем положении*. (Я обратил внимание И. С. на это характерное выражение, и он много смеялся ему.)

* * *

Что Тургенев собирался писать и уже начал большой труд, это я узнал сначала от приятеля его, известного немецкого критика Питча[88], а потом также и от него самого; теперь, уже после его смерти, я слышал, что задумывался роман с отзывом на движение мысли русской молодежи последнего времени: русская образованная девушка, в Париже, встречается и сходится с молодым французом, радикалом, но впоследствии покидает его для оставившего свое отечество представителя русского радикализма, воззрения и убеждения которого на одни и те же вопросы резко разнятся от французских…

Судя по последним работам, включая сюда и «Клару Милич»[89]. надобно думать, что вряд ли талант автора «Отцов и детей» поднялся бы до прежней высоты. Конечно, встречается и в последних вещах много прекрасных мыслей, мастерских набросков, но, в общем, все-таки создания не имеют ни прежней тихой, ласкающей прелести, ни прежней свежести, нерва жизни.

Впечатление небольших его вещей, например,

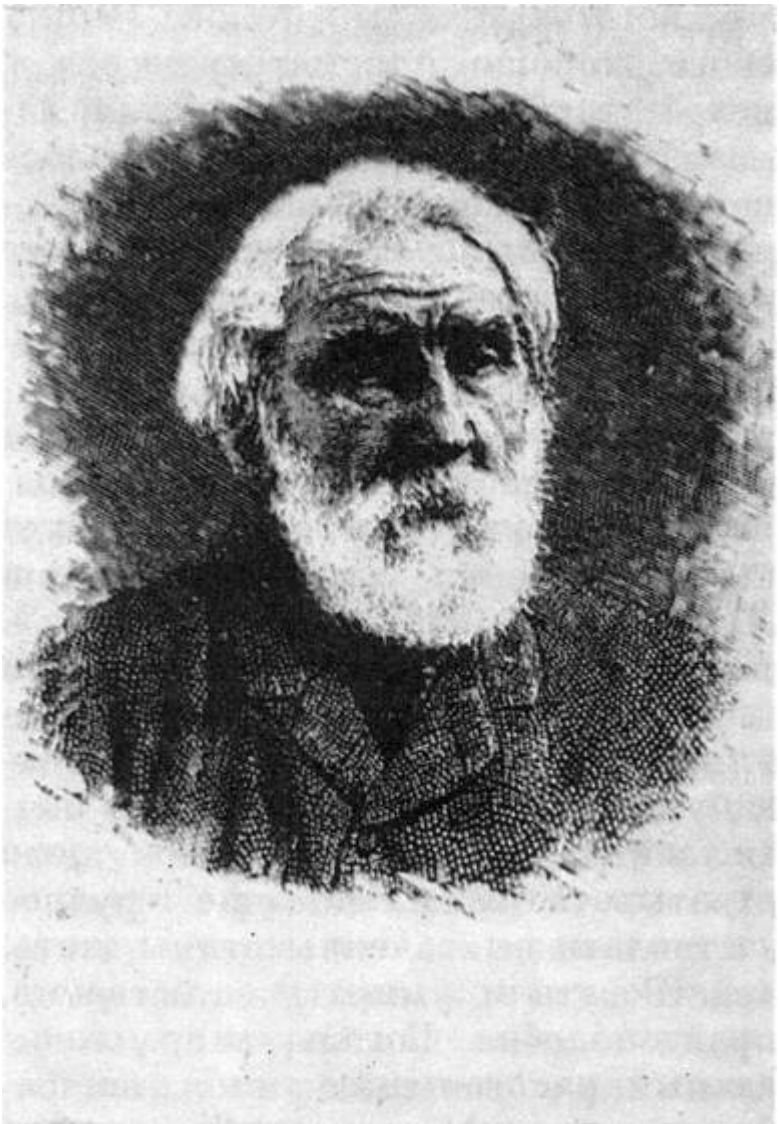
«Стихотворений в прозе»[90] по большей части удручающее; так и слышится везде фраза, сказанная им мне однажды на вопрос, каково состояние его духа: «Начинаю чувствовать глухой страх смерти!»

Даже такие воспоминания, как рассказ «Мишка», далеки, по силе образности и типичности, от «Записок охотника». Этот же самый рассказ я слышал из уст И. С., и он произвел на меня несравненно большее впечатление, чем в чтении.

Я знал, что Тургенев хорошо рассказывает, но в последнее время он был всегда утомлен и начинал говорить как-то вяло, неохотно, только понемногу входя в роль, оживляясь. В данном случае, когда он дошел до того места, где Мишка ведет плясовую целой компании нищих, И. С. живо встал с кресла, развел руками и начал выплясывать трепака, да ведь как выплясывать! выделывая колена и припевая: *тра-та-та-та-та-та! три-та-та!* Точно 40 лет с плеч долой; как он изгибался, как поводил плечами! Седые локоны его спустились на лицо, красное, лоснящееся, веселое. Я просто любовался им и не утерпел, захлопал в ладоши, закричал: «Браво, браво, браво!» И он, по-видимому, не утомился после этого, по крайней мере, пока я сидел у него, продолжал оживленно разговаривать; между тем это было очень незадолго до того, как болезнь «схватила его в свои лапы», как он выражался. Зная теперь, что уже и в то время два позвонка у него были подточены раком, я просто с удивлением вспоминаю об этом случае.

* * *

Весною 82-го года я был очень болен и слышал, что Тургенев заболел весьма серьезно. Как только я встал к лету на ноги, поехал к нему в rue de Douai. Еще с лестницы, помню, кричу ему: «Это что такое! Как это можно, на что похоже так долго хворать!» Вхожу и вижу ту же ласковую улыбку, слышу тот же тоненький голос: «Что же прикажете делать, держит болезнь, не выпускает». И. С. был положительно не изменившись, с того дня, что я видел его танцующим, и это ввело меня в заблуждение; я был твердо уверен, что он выздоровеет, и говорил это тем, кто меня расспрашивал.



И. С. Тургенев

Тургенев был очень оживлен и, несмотря на то, что жаловался на постоянные и очень сильные невралгические боли в груди и спине, просил посидеть, не уходить, бойко рассказывал, приподнявшись на постели, много смеялся. Помню, что речь зашла, между прочим, о литературе, его работах. И. С., высказывая, между прочим, высокое уважение к таланту Л. Толстого, выразился так: «Чего у Т. недостает, так это поэзии, она совершенно отсутствует во всех его произведениях». Я не мог не сказать, что с этим не согласен, и для примера привел высокопоэтические создания: «Казаки», «Поликушка» и др.

Тургенев, кажется, остался при своем, хотя не спорил.

* * *

Как мне случилось тогда в этом разговоре говорить Тургеневу, так и теперь я продолжаю думать, что он был несправедлив, отводя себе слишком скромное место в среде русских писателей. Белинский, правда, не ценил его высоко, но это можно объяснить, во-первых, тем, что в то время И. С. не успел еще вполне развить и показать свой талант, а во-вторых, и тем, что он был слишком научно образован для российского таланта, и в голове Белинского, хорошо присмотревшегося к недостаткам шлифовки родных алмазов, плохо, вероятно, уживалось понятие первоклассного литературного дарования и осмысленного серьезного гегельянца в одном лице. Образованием своим Тургенев положительно выше всех писателей-художников. Силою таланта, может быть, уступает некоторым, но полнотою, высотою творчества следует непосредственно за Пушкиным и Л. Толстым. Фабула рассказа, т. е. то, что многие считают пустяками и что, по мнению моему, составляет труднейшую часть творчества, дающуюся немногим, у Тургенева почти всегда хороша. Трудное дело схватывать типы, но еще труднее заставлять выхваченные типы жить, действовать и умирать естественно, правдоподобно. Гоголь, напр., гениальный рисовальщик типов, но фабулист плохой; насколько поразительна у него большая часть личностей отдельно взятых, настолько слаб весь ход действия. Только дети или недоумки могут серьезно относиться к рассказу о покупке мертвых душ для переселения их в Херсонскую или иную губернию, к подвигам ревизора и др. Затем, нельзя еще не заметить, что талант хоть бы того же Гоголя односторонен: рядом с поразительным, по силе и верности, отрицательным типом, никуда не годный, фальшивый сверху донизу, с начала до конца тип положительный.

Не то у Тургенева; чтобы быть справедливым, надобно сказать, что, как ни глубоки типы в «Записках охотника», все-таки они ниже изумительных гоголевских, зато они живут и действуют разумно, никакая неведомая сила не заставляет их совершать поступки и водевильные каверзы, противные здравому смыслу. Затем, как уже сказано, удаются Тургеневу не те или другие излюбленные им типы, а все, и пошлые, и порядочные, и умные, и глупые, и отцы, и дети — все одинаково правдивы и рельефны.

Повторяю, такое полное, высокое творчество, как мне

кажется, встретишь не у многих: кроме Пушкина и Льва Толстого, разве еще у Лермонтова в прозе (в стихах образы туманны и ходульны).

* * *

Возвращаюсь к болезни Тургенева. За помянутое последнее мое посещение он горько жаловался на то, что не может ехать в Россию. «Зачем же вам так сейчас ехать в Россию, сначала поправляйтесь хорошенько здесь!» — «Да, но я мог бы там продолжать работу, я кое-что начал, что надобно бы писать там», — и он многозначительно кивнул головою.

Осень и зиму Тургенев продолжал хворать; так как мне не случалось встречаться ни с одним из докторов, его лечивших, то я полагал, что болезнь его несмертельна.

Зайдя раз в rie de Donai, я написал и послал наверх несколько слов, в которых осведомлялся о здоровье, но слуга принес мою записочку назад! «Г-н Тургенев лежит, читать не в состоянии, да и шторы у него спущены, он просит сказать ваше имя», — я понял, что дело неладно, и ушел, чтобы не беспокоить.

По приезде из Индии опять завернул — очень худо, никого не пускают. Возвратясь из Москвы, встретился с помянутым уже Онегиным, который сказал мне, что не только месяцы, но и дни И. С. сочтены. Я поехал в Буживаль, где он тогда был; дорогою образ его еще рисовался мне таким, как и прежде, но когда, думая начать разговор по-старому, шуткою, я вошел — язык прилип к гортани: на кушетке, свернувшись калачиком, лежал Тургенев, как будто не тот, которого я знал, — величественный, с красивою головою, — а какой-то небольшой, тощий, желтый, как воск, с глазами ввалившимися, взглядом мутным, безжизненным.

Казалось, он заметил произведенное им впечатление и сейчас же стал говорить о том, что умирает, надежд нет и проч. «Мы с вами были разных характеров, — прибавил он, — я всегда был слаб, вы энергичны, решительны…» Слезы подступили у меня к глазам, я попробовал возражать, но И. С. нервно перебил: «Ах, боже мой, да не утешайте меня, Василий Васильевич, ведь я не ребенок, хорошо понимаю мое положение, болезнь моя неизлечима; я страдаю так, что по сто раз на день призываю смерть. Я не боюсь расстаться с жизнью, мне ничего не жалко, один-два приятеля, которых не то что любишь, а к которым просто привык…»

Я поддался немного его тону и сказал, что он похудел —

слышу, Онегин, тут же бывший, торопится поправить: «Еще бы не похудеть за столько времени». Я понимаю, что надобно быть осторожным, и настаиваю на том, что если нет прямо смертельной болезни, то смерть совсем не неизбежна, годы еще не те, чтобы умирать. «Ведь вам всего шестьдесят пять лет?» — «Шестьдесят четыре», — поправляет он и снова было протестует, но, однако, после принимает слова утешения спокойнее, видно, в душе они не неприятны ему и сам он еще имеет надежду.

Он расспрашивал о моих работах, о том, где я был, куда намерен ехать. Я сказал, что еду на воды и приеду к нему через месяц. «Даю вам месяц сроку; если в этот срок не поправитесь — берегитесь, со мною будете иметь дело!» И. С. улыбнулся этой угрозе: «Придете через месяц, через три, через шесть, застанете меня все в том же положении».

Я позволил себе предостеречь его от частых приемов морфия и, если уже наркотические средства необходимы, то чередовать его с хлоралом. «И рад бы, да что делать, коли боли мучают, — отвечал И. С., — готов что бы ни было принять, только бы успокоиться…»

В этот день Тургенев был одет, так как пробовал выезжать, но езда по мостовой утомила его; он скоро воротился и теперь готовился лечь в постель. Это был последний раз, что он выехал.

Мы вышли вместе с Онегиным, сказавшим, между прочим, дорогою: «Он не знает, что не проживет так долго, как говорит, у него разложение всех сосудов; мне говорил это Белоголовый»[91].

Через месяц приблизительно снова прихожу. Иван Сергеевич в постели, еще более пожелтел и осунулся — как говорится, краше в гроб кладут — сомнения нет, умирает. А я читал в русских газетах, что Тургеневу лучше, что он выезжает, и с этою мыслью шел к нему. Он познакомил меня с сидевшим около его постели Топоровым[92], его давним приятелем. «Вам, — говорю я, — слышал, лучше? Вы выезжаете?» — «Ой, ой, ой! — застонал больной, — какое же лучше, до выезда ли мне, прикован к постели! Кто это вам сказал?» — «В газетах читал». — «Да можно ли верить тому, что пишут в газетах? Посмотрите, на что я похож…»

«Я ведь знаю, — стал он говорить, когда мы остались одни, — что мне не пережить нового года…» — «Почему же вы это знаете?» — «Так, по всему уж вижу и сам чувствую, да и из слов докторов это заключаю; дают понять, что не мешало бы устроить дела…» Мне показалось странным, что доктора, которые, сколько я знал, как и все окружающие, не переставали подавать ему надежду, могли сказать это, и, как я после узнал, он сказал это только для того, чтобы выпытать мое мнение. Признаюсь, я почти

готов был ответить ему: «Что же делать, все мы там будем», — но, видя, что его потухший взгляд пытливо уперся в меня в ожидании ответа, я удержался. «Что же, — говорю, — доктора, и доктора ошибаются». И привел пример графа Шамбора, которому доктора пророчили верную смерть, но который начал в это время поправляться — пример, оказавшийся очень неудачным, так как граф Шамбор вскоре после того действительно умер. Тургенев, впрочем, внимательно слушал; видно было, что он сам далеко еще не терял надежды и желал бы, чтобы и другие не теряли. Он стал жаловаться на то, что не успел сделать всего, что следовало… «Вы-то не успели!..» — «Не то! Вы меня не понимаете, я говорю о своих делах, которые не успел устроить». — «Да ведь это легко сделать теперь, сейчас». — «Нет, нельзя: именье мое, — продолжал он тихим голосом, — не продано; все собирался, собирался его продать, но я всегда был нерешителен, все откладывал». — «Разумеется, вам жалко было расстаться?» — «Да, жалко было расстаться, а теперь вот если я умру, именье-то достанется бог знает кому…» — и он печально покачал головою.

Мне казалось, что тут была забота о дочери[93], с которою я раз как-то встретился у него; она весьма милая дама, небольшого роста, брюнетка, очень на него похожая, замужем за французом, и дела ее в последнее время были не в блестящем положении.

Иван Сергеевич как-то особенно внимательно расспрашивал меня обо всем: о моем семействе, жене, покойных родителях, братьях.

В начале нашего разговора он просил прислуживавшую ему г-жу Арнольд[94] впрыснуть морфия, что она сделала и спросила его, не хочет ли он завтракать. «А что есть?» — «Лососина (!)» Казалось, он что-то соображал, поднявши руку к голове, долго обдумывал. «Ну, дайте хоть лососины и еще яйцо всмятку». Видно было, что у него был еще небольшой аппетит. «Как ваш желудок?» — «Ничего не варит, вот я поем, и сейчас же меня вырвет».

Я заговорил о морфии, опять просил не впрыскивать себе много. «Все равно, — отвечал он, — моя болезнь неизлечима, я это знаю». Он сказал, как доктора называют его болезнь: «Возьмите медицинский словарь, посмотрите, там прямо сказано: *неизлечимая*, incurable».

— Приду к вам через неделю, — говорю ему.

— Приходите, приходите; да смотрите, если придете через две, то меня уж будут выносить ногами вперед!

— Не берите же, смотрите, много морфия, — говорил я ему, уходя и грозя пальцем; он с улыбкою наклонил голову в знак согласия и проводил меня грустным взглядом, оставшимся у меня

в памяти. Вышло так, как он сказал; почти ровно через две недели его не стало. А как ему хотелось жить и жить!

* * *

Впечатление последнего посещения было так грустно, что я приехал через 4 дня; это было после полудня, и И. С., которому только что впрыснули морфия, спал; я посидел рядом в кабинете, скромно, уютно, по холостому убранному: обычный письменный стол, турецкий диван, по стенам много этюдов, преимущественно русских художников, и не знаю кем написанный, не особенно удачно, его портрет.

Я побеседовал с г-жою Арнольд, давно уже ухаживавшей за больным; она говорила, что, положа руку на сердце, все еще надеется на выздоровление, что доктора различно определяют болезнь, а что ее лично более всего беспокоит подагра, совершенно покинувшая ноги и, следовательно, поднявшаяся выше. О последнем я слышал от самого больного, еще в начале болезни; он прямо говорил, что подагра дает себя чувствовать около сердца; за последний же раз, говоря об упадке сил, сказал: «Если бы вы только видели мои ноги, на что они похожи: посмотрите их, одни кости!» Я не решился взглянуть; мне так и представился покойный отец мой, у которого ноги совершенно высохли перед смертью.

Г-жа Арнольд объяснила, что никто никогда не советовал Тургеневу устроить свои дела, что это была чисто его хитрость, чтобы врасплох выведать мое мнение о его положении, так как он подозревал, что все постоянно окружавшие его сговорились его успокаивать и обманывать. Она сообщила также, что И. С. приходили навещать многие из парижских знаменитостей; между прочим, Эмиль Ожье[95] — c'est in auteur dramaitqie tres connu[96], прибавила она для меня — приезжал недавно читать новую пьесу.

Кстати здесь сказать, что мне редко доводилось слышать отзывы Тургенева о прошлых и современных знаменитостях. Об А. С. Пушкине он раз говорил с видимым благоговением, каким-то особенно серьезным тоном; выражение лица его было в это время очень похоже на портрет, приложенный к полному собранию сочинений, — он передернул бровями и многозначительно поднял указательный палец. Помню, между прочим, его рассказ о промахе В. Гюго, хорошо рисующем малую начитанность поэта. «Мы заговорили о Гете, — рассказывал Иван Сергеевич, — Гюго возражал мне и нападал на Гете за

Валленштейна. „Maitre, — говорю ему, — да ведь Валленштейн[97] не Гете, а Шиллера…“ — „Ну да, ну да, это все равно“, — отвечал тот и, чтобы замять ошибку, ударился в какие-то метафоры…»

Барыня рассказала еще, что Тургенев очень волновался по поводу письма, посланного им Л. Толстому, в котором он писал, что на смертном одре просит графа не бросать работ, служить ими России и т. д. «Я, — говорит, — была за столом, когда он вызвал меня; подает мне лист бумаги, исписанный карандашом, и говорит; „Пожалуйста, пошлите это поскорее, это очень, очень нужно…“»

* * *

Я заболел сильною простудою груди и переехал в больницу, так что не ранее как через 8–10 дней удалось съездить в Буживаль.

«Г. Тургенев очень плох, — говорит мне, при входе, дворник, — доктор сейчас вышел и сказал, что он не переживет сегодняшнего дня». — «Может ли быть!» Я бросился к домику. Кругом никого, поднялся наверх, и там никого. В кабинете семья Виардо, сидит в кружке, также русский, кн. Мещерский[98], посещавший иногда Тургенева и теперь уже три дня бывший при нем вместе со всеми Виардо. Они окружили меня, стали рассказывать, что больной совсем плох, кончается. «Подите к нему». — «Нет, не буду его беспокоить». — «Да вы не можете его беспокоить, он в агонии». Я вошел — Иван Сергеевич лежал на спине, руки вытянуты вдоль туловища, глаза чуть-чуть смотрят, рот страшно открыт, и голова, сильно закинутая назад, немного в левую сторону, с каждым вдыханием вскидывается кверху; видно, что больного душит, что ему не хватает воздуха, признаюсь, я не вытерпел, заплакал.

Агония началась уже несколько часов тому назад, и конец был, видимо, близок.

Окружавшие умирающего пошли завтракать, я остался у постели с г-жою Арнольд, постоянно смачивавшею засыхавший язык больного.

В комнате было тоскливо; слуга убирал ее, подметал пыль, причем немилосердно стучал и громко разговаривал с входившею прислугою; видно было, что церемониться уже нечего…

Г-жа А. сообщила мне вполголоса, что Тургенев вчера еще простился со всеми и почти вслед за тем начал бредить. Со слов Мещерского я уже знал, что бред, видимо начался, когда И. С.

стал говорить по-русски, чего никто из окружавших, разумеется, не понимал. Все спрашивали: «Qu'est ce qu'il dit, qu'est ce qu'il dit[99]?» «Прощайте, мои милые, — говорил он, — мои белесоватые…» — «Этого последнего выражения, — говорил М., — я все не могу понять: вообще же мне казалось, что он представляет себя в бреду русским семьянином, прощающимся с чадами и домочадцами…»

Два жалобные стона раздались из уст Тургенева, голова повернулась немного и легла прямо, но руки за целый час так и не пошевелились ни разу. Дыханье становилось медленнее и слабее; я хотел остаться до последней минуты, но пришел Мещерский и стал просить от имени семьи Виардо пойти повидать доктора Бруарделя[100], рассказать, что я видел, а в случае его отсутствия оставить письмо с объяснением того, что есть и чего неизбежно надобно ожидать. Я взял письмо, дотронулся в последний раз до руки Ивана Сергеевича, которая уже начала холодеть, и вышел.

* * *

Через час Тургенев умер.

Доктора Бруарделя я не застал дома и оставил письмо, — он приехал только на третий день. Я дал депеши двум близким людям умершего: Онегину и князю Орлову; хотел известить и далекую родину, но, не быв другом покойного, не счел себя вправе посылать от моего имени весть об этом народном горе.

Воспоминания детства

1848–1849[101]

Хорошо помню себя, отвечающего мамаше урок из географии, заданный наизусть «от сих и до сих пор». Она, т. е. мамаша, сидит в каминной, на диване, у стола; в соседней комнате, гостиной, папаша читает газету. Я отвечаю: «Воздух есть тело *супругов*, весомое, необходимое для жизни животных и произрастания растений…» — «Как? повтори». — «Воздух есть тело супругов…» Мамаша смеется. «Василий Васильевич, — говорит она отцу, — поди-ка сюда». — «Что, матушка?» — «Приди, послушай, как Вася урок отвечает». Отец входит с газетою, грузно опускается на диван, переглядывается с матерью; вижу, что-то неладно. «Отвечай, батюшка». — «Воздух есть тело супругов…» Ха, ха, ха! — смеются оба, у меня слезы на глазах. «Упругое», — поправляет отец, но не объясняет, почему упругое, а не супругов и какая разница между упругим и супругим.

Мне было тогда 6 лет; читал и писал я уже бойко, считал тоже недурно. Время это было для нас междуцарствие или, что то же самое, между-учительство. Наш первый гувернер Витмак, Федор Иванович, добрый, но вспыльчивый человек, рассорился с мамашею и вышел в отставку от должности учителя; он уехал в Петербург и поступил на службу в курьерское отделение.

Его я почти не помню, знаю только по рассказам няни, что он был с нею в постоянной войне из-за нас, в особенности из-за меня, хилого, болезненного ребенка.

Помню, как я из буфетной засматриваю в зал, где «новый учитель», Андрей Андреевич Штурм, из Киля только что приехавший, разговаривает с папашею и мамашею. Вижу, гладко причесан, высокий, серьезный и, должно быть, строгий, а вышло, что предобрый, хотя и немец, т. е. аккуратный и методичный. Познания его заключались в начальной арифметике и немецком языке, чему он и принялся обучать нас.

Закону божию, истории и географии учил нас, т. е. заставлял зубрить от строки до строки, Евсевий Степанович, сын нашего приходского священника отца Степана, семинарист, окончивший курс и ожидавший посвящения; он был добрый малый и занимался преимущественно с моим старшим братом Николаем и сыном одной нашей знакомой, мамашиной приятельницы, Крафковой, а также с кузиною Наташею Комаровской. Я как

маленький (на 3 года младше Николая) вместе с другим сыном Крафковой приходил в их комнату ненадолго, только получить урок и ответить его; и как же учено казалось мне заседание учителя со старшими! Я входил к ним всегда с трепетом, тем более что и сам Е. С. и ученики его не прочь были подшучивать над нами, малолетками.

Ничего не знаю ужаснее шуток и насмешек старших над младшими; мне они надолго западали в душу, и, всячески стараясь уяснить их себе, я всегда приходил к невыгодному для себя заключению, находил насмешку заслуженною, что еще более увеличивало мою природную робость и застенчивость.

Раз ровесник и тезка мой Вася, сын нашего огородника Ильи, заявил желание учиться; сказали об этом Евсевию Степановичу, и тот призвал Васю: «Ты хочешь учиться?» — «Да-с». — «Ну, говори: я умен!» — «Я умен». — «Как поп Семен!» — «Как поп Семен». — «Перекрестись!» Тот перекрестился. «Убирайся!» Тот ушел. Мы все смеялись, но сквозь смех мне было немного неловко и жаль Васю.

* * *

В памяти моей об этом времени самою выдающеюся, самою близкою и дорогою личностью осталась няня Анна, уже и тогда старенькая, которую я любил больше всего на свете, больше отца, матери и братьев, несмотря на то, что нос ее был всегда в табаке. Не то, чтобы она не сердилась и не бранилась, напротив, и ворчала, и бранила нас частенько, но ее неудовольствие всегда скоро проходило и никаких следов не оставляло. В самых крайних случаях, например непослушания, она грозила оставить нас и уйти навсегда в деревню и действительно иногда уходила, только не навсегда, а на час времени к брату своему Иолью, жившему, помню, на въездной улице, в крайней избе; но уж моему горю в этих случаях не было пределов: я бегал за нею, держась за ее платье, до самой деревни, считал себя погибшим, плакал до боли, умолял воротиться и успокаивался не раньше, как услышавши ее слова: «Ну, ступай, батюшка, уж приду, да смотри, в другой раз не ворочусь!» И всегда, бывало, принесет, возвратясь от своих, топленого молока или чего-нибудь подобного на заешку слез.

Няня Анна

Няня всех любила, и все мы любили ее, но я, кажется, был ее любимцем, может быть, потому, что маленький был очень слаб здоровьем. С своей стороны, я любил ее так, что уж, кажется, привязанность не может идти далее.

Она сознавала пользу ученья и всегда нам об этом толковала, но к применению его относилась довольно враждебно и урывала нас из рук учителя и гувернера при каждом удобном случае; да не только с ними схватывалась, но и мамаше нашей иногда позволяла себе перечить, когда дело шло о больном *робенке*.

Все наше свободное время мы проводили с нянею, и прогулки

с нею, напр., в лес, за ягодами и грибами, которые я ужасно любил, остались до сих пор одними из самых милых и дорогих моих воспоминаний.

Звали няню Анна Ларионовна, по фамилиии Потайкина; фамилию ее я узнал уже позже, и она всегда звучала мне чуждо; мы знали ее только как няню Анну, а кто она такая, откуда, никогда не доискивались.

Много позже я узнал, что, рано овдовев, она была взята во двор бабушкою Натальею Алексеевною, которой и служила в Питере, а потом *досталась* папаше. Еще будучи молодою, она едва не испытала на себе ласки тогдашнего владетеля, брата бабушки, Петра Алексеевича Башмакова, который, высмотревши на работах девку, приказывал обыкновенно старосте: прислать ее туда-то. На этот раз он велел «послать Анютку из одной деревни в другую», а сам ждал у дороги на наволоке: староста, жалея Анютку, шепнул ей, чтобы она шла другою дорогою, и дедушка на этот раз остался ни с чем, только напрасно прождал, даже и рассердиться было не на что, так как приказание его было исполнено и Анютка бегала в другую деревню. После этого дедушка, однако, еще раз попробовал познакомиться с нею поближе, подошел было как-то на работах, но она так перепугалась, что бросилась бежать со всех ног, чем заслужила от него название «дуры», за то же и освободилась от его искательств.

Впоследствии Петр Алексеевич был убит крестьянами именно за волокитство.

Анна Ларионовна вышла замуж, потом овдовела и попала в услужение к бабушке, когда к той перешли именья покойного Башмакова. Всего, кажется, пришлось натерпеться ей, и брани, и колотушек, особенно когда бабушка проигрывала в карты, а играла она постоянно. «Зато уж когда она была в выигрыше, — рассказывала няня, — я и видела сейчас, и ручку даст поцеловать, и гривенничек сунет: на, Анютка; дура, тебе, бедной, ведь некому подарить!..»

Обер-Аммергау

Думаю, немногие из русских знают эту деревушку в горной Баварии и дающиеся в ней каждые десять лет представления «Страданий и смерти Иисуса Христа», иначе «Страстей Господних».

В нынешнем году там будет усиленное торжество, не столько от усердия, сколько от ожидания наплыва иностранцев со всего света, имеющих прибыть в Европу на парижскую выставку. Этот последний мотив теперь уже пересиливает первый, так как представления эти, начатые с искупительною целью, все более и более обращаются в «гешефт».

Начало представлений относят к 1633 году, когда повальная болезнь свирепствовала в соседних с Обер-Аммергау долинах, преимущественно в Партенкирхене, Ешенлое и Кольрубе; умирало будто бы множество народа, и лишь изображением страданий Христовых, а главное, обетом возобновлять их каждые 10 лет удалось утишить болезнь. Насколько это справедливо — вопрос, конечно, открытый. Верно только то, что с течением времени представления эти привлекали все более и более народа, делались все более и более выгодными для общины Обер-Аммергау. Одни англичане и американцы, как известно, за все хорошо платящие, засыпают деньгами и самую деревушку, и окрестности, по которым они подъезжают и уезжают.

Я не буду описывать — нельзя сказать, пьесы — самого действия, которое, как художественное произведение, вне критики, а скажу лишь несколько слов об обстановке, весьма наивной и оригинальной.

Я был в этих местах давно уже, когда часть дороги из Мюнхена еще надобно было проезжать в экипаже; тем не менее общий характер местности и жителей остался тот же, так что многое здесь сказанное даст понятие и о готовящемся к лету нынешнего года.

Иуда-предатель

Еще в Мюнхене я рассматривал в окнах магазинов фотографические снимки обер-аммергауских крестьян и крестьянок, представлявших действующие лица мистерии, так что заранее познакомился с типами актеров, из которых некоторые были поразительно похожи на живописуемые в христианских образах. За время моей поездки железная дорога доходила только до Вейльгейма, и туда я добрался без труда, но потом стали вырастать препятствия, о которых упоминаю лишь на тот случай, что, может быть, читающий эти строки — на пути в Обер-Аммергау имеется уже железная дорога — будет принужден ездить по другим направлениям горной Баварии, рельсовых путей еще не имеющей.

Бравые горцы оказались великими мастерами плутовать: сказали самым решительным образом, что омнибусов нет и надобно нанимать экипаж — недорого, 35, даже 30 марок. Я не

поддался, пошел по местечку до почты, где скопилось множество народа, желавшего попасть в новый Иерусалим; омнибусы хотя и оказались, но тоже пробовали обмануть, тоже говорили, что все места заняты и не остается ничего другого, если я хочу попасть к представлению, как нанять экипаж — недорого: 30–25 марок.

Я взялся с другого конца и нашел доброхота, обещавшего попробовать достать билет за «на водку» — это было тем легче сделать, что отходило сразу 3 омнибуса и свободных мест было сколько угодно. Однако множество англичан и др. иностранцев, наскучив спорить, уехали в наемных экипажах, что и требовалось доказать.

Мы выехали вечером и ночью приехали в деревню Аммергау; затем, далее с новым омнибусом до какого-то местечка, откуда я, потерявши терпенье от проволочек, с попутчиком венгерцем добрался в шарабане до места назначения.

Масса народа идет туда пешком: с ранцами за плечами, с палкой в руках двигается, пожалуй, еще больше народа, чем в экипажах. Способ пешего хождения, особенно в горах, не считается в Германии предосудительным для всех классов общества, не так, как у нас.

— Вот мы и в Иерусалиме, — говорили мы, проезжая между двумя рядами домов, ярко, лубочно разрисованных всевозможными священными фигурами и сюжетами.

Надобно сказать, что по первоначальному обету играть здесь могут только принадлежащие к общине, причем ни париков, ни накладок, ни каких-либо иных принадлежностей театральной гримировки не допускается. Вследствие этого исполнители справляют свои полевые и другие работы с бородами и волосами до плеч. Играющих легко отличить поэтому в толпе крестьян.

Вечером, напр., мне указали между бродившим перед гостиницей народом горца почтенных лет — «разбойника Варавву». Он ходил, засунувши руки в карманы своей серой куртки, курил сигару и немилосердно сплевывал. На него трудно было смотреть без смеха, тем более что, как мне говорили, он прежде служил в жандармах.

Варавва-разбойник

Надобно полагать, что за мой приезд собралось на представление не менее пяти тысяч человек. Все комнаты и углы не только в гостиницах, но и в частных крестьянских домах были разобраны. Многие за невозможностью достать кровать ютились и спали в омнибусах и экипажах, в которых они приехали. Нечего и говорить, что этот съезд массы народа, по большей части зажиточного, приносит жителям не меньше выгод, чем самые представления.

Так как играют только каждые 10 лет, в промежутках между которыми туристов и вообще приезжих немного, то на устройство больших, хорошо организованных гостиниц охотников нет (по крайней мере, прежде не было, держались лишь маленькие,

прямо деревенские), и все барыши от помещения и кормления гостей идут прямо в руки собственников крестьян, обращающихся на это время в трактирщиков.

От самых представлений, как замечено, доход тоже немалый — играют 2 раза в неделю, в продолжение всего лета, и выгода, как говорили, доходила до 300 000 марок в лето, а теперь, вероятно, поднялась и до полумиллиона!

Мой компаньон платил за угол, в котором только помещалась кровать, по 4 марки в сутки; я же на каких-то не то антресолях, не то полатях заплатил вдвое больше и сознаюсь, что минута, в которую решилась эта цена, была в высшей степени критическая — не только 8, но и дважды 8 заплатил бы, чтобы только избавиться от неожиданного соседства. Ночью меня разбудили свет и шум в моей комнате: открываю глаза и вижу англичанина, как есть настоящего, с рыжими бакенбардами, в клетчатом пиджаке, с кисеей на шляпе, приготовляющегося расположиться рядом со мной на постели, оказавшейся двухспальною и потому предназначенной служить для двух «гостей»! Едва удалось уверить британца, что я нанял все и плачу за всю кровать и что хозяйка ошиблась, отдавши половину ему.

Англичан и американцев было больше всего между приезжими; много священников из разных стран — мне указывали патеров из Ирландии и С. Америки.

Наутро по приезде, в день представления, мы спозаранку были у театра и уже в 6 часов заняли места, хотя представление начинается только в 8.

Театр большой, тысяч, вероятно, на 5–6 зрителей. Он деревянный и открытый; закрыта только часть сцены да над первыми местами деревянный навес.

Боковые части сцены, открытые, представляют улицы Иерусалима, а главный занавес — общий вид этого города. Все представление разделено на части, в каждой по 3 сцены. Всякая сцена состоит из одной или двух живых картин, взятых из истории Ветхого завета, и из действия, представляющего по порядку одно из евангельских событий, соответствующих картинам, согласно принятому толкованию, что ветхозаветные события были символами или прообразами событий Нового завета.

В антрактах между этими картинами и действиями являются на авансцену 10 человек безбрадых юношей и столько же дев, представляющих гениев-вещателей. Предводимые благообразным пожилым запевалой, они тихо, плавно выходят с боков на авансцену, вытягиваются в шеренгу и начинают поочередно жалостными голосами выпевать стихи, объясняющие картины и

их отношение к действию, перед началом которого исчезают.

Я не буду, как уже говорил, вдаваться в разбор самой «драмы», так как нахожу это неудобным, и скажу только несколько слов о приступе к ней и об общем впечатлении, ею производимом.

Занавес поднялся над живою картиною, представляющею Адама и Еву, изгоняемых из рая ангелом с огненным мечом. Адам и Ева были в розовом трико с достаточным количеством зелени вокруг пояса. Впечатление этой первой картины на публику было благоприятное — по спуске занавеса отовсюду раздались одобрительные отзывы: Schön! Hubsch![102]

Следующая картина: ангел обнимает подножие креста и перстом указывает на него группе стоящих кругом детей — те же одобрения. Затем начинается первая сцена, в которой является сам Спаситель…

Он говорит преимущественно слова Евангелия, говорит медленно, протяжно. Наружный вид Его необыкновенно напоминает Его обычные изображения…

Постановка довольно реальна, исключая мест, где говорит толпа: вместо обычного в таких случаях шума, хаоса голосов раздаются равномерно в такт произносимые целым хором слова — точно рубят их и тем немало нарушают иллюзию. Само собою разумеется, что все, вместе взятое, может удовлетворить только наивный, невзыскательный вкус и неприхотливую публику, зато действие на эту последнюю очень сильно. Молодая девушка, сидевшая рядом со мною, плакала, чуть ли не с начала представления, и она была далеко не одна. В том месте изображения Страданий Христовых, где Его толкают ногой и Он в шутовской царской тоге, с венцом на голове и связанными руками тихо падает на землю, добрая половина театра рыдает, а другая многозначительно кашляет и сморкается — платки во всех руках. Когда от удара копьем в бок полилась кровь, я принужден был объяснить моей соседке, что это ненастоящая кровь, иначе, как я боялся, с ней сделался бы обморок…

Очень расхолаживает, прямо портит впечатление зрителей то, что в антрактах актеры выходят освежиться пивом непереодетые, в тех самых одеждах, в которых они подвизаются на сцене.

Эта маленькая неряшливость делает то, что вы, например, пьете ваш «бок» рядом с лицом, представляющим апостола Петра, а где-нибудь на пустой бочке, с кружкой в руке и сигарой в зубах восседает актер, играющий Иоанна.

Меня уверяли, что в одно из предыдущих представлений вместо знаменитых слов: «Es ist vollbracht![103]» наивный актер произнес «es ist prachtvoll![104]» Не знаю, правда ли это; за тот раз,

что я присутствовал, все прошло гладко и прилично, и зрители разъехались очень довольные, все с теми же восклицаниями: «Schön! Schön!»

Реализм

I

Реализм — реализм! Как часто повторяется это слово и, однако, как редко, по-видимому, употребляется оно с полным пониманием его значения!

«Что такое, по вашему мнению, реализм?» — спросил я у одной весьма образованной дамы в Берлине, которая много рассуждала о реализме и реалистах в искусстве. Барыня, по-видимому, затруднялась ответить сразу и нашлась только сказать, что «реалист — тот, кто воспроизводит вещи реальным образом».

Однако же я утверждаю, что воспроизведение вещей реальным образом не дает еще права данной личности называться реалистом. Для большей наглядности своего мнения приведу следующий пример.

По окончании войны англичан с зулусами между выдающимися английскими художниками не нашлось ни одного, кто бы взял на себя труд передать на полотне эту эпопею, разыгравшуюся между белыми и черными; поэтому англичане должны были обратиться к одному весьма даровитому французскому художнику. Ему дали денег и объяснили, что мундиры и оружие английских солдат были такие-то и такие, а одежда зулусов — или то, что представляло собой их одежду, — была такая-то. Затем очевидцы, присутствовавшие во время военных стычек, рассказали этому французскому художнику, из чего состоял фон в каждом отдельном сражении, по всей вероятности, дополняя свои рассказы фотографическими снимками. Вооружившись этими сведениями, художник приступил к работе, не имея лично ни малейшего понятия ни о стране, которую взялся воспроизвести, ни о типах, ни об особенностях, ни о нравах и привычках зулусского племени. Художник очень смело выполнил свой труд и написал несколько ярких картин, на которых мы видели: массу людей, нападающих на врага, — защищающихся; множество мертвых и раненых; много крови; много дыму от пороха и все тому подобные вещи, но тем не менее в этих картинах полное отсутствие главной сущности предмета: в них вы не найдете ни англичан, ни зулусов. Вместо первых — перед нами французы, одетые в британские мундиры, а вместо зулусов — заурядные парижские натурщики-

негры изображенные в разнообразных, более или менее воинственных позах.

Ну, разве же это реализм? Конечно, нет.

Притом большинство художников не дает себе достаточно труда воспроизводить настоящее освещение, при котором на самом деле происходили события, составляющие сюжет их картин. Таким образом, сцены, изображенные на только что упомянутых картинах, — сцены битв при ослепительном блеске тропического солнца Африки, — написаны при сероватом освещении европейских мастерских. Разумеется, в этом случае не могут быть переданы удачно солнечное освещение и разнообразные характерные эффекты, зависящие от него, так что цель остается недостигнутой.

Итак, есть ли это реализм? Разумеется, нет.

Я иду далее и утверждаю, что в тех случаях, когда существует лишь простое воспроизведение факта или события без всякой идеи, без всякого обобщения, может быть, и найдутся некоторые черты реалистического выполнения, но реализма здесь не будет и тени, т. е. того осмысленного реализма, в основе которого лежат наблюдения и факты — в противоположность идеализму, который основывается на впечатлениях и показаниях, установленных a priori.

А теперь спрошу: может ли кто-либо упрекнуть меня в том, что в моих работах нет идеи, нет обобщения? Едва ли.

Может ли кто-либо сказать, что я не забочусь о типах, о костюмах, о пейзажах, составляющих рамку для сцен, изображаемых мною? Что я не изучаю предварительно личностей и обстановку, которые составляют предмет моих картин? Едва ли кто это скажет.

Может ли кто-либо сказать, что у меня какая бы то ни была сцена, имевшая место в действительности при ярком солнечном освещении, была написана при освещении мастерской, — чтобы, например, сцена, происходившая под морозным небом севера, была воспроизведена мною в теплом замкнутом уголке из четырех стен? Едва ли кто скажет это.

Следовательно, я имею право считать себя представителем реализма, который требует самого строгого обращения со всеми деталями творчества и который не только не исключает идеи, но заключает ее в себе.

Что я не один придерживаюсь такой оценки своих работ, доказывают следующие строки корреспондента американской газеты «Sunday Express», посланные им из Парижа во время последней выставки моих картин в этом городе[105]:

«Уважение, выказанное, к известным идеалам в картинах — к

идеалам художника, столь чуждого условным правилам парижских художников, каков Верещагин, является желанным признаком отрешения от грубого реализма, который начал вторгаться во французское искусство. Даржанти, критик „Courrier de l'art", не считает Верещагина „пленительным" художником, но признает за ним знание и даровитость, заявляя при этом, что с своей стороны он предпочитает тщательно обработанную идею „грубому выражению пошлого реализма". Он надеется, что реакция близка, и думает, что толпа, „устремившаяся" на выставку Верещагина, „провозвестила" наступающую победу идеи».

Еще замечательнее отзыв лондонского органа «Christian» от 2 декабря 1887 г., мнение это имеет для меня особый интерес вследствие специального направления названной газеты:

«Картины эти принадлежат кисти Верещагина, не уступающего ни одному из современных представителей живописи, что касается до мастерства техники и превосходящего всех художников, когда-либо живших, величием своих нравственных целей и применением своих поучений к сознанию всех, кто только даст себе несколько труда понять его.

Я хочу лишь сказать, что тот, кто упустит случай увидеть эти картины, упустит наилучшую возможность понять век, в который он живет; если девятнадцатое столетие имело когда-либо пророка, то этот пророк есть русский художник Верещагин».

Повторяю: я цитирую эти последние строки главным образом ради их отличительной черты, как мнение, выраженное специальным клерикальным органом, мнение, имеющее еще большее значение ввиду нападок, которыми меня осыпали люди, стремившиеся показать себя более ревностными папистами, чем сам папа.

Реализм не является противником чего-либо такого, что дорого для современного человека, — он не расходится ни со здравым смыслом, ни с наукою, ни с религией! Разве возможно чувствовать что-либо другое, кроме самого глубокого благоговения к учению Христа, касательно Отца и Создателя всего существующего, к чудному господству христианской любви?

Правда, мы враги ханжества, всякой, показной, притворной набожности; но разве имеют право осуждать нас за это, раз сам Христос сказал:

«А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Ев. Матф. VI, 7).

Само собою разумеется, мы придаем совершенно иную оценку вещам, которые объяснялись не так несколько веков

назад. Младенчество науки, а следовательно, младенчество представления вселенной может интересовать нас теперь, но отнюдь не руководить нами; на пороге двадцатого столетия мы не можем допустить, что небеса населены святыми и ангелами; что в недрах земли обитают черти, на обязанности коих лежит поджаривание грешников мира. Мы отказываемся также понимать в буквальном смысле древнюю идею о награде за добрые дела и идею мучений на медленном огне как наказание за злые дела.

В качестве художников мы не отрицаем идеалов прошедших веков и старинных мастеров. Наоборот, мы отводим им почетное место в истории искусства; но мы отказываемся подражать им по той простой причине, что все хорошо в свое время и что реализм одного столетия уже носит в себе зачатки идеализма следующего за ним века.

Те именно великие художники, которые считаются великими идеалистами, разве не были великими реалистами в свое время?

Кто осмелится утверждать, что Рафаэль не был реалистом в том веке, когда он жил; что работы его не скандализировали многих из его современников, вкусы которых были воспитаны на образцах предыдущих художников?

А Рубенс, который преступил все границы современного приличия в качестве не только художника, но и как мыслитель? Надеюсь, никто не станет подвергать сомнению тот факт, что его мощный, но односторонний гений перемешал типы личностей христианской религии с типами языческой мифологии; что его Бог Отец — то же, что и его Юпитер Олимпийский; что они суть портреты одного и того же краснощекого натурщика; что его Богородица и его Геба — можно даже сказать, его Венера — все это личности одного и того же типа; все они одинаково краснощеки, красивы, самодовольны!

Кто решится отрицать, что Рубенс, населив христианские небеса тяжеловесными, здоровенными, весьма и весьма нескромными барынями и мужланами, перевернул вверх дном все традиции и таким образом явился даровитым мощным реалистом своего времени? Нет сомнения, что он изумил и скандализировал массу своих благочестивых современников.

А Рембрандт! А остальные художники, которые все ныне считаются более или менее идеалистами. Разве каждый из них не был в свое время представителем реализма, который в наши дни значительно сгладился рукою времени, с одной стороны, и прогрессивным движением нашего самосознания, с другой стороны?

Кому в наше время придет на мысль упрекать этих художников за всю ту смелость, которая, несомненно, приводила

в остолбенение их современников? И, однако же, сколько было споров относительно этих художников, сколько копьев было поломано ради них! Оглядываясь назад в настоящее время, все это кажется странным. Но разве это не есть знак того, что ждет в будущем замечательные произведения нашего времени? Произведения эти были также приняты враждебно, провозглашены слишком дерзкими, слишком смелыми, слишком реалистическими, но разве, в свою очередь, они не приобретут прочную силу под влиянием прогрессивного движения мысли и техники? Разве не наступит день, когда неожиданно они очутятся в архивах старых идеалов?

Но нам приходится иметь дело с раздражительными и взыскательными современниками. Вообще считается непростительною дерзостью, совершенно позорным поступком отступление от формул, признанных последовательными поколениями в течение долгих веков. Романистам, художникам, скульпторам, композиторам приходится входить в компромиссы с пошлостью и нелепостью, что неизменно задерживает развитие идеи и техники искусства.

Даже те личности, которые нехотя заявляют, что мы также — «люди мысли», что мы также — «люди с хорошей технической подготовкой», даже эти личности выражают сожаление, что мы изменили традициям старых великих художников; что мы не хотели следовать догматам, освященным рядом великих имен.

Да, истинная правда: мы отличаемся от них во многих отношениях; мы мыслим иначе, мы смелее в своих обобщениях фактов прошедшего, настоящего и будущего; мы даже работаем иначе и переносим на полотно наши впечатления иным способом.

Можем ли мы в настоящее время принимать в буквальном смысле повсюду признанное понятие о Боге, Который некогда принял на Себя образ человека и ныне восседает одесную Всемогущего Отца со всей ратью святых и ангелов, окружающих Его? Можем ли мы допустить в смысле фактов идеальное представление всех этих тронов, превосходящих по роскоши пресловутые троны великих индийских моголов? Можем ли мы ныне допустить существование в облаках всех этих великолепных одежд, разукрашенных жемчугами и драгоценными каменьями? Можем ли мы с чистосердечною искренностью и безыскусственностью представить в своем воображении святых, которые якобы восседают на этих самых облаках, словно на креслах и диванах, в таких же богатейших убранствах, — святых, которые, следовательно, очутились посреди той роскоши, что была им так ненавистна во время их земной жизни?

Все эти великолепные одежды, все это золото и блеск

обстановки, считавшиеся наградой в вечности за добродетельную жизнь на земле, — разве не представляются нам совершенно ребячьими, чтобы не сказать: несовместными с хорошим вкусом?

Много было написано о моих произведениях: немало было высказано упреков по поводу моих картин, сюжеты которых заимствованы из области религии и военного дела. А между тем все эти картины написаны мною без всякой предвзятой идеи, написаны мною лишь потому, что сюжеты их интересовали меня. Нравоучение являлось в каждом данном случае впоследствии, как выражение верности впечатлений.

Например, я видел, как император Александр II в течение целых пяти дней сидел на небольшом бугорке, — а перед ним расстилалось поле битвы, — наблюдая с подзорной трубой в руке за бомбардированием и за штурмованием неприятельских позиций[106]. Без сомнения, так же точно присутствовал на битвах старый германский император, а затем и его сын, этот удивительный человек, покойный Фридрих Германский[107]. В этом я убедился также из рассказов очевидцев. Разумеется, было бы смешно предположить, что император, присутствуя во время битвы, станет объезжать свои войска галопом, потрясая шпагой, словно юный прапорщик, а между тем мне приписали желание подорвать моей картиной престиж Государя в глазах народных масс, которые склонны воображать себе своего Императора парадирующим на горячем коне в момент опасности, в самом разгаре битвы.

Перед атакой. Под Плевной

Я изобразил перевязку и перенесение раненых[108] точь-в-точь, как я видел и испытал на себе самом, когда, раненому, мне сделали перевязку и перенесли меня по самому первобытному способу. И тем не менее я был снова обвинен в преувеличении, в

клевете.

После атаки. Перевязочный пункт под Плевной

Я видел собственными глазами в течение нескольких дней, как пленники медленно замерзали и умирали по дороге, тянувшейся более чем на тридцать миль[109]. Я обратил внимание американского художника, Франка Д. Миллета, который был очевидцем этой сцены, на эту картину, и, увидав последнюю, он признал ее поразительно верною действительности; однако за это произведение меня осыпали такими ругательствами, которые невозможно повторить в печати.

Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд на поле брани над кучей убитых, растерзанных, изуродованных солдат, только что пожертвовавших своей жизнью на защиту своей родины; и снова эта сцена — картина, которую буквально я писал со слезами на глазах, — была также объявлена в высших сферах продуктами моего воображения, явною ложью[110].

Побежденные. Панихида по убитым

Мои высокопоставленные обвинители не удостоили обратить ни малейшего внимания на тот факт, что они были изобличены во лжи тем самым священником, который, будучи возмущен обвинениями против меня, громогласно заявил в присутствии публики, стоявшей перед картиною, что он, именно он, совершил этот последний обряд над грудами там убитых солдат и обстановка была совершенно та, какая изображена на моей картине. Однако, несмотря на все это, картина моя была спасена только тем, что ее исключили из выставки, а когда позднее было предложено издать все эти картины в раскрашенных гравюрах, консисторские судьи наложили запрещение на этот проект, так как эти дешевые картинки могли легко проникнуть в народные массы.

Пусть, однако, не воображают, что такое негодование господствовало исключительно в русских высших сферах. Один весьма известный прусский генерал советовал императору Александру II приказать сжечь все мои военные картины как имеющие самое пагубное влияние[111].

Еще больше враждебных комментарий вызвали мои картины с религиозными сюжетами[112]. Но разве я коснулся неуважительно христианских догматов нравственности? Нет, я ставлю их очень высоко. Разве я нападаю на идею христианства или на ее Основателя? Нет, я питаю к ним величайшее уважение. Разве я пытался умалить значение креста? Нет, это было бы полнейшей невозможностью.

Я прошел по всей Святой Земле с Евангелием в руке; я

посетил места, освященные много веков назад присутствием в них нашего Спасителя. Следовательно, у меня должны были явиться и явились свои собственные идеи и представления о том, каково должно быть воспроизведение многих событий и фактов, упоминаемых в Евангелии. Идеи мои необходимо отличаются от представлений художников, никогда не видавших декоративной стороны Святой Земли, никогда не наблюдавших лично ее население и нравов последнего.

Например, вот мое понимание факта поклонения волхвов; картина эта обдумана мною, но еще не исполнена[113].

Ясная звездная ночь; путники приближаются к Вифлеему: это волхвы, люди, хорошо знакомые с наукою, сведующие в астрологии. Идя по дороге в город, мудрецы эти замечают звезду, стоящую над ними, звезду, которой они еще никогда не видали. Ведь в те времена господствовало понятие, что у каждого человека была своя звезда и, наоборот, каждая звезда соответствовала какому-либо человеку на земле, так что волхвы естественно пришли к заключению, что эта новая звезда указывает на рождение младенца где-нибудь тут же поблизости и что — так как звезда отличалась необычайным блеском — новорожденный младенец должен стать самым выдающимся человеком.

Придя в Вифлеем, волхвы остановились в гостинице. Вскоре затем работник, присматривавший за мулами путешественников, приходит и говорит волхвам, что бедная женщина приютилась в том месте, где стояли животные, и родила чрезвычайно красивого ребенка. Услышав это, волхвы обмениваются выразительными взглядами: они верно объяснили восхождение невиданной дотоле звезды.

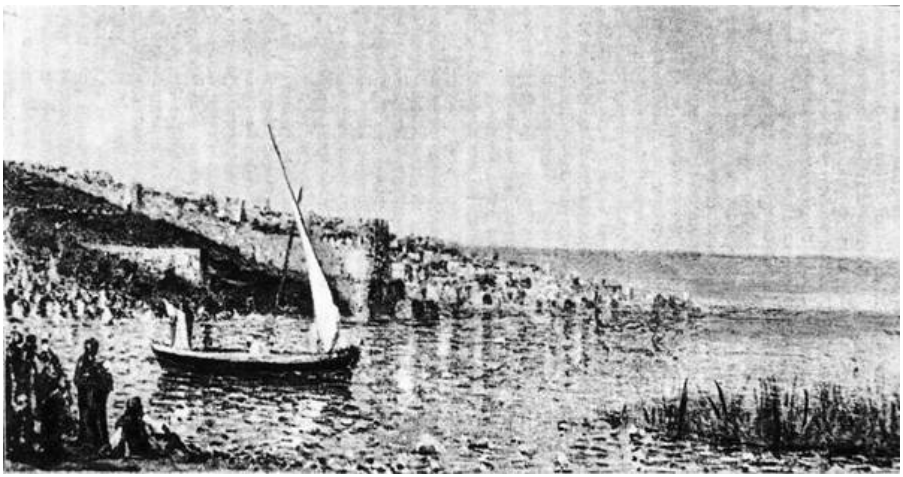
«Пойдем посмотрим: это, должно быть, необычайный Младенец», — говорят они и идут в пещеру при гостинице, где стоят лошади, коровы и ослы; а за ними следуют другие путешественники, которым тоже любопытно взглянуть на новорожденного Младенца.

В уголку пещеры они видят прекрасную бледную молодую Женщину, сидящую на куче соломы и кормящую своего Младенца, между тем как муж ее, пожилой мужчина, виднеется в отдалении, в стороне от пещеры, занятый приготовлением чего-то для своей семьи.

«Какой прекрасный ребенок!» — воскликнули волхвы и, обратившись к Св. Деве, сказали: «Помни наши слова. Он будет великим человеком; мы видели его звезду».

Затем, тронутый состраданием к бедности обстановки, один из волхвов дарит Младенцу золотую монету, а другой, быть

может, вылил из своей фляжки немного драгоценной мирры. Перед уходом из пещеры волхвы еще раз обратились к Марии и повторили свое предсказание об ожидающем великом будущем Младенца, а «Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем».



Христос на Тивериадском озере

Я глубоко убежден, что такое реальное воспроизведение бедности и простоты, присущих рождению Христа, несравненно выше идеализации богатства и других преувеличений, к которым прибегали прежние художники. Но такое обращение с этим сюжетом ново, поэтому оно и кажется странным и, весьма вероятно, вызовет толки. И только спустя сто или двести лет потомки наши будут в состоянии разрешить вопрос, который из этих двух взглядов на предмет следует считать правильным.

В числе картин выставки следует отметить одну, изображающую нередкое событие в Палестине в древние времена — событие высоко драматического характера, однако же сохраняющее всю свою простоту. Я говорю о «Распятии на кресте во время владычества римлян».

Небо покрыто густыми черными облаками. Как раз за стенами Иерусалима, на небольшой скале, воздвигнуто три креста; все они одинаковых размеров, вида и формы. Фигуры распятых по обеим сторонам заурядного типа и грубого сложения, центральная же фигура более изящной формы. Лица фигуры не видно; оно скрыто свесившимися на него длинными волосами каштанового цвета; длинные волосы показывают в распятом человека, добровольно посвятившего себя Богу. Раны на руках и ногах у трех распятых на кресте истекают кровью

(известно, что доктора признают трудным остановить кровотечение в вытянутых ладонях и стопах). Против крестов стоят два священнослужителя высшего ранга; они, по-видимому, приводят доводы о чем-то, стараясь в чем-то убедить римлянина в военных доспехах. Быть может, они говорят о преступности Человека, распятого посредине; римлянин, по-видимому, сомневается в этой преступности. Вокруг скалы стоят солдаты, образуя цепь, чтобы сдержать толпу.

На переднем плане картины видны люди всякого сорта; одни из них пешие, другие верхом на лошадях; иные верхом на верблюдах либо на ослах. Тут сельские жители или номады, которые, возвращаясь с рынка, остановились на мгновение, чтобы посмотреть на событие дня — на казнь Человека, молва о деяниях которого долетела до их хижин и палаток, — на казнь Человека, взятие которого под стражу вызвало почти целое восстание в городе. Между прочим, в толпе можно заметить несколько европейских купцов в их своеобразном головном уборе (исчезнувшем в сравнительно недавнее время) и фарисеев с изречениями законов, написанными на покровах их голов. Один из фарисеев спорит о чем-то с соседом своим относительно женщины, которая горько плачет в углу картины, по всей вероятности, матери одного из распятых. Лица ее не видно, но горе ее должно быть велико; по-видимому, ни одной из окружающих ее женщин — не удается утешить ее. Вероятно, не раз пыталась она отвратить сына своего от избранного им пути, но все напрасно, и ныне пробил его час.

Возле этой матери с истерзанным сердцем стоит прекрасная молодая женщина, погруженная в глубокое отчаяние при виде этого казненного Человека; слезы бегут по ее щекам, но она не сознает этого, так сильно поглотило ее страшное, невыразимое горе.

Как только удалятся власти и разойдется толпа, матери и окружающим ее лицам возможно будет приблизиться к крестам; тогда они скажут свое последнее «прости».

Далее мы имеем изображение современной казни у другого народа и при другой обстановке[114]. Перед нашими глазами холодный северный зимний день. Масса народа столпилась на одной из петербургских площадей, протискиваясь к виселице; ее напор сдерживают жандармы верхами. Ближе к виселице допущены только избранные, по большей части военные, представители золотой молодежи столицы, которые надеются раздобыть кусочек веревки, употребленной палачом: общераспространенное суеверие, что кусочек веревки, на которой был повешен человек, приносит несомненную удачу в карточной

игре его счастливому обладателю.

Преступник, окутанный белым саваном, с капюшоном поверх головы, только что был повешен и еще кружится на веревке, а народ стоит в немом изумлении от ужаса перед поучительным зрелищем. Только один грубый голос поднялся из толпы: «Да поделом им!» Но слова эти тотчас же были заглушены несколькими женскими голосами: «Разве можно так говорить? Теперь не нам судить его. Пусть его судит Всемогущий Бог!»

А в это время снег продолжает падать, из фабрик поднимается к небу дым, работа продолжает идти своим порядком.

Замечательно, что эта последняя картина, не понравившаяся русскому, очень понравилась английскому народу; с другой стороны, «Взорвание пушками в Индии» совсем не по вкусу англичанам, а русские очень хвалили эту картину. Лица, служившие долгое время в Индии, уверяли меня, что я ошибаюсь, считая такое изображение казни типичным, характерным способом смертной казни в этой стране; они доказывали, что такого рода казнь была применена только однажды, во время последнего восстания сипаев, да и в то время она применялась только в очень редких случаях. Но я утверждаю, что этот род казни, — притом сравнительно гуманный, — не только постоянно был в ходу в течение вышеупомянутого восстания, когда сипаев взрывали из пушек тысячами, но он был в употреблении у британских властей в Индии много лет до и после восстания сипаев (в 1858 году). Более того, я положительно знаю, что этот особый род казни будет употребляться и в грядущие времена. Индус не боится никакой другой смертной казни от руки «жестоких, нечистых европейцев». Индусы убеждены, что каждый из их соплеменников, убитый или повешенный европейцами, идет пополнить ряды мучеников, которым уготована великая награда в будущей жизни. Но казнь посредством пушечного взрыва приводит в настоящий ужас душу туземца, так как от взрыва тело преступника разрывается на множество частей и таким образом не дозволяет ему предстать на небо в приличном виде. Это пугало употреблялось английским правительством и будет употребляться им, пока оно будет страшиться потерять свои индийские владения.

Для того, чтобы удержать 250 000 000 населения в политическом и экономическом подчинении посредством 60 000 штыков, недостаточно быть храбрым и обладать политическим тактом, — невозможно избежать казней и кровавой расправы.

Все это до такой степени ясно само по себе, что в самом деле кажется удивительным, как это люди все еще склонны

возмущаться, когда мы, художники, обязанные наблюдать и распознавать истину, прилагаем эти наши способности к передаче наших впечатлений на полотне или на бумаге.

Со всех сторон художников осаждают требованиями дать публике что-нибудь новое, что-нибудь самобытное, что-нибудь не избитое, не пошлое; а когда мы стараемся представить что-нибудь именно в этом духе, нас обвиняют в наглой дерзости.

Каков же результат такого положения вещей?

Людям надоели книги, и вот они жадно набрасываются на грубые факты из действительной жизни, заносимые в ежедневных газетах; людям прискучили картинные галереи и выставки, так как на последних они наверно встретят тот же род живописи, всё на одни и те же сюжеты и по тому же шаблонному способу; людям стало скучно ходить в театры, где девять пьес из десяти изображают одну и ту же условную завязку, неизменно оканчивающуюся свадьбой.

Итак, вообще говоря, какова в настоящее время роль искусства?

Искусство унижено до уровня забавы для тех, кто может и любит тешить себя им; полагают, что оно должно способствовать пищеварительным способностям публики. Живопись, например, считается просто мебелью: если случайно остается пустое пространство на стене в промежутке между дверью и уголком, занятым, примерно, этажеркой, на которой стоит ваза, тогда немедленно это пустое пространство закрывается картиной легкого содержания и приятного выполнения, — такого именно рода, чтобы сюжет ее не очень отвлекал внимание от других деталей меблировки и безделушек, не мешал бы dolce far niente[115] посетителей.

А между тем влияние и ресурсы искусства громадны. Большинство старинных художников обязаны своей известностью тому, что были верными слугами власти и богачей; между ними были люди, которых не отягощало чувство сериозной гражданской ответственности, и, несмотря на это, какое мощное влияние оказывали они на искусство в течение целых веков! Влияние это чувствовалось во всех уголках и сокровенных изгибах жизни народов.

Что же мы должны бы ждать от искусства в наше время, когда художники вдохновляются своими обязанностями как граждане родной страны, когда они перестали лакействовать перед богатыми и власть имущими, которые любят, чтобы их называли покровителями искусств, когда художники добились независимости и начали понимать, что первое условие плодотворной деятельности — это стать «благородным» не в

узком значении касты, а в широком понимании этого слова относительно времени, в котором мы живем.

Вооружившись доверием публики, искусство гораздо теснее примкнет к обществу, станет его союзником ввиду сериозной опасности, которая угрожает современному обществу, тому обществу, которое мы все более или менее склонны любить и уважать.

Нельзя отрицать того факта, что все другие вопросы нашего времени бледнеют перед вопросом социализма, который подвигается на нас, словно молниеносная громовая туча.

Народные массы, в течение долгих веков влачившие жизнь, граничившую с медленною голодною смертью, уповая на лучшее будущее, не желают более ждать. Их былые надежды на будущее разрушены; их аппетиты возбуждены, и они громогласно требуют себе недоимок, т. е. дележа всех богатств, а для того, чтобы дележ этот сделать более прочным, они требуют сравнения под один уровень, подведения под одну мерку талантов и способностей, причем все работники прогресса и комфорта будут получать одну и ту же плату. Они стремятся перестроить общество на новых основаниях, а в случае сопротивления их целям грозят сжечь все памятники, относящиеся к тому порядку, который, по их понятиям, уже отжил свою полезность; они угрожают взорвать на воздух общественные здания, церкви, картинные галереи, библиотеки и музеи, проповедуя настоящую религию отчаяния.

II

Мой друг, покойный генерал Скобелев, раз спросил меня: «Как понимаете вы движение социалистов и анархистов?» Он признался при этом, что сам он совсем не понимает их целей. «Чего хотят они? Чего стремятся они достигнуть?»

— Прежде всего, — отвечал я, — люди эти являются противниками международных войн; затем их оценка искусства весьма ограничена, не исключая и живописи. Так что, если они когда-нибудь заполучат власть в свои руки, то вы с вашими стратегическими соображениями и я с моими картинами, — мы оба будем немедленно сданы в архив. Понимаете ли вы?

— Да, я понимаю, — отвечал Скобелев, — и отныне я намерен бороться с ними.

Я не заблуждаюсь, как сказал выше, что обществу сериозно угрожает в близком будущем огромная масса, насчитывающая сотни миллионов людей. Это — люди, бывшие, из поколения в

поколение, в течение целых столетий на краю голодной смерти, нищенски одетые, живущие в грязных, нездоровых кварталах, бедняки и такие люди, у которых нет ни кола ни двора либо совсем обездоленные. Хорошо, кого же следует винить за их бедность, разве не сами они виноваты в ней?

Нет, было бы несправедливо взваливать всю тяжесть вины на них; гораздо вернее, что общество в общей массе более виновно в их положении, чем они сами.

Но есть ли какое-либо средство выйти из этого положения?

Разумеется, есть. Христос, наш Учитель, много веков назад указал на то, как богатые и сильные мира могут помочь делу, не доводя до революционного шага, не производя переворота в существующем общественном порядке, если только они серьезно позаботятся о несчастных; это, несомненно, обеспечило бы за ними безмятежное наслаждение всею массою их богатства. Но в настоящее время мало надежды на мирное решение этого вопроса; разумеется, благоденствующие классы предпочтут остаться христианами только по имени; они все будут надеяться, что паллиативные меры достаточны для улучшения положения; или же, думая, что опасность еще далека, они не пожелают сделать больших уступок; а нищие и бедняки, — прежде готовые на соглашение, — скоро не захотят принять предложенного им подаяния.

Чего же хотят они?

Ни больше ни меньше, как уравнения богатства в грядущем обществе, они требуют материального и нравственного уравнения всех прав, занятий, всех способностей и талантов; как мы уже сказали, они стремятся разрушить все основы существующего общественного строя, а в новоосвященном порядке вещей они стремятся открыть действительную эру свободы, равенства и братства взамен теней этих высоких вещей, как существуют ныне.

Я вовсе не думаю входить в рассуждение по поводу этого предмета, я вовсе не имею претензий доказывать, насколько эти притязания справедливы или несправедливы, насколько они разумны или нелепы; я констатирую только факты, что существует глубокая бездна между прежними криками о хлебе и резко формулированными требованиями нынешнего времени.

Очевидно, аппетит народных масс увеличился сравнительно с прошлыми столетиями, и счет, который они намерены предъявить к уплате, будет не малый.

От кого потребуется уплата по этому счету?

Вероятнее всего, от общества.

Будет ли это сделано добровольно?

Очевидно, нет.

Следовательно, будут осложнения, споры, гражданские войны.

Разумеется, будут сериозные осложнения; они уже бросают свои тени в форме беспорядков социалистического характера то здесь, то там. В Америке, весьма вероятно, беспорядки эти не так велики или менее заметны, но в Европе, — во Франции и в Бельгии, например, эти беспорядки принимают грозный вид.

Кто победит в этой борьбе?

Если только Наполеон Первый не ошибался, утверждая, что победа всегда останется за «*крупными баталионами*», — победят «*уравнители*». Число их будет очень велико; кто знает человеческую природу, тот поймет, что все, кому не придется терять много, в решительный момент присоединятся к тому, кому терять нечего.

Вообще полагают, что опасность еще не неизбежна; но, насколько я был в состоянии судить, близость опасности неодинакова в различных государствах. Франция, например, — эта многострадальная страна, которая вечно производит опыты на самой себе, будь то в области социальных или научных вопросов, или в области политики, — ближе всех остальных к роковому перевороту; за ней следует Бельгия и другие государства.

Весьма вероятно, что даже нынешнее поколение будет свидетелем чего-либо сериозного в этом отношении. Что же касается до грядущих поколений, то нет сомнения, что они будут присутствовать при полном переустройстве общественного порядка во всех государствах.

Притязания социалистов, а в особенности анархисты и возбуждаемые ими беспорядки производят повсеместно огромную сенсацию на общество. Но едва эти беспорядки подавляются, как общество снова впадает в обычную безучастность, и никому и на мысль не придет, что факт частоты таких тяжелых симптомов, повторяющихся с таким постоянством, сам по себе есть признак нездорового состояния общества.

Дальновидные люди начинают понимать, что паллиативные меры не приведут ни к чему; что перемена правительств и правителей не окажет также ни малейшей пользы; и что остается лишь ждать случайных движений в образе действий враждующих партий, в энергической решимости со стороны благоденствующих классов не делать уступок и в энергической решимости пролетариев мужественно и настойчиво идти к намеченной цели.

Богатым остается утешать себя только тем фактом, что «*уравнители*» не имели еще времени организовать свои силы для успешной борьбы с обществом. Это верно до известной степени. Но хотя дело подвигается медленно, «*уравнители*» все время

заняты усовершенствованием своей организации; а с другой стороны, можем ли мы сказать, что общество достаточно хорошо организовано, чтобы не страшиться нападения.

Кто признанные и официальные защитники общества?

Армия и церковь.

Предположим, настанет день, когда священнослужители окончательно потеряют свое влияние на народ, когда солдаты опустят долу жерла своих пушек — где же общество найдет себе тогда оплот? Неужели у него не будет более благонадежной защиты?

Разумеется, у него есть такая защита, и это не что иное, как *таланты* и их представители в науке, литературе, в искусстве и во всех его разветвлениях.

Искусство должно и будет защищать общество. Влияние его мало заметно и не ощущается резко, но оно очень велико; можно даже сказать, что влияние его на умы, на сердца и на поступки народов громадно, непреодолимо, не имея себе равного. Искусство должно и будет защищать общество тем с большей заботливостью и тем с большим рвением, что его служители знают, что «*уравнители*» не расположены отвести им то почетное и достойное положение, которое они занимают теперь, так как, по мнению «*уравнителей*», добрая пара сапог полезнее хорошей картины, статуи или хорошего романа. Люди эти открыто заявляют, что талант — роскошь, что талант — аристократическая привилегия, а потому талант следует сбросить с его пьедестала до общего уровня — принцип, которому мы никогда не подчинимся.

Не станем обманывать себя: появятся новые таланты, которые постепенно «приспособятся» к новым условиям, если только такие условия возьмут перевес, и, быть может, произведения их выиграют от этого; но мы никогда не признаем принципа всеобщего разрушения и переустройства, если такой принцип не представит за себя другого основания, кроме хорошо известного положения: «Уничтожим все и расчистим почву; а что касается до переустройства… так ужо увидим впоследствии». Мы будем защищать и отстаивать улучшения существующего порядка вещей посредством мирных и постепенных мероприятий.

Само собою разумеется, мы требуем, чтобы общество со своей стороны помогло нам в исполнении нашей задачи, — чтобы оно доверилось нам, дало бы нам всю необходимую свободу для развития и проявления талантов.

Вот в этом-то и затруднение!

Упитанное, самодовольное общество приходит в уныние от каждой перемены, от каждого слова порицания, насмешки или

замечания; оно теряет доверие к передовым, смелым представителям науки, литературы и искусства. Общество ревниво стремится удержать за собою право не только указывать дорогу таланту, но даже регулировать меру, степень его развития и его проявления.

В этом обществе, каково наше, все, что заурядно и условно, ограждено всякого рода правами и привилегиями, между тем как все, что ново и самобытно, обязательно возбуждает враждебность и хулу, подвергается тяжелой борьбе под давлением широко распространенного ханжества и лицемерия.

Попробуйте создать что-либо необычайно умное в области науки и литературы, попробуйте представить в графической или пластической форме самую оригинальную, поразительную концепцию, но забудьте только окружить ее условным слоем пошлости и заурядности, столь дорогим сердцу общества, — вас разнесут в пух и прах за это, вас не захотят даже выслушать, вас назовут шарлатаном, а то еще словом и похуже.

Почему это так? Разве общество указывало путь ко всем великим открытиям? Нет, оно постоянно задерживало их, постоянно тормозило их.

Вызывало ли когда-либо общество в своей коллективной форме хоть одно из великих проявлений в искусстве или в литературе? Нет, общество постоянно усердно мучило, преследовало даровитых людей, хотя оно же, после их смерти, воздвигало им памятники.

Как могло общество обнаружить такое высокомерие и такую самонадеянность? Оно было увлечено на эту дорогу только благодаря нехристианскому убеждению, что «цель оправдывает средства».

Может ли быть что-нибудь невыносимее разговоров, которые нам приходится иногда слышать:

— Были ли вы в «Салоне»?

— Нет, нам не случилось побывать там в этом году, но в прошлом году мы бывали там несколько раз.

В этих словах ирония и истина, так как в большинстве случаев вы увидите в «Салоне» то же самое число картин, приблизительно того же качества, приблизительно с теми же сюжетами и, всеконечно, написанных в том же стиле.

— Видели вы новую пьесу Сарду?[116]

— Представьте себе, по всей вероятности, мне ее не придется еще увидеть: спешу в деревню; но завтра мы отправляемся в «Comédie Fransaise» посмотреть новую пьесу Дюма. Говорят, что обе пьесы очень похожи между собою, как по идее, так и по завязке.

И это совершенная правда; они, несомненно, более или менее одинаковы.

Чья же это вина, если не самих авторов?

Нет. Спросите-ка у драматических писателей, осмелятся ли они представить действие в том виде, как оно вдохновило их своей реальностью, с его логическим заключением, неизбежным по самому ходу событий, отбросив на этот раз годами установившуюся, банальную условную развязку?

— Нет, — скажут вам авторы, — о такой вещи нельзя и помышлять, — и они будут правы. Общество, придавленное бременем ханжества, не пойдет смотреть такую пьесу, как бы она ни была интересна; итак, автору приходится угождать вкусам публики, если он не желает разорить своего директора и самого себя.

То же самое относится к художникам, скульпторам и даже к композиторам. Какое огромное число любимцев муз были сведены в раннюю могилу вследствие враждебности публики ко всякому новому толкованию поэтических и музыкальных идей!

С одной стороны, раздаются жалобы на преобладание в искусстве скучного однообразия и даже пошлости, люди требуют чего-нибудь вдохновенного, чего-нибудь оригинального; с другой стороны, та же публика деспотически казнит вас за все, что выходит из ряда установившихся, условных понятий!

Давно бы пора, мне кажется, понять необходимость относиться к искусству с терпимостью и доверием, если мы желаем, чтобы оно «побраталось» с обществом, чтобы оно слилось с ним воедино, чтобы служить ему верой и правдой в нынешние беспокойные времена, когда поэты и художники являются солдатами на своих постах.

— Но послушайте, вы, представитель искусства, — спросят, может быть, у меня, — какие такие новости вам так желательно объявить нам, какие такие сделали вы открытия, которые были бы совершенно новы для общества?

Хорошо, то, что мы скажем, быть может, и не ново, однако несомненно, что идея об этом еще не проникла в сознание людей. Вооружившись богатыми, разнообразными ресурсами искусства, мы выскажем людям несколько истин.

— Перестаньте, — скажем мы им, — перестаньте услаждать себя иллюзиями идеализма, которые убаюкивают ваш разум, идеализма высокопарных слов и фраз, оглянитесь кругом себя глазами сознательного реализма, и вы убедитесь в своем заблуждении. Вы не христиане, какими желаете прослыть. Вы не представители христианских обществ, христианских государств.

Те, кто убивают себе подобные человеческие существа

сотнями тысяч, — не христиане.

Те, кто постоянно руководится в частной и в общественной жизни принципом «око за око и зуб за зуб», — не христиане.

Те, кто проводят многие часы своей жизни в церквах, однако не дают беднякам ничего или почти ничего, — не христиане.

Что сделали вы с заповедью Спасителя о христианском смирении и о вспомоществовании тому, кто находится в действительной нужде?

Позвольте спросить, в какое положение стали в настоящее время эти две великие администрации Церкви Христовой, которые называют сами себя римско-католическою и православною церквами, которые разделились, благодаря неумению сговориться между собою, исходит ли Святой Дух от Отца и Сына или же от одного Отца? Возможно ли, что они все еще не пришли к соглашению и, ослепленные обоюдною ненавистью, пренебрегают своей высокой миссией на земле?

Какое положение приняли эти новые церкви, сравнительно говоря, недавнего происхождения, на защиту более реального понимания связи жизни с ее Творцом? Возможно ли, чтобы, окончив борьбу со своей великой противницей, эти церкви также погрузились в сладкий сон относительно существующего порядка вещей и также отказались приложить свою руку к дальнейшим реформам?

Но если это так, то пусть даровитые люди стряхнут крепкую и властную спячку, в которую они погрузились; это трудная, зато благородная задача. А если откажутся выслушать нас, если будут пытаться сковать наши уста, ну, тем хуже будет для общества. Оно само пробудится от сна, но это будет слишком поздно: еще раз «вандалы сожгут Рим». Мы можем быть уверены, что тогда не будет пощады ни церквам, ни банкирским конторам.

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»

О прогрессе в искусстве

Мы, художники, учимся слишком мало, а если и заглядываем в книжки, то лишь на скорую руку и без всякой системы, словно мы считаем, что основательное образование решительно не нужно для развития наших дарований. Надобно признать, что в этом заключается главная, если не первая, причина, почему искусство не в состоянии достигнуть более полного и более совершенного развития и еще не успело до сих пор стряхнуть с себя неблагодарную роль служить лишь покорным и приятным усладителем общества, не успело еще до сих пор получить первостепенное значение не только в эстетическом, но также существенно в наиболее важном психологическом развитии человечества. Между тем как во всех других сферах интеллектуальной жизни допускается пробуждение новых идей, а вместе с ним и открытие средств к их осуществлению и усовершенствованию, в искусстве, в особенности в скульптуре и живописи, а также до некоторой степени в музыке все еще предъявляет свои права старая поговорка: «Великие мастера поступали так-то, а потому и мы должны делать то же». Можно заметить прогресс мысли в области какого угодно предмета. Наш взгляд на мир далеко не тот, каким он был несколько веков назад. Самые создания наших рук изменились и усовершенствовались, что касается до выполнения их. В таком случае можно бы предположить, что в области искусства, например, в живописи, всякая новая идея или более правдивый и натуральный стиль будут возможны; но нет! постоянно встречается одно и то же утверждение, что «не только по совершенству плана своих картин, но также по величию концепции старые мастера стоят на недосягаемой высоте, и нам остается только идти по их стопам».

Индивидуальное развитие, точно так же, как и развитие самого общества, значительно возвысилось над прежним уровнем. С одной стороны, наука и литература, с другой — усовершенствованные способы сообщения открыли новые горизонты, поставили новые задачи художникам. Все это вызвало и новые усилия. Но опять то же уверение загородило им путь: «Старые мастера делали так-то, а потому…»

В живописи это чрезмерное поклонение и подражание проявляются до некоторой степени в воспроизведениях обнаженного тела и в портретах, так как обе эти ветви художества достигли высокой степени развития у старых мастеров. Но даже и тут нас поражает однообразие выполнения, — эффект всегда один

и тот же: очень яркое освещение на очень темном, иногда черном фоне; эффект этот зачастую поразителен, но он искусствен, неестествен и не согласен с истиною.

Мастерские художников были в прежнее время, правда, малы и вследствие дороговизны стекол тускло освещены. Но тут же возле мастерских были дворы, сады и поля с прекрасным задним фоном и с обильным, разнообразным освещением, которое было бы так же эффектно и сделало бы черные тоны светлее и менее однообразными.

Известно, что темнота тона в старинных портретах может быть только отчасти отнесена к влиянию времени, в большинстве же случаев она сделана умышленно. При изучении целого ряда старинных портретов можно только сожалеть, что такая превосходная техника в изображении тела, лица, одежд, кружев, брильянтов и пр. гармонирует не с светлыми, воздушными тенями летнего дня, как это мы все хорошо знаем и видим, а с густым искусственным мраком. Без сомнения, новая школа художников окажет искусству услугу, когда выведет людей из темных аттиков[117] и склепов на яркий свет садов. Бесспорно, однообразный старинный стиль, при котором все являлось в одном и том же освещении мастерской, избавляет художника от массы трудностей и хлопот; но в художестве менее, чем даже в чем-либо другом, не должно колебаться стать лицом к лицу с трудностями в технике.

Обращаясь к исторической живописи, мы поражены значительно более интеллектуальным и характерным обращением с этим предметом в нынешнее время. История, конечно, все еще иллюстрируется более или менее забавными анекдотами, и художники довольствуются изображением того, что установила наука, вместо того чтобы внести в историческую живопись результаты своих собственных исследований; но даже теперь в ней есть весьма заметный прогресс над обычной лестью и не выдерживающими критики традициями, легендами и уверениями старой школы.

Если бы художники принялись за изучение истории не по отрывкам от такой-то до такой-то страницы, если бы они поняли, что подражание драматическому преувеличению на полотне устарело уже, они бы стали возбуждать интерес общества к прошлому совершенно иным путем, а не посредством анекдотической стороны предмета, живописных костюмов и типов большей частью баснословных. Действительно, до сих пор обработка художниками достопримечательных событий была такова, что вызывала улыбку у образованных людей. Но когда заменят лучезарный праздник исторической живописи более

удобными буднями, когда в нее внесут элемент правды и простоты, то, без сомнения, художники от этого выиграют.

Кажется, излишне упоминать о необычайном прогрессе, который замечается в наше время в пейзажной живописи; прогресс этот зависит от многих причин, но главным образом, разумеется, он обусловливается развитием естественных наук. Без преувеличения можно сказать, что пейзажи старых мастеров являются детскими опытами по сравнению их с произведениями лучших современных художников-пейзажистов. И действительно, трудно представить себе, как еще и в каком направлении пейзажная живопись может быть доведена до большего совершенства.

В так называемой религиозной живописи подражание старым мастерам почти так же велико, как в портретах. Но это вполне объясняется постепенным исчезновением религиозного чувства, а следовательно, предпочтением старого идеала созданию нового идеала без глубокой веры старых времен.

Тем не менее новая школа считает не только возможным, но даже необходимым отбросить унаследованные понятия, хотя бы и освященные веками и обычаем, если они противоречат художественному представлению и современному чувству. Быть может, религиозная живопись не поднимется теперь до второй эпохи «Возрождения», но тем не менее следует признать, что прогресс в техническом знании будет полезен даже для церковной живописи, если художник в своих изображениях Божества и святых на небесах или на земле заменит тусклое, скудное и однообразное освещение мастерской яркою, ясною, лучезарною атмосферою нежных, прозрачных, воздушных световых теней.

Для того чтобы сделать понятным наш образ мыслей, мы приведем в виде примеров несколько знаменитых произведений старых мастеров: например, общеизвестные картины Тициана в Венеции и Рубенса в Антверпене, изображающие Успение пресвятой девы Марии. Мы не будем говорить о великих достоинствах этих двух картин, признанных всеми; такой взгляд отнюдь не преувеличенная оценка. Если не подлежит также сомнению, что картины эти с течением времени потемнели, тем не менее не следует забывать, что они были написаны в четырех стенах и отделаны согласно традиционному контрасту очень сильного света и очень глубокой тени. Теперь спрашиваем, откуда могли бы явиться эти черные тени? Если Успение пресвятой девы Марии случайно произошло в пещере или в каком-либо темном месте с искусственным освещением, то тени эти стали бы понятны, но зато стал бы непонятным яркий свет.

Но Успение совершилось на открытом воздухе, и мы допустим, что Бог избрал прекрасный солнечный день для столь величавого и торжественного события. Тем ярче следовало бы написать эти картины по отношению к прямому и отраженному солнечному свету. Откуда же, спрашиваем, взялись эти черные тоны? Да они просто-напросто обязаны своим происхождением тому факту, что и свет, и тени взяты не из наблюдения, а придуманы, как говорят художники, «головой», а потому неверны с начала до конца. Но возможно ли предположить, чтобы такие великие художники, как Тициан и Рубенс, сами не сознавали подобных погрешностей? Разумеется, это так же трудно себе представить, как то, что великий Леонардо да Винчи не заметил бы неверного освещения в своей знаменитой картине красавицы «La Goconda»: он написал ее на открытом воздухе с резкими металлическими тонами на лице и с невозможным пейзажем на заднем плане. Неужели же он не имел понятия о дивно нежных светлых и полусветлых тонах, тенях и полутенях, переливающихся на лице прелестной женщины на воздухе и что все предметы на открытом воздухе принимают совершенно другой вид, чем между четырех стен?

Мы не станем слишком отвлекаться в сторону с нашими исследованиями и поставим лишь вопрос: требовалась ли такая точность от художника того времени? Нет, не требовалась. Но эти тонкости в наше время разве не требуются от художника? Да, требуются… Стало быть, ясно, что существует движение вперед.

Точно так же мы не можем предположить, чтобы другая погрешность в художественной концепции таких мастеров могла ускользнуть от их проницательности. Например, в изображениях апостолов, личности которых так полно выяснены в Евангелии, мы узнаем формы, лица и позы (особливо в картинах Тициана) не скромных простых рыбаков, а прекрасных итальянских натурщиков атлетического вида. Ошибка эта была, очевидно, понята даже тогда самими художниками с их обычным тактом и здравым смыслом, и Рембрандт пошел так далеко, что ввел в свои религиозные сюжеты голландские рыночные фигуры. Но тут все еще громадное расстояние от этого до правдивой передачи типов и костюмов, которая в настоящее время признается необходимой. Разве это не прогресс? Без сомнения, да. Мы отрицаем, чтобы изучение когда-либо создавало талант; но, с другой стороны, мы не сомневаемся ни на минуту, что оно служит стимулом для таланта.

Что же касается до времени и места, то поклонники старой манеры живописи так далеко простирают свое подражание, что не только пишут теми же красками и по тому же способу, как их излюбленные мастера, но даже стремятся придать своим

картинам тот особый цвет, который придало старым холстам время. Они покрывают свои картины темной блестящей краской, чтобы придать им вид древности, словно картины эти были написаны сто, двести, триста лет назад. Этому способу даже обучают во многих новейших школах, и отдельные художники приобрели большую славу как колористы только потому, что они могут придавать своим произведениям сходство с произведениями Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта или Веласкеса. Позволим себе надеяться, что новая школа станет работать более осторожно, не только по отношению к концепции своих сюжетов, но и в отношении красок, так как невозможно разработать правильно сюжет с известным количеством лаку, подражая полотну, которое от времени стало желтоватым или красноватым. Молодая школа художников примет за неизменное правило ставить каждое событие в гармоничное соответствие с временем, местом и освещением, дабы воспользоваться всеми новейшими изобретениями науки относительно характеристики костюмов и всяких психологических и этнологических деталей.

Сцена, которая происходит на небе или на земле, никоим образом не может быть написана в четырех стенах, а должна быть написана при настоящем освещении — утреннем, полуденном, вечернем или ночном. Иллюзия и эффект картины только выиграют от этого, и язык живописи станет выразительнее и удобопонятнее.

Быть может, с немногими изменениями, то же следует сказать о скульптуре и даже о музыке. Ныне все искусства, более чем когда-либо прежде, братья и сестры, и уже с давних пор были соединены в одном храме вкуса, ума и таланта.

Иван Николаевич Крамской[118]

К его характеристике

С насупленными бровями и наморщенным лбом, всегда резонировавший в речи и живописи, Крамской был все-таки симпатичен и своею любовью к труду, и своими попытками «смотреть в глубь вещей». Человеку, учившемуся не на медные гроши, часто было тяжко выслушивать его доморощенную философию, которую я называл, не стесняясь, «дьячковскою»[119]. После нескольких атак свежевычитанными заключениями Крамской обыкновенно ретировался от меня со словами:

— Вишь ты, — к вам и не подступишься!

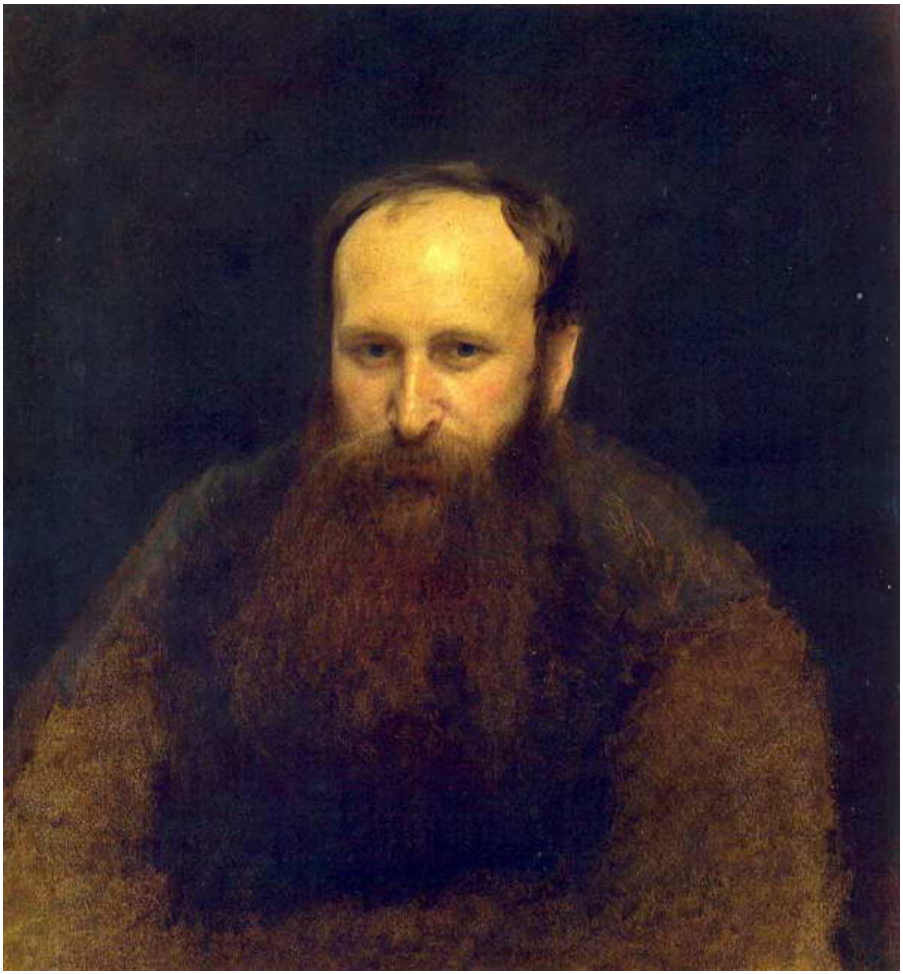
Как-то в Париже, под впечатлением прочитанной книги, он стал уверять, что чувства наши, может быть, обманывают нас и все существующее, в сущности, может быть, вовсе не существует…

— Да мостовая-то, по которой мы с вами теперь идем, существует или не существует, как по-вашему? — спросил я его.

— А почем знать, может быть, и это обман чувств…

— Ну, так вам нужны холодные души![120]

Однако, несмотря на частые пререкания этого рода, мы перестали видеться лишь в последние 6–7 лет его жизни, когда он стал очень тяжел и скучен, вероятно, под влиянием своей болезни. Помню, мне случалось часто бесцеремонно критиковать работы Крамского, говорить, что он пишет картины по-аптекарски, отпуская краски крохотными дозами и лепя рядом на лице в одном и том же заведенном им порядке розовый, желтый, зеленоватый, рыжий и другие тона; мне случалось говорить, что он рассуждает, как мудреный дьячок, и что Г. прав, уверяя, что «Крамской добрый малый, но с недостатком: как ступит шаг, так и начинает артезианский колодезь рыть». Все это услужливые люди, разумеется, с добавлениями, переносили ему, и после неудачи еще с моим портретом милейший К. рассердился на меня так, как только может рассердиться безнадежно больной человек на здорового, и отступившийся от прежнего идеала художник на смело несущего его вперед собрата.



В. В. Верещагин. Портрет работы И. Н. Крамского

* * *

Крамской был старше меня по классам Академии; он почти кончал академическое образование, когда я начинал его; помню, он обращал на себя внимание своим правильным рисунком, хотя уже и в то время сказывался у него недостаток чутья к краскам — сильные, правильные рисунки его делались иногда на белом фоне, что мне резало глаз.

Обладая недюжинным дарованием, он написал много очень похожих портретов, но не произвел ни одной из ряду вон выходящей картины. Лучшею из его картин я считаю «*Неутешное*

горе»[121]. Несмотря на то, что тут выставленные «воспоминания» азбучны, фигура женщины очень хороша и выразительна. «*Христос в пустыне*»[122] много ниже: мне, бывшему в Палестине и изучившему страну и людей, непонятна эта фигура в цветной суконной одежде, в какой-то крымской, но никак уж не палестинской, пустыне, с мускулами и жилами, натянутыми до такой степени, что, конечно, никакой натурщик не выдерживал такой «позы» более одной минуты. Да и что за ребяческое представление о напряжении мысли, сказывающемся напряжением мускулов!

Типы Крамского из простонародия хороши, но, например, типы в картине «*Русалки*»[123] не выдерживают самого снисходительного разбора.

Портреты очень хороши, не красками, по большей части фиолетовыми и как-то аптечно разноцветными, а сходством, действительно иногда поразительным. Я не знаю у нас другого художника, который так схватывал бы характер лица. Даже портреты *Репина*, много превосходя силою красок, пожалуй, уступают силою передачи выражения индивидуальности.

Что касается того большого полотна, над которым Крамской трудился 15 лет, в которое вложил свои лучшие силы и сокровеннейшие помыслы, то надобно прямо сказать, что оно ниже критики[124].

Крамской просто срезался на серьезнейшем труде своей жизни и на невозможном фоне каких-то фантастических зданий явил (после стольких лет ожидания) не написанную, а вымученную голову Христа, не только плохо исполненную, но, страшно сказать, банальную, вылитый портрет пошло-красивого тенора Николини! То же убийственное выражение в этой голове и на эскизах, и на скульптурных попытках, варварски раскрашенных самим художником.

Ошибка громадная, непоправимая, которую Крамской должен был чувствовать, и которая, вероятно, прибавила немало горечи характеру впечатлительного художника, рвавшегося сказать свое слово в искусстве, но задавленного урочным трудом, недостатком научного образования и тяжелым хроническим недугом.

* * *

Я познакомился с Крамским в 1874 году, по открытии моей Туркестанской выставки[125], когда он восторженно отнесся к моим работам. Письмо его о моих картинах, делающее честь

искренности его порыва, не знаю почему не напечатано между другими его письмами. Мы встречались затем хотя изредка, но весьма сердечно. Помню, он немного обиделся, когда в Париже не мог попасть в мою мастерскую, полную тогда и этюдов, исполненных в Индии, и больших полотен новоначатых работ. Он говорил о сбитых у меня в кучу свернутых полотнах и прочем с моего голоса — я не показывал ему ничего, несмотря на настойчивые просьбы, и это просто потому, что вообще не люблю показывать кому бы то ни было начатые, не выяснившиеся и для самого себя, работы.

Еще тогда Крамской предлагал мне написать портрет мой, но я отклонил, зная по опыту, что обещание кончить в один или два сеанса обыкновенно не сдерживается и надобно потерять 4, 5, 6 дней.

После выставки моей в Петербурге в 1880 году он снова просил позволения написать мой портрет, и так настойчиво, что я обещал сидеть, как только выберу время; вышло, однако, что мне пришлось, наскоро собравшись, уехать из Питера, и я письменно извинился перед Крамским, обещая высидеть в другой раз.

В 1883 году я выбрал, наконец, время для этого злополучного портрета и приехал в мастерскую Крамского. Первый сеанс затянулся страшно долго; огонь в камине давно уже погас и в мастерской сделалось холодно, а Крамской все просил посидеть еще, «еще немножко», «еще четверть часика», «минуточку»! Я страшно передрог и лишь добрался до гостиницы, как меня схватил сильнейший припадок азиатской лихорадки. Помню, что в продолжение всей ночи у меня было лишь одно желание — позвонить, позвать слугу, но я не мог этого сделать, потому что всякое малейшее движение вызывало самую жгучую дрожь. Только люди, страдавшие 25 лет сряду восточною, перемежающеюся лихорадкою, могут понять это удовольствие. Когда после нескольких дней болезни я случайно встретился с Крамским и рассказал о том, что случилось, он, кажется, даже не поверил и по обыкновению пустился рассуждать о влиянии тепла и холода на организм… даже досада меня взяла!

Вскоре он написал мне, прося привезти с собою несколько индейских вещей, индейский ковер, если можно, так как намеревался-де представить меня на индейском фоне с пледом на руке и проч, — очевидно, он сам был заинтересован и меня хотел заинтересовать портретом. Но я решил, что больше калачами меня не заманишь — и не поехал вовсе. Тут мой Крамской рассердился по всем правилам: «и невежа-то, и обманщик, и мазилка-то я», даже сочинил на меня безыменную статью для одной большой газеты…

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»[126].

И спал, и видел бедный Крамской если не картинами, то хоть портретами, заслужить европейскую известность; немало предположений его в этом смысле я выслушал и, по мере сил и уменья, направил — не выгорело, и давай финтить: «я, дескать, не то, что другие, я не ищу известности, не гонюсь за славою…» Дурная, не искренняя черта в талантливом и неглупом художнике!

P. S. Рассказ Крамского о *Ледакове* в своем роде маленький перл, который был бы более невинен, если бы не был адресован к художественному критику. Ледаков мой товарищ по Академии; мы вместе писали и рисовали в натурном классе. Не видевшись с ним 15 лет, я, естественно, пожал ему руку и поболтал с ним о прошлом и настоящем. Что может быть проще и натуральнее этого? Если бы мы были прежде более близки, то, вероятно, обнялись бы и облобызались — вот был бы Крамскому предмет для глубоких выводов!

Наивности

I

И[ван] С[ергеевич] Тургенев рассказывал, что у знакомого его, тароватого москвича М., управляющего делами покойного М. Д. Скобелева, был старый слуга, очень гордившийся своею близостью к храброму генералу, бывшему будто бы с ним в самых дружеских отношениях, совсем запанибрата!

— Захожу, говорит, раз в комнату Михаила Дмитриевича — дверь была не заперта, — а у него девица… Я и говорю: «Ах, ваше превосходительство, а еще Геок-Тепе[127] покорили! Нехорошо, нехорошо…»

— Ну, а он что же? — спрашивает Тургенев.

— Ничего — известно что: пошел, говорит, вон, старый дурак!

* * *

Это напоминает мне анекдот о наивности карабахского татарина: прибегает татарин к жене, совсем запыхавшись: — Хана видел сейчас! — Что ты! — Хан разговаривал со мною. — Что ты говоришь! что он тебе говорил? расскажи… — Едет, видишь ты, хан и с ним нукера… — Ну! — Ну, а я стою на дороге. Хан посмотрел на меня и говорит мне: «Что ты, говорит, на дороге-то встал, собака, пошел прочь!»

* * *

Известный естествоиспытатель *Н. А. Северцев*[128], так много потрудившийся в Туркестане, часто жертвовал собою для науки; известно, что его даже взяли раз в плен, хотели обратить в мусульманство, всячески истязали, рассекли нос и ухо, начали отрезать голову и т. п.

Никогда, однако, его жертвы на алтарь естествознания не имели такого успеха, как принесенные по случаю бывшего в 1868

году в Ташкенте землетрясения. В городе оказались аварии, много домов потрескалось, некоторые вовсе разрушились, и, разумеется, доискивались потом, в котором именно часу было землетрясение, какой силы, в каком шло направлении и т. д.

Северцев напечатал в «Туркестанских ведомостях» заметку с полным разъяснением явления, случившегося в 2 часа ночи, причем прибавил, что указанное им направление землетрясения не подлежит сомнению, потому что «все бутылки, стоявшие у него на столе, упали в одну и ту же сторону».

Мнение его и было принято, конечно, но мы, молодежь, состоявшая при генерале Кауфмане[129], подняли другой вопрос: зачем у Северцева были бутылки на столе? — Позвольте, позвольте, — приставали к нему, — вы говорите: это было ночью? — Да. — В два часа ночи? — Да. — Вы сидели за столом? — Да, сидел за столом. — И перед вами стояли бутылки? — Да, бутылки. — И много бутылок? — Да, несколько. — С чем были эти бутылки? зачем в 2 часа ночи бутылки?.. Бедный Н. А. начал, наконец, сердиться.

* * *

В бытность мою в Туркестане я был хорошо знаком с военным губернатором Г*. Уезжая в одну из экскурсий, я просил его подержать у себя, на время моего отсутствия, все мои наброски и этюды, писанные масляными красками, прибавивши крепко-накрепко просьбу не испортить их. Из путешествия писал об этом же, т. е. напоминал, чтобы этюды как-нибудь не попортились.

Приезжаю назад, и первый вопрос к Г*. «Целы ли этюды?» — «Целы, целы, в таком месте, что не могли испортиться. Мина! — зовет генерал слугу, — укажи Василию Васильевичу его картины…» Я отправляюсь и нахожу мои этюды — на погребе.

* * *

Г* был очень бравый генерал, но — из тех, что «пороха не выдумают». Между подчиненными его представился ему доктор *Иностранцев*.

— Это ваши известные капли? — спросил генерал.

— Нет, ваше превосходительство, то доктор *Иноземцев*, а я — *Иностранцев*.

— Иностранцев или Иноземцев — не все ли равно?

* * *

После третьего штурма Плевны я поехал как-то в штаб генерала *И. Д. Зотова*[130], по приглашению моего корпусного товарища П., бывшего адъютантом у генерала.

И так уж от военных неудач на душе было невесело, а тут еще погода стояла отвратительная; моросивший дождик успел вымочить меня за время переезда от Парадима до зотовского штаба.

Кроме П., в палатке были начальник штаба полковник Н. и гусарский юнкер Т., до войны состоявший секретарем посольства в Вене, а тут, при штабе, выручавший своего генерала дипломатиею и знанием французского языка в сношениях с «Румынским Карлою».

Было холодно, неприютно и голодно. Дождь полил такой, что солдаты не могли варить горячей пищи, да и большинство офицеров голодало.

Кажется, по случаю моего приезда Н. или Т., не помню, который именно, вытащили на сцену последнюю бывшую у них жестянку консервов: сосиски с капустою! Порция была по-братски разделена между всеми, и мы с П. сейчас же съели свои части, но Н. и Т., как истинные gourmets[131], распорядились иначе: достали спиртовую лампу и разогрели на ней choux-croute. Признаюсь, когда пошел аппетитный запах от зашипевшего на огне блюда, у меня слюнки потекли: вишь ты, думалось, злодеи, что сочинили, как это практично, — как я-то не догадался!

А они, заметивши нашу зависть, еще давай подзадоривать: «Ага! небось раскаиваетесь, что скушали; подождите, вот полюбуйтесь, как мы начнем есть сейчас!» — Минута нашего испытания наступила: приятели выложили сосиски на тарелки, вооружились ножами и вилками… В это время в отверстие палатки просунулась седая голова, с огромными темными очками, генерала Зотова, обратившегося с каким-то вопросом к Н. …

— «Милости прошу, ваше превосходительство, — поспешил выговорить тот, вскакивая с места, так же, как и Т., — не угодно ли закусить». — «Благодарю, не откажусь», — отвечал генерал, живший очень скупо и не позволявший себе роскоши консервов. Он сел к столу, нагнулся и, не промолвив слова, ни разу не оглянувшись на вытянутые физиономии стоявших за ним Н. и Т.,

съел все, решительно все!

— «Ну, господа, — сказал он, выходя из палатки и облизываясь, — вы тут, я вижу, роскошествуете». — «Попал пальцем в небо», — проворчал П., а Н. и Т. так и остались с опущенными головами…

* * *

Туркестанский генерал-губернатор *К. П. Кауфман*, строгий на вид и на словах, был, в сущности, очень добр и имел страстишку поболтать. В самаркандском походе он обыкновенно долго задерживал нас за столом, вернее, за скатертью, — потому что мы сидели и лежали прямо на земле, — разными рассказами из прошлого и настоящего своей жизни. Всем более или менее доводилось бывать жертвою его болтливости, но так как он был прекрасный человек, то никому и в голову не приходило претендовать на это или дать ему почувствовать, — последнее, впрочем, было и небезопасно.

Как-то в послеобеденной беседе генерал выразился, что «немало в отряде людей, любящих поговорить»…

— Да, ваше превосходительство, — отвечали ему, — они все замечены и отмечены по номерам — parlato[132] 1, parlato 2 и т. д.

— Может ли быть? Кто же первый?

— Михайлов, — отвечали ему хором. Кауфман очень смеялся.

— Ну, а второй? — Ответа не последовало, все уткнулись в тарелки. Он обвел всех глазами и понял — parlato № 2 был он сам.

* * *

К. П. Кауфман очень рано состарился. Назначенный генерал-губернатором 50-ти лет от роду, он был уже совсем лысый, с остатками совершенно седых волос на висках и затылке, с большими седыми же усами.

Раз, за столом у него, дипломатический чиновник *К. В. Струве* всех нас насмешил вопросом: «Позвольте узнать у вас, ваше превосходительство, вы были брюнет или блондин?»

* * *

Верно замечено, что все очень талантливые специалисты более или менее *тронуты*, т. е. прямо выразиться, более или менее сумасшедшие люди. Мыслимо ли, чтобы постоянное усиленное напряжение умственных способностей в одном и том же направлении, в продолжение 10, 20, 30, 40 лет прошло бы, не оставивши следа на мозговой деятельности!

Помню, в пору дружественных еще отношений Франции и Италии не мало шума наделало замечание французского артиллерийского офицера, состоявшего при своем посольстве в Риме. Взойдя на одну из возвышенностей близ города, он воскликнул: «Только одну батарею сюда — весь город можно разбить!» И французы, и итальянские друзья-офицеры, разумеется, уверяли, что это вздор, что умный человек не мог сказать такой неловкости и т. д. Я же думал, что, как хороший специалист, он непременно сказал это или, вернее, фраза эта сорвалась у него.

* * *

В том же самаркандском походе, в саду, где стоял штаб, командующий войсками держал военный совет: 5 или 6 генералов беседовали, сидя на земле в тени деревьев, а мы, молодежь, стояли поодаль и, конечно, не скучали, болтали, смеялись, кто острил, кто старался издали угадать, о чем могла идти речь у начальства. Я, художник, например, прищуривал глаза, любовался эффектом светлого пятна, образуемого белыми кителями на ярком фоне окружавшей зелени; а один артиллерийский офицер, очень милый, образованный, выпалил вдруг таким замечанием:

— Ах, славно их превосходительства сидят — одним снарядом я бы их всех уложил!

* * *

Князь К. рассказывал, что тушины Закавказья[133] и теперь еще порядочно дики, а во время Крымской кампании было от чего почесаться, глядя на их обращение с живыми и мертвыми неприятелями.

Проходит тушинский отряд горною тропинкою, и один из молодцов, высмотревши под кустом мертвое тело, сейчас же

соскакивает, чтобы обшарить труп. Так как он замешкался, то начальник партии окликнул: «Чего ты там отстал, поспешай скорее, еще прирежут тебя!»

Малый, не успевший сделать главного — снять с затекших ног обувь, быстро отрубил ступни, сунул их в карман и догнал своих — «сниму дорогою!»

* * *

Артиллерийский полковник К., бывший в мое время в Туркестане уездным начальником, а молодым офицером участвовавший в Крымской кампании, рассказывал за верное такой случай: пехотный полк должен был идти на штурм, и командир, желая ободрить людей, приказал позвать священника.

Батюшка ехал тихонько позади полка, в одной руке держа крест, другою подхлестывая свою лошаденку, когда прискакал адъютант: «Батюшка! полк идет в огонь, пожалуйте сказать людям несколько слов». Священник засуетился, захлестал клячонку, выехал перед полком и, второпях подняв ту руку, в которой была нагайка, вместо той, в которой был крест, зычным голосом закричал солдатам: «Дерзайте, друзья! уповайте на это; в этом ваша надежда — и спасенье ваше!»

* * *

Он же рассказывал, что в Севастополе офицеры в траншеях, страшно скучавшие по своим семьям, иногда нарочно выставляли руку или ногу под выстрел, чтобы только вырваться из несносного сиденья. Некоторые будто бы приходили в такое отчаяние, что вскидывали над насыпью обе ноги — «валяй на полный пенсион!»

* * *

Генерал Ф., бывший атаманом казачьих полков в минувшую войну, рассказывал, что, проезжая как-то захудалым, богом забытым местом, он встретил казака на пикете, совершенно удаленном от всякого жилья. «Как ты живешь тут, чем кормишься?» — спросил он, но ответа не было. «Что же ты не

отвечаешь?» Ответа нет. «Да ты глух, что ли? чем ты тут кормишься?» — «*Стараюсь*, ваше превосходительство!» — выпалил, наконец, казак.

* * *

Вскоре после падения Плевны сделалось очень холодно. Стояла сильная снежная вьюга, когда партия пленных турок тысяч на восемь шла мимо города по Софийскому шоссе, направляясь к Дунаю и России. При входе в Плевну стояли уланы, которым строго было приказано не пропускать пленных в улицы, так как боялись заразных болезней.

Напрасно многие старые полуокоченелые турки плакали, умоляя солдат позволить им обогреться в ближних домах. «Вперед, вперед!» — был ответ.

Дозволялось только отбегать с дороги к ближнему сараю, под крышей которого несколько донцов торговали черным хлебом, и торговали отлично: голодные, измучившиеся плевненские герои нарасхват брали маленькие хлебцы фунта в 2 по 50 копеек, а потяжелее — по 1 рублю.

У одного казака вышел шум: старый турецкий солдат кричал на него и чуть не лез в драку. Я понял в чем дело — очевидно, казак взял дороже, чем следует.

— Отдай, говорю, сейчас лишние деньги, или я обращусь к офицеру!..

Тот вырвал у турка хлеб, выкинул ему из шапки *золотой* и проговорил с искренним негодованием: «Отвяжись ты, *беспокойный*!»

* * *

В одной из стычек с таранчами[134] сибирский казачок любезно предупредил меня, что надобно остановиться; преследовать-де нельзя, так как там далее, за крайними саклями, «шибко стреляют». «Ну так что же, что стреляют, нам что?» — отвечал я. «Да ведь пулями стреляют!»

* * *

Служивший в Семиреченской области уездным начальником майор З. рассказывал мне, что раз военный губернатор генерал *Колпаковский* послал доверенного человека, соглядатая, в Кашгар — разузнать там о положении дел.

Тогдашнему правителю Кашгара Якуб-Беку, или Эмир-Якубу, как называли его туземцы, тотчас дали об этом знать, но, не будучи в состоянии сказать наверное, кто именно послан, уведомили только, что у шпиона примета: «рассечено левое ухо».

Якуб велел обойти базары, забрать и привести всех, у кого оказались шрамы на левом ухе — отыскалось таких человек семь, — и велел зарезать всех, чтобы не ошибиться.

II

В бытность мою в Тифлисе я как-то отдал починить мою шинель портному, армянину Петро. В очень ненастный день, когда дождь лил как из ведра и грязь на улице стояла невылазная, встречаю похоронную процессию, в хвостике которой, понуря голову, плетется мой портной в моей шинели.

— Петро, — говорю, — никак, ты с ума сошел!

— Ну что такой, — ответил он, — разве не видишь, какой погод?

* * *

Не поручусь, чтобы тут была одна наивность и не было некоторой дозы юмора. Армяне — одна из самых остроумных наций в мире.

На армянском базаре в Тифлисе, когда покупателей мало и есть досуг торговцам, шутки и остроты не умолкают.

Вот идет по базару рябой.

— Князь, князь[135]! — кричит ему армянин.

— Что тебе? — оборачивается тот.

— Должно быть, у вас дождик-то сильный был и с градом.

— Да, сильный, и град был, а ты почем знаешь?

— А по лицу твоему вижу.

* * *

Идет щеголь-грузин, лихо заломивши шапку набекрень, и, по обыкновению тифлисских франтов, одна штанина выпущена, другая заткнута в сапог.

— Хочешь, сниму сапог у этого князя? — спрашивает сосед соседа.

— Полно, что ты, он тебя так попотчует, что отскочишь!

— Уж не твое дело, давай биться.

— Изволь.

Побились об заклад.

Шутник догоняет молодца и с ужимками и раболепием жида, лебезящего перед ясновельможным паном, говорит ему: «Возможно ли это, князь? не смею верить!» — «Что такое?» — «Сосед мой говорит, что знает вас, что у вас 7 пальцев на левой ноге?» — «Что за вздор!» «Мы даже об заклад побились, выручите меня, не дайте проиграть…» В конце концов великодушный грузин снимает сапог…

* * *

Старик Б. жаловался мне на своего знакомого, угостившего его кислым вином: «Знаешь, Василий Васильевич, такого дал вина, что вспрысни хоть каплю *лошаку* в нос — самого губернатора лягнет!»

* * *

Введение новых налогов в 1865 г. дало повод к настоящему бунту в Тифлисе. Особенно непопулярен был налог на лошадей, по поводу которого пробовали объяснять народу, что везде в Западной Европе налог этот давно уже существует. «Ну так что же, что существует, — отвечали армяне, — там лошадь содержат, а здесь лошадь содержит».

Один из моих знакомых упрекал амкара (цеховой) за возмущение: «Зачем бунтовать, — говорил он, — разве иначе нельзя выразить свое недовольство?»

— А ты баранка знаешь? — спросил тот вместо ответа.

— Знаю.

— А чабан (пастух) знаешь?

— Знаю.

— Ну вот, когда чабан стригай шерсть, баранка *спай* (спал), а

когда он кожа стригай — баранка лягай! Баранка — ми, чабан — наместник. Когда он нам шерсть стригай — ми спай, а когда он нам кожа стригай — ми лягай! Понимаешь?

Одна из существенных сторон этого возмущения состояла в том, что амкары закрыли все свои лавки, а в оставшиеся открытыми лавки русских и иностранцев отправили депутатов с предложением присоединиться к стачке или быть готовыми к неприятностям.

В известном магазине француза Т., торговавшего между прочим и фортепьянами, колоссального роста амкар так объяснил свою миссию: «Мадам! хочешь барыня играл на твой фортепьян — закрой лавка, хочешь я играл — открой!» Француженке довольно было взглянуть на гиганта и на его руки, чтобы решиться сейчас же закрыть магазин.

* * *

Не знаю хорошенько, кабардинцы или осетины посылали будто бы депутацию к императору Александру I, и один из седых предводителей их кончил так свою речь: «Мы знаем, государь, что ты великодушен и милостив, что ты желаешь нам только счастья. Но мы слышали, государь, что около тебя есть дурной человек по имени „Правительство“, от которого мы страдаем — прогони, молим тебя, государь, прогони его от твоего лица!»

* * *

Последний раз я возвратился из Туркестана через Сибирь; по курьерской подорожной скакал 4 недели сряду, то делая по 250 верст в сутки, то кружась целую ночь в снежной вьюге за 2, 3 версты от станции.

Еда была, конечно, не знаменитая, и, признаюсь, мысль о хорошем обеде в Москве часто занимала голову.

Приехавши в «матерь городов русских», я отправился в Патрикеевский трактир и только было расположился, под звуки органа, выбрать блюда, как подскочили половые с просьбою «пожаловать на черную половину». Я был в новом романовском полушубке.

— Почему же это? Ведь от меня не воняет!

— Никак нет-с, только вы в русском платье.

— Ну так что же?

— В русском платье не полагается — пожалуйте на *русскую* половину.

— Не бушевать же в трактире, — похлебал ухи на черной половине.

* * *

В Академии Художеств за мое время были введены классы наук, экзамены которых, более чем рисовальные, смущали юных художников.

Одному из моих товарищей М., очень милому малороссу, туго давалась грамматика, так что я помогал ему, экзаменовал иногда; это подзадоривало брата его, — уже пожилого, но совсем малограмотного художника, — показать свое знание, и к моим вопросам он прибавлял иногда свои: «Ну, а стол, вот что такое?» — Имя существительное. — «Неправда, — перебивал он: — веществительное — ведь это вещь? Ну значит — веществительное!»

* * *

Художники в высшей степени свободолюбивый народ, всякая дисциплина им в тягость, пожалуй, музыканты более всех капризны и своевольны.

Почтенный директор одного из берлинских театров, прежде управлявший оркестром, рассказывал мне такой случай из своей старой практики: раз перед началом концерта один из музыкантов заявляет, что он не хочет сегодня трубить (ich blase nicht heute). — «Что-о!» — «Не буду трубить, да и баста». — «Вы с ума сошли, вы будете трубить! (Sie verden blasen)». — «Сказал, не буду, и не буду!» — «Я вас заставлю!» — «Нет, не заставите!»

Молча, помявши сигару в зубах, и голосом, в котором еще слышалась обида, мой рассказчик прибавил тихо: er hat nicht geblasen! (так и не трубил!)

* * *

В 1883 году, во время коронации, я смотрел на процессию переезда государя в Кремль из толпы перед Петровским дворцом, примостившись на досках, переброшенных через две бочки, рядом с крестьянами, мещанами и бабами, разумеется, ахавшими и охавшими на все лады. Вдруг все обернулись назад: «Глядите-ко, глядите, какой енерал едет, должно быть, из иностранных…» Это ехал, развалясь в коляске болгарского князя Батенберга, его кавас Христо, обшитый золотом и вооруженный до зубов. Знавши Христо по походу в Адриаполь, во время которого он состоял переводчиком при отряде и ежедневно доставлял мне от жителей сведения о неприятеле, я окликнул его — старый боевой товарищ подбежал и на радостях покусился поцеловать протянутую ему руку.

Когда он опять сел в коляску и укатил, я оказался в большом авантаже от его внимания: насколько прежде бесцеремонно давили и толкали меня, настолько теперь, почтительно сторонясь, щадили мои бока, и я слышал, как одна кумушка шепнула своей соседке: «Вот и распознавай теперь людей — кто думал, что такой человек с нами стоит!»

* * *

Проезжая в первый раз на Кавказ в 1863 году, я засел на одной из станций «за неимением лошадей». Станционного дома не было, он сгорел, и пришлось коротать время в избе, в которой жили староста с семьею и ямщики и грязь которой была по этому случаю образцовая. Тут были куры, свиньи и телушки.

Чтобы не терять золотого времени, я вынул дорожный альбом и начал заносить всю обстановку избы с людьми и животинками. Многие подходили, узнавали предметы, дивились, а наконец, подошел и староста, долго молча смотревший на мое занятие. «Что это вы пишете?» — «Как видишь, заношу на память твою хату, со всею хурдою». — «А зачем это, позвольте узнать?» — «Так, для себя». — «Позвольте просить вас не писать». — «Почему это?» — «Да ведь станция беспременно скоро будет готова, я уж тороплю, тороплю…» — «Да мне-то что же до этого за дело?» — «Помилуйте, мы хорошо понимаем, только ведь это не по моей вине проезжающие останавливаются здесь… Позвольте просить вас не писать!»

Так как я не покидал занятия, то смущенное начальство ушло и, вскоре возвратившись, объявило: «Пожалуйте садиться, лошади готовы!»

Я еще не знал тогда, что карандаш и перо могут быть такими талисманами.

Листки из записной книжки

ЛИСТОК 1-й

Мне случилось уже писать о реализме[136]; теперь еще раз скажу: *реализм* картины, статуи, повести, музыкальной пьесы составляет не то, что в них реально изображено, а то, что просто, ясно, понятно вводит нас в известный момент интимной или общественной жизни, известное событие, известную местность. Есть немало художественных произведений, исполнение которых реалистично, но самые эти произведения, в целом, не могут быть причислены к школе реализма.

Для пояснения сказанного возьму несколько примеров и прежде всего известную картину Брюллова «Последний день Помпеи», бесспорно имеющую много достоинств[137]. Как объяснить то, что изображение ужасного момента мало ужасает зрителя? — Очень просто: художник одинаково заботился и о том, чтобы дать правдивое изображение страшной ночи, и о группировке действующих лиц, красоте линий — в этом достоинство картины для поклонников старой «исторической живописи» и недостаток для последователей реалистического направления. Группы и линии сообщают картине известную размеренность, холодность — в натуре жители города стадно бежали, спасались, не заботясь о том, составляют они красивые группы и линии или нет.

Затем, рисунок прекрасный, живопись превосходная; но как же первый оставил ясными, даже резкими, все контуры, несмотря на то, что сцена происходит на воздухе, ночью, а вторая почти не приняла во внимание ярких отсветов Везувия — раскаленная лава огнедышащей горы, видимо тянущаяся далеко вперед по правой стороне картины, должна была бы дать чрезвычайно сильную красную краску всем фигурам, а не затронуть их только слегка; иными словами: вся толпа должна была бы быть залита красным светом, с небольшими лишь рефлексами от луны, освещение которой ничтожно сравнительно с светом громадного, до неба поднимающегося, столба красного пламени!

С этой стороны картина, представляющая то же самое извержение огнедышащей горы, мариниста Айвазовского, несмотря на примитивность техники, сильнее передает впечатление безотрадного ужаса события.

В общем, повторяю, в знаменитой картине Брюллова очень много таланта, академического знания и уменья, много реальности в исполнении, но мало «реализма».

Возьмем известную картину другого не менее знаменитого художника Иванова — «Явление Христа народу». Изучение местности и типов добросовестное, насколько возможно изучать издали — верно передать Палестину по этюдам, деланным в Италии, довольно трудно. Одежды все новы и надеты рутинно, по академическому шаблону, особенно на Иоанне Крестителе. Крест в руках последнего совсем не логичен — откуда, зачем он? Рисунок превосходен, но сух, контуры обведены точно проволокой, что непонятно на открытом воздухе. Живопись не так блестяща, как у Брюллова, хотя тоже академически очень умела и старательна, но исполненная в четырех стенах, неверна месту, знойной пустыне; в картине нет воздуха, жары, так же важных для общего впечатления, как и небо, и растительность, если не более.

В общем, опять очень много знания, много наивной своеобразной прелести в исполнении, но «реализма» нет.

Мне скажут, что Иванов не мог совершить путешествия в Палестину по неимению средств — отвечу: должен был. Он мог получить даровой или очень удешевленный проезд туда и обратно, а на расходы в Святой земле хватило бы того, чем довольствуется большинство паломников, т. е. не более того, что стоило путешествие по Италии.

Зато в Палестине художник сразу напал бы на типы аскетов, вроде Крестителя и учеников его, странствующих купцов и других лиц, изображение которых стоило — судя по этюдам — больших розысков; громадных трудов и все-таки не дало удовлетворительных результатов. Белоручки, ученики Крестителя, с Иваном, будущим богословом, во главе, расчесавшим и чуть не напомадившим свои волосы, конечно, не имеют ничего общего с типами анахоретов, до сих пор ютящихся в песках и пещерах Иорданского берега.

Известно, что Иоанн Креститель не стриг и не чесал своих волос — может быть, в продолжение 20–30 лет — значит, они были сбиты у него в длинные, до пояса, пряди, род колтуна, который и теперь можно видеть у факиров, дающих обет не трогать своих волос. Откуда же пряди чудесных, с маслянистым отблеском, бесспорно умело подстриженных волос, на голове проповедника? Откуда, как уже замечено, новенький, чистенький, правильными академическими складками лежащий плащ? Ни пятна, ни дырочки или какой иной зазоринки на этом плаще,

служившем, конечно, постелью и покрывалом по ночам, так же, как защитою от солнца и непогоды днем.

Исполнено реально, а «реализма» нет.

Скажут еще: вы слишком требовательны; не все имеют возможность путешествовать, не все имеют средства и здоровье для этого, не все, наконец, согласятся перемещаться. — Тем хуже для них!

Вот крупный русский художник, задумавший писать большую картину из жизни Христа, понимавший необходимость съездить для этого в Палестину, собиравшийся туда, пособиравшийся, не попавший и наделавший из-за этого промахов в своем добросовестнейшем труде.

Вот очень талантливый французский художник, получивший от англичан заказ написать несколько картин из войны с Ашантиями, не решившийся переместиться на время, для ознакомления с природою и людьми, из Парижа в Африку и тоже наделавший ошибок, потому что типы, пейзаж и самая концепция картин — сражений в Африке — отзываются шаблоном, реляциею, французским военным шиком.

Вот прекрасный немецкий художник, изображая на огромном полотне сцену прорыва при Седане[138] французской кавалерии через ряды германской пехоты, представляет группу прусских солдат, смеющихся во всю глотку над неприятельскими кирасирами! «Он ведь не был никогда в разгаре боя», — сказал мне один наш общий знакомый, когда я заметил эту несообразность, утрировку, — тем хуже, если он не был!

Еще пример: бывалый зритель найдет, что пейзаж снеговых гор не верно передает горную природу: воздух-де на этих высотах иной, он резче, тени сильнее и т. д., — а ему ответят: «Да, это правда, но художник страдает одышкою, он только раз поднялся на высоту и, несмотря на все желания, не мог проверить свое первое впечатление». Зрителю, публике, критике нет дела до этих резонов: в искусстве более, чем в чем другом, трудности исполнения не принимаются в расчет и ценится лишь результат: чтобы было, а как, каким образом это достигнуто, до этого нет дела.

Я лично полагаю, что для всех деятелей на поприще наук, искусств и литературы, для ученых, художников, литераторов и даже музыкантов путешествия составляют хорошую школу, просто необходимость: в наш век развития пароходства и железных дорог не пользоваться средствами передвижения, не учиться на живой летописи истории мира — значит вырывать самые интересные страницы из книги своего бытия…

Еще яснее, чем на приведенных примерах, может быть

прослежен недостаток реализма, при значительной доле реальности в исполнении, на одном новом полотне, тоже очень больших размеров: «Покорение Сибири Ермаком». Писал очень талантливый реалист, но произведение в общем представляет какую-то апофеозу бравого атамана и его товарищей. Автор потратил много труда на частности, но упустил из вида главное: факт сравнительной легкости, с которою огромная область была захвачена, *благодаря превосходству вооружения*. Что казакам нужны были храбрость, неустрашимость, сметливость — в этом не может быть сомнения, но что Ермак в Сибири, как Кортец[139] в Америке, своими баснословными успехами обязан в большой мере пушкам и ружьям, которых у туземцев не было и которые наводили на них настоящий ужас, — это тоже бесспорно.

Оба завоевателя *издали* разгоняли многотысячные толпы противников, не выносивших не только действия пуль и ядер, но и грома выстрелов, так что вплотную им не приходилось встречаться, — в тот час, что Ермаку пришлось столкнуться с несметными полчищами Кучума так близко, как представлено на картине, он пропал!

Затем непонятно, почему отличные стрелки, какими всегда считались сибиряки, целя из страшных в их руках луков в группу Ермака с товарищами чуть не в упор, не могут попасть в глаз, ухо, шею и т. п.?

Венская карикатура на В. В. Верещагина, относящаяся ко времени его выставки в Вене (1881 г.)

Будапештская карикатура на В. В. Верещагина (1886 г.)

Почему опытные в боевом деле и вороватые казаки неразумно подставляют себя под выстрелы, стоят, да еще в кучке, а не лежат на дне своих лодок?

Почему казаки одеты в формы XVIII столетия? Почему в XVI веке они стреляют ружьями XVIII, кремневыми, а не фитильными, что на два столетия упреждают изобретение кремневых курков.

Почему, наконец, в картине столько битюма[140], что она совсем рыжая, — воздух на Иртыше и на других сибирских реках столь же прозрачен, как везде, и в нем нет битюмных тонов!

Говорят, реализм сплошь и рядом влечет за собой бессилие техники, слабость исполнения в рисунке и красках, — это говорят псевдоклассики, и можно только ответить на это: очень жаль! потому что художественная техника — это грамматика, без знания которой никакие стремления в искусстве не серьезны и походят на замыслы младенца…

Теперь уже настало время, когда слово «реализм» перестало быть бранным в искусстве, когда реализм, ставши крепко на ноги, завоевавши право гражданства, перестал быть пугалом консервативных кумушек. Роль страшилища, «колебателя уставов», переходит к импрессионистам, символистам, декадентам — по правде сказать, довольно невинным колебателям, — покамест идущим ощупью, но вскоре, вероятно, имеющим выработать из всех своих попыток и проб систему. Проявления жизни так разнообразны и выражения этих проявлений так обязательно изменчивы, что сомневаться в этом нельзя.

Пожелаем нарождающейся школе столько же терпения и настойчивости в труде, сколько проявили реалисты во всех своих манифестациях в науке, литературе и искусстве, прежде чем добились своего теперешнего положения.

Пока в работах юных школ недостает связи, усидчивости, но это только пока, и можно надеяться, что дружными усилиями молодых талантов нового направления выработаются взгляды и понятия, которые составят серьезный вклад в сокровищницу человеческого духа.

Девятнадцатый век прошел в борьбе различных проявлений этого духа, от умиравшего классицизма, через романтизм, до реализма включительно, и торжеством этого последнего он заканчивается. Но новые веяния уже дают себя знать, — веяния пока неясные, слабые, малопонятные, — и весьма вероятно, что к середине XX столетия нас зачислят в разряд старых колпаков, идеалистов, а декадентские потуги конца нынешнего века выработаются в связное, стройное целое — только какое?

Как далеко и в каком направлении новая школа пойдет? Какую боевую кличку она примет?..

Говорят, что слепой сказал: увидим! — этим слепым будем мы — наверное не увидим!

ЛИСТОК 2-ой

Прежде полагали, что художники и поэты не должны быть ни очень умными, ни очень образованными — точь-в-точь так же, как хорошенькие женщины. Наивность и невежество придавали будто

бы последним пикантности, а первым — бессознательной ширины творчества.

Лозунг «искусство для искусства» торжествовал. Говорили: что осталось ценного во всем скарбе старого творчества, как не техника? Что сталось теперь с мыслями, тенденциями прежних мастеров? Они сданы в архив, тогда как, например, полотна с живописью старых школ ценятся на вес золота!

Ввиду того, что в этом роде опять немножко говорят и нынче, я возьму на себя труд спросить: а что направляло руки художников, что подвигало их на создания шедевров техники, как не мысль, не тенденция? Например, намерение художника показать, что мать Христа — Божия Матерь, вдохновляло его на произведение прелестной, неземной красоты головы, удивительно исполненных рук, одежды и проч… и есть все основания думать, что не задайся художник тенденциею, пиши он просто миловидную голову, красивую руку или драпировку — техника его не дошла бы до такой высокой степени совершенства. Очевидно, мысль, тенденция не только не вредят технике, но, напротив, служат стимулом к совершенствованию ее.

Повторяю, в последнее время, под влиянием толков о банкротстве науки и тому подобных умозрений, снова явились веяния в сторону лозунга «искусство для искусства», но культурная часть общества продолжает откликаться преимущественно на то, что вызывает не только созерцание, но и размышление. За последние мои выставки в Европе я имел случай еще раз убедиться в этом: хотя многие этюды, с натуры севера и юга России, смотрелись и одобрялись, главное внимание публики все-таки привлекалось картинами из кампании 1812 года, в которых Наполеон представлен не только героем, но и человеком, не только полководцем, но и страдающим смертным.

Кстати о Вене, где в последнее время была моя выставка[141]. Кажется, я не ошибся, подметивши в этой столице одну черту, отчасти, может быть, обусловленную большим процентом славянского элемента в городе, — черту недоверия к своим силам, своим порядкам. С одной стороны немцы, отрезанные от Германии, стыдясь необходимости считаться и идти об руку со славянами, не верят, чтобы при таком порядке вещей было создано у них что-либо хорошее, достойное подражания. С другой — славяне, издавна приниженные, не избалованные похвалами, также недоверчиво относятся к ним… Насколько берлинец,

парижанин или лондонец всерьез выслушает одобрение Берлину, Парижу, Лондону, настолько же скептически примет похвалу Вене венец: правду ли вы говорите? Не шутите ли?

А новая Вена замечательно хороша. На что берлинец справедливо гордится своими музеями, устроенными не в старых приноровленных, а нарочно выстроенных зданиях, — венские музеи еще лучше: кто их не видел, тот не может себе представить удобств, красоты, роскоши постройки и обстановки. Жаль только, что архитектурные линии массивных зданий музеев и памятника Марии Терезии между ними не поддержаны зеленью разбитого тут сквера. Крошечные стриженые кустики, симметрично рассаженные, производят на меланхолика впечатление кладбища, а человеку более жизненно настроенному напоминают маленькие сахарные венские булочки… Несколько развесистых деревьев, там и сям разбросанных, побольше скамеек и играющих детей внесли бы разнообразие и оживление в это теперь пустынное, печальное место и, конечно, развлекли бы скучающую на ее высоком пьедестале императрицу.

Заведя речь об общественных зданиях, я позволю себе посоветовать венцам непременно достроить собор св. Стефана, возвести вторую башню, все еще отсутствующую[142]. Если великий художник, составивши план, не успел выполнить его, то святой долг сограждан — коли они уважают свою славу в лице великих людей — докончить его предначертания. С обеими башнями венский собор св. Стефана будет красивее и величественнее даже Кельнского собора.

Найдется немало венцев, которые скажут: мы не желаем второй башни, потому что привыкли к одной; Stephan’s Kirche с двумя башнями будет чужой, не наш венский собор. На это я отвечу так: в одной семье папаша был крив на один глаз, что ему не помешало, конечно, вырастить и воспитать детей. Нашелся доктор, который, осмотревши нечувствительный, по-видимому, зрачок, объявил, что можно дать ему жизнь и зрение. Как, вы думаете, отнеслись к этому дети? Порадовались? — Ничуть! Они ответили: нет, доктор, оставьте нам нашего милого папашу с одним глазом, мы привыкли видеть его кривым, — с обоими глазами он будет чужой, не наш папаша…

Венцы стыдятся своих парламентских ссор и драк. Я согласен, что последние очень назидательны, но в то же время думал и продолжаю думать, что и в самой Австрии и во всей Европе слишком легко относятся к событиям, вызвавшим эти припадки буйства, эту междоусобицу. Такие серьезные кризисы случаются в государствах, как и в семьях: бывшие малолетки подросли и требуют равноправности с старшими; если молодежь

нетерпелива, а старики неуступчивы, то без печальных сцен дело не может обойтись… Коли прибавить явные недочеты и недосмотры в регламенте австрийского парламента, то сделается понятным, почему на него обрушилось, в нем нашли исход все несогласия государства.

В республиканской Франции сначала huissier[143], а потом капитан республиканской гвардии, с отрядом солдат, тотчас уняли бы бушующих, но улица, по всем вероятиям, заявила бы свое недовольство еще более серьезным образом, за что и расплатилась бы тоже серьезнее. Французы — великие поборники свободы, но с нею не очень церемонятся.

Даже в свободной Англии не обошлось бы без того, чтобы нарушителя парламентского благочиния не вынесли на руках, со всеми признаками внимания к нему. В Англии свобода очень велика, но если ирландцы там требуют себе равноправия с англичанами, то с ними не церемонятся. В 1887 г. я хотел съездить из Лондона в Ирландию, где в это время происходили знаменитые evictions, т. е. массовые выселения фермеров полицейской силою, среди зимы. Запасшись несколькими рекомендательными письмами в Дублин, я в конце концов не поехал туда, по той простой причине, что все джентльмены, к которым были адресованы мои рекомендации, сидели в тюрьме…

Попытка разрешать крупные недоразумения между различными народностями и между ними и государством в стенах парламента, без революции на улице, стоит внимания. Даже и при драках креслами, перочинными ножами и тому подобным, эти попытки — прогресс сравнительно с тем, что обыкновенно бывало в таких случаях до сих пор: грохот выстрелов, свист пуль, картечи, городские госпитали, полные ранеными, умирающими… До сих пор немало людей, полагающих, что «разговор пушек и ружей» не так дурен, как о нем думают, что он имеет свойство успокаивать страсти, «очищать воздух». Может быть, немедленные последствия действительно успокоительны; но пример, школа такого рода разговоров, по своей заразительности, по своему ужасному воспитательному влиянию нежелательны…

Помню, мне случилось говорить об этом вопросе с покойным французским писателем Александром Дюма-сыном[144]. «У вас во Франции, — сказал я ему, — войско, конечно, еще сила и опора для борьбы с внешним врагом; но всегда ли оно надежно для

внутренней неурядицы? Что вы сделаете в случае серьезных замешательств, если на этот вопрос придется ответить отрицательно?» Дюма подумал немного и потом, нагнувшись к моему уху, выговорил: «Еще будут стрелять!» Это настоящий ответ практического философа, каким был Дюма. Его миросозерцание как нельзя более подходило к окружающей среде — парижским салонам.

Раз я заметил ему, что в наделавшей столько шума брошюре «Jes fammes gui tuent et les fammes gui votent»[145] он, обсуждая одну тему с Эмилем Жирарденом[146], далеко меньше развил свои заключения, чем этот последний, и остался позади того, что сам же говорил.

— А сколько, думаете вы, людей прочитало брошюру Жирардена? — ответил он мне. — Уверен, что не более двадцати тысяч; а мою прочитают и все два миллиона.

По той же самой высокой практичности интересен совет, данный Дюма одной особе, обладательнице двух знаменитых картин Реньо и Фортуни[147].

— Мне предлагают за эти полотна 500 000 франков, — сказала она писателю-философу, — посоветуйте, отдать или нет?

— Сударыня, — ответил Дюма, — как обладательница этих картин, вы известная личность, особа в Париже; если же вы их продадите, вы сделаетесь ничем — решайте сами.

ЛИСТОК 3-ий

А. Дюма был очень избалован отношением общества к нему как к высокоталантливому писателю и сыну гениального отца. Иностранцы, в бытность в Париже, считали за большую честь знакомиться с этим оракулом городских салонов и всячески ухаживали за ним; он же держался высокомерно и сходился нелегко, — только русские, пожалуй, составляли некоторое исключение, так как он женат был на русской. Большой приятель писателя, художник Мейсонье[148], так и говорил ему обыкновенно: «твой русский, твои русские»… В первый раз, что я у него был, Дюма рассказал, что его две дочери не крещены: «Когда вырастут, пусть сами выберут себе вероисповедание или по своему желанию, или по вере будущего мужа». Мне понравилась простота нравов семейства писателя: за завтраком дочери его, тогда уже взрослые девушки, без стеснения хохотали, а косточки курицы брали в руки и обгладывали не хуже папаши, нимало не церемонясь присутствия постороннего человека.

Дюма с гордостью показывал свою картинную галерею. Художники отдавали ему картины по уменьшенной цене, считая

за честь помещать их в собрание человека с таким именем и таким вкусом. Когда после он распродал свою коллекцию, некоторые обиделись и обвинили его в барышничестве: «Купил, — говорили они, — по дешевым ценам, а распродал по дорогим». Известный художник J. так рассердился, что изобразил писателя в виде еврея-старьевщика, что вызвало настоящий скандал: зять Дюма Л. пришел в галерею Petit, где акварель была выставлена, и палкой разбил стекло и прорвал картину; дело доходило до судебного разбирательства. Дюма тогда осуждали; между тем я хорошо помню, что раз, провожая по лестнице, увешанной картинами, он сказал мне: «Видите, как все наполнено, даже некуда уже вешать, а отказываться нельзя; J. каждый раз, что я у него бываю, предлагает: возьмите да возьмите — приходится брать, чтобы только не обижать». Помня эти слова, я считал J. виноватым в этой истории.

Остроты Дюма передавались в большом свете из уст в уста. Его отзывчивость на все вопросы текущей жизни была замечательна: она сказывалась живою проповедью, пьесами, брошюрами и была всегда не только блестяща, но и смела, — разумеется, относительно, принимая во внимание среду, в которой он вращался. Почти все его литературные работы имели очень большой успех, так что уже в молодых летах он сделался в полном смысле слова модным философом-писателем с готовыми, как у оракула, ответами на все злобы дня. В результате его самомнение было очень немалое, — оно заходило так далеко, что, например, в перебранке с Золя[149] он утверждал, что по части вольности на театральных подмостках немыслимо идти дальше того, что позволил себе он, и что ни один уважающий себя драматический писатель никогда не должен переступать эту границу (jamais![150]).

К идеям изменения современного социального строя Дюма относился крайне нетерпимо и прямо говорил, что заряженный револьвер в кармане — единственный ответ на все подобные затеи…

Он умер от мозговой болезни, которая сказалась на вечере у принцессы Матильды…

В общем, это был добросовестный и несколько сантиментальный моралист, в противоположность своему высокоталантливому отцу, беззастенчиво отличавшемуся на всех поприщах, до кулинарного включительно.

Кто не читал хоть чего-нибудь из сочинений удивительного рассказчика Александра Дюма-отца? Его путешествие по России[151], например, представляет одну сплошную blague[152], но сколько в ней юмора! Получивши в Петербурге разрешение путешествовать по незнакомой стране, не зная языка, он не потерялся и полетел, приказывая заготовлять лошадей для «генерала Дюма». Мне передавали образчик находчивости этого шалуна в Тифлисе, где местный книжный торговец Беренштам, желая сделать ему приятное, уставил все полки своего магазина «сочинениями Александра Дюма». «Что это, — воскликнул писатель, увидевши на всех корешках книг свое имя, — неужели вы распродали всё, исключая моих сочинений?»

Дюма-отца я видел только раз в жизни в Париже, когда был еще зеленым юношей. Некая m-me A., путешествовавшая по Соединенным Штатам Америки, рассказывала на вечере впечатления своей поездки. В указанный час зала наполнилась народом, но лектриса не показывалась, и ждать ее пришлось так долго, что публика решительно вышла из себя, хлопая, стуча и крича разный нелестный для барышни вздор. Наконец, она появилась на эстраде под руку со стариком Дюма. Оказалось, что этот великий невменяемый младенец, обещавши представить m-me A. собранию, куда-то пропал, и его пришлось разыскивать. Сюрприз был велик, и вся зала, забыв недавнее неудовольствие, разразилась сначала довольным «А-а-а!», а потом громом аплодисментов. Фигура старого писателя представляла из себя нечто необычайное: колоссальных размеров, до крайности тучный, с красным, отекшим лицом, обрамленным густою шапкою седых волос, он, тяжело дыша, опустился на кресло около лектрисы и сначала стал обводить глазами собрание, а потом, постепенно все более и более смыкая их, начал клюкать носом и даже похрапывать, к немалому удовольствию публики.

Заговоривши об Америке, я невольно вспоминаю одну привычку американцев; они много плюют, и в Нью-Йорке не редкость встретить в общественных местах, как, например, при входе в публичную картинную галерею, вывешенное объявление крупными буквами: «Кто будет замечен в плеванье на пол, тот

немедленно изгонится из этого здания». Коротко и ясно. Дальше на западе Соединенных Штатов, как мне говорили, в клубах выставляют надписи: «Джентльмены не будут плевать, а других просят не делать этого». При всех его достоинствах не чужд этой привычки и известный Эдисон[153], очень типичная американская личность. Среднего роста, с лицом, несколько напоминающим Наполеона I, он держится большими пальцами за края жилета под мышками, постоянно курит сигару и сплевывает. Он любит острить и, случается, бывает действительно остроумен. Во всяком случае, сам первый смеется по-американски, т. е. громко хохочет и, в минуту особенного увлечения, бьет себя по коленам. Мастерские его, в нескольких часах от Нью-Йорка, составляют целый городок, в котором помещения для работ над электрическим светом составляют лишь незначительную часть всех зданий.

Приятель дал ему знать о моем желании посетить его, и, получивши в ответ любезное приглашение, мы отправились компанией в несколько человек. Прежде всего Эдисон показал нам куклу, очень порядочно говорящую — конечно, по-английски — «папа, мама, здравствуйте, прощайте» и т. п., а затем последовательно познакомил со всеми работами: занятиями над инструментом для измерения расстояния, опытами над средствами против заразительных болезней, постоянными улучшениями, практикуемыми над фонографом… Чего-чего у него не делают, над чем не производят опытов! Фонограф занимал за время нашего посещения почетное место, и Эдисон уверял, что, исправивши в нем кое-что, он пустит его в продажу: за 150 долларов можно будет иметь самый аппарат, и за 25 центов (50 коп.) каждый отдельный валик с речью государственного человека или короля, чтением какой-нибудь литературной знаменитости, частью концерта, оперы и т. д. Главною помехой для немедленной эксплуатации произведения был постоянный шум, сопровождавший воспроизведение всего, от отдельных звуков до пения и музыки включительно, и зависевший, по словам изобретателя, от несовершенства материала, употреблявшегося для валика, — воска, который он надеялся в скором времени заменить чем-то более подходящим. «Добьюсь, — говорил практический американец, — покамест это только любопытно, но скоро будет искусством, и я возьму за эту штуку пару миллионов».

ЛИСТОК 4-ый

Эдисон делал предположения того, какие могут быть со

временем применения его фонографа. «Интересно, например, будет, — говорил он, — выслушать аппаратом изъяснения в любви молодого мужа своей первой жене, а потом занести такое же объяснение со второй супругой — да и сравнить!» Гениальный изобретатель хохотал при этом во весь рот и колена своего не жалел, колотил по нем с увлечением. Большой приятель изобретателя, литератор-юморист Марк Твин, нередко навещает его, причем всегда рассказывает что-нибудь интересное, а часто и очень нескромное. Когда Эдисону докладывают, что в его отсутствие был писатель, он немедленно отправляется к фонографу и прикладывает ухо, в уверенности, что получит какую-нибудь конфиденцию. «Иногда, — говорил Эдисон, — сюрприз бывает так силен, что просто откидывает от аппарата».

Знаменитый электрист немного глух, но, видимо, пользуется хорошим здоровьем. Цвет лица свежий, но волосы уже седые. Блеск его глаз просто поразителен: они светлы, влажны, живы — в этих глазах весь человек. Одна беда: об искусстве Эдисон рассуждает убийственно и ставит, например, слащавого, банального французского художника Бугро[154] не только выше Рафаэля, Рембрандта и других старых мастеров, но даже утверждает, что за одну картину этого художника можно дать двадцать Рафаэлей. Объяснение это было дано таким авторитетным тоном, что я не утерпел и пошутил, — вставши на одно колено, сказал, что «глубоко преклоняюсь перед суждением, подобного которому, вероятно, никогда в жизни не услышу более»… Кажется, янки немножко обиделся, но что было делать, не мог же я, художник, проглотить американскую пилюлю таких размеров!

В Америке есть и хорошие, и умные, и религиозные люди, но христиан, в смысле соблюдения заповедей о незлобивости, нестяжании, презрении богатства и т. п., менее, чем где бы то ни было. Бедный там только терпится, и беспрерывная погоня за наживой создала общий тип какого-то безжалостного человека, которому нет места между праведными Нового завета. Там есть ужасное обыкновение определять цену человека величиной его капитала — про незнакомого спрашивают: «Что он стоит?» — отвечают, например: «500 000 долларов, но два года тому назад он стоил миллион». Такой прием определения значения людей нам, европейцам, мало симпатичен. К изрядному чванству деньгами у этого высокоталантливого народа примешано много ложного стыда всего своего и преклонения перед всем английским и особенно французским. Американскому художнику, например, очень трудно продавать свои работы, если он всегда жил и живет в Соединенных Штатах; другое дело, когда он имеет

мастерскую в Париже, — тогда он процветает. Уважающий себя янки не решится в порядочном ресторане спросить вина туземной, например, калифорнийской марки (мимоходом сказать — очень хорошего): «порядочность» обязывает спросить иностранного вина.

Наивности нередки. Один весьма приличный господин, говоривший искренно и серьезно, выразился в беседе со мной так: «Мы, американцы, высоко ценим ваши работы, г. Верещагин; мы любим все грандиозное: большие картины, большой картофель…»

В американском обществе так много денег, что, как говорил мне наш бывший поверенный в делах там барон Р., трудно поддерживать знакомства, трудно принимать на той ноге, на которой они принимают. Обладатель нескольких миллионов еще не считается богатым человеком, и только состояния в 10–15 миллионов начинают считаться серьезными. Помню, у издателя одного *Magazine*[155], за завтраком, под фарфоровыми тарелками поставлены были другие, из массивного золота, — должно быть, для наглядного доказательства зажиточности хозяина. В том же доме огромная великолепная приемная комната заставлена черными резными шкафами старой итальянской работы, приобретенными в каком-то монастыре, конечно, на вес золота. И всё в этом роде.

Я упомянул о прекрасном американском вине, но надобно сказать, что почти все производится теперь в Соединенных Штатах замечательно хорошо. Познакомившись в Вашингтоне с известным генералом Шерманом[156], я лишь со слов Р. узнал, что почтенный воин без ноги; его деревянная нога так хорошо сделана, что он ходит совершенно свободно, даже не прихрамывая. В Европе так не сумеют сделать.

Мимоходом сказать, генерал Шерман премилый старик. Он показал мне залы палаты представителей и сената и в ресторане последнего накормил отличным завтраком. Когда я выпил за его здоровье по-русски, т. е. опорожнивши бокал, ударил об пол, почтенный воин подпрыгнул от изумления.

Что приятно удивляет европейца в Америке, так это отсутствие формализма. Когда я зашел в министерство финансов за справкой, она была дана мне в полчаса времени, и Р. объяснил, что по правилу на всякий запрос должен быть в 48 часов дан ответ, иначе чиновник рискует потерять место, — не то что в других странах.

Одна из самых интересных вещей в Нью-Йорке — это устройство пожарных бюро. Все они расположены, конечно, в rez-de-chaussée[157], в них день и ночь топится громадная паровая машина, так что во всякую данную минуту пары ее готовы. Большой воз всевозможных пожарных снарядов стоит готовый тут же. Как только показывается где-нибудь огонь или дым, полицейский или первый прохожий поворачивают один из пожарных приводов, расположенных на видных местах по улицам, и во всех пожарных бюро города одновременно раздается тревожный звонок. По этому знаку автоматически обрываются привязи двух лошадей, выученных бросаться к дышлу; на них автоматически же спускается с потолка упряжь, которую закрепляют моментально подоспевающие люди, и машина с возом выезжает. Все это делается так быстро, что в какие-нибудь 9–10 секунд пожарные — на улице. Люди живут над помещением для машины и лошадей, у них прекрасно устроенные спальня, гостиная и читальня, часто с биллиардом, и в полу два широких отверстия с гладкими медными столбами посередине; чтобы не терять времени на беганье по лестнице, по этим столбам скользят вниз пожарные, прицепляют лошадей и выезжают.

Главное пожарное бюро города представляет из себя нечто трудно вообразимое: это — такое соединение всевозможных остроумных приспособлений, что ни в какой другой стране — я в этом уверен — нет ничего подобного. Все так устроено, что один человек может за всем следить, наблюдать, всем распоряжаться. Когда раздается удар электрического звонка, надзирающий подходит к книге и видит, как аппарат черточками отмечает, где и что горит, кто, то есть из какого бюро, уже выехал, кто выезжает вслед за тем. Аппарат рядом показывает, усиливается пожар или уменьшается: в первом случае первый аппарат немедленно отметит, кому выезжать третьим, четвертым… Другие механизмы дают еще разные сведения, и всё автоматично: поставленные вдоль стен всей комнаты приводы начинают двигаться, делать заметки, нужно только переходить от одного к другому. Веревочные лестницы прикрепляются к веревке, привязанной к пуле, которую выстрелом из приспособленного для этого ружья перекидывают через крышу, и на той стороне веревку прикрепляют. Прыгают пожарные даже с четвертого этажа на веревочную сетку, внизу растянутую, причем очень редко ушибаются.

— Смотрите же, покажите мне что-нибудь действительно выдающееся, — сказал я перед осмотром пожарных учреждений заведующему ими капитану Х. — Предупреждаю вас, что у нас в России пожарная служба организована образцово: из каждой

части выезжает на пожар по нескольку троек… «Несколько троек? — переспросил янки, — но что же, позвольте узнать, везут на нескольких экипажах?» Перечисляя предметы, которые везут у нас на пожар, я должен был помянуть и бочки с водой, причем американцы разразились дружным искренним смехом — у них вода проведена всюду, в самомалейших городах и местечках.

Веселая минутка

В Америке можно трудиться, так как труд хорошо оплачен. Например, ново поступивший пожарный получает около 1000 долларов, а после и 1200. То же получает простой солдат.

Наборщик типографии получает вначале от 50 до 75 долларов в месяц, а потом, когда навыкает, и 200. Старший механик, надзирающий за всеми печатными машинами типографии большой газеты, имеет 10 000 долларов в год. Таково же жалованье судьи, например[158].

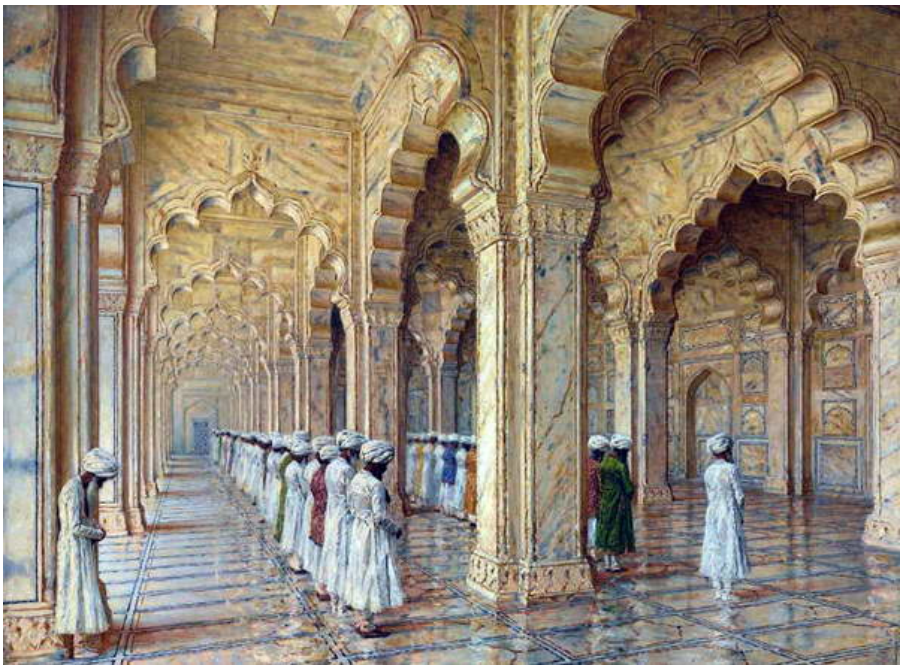
Я знаю лишь одну страну, в которой содержание служащих еще выше, — это Ост-Индия, где английские чиновники получают очень крупные суммы. Судья получает там от 20 000 до 40 000 рублей, то же и начальник уезда. И тот, и другой после двадцати лет службы имеет 10 000 рублей годовой пенсии. Губернатор имеет 300 000 рублей в год. Правда, такое жалованье отягощает страну, но зато администрация и правосудие в ней держатся на большой нравственной высоте — взятки и подарки во всех видах не в моде, что можно сказать далеко не о многих странах…

ЛИСТОК 5-ый

Заговоривши об Индии, замечу, что у нас несправедливо относятся к этой стране почти как к варварской. Там прекрасные школы, дороги, общественные здания, хороший порядок в администрации и судах, — англичане сделали многое для развития гражданственности и распространения знаний, они поддерживают памятники старого искусства и по мере умения стараются насаждать новое. Как я уже заметил, управление англичан обходится дорого, и масса народа бедна, причем властители края за их гордость и надменность сильно нелюбимы; но все-таки в этой стране многому можно поучиться, особенно нам, русским, призванным к цивилизаторской миссии в странах, лежащих на север от нее.

Пока я не буду говорить ни о чудной природе, ни о знаменитых памятниках старины в Индии, а остановлюсь лишь на нескольких интересных обычаях, а также оригинальных способах погребения, которые мне доводилось там видеть. Бедные просто бросают своих мертвых в воду, где рыбы и крокодилы живо распоряжаются с ними; английское правительство строго запрещает такие погребения, но потихоньку они все-таки практикуются. В Калькутте, в устьях Ганга, я видел, как сидевшие на тихо плывущем трупе птицы клевали мясо, как аллигаторы или большие рыбы, хватая тело за руку или за ногу, заставляли его погружаться то в ту, то в другую сторону. Спуск мертвого тела по такой священной реке, как Ганг, есть указание если не верного, то вероятного пути к раю. В городе Агра[159] на моих глазах семья спустила в тоже священную реку Джумну маленькую девочку, быстро поплывшую по течению. Родные, продолжая

плакать и причитать, скоро отстали и только глазами следили за телом, но отец все бежал вдоль берега и, не переставая всхлипывать, отталкивал его палочкой, когда течение прибивало к берегу. Рыбы видимо щипали со всех сторон трупик и, конечно, должны были скоро покончить с ним; но пока я следил, — а стоял я долго, — долговязый индус все бежал по извилинам берега и все отталкивал дорогие останки: прибьет трупик к берегу, им завладеет полиция, и память малютки будет осквернена, родителям будет обидно перед своими и грешно перед богом.



Жемчужная мечеть в Агре

Богатые люди сожигают трупы: выкладывают из дерева четырехугольный костер, аршина на полтора или два высоты, кладут на него тело, а поверх — еще дерева; примерно через час от человека остается одна зола и несколько кусков костей. Благоприличие погребения состоит в выборе дерева: ароматное, сандальное считается наиболее подходящим для ищущих вечного блаженства.

В Бомбее общественное гулянье на берегу моря расположено как раз вдоль забора, за которым производится сожжение трупов, и оттуда всегда несется запах жареного мяса. Как-то раз вечером ворота, ведущие в это священное место, оказались открытыми; я вошел туда и остановился пораженный: от входа во всю глубину двора ярко пылали две длинные линии костров — их должно

было быть около 20, — и из каждого костра торчали концы ног. Между этими кострами и самыми воротами группа служащих на кладбище, в своих длинных римских тогах, белых с красной каймой, собралась около одного из товарищей, что-то рассказывавшего. Эти 10–12 фигур в белом одеянии, освещенные ярко-красным светом костров, все, буквально взявшись за бока, помиравшие со смеха над рассказом, представляли такую разительную картину, что я никогда не забуду ее. Когда один из них, заметивши стоящего в воротах европейца-«осквернителя», закричал: «Нельзя, нельзя!» — все бросились ко мне, но я уже видел, что мне было нужно, и удалился.

Очень характерны «башни молчания» парсисов[160] или огнепоклонников, давно выселившихся в Индию из Персии, где, как известно, религия поклонения огню была общею. Когда там на огнепоклонников воздвиглось гонение и преследование со стороны мусульман, много народа разбежалось по разным странам, между прочим, и в Закавказье, где последние представители поселившихся близ священных бакинских огней парсисов или гвебров вымерли в середине нынешнего столетия. В Индии огнепоклонники, «парси», как их называют по памяти прежней родины, расплодились в большое, дружно сплоченное общество, очень влиятельное по трудолюбию и богатству во всех главных городах полуострова и особенно в Бомбее. «Башни молчания» расположены на уединенных высоких местах, обнесенных оградой, внутрь которых строго воспрещают входить. Чрез посредство одного богатого и влиятельного члена парсистской общины я был, однако, впущен, чтобы взглянуть на погребальную процессию. Когда она показалась, — носильщики и большая часть провожавших во всем белом, — множество хищных птиц, живущих в этих местах, усеяли верх башни в ожидании трупа; они смотрели на приближавшихся, жадно расправляя клювы, подергивая крыльями, видимо нервно приготовляясь к пиру и неизбежным дракам во время его. Войдя в ворота, процессия остановилась, и сторож подвел к носилкам холеную чистую белую собаку, перед которой открыли один глаз покойника; затем тронулись далее. Перед самою башней все провожавшие остановились, и внутрь вошли лишь носильщики с телом. Как только закрылась за ними дверь, птицы, между которыми много беркутов и гигантских голошеих грифов-стервятников, как по команде, спустились в средину башни…

Тело располагают на наклонной железной решетке, идущей кругом стен; птицы быстро поедают мясо, а кости сбрасываются в глубокую яму в центре. Когда яма наполняется до верха, башню закрывают, и отсутствие птиц наверху свидетельствует тогда о

«безжизненности» этого оригинального кладбища.

Когда я уходил, все птицы были уже опять на гребне башни, чистились, обдергивались и поглядывали на дорогу в ожидании следующего блюда.

Как объясняли, помянутое открывание глаза покойника собаке указывает на прежний обычай далекой старины отдавать мертвых на съедение псам, — обычай, оставленный в практике, но строго сохраняющийся в теории.

Мне рассказывали, что во многих местах есть обыкновение слишком зажившихся стариков и старух, не могущих работать и служащих бременем для семьи, отправлять на вечный покой с некоторым понуждением: таких приводят к священной реке и заставляют громко произнесть имя божие, после чего, не боясь уже греха, пригнетают голову и держат в воде, пока они не захлебнутся. Бывают, однако, случаи, что старик, даже и согласившийся дома принять смерть, потом заупрямится — откажется «произнести имя божие». Так как заставить умереть без этого считается великим грехом, то в таком случае ничего не остается, как вести упрямого дедушку домой, до минуты большей сговорчивости.

Рассказывавший мне это д-р Симеон, бывший главный врач британской армии в Индии, приводил также пример отвращения, которое туземцы питают к мертвецам, даже если это родители их; в горах Сикима, на месте прежней службы своей, он встретил раз знакомого непалезца с большой традиционной корзиной за спиной.

— Куда бог несет?

— В город, старика вот своего тащу, он болен.

Взглянувши на скрюченную фигуру, торчавшую из-за спины молодца, доктор увидел, что она уже застыла.

— Ведь отец-то твой умер! — заметил он парню.

Тот, даже не удостоверившись, действительно ли это так, сбросил корзину с кручи и ударился бежать, как от заразы…

Понятно, что при таком отвращении к мертвечине индусы в рот не берут мяса и видеть не могут, как мы, европейцы, лакомимся убоиною. Вспоминаю смешной случай, бывший со мной. В Средней Индии я застрелил раз огромную летучую мышь, просто из любопытства, — развесистое дерево, под которым расположился мой караван, было полно ими. Я осмотрел это маленькое чудовище, набросал в записную книжку его чисто волчью мордочку и потом бросил. Через несколько дней вижу эту животинку, уже сильно испортившуюся, привязанною за крыло, к седлу одной из моих вьючных лошадей. «Зачем ты возишь эту гадость?» — спрашиваю слугу-индуса. «Я думал, что вы будете

кушать, сэр», — ответил вегетарьянец: он видел, что я таскал с собой убитых по дороге куропаток и ел их, даже когда они были немного faisandés[161], почему заключил, что летучая мышь тоже назначена на жаркое.

Больше всего противно туземцам употребление мяса коровы. Это мирное животное до такой степени полезно там, что обоготворено — ни больше ни меньше. Интересно видеть, как в браманских храмах хорошенькие женщины, видимо религиозно настроенные, проводят рукою по спине живой коровы, там кормящейся, и потом благоговейно касаются лица, головы и шеи.

Нам, европейцам, смешно смотреть, когда корова, забравшаяся на зеленной базар, начинает без церемонии уплетать овощи, на выбор, а индусы, хозяева лавок, не смея гнать ее публично, стараются потихоньку ущипнуть, уколоть или ткнуть, чтобы спровадить к соседу, где повторяется та же история. Волы, не пользуясь в той же мере безнаказанностью, однако, тоже не должны быть публично биты, вследствие чего, погоняя их, стараются причинить боль как можно незаметнее для посторонних, например, выворачиванием суставов хвоста; почти у всех рабочих волов, которых мне случалось видеть, хвостовые позвонки были совсем свернуты на сторону от усердия почитателей коровьего рода. Бывали случаи возмущения из-за убоя европейцами коров, и теперь в некоторых, особенно священных городах англичане должны довольствоваться бараньим мясом.

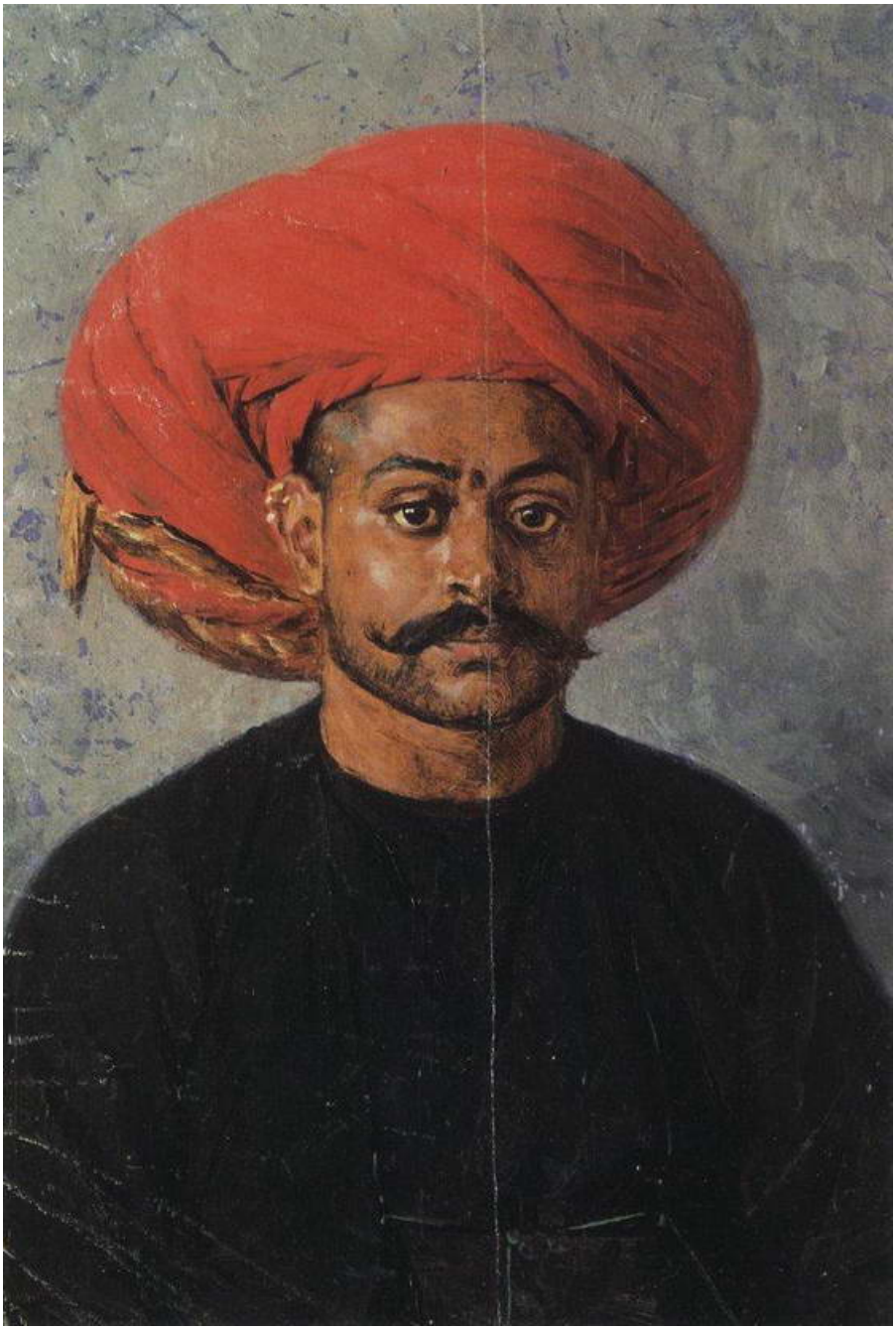
Типы в Бомбее

В сторону употребления пока только мяса баранов, особенно диких коз, и начинает подаваться пищевой ригоризм индусов: с другой стороны, богатые люди начинают употреблять вместо сандалий ботинки, также ремни, упряжь, т. е. кожи убитых животных…

Вдовы уже мало того, что отказываются сжигать себя на кострах своих мужей, но случается, иногда снова выходят замуж. Пария, по закону каст не только прикосновением, но даже своею тенью оскверняющий брамина, теперь, в железнодорожном вагоне, сидит с ним рядом, а ночью и принимает его сонную

голову на свои колени… Впрочем, каста еще очень сильна в Индии и постоянно дает знать о себе. Например, прислуга там сравнительно недорога, и европейцы держат многочисленную. У меня было около десятка слуг: один заведовал столом и всем порядком, другой — ежедневною чисткой платья, обуви, уборкой постели и т. п., третий — повар, четвертый — водонос, пятый — прачка, шестой — посыльный, седьмой — кучер, восьмой — конюх для верховой лошади, обыкновенно с опахалом, трусочкою поспевающий за господином; наконец, последний — для нечистот, всегда уже человек низкого положения, с которым другие слуги удостаивают разговаривать, но мало соприкасаются. Все это были люди разных каст, знаки которых они носили на лбу, и ни один не согласился бы нести работу другого, не из лености, а из запрета касты. Различия кастовых правил всего более сказывались у них при приготовлении своего кушанья, когда каждый старался уйти подальше, укрыться побольше от взора соседа, оскверняющего пищу.

Европейские сахибы, т. е. господа, считаются за людей высокой касты, но у меня был чепрасси, посыльный, Раджпут, хотя замечательно глупый человек, но из такуров, очень высоко стоящих в кастовой иерархии, и видимо смотревший на «мою касту» сверху. Он уходил со своим медным котелком для совершения таинства приготовления похлебки так далеко, что иногда трудно было доискаться и докликаться его. Один раз, проходя близ того места, где он священнодействовал над маленьким костром из лучинок, я невольно заглянул в его медный горшочек, — тотчас же гордый такур вылил на землю все содержимое. Это было сделано перед другими слугами и так демонстративно, что потакни я только молчанием или шуткой, мне не было бы возможности ни двигаться между моими людьми, ни смотреть кругом себя. Поэтому я явил пример строгости: взял сосуд и перекинул через загородку буддийского монастыря, в котором мы жили, с наставлением, что в другой раз он сам отправится следом за своей чашкой. Парень мой стал меньше щекотлив, но воображаю, как он мыл и скоблил свою посудину, публично оскверненную прикосновением моей руки.



Совар, правительственный посыльный

Надо заметить, что глиняный горшок в таких случаях должен быть разбиваем, а для медного (дорогого) достаточно быть очищенным песком, водой и молитвой: il y a des accomodements aves le ciel[162].

Помянутым выходам вдов снова замуж и другим резким нарушениям кастовых стеснений, до сих пор очень скандализирующим общественное мнение индусов, помогают английские общества, так распространенные между этим народом с энергичною частной инициативою и в самой Англии, и в колониях. Правительство мало заботится, отчасти из-за принципа невмешательства, отчасти же и из-за невыгод для себя от исчезновения всех перегородок и различий, религиозных и гражданских, в стране с 250-миллионным населением, содержимой в повиновении 50–60 тысячами английских солдат. Римское правило «разделяй и господствуй» применяется англичанами неукоснительно, потому что иначе им пришлось бы уходить из многих теплых насиженных мест в разных углах земного шара.

ЛИСТОК 6-ой

Поле битвы под Бородиным очень интересно как с той стороны, с которой шел Наполеон, от Колочского монастыря, так и от деревни Горки, с высокого холма на московской дороге, где целый день 26 августа 1812 года сидел, наблюдая сражение, князь Кутузов. На этом холме в день битвы была сильная батарея, и конечно его давно следовало бы украсить каким-нибудь поминальным знаком; вместо того земство не нашло ничего лучшего, как выбирать из него землю для ремонта дороги, так что теперь как место батареи, так и пункт, с которого распоряжался князь Смоленский, обращены в глубокую яму, с мусором на дне.

Мне, как художнику, воображение представило эту горку, с которой видна вся окрестность, в таком виде: орудия батареи поддерживают главным образом многострадальный редут Раевского, «la grande redoute»[163], то переходящий в руки французов, то снова отбираемый нами, и дым выстрелов, отовсюду грохочущих, временами совсем застилает поле битвы от следящего за ним своим единственным глазом суворовского воина. Грузный, тяжело дыша, сидит он на своей неизменной скамеечке, с неизменной нагайкой через плечо; белье торчит из-под расстегнутого сюртука; шапка без козырька, лицо одутловатое, вытекший правый глаз некрасив. Около него в подзорную трубу смотрит на битву начальник штаба Толь[164]. Сзади несколько офицеров рассуждают о ходе битвы, несколько казаков держат лошадей, — свиты немного, бóльшая часть разослана. Посылать же пришлось немало, с самого начала сражения, с приказаниями переводить войска от правого фланга к центру и левому флангу; за приказанием следовали повторения:

«Скорее, как можно скорее, не теряя ни минуты времени!»

Дело в том, что наш главнокомандующий крепко ошибся, сочтя Бородино за центр всей защиты, хорошо укрепивши местность у большой дороги и особенно правый фланг, но недостаточно сильно около Семеновского и совсем плохо около Утицы, т. е. на левом фланге, где работы были только что начаты к тому времени, как французы вступили в бой. Бенигсен[165], Толь и Кутузов вообразили, что Наполеон наивно пойдет на сильно укрепленные берега Колочи, около Бородина, когда их можно было обойти.

Страшно подумать, что было бы, если бы Наполеон послушал маршала Даву и послал бы этого опытного, талантливого полководца, как тот вызвался, с 40 тысячами человек в обход нашего левого фланга по старой смоленской дороге — ударить на русскую армию с тыла в то самое время, как главные силы станут атаковать ее с фронта. Очень возможно, что, как Даву обещал, наши были бы смяты и прижаты в треугольнике, образуемом Колочею при ее завороте. К счастию, Наполеон не согласился с маршалом, ответивши с досадой: «Ах, вы всегда с такими рискованными движениями!» — и повторил это «нет», несмотря на все просьбы и доводы Даву.

У Наполеона был приготовлен свой план: перед ним были три деревни — Бородино, Семеновское и Утицы, с местностью, перерезанною кустарником и оврагами. Хоть карты были несовершенны, но он понял, что коли Колоча под Бородиным так сильно заворачивает, значит, крутые берега принуждают ее к этому, и эти крутые берега наверное укреплены. Напротив, к Семеновскому местность ровнее, берега речки доступнее. Он сообразил, что ключ русской позиции не на бородинских высотах, как положили Толь и Кутузов, а на семеновских. На них он решил направить главные усилия и послал двух лучших помощников своих, Нея и Даву, правый наш фланг совсем оставил в покое, против Бородина и батареи Раевского велел действовать вице-королю, а Понятовского отправил в обход Утицы. Расчет был тот, чтобы, овладевши быстро флешами, опрокинуть их защитников и прогнать до большой дороги прежде, чем остальная часть армии успела бы отступить; отрезанная, она принуждена была бы положить оружие. План был хорош, и исполнение его возможно, но помешала, во-первых, такая отчаянная стойкость русских войск, какой французы не ожидали, во-вторых — прямо изумительная храбрость и распорядительность Багратиона, не только не давшего сразу опрокинуть и прогнать себя, но и не раз заставившего неприятеля давать тыл. Можно даже сказать, что если бы не Багратион, то Наполеон выполнил бы свой план и

Кутузов был бы разбит в этот день. Справедливо, впрочем, прибавить и то, что «старая лиса», как Наполеон называл Кутузова, заметивши свою ошибку, еще вовремя спохватился и исправил ее.

Легко представить себе ошеломляющее впечатление этого сюрприза на нашего главнокомандующего и его помощников: весь расчет сил защиты оказался неправильным, и тут же, под огнем и натиском неприятеля, бросились перемещать полки, бегом переводить их с правого фланга, где им нечего было делать, на левый, испытавший целый ад артиллерийского и ружейного огня. Бóльшая часть армии Барклая и между прочим целый корпус Багговута[166] прибежал с крайнего правого фланга к Багратиону, начинавшему уже изнемогать со своими небольшими силами под бешеными натисками Нея.

Так как артиллерийский огонь французов был необычайно силен, то, разумеется, эти передвижения стоили нам немало жертв, хотя все-таки надо сказать, что в общем они сошли сравнительно благополучно. Начни Наполеон атаку раньше, до рассвета, а главное сам он не страдай в этот день своею старой болезнью (dysurie[167]) и поведи дело энергичнее, это перебеганье чуть не половины армии под выстрелами вряд ли так окончилось бы.

Свой план оставить Кутузова с его защитой большой дороги в стороне и пройти Семеновским Наполеон, конечно, составил еще тогда, когда, узнавши о намерении русских преградить ему доступ к Москве, приезжал в Колочский монастырь для рекогносцировки бородинских полей, хорошо видных оттуда. В монастыре держится предание о том, что французский император сделал какую-то надпись в две строчки на их колокольне и подписал своим именем. В 1839 году, когда по случаю 25-летия взятия Парижа под Бородиным были большие маневры в присутствии императора Николая I и всего двора, великий князь Михаил Павлович, слышавший об этой надписи, поднимался на колокольню, чтобы видеть ее, но уже ничего не нашел; он обратился с вопросом к настоятелю, но получил ответ, что «так как слова начертал иноверец, то и приказано замазать их»…

Интересуясь этою надписью, я советовал теперешнему престарелому настоятелю поискать ее под густым слоем известки. «Конечно, следовало бы, — ответил почтенный монах, — да ведь не знаем, с которой стороны она была сделана!» Я посоветовал осторожно посбить известь со всех сторон вокруг колоколов. «Надобно бы, надо, — сказал он, — да сделать-то это нужно людям грамотным, а у нас, как вы сами знаете…» Так надпись Наполеона и остается под густым слоем известки.

Я спрашивал у настоятеля, не сохранилось ли в монастыре, как известно, служившем громадным госпиталем, каких-либо преданий о времени пребывания в нем французов в 12-м году. Писаного ничего не сохранилось, по его словам, устно же довелось слышать кое-что лично ему: за бытность его в Валаамском монастыре он знал старого иеромонаха из Колочского монастыря, хорошо помнившего приезд Наполеона с разведочною партиею. «Мы только что сели обедать, как они набежали. *Он* вошел, как был, в шапке, пожелал нам по-польски доброго аппетита, и — как раз против меня было пустое место, — перешагнув через скамейку, взял ложку и стал есть наши щи. Съел немного, сказал: „Добрые щи!“ — и ушел. Как только они уехали, наскакали из-под Бородина наши казаки и давай ругать нас: „У вас был сам Наполеон, зачем вы его не задержали!“ А мы говорим: „Как его задержать-то, ведь он не один? Что же вы-то смотрели, задержали бы вы!“ Насилу от них отделались».

Вся местность Бородинского поля сохранилась почти в том самом виде, как она была во время величайшего в истории сражения, в котором пало свыше 100 000 человек. На холме батареи Раевского, la grande redoute, как ее называли французы, стоит теперь высокий памятник из чугуна, с вызолоченными надписями и цифрами. Согласно им, под Бородиным было у французов 145 000 человек пехоты и 40 000 конницы при 1000 орудий[168]. Из них убито 9 генералов и до 20 000 офицеров и нижних чинов; ранено 30 генералов[169] и до 40 000 офицеров и нижних чинов. Русских было около 120 000; убито 3 генерала, ранено 12. Офицеров и нижних чинов убито до 15 000, ранено до 30 000. Орудий было 640. Трудно сказать, насколько верен этот счет. Известно, что Наполеон, не церемонившийся с цифрами, определил свою потерю убитыми и ранеными в 10 000, а русскую объявил в 50 000. Судя по тому, что французы были нападающею стороною и шли на более или менее хорошо защищенные укрепления, надобно думать, что их потеря была больше нашей.

Генерал Дюма в своих записках говорит: «Nos pertes furent immenses!»[170] Как видавший виды, он вряд ли сказал бы это о потере в 10, даже в 20 000 человек. В свидетельствах других современников-очевидцев полное противоречие: в то время, как французы говорят, что на одного ихнего приходилось двое русских, наши свидетели удостоверяют, что мертвых неприятелей валялось по редутам просто невероятное количество[171]. По словам француза-очевидца, внутренность большого редута (батареи Раевского) представляла страшную картину. Трупы лежали один на другом… «Между прочим, — говорит он, — мне бросился в глаза труп артиллериста, у которого было три креста в

петлице; молодец, кажется, дышал еще, в одной руке он держал палаш, другою обнимал орудие, которому так честно послужил… Все русские солдаты там погибли, не сдались… Версты на четыре в квадрате все было завалено мертвыми и ранеными; виднелись целые горы трупов, и немногие места, где их не было, были завалены всяким оружием, ядрами и пулями, покрывавшими землю, как град после грозы. Самое ужасное были рвы… Несчастные раненые, наваленные один на другого, буквально плавали в крови и со стоном умоляли прикончить их».

Даже Наполеон расчувствовался перед ужасом картины поля битвы: когда кто-то из свиты близ него наступил на раненого, застонавшего от боли, он выбранил неосторожного и на оправдание того, что это не француз, а русский, сердито заметил, что «после битвы нет врагов, есть только люди».

Известно, какое смешное недоразумение вышло между нашим генералом Лихачевым[172], взятым на батарее Раевского в плен, и Наполеоном, пожелавшим явить великодушие этому единственному видному пленнику. «Уважая вашу храбрость, возвращаю вам оружие», — говорит Наполеон и приказывает подать себе шпагу генерала; ему подают, но чужую, и когда император протягивает ее Лихачеву, тот начисто отказывается принять. Потерявши терпение и не разобравши дела, Наполеон громко говорит: «Уведите этого болвана!» Надобно заметить, что бравый Лихачев был взят в плен совершенно израненный и что вообще неприятель был поражен малым числом пленных офицеров и солдат, всего от 700 до 800 человек. Еще раньше, после взятия Шевардинского редута, когда Наполеон подивился тому, что нет пленных, ему отвечали: «Не сдаются, ваше величество, умирают».

С северной стороны бородинского памятника выросла березовая роща, несколько изменившая характер местности, но все-таки и теперь высота холма внушительно свидетельствует о силе стоявшего тут укрепления, о которое долго разбивались все усилия французов.

На месте Семеновских флешей теперь высится женский монастырь, построенный вдовою генерала Тучкова над тем местом, где пал бравый воин[173]. На каком именно пункте генерал был ранен первый раз, не знают; заметили только, куда ударил неприятельский снаряд, когда его несли раненого: моментально не осталось ничего ни от Тучкова, ни от носильщиков, ни от самих носилок. Над этим местом и была построена церковь.

В этой церкви с характерным, александровского времени, позолоченным иконостасом замечателен образ Спасителя, хорошего письма, с очень выразительным ликом; он принадлежал

одному из полков Тучкова, всюду сопровождал убитого, и когда после войны командир потребовал было его обратно, вдова, тогда уже игуменья Мария, отстояла его из-за дорогих воспоминаний, и полк удовольствовался копиею.

Юго-западная часть Семеновских флешей замечательно хорошо сохранилась, несмотря на то, что предшественница нынешней игуменьи устроила в ней кирпичный заводик. Северо-западный угол, входящий в самую черту монастырских построек, еще несколько лет тому назад возвышал свои бастионы, пощаженные годами, но в настоящее время верх бастионов срыт и на них разведен огород… Впрочем, мать-игуменья обещала не дозволять в будущем монастырским огородам и парникам подрывать уцелевшие части валов и рвов, как реликвии «злой обороны» 1812 года.

ЛИСТОК 7-ой

Мне кажется неверным теперешнее резкое деление труда на художественный и ремесленный, — тот и другой должны были бы определяться не столько «по видимости», сколько по степени творческого таланта, на них затрачиваемого. Во всяком занятии, во всяком ремесле, если в нем есть творчество, есть и художество, искусство; напротив, искусство, в котором труд ведется шаблонно, рутинно, представляет из себя ремесло, — это лестница, верхние ступени которой состоят из искусства, а нижние из ремесла; где кончается одно и начинается другое — сказать трудно, хотя обыденный язык, по-видимому, и легко разрешает вопрос, называя одно ремеслом, другое искусством. То и другое не составляют в сущности отдельных цехов, а обнимают *всю* человеческую деятельность, все занятия, профессии и должности. Везде ремесла, т. е. рутинного отношения к труду, больше, чем творчества, художественной работы: живописец, поставляющий образа или портреты «числом поболее, ценою подешевле»[174]; военный, сильный одною фронтовою службою; чиновник, все свободное время играющий в винт и лишь спускающий с рук «входящие» и «исходящие», или доктор, умелый только в обиходной рецептуре, — все это ремесленники, более или менее высоко поставленные, более или менее успешно зарабатывающие свой хлеб, но не вносящие в свои специальности ничего творческого, не добивающиеся «чего-то»…

Я настаиваю на том, что несправедливо называть ремеслом только так называемый «поденный труд» и несправедливо находить искусство лишь у живописцев, скульпторов, литераторов, музыкантов, актеров, до ретушеров-фотографов

включительно; несправедливо думать, будто только представители этих профессий — артисты, благо они сами в этом уверены, тогда как сплошь и рядом между ними менее артистов, чем, например, между кустарями, собственным умом и корявыми пальцами создающими «хитрые штучки».

Все люди, влагающие в труд не только талант, но и творчество, непременно художники в своем деле, и это на всех поприщах интеллигентного труда, — везде натуры с артистической жилкой направляют труд, вкладывают в него движение и жизнь, а деловые натуры заведуют рутиною дела, ремеслом. (Тем хуже для исключений, в которых дело ведется наоборот.)

Разве талантливый оратор, увлекающий публику, не артист, не художник, разве его речь не искусство? Разве он не переживает минут вдохновения, не испытывает внутреннего восторга наравне с певцом, увлекающим мелодиею, композитором, пленяющим симфониею, или живописцем — картиною? А доктор, — будто он не артист, если не только прописывает лекарства, но и вдумывается в происхождение людских немощей, по незначительным признакам выслеживает, распознает и находит средства исцелять их! Все это служители искусства не в узком, а широком значении этого слова!

Ломброзо[175] уверяет, что многие талантливые люди в минуты вдохновения подвергались судорогам, обморокам и т. п. Как художник, сознаюсь, что хоть до обмороков дело не доходило, но сильное впечатление от чужого и особенно от своего процессов творчества всегда отражается жгучим чувством, часто с дрожью, холодом в спине, слезами на глазах. Еще сильнее чувствует человек, занятый творческим трудом, когда видит, что его мысль достигла зрелости, стала воплощаться в красках, в мраморе, в звуках или литературной форме, — тут прямо являются болезненные симптомы, лихорадит, бросает в жар, холод, спазмы сжимают горло, прерывают речь… Все это, конечно, переживается не только нами, представителями так называемых художественных профессий, но и людьми науки, ораторами, военными… И доктора осеняет минута художественного вдохновения, и он вздрогнет от внутреннего восторга, когда у постели больного или дома в тиши кабинетной работы нападет, наконец, на смысл болезни, не поддававшейся лечению, — теперь он спасет умиравший организм! Работа его мысли в этом случае возвысится до творчества в той же мере, что у Моцарта, биллиардный кий которого иногда невольно опускался в трактире под наплывом новой мелодии.

Кстати сказать, что обществу следовало бы снисходительнее

относиться к неровностям характера деятелей в области творчества — уже по одному тому, что эти неровности так же непроизвольны, как капризы беременной женщины. Творчество во всех его видах, особенно во время процесса нарождения, отзывается нервностью, болью, часто изнеможением… Вспомним организованное преследование людей, подобных Байрону, за их нервное поведение. Правда, после смерти им воздвигают памятники, но в продолжении жизни всякую их неровность, каприз ставят в счет и преследуют, злословят с увлечением. Один очень храбрый и талантливый генерал, настоящий художник военного дела, которого не называю, будучи ранен, капризничал, как барышня, конечно, потому, что нервы его были предварительно расшатаны трудами творческого характера, — с заурядным служакой такого казуса, наверное, не случилось бы. Кто не слышал о капризах и нервностях высокоталантливого Скобелева, бесспорно гениального артиста в своей специальности? Есть генералы-ремесленники и есть генералы-художники. Первый будет браво гнать неприятеля и, может быть, перебьет у него много народа, но он не сделает того, на что способен артистический темперамент, который сообразит, как обойти, обложить неприятельские силы и заставить их без боя положить оружие. К последнему разряду военных принадлежал М. Д. Скобелев, капризный, часто неприятный в частной жизни, но артист на поле битвы. Точно так же покойный Захарьин[176] принадлежал к разряду врачей-художников. Конечно, и у него было немало недостатков и неприятных замашек, но нет сомнения в том, что его нервность и собственные частые недомогания прямо вызывались постоянным внутренним напряжением, беспрерывными усилиями выследить, выяснить, определить то, что для других казалось непостижимым. Повторяю, нет профессии, должности, в которых «артистическая художественная жилка», может быть, и нарушая в некоторой степени правильность течения мыслей и поступков, не вдохновляла бы на исполнение того, что не имеющим этой силы, хотя и небесталантливым людям, кажется невозможным, ненужным и заставляет их оставаться всю жизнь только исправными, более или менее трудолюбивыми ремесленниками. Я нимало не хочу возносить одухотворенный идеею труд над ремесленным, — тот и другой нужны, — и даже думаю, что вознаграждение того и другого в жизни должно было бы быть более равномерным, чем оно есть теперь. Однако симпатии мои к первому могут быть оправданы той ироniею, с которою к нему относятся все представители ремесла в его разных видах, от мала до велика, все, работающие по шаблону. Добродушные мещане, —

в чуйке ли, во фраке ли, в расшитом ли мундире, обыкновенно не жалеют шуточек, когда дело касается художественного темперамента, артистического труда, будь то изобретение летательного механизма или создание музыкальной оратории. Они любят, например, соприкосновение с артистическим миром, но на условии не быть поставленными на одну доску с ним, и имеют право относиться к нему покровительственно, откуда вытекает та вопиющая нелепость, что в практике жизни слова «художник», «артист», как «философ», «механик» — далеко не почетные слова. О плутах говорят как об артистах, механиках; о воровстве, пьянстве — как о художествах. «Какие-то артисты повадились таскать наши дрова», — жалуется супруге почтенный чиновник. «Я ни в каких ведь художествах не замечен», — оправдывается пьянчужка, когда ему выговаривают за его пристрастие к вину. К той же категории непочетных званий относятся слова «трубадур», «музыкант» — на что обиднее выражения: «На задний стол к музыкантам!» Повторяю еще раз: если многие артисты не художники и художники не артисты, а просто ремесленники, то, наоборот, в ремеслах творческая часть труда представляет художественную работу, т. е. в большей или меньшей степени искусство.

Мне скажут, может быть: художество, а не искусство! — Нет, искусство! Понятие об искусстве как служащем абсолютной красоте, — понятие, во имя которого создано столько холодного, безжизненного, фальшивого, — устарело. Современному искусству, кроме чистой, абсолютной красоты, подай еще искренность, чувство меры, уютность и другие факторы, одним концом прямо связанные со вседневною жизнью на всех поприщах.

ЛИСТОК 8-ой

Не унижая искусства, позволительно находить его там, где прежде не видели ничего, кроме грубого ремесла. Хорошие повара, например, хотя и называются прямо ремесленниками, должны иметь в себе немало художественной жилки, артистической подкладки, отличающих художников: они обыкновенно нервны и капризны, как заправские артисты. Факт тот, что без полного внимания, неослабного нервного напряжения и артистической смекалки хорошим поваром или хорошею cordon bleu[177] не бывать. Как бы над этим не смеялись, верно то, что постоянная неудовлетворенность артистических наклонностей талантливых поваров и поварих составляет главную причину того, что между ними так много пьющих, — обратная сторона

артистических натур на всех поприщах состоит в том, что они легко поддаются разочарованию, отчаянию, оканчивающимся в обыденной жизни вином, картами, меланхолиею, самоубийством. Вспоминаю одну из моих парижских кухарок, тоже придерживавшуюся рюмочки, милую, услужливую, скромную, но лишь до процесса приготовления кушанья; когда она начинала священнодействовать, — тут уж, бывало, не подходи к ней; и меня, хозяина, она без церемонии выпроваживала из кухни: «Sortez, monsieur, j'ai besoin de toute ma place»[178]. Это был истинный артист в своем деле.

Помню одну из московских поварих, интересный тип, о котором стоит сказать несколько слов. Когда кушанье удавалось, этот субъект делался весел, разговорчив и сыпал рассказами из своего прошлого, — ни дать ни взять, как наш брат, нервный художник. Наоборот, когда «не выходило», нервы ее совершенно сдавали, и всякое замечание в это время вызывало с ее стороны ссылку на купца Берендеева, у которого она прежде служила и который будто бы всегда был ею доволен. Некоторая нечистоплотность, а иногда и невнимательность к делу вполне выкупались общим добродушием и бесспорно артистическим увлечением в своей работе. Как побывавшая в Петербурге, она называла завтрак «фрыштыком» и знала немало иностранных поварских слов, но произносила их неправильно: рагу называла рага, пюре — пира, десерт — дерсет, и в минуту раздумья сентенциозно говорила, что «природа науку докоряет».

Приходит на память еще артист по кулинарной профессии, повар-китаец, на котором тоже следует остановиться, хотя бы ввиду того, что у нас почти не знают, на какой высоте стоит поварское искусство в Китае. В Туркестане один полковник, из перешедших нашу границу китайских эмигрантов, спасшихся от дунганского восстания[179], пригласил меня к себе на обед. Зная, что эмигранты были все очень бедны, я боялся, что меня накормят какою-нибудь неудобоваримою туземною снедью, почему и закусил предварительно в нашем пограничном отряде бифштексом. Хозяин торжества действительно зарезал только барана, но он ухитрился приготовить из него 15 блюд, таких вкусных, что буквально хоть пальчики облизывай. Почти уже сытый, после завтрака у офицеров, я отказывался от потчеваний, но так как нельзя было вовсе ни к чему не притронуться, то я попробовал одного блюда и был поражен деликатным вкусом его. Другое было не хуже, третье — тоже. Язык, мозги, головка, филе, ребра, почки, легкое, печенка, грудинка, кишки — все было приготовлено на разные лады, одно вкуснее другого, все аккуратно, аппетитно разложено по маленьким чашкам,

приправлено перцем, специями, капустой, картофелем, рисом, морковью и проч.

— Откуда у вас такой мастер-повар? — не утерпел я, чтобы не спросить хозяина.

— Прямо из Пекина.

— Как так?

— Он из ссыльных, иначе здесь, в глуши, конечно, трудно было бы достать такого.

Я полюбопытствовал посмотреть на этого повара, на добродушной физиономии которого мне указали и знак ссылки — клеймо какой-то китайской буквы, выжженное на виске. По закону клеймо должно было бы украшать щеку преступника (он убил кого-то), но парень догадался вовремя «смазать» выжигавшую руку, отчего буква соскользнула на волосы и почти затерялась там. Не знаю, кого и за что убил этот китайский повар, но бесспорно, что он был не только с артистической подкладкой, но прямо артист.

Прибавлю, что скоро после того мое увлечение китайскою кухнею значительно убавилось — не с артистической, а с ремесленной стороны — из-за рассказа приятеля, артиллериста Рейнталя, которого тогдашний губернатор Семиреченской области генерал Колпаковский посылал в осажденный дунганами город Кульджу[180]. Когда-нибудь я поведаю историю этого восстания и осады кульджинской крепости, кончившейся тем, что амбан, т. е. генерал-губернатор, комендант и офицеры, потеряв надежду отбороться от мятежников и считая недостойным отдаться в их руки, последний раз хорошо покушали, выпили по лишней рюмке теплой водки, закурили трубки и взорвали себя на воздух. Расскажу, говорю, об этом эпизоде обширной драмы, унесшей вдоль всей нашей границы до двадцати миллионов народа, другой раз; теперь же продолжаю, что, по словам Рейнталя, несмотря на скудость припасов у осажденных, его все время отлично кормили, и многие блюда, как например, жареного поросенка, приготовляли просто удивительно. «Все было так вкусно приготовлено, — говорил он, — что я ел с аппетитом до тех пор, пока не убедился в крайней нечистоплотности китайцев. Кухня была расположена перед моими окнами, и вот один раз вижу, что повар, попробовавши навар супа и найдя его, вероятно, недостаточно крепким, направился к валявшемуся рядом издохшему верблюду, отрезал от него добрый кусок и бросил в мой суп!..»

Что делать, по части нечистоплотности на Востоке не без греха. Пожалуй, не лучше была угодливость, с которою меня потчевали у курдов, на Алагезе[181], под Араратом. Я посетил там

одного из старших курдских предводителей, Измаил-Агу, брата известного в свое время Джафар-Кули-Аги, и этот писаный красавец разбойник угостил меня супом, в котором бараньих волос было больше, чем чего-либо другого. Чтобы осязательно доказать свою дружбу, он во время обеда рылся пальцами в этом супе, вылавливал куски чистого жира покрупнее и клал мне в рот. Отказываться было невозможно, и я благодарил, глотал. Это угощение было совсем не артистично.

Ведя речь о поварах и поварском искусстве, скажу, что в каждой стране излюбленные, популярные блюда отличаются не только прекрасным вкусом, но и простотою приготовления: это — представители кулинарной мудрости разных народов, отражающие художественный темперамент их самих. В России — щи с кашей, кулебяка и деликатное блюдо ухи, особенно стерляжьей; на Кавказе — шашлык; в Германии главенствуют сосиски с кислой капустой; во Франции рагу из баранины; в Англии ростбиф и пудинг; в Америке — жареные устрицы и черепаха в соусе (терепин, — приготовляется особенно хорошо в Балтиморе[182], куда я нарочно ездил для того, чтобы получить надлежащее понятие об этом блюде); в Италии первенствуют макароны; в Венгрии — гуляш; в югославских государствах — курица в сметане с перцем; в Турции, Персии и Средней Азии господствует пилав или пилау, который, замечу мимоходом, европейские повара совсем не умеют приготовлять. То же, впрочем, можно сказать и о всех национальных блюдах — как они ни просты, а не переносят переселения. На всем Востоке, кроме помянутого пилава, имеет право гражданства курица или дичина, приготовленная в чистом луке, разваренном в масле; в Китае знамениты суп из ласточкиных гнезд[183] и жареный поросенок; в Индии, при запрете на говядину, очень хорошо приготовляется похлебка-соус из чечевицы, сильно приправленная специями и не уступающая вкусом мясным блюдам.

К слову сказать, неизвестно еще, не правы ли вегетарианцы, с их проповедью против мяса и боязнью ввода в организм, с мясными блюдами, задатков разных болезней, особенно при современной манере приготовления с просырью, с кровью. Факт тот, что теперь уже доктора запрещают мясо при многих болезнях, и есть вероятие, что скоро оно выйдет из употребления при большинстве серьезных недугов. На Востоке такая общая боязнь недоваренного или недожаренного мяса, что оно

воспрещено и именем божиим, т. е. религиями, и людскими законами. Помню, что за время пребывания и занятий в одном из буддийских монастырей в Гималаях, когда у меня жарили баранину на вертеле, настоятель, почтенный 80-летний старик, прислал мне сказать, что «монастырское божество сердито на меня!» — «За что?» — «За то, что я жарю мясо, не сварив его предварительно. Хорошо выварена говяжья снедь, — по словам почтенного монаха, — полезна человеку, а такая, какою я ее ем, недожаренною, кровяною, — вредна и противна божьему закону». Я выслушал, извинился, но и по сие время не исправился от этого греха, — ем мясо с просырью.

ЛИСТОК 9-ый

Надобно удивляться тому, что до сих пор, несмотря на сравнительные удобства и дешевизну путей сообщения, так мало путешествуют. Ездит, особенно по чужим землям, больше развлекающихся, скучающих людей, чем учащихся. Положим, что у первых больше денег, но причина не в этом только, а и в том, что вторые считают путешествие не столько необходимостью, сколько научной роскошью. Мне думается, однако, что в наше время ученый, художник, музыкант, даже военный не могут считать себя просвещенными людьми без проверки своего образования путешествиями. Как возможно вполне изучить географию и историю страны, не повидав ее? Возможно ли правильно понять Библию и Новый завет, не бывши в Палестине? С другой стороны, оценить и понять Рембрандта можно, только увидев Голландию, а Веласкеза — побывав в Испании. Гумбольдт, Лайель, Дарвин, Уоллес[184] и другие первоклассные ученые не были бы так велики в своих выводах и открытиях, если бы не объездили значительной части земного шара и не проверили на местах своих догадок. Само собою разумеется, я говорю об общем правиле и не касаюсь исключений, которые везде встречаются.

Сколько вдохновения, сколько широты для миросозерцания почерпнет из путешествий художник! Как узки покажутся ему рамки, разделяющие представителей живописи на историков, жанристов, баталистов, пейзажистов, а также новейшее разделение на импрессионистов, символистов и др.! Сколько чудных мотивов, в их соотношении с окружающей природой и климатом, выслушает музыкант! А военному разве не необходимо на самых полях битвы проверить результаты кабинетного изучения причин, способствовавших выигрышу или проигрышу того или другого сражения?

Толково путешествующий, внимательно изучающий видимое

и слышимое, прежде всего убедится в том, что он знает лишь ничтожную часть того, что может знать, и вследствие этого будет менее горд своим положением в природе, на роли венца творения. Он действительно возвысится над другими животными, а не ложною только уверенностью в том, что у него ум, а у них инстинкт; у него сознание, а у них — один инстинкт; у него рассудок, способность анализа, а у них опять-таки только инстинкт, — слово, ничего не выражающее, лишь способствующее задержке нашего развития!

Часто слышишь рассуждения о том, что наш век высоко цивилизованный и что трудно представить себе, куда, в каком направлении, в какой степени может еще развиваться человечество. Не наоборот ли? Не вернее ли принять, что во всех направлениях человечество сделало только первые шаги и что мы живем еще в эпоху варварства? Хотя бы взять то, что, стыдясь уже поедать своих врагов (т. е. людей, считаемых в известную минуту такими), мы еще не додумались до другого средства избавляться от них или изменять их образ мыслей, как десятками, сотнями тысяч убивая, истребляя их…

А наша наука, наши скороспелые заключения, наша надменность относительно всех других животных! Серьезно ли мы наблюдаем, изучаем их? Как могло, например, случиться, что «речь» друга человека, собаки, до сих пор не исследована серьезно, не поставлена в рамку систематичного научного целого? Конечно, есть люди, особенно между охотниками, могущие понимать собак и при случае сообщить об их языке немало характерных подробностей; но оставляемый этими людьми научный багаж невелик, и к нему относятся с полным пренебрежением; это по преимуществу плоды личных наблюдений и замечаний, передаваемых в наследие сыну или родственнику, если таковые пожелают принять их. Многие, конечно, улыбнутся, если я скажу, что давно пора составить руководство к изучению языка животных, правильное применение которого даст возможность проследить нравственную сторону их существования несравненно лучше, чем мы ее знаем теперь, и через то получить много новых данных для изучения человека.

В последние годы один американский ученый начал распознавать разговор обезьян, но лай, визг, вой собак, т. е. очень разнообразный и выразительный разговор наших старых, верных друзей, так и остается неразобранным, неразработанным. Кто не знает, что собака разно лает на хозяина и на чужого, на знакомого и незнакомого, что она чует врага, мертвеца; разно лает на человека, собаку, зайца, волка, птиц; разно просит есть, пить; сердится, благодарит, жалуется, горюет, радуется…

Пренебрежение к разбору всего этого напоминает презрение к языкам низших народностей, приводящее, с одной стороны, к фальшивым научным выводам, а с другой — к безучастию, среди которого эти народности бесповоротно вымирают.

Я уверен, что будут, наконец, составлены руководства для изучения собачьего языка, так что всякий желающий, для тех или других надобностей, — ученый, охотник, солдат, дворник дома или любитель спорта, — будут в состоянии научиться лучше понимать этих полезных животных и в свою очередь яснее передавать им свою волю. Мы привыкли и любим думать, как выше замечено, что наше время дошло чуть ли не до окончательных выводов, а между тем многое остается еще почти не затронутым, — есть все вероятия думать, что животные окажут людям большие услуги, чем доставление мяса для пищи и шкур на одежду, — изучение общины у пчел и муравьев, например, далеко не закончено, а оно в высшей степени важно для нас…

Вообще животные гораздо умнее, чем мы привыкли думать; то, что презрительно называется инстинктом, представляет веками нажитый и передаваемый от поколения к поколению разум. Таким вековечным разумом или инстинктом в большой мере обладал, конечно, первобытный человек. Все способности, отличающие людей, есть *в зачатке* и у животных. Я ограничусь здесь несколькими примерами, не особенно яркими и не наводящими на бесспорные заключения, но указывающими на несомненное присутствие у животных способности соображать; кстати, попутно приведу кое-какие замечания, либо взятые из личных наблюдений, либо слышанные из первых уст.

Нечего и говорить про лисиц: азбучная истина, что они в высокой степени хитры, сообразительны, умны. По словам людей, занятых ловлею их, нужны самые крайние внимательность и осторожность при постановке капканов на них: «И остерегаешься брать струмент голыми руками, и забрасываешь его снегом, и свои-то следы заметаешь — нет, она учует: обнюхает, осмотрит, а не тронет приманки, отойдет». Конечно, из-за трудности ловли этого зверя держится на Севере поверье, что против лисицы надобно знать *слово*, т. е. заклятие: «Иной, — говорят, — как ни изворачивается, ни старается, не может уловить ни одной», — этот *иной*, конечно, только более неосторожен и менее умен, чем лисица.

О лошадях сложилось понятие, что это животное неумное, и сравнительно, пожалуй, оно и так; но надобно принять во внимание давнее, постоянное подчинение лошади человеку, рабство, в котором она приобрела некоторые качества, нужные ее господину, и утеряла немало из прежде присущих ей. По крайней

мере, дикие кони, «кианги», стада которых я встречал на соленых озерах западного Тибета, выказывали себя в такой мере храбрыми, сметливыми и любознательными, какой незаметно у домашних лошадей. Впрочем, у нас на Юге хорошо знают, что молодой конь, убегая с полковой коновязи или конюшни, без ошибки попадает в свою степь, в родной табун, отстоящий иногда на 100 верст, для чего нужно немало сообразительности. Опытный кучер рассказывал, что лошадь всегда высматривает, кто садится: если хозяин, то соображает, что бежать можно потише, так как он наверное пожалеет ее. Пожилой и неглупый извозчик уверял меня, что его лошадь хорошо применилась к седокам и различает их по одежде: если садится человек с цветным воротником и околышем и блестящими пуговицами, то она бежит без кнута, так как по опыту убеждена, что таких седоков надобно возить скоро, иначе ей достанется. Кто не знает, что старые заремонтные лошади[185] прекрасно узнают полковые марши и сигналы, заслышав которые, несмотря на усталость, начинают гарцовать в извозчичьей упряжи. Мстительность лошади хорошо известна. Один мой знакомый купец в Ярославле, бивший часто своего красивого, сильного вороного рысака, вздумал раз загладить горячность, поласкать его, — лошадь схватила его за грудь, чего никогда не делала с кучером, и, поваливши, начала топтать. О случаях, когда лошади, затаивши обиду, умело выбирали минуту для мести, мне приходилось слышать много раз, а это бесспорно указывает на значительную дозу сообразительности. Я совершенно верю случаю, в свое время рассказанному во всех парижских газетах: лошадь, стоявшая на rue de Lafayette, у тротуара, в ряду других, в ожидании пристяжки к омнибусу, — лишь только конюх ушел в кабачок, перешла с переднего места, на котором ее ждала очередь впрягаться, на заднее, где можно было еще отдохнуть… Как кони в табуне защищают от волков себя и своих малышей, становясь в круг задними ногами наружу, а головами внутрь, куда и прячут жеребят, — достаточно известно. Это называют инстинктом, а я называю разумом.

Вот что рассказывал мне казак на китайской границе о проделке с ним медведя. «Иду, — говорит, — раз в горах, по козьей тропке, вижу: валится мне камень под ноги, должно быть, сорвался. Иду дальше, опять камень, — что за странность! Дальше — еще камень… Э! — говорю себе, — да это, должно быть, мишка. Сейчас с ружьем спустился и низом побежал по тому направлению, по которому шел зверь; поднялся, гляжу и что же вижу: заманил меня мишка в эту сторону, а сам во всю прыть убегает в другую!» Я не имею причины не верить этому рассказу и

нахожу в нем положительное доказательство не только хитрости, но и ума медведя; тут видна способность к умозаключению. Тот же казак, убивавший ежегодно по полудюжине, а иногда и более медведей, рассказывал об охоте мишки на диких пчел, которую ему привелось посмотреть. Приготовления медведя к этому подвигу были разумны и серьезны: он удостоверился сначала в том, что есть удобный спуск к речке, обошел несколько раз ствол, выбрал удобную сторону для подъема и полез. Быстро разорив соты, он набрал себе полный рот их и, провожаемый рассвирепевшими пчелами, еще быстрее спустился на землю, да прямо к ручью, в котором давай валяться, топить своих врагов. Достаточно вывалявшись, облизавшись и обсосавшись, мишка снова пошел на охоту и проделал то же самое. «Просто потеха была», — говорил казак, убивший потом этого лакомку.

А вот проделка со мною старого козла. В Средней Индии я еду верхом по полям Одейпура, на которых пасутся шесть-восемь, иногда более, стад диких коз. Все они держатся довольно далеко, на расстоянии двух ружейных выстрелов, и при приближении пешехода убегают; мимопроходящей же телеги не боятся, так что из этих последних и удобнее всего стрелять в них. Я хочу не убить, а загнать козочку и, зная, что старого козла или козу не взять, намечаю молодой, слабый экземпляр и ударяю за ним. Тотчас все животные бросаются врассыпную, причем молодые, неопытные скачут вперед, постарше — в стороны. Версты четыре, пять я скачу по ровному полю за намеченной жертвой, которая уже начинает выбиваться из сил, в то время как мой арабский конь несется еще бодро и легко, козочка делает все более редкие и грузные скачки, и расстояние между нами видимо уменьшается. Вот я совсем догоняю ее — можно затоптать лошадью, пристрелить из легкого ружья, что у меня за плечами, или хоть забить нагайкой… В это время, откуда ни возьмись, старый козел бросается чуть не под ноги моей лошади, невольно сбивающейся и уменьшающей аллюр, да и сам я отвлекаюсь. Козлу только этого и нужно: козочка, пользуясь замешательством, успевает спастись, а самого его и след простыл: в несколько прыжков он очутился вне моих поползновений. Я понял игру козла, и хоть из-за устали лошади не мог повторить опыта в тот же день, но на следующий опять поскакал, с намерением этот раз не даться в обман. Конечно, то было уже другое стадо, но и в нем оказался старый плут, чуть ли не более еще вороватый, чем накануне: в последнюю минуту он бросился ко мне так безоглядно, так, по-видимому, неосторожно, что лошадь, прямо из боязни споткнуться на всем скаку, приудержала свой бег, а я, каюсь в том, несмотря на твердое решение не поддаваться, выстрелил два

раза в предателя, промахнулся и упустил его и козочку! Интересно заметить, что оба раза при конце таких преследований предо мной скакали не только козы, но и волки, — эти почтенные охранители стад, должно быть, постоянно держатся в ариергарде их и, из боязни старых козлов не нападая открыто, выглядывают по ближайшим кустарникам и джунглям, выжидая случая предложить свои услуги.

Тигр не из особенно умных животных, но и он, видимо, ничего не делает без рассуждения; всегда ли правильно его рассуждение, особенно не о своем брате-звере, а о таком страшном и малопонятном ему противнике, как человек, — это другой вопрос; ведь и люди не всегда правильно рассуждают. Русский охотник на мелкую дичь в Туркестане утверждал, что тигр умеет различать намерения человека, отличает встретившегося случайно или идущего на птицу от имеющего поползновение на его шкуру: первых, даже и с ружьем, не тронет, а на вторых иногда и без вызова бросается своим страшным неотразимым прыжком. По словам его, выстреливший в тигра и не убивший его сразу, что очень трудно, должен ожидать, что зверь если не исковеркает его совсем, то во всяком случае вырвет руку, предпочтительно левую, как выставленную при выстреле вперед.

Людоед

Судя по рассказам людей, подсмотревших тигра, вернее — тигрицу в ее домашнем быту, она добра, ласкова и играет с детенышами так нежно, как добрая кошечка. Вообще рассказы о кровожадности и свирепости диких зверей преувеличены. Человек своей вертикальной фигурой внушает им всем такой неодолимый страх, что они боятся его и без вызова редко решаются нападать, — разумеется, если голод не остервеняет их. Исключение составляют старые звери, например, беззубые тигрицы, не могущие преследовать и атаковать больших животных и поневоле продовольствующиеся человеком, — раз попробовавши человеческого мяса, зверь, конечно, находит его вкусным, держится вблизи от поселений и слывет в окрестности «людоедом».

В Индии охота на тигров сравнительно легка и безопасна, так как их бьют с деревьев и слонов, но в Средней Азии, где тигров много, а деревьев и слонов нет, охота на них до крайности трудна и опасна. Я знал английских офицеров, уложивших десятка по два тигров, всегда из засады; в Туркестане же встречал мало людей, выходивших на эту охоту один на один. Военные отправляются командами, а туземцы, охотящиеся не из любви к искусству, а из-за потерь домашнего скота, распоряжаются различно: или, выследивши, застают зверя во время сна, — набрасываются, хватают за уши и стреляют, тычут копьями, пока не забьют, причем обыкновенно оставляют на месте битвы руку, ногу, а иногда и голову; или на бодрствующего зверя идут целою сотнею, пуская впереди смельчака, плотно и толсто укутанного в войлок; лишь только зверь набросится и прежде чем он успеет разодрать войлок, все налегают, оглушают зверя криком, ударами и часто скручивают, берут живьем, причем, конечно, тоже не обходится без изъянов.

Великолепные королевские тигры, виденные мною у магараджи Джейпура, совершенно благодушно относились к туземцам, но не выносили англичан, — при виде их бросались и бесились в клетках, по которым их рассажали, вследствие совета, данного английским резидентом. Тигры эти свободно разгуливали прежде по садам магараджи, разделяя такую привилегию вместе с хорошенькими баядерками — танцовщицами; но так как стало известным, что они пробовали иногда свои зубы и когти на придворных служащих, то и был дан «совет» засадить их в клетки. Конечно, нельзя было отнести недружелюбие этих зверьков к данному против них совету, а надобно думать, что легко приручившись к туземцам, они не успели привыкнуть к англичанам.

Было бы общим местом приводить примеры ума и

сметливости обезьян, — я ограничусь лишь занесением для памяти тех сюрпризов, которые они преподносили мне при некоторых случаях встречи с ними.

В восточных Гималаях, в Сиккиме, расположившись раз при серных водах, я привлечен был в ближайший лес нестерпимо пронзительным шумом обезьян. Вскинувши ружье на плечо, я пошел взглянуть, что такое у них делается, и лишь вступил в чащу густых развесистых деревьев, как наткнулся на огромное общество этих получеловеков, занимавших все ветви. При виде меня они не выказали ничего, кроме любопытства, но когда, шутки ради, я выстрелил и ранил одну из них, то затрудняюсь и выразить, что сделалось со всем населением, в какое оно пришло бешенство: целые десятки, прыгая с ветки на ветку, устремились ко мне, жестикулируя, делая угрожающие жесты и гримасы, а главное — что-то выкрикивая, должно быть: «убирайся вон, а то тебе будет плохо». Впрочем, это только моя догадка; факт тот, что я порядочно струсил, ибо понял, что вот-вот сейчас меня разорвут на клочки; не заставивши их повторять себе долго угрозы, по-военному, с лицом и дулом ружья, обращенными к неприятелю, я ретировался.

Если не столько опасности, то более каверз пришлось претерпеть от двух обезьян, вывезенных мною из Индии, не особенно больших, но сильных, ловких, смышленых да вдобавок умевших кланяться, просить, благодарить по-людски. Уже на английском пароходе «P» and «O», вырвавшись из клетки, которую им отвели в носовой части судна вместе с собаками и другими животинками, они привели в негодование команду тем, что, взобравшись на мачту, стали развязывать и перекусывать разные заинтересовавшие их узлы и веревочки, — это, конечно, не входило в программу занятий пассажиров. Потом любопытство узнать, что делается внутри судна, привело их к нескромному, прямо неджентльменскому поступку: не смея спуститься вниз по общим лестницам из боязни быть пойманными, беглецы рано утром спустились по борту судна и просунули свои головы в окошко одной из кают 1-го класса, как раз в то время, когда занимавшая ее дама одевалась к чаю. Последовал страшный испуг, крик, переполох, в конце которого капитан «вежливо, но твердо» пригрозил застрелить обезьян, если я не уйму их. «Сделайте одолжение, — ответил я, — может быть, хоть это образумит их».

После, во Франции, где я тогда жил и где для них была сделана большая проволочная клетка, опять немало было возни и даже неприятностей. Чрезвычайно сильные и дерзко ловкие, они пользовались всякою неосторожностью, чтобы вырваться на волю,

и если первое время на сахар и другие лакомства удавалось разными хитростями водворять их в клетку, то впоследствии ничем нельзя было сделать этого: они преспокойно жили на крыше моего дома, строя оттуда всякие гримасы и спускаясь лишь по ночам для воровства овощей и винограда, наводили страх на гулявших по парку, особенно на детей, которых терпеть не могли. После двух угроз привлечь меня к ответственности за исцарапанные лица малюток я решил застрелить моих обезьянок. Одну уложили наповал, но с другой повозились: не будучи бита за время пребывания у меня, она отучилась от поклонов и реверансов, которые прежде в совершенстве проделывала, но тут, получивши заряд в грудь, окровавленная, она вспомнила все жесты, которыми прежде умилостивляла человека, и начала так усердно кланяться и прикладывать руку к сердцу и голове, что я не имел силы выстрелить второй раз и передал ружье слуге.

Говорить ли еще о собаках, известных примерах их ума, сообразительности и преданности, часто нежности к людям? У одного знакомого мопс только что не говорил; достаточно было хозяину указать на одну перчатку на руке и спросить: где другая? — чтобы он бросился искать сначала в доме, а потом и на улице.

Другой мой знакомый, живший на Кавказе, приручил дикого аджарского пса тем, что больного, страдавшего жаждой и из страха всеми покинутого, напоил и вылечил; собака отплатила за это привязанностью и верностью. «Раз я был удивлен, — рассказывал мне С., — когда, придя домой за полночь, нашел недвижно сидящего за моим столом приятеля. — „Что вы тут делаете?“ — „Да вот, как видите, не смею двинуться с места“, — отвечал тот и рассказал, что, придя еще засветло и посидев немного, он собрался было уходить, но собака, до тех пор державшаяся если не особенно дружелюбно, то и невраждебно, преградила дорогу и так внушительно зарычала, что пришлось снова сесть. Это повторялось не раз, и в конце концов он был вынужден сидеть, не двигаясь, чтобы не раздражать цербера».

Огромный сенбернар одного москвича постоянно приносит в зубах калоши своему господину, когда желает идти гулять. Хоть это и не всегда вполне подходяще, но, во всяком случае, рассудительно; то же, пожалуй, сделал бы и неумелый деревенский парень-слуга. Таких примеров можно привести множество…

Я мог бы рассказать немало интересного о моей собственной собаке, вывезенной из Тибета, отличавшейся из ряда вон выходящими чуткостью и сметливостью…

Если взять во внимание все, что известно уже и теперь об

умении животных добывать себе пищу, отводить опасность от себя и своих маленьких и т. п., то придется признать, что у них тот же ум, что и у людей, только более слабый, менее развитой — ум наших детей. А так как к этому детскому уму надобно прибавить вековечный рассудок, именуемый инстинктом, передающийся из поколения в поколение, от родителей к детям, то понятно, почему опытный зверь перехитрит даже и бывалого человека и почему нам необходимо, в видах своей собственной пользы, серьезно изучать не только повадки и привычки животных, но и самый язык, а с ним и интимную жизнь их.

ЛИСТОК 10-ый

Сибирская железная дорога[186] принадлежит к тем сооружениям, которые, раз оконченные, уже кажутся старыми, давно существующими, — до такой степени они необходимы. Скоро будет просто непонятно, как могли обходиться без железного пути в Сибирь, держать в черном теле громадный край, ничем, ни в чем перед остальной Россией не провинившийся и уж достаточно настрадавшийся от каторги и ссылки, чтобы еще терпеть из-за недостатка в путях сообщения с Европою. До чего была разобщена с нами Сибирь, видно из выражений сибиряков: «у нас в Сибири», «у вас в России». Они говорят, например: «У вас в России много законов, а у нас в Сибири только два — двадцатипятирублевый и сторублевый». Если выражается «у вас в России» житель Царства Польского или Великого Княжества Финляндского, то это понятно, но что так говорит православный русский, из чисто русского края, — это очевидно нелепость.

Я бывал только в Западной Сибири до Омска; ссыльных там было множество. Проезжая по городам, видишь, бывало, седых стариков, сидящих на завалинках или пробирающихся с палкою в руках вдоль заборов, — все это по большей части были «несчастные», искупавшие и, конечно, уже искупившие свои грехи перед соотечественниками. Расположившись раз пить чай на одной станции, смотрю в окно, как высокий древний старикашка пробирается к крыльцу, и тотчас вслед за тем слышу звуки пощечин и падения тела с лестницы. Выйдя из станционной комнаты, вижу, что старик спешно поднимается и утекает, а смотритель, с очевидно чешущимися еще руками, бранит его отборными словами. «Зачем это вы бьете его, за что?» — «А уж извините, — отвечает блюститель станционного порядка, — от этого не отделаешься иначе: чуть какой проезжающий, как он уж тут, первая попрошайка! А только правда, — прибавляет он тихо, — что фамилия его известная, барон Р.!»

Поляков в Западной Сибири было такое множество, что какой-то шутник назвал эти губернии польским королевством. Биллиардные комнаты в гостиницах и трактирах были полны табачного дыма, в облаках которого слышалась главным образом польская речь. В городе Иртыше и других местах по дороге я покупал хорошую колбасу и вестфальскую ветчину, приготовления последовавших в ссылку за своими близкими польских пан; ел в гостинице хорошо приготовленные поваром-поляком котлеты и, наконец, чинил свой тарантас, хорошо и недорого, в кузнице у поляка. Конечно, нет худа без добра, но все-таки желательно для выбора, чтобы колбаса, ветчина и курки к тарантасам делались хоть и менее искусно, но чтобы страна избавилась от болезненного нароста, язвы, ссылки. Заселять окраины необходимо, но добровольцами, и это составляет теперь злобу дня, для которой новые железные пути в Сибирь и Туркестан должны сослужить большую службу. Там, где наш солдат косит сено, а казак поит своего коня, земля, хотя и завоевана нами, еще не вполне наша. Но там, где пашет наш крестьянин, там Россия. Еще недавно мне случилось говорить об этом предмете с одним из наших бравых военных генералов, причем я указал на возможность беспорядков и более или менее серьезных восстаний в туркестанской окраине нашей, где туземцы, осмотревшись и оправившись после погрома, сопровождавшего завоевание, конечно, попробуют воспользоваться своим огромным численным превосходством. Мой собеседник не верил в возможность чего-либо подобного, но случившаяся как раз вслед за нашим разговором андижанская резня указала и на возможность этого в настоящем и на неневероятность в будущем. В самом деле, мы застали в крае несколько государств и несколько национальностей, жившими в постоянной вражде между собой, так что каждая готова была скорее примкнуть к России, чем помочь исстари надоевшему соседу. Это очень облегчило и наши военные успехи, и управление первого времени; узбеки не любили сартов[187] и таджиков, а киргизы не доверяли ни тем, ни другим, ни третьим. Кокандец ненавидел бухарца и vice versa[188], и оба не жаловали хивинца, чем и тот усердно отплачивал, и ни который из них не согласился бы в критическую минуту подать другому руку помощи. Теперь все это изменилось, так как мы невольно, самым актом завоевания края, сковали одну общую национальность, связанную фанатизмом и недоверием к завоевателям. Этих последних везде всегда недолюбливали более или менее, — неблагоразумно было бы не признавать этого или закрывать на это глаза, полагая, что мы, русские, составляем исключение. При

таком порядке вещей нет лучшей страховки против всякой политической случайности, как железнодорожный путь, и чем более их будет направлено к стороне наших восточных окраин, от Памиров до Амура, — где тоже не невозможны беспорядки с соседними китайцами — тем лучше.

Екатерина II издержала на 20 000 колонистов-немцев около 20-ти миллионов теперешних рублей — естественно, что так заботливо пересаженные фруктовые деревья отлично принялись и пустили крепкие корни. Есть все вероятие думать, что и русские, если им дать средства, удобства переезда, семян, земледельческих орудий и денег, т. е. то, что дали немцам, процвели бы не хуже. К сожалению, с нашими переселенцами дело обстоит иначе, и нередко приходится видеть их замученными формализмом, возвращающимися на старые пепелища оборванными, голодными, вконец разоренными и с вымершими детишками…

Жаль! Повторяю, пока на наших окраинах не будут поселены русские крестьяне, земли эти будут русскими только номинально, так как полного спокойствия там не будет; при каком-нибудь толчке, откуда бы то ни было, разноголосица между племенами туземцев смолкнет и раздастся один голос: долой кяфиров! В час европейских замешательств это может быть неудобно.

С проведением большого сибирского рельсового пути отойдут в область преданий знаменитый колесный и санный пути, имеющие за собою целую литературу, полную драматических событий. Всем известны ужасы движения по этому пути партий арестантов и не меньше ужасы возвращений беглых каторжников. Кто не знает о «шалостях», творившихся на сибирском пути? Кто не слышал о том, что одна из богатейших сибирских купеческих фирм положила начало своему материальному благосостоянию организованным ночным разбоем на большой дороге? Слушая или читая рассказы об этом, как-то не веришь, что все это было сравнительно недавно, еще при наших отцах, и утешаешься хоть тем, что повторения, наверное, не будет.

Замечательно, что между сибиряками есть вздыхатели по старине: и лучше жилось, и люди были лучше, здоровее, чуть ли самый климат не был лучше! Уставы Сперанского[189], теперь постепенно сдаваемые в архив, кажутся сибирским кулакам чуть ли не совершенством. Например, когда граф И. задумал свалить силу волостных старшин, получавших от 15 до 20 000 рублей в

год, старики волости, в которой его сиятельство вел речь об этом, тотчас по его отъезде набавили своему старшине 3000 рублей, — говори, дескать, свое, а мы будем делать свое! Упрямы сибиряки, но школы, гласный суд и, главное, рельсовый путь сгладят их предрассудки, недоверие и самодурство.

Чего-чего не пересказали бы старые сибирские учреждения, если бы могли поведать о своем прошлом. Не говоря уже о судах, возьмем хотя бы большой сибирский тракт: какими только способами не ездили, не колесили по нем: и на своих, и на долгих, сдаточных, земских, почтовых, курьерских, фельдъегерских.

На своих тащились обыкновенно тихо, с тюфяками, перинами, запасными колесами, меж бесконечных чаепитий и закусываний: хозяева жалели лошадок, да и себя без нужды не изнуряли.

На долгих уже сам ямщик, жалея своих коней, старался подольше держать их на станции, поменьше делать верст в сутки. Перспектива «наводки» не всегда помогала, требовалось иногда и суровое слово.

На сдаточных нужно было более всего выдержки и дипломатии, чтобы не сидеть подолгу на перепряжках и, не обижая ни себя, ни возницы, двигаться вперед. На постоялый двор являлся обладатель нескольких лошадей. «Здравствуйте!» — говорил он, помолившись перед иконами и встряхнувши затем волосами. — «Здравствуйте. Ты кто будешь?» — «А, наслышан в *** проезжать изволите». — «Да, еду». — «Лошадок, может, желаете: много ли прикажете, какая будет ваша цена?» и т. д. Договорившись, подрядившийся старался урвать себе из цены возможно большую часть, для чего просил обыкновенно не заявлять на станции знаков нетерпения и желания ехать скоро, чтобы не набивать платы. Провезя станцию и гуторя со встречными крестьянами, из тех, что не прочь везти далее, возчик делал вид, что ему все равно, возьмутся сейчас везти или нет, так как проезжающему-де не к спеху, на что тот, понимая тактику, с своей стороны показывал, что ему наплевать, — везти так везти, а нет так нет. Боже избави сказать проезжающему при этих деликатных переговорах, — как я, потерявши терпение, иногда делывал, — что же вы, сговоритесь или нет, наконец? Долго ли мне дожидаться? Принимая так проезжего с рук на руки, последние к месту назначения везли его чуть не даром, утешаясь тем, что с своей стороны и они при случае поступят так же.

На почтовых *по частной подорожной* езда была разная. Вместо лошадей станционный смотритель предлагал обыкновенно или чайку, или яишенку, или молочка с устоем, под предлогом, что лошади в разгоне и необходимо подождать. Брань и угрозы

частному проезжающему, особенно купцу, помогали редко, чаще приходилось капитулировать, идти в сделку со смотрителем, набавляя по полкопейке, а то и больше на версту и лошадь, после чего или тройка оказывалась внезапно возвратившеюся, или ее будто бы ссужали соседи.

Проезжие *по казенной надобности* были менее тароваты, бранились и дрались с ямщиками, старостами и станционными смотрителями. Самоварчик самоварчиком, отчего не побаловаться, но чтобы к концу чаепития лошади были, а то дым коромыслом, крик, брань, угрозы и ни малейшей прибавки! Мне случилось раз получить лошадей при очень трудных обстоятельствах, когда, по-видимому, никакой надежды не было, благодаря моему рисованию. Я стал заносить в дорожный альбом грязную комнату станционного помещения, незадолго перед тем выгоревшего и пока ютившегося в хате почтового старосты и ямщиков. В ней была всякая всячина, начиная от дуг с колокольчиками и хомутов со шлеями до ребятишек, кур, поросят и теленка включительно. Чем дальше подвигался мой рисунок, тем больше интересовались им присутствовавшие, признавая вещи, людей и животных. Но вошедший в разгар аханий староста посмотрел на дело иначе. «Позвольте вас спросить, — тревожно обратился он ко мне, — для какой надобности вы пишете?» — «Так, для себя». — «Сделайте милость, не пишите: ведь станция сгорела, а новая не готова, я уж и так тороплю, это не моя вина…» Отчаявшись убедить меня в том, что списывать такой беспорядок не следует и что это не его вина, староста ушел и очень скоро доложил: «Пожалуйте садиться, лошади готовы!»

По курьерской подорожной ехали сибирским трактом очень скоро, так скоро, как, вероятно, нигде в другом месте. Я ездил два раза курьером в Туркестан, через Сибирь, один раз летом, другой — зимой, и оба раза езда была прямо бешеная; случалось делать по 400 верст в сутки. В начале лета на колесах, а в начале зимы на полозьях, когда бесконечные обозы не пробили еще колей и ухабов, — езда, даже очень быстрая, была сравнительно сносна, но по аршинным колеям и саженным ухабам она представляла нечто ужасное, настоящую пытку; только казанские тарантасы могли выдерживать такую встряску, такие толчки, подпрыгивания, перескакивания, и все это без спанья, почти без питанья, лишь со спешным глотанием чая и чего бог пошлет. «Нет ли чего поесть?» — спросил я раз, входя в станционную комнату. «Точно так, есть, — ответил сторож из отставных солдат, — борщ стоит в холодке», — и он вытащил из холодной печки миску со щами. Разогревать было некогда, и я жадно принялся хлебать похлебку, несколько странный вкус которой заставил меня после

первых ложек поближе всмотреться: борщ оказался полным больших жирных белых червей, — старый воин передержал в холодке.

Удивительно, как все в пути сходило с рук! Не поспавши одну ночь, потом другую, третью, думаешь, что свалишься, не хватит сил; смотришь — привычка и тут сделает свое дело, и через неделю подпрыгивания и подскакивания дремлешь и видишь сны, продолжая нестись. Наглотавшись горячего чая, выходишь ночью на стужу и ветер, и все ничего. Один раз на сильном тридцатиградусном морозе, но при тихой погоде я поморозил себе все лицо, уши, нос и подбородок. Ничего не заметил бы, если бы станционный староста не обратил моего внимания на этот неприятный казус и не посоветовал тотчас же натереться гусиным салом, все заживившим. Приходилось постоянно привязывать себя к перекладной повозке, чтобы не вылететь, так как главное занятие дорогою составляла дремота, и легко было из области грез перенестись в лучшем случае в снежный сугроб, а в худшем — в глинистую колею.

Курьерские лошади, застаивавшиеся в конюшне без всякого дела, так как запрягать их даже и по казенным подорожным строго воспрещалось, буквально бесились, пока их впрягали, и каждую нужно было держать во всю силу двум-трем человекам. Когда процедура оканчивалась, староста спрашивал: «Готово ли?» — «Готово!» — «Пущай!» Люди отскакивали в сторону, а кони сначала всею тройкой вскидывались на дыбы, потом марш-маршем несли вперед. Удерживать их было бесполезно, нужно было только умело направлять, чтобы не дать свернуть в канаву, слететь с моста и т. д. Со мной, например, раз случилось, что «принявшая» с места тройка понесла не к полотну дороги, а по одному из высоких косогоров, ее окаймлявших; тарантас поднимался, поднимался, пока у лошадей были силы, а затем с ними вместе вперевертку назад.

Другой раз, ночью, выпущенный таким бешеным аллюром со станции, я почувствовал в полной темноте, что тройка несется не прямо, а описывает круг, и затем услышал отчаянный крик ямщика: «Коренную забыли завожжать слева, черти!» Это он несся на одной вожже, и, конечно, чем больше тянул ее, тем сильнее заворачивал лошадей. Припомнивши, что, подъезжая к этой станции, я поднимался на гору и, следовательно, сейчас понесусь вниз, я решил выскочить, но это оказалось невозможным, потому что застегнутый на все пуговицы фартук был совершенно новый и разорвать его было невозможно. Не оставалось ничего другого, как ждать, что будет дальше, и ждать пришлось недолго: описавши полукруг, лошади стремглав понеслись по дороге под

гору и через головы полетели в ров. Я очутился распростертым в луже: на мне, на спине, ногах, даже голове оказались мои чемодан и ящики, а поверх всего колесами кверху тарантас. Не раз приходилось выскакивать из экипажа, и это проходило сравнительно благополучно: разобьешь нос или подбородок, ушибешь ногу, и только. Часто, прискакав на станцию, тройка не держалась более на ногах, и лошадей, особенно коренную, приходилось держать с обеих сторон, чтобы они не повалились. Пар валил от бедных тварей, привычные из которых отхаживались, а непривычные навсегда портились. Случалось, лошадь на всем скаку падала, чтобы не вставать более.

За версту и более не доезжая станции, ямщик, везший курьера, кричал обыкновенно благим матом: кульер, кульер, кульер! По этому крику все приходило в движение; одни бросались выводить лошадей, хомуты, другие подкатывали экипаж, если видели, что он перекладной. Случалось, что в хлопотах забывали подмазать колеса, и тогда на полдороге загоралась ось. Это грозило серьезною ответственностью, так как время отъезда и приезда курьера тщательно записывалось и начальству легко было добраться до сведения о том, где именно он был задержан. При одном из таких случаев мой ямщик остановился, быстро соскочил с козел, постоял над колесом и поехал далее. Перед первым встречным экипажем он опять остановился и, снявши шапку и униженно кланяясь, стал о чем-то просить. Сначала откликнулся ямщик, а потом нехотя, видимо только сдаваясь на жалостные слова, стали подходить и проезжавшие; «постоявши» над злополучною осью, они все отошли, и мы разъехались.

Курьеры обязаны были ездить не иначе как в особых маленьких тарантасиках летом и кибиточках зимою, перекладывавшихся на каждой станции; но более или менее важные люди, проезжавшие по курьерской подорожной не для доставки депеш, а из-за более быстрой езды, злоупотребляли тяжелыми нагруженными тарантасами, колясками и возками, в которые содержатели станции от себя уже впрягали пятерик, прогоны беря за тройку. Зато с легких курьеров обыкновенно вовсе не брали прогонов, остававшихся целиком в их пользу; просили только «пожалеть лошадок».

Зимою 1870 года я ехал курьером из Туркестана вдоль китайской границы и по Сибири с генералом Дандевилем[190] и иногда проезжал по 400 верст в 24 часа, иногда целую ночь просиживал, потерявши дорогу, в снегу. Помню одну станцию, на которой нас предупреждали о необходимости переждать снежный буран, чтобы не подвергнуться серьезной опасности; мы решили

ехать, но очень скоро сбились с пути, стали кружить и, наконец, остановились среди снежного моря, кругом бушевавшего. Ямщик, севши на пристяжку, отправился на поиски, ничего не нашел и явился заявить об этом, но после моих угроз снова уехал и окончательно пропал. Пурга была так сильна, что буквально перед носом ничего не было видно, и снег, постепенно поднимаясь, стал уже заносить нас. Ни о каких розысках нельзя было и думать, и мы, покричавши и пострелявши из револьверов, решили как-нибудь устроиться, чтобы протянуть до утра. Несмотря на новый романовский полушубок и меховой плэд, я начал коченеть, и только товарищ по несчастью, принявши меня в свою енотовую шубу, дал возможность выжить — не замерзнуть. Когда рассвело и погода прояснилась, мы увидели в 3-х верстах колокольню села, из которого выехали и кругом которого блуждали.

В эту поездку мне пришлось испытать образчик «шалости», или, вернее, покушения на «шалость» со стороны одного из рыцарей большой дороги, за Омском, где мой спутник остался со своим тяжелым колесным экипажем, а я ехал в легкой перекладной кибитке. Слышу раз ночью, что ямщик зачем-то остановился, что-то переговорил и потом поехал далее; при этом я почувствовал, что кто-то сел и схватился за наглухо закрывавший меня рогожный фартук. Просунувши сначала голову, потом и руки, встречаю носом к носу бородатую фигуру, черты лица которой нельзя было разобрать, потому что со шляпы висели концы веревок. «Что тебе нужно?» — «Неволя заставила», — отвечает он и хватает меня за грудь. Первою моею мыслью было убить его, но не решившись брать греха на душу, я, не долго думая, со всего размаха даю ему удар рукояткою револьвера по физиономии, так что детина летит в снег, и затем, прежде чем он успел приподняться, приказываю ударить по лошадям. «Зачем ты, такой-сякой, — говорю ямщику, — посадил его?» — «Да он стоит на дороге, кричит: стой; я думал, какой-нибудь ваш!» Хорошо объяснение! Продремавши эту и следующую станции, лишь наутро рассказал я смотрителю об этом казусе. «Как же это вы не заявили сейчас на станции, — попрекнул он меня, — ведь беспременно ямщик был заодно с ним: перевернули бы вдвоем повозку на первом сугробе и обшарили бы вас, а то и еще хуже. Страсть какой озорной здешний народ!»

Еще скорее курьера ездил *фельдъегерь*, с которого уж и думать было нечего брать прогоны, составлявшие его неотъемлемую экономию. Еще ему же, когда он сильно бушевал, подсовывали чай, пищу и даже бумажки, чтобы только не

заганивал лошадей. Садясь на тройку, фельдъегерь прежде всего влеплял в спину ямщика удар палаша, плашмя, с криком «пошел!». Затем еще и еще: «пошел, пошел, пошел!» Особенно ретивые били в продолжение всего перегона, и это не считалось нисколько удивительным: на то это фельдъегерь, жаловаться на которого было бесполезно, так как скорая езда была для него обязательна и к малейшему промедлению или задержке его относились очень строго.

Как ни привязывали себя фельдъегеря к экипажу, нередко случалось, что их выбрасывало, и если не убивало, то увечило на разные лады. Фельдъегерь, приехавший к нам в Самарканд, имел левую руку совершенно вывернутую в плече: в предыдущую поездку по Восточной Сибири он вылетел из повозки, расшибся и, не будучи в состоянии лечиться в пути, даже остановиться для вправки, так и остался с рукою, болтавшеюся как привязанная. С другим его товарищем на этом же пути было еще хуже: выброшенный ночью, он так зашибся, что не мог подать голоса и замертво остался на дороге, в то время как ямщик, безоглядно погонявший, прискакал на станционный двор с пустою повозкою.

С курьером ямщик мог еще иногда хитрить и под предлогом распряжки или потери кнута: «Виноват, ваше благородие, кнут обронил!» — дать вздохнуть лошадям; но с фельдъегерем, всю жизнь ездящим, никакие хитрости не помогали и приходилось гнать, гнать и гнать.

Никто так не злоупотреблял посылкою курьеров и фельдъегерей, как покойный наместник кавказский ***. Из-за нового мундира к празднику или из-за свежих конфект к большому столу, присылавшихся из Петербурга с нарочными, выбивалось многое множество зубов и загонялись десятки лошадей. Само собою разумеется — это дела давно минувших дней.

Известен случай с фельдъегерем, присланным к покойному государю Николаю Павловичу с театра Крымской войны. Подскакавши к дворцу, он, по обыкновению, был прямо проведен в кабинет государя, который тотчас занялся чтением депеш. Фельдъегерь между тем после четырех ночей, проведенных без сна, и убийственной скачки по колеям непролазной грязи — почти 2000 верст проезжал в 4 суток — как сел в приемной комнате, так и заснул. Когда император, пожелав лично расспросить о кое-каких подробностях, велел позвать его, — пришлось доложить, что не могут разбудить: и встряхивали, и за нос дергали — ничто не помогает, мычит, но не просыпается. «Я разбужу его, — ответил государь и, подойдя к спавшему, крикнул: — Ваше благородие, лошади готовы!» Тот вскочил, как

встрепанный.

Хорошо помню случай с молодым офицером, приехавшим за фельдъегеря из Петербурга в Самарканд. Он прискакал на 9-й день, и все дивились этой быстроте; лишь когда почти со всех станций пути стали поступать жалобы на самоуправство этого юркого ездока, поняли, что молодец скакал столько же на лошадях, сколько на скулах станционных служащих. Генерал Кауфман, не находя возможным производить такое множество дознаний, положил на все жалобы оригинальную резолюцию: на станции было сообщено, что офицер этот вскоре поедет обратно, и обиженным предлагалось задержать его. Увы — бравый офицер грозно понесся обратно в Петербург, и никто не решился не только задержать, но даже и напоминать ему о прошлом, следуя, вероятно, пословице: кто старое вспомянет, тому глаз вон. Зубов не воротишь, а глаза еще нужнее.

ЛИСТОК 11-ый

Я познакомился с Мессонье в 80-м году, во время первой выставки моих работ в Париже, в cercle artistique et literaire[191], которого оба мы были членами.

А. Дюма рассказывал мне о том, как великий художник прибежал к нему тогда совершенно взбудораженный моими картинами. — C'est vu, c'est observè[192], — говорит он, — и это «вашего», «русского»… После М. говорил мне как будто с маленьким укором: «Посмотрите, что вы сделали: увидевши вашего „Скобелева“[193], я не могу оканчивать начатую картину в этом же роде», — и он показал мне довольно большую доску со сценой объезда Наполеоном I своих войск после какой-то битвы. Я подумал, признаться сказать, что, пожалуй, большой беды в том и не было, так как на картине, наполовину уже исполненной, и император, и рыжая лошадь под ним были тяжелые, совсем деревянные, солдаты не ликовали, а строили позы; картина, видимо, была написана по реляциям и Тьеру, в ней не было главного: боевого пыла, увлечения[194]. Она действительно осталась неоконченною и после смерти художника продана в том самом виде, в котором была 15 лет тому назад.

Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой

Мессонье был тогда в большой славе, и нашему художественно-литературному кружку, конечно, лестно было иметь его в числе своих членов; однако меня удивило отношение к нему некоторых товарищей, обусловленное, должно быть, до некоторой степени неуживчивым характером художника. Когда раз наш вице-президент Воклен протянул мне руку чуть не через голову рядом шедшего Мессонье и я спросил его: «Разве вы не узнали М.?» — он громко ответил: «Знаю, c'est un vilian monsieur!»[195]

Пригласивши раз Мессонье позавтракать вместе, я в то же время прихватил старого знакомого, преталантливого художника Heilbuth: «С нами будем М.», — прибавил я. «Ни за что!» — «Это почему?» — «Он дуется на меня, и я не хочу дать ему думать, что заискиваю…» — «Пустяки, вы будете не с ним, а со мной», — ответил я, полагая, что за столом старые знакомые, вероятно, разговорятся. Не тут-то было — за целый час беседы М. не только не сказал ни слова с Н., но даже сидел как-то вполоборота к нему, что было не лишено комизма.

Heilbuth, конечно, намотал на ус такое публичное пренебрежение и старался отомстить за него; по крайней мере, он не раз позже высказывал удивление по поводу моих похвал Мессонье: «Как, и вы? Неужели и вы восторгаетесь им, ведь это фотограф и резчик, взятые вместе…»

Бесспорно, что в некоторых наиболее крупных картинах Мессонье есть немного жесткости, тем не менее это был большой художник, необыкновенно искусной руки.

Парижский дом Мессонье на Avenue de Villiers[196] был очень характерен снаружи и прекрасно убран внутри. В художественных кружках рассказывали, что он стоил ему огромных денег,

главным образом, из-за живости характера, не позволявшей остановиться на раз утвержденных планах и удовольствоваться ими, а требовавшей постоянных перемен и переделок. Например, будто бы найдя не довольно изящным скульптурный фриз, он велел заменить его другим и на замечание архитектора: «Cela vous coutera 20 000 francs»[197] — ответил: «Cela coutera ce que cela coutera»[198].

Он имел две большие мастерские, полные произведений искусств с прекрасным светом на незастроенный двор, но место для установки модели на воздухе, на солнце было на балконе, так что нельзя было работать без того, чтобы не обращать внимания соседей. Мне странно было то, что архитектор, истративший много денег на сравнительные мелочи, не позаботился устроить художника поудобнее, хотя бы на крыше, куда с помощью лифта легко было бы подниматься.

Известно, как добросовестно исполнял работу Мессонье, но меньше знают, каких трудов и издержек стоили ему приготовления к работе. Помню, например, он писал всадника в костюме прошлого столетия, закутанного в плащ, едущего по пустынной дороге при сильном ветре: плащ развевается, и голова всадника с нахлобученной шапкой нагнулась перед вихрем, несущим тяжелые тучи, гнущим траву и деревья. Как лошадь, так и человек были прекрасно вылеплены из воска; на первой уздечка и седло, со всеми мелочами, были изящно сделаны из настоящих материалов; на втором плащ, шляпа и сапоги со шпорами также представляли миниатюрные chef-d'oevr-ы, исполненные по рисункам времени. Чтобы иметь складки извивающегося плаща, он был опущен в легкий клей, в котором и застыл в том движении, в каком был расправлен. Словом, все было остроумно налажено для того, чтобы облегчить наиболее совершенное исполнение картины, и во всяком случае указывало на из ряда вон выходящую требовательность к своему искусству.

— А как вы писали снежную дорогу «в картине» Наполеона в 1812 году? — спросил я его.

— Вот как, — ответил М., выпихнувши ногой из-под стола невысокую платформу, метра полтора в квадрате, — здесь я приготовил все, что было нужно: снег, грязь, колеи. Намесил глины и несколько раз протолкал взад и вперед вот эту пушку. Потом копытом с подковой намял следы лошадиных ног, посыпал мукой, опять протолкнул пушку и проч., — так несколько раз, пока не получилось подобие настоящей дороги; потом посыпал соли, и дорога была готова.

— Зачем соли?

— Для блеска, который, как вы знаете, всегда есть в снегу.

Я улыбнулся.

— Чего же вы смеетесь, как вы сделаете иначе? — Очень остроумно придумано, — ответил я, — je vous fais mes compliments[199], но если вы спрашиваете, как бы я сделал иначе, скажу, что я поехал бы в Россию, где почти все дороги изрыты так, как представленная вами, и написал бы этюд с натуры…

— Да! nous autres parisiens[200], мы не так легко перемещаемся.

Рассказывали, что М. работал быстро; я слышал это от многих, но это было совершенно неверно; он и рисовал, и писал тихо, а главное, перерисовывал и переписывал исполненное с самоотвержением, не щадя времени и труда. У этого художника было уменье жертвовать мелочами для главного, подробностями для общего, чего уже гораздо меньше у его ученика Детайля[201], у которого все пуговицы на счету и все одинаково блестят. Вообще уменье жертвовать интересною подробностью для общего встречается не часто, не только в живописи, но и во всех других родах искусства: как живописец с трудом решится затенить или вовсе замазать интересный и уже хорошо исполненный аксессуар, даже если он пестрит картину, так и литератор неохотно выкидывает из повести или романа остроту, анекдот или вставное лицо, если они забавны, хоть бы они и отвлекали внимание, растягивали действие. Это умение жертвовать частями для целого тем более замечательно у Мессонье, что именно исполнение «morceaux»[202] составляло главную силу его — кажется, ни один художник нового времени не выполнял терпеливее, не оканчивал работу более, не вдаваясь в то же время в сухость, в то, что французы называют «le penible»[203].

О замысле картин нельзя сказать того же: тут сплошь и рядом больше условности и рутины. Например, там и сям являющаяся на его полотнах война — не настоящая и, очевидно, представляет результат наблюдения маневров или движений войск, как они видимы из штаба, из свиты главного лица, изображение которого и составляет всю суть картины, начало и конец ее. Мало увлечения войском как людьми, а не стадом. Можно понять, почему, увидевши картину несущегося по рядам, между убитыми, Скобелева, схваченного с натуры, Мессонье не захотел продолжать своего «Наполеона» как сцену, лишенную души и энтузиазма, будто вымученную.

Затем, названия его военных картин говорят громче, метят дальше, чем их содержание. Еще полотно, изображающее кирасир, летящих в атаку, пусть будет называться «1807», но почему кавалерийский полк, готовящийся к нападению, назван «1805»? Каким образом картины, представляющие Наполеона, Первого или Третьего, с их штабами, смотрящих на ту или другую

битву, могут быть названы именами самих битв? Это напоминает старую гравюру с надписью: «вид такой-то столицы» — под изображением нескольких домов с забором и переходящим дорогу мещанином с узелком в руках. Вообще реалист по исполнению, Мессонье не был им по творчеству, носящему печать старого пошиба: официальная история, официальные типы. Наполеон Мессонье — Наполеон Тьера в известной книге «Consulat et l'Empire»[204], даже не проверенный Мишле[205], и требовать большего нельзя, так как художник не был подготовлен образованием и развитием к проведению собственных взглядов на историю, своих заключений и выводов из ее уроков.

В мелких картинах из вседневной жизни прошлых столетий художник более сам и проявляет часто не только юмор, но и некоторую дозу философии. Надобно только заметить, что многим превосходным сценам вредит однообразие представленных на них лиц, что просто непонятно у такого щепетильно-добросовестного художника; точно будто, сделавши все для совершеннейшего исполнения чисто технической стороны, он устал для всесторонней разработки духовной. Конечно, находить подходящих натурщиков трудно, но ведь и заказывать, а потом писать аграфы, шпоры и другие подробности костюма в величину булавочной головки нелегко, однако Мессонье исполнял их не только с терпением, а прямо с увлечением, как же было не позаботиться о типе лиц?! Например, на прелестной, характерной по всей обстановке сцене «Чтение у Дидеро» все лица схожи между собою и представляют в сущности незначительные изменения физиономии служившего у художника погодно натурщика Delacre. Та же модель, еще более похожая, встречается и на многих других картинах. На знаменитом полотне «Атака кирасиров» все скачущие солдаты как капли воды похожи между собой, потому что опять-таки не списаны, а скопированы с одного и того же натурщика. Немного менее, но тоже очень похожи один на другого и драгуны в картине «Проводник» и т. д.

Относительно рисунка Мессонье надобно сказать, что он замечательно хорош, и не академически только, не сух, а, напротив, выразителен во всех изгибах и складках. Такой рисунок я знаю между современниками только у пруссака Менцеля[206] да у покойного баварца Горшельта[207]. Само собою разумеется, что он все-таки не без грехов. Случается, даже нередко, что всадники у него сидят не на седле лошади и не на хребте, а еще ниже, и вряд ли это можно объяснить недосмотром такого зоркого художника — вернее думать, что и у Мессонье, хоть и меньше, чем у всех нас грешных, нет-нет да проскакивала неохота заново переписывать

уже исполненную фигуру.

Помню, что в одном альбоме, изданном с благотворительной целью, рисунок Мессонье «Трубач», фигурировавший на заглавном листе, был такой коротыш, такой манекен, что все, не исключаю самого автора рисунка, заметили это. Тем не менее трубач так и остался на лучшем месте альбома, со своею трубою и своим деревянным торсом. Правая нога известного «флейтиста» прямо вывихнута. Правая рука солдата на полотне «L'Ordonnances»[208] длинна, как у орангутанга — вытянутые пальцы достанут до чашки колена. Обе ноги на портрете А. Дюма-сына так уродливо велики, что покойный романист смотрит саженью — недаром он тотчас пожертвовал этот портрет, и т. д.

В погоне за преднамеченными людьми биографы Мессонье уверяют, что уже с первых юношеских опытов этого художника сказались будущие силы и оригинальность его таланта. Но я видел самую первую работу его — принадлежащую известному Уоллесу — и могу сказать, что это произведение слабое во всех отношениях: заседание каких-то фламандцев, написанное прямо под влиянием этой школы, без тени чего-либо самобытного, намекающего на будущее развитие таланта автора. Нужна была вся громадная несокрушимая энергия этого маленького человечка с большою головою, прямо гнома, его нелюдимость, любовь к одиночеству, к сосредоточенному труду, его запас физических сил, его крепкий близорукий глаз, чтобы добиться, завоевать все то, чего он потом достиг. Ничто из этого, даже в зачатке, не сквозит в памянутом «заседании» или «посещении» фламандцев, почему и несправедливо приписывать этой ученической работе что-то многообещающее; великое множество 19–20-летних художников дебютируют несравненно более талантливыми и обещающими трудами.

Известность Мессонье, начавшаяся поздно, в 35 лет, стала расти очень быстро. Усталость общества от огромных полотен и лицемерно-благородных сюжетов псевдоклассиков и романтиков, рассказчиков исторических анекдотов — при уменьшении размеров жилых покоев — сделали то, что перед его миниатюрными картинами, выполненными и законченными так, как это редко встречается и у фламандцев — публика толпилась, восхищалась, стараясь приобрести их, не глядя на цену.

О ценах картин Мессонье много говорилось и писалось в свое время, многих они прямо скандализировали. Но, во-первых, надобно помнить, что художник при крайней добросовестности исполнения производил мало, особенно сравнительно с открывшимся перед ним, при бойких делах второй империи, всемирным рынком и, следовательно, работы его, как редкие,

дорогие камни, естественно, должны были цениться высоко. Во-вторых, сам он никогда не продавал своих картин, а детски доверялся торговцу, который помещал их, по усмотрению, туда, где больше предлагали. «Обратитесь к ***», — говорил он обыкновенно тем, кто просил его о продаже понравившейся вещи, а *** брал себе добрую половину выговоренной цены, за комиссию. Откинувши эту «комиссию» и расценивши остальную сумму по часам работы не знавшего отдыха и праздников художника — с вычетом еще долгого времени на приготовление к ней, получим небольшое сравнительно вознаграждение, лишь благодаря неустанности работы, в продолжение 360 дней в году, приводившее к серьезным суммам.

Немало шума наделала в свое время в Париже история с портретом американской миллионерши m-me M***, барыни, не знавшей меры своим претензиям и фантазиям, не поддержанным ни красотой, ни талантами, а только туго набитым кошельком. Это о ней рассказывали, что, наскучив смотреть из своих окон на знаменитую «Триумфальную арку», она выразилась, что желала бы знать, сколько правительство республики возьмет за перенос намозолившего ей глаза памятника на другое место. Si non e vero…[209] во всяком случае, анекдот характерен.

Такая барыня пожелала иметь свой портрет работы Мессонье. Художник отказывался, но стоявший за его спиною ***, добивавшийся сколотить скорее «son million a lui»[210], настаивал на ошибочности этого пренебрежения: почему нет? Она хорошо заплатит!.. «Пусть будет по-вашему», — решил художник и написал портрет, который я видел и нахожу превосходным в полном смысле этого слова. Нужно же было случиться, что рука миллионерши, натягивающая перчатку, показалась ей велика — отсюда требование к художнику уменьшить руку.

— Рука впереди туловища, она верна натуре и перспективе и не должна, не может быть уменьшена, — отвечал Мессонье, — переписывать ее я не буду.

Отсюда спор, вызвавший в обществе много толков за и против; в клубах и гостиных смеялись, загадывая: перепишет — не перепишет, возьмет портрет — не возьмет. В конце концов художник *не переписал* и все-таки получил деньги, а оскорбленная барыня, по одной версии, уничтожила портрет, по другой — выместила свое неудовольствие тем, что повесила его в неназываемое в печати место.

Портрет m-me M., как сенатора Lefranc, приятеля художника, и некоторые другие — настоящие перлы живописи: характер лица, кожа, также материя и все подробности переданы правдиво, жизненно, без сухости в отделке и не носят на себе нисколько

следов усталости руки, несмотря на то, что были писаны тогда, когда художнику было за 60. Одно время вскоре за этим Мессонье совсем было осилили страдания болезни камня; «je sens que je m'en vais»[211],— говорил он друзьям, но эти опасения не оправдались, камень был удачно разбит, извлечен, и художник воротил почти всю свою прежнюю энергию.

Только в последние годы, когда ему было уже за 70, стали показываться признаки слабости глаз и руки — резкость и кропотливость стали заменять прежнюю законченную сочность; более крупные размеры холстов и фигур не помогли, и, глядя на новые работы Мессонье, приходилось вспоминать старые — так, смотря на отцветающую красавицу, находишь ее более прелестной, когда в то же время вспоминаешь былую!

Один из самых близких приятелей Мессонье, А. Дюма рассказывает интересную черту рассеянности и чистосердечия художника.

— Правда ли, — спрашивает он писателя, — что многие ненавидят меня?

— Возможно; ваш талант, известность, цены ваших картин…

— Нет, не то, я говорю о тех, что обижаются на мой характер.

— Да, это правда, вас считают гордым, высокомерным…

— Клянусь же вам, что это не верно… Дело в том, что я всегда думаю свою думу — о жесте, движении фигур, тоне картины, которую пишу, к которой, раз оторвавшись, опять стремлюсь, — отсюда моя рассеянность. Кстати, скажите, Жиро[212] умер?

— Нет, не умер, он жив.

— Так это я его встретил вчера! Он подошел ко мне, спросил о моем здоровье, а я, не узнав, ответил: благодарю, здоров. После уж мне пришло в голову, что лицо этого господина мне знакомо, и теперь я уверен, что это был Шарль Жиро! Наверно, наверно! Где он живет?

Я сказал ему адрес, он схватил пальто, шапку и палку и потащил меня за собой. Позвонил, вошел, бросился в объятия Жиро и со слезами на глазах просил у него извинения за вчерашнюю сухость.

Рассказ этот был мне тем более интересен, что нечто подобное случилось со мной.

Прохаживаясь раз по Gare st. Lazare[213] в ожидании поезда, ко мне в Maisons Laffitte[214], А. Дюма спросил:

— Вы, должно быть, часто встречаетесь здесь с Мессонье?

— Случается, — говорю, — но теперь я прохожу мимо.

— Это почему?

— Плохо признает; последний раз в вагоне он с таким

недоумением пожал мне руку и посмотрел в лицо, что я счел за лучшее проходить своею дорогой.

— Да ведь он просто не узнал вас!

— Может быть, — только это немного неловко, похоже на навязчивость с моей стороны…

— Что это за человек! — воскликнул Дюма, — il passe son temps à ne pas reconnaitre ses amis et à se faire des ennemis![215]

Должно быть, Дюма передал художнику об этом разговоре, потому что скоро после того, поднявшись в Salle d'attente[216], я встретил Мессонье с умильным, готовым на приветствие лицом, но — должен в том сознаться, как это ни мелочно, я сделал вид, что не замечаю его, и прошел мимо. Только после рассказа Дюма об истории с Жиро я понял, что поступил резко относительно великого и до крайности рассеянного художника.

ЛИСТОК 12-ый

Я упомянул о том, что не знаю рисовальщиков, подобных Мессонье, т. е. художников, владеющих карандашом в такой мере верным, чутким, строгим и в то же время живым, кроме Менцеля и Горшельта. Именно только рисовальщиков, потому что в красках оба названных живописца много ниже его. Менцель, при всех громадных достоинствах, пишет воздушное и солнечное освещение не с натуры, а из головы, по памяти, в четырех стенах своей мастерской. Так же приблизительно понимал колорит и Горшельт, который, может быть, до некоторой степени и видел недостатки этой манеры работы, но по своим средствам не считал возможным иначе устроиться. В то время, как Мессонье тратил большие деньги на костюмы натурщиков, Горшельт, когда, например, ему нужен был восточный человек с темною кожей, не искал такого, а просто натирал свою модель подходящей краской, и «туземец» — араб, кавказский горец или негр — был готов. Его выручало множество этюдов с натуры, но в принципе добросовестность в передаче pleinair была и у него ниже, чем у Мессонье.

Работал Горшельт также тихо, но любил говорить, что тот или другой набросок сделан им в полчаса. Помню, рассматривая раз один из таких тщательно сделанных рисунков, я попросил его сказать мне, долго ли он его работал. «Только, пожалуйста, не вводите меня в заблуждение, скажите правду!» Он засмеялся:

— Непременно правду?

— Да, так как я художник, а не публика.

— Я приходил рисовать эту гору дней 8 или 9.

— Ну вот, благодарю, — ответил я, действительно очень

довольный, потому что, видя, как самому мне все туго дается, я подозревал, что и другие, толкующие о быстроте работы, пожалуй, в сущности, немало корпят над нею.

Эта, по-видимому, невинная похвальба скоростью работы обманывает и сбивает молодых художников, приучающихся смешивать скороспелость с талантливостью и относиться свысока к усидчивости и терпению, без которых развитие таланта, как бы он ни был велик, — немыслимо. Правда, бывает иногда, что работа наладится, «выйдет» сразу и от дальнейшей отделки только портится, но это только исключение, в большинстве же случаев чем больше бьешься над картиной, рассказом или музыкальной пьесой, тем они выходят лучше. Поэты еще более, чем мы, художники, злоупотребляют уверениями, что то или другое стихотворение — в действительности плод усидчивого труда — вылилось непосредственно, экспромтом.

Горшельт был не только большой художник, но и милый, общительный человек, вовсе не гордый своим талантом и известностью: кажется, никто из собратьев не способен был бы с такой наивностью, как он, просить «сказать откровенно, не похожа ли его работа на яичницу?».

Получивши назначение профессором в Мюнхенскую Академию художеств и зная, что я ищу себе мастерскую, он спрашивал меня, годится ли мне та, в которой он работает?

— Конечно, годится, — ответил я, так как она была едва ли не лучшая в городе, — но где же достать такую?

Именно для розысков мастерской для меня мы условились, помню, пойти вместе в одну из суббот, но в этот день пришел ко мне его мальчик сказать, что «папа не совсем здоров»; а в понедельник, в концерте, я услышал разговор соседей, выражавших сожаление по поводу ранней смерти Горшельта и соболезнование об осиротелой семье, вдове с двумя детками…

— О каком Горшельте вы говорите? — позволил я себе перебить говорившую даму.

— О Теодоре, известном живописце.

— Это не может быть, я недавно видел его; маленький сын его был действительно очень болен, но и он теперь здоров.

— Вот от своего мальчика он и заразился скарлатиной; тот выздоровел, а отец скончался.

Я покинул зал, чтобы справиться, и все оказалось верным. От вдовы я узнал, что покойный хотел передать свою мастерскую именно мне, так что, хотя она уже получила десятки просьб, считала нужным предложить ее первому мне. В этой мастерской я и писал потом мои туркестанские картины.

Один из друзей умершего, художник Коцебу[217], просил

государя Александра Николаевича не дать разойтись по рукам оставшимся альбомам и рисункам, представлявшим живую летопись кавказской войны, за время покорения восточных кряжей гор, кончившегося пленением Шамиля. Рисунки эти были тогда приобретены государем и подарены Академии Художеств.

Горшельт работал на Кавказе при князе Барятинском[218] и был очень популярен как между свитой наместника, так и в действующей армии. Казаки конвоя рассказывали мне, что трудно было уберечься от горшельтовского карандаша. «В самое то время, как ты себе выйдешь из палатки порасправиться, полежать на солнышке, он тут как тут! И на спине тебя напишет, и на брюхо попросит перевернуться. И что чуднее встанешь или ляжешь, то ему занятнее. „Подыми, говорит, братец, повыше ноги, сдвинь шапку набекрень, — чудак был, право!“»

Рядом с Горшельтом стоит в памяти и вышеупомянутый Коцебу, один из сыновей Коцебу, убитого студентом Зандтом, брат бывшего наместника в Варшаве[219]. Он жил и работал постоянно в Мюнхене, где, благодаря своему имени и таланту, занимал привилегированное положение, был в близкой дружбе, на ты, с королями Людвигом I и Максимилианом[220]. Это был батальный живописец старой школы, времени похвальбы военным молодечеством, талантливый, разумный. Хорошо владея карандашом и кистью, он не желал знать никаких живописных новшеств и все писал в четырех стенах своей полной табачного дыма мастерской. В его картинах ясно, как на ладони, атаковали, штурмовали, обходили, брали в плен и умирали — по всем правилам военного искусства, как тому учат в академиях, и вполне согласно официальным реляциям главнокомандующих, т. е. так, как хотели, чтобы было, но как в действительности никогда не бывает. Очень трудолюбивый, он иллюстрировал все войны России прошлого столетия, причем иногда сам выбирал сюжеты и докладывал о них государю, который утверждал их, а иногда получал заказ исполнить тот или другой эпизод. Представивши одну работу, он тотчас принимался за другую, так что в конце концов написал немало. По его собственным словам, за последнее время император каждый раз говорил ему: «Пожалуйста, Коцебу, не давай мне больше картин: у меня нет уже места для них!» — но настойчивый художник отвечал на это: «Постройте музей, ваше величество, тогда и место будет».

— Один раз, — рассказывал Коцебу, — бывши в Петербурге, я

увидел недавно присланную картину мою повешенною и насилу узнал ее: как будто не она, а между тем она — чего-то как будто не хватает. Хорошенько рассмотревши со всех сторон, открыл, наконец, секрет: так как место, на которое ее повесили, было коротко, то холст мой подогнули на аршин.

Небезынтересно, что этот талантливый художник, во всех отношениях хорошо устроивший свою жизнь, жаловался только на одну беду — болезнь глаз, которою он страдал и от которой лечился более 20 лет. Жалобам его можно было вполне верить, глядя на красные, воспаленные веки и всегда сочившиеся слезы — болезнь глаз для всякого нехороша, а для художника и того хуже. Оказалось, однако, по осмотре одним молодым окулистом, что самые глаза были совсем целы, болели же веки — как только уничтожили воспалительное состояние в них, так выздоровели и глаза, которые доктор, «друг дома», лечил, лечил, лечил!

Александр Евстафьевич Коцебу охотно и интересно рассказывал о былом, слышанном и виденном. Приведу только рассказ его о казусе, случившемся в Мюнхене с недавно умершим прекрасным человеком и художником Иваном Ивановичем Шишкиным. Коцебу отзывался о покойном с самой лучшей стороны, вспоминал о нем с любовью старшего брата:

«Что это за славная русская натура, как он рисует и какой богатырь! Как-то раз мне дали знать, что русский художник, арестованный ночью в уличной драке, ссылается на знакомство со мною. Полицеймейстер, которого я хорошо знал, просил прийти и, коли я действительно его знаю, заявить об этом, потому что против малого могут быть приняты строгие меры. Прихожу в полицию — Шишкин! И в каком виде! Волосы всклочены, в грязи, ободранный, одного рукава нет, фалда сюртука висит… Шишкин, говорю, с вами случилось несчастие, мы поправим его. Пожалуйста, расскажите, как было дело? — Оказалось, что он был виноват только вполовину, так как был трезв, не буянил и, задетый, слишком близко принял это к сердцу. По моей просьбе полицеймейстер обещал замять это дело и затруднялся только историей с ружьем: в пылу схватки Иван Иванович выхватил у подошедшего разнимать ссору полицейского ружье, стал им воевать и сломал его — это было серьезно.

С грехом пополам все уладили, на условии, что мы заплатим как всем потерпевшим, так и за злосчастное ружье. Когда вызвали этих „потерпевших“, я был поражен их количеством: тут был люд всякого звания, всяких возрастов, и дравшиеся, и пробовавшие разнимать, с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками и хромые — длинной вереницей стали они проходить предо мной, показывать синяки, ссадины и всяческие

увечья. Я торговался сколько мог, сердился, бранился и просто глазам своим не верил — так много было действительно пострадавших.

— Шишкин, — говорю, — да неужели же это вы… обидели столько народа?

Он скромно потупился.

Заплатить Ивану Ивановичу пришлось немало, и вскоре после того он уехал из Мюнхена. А славный малый, — еще раз прибавил Коцебу, — настоящая русская натура».

После, много лет спустя, я иногда допрашивал в шутку Шишкина об этом похождении, и он, всегда конфузясь, отвечал:

— Да будет вам!

— Признайтесь, поусердствовали?

— Да будет вам!

Покойник, добрейшей души человек, всю жизнь был убежденным противником немцев, но воевал ли он с ними на одной из мюнхенских улиц вследствие этого нерасположения, или самая враждебность явилась из-за того, что ему пришлось заплатить тогда за все протори и убытки, я так и не узнал от него, потому что на расспросы получал один и тот же ответ: «Да будет вам!»

И. И. Шишкин, несмотря на недостаточное образование, был художник с чутким, впечатлительным темпераментом, недюжинным умом, верным глазом и младенчески открытою душой.

Из записной книжки

* * *

Лето я проводил в одном из южных курортов. Слоняясь по парку в полнейшем одиночестве, благодаря отсутствию знакомых, которых, кстати сказать, я не охотник заводить, я от скуки занимался наблюдением и изучением довольно многочисленной в этом сезоне публики. Но — должен признаться, что, несмотря на самое усердное наблюдение, долгое время не мог натолкнуться на что-либо сколько-нибудь оригинальное или занимательное, по крайней мере, для меня.

Как, вероятно, на всех курортах земного шара, куда люди съезжаются, чтобы наверстать растраченное или нажить не унаследованное от природы здоровье, а также кстати и затем, чтобы посмотреть на людей и показать себя или свои наряды, — и здесь в часы музыки и питья вод публика сосредоточилась главным образом в аллеях, прилегающих к источникам, и крытой эстраде, откуда гремели трубачи, повторяя свои избитые музыкальные мотивы. Более или менее разряженная, толпа эта двигалась двумя встречными волнами, занятая, очевидно, как и я, изучением ближнего или же разбиваясь на отдельные лица, сосредоточенно потягивающие через стеклянные трубочки или прямо из стаканов различные чудодейственные «нумера».

Вот эти-то последние, т. е. отделившиеся от толпы фигуры, как объекты более удобные для наблюдений, и привлекали к себе преимущественно мое внимание, и скоро все эти задыхающиеся толстяки, тучные дамы, истощенные или анемичные девицы стали мне знакомы до бесконечности; я изучил в совершенстве их лица и выражения, знал минуты их появления у источников, знал, на какие скамейки присядут они отдохнуть после урочных прохаживаний по галерее или площадке.

Итак, каждый из нас был так или иначе занят собою или ближним, и, казалось бы, совершенно напрасно там, за этим парком и с возвышенных его пунктов раскидывались самые волшебные картины, которые заботливая природа в дополнение к целебным своим дарам набросала повсюду кругом, как бы для услаждения взоров своих страждущих сынов, прибегающих к ней за исцелением: люди, как и всегда, тяготели к себе подобным по преимуществу.

И вот неожиданно на фоне этих уже страшно прискучивших мне фигур выделились два лица, сразу приковавшие к себе мое жаждавшее новизны внимание, и не столько сами по себе, сколько своим отношением друг к другу. В один прекрасный день я как-то особенно долго засиделся за сигарой на веранде нашего отеля, наблюдая, как обедающая публика сменяла одна другую за этими многочисленными, красиво сервированными столиками, как вдруг на террасе произошло движение: военные, обедавшие там и тут в различных концах террасы, как-то почти все вдруг поднялись со своих мест и направились навстречу новому посетителю, который только что поднялся по ступенькам. Его окружили, приветствовали, и он, по-видимому, очень радушно отвечал на приветствия. То был моряк — и, должно быть, большого чина — среднего роста и средних лет и такой исключительной изящной представительности, что нельзя было не залюбоваться на него с первого же взгляда. Некоторое время он оставался посреди террасы, разговаривая с окружавшими его военными господами, среди которых были и другие моряки; затем, в сопровождении двух из них, вероятно, более близких знакомых или товарищей, направился к освободившемуся как раз недалеко от меня столику. Теперь я мог хорошенько рассмотреть его наружность; наружность эта, как и вся его манера, носила на себе тот же отпечаток исключительного изящества: и удивительно правильные тонкие черты, и глаза, и небольшая русая бородка, и мягкие, несколько загнутые по краям усы, — все было необыкновенно красиво, а в особенности глаза, ясные, глубокие, темно-синие, привыкшие, очевидно, всматриваться в неизмеримые пространства безбрежного моря; которое как будто в них и отразилось. Да, я, мужчина, — я положительно на него залюбовался.

Официанты особенно усердно и подобострастно суетились вокруг этого чиновного моряка — подкладывали карточки, раскупоривали бутылки. Между обедающими товарищами завязался оживленный и, должно быть, интересный разговор, который за окружающим шумом и звяканьем посуды, разумеется, нельзя было расслышать. Они уже оканчивали свою, по-видимому, довольно обильную и сложную трапезу, когда к другому свободному и еще более соседнему со мною столику приблизилась дама, которую я тоже видел в первый раз. Вся в черном, высокая, худенькая, но очень стройная, еще довольно молодая и очень миловидная, она показалась мне болезненной и необыкновенно грустной. Поместившись за своим столиком, она очутилась как раз напротив обедающих друзей, но, погруженная в какую-то свою печальную думу, она, не поднимая опущенных

глаз, медленно стягивала свои черные перчатки. И только когда официант со своей неразлучной салфеткой наклонился перед ней, осведомляясь, что ей угодно будет приказать, она взглянула вверх — и тут, очевидно впервые, увидала сидевшего так близко напротив нее красивого флотского офицера; при этом, к моему немалому изумлению, внезапная бледность мгновенно покрыла ее лицо; на нем отразились тревога и смущение, вся она как-то заволновалась, но, впрочем, вскоре овладела собой и на повторенный вопрос ожидавшего служителя проговорила: «Прежде всего дайте мне стакан воды». Что касается моряка, то я, занятый своей соседкой, не уловил его первого впечатления, но в дальнейшем я видел, как он изредка взглядывал на свою визави, но таким взглядом, каким смотрят на нечто совершенно незнакомое, хотя, быть может, и привлекательное, каковою мне все более начинала казаться моя соседка. Мне крайне нравился и ее грустный вид, и тихие движения, а главным образом то, что, начиная с ее бледного миловидного лица и простого черного наряда, кончая этим выражением грусти и равнодушия к окружающему, из которого ее, очевидно, вывела только эта неожиданная встреча, — она так приятно для меня отличалась от всех виденных мною до сих пор дам нашего курорта. К тому же, признаюсь, меня немало заинтриговало это волнение, которое, хотя и подавленное, по-видимому, ее не покидало. Я чувствовал, что тут кроется не банальная подкладка. Красивый моряк и его два товарища вскоре удалились, после чего моя соседка, вероятно, только для вида и медленными глотками отпивавшая свой кофе, тоже почти сейчас же оставила террасу. В этот день я не встречал ее более ни на музыке, ни вечером в курзале.

Но на другой день, когда я прочитывал газеты, сидя в павильоне, где обыкновенно после обеда составлялась карточная игра на несколько столов (в этот день в числе играющих находился и красивый флотский офицер со своими товарищами), я вдруг увидел свою вчерашнюю незнакомку; она шла по аллее, опять одна, в том же черном наряде и все с тем же выражением грусти в своих больших темных глазах. Поравнявшись с павильоном, она пристально заглянула в него, затем круто повернула на боковую дорожку и заняла ближайшую, несколько замаскированную кустами скамейку, с которой, однако, прекрасно можно было видеть всех, находящихся в павильоне. Я насторожился как шпион: мне хотелось убедиться, знакомы ли между собою эти неведомые мне, но почему-то, вероятно, от здешнего безделья и однообразия, так сильно интересовавшие меня лица. Я предполагал тут условленное свидание. Ждать мне пришлось, однако, довольно долго; играющие много раз уже

переменялись местами, что, поскольку мне ведомо (я не игрок и даже питаю какую-то врожденную неприязнь к картам), означает новую партию, пульку или робер[221], как их там называют. Незнакомка в черном тоже не покидала своего места. Откинувшись будто в сильном утомленьи на спинку скамьи, она не отводила своих полузакрытых глаз от павильона. Но вот игра окончилась, наконец, и партнеры после некоторых расчетов и переговоров разошлись по разным сторонам парка. Последним покидал павильон красивый морской офицер. Спустившись в аллею, он приостановился на мгновенье, затем пошел было вперед, но в следующий момент вернулся и направился к той скамейке, где сидела моя незнакомка в черном. Итак, я угадал!.. Мне уже становилось стыдно за свое шпионство… Но своей решительной и красивой, как все его манеры, походкой он прошел мимо и начал спускаться под уклон, где находился источник, — то, вероятно, был час, когда он пил воды. А она, моя незнакомка? Я издали видел ее замешательство, я видел, как при его приближении она, будто в ожидании, как-то притаилась на своей скамье; я видел, что и он заметил ее присутствие, так как, проходя, обратил к ней свои прекрасные «морские» глаза. Он скоро исчез за поворотом дорожки, и моя незнакомка не замедлила покинуть свой пост.

И на другой день, и на третий, и в последующие дни в послеобеденное время, когда партнеры собирались в павильоне, я неуклонно заставал ее все на той же избранной ею скамейке и терпеливо ожидающей того, кто, по-видимому, так неотразимо притягивал ее сюда. Она его искала, она приходила для него — это было очевидно. На террасе курзала я не встречал ее более; но зато регулярно, все в один и тот же час, как и там, около павильона, она появлялась с книгой в руках в цветнике, разбитом перед этой террасой, и садилась на самый отдаленный из садовых диванчиков. Была ли то простая случайность, но только час ее появления, — я хорошо это заметил, — неизбежно совпадал с тем временем, когда среди обедающих, на террасе находился и тот флотский офицер. Была ли это тоже одна только случайность, но всякий раз при выходе из курзала или павильона, при следовании ли по аллее он, словно предуведомленный какой-то электрической искрой об ее присутствии, немедленно обертывался в ту сторону, где она, всегда одинокая и всегда на какой-нибудь уединенной скамейке, очевидно, стерегла его появление. И всякий раз, увидев ее, он, как это мне казалось, как будто медлил одно мгновенье, затем решительной и тоже «морской» своей походкой проходил дальше. И я, неведомый свидетель этого неуловимого романа, — я издали угадывал, как

под его взглядом преображалось ее грустное симпатичное лицо. Но ни разу не видел я, чтобы они подошли друг к другу, сказали между собою хоть слово. Она его искала, повторяю; он ее не избегал — вот и все, что я мог констатировать. Что же они были один другому? Как ни стыдился я своего любопытства, тем не менее мне крайне хотелось разгадать эту загадку. Во мне было, я полагаю, затронуто любопытство наблюдателя, который стремится получить точные выводы на основании добытых наблюдений. Чтобы еще более оправдать свое любопытство и, главное, подчеркнуть его абстрактный характер, скажу, что я, разумеется, не сделал ни одного шага для того, чтобы узнать, кто она или где она живет. Что касается этого чиновного флотского офицера, то социальное положение его более или менее говорило само за себя, а имя, конечно, не могло бы мне ничего объяснить. Итак, передо мною была задача с двумя неизвестными, и я тщетно пытался ее разрешить.

Всего только раз думал я, что уловил их, наконец, на условленной встрече. Провожая однажды от нечего делать кого-то из случайных знакомых на один из дачных поездов, которые отходят и приходят здесь каждые полчаса, я внезапно увидал свою незнакомку у открытого окна вагона второго класса. Она стояла у этого окна, несколько подавшись вперед, как бы ожидая кого-либо, и тревожно всматривалась в веселую толпу провожавших и отъезжающих. Прозвонил третий звонок, поезд уже готов был тронуться, — я видел, как моя незнакомка, вероятно, обманутая в своем ожидании, откинулась в глубину вагона, — когда мимо меня быстрым шагом, почти бегом, прошел тот, кого она, без сомнения, уже не надеялась тут увидеть; ловко, почти на ходу поезда, вскочил он на подножку того же вагона второго класса и, сделав под козырек кому-то из остающихся, скрылся в дверцах этого вагона. Судьба положительно как бы нарочно сталкивала меня с ними: вечером мне опять пришлось быть на дебаркадере, и поезд, который в это время возвратился из Б., привез обратно так сильно занимавших меня людей. Но опять я, по-видимому, ошибся в предположениях: они возвратились с одним и тем же поездом, но, — я хорошо это видел, — вышли из разных вагонов и разошлись каждый в свою сторону, как бы и не подозревая о присутствии один другого. Если они скрывались, то зачем и от кого, так как, по-видимому, здесь, по крайней мере, они были совершенно независимы; и к тому же она, кажется, не была даже ни с кем знакома.

Затем еще раз — это было как-то под вечер — на юге вечер наступает рано, едва ли не часов с семи, — возвращаясь с отдаленной загородной прогулки, я по дороге присел отдохнуть

на одну из лавочек под липами, которыми на этой улице нашего городка отделялись тротуары от мостовой. В воздухе было так тихо и приятно; улица, окаймленная этими деревьями, казалась такой чистой и уютной; зеленые ветви так приветно заглядывали в растворенные окошки; маленькие террраски почти у каждого дома так заманчиво сбегали на усыпанный песком тротуар, что положительно не хотелось уходить. Музыка, вероятно, только что окончилась, и мимо меня парочками или целой компанией дефилировали гуляющие, расходившиеся по домам, куда их так рано загонял строгий режим курорта. Провозили тут в ручных колясочках несчастных ревматиков или разбитых параличом; проходили нагруженные своими «восточными товарами» персы и татары, покончившие на сегодня свою бойкую сезонную торговлю; проходили перетянутые в рюмочку щеголи-казаки. И наконец, — я издалека узнал его поступь и осанку, — мимо меня размеренным шагом гуляющего и заложив руки за спину проследовал в своем кителе и несколько надвинутой на глаза белой морской фуражке красивый флотский офицер.

Я инстинктивно оглянулся по сторонам — настолько привык я встречать одновременно этих двух интересовавших меня людей. И действительно, не прошло минуты, как я увидал и ту, которую искал глазами. На этот раз она шла очень быстро, будто спешила. Прямизна улицы позволяла различать на далекое расстояние, и я видел, как несколько опередивший ее флотский офицер остановился перед одной из террасок и, облокотившись на ее перила, вступил с кем-то в разговор. При этом незнакомка моя тотчас же замедлила свой шаг и, так как беседа все еще продолжалась, присела на лавочку под деревья. Несколько минут спустя моряк распрощался и, обернувшись в ее сторону, вероятно, увидел ту, которая, я не сомневался, пришла сюда для него; он скорым шагом пошел по ее направлению, она тоже немедленно поднялась, но вместо того, чтобы идти к нему навстречу, точно раздумала, скользнула под деревья и перешла на другую сторону улицы. Он некоторое время смотрел ей вслед, как бы в изумлении, затем пошел дальше, и я долго видел, как он шел все вперед и вперед по этому прямому, как стрела, и отененному липами тротуару.

После этого я махнул на них рукой и уже окончательно пришел к заключению, что действительно все это, вероятно, одна случайность, что люди эти — совершенно чужие друг другу и что только мое праздное воображение создало тут какой-то таинственный роман. К тому же срок моего пребывания здесь приходил к концу; мне оставалось всего несколько дней до отъезда, и, как это всегда бывает, я мысленно был уже весь там,

куда меня призывали обстоятельства. Связь с окружающим порывалась, и оно утрачивало то значение, которое временно все-таки приобретает для каждого, даже случайного посетителя того или другого уголка божьего мира. Кроме того, в течение последующих дней я даже не встречал нигде эту загадочную пару и, признаюсь, был уверен, что они совсем покинули наш городок. Но та же услужливей судьба непременно пожелала столкнуть меня с ними еще раз. Было это опять на дебаркадере. Последнее время каждый день разъезжались по разным направлениям множество лечившихся у нас и на окружных курортах, и вот, чтобы заручиться порядочным местом, приходилось хлопотать, телеграфировать, наводить различные справки заблаговременно. Эти-то хлопоты и привели меня на местный вокзал; кстати, я прошелся и на платформу. Отходивший поезд был дальний, и пассажиров — множество. Носильщики, навьюченные всевозможным багажом, сновали как угорелые; едва поспевая за ними, бежали обладатели этого багажа; места брались положительно с бою. Прохаживаясь взад и вперед, я вдруг увидал свою незнакомку. Прислонившись к одной из обвитых диким виноградом колоннок, поддерживающих навес, она стояла с видом такой безнадежности, что я едва удержался, чтобы не подойти и не сказать ей хоть слово утешения; но, разумеется, я этого не сделал, а, отойдя несколько в сторону, чтобы не быть замеченным, ожидал, что будет. Вот раздался второй звонок, пассажиры, по-видимому, несколько поразместились, и из выходной двери вокзала показался тот, кого я не сомневался здесь увидеть. Он шел в сопровождении носильщика, несшего его небольшой, но изящный багаж, и когда он поравнялся с тем местом, где стояла она, моя печальная незнакомка, я видел, что она сделала рукой движение, как бы желая ее протянуть; и тут только впервые я заметил в этой руке прекрасную, перегнувшуюся от тяжести на своем стебельке, крупную чайную розу. Но на этот раз он не замедлил шага, он даже не оглянулся и, сопровождаемый носильщиком, прямо прошел в вагон первого класса. Рука бессильно опустилась и выронила розу, а обладательница ее затерялась в толпе. Я инстинктивно, почти опрометью, бросился к тому месту, которое она оставила: розу уже успели растоптать, а рядом с нею белела миниатюрная визитная карточка. Я поднял эту карточку и — о, да простят мне боги! — прочел единственное слово, наскоро набросанное на ней карандашом, — то было «Farewell» («Прости»)! На оборотной стороне, вероятно, значились имя и фамилия… но тут врожденная корректность одержала верх, и, чтобы не поддаться новому искушению, я, не перевертывая карточки, разорвал ее на

мелкие клочки…

А через два дня я сам покидал N и покидал его, так и не разрешив своей дилеммы.

* * *

По поводу прибытия в Россию тибетской миссии многие газеты заходят так далеко, что говорят о возможности протектората России над Тибетом, о близком открытии этой страны для европейцев, их науки и цивилизации…

Напрасная надежда, — тибетцы не только не ступят шага вперед, но наверное сделают все возможное для воспрепятствования всякому, кто вздумал бы шагнуть им навстречу; только войска могут открыть европейцам заветную дверь, ведущую к Лассе[222] и далай-ламе.

Теперь, как и после, европейца, не бурята, не монгола и вообще не ламаиста, в Лассу не пустят и со всяким беззащитным путником, будь он хоть и русский, поступят вряд ли менее варварски, чем недавно с настойчиво пробиравшимся в средину Тибета англичанином, которого всячески мучили, жгли, резали, распинали и проч.

Говорят, Пржевальский сам не захотел идти к священному городу, но вернее будет сказать, что его не пустили, потому что если начали с того, что умоляли уйти, то если бы он не послушался, его все-таки выгнали бы или извели — угоном животных, отравой их пастбища или воды для питья и т. п., к чему приготовления уже делались.

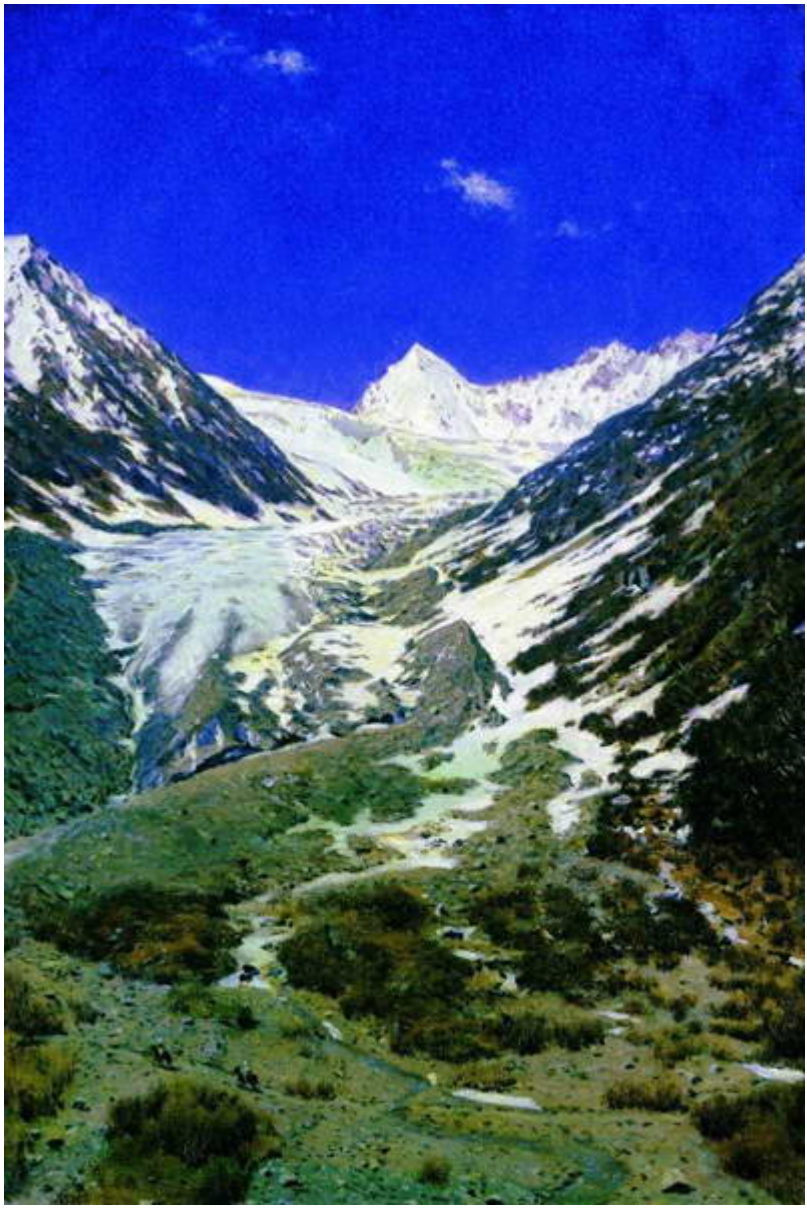
Перед началом экспедиции Пржевальского[223] я предсказывал близкому приятелю покойного неутомимого исследователя Средней Азии барону Остен-Сакену[224] неудачу намеченного движения в Лассу. Барон сообщил мне, что Пржевальский везет в подарок далай-ламе великолепный серебряный чайный сервиз, но я настаивал на том, что сервиз этот далай-ламы не увидит или, наоборот, далай-лама не увидит сервиза, потому что Пржевальский ни за что не попадет в Лассу. «Разве вы не знаете Пржевальского? — говорил мне мой собеседник, — что он задумал, он сделает!» — «В чем хотите, только не в этом: в Лассу ему не попасть и далай-ламы не видать». Так и вышло: несолоно похлебавши, Пржевальский, — даже энергичный Пржевальский со своими наводившими всюду ужас стрелками, — должен был поворотить назад, не видевши золотого купола, венчающего монастырь далай-ламы.

Духовная власть этого полубога, басня об его бессмертии и прочие легенды тибетской теократии поддерживаются лишь благодаря организованному обману со стороны заправил и организованному же невежеству массы народа, и, конечно же, не в интересе лам дать проникнуть лучу света в непроглядную тьму, — повторяю, без материального принуждения, без войны они и не пропустят его.

Надобно знать, что далеко не один далай-лама почитается бессмертным: в Тибете, Ладаке[225] и других смежных странах есть много других бессмертных духовных лиц, преимущественно заправил больших, знаменитых монастырей, после смерти которых немедленно отыскиваются младенцы, их заместители. Все эти ламы пользуются большим почетом у властей и паствы. Например, при каждом выезде купген-ламы, близ монастыря которого в столице Сиккима, Томлонге[226], стояла моя палатка, народ бросался ниц и под страхом смерти и уж, наверное, варварского наказания не смел поднимать головы для лицезрения двигавшегося полубога.

Этот купген-лама был юноша лет 19-ти, добродушный и простоватый с вида, т. е. именно такой, какой нужен буддистским священникам для управления его именем. Он очень интересовался моим рисованием в монастыре, но в общем вел праздную жизнь, переходя из покоя в покой или сидя на высоком деревянном кресле вроде трона. Он редко подавал голос и прислугу звал ударом в ладоши. Прислуживавший ему Бутиа был, должно быть, большим плутом и оказывал всякие услуги, позволенные и недозволенные; по крайней мере, когда, я освоился в монастыре настолько, что сам купген-лама и его окружающие перестали меня дичиться, слуга завел речь о том, что, «по слухам, у меня есть лекарство от всяких болезней». — «От всех болезней нет, а от некоторых, простых, есть». — «Говорят, вы вылечили одного из ваших кули?» — «Я действительно помог одному из моих носильщиков, провинившемуся очень обыкновенною болезнью». — «Вот у моего господина (следовал титул ламы и пожелание ему многих лет) есть злая болезнь, давно уже не покидающая его…» Оказалось, что это была именно болезнь моего кули, и мне пришлось лечить моего бессмертного пациента самыми простыми средствами.

К Тибету я подъезжал с двух сторон: со стороны Сиккима, от столицы которого, Томлонги, до хребта, граничащего с Тибетом, было рукой подать, и со стороны Ладака, от соленых озер которого лежит прямо путь в сердце Тибета.



Ледник на дороге из Кашмира в Ладак

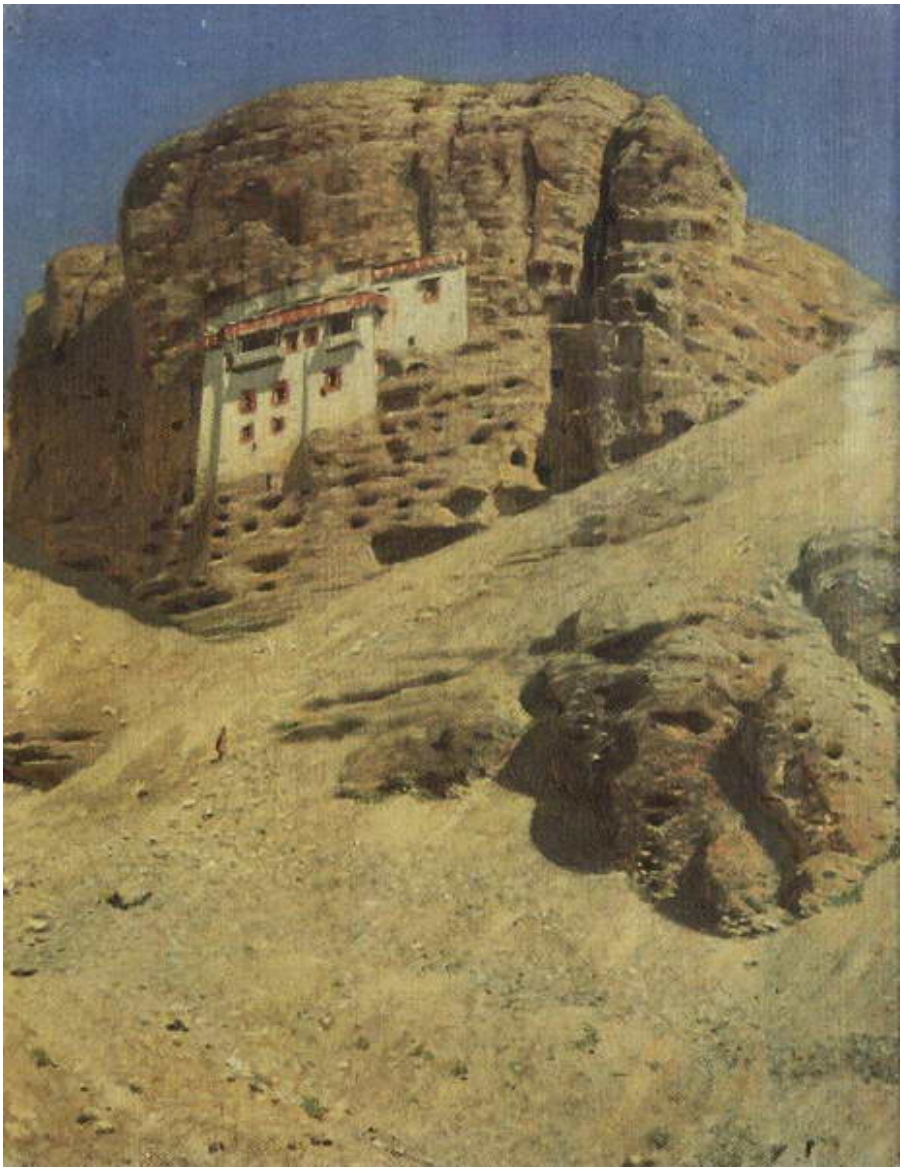
Через хребет, загораживавший дорогу со стороны Томлонги, король Сиккима, его приближенные и сам купген-лама ежегодно перебираются в Тибет, как на летнюю дачу, и мне, признаюсь, очень хотелось заглянуть туда: до Лассы там всего несколько небольших переходов. Английский «commissioner», однако, просил не делать опыта, который, пожалуй, ни к чему и не привел бы, так как кули, т. е. носильщики-туземцы, вероятно, или

отказались бы идти, или разбежались бы.

Тибет — негостеприимная страна и в том еще смысле, что средний уровень высоты ее над уровнем моря можно считать в 14 000–15 000 футов; есть, конечно, места более низкие, но в общем, с вершинами этого высочайшего в свете горного узла, средняя цифра высоты всего плато весьма высока.

Местности Тибета неодинаковы: очень высокие хребты, с глубокими, крутыми, едва пропускающими горные потоки долинами — с юго-восточной части, т. е. со стороны Сиккима, и широкие равнины с пастбищами — со стороны Ладака, т. е. с юго-запада.

Жители грубы и грязны до такой степени, что только благодаря холодам не изъедены насекомыми и кожными болезнями в той мере, как заслуживают за свою неопрятность. Женщины, например, заплетают свои волосы в очень мелкие косы, а так как это работа долгая и трудная, то дамы не причесываются целыми месяцами. Это не мешает женскому полу украшать свои головы камешками, особенно бирюзою и янтарем; последний считается наиболее приносящим счастье и здоровье, так что ожерельем из него не брезгуют даже члены королевских семей.



Монастырь в скале

Тибетские дамы имеют всегда по нескольку мужей в силу закона полиандрии[227], дозволяющего, например, нескольким братьям иметь одну супругу, причем младший брат имеет меньше прав, чем старший. Младшие же братья по большей части искупают и повинность семьи по отдаче одного из своих членов в монастырь, в духовное звание (это — не закон, а обычай, строго соблюдаемый), и духовному обучению отдаются с ранних лет.

Духовенство безбрачно, но почти у всех старших лам есть между учениками монастыря племянники, в сущности, родные

дети. Есть и женатые ламы, но они не в почете, а только терпимы. Женских монастырей много, и все они обыкновенно размещены недалеко от мужских. Когда в западном Тибете я спрашивал: а женский монастырь можно посетить? — то получал ответ: «Можно, он совсем близко отсюда». Насколько, однако, велики и хорошо обставлены монастыри мужчин, настолько же убоги обители женщин.

Все ламаистское обучение ведется в долбяшку, и тупость, суеверие, граничащие с детскою наивностью, полные. Современная наука совершенно пренебрежена, и вся буддийская мудрость обратилась в буквоедство, строго определенные формы которого совершенно застыли под пылью времени. Об одном монастыре, например, мне говорили как о хранителе книжных сокровищ, содержащих великую мудрость, но показали только голую комнату, в которой валялись на полу в величайшем беспорядке изъеденные мышами и крысами рукописи.

Делу спасения души в буддийских монастырях очень помогают молитвенные машинки, находящиеся обыкновенно в руках у лам и частных лиц, досуг имеющих: на стержне, держимом в руке, вертится барабан, туго набитый заклинаниями и молитвами, тем вернее действующими, чем усерднее повертывается машинка, причем приговаривается: «Ом мани падми хум!» (о ты, сидящий на лотосе!) Это так вошло в рутину времяпрепровождения, что постоянно слышны разговоры:

— Хорошая погода сегодня… Ом мани падми хум.

— Куда это вы идете?.. Ом мани падми хум.

Эти же святые слова встречаются изображенными как снаружи и внутри монастырей, так и на дорогах, особенно на камнях, наваленных на роде жертвенных памятников, украшающих горные перевалы, обходимых путниками непременно с правой стороны, чтобы не возбудить гнева божества гор и дорог.

Суеверен тибетский народ так, как только можно себе представить, и в этом отношении, конечно, нет ему равного: на все есть специальные заклинания, из которых, в сущности, состоят и молитвы; заклинаниями же лечат всякие болезни, с заклинаниями рождаются и умирают.

Монастыри тибетские ярко и красиво расписывают обыкновенно по старым китайским рисункам; раскрашивается все снаружи и внутри, и над крышами всегда развевается множество маленьких флагов, сообщающих зданиям, на наш взгляд, какой-то ярмарочный характер. Расписываются и огромные молитвенные машины, украшающие входные портики храмов, почти постоянно приводимые в движение или самими ламами, или добровольцами

из богомольцев с неизбежным, нараспев произносимым приговором: «Ом мани падми хум!»

Эти машины устраиваются иногда в колоссальных размерах при быстринах горных потоков или рукавов от них, причем вода вертит уже целые миллионы строчек молитв и, конечно, быстро замаливаются всякие грехи, вольные и невольные.

При всем суеверии народа, фанатизма нет у буддистов ни в Гималаях, ни в самом Китае, и нужна была вся бесцеремонность европейских миссионеров, чтобы вывести из себя кротких, добродушных лам и народ: обещаниями помощи работою, деньгами и покровительством подонки туземного общества переманиваются в католичество и протестантство, после чего они, как имеющие за собою протекцию миссионеров, а с ними и посольства, наседают на тех, что остались верны религии отцов; это сердит, озлобляет китайский народ, знающий махинации, пускаемые в ход для привлечения к новой вере.

Пока только две статьи вывоза из Тибета заслуживают внимания — лошади и ковры. Лошадки малорослые, крепкие на ногу и спину, действительно неоценимые, особенно в горах, выносливые, быстроногие, нетребовательные на пищу. Знаменитый английский ученый Гукер[228], единственный европейский путешественник, до меня посетивший местности под горою Канчинчинга, рассказывает, что только благодаря своему тибетскому пони он не пропал и не замерз в морозные зимние ночи. За себя скажу, что по дороге на Томлонгу я девять раз падал с лошадью на ужасной дороге, но ни разу верный тибетец не измял, не задавил меня, как сделала бы, может быть, другая менее легкая на ногу лошадь.

Впрочем, для передвижения по самым трудным местам даже тибетская лошадка недостаточно безопасна, и употребляется як, которых много и в домашнем, и в диком состоянии. Последних я, нужно сказать, не видел, и только следы на глубоком снегу от их длинной шерсти указывали на места, по которым они бродили.

Домашний як просто неоценим по пользе: он — и корова, дающая молоко, мясо и кожу, он — и средство перевозки путников и тяжестей, средство передвижения необыкновенной верности: в местах самых узких, обрывистых или осыпающихся из-под ног, по самым головокружительным высотам, на которых неосторожный шаг грозит смертью, як идет твердо верною поступью, и я не слышал, чтобы он оступился и был причиною потери жизни или груза.

Караван яков, нагруженных солью, около озера Че-Морари на границе Западного Тибета

Несмотря на свою свирепую внешность, як — очень смирное животное, и мне только раз довелось видеть, что он лягнул человека, — лягнул, правда, так, что едва не перешиб ногу. Впрочем, веревка, продетая в ноздрю и служащая для направления животного, конечно, не очень располагает его к деликатности.

Предметом вывоза эти полезные животные не могут, однако, быть из-за того, что не переносят пребывания на высоте менее 11 000 футов над уровнем моря. Когда я, стоя в Томлонге на высоте 9½ тысяч футов, попросил привести из стада, пасшегося на соседних горах, одну коровку для срисовывания и продержал ее два дня, оказалось, что пустить ее назад в стадо было уже опасно, как бы она не заразила других лихорадкою, схваченною внизу.

Ковры в Тибете небольшие, больших я не видел, но они очень хороши, добротны, из чудесной шерсти, крепкой работы и ткутся по полным вкуса старым китайским рисункам. Тибетский ковер смело может заменить тюфяк для походной постели по мягкости и непроницаемости для холода и сырости. Их, впрочем, немного, и они быстро раскупаются в Индии.

Говорят, что Тибет богат минералами, но это пока мало доказано, и вообще «богатства Тибета» и выгоды эксплуатации их проблематичны, так что, повторяю, воображение тех, кто мечтает о возможности протектората России над Тибетом, заходит дальше

вероятного. Надобно полагать, что протекторат этот выпадет на долю самых близких соседей тибетцев — англичан, уже захвативших все близлежащие местности, как Ладак, Сикким и отчасти Непал; если в этом последнем британцы еще не владыки во всей форме, то английский резидент уже более или менее направляет общий ход управления.

Признаюсь, я даже удивляюсь тому, что англичане до сих пор удержались, чтобы не протянуть руку и не захватить Тибета: по близкому соседству это им совсем нетрудно, а выгодно, бесспорно, по нравственному значению покровительства такой духовной силе, какую представляет верховный глава буддизма.

О России в этих странах имеют самые смутные понятия, гораздо меньше, чем об Англии, и при церемонных встречах меня обыкновенно спрашивали, хотя и знали, что я не англичанин, а русский, о благополучии английской королевы и ее министров. Разумеется, я всегда отвечал, что благодаря бога они пользуются вожделенным здравием.

* * *

Несколько слов по поводу недавно умершего хорошего художника и прекрасного человека Юрия Яковлевича Лемана[229], с которым я был когда-то очень близок.

В самом начале шестидесятых годов, кончивши морской корпус и посещая классы Академии Художеств, я часто проходил в бесконечных коридорах этого здания мимо дверей с именем Ю. Я. Лемана. Помню, что на появлявшуюся иногда в этих дверях высокую фигуру художника я смотрел с великим почтением как на существо высшего порядка, — шутка сказать, он писал в это время программу на золотую медаль, а я только что справлялся с носами, глазами и головами разных классических героев древности. Программа вышла неудачна, и Леман первой золотой медали не получил, — сюжет был из времени Крымской кампании «Прощание офицера, отъезжавшего на войну, со своею невестою», — пьяная картина, как выражался о ней сам автор, сильно в то время кутивший.

Познакомиться и товарищески сойтись с Ю. Я. довелось мне много позже, в конце 60-х годов, в Париже, если не ошибаюсь, за тот приезд мой в этот город, когда после знаменитого «Самаркандского» сидения я уехал в Европу лечить сильную лихорадку и еще более сильное расстройство нервов. Леман приехал тогда в Париж по вызову нашего общего приятеля

художника Гуна[230], предложившего ему взять на себя исполнение портретов акварелью по фотографии, которыми он был завален, от известного в то время светописного заведения Лежена, на углу Итальянского бульвара и улицы Шуазель (бывшего Левицкого)[231].

Гун очень недурно работал акварелью с чисто немецким терпением и аккуратностью пунктиром, в лупу, исполнял по фотографии большие и малые портреты преимущественно в величину карточек, причем умел и льстить оригиналу, придавая красоту и молодость, и сохранять сходство. Разумеется, в этой работе мало простора воображению, наблюдательности и вдохновению художника, и ведется она шаблонно, поскорее, лишь бы побольше выработать в день.

Гун работал «на совесть» и имел большой успех у красавиц фешенебельного парижского общества, для которого главным образом поставлял портреты Лежен. Императрице Евгении[232] так понравились эти акварели, что Карла Федоровича Гуна пригласили к Тюльери для сеанса; он сделал набросок с головы императрицы, по которому потом исполнил несколько действительно хороших портретов государыни.

Что дальше, то больше нравилась в Тюльери работа русского художника, так что императрица даже выразила желание самой выучиться у него рисовать портреты, — excusez du peu![233]

Показывая мне свой набросок с натуры, Гун говорил, что кожа императрицы буквально вымазана разными косметиками, от которых на лице, с волосами включительно, не было живого места. «Совестно, — говорил он, — под ее взглядом переносить на бумагу все эти заведомо фальшивые белые, розовые и фиолетовые тона».

Во фраке со скарбом художественных принадлежностей под мышкой явился Гун опять в Тюльерийский дворец и, выслушавши многое множество самых лестных комплиментов, принялся обучать свою зрелую ученицу.

Случилось то, что и должно было быть, но на что художник не рассчитывал, чего не ожидал, а именно — что августейшая ученица насуслила из рук вон плохо, до того, что даже милейший Гун не вытерпел и сказал: «Плохо, ваше величество, позвольте, лучше я покажу вам, как надобно делать», — и, взявши губку, смыл все сделанное императорской рукой, а потом снова исполнил своею. Надобно думать, что контраст был силен, потому что его расхвалили, поблагодарили, а уж больше давать уроков не приглашали.

— Не галантно ты распорядился, мог бы поступить сдержаннее, — говорил я Гуну, чувствуя, что на его месте сделал бы то же самое.

— Да ведь мне говорили, что она уж очень порядочно работает акварелью, а если бы ты видел ее мазню!..

Кроме того, что эта работа через увеличительное стекло очень утомляла зрение, она отнимала и много времени у Гуна, собиравшегося писать несколько задуманных картин; поэтому, несмотря на хороший заработок от нее, он решил сбыть всю фабрику приятелю, которого вызвал из Петербурга.

Работа Лемана понравилась, пожалуй, не меньше гуновской, так что он насилу успевал исполнять заказы. Он тоже был ловок по части подделывания томных взглядов, скромных улыбок, поволок в глазах и роскошных шевелюр, так что барыни буквально завалили его работою.

И Юрий Яковлевич был приглашен к императрице на сеанс; он также потрафил ей уверенным, но скромным употреблением цветов радуги при передаче ее многопрославленной красоты.

Хотя Леман и не имел в виду картин, как его приятель, но и его глаза стали сдавать, а главное, надобно признаться, я, уже хорошо с ним познакомившийся и сошедшийся, настаивал на том, чтобы он бросил эту дрянную работу: «Погубишь вконец зрение и совсем разучишься, забудешь грамматику рисунка и живописи, на изучение которых потратил столько времени и труда».

Понемногу, не вдруг, не покидая прибыльного заработка, Леман действительно перешел сначала на небольшие, потом и более крупные работы масляными красками.

Близкое знакомство с Леманом привело меня к убеждению в том, что это — в высшей степени порядочная и честная натура, с художественным пониманием и чутьем; его можно было упрекнуть разве только в чересчур прилежном перенимании у французов их манеры наблюдения природы и манеры письма, — он слишком скоро совершенно обезличился, стал работать, как все.

Леман был единственный человек, которого я приглашал в свою мастерскую в Maison Laffitte, и надобно сказать, что я не упускал случая пользоваться его всегда обдуманными и дельными замечаниями. Почти никогда не позволял он себе опрометчивых суждений, и раз только дал мне плохой совет, в исполнении которого я потом раскаялся по той причине, что область суждения заходила за пределы его опытности, — дело шло о войне. Увидавши мою картину «Император Александр II смотрит на Плевненскую битву», он заметил: «А знаешь, Василий Васильевич, ведь картина-то слишком длинна, — левая сторона скучновата». В этой левой стороне были батареи центра с громадными клубами дыма, и я, обыкновенно никому не показывавший своих картин до их полного окончания, а потому

еще более чутко прислушивавшийся к тем замечаниям, которые случайно делались, на эти батареи и обратил все недовольство картиною и их по уходе приятеля и отрезал. Это была хирургическая операция почти целого — аршина холста, в которой я раскаялся уже позднее, когда содержание картины, видимо, потеряло от нее.

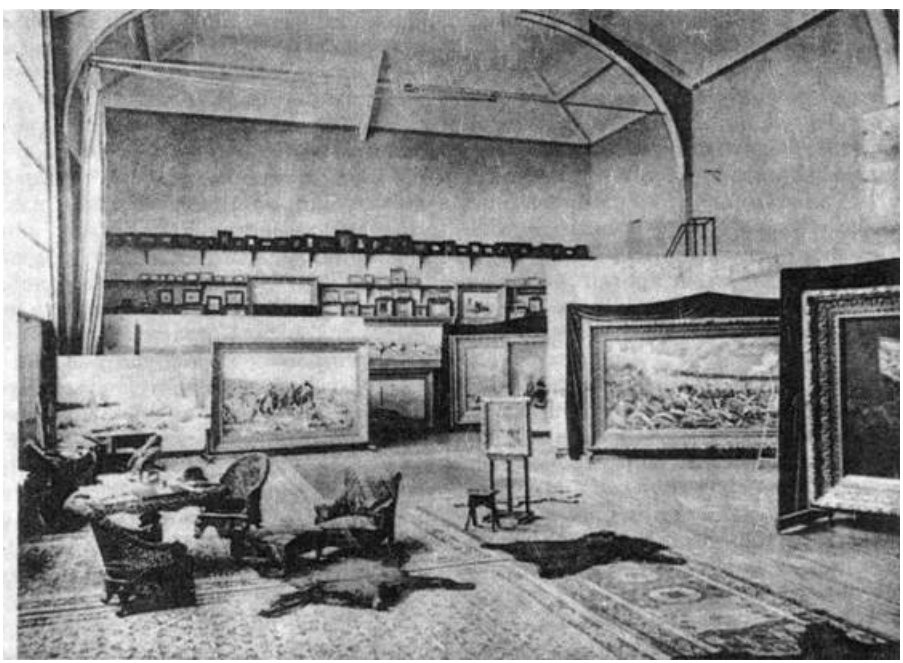
Кстати скажу, что слух об отрезанной стороне этого полотна дал повод говорить в обществе о том, что уничтожена была та часть ее, в которой было представлено «пиршество».

Мне со своей стороны случалось оказывать приятелю услуги не советами только, а самым делом. Так, когда один маркиз, небогатый, но премилый и любезный, очень приголубивший Лемана, исполнившего для него несколько акварельных портретов, пожелал иметь большой портрет маркизы, своей жены, масляными красками, я убедил Лемана начать его на большом полотне во весь рост.

— Справлюсь ли, Вас. Вас.? — спрашивал Ю. Я.

— Справишься, справишься, только смелее тряхни стариной!

Рисунок, которым Леман никогда не блистал, оказался, однако, вял, а краски несмелы, так что представленная — не красавица, но миловидная еще молодая женщина — выглядывала, несмотря на декольте и бальное платье с большим трэном, не авантажно.



Мастерская В. В. Верещагина в Мезон-Лаффитт под

Чтобы выручить приятеля, я пришел утром на подмогу и, сняв пиджак, вооружившись палитрой, пока приятель бегал за провизией и приготовлял завтрак, прошел весь портрет с головы до ног: скрасил глаза, придал улыбку губам, стянул талию и проч.

— Почему нет украшений, разве у нее нет их?

— Есть, но она такая скромная: никогда их не носит.

— Давай их сюда.

Леман сбегал за ожерельем, браслетами и кольцами, которыми изображение благородной маркизы тут же и украсилось; когда брильянтовое перо в волосах завершило наряд, портрет вышел хоть куда и понравился самой барыне и ее мужу.

Однако вообще с заказами портретов дело шло довольно туго, что не удивительно в таком городе, как Париж, где конкуренция очень велика и где художнику-портретисту надобно иметь великосветскую протекцию, а главное — уметь кольпортировать свое искусство. Недаром рассказывали про одного модного французского портретиста, что не было никакой возможности устоять против его предложений услуг: одной барыне или барышне он нахваливал красоту, другой — стройность сложения, третьей, даже заведомо некрасивой, роскошь волос, представлял эффект, который изображение всего этого произведет в салоне, и добивался-таки своего, то есть заказа портрета во весь рост, стоившего, по его таксе, 20 000 франков.

Скромный, далеко не светский, чуждавшийся всех тех, которые чуждались его, Леман, конечно, не мог рассчитывать на обильную жатву художественных заказов и лишь с грехом пополам урывками работал для немногих из наших богатых заезжих русских, решавшихся платить более или менее сносно «своему» художнику.

Между прочими работами у Юрия Яковлевича очень хорошо удались этюды головы теперь очень знаменитой, тогда только начинавшей свою карьеру певицы, нашей соотечественницы Л. Миловидное, симпатичное, круглое, как булка, улыбающееся личико этой барышни вышло очень характерно, и типом, и живописью.

Затем со случайно заглянувшей в мастерскую бойкой, красивой, молодой натурщицы Леман написал едва ли не лучшую свою вещь, — «Даму времен Директории». В голубом бархатном наряде, с ловко надетой набекрень широкополой шляпой того времени, с хлыстом в руках и вызывающими глазами на улыбающемся лице, фигура этой молодой особы прямо выступала из полотна и останавливала на себе внимание всякого. Александр

Дюма был одним из первых, явившихся к художнику с предложением продать ему эту картину, и хотя он предлагал немного, всего 3000 франков, но он был Дюма, — и Леман уступил свою работу не кому другому, а ему.

Это время было, кажется, лучшим в художественной деятельности Лемана, и помянутая картина, и некоторые другие работы носили тот известный парижский «cachet»[234], который так ценится в Европе и который позже перешел у Лемана в бесцветный колорит серой бумаги.

Чтобы пояснить эти последние слова, скажу, что атмосфера Парижа и большей части Франции так густо насыщена парами, что все предметы окутаны очень приятным для глаза сероватым тоном: серы дома, серы воды и силуэты гор, серо, наконец, большую часть времени небо, и это очень отражается на французской живописи, выработавшей какой-то свой шикарно-парижский серый тон для всего. Мало путешествующие французские художники, знающие только la belle France[235], полагают, что на всем остальном земном шаре должно быть более или менее то же освещение, между тем как чем дальше на восток, чем дальше от влияния океана и теплых течений, чем глубже в континентальный климат, тем краски ярче и резче: уже в России, а тем более в Турции. Персии, Средней Азии и далее небо страшно голубое, зелень поразительно зелена, и все краски необыкновенно сильны.

В Лондоне тоже все окутано туманом и серо, даже еще больше, чем в Париже, но английские живописцы и английская критика свободнее, менее рутинны, чем французские, и допускают возможность для людей и природы иных мест жить и дышать иначе, чем во Франции. К тому же англичане очень много ездят по свету и по личному наблюдению соглашаются с художником, дающим иные краски, иные эффекты, чем те, что наблюдаются на берегах Сены или Темзы.

За время моего житья во Франции я проводил немало времени с Ю. Я. Леманом; бывая в Париже, всегда заходил в его мастерскую, 11, rue Duperré; он с своей стороны тоже знал, что всегда будет жданным гостем у меня в Maison Laffitte. С каждым его приходом я получал обыкновенно самые свежие новости обо всем, происходившем в художественном мире и у французов, и в русском кружке, которого он был одним из деятельных членов. Русские художники имели, — кажется, имеют и теперь, — свой клуб, в котором собирались попить чая, поболтать, а иногда и помузицировать. От вдохновенных, но хриплых звуков когда-то знаменитой певицы г-жи В.[236], которыми восхищался, пожалуй, только один покойный Иван Сергеевич Тургенев, до

действительно гениальной и захватывающей игры Рубинштейна[237] и других наших гигантов-художников, — все переслушалось в этом маленьком обществе, не обходившемся без ссор и интрижек, но в общем представлявшем уютную русскую лодочку в громадном французском море.

И Ю. Я. Леман, и покойный Иван Сергеевич Тургенев неоднократно затаскивали меня в этот русский кружок, но я всегда уклонялся уже по одному тому, что, живя в 20-ти километрах от Парижа, не мог бы при позднем часе собраний своевременно добираться до своего гнезда.

Вспоминается один русский певец, встреченный в мастерской Лемана, с которым хозяин познакомил меня. Забыл его фамилию, но помню, как молодой человек выводил временами такие нотки, что буквально жутко делалось в небольшой мастерской. Оказалось, что он пел в русском кружке, и И. С. Тургенев, принявший в нем участие, выхлопотал для него дебют на императорской петербургской сцене. Помню, что по уходе певца мы с Леманом обсуждали шансы за и против его будущих успехов: я указывал на тщедушность его груди, но товарищ уверял, что все пришли в восторг от силы его голоса, очень, очень много обещающего…

Оказалось, однако, что и тут «сильнее кошки зверя нет», — голос, казавшийся колоссальным в небольшой зале кружка, совсем сорвался на большой сцене, где в вердиевском «Отелло» на знаменитой ноте наш знакомец сильно понатужился и пропел петушком.

Несмотря на долгое пребывание в Париже, Ю. Я. остался таким же, каким был, т. е. архирусским, не признававшим никакого языка, кроме русского, на котором, как известно, говорили все святые. Когда мы замечали ему о необходимости выучиться говорить грамматичнее и перестать изъясняться какими-то телеграммами, он не без юмора не соглашался с нашими доводами и уверял, что, напротив, благодаря своему ломаному языку имеет в руках лишний козырь при сношении с «ces dames»[238], сначала принимающими его за богатого американца, а потом за искусство прощающими все…

Кажется, впрочем, что претензия быть принимаемым за богатого американца была тщетна, и даме, и мужчине довольно было взглянуть на его вздернутый нос, щелкой глаза и широкие скулы, чтобы вернее верного определить его национальность.

Несмотря на свое близкое родство с известным петербургским банкиром, Ю. Леман ничего ниоткуда не получал и кормился только тем, что зарабатывал. Надобно думать, что ему приходилось иногда очень туго в денежном отношении и что

нередко нужно было просить своего старого дворника-философа, запанибрата державшегося с населявшими дом художниками, об отсрочке платежа. Жаловался он, однако, на трудность положения очень сдержанно, больше кряхтением и грустным взглядом, никогда не прося помощи, только не отказываясь от нее в случае предложения. Зато, когда в кармане заводились золотушки, — и бульвар, и кофейня с биллиардом не забывались.

Последний раз, что я видел Лемана, мне казалось, что дела его были неважны. Уже несколько шамкавший от потерянных зубов, приятель жаловался на многое: и здоровье стало изменять, и знакомый художник, заказавший ему портрет своей жены, оттягивал расплату, и русские приезжие стали мало отзывчивы на заказы художественных работ, предпочитая, по примеру свыше, обращаться к ловким французам, всюду пролезать умеющим.

Секретарь нашего посольства Нарышкин[239] говорил мне о том, что хлопочет о какой-то работе для Лемана, но каков был результат его хлопот, я не знаю.

В России со старым приятелем свидеться не довелось, хотя я слышал, что он совсем приехал из Парижа и поселился в Петербурге.

От какой болезни Леман умер, я не знаю, но ему не должно было быть больше 66–67 лет.

В печати было говорено о равнодушии, проявленном при вести об этой смерти; два-три дня прошло, прежде чем было упомянуто в газетах об его таланте и работах…

Высказавшие обиду по этому поводу разве не знают, что это натуральный порядок вещей у нас, т. е. в молодом, мало знающем свои права и обязанности обществе, где не столько уважают деятелей на поприще науки, литературы и искусства, сколько потешаются ими, гордятся ими, как нарядною мебелью, особенно перед иностранцами: вот, дескать, какой у нас есть искусный или хитроумный человек, попробуйте-ка поищите у себя такого! Но чтобы серьезно подумать об облегчении жизненного пути людям, которыми нация гордится, то до этого мы еще не дошли, — на то есть правительство.

Англия, например, справедливо считающаяся более цивилизованною, уже ушла от такого черствого отношения к заслугам своих выдающихся сограждан: у них если известный философ, литератор, художник или иной общественный деятель за заботами о ближних не успел или не сумел устроить своих собственных частных дел, то в день юбилея или при каком-нибудь другом подходящем случае ему поднесут вместе с засвидетельствованием уважения и признательности еще собранную по подписке большую или меньшую сумму денег,

долженствующую облегчить дальнейшую жизнь и деятельность талантливого труженика.

Даже польское общество дает нам назидательный урок в этом отношении, и в последнее время, чествуя литературные заслуги своего Генриха Сенкевича[240], преподнесло ему не только выражение удивления его таланту, но и хорошенькое доходное именьице, приобретенное на капитал, собранный по подписке.

В России этого не случается. «Выпить за здоровье» можно; покачать отличившегося после «хорошего» обеда с шампанским тоже не грешно; даже проводить до кладбища или сказать надгробное слово считается серьезным делом, но собрать средства для безбедного существования в будущем выдающегося таланта считается лишним. А между тем, если бы, например, никогда не умевшему распоряжаться своими делами и вечно нуждающемуся в деньгах А. С. Пушкину была своевременно и деликатно предложена почитателями его таланта — им же имя было легион — сумма в несколько десятков тысяч рублей, — какое облегчение внесло бы это в жизнь нервного художника, от скольких унижений и хлопот это избавило бы его!

Все эти мысли о необеспеченности наших выдающихся людей, особенно на поприще искусства и литературы, до сих пор систематично держащихся в тесном кружке одних сливок общества, невольно еще раз напрашиваются при известии о смерти литератора Мачтета[241], тоже недюжинного художника, тоже идеально порядочного, честного человека.

Не будучи в состоянии кормиться литературным трудом, он бросался тут и там на службу, разменивал свой талант на мелкую монету. Когда, встретясь с ним последний раз, я заметил ему, что, должно быть, служебная лямка отнимает у него много времени, он не без юмора уподобил свое положение человеку, надававшему в молодости векселей и теперь принужденному платить по ним.

— Зачем вы это сделали? — спросил я, не понимая сути его шутки.

— Что же делать, — отвечал он, — молод был, глуп.

— И много вы навыпускали этих обязательств?

— Три. Одного мальчика да двух девочек!

P. S. Заговоривши ныне о Сенкевиче, скажу кстати, что после последнего романа из римского быта он занимается теперь польским героем Собесским, а затем намерен приняться за Наполеона I, которого хочет проследить в нескольких периодах жизни работою в несколько томов.

* * *

Кто-то написал, что наш покойный приятель Мачтет был одержим маниею преследования, — ему будто бы чудились везде не существовавшие опасности… Не знаю, что говорил и делал он такого, что подало повод к этому утверждению; я не слышал ничего подобного от этого талантливого, глубоко честного человека и помянул его здесь еще раз потому, что рассказ одного из друзей об его последних минутах и просьбах перед самою смертью «освободить от смертельной тоски» глубоко взволновал меня. Сравнительно малообразованный Леман и высокоинтеллигентный Мачтет, оба талантливые и в полном смысле слова порядочные, представляют два типа художников, перед свежими могилами которых ни клевета, ни насмешка не должны иметь места.

По поводу этих двух людей невольно приходит еще раз мысль о неумении представителей науки, искусства и литературы устраивать свои частные дела, распоряжаться деньгами, заботиться о нуждах старости.

Всем приходится сожалеть о том, что в школах учат только зарабатывать деньги и не преподают уменья удерживать их, не давать им часто совершенно непроизводительно проскакивать между пальцами; ученым, литераторам и художникам приходится терпеть от этого пробела еще больше, чем другим, так как, добродушные и безалаберные, они, зарабатывая немало и тратя без счета, в конце концов бывают не в состоянии сводить концы с концами и обеспечивать себя и свои семьи под старость.

Люди с мещанскими поползновениями, от королей биржи до мелких торговцев, относятся обыкновенно нехладнокровно к сетованиям художественной и литературной братии: почему именно ученые, литераторы, поэты и художники разных специальностей имеют привилегию интересничать своей нерасчетливостью и неряшеством в денежных делах, почему они не хотят подтянуться, стать под общий уровень?

Потому, отвечу я, что в данном случае, более чем в каком-либо другом, неуместно требовать соединения приятного с полезным; ремесло или искусство, — как угодно можно выразиться, — основанное на процессе творчества, захватывает всего человека без остатка, требует от него напряжения всех духовных сил! Люди, преданные творчеству, бывают от этого рассеянны, но они не сухи, не черствы, не узки мыслью, как, например, денежный народ; по натуре своей они наивны, экспансивны, безрассудно щедры и нерасчетливы. Не из притворства же они мало заботятся об одежде и обстановке, не считают праздников и работают 360 дней в году. Какой банкир или иной положительный человек при всех своих заботах и

занятиях упустит завтрак или обед? А художники и люди науки сплошь и рядом позабывают о таких банальных необходимостях, даже прямо бывают не в состоянии отвлекаться для них от работы.

Конечно, если бы отрезать кончик носа от этой физиономии и приставить к другой, а верхнюю губу от той перенести на эту, то лицо вышло бы правильнее; но еще вопрос, вышло ли бы оно красиво? Если бы Александру Сергеевичу Пушкину придать расчетливости и уменья обращаться с деньгами, если бы при этом сбавить ему родовой спеси и задора, то было бы очень хорошо, но вопрос, был ли бы тогда Пушкин Пушкиным? А Некрасов, а Достоевский и другие, — как полезно было бы перетасовать их достоинства и недостатки, но спорно, было ли бы это к лучшему.

Когда я слышу рассуждения разумных средних людей на тему высокого заработка иных художников на разных поприщах, невольно вспоминаются слова Некрасова: «Чтоб одного возвеличить, борьба тысячи слабых уносит; даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит»[242]. Вспоминается и знаменитый ответ Фридриху II одного певца, которому король, выговаривая за требование неумеренной цены, сказал, что он и фельдмаршалам своим не платит таких денег: «Так пусть фельдмаршалы поют», — ответил тенор.

Все мысли, все чувства человека, занятого творчеством, полны одной идеей, борющейся с бесконечными потугами воображения, с одной стороны, и со стечением обстоятельств, благоприятных или неблагоприятных, — с другой.

Товар человека-творца темный, не то что сапог, булка или какое-либо иное произведение ремесленника, — для одного он стоит огромных денег, для другого цена ему грош. Эта неравность оценки вносит в жизнь и деятельность труженика ту неустойчивость, необеспеченность, которая доходит до отрицания пользы его существования и права на вознаграждение, так что клички «тунеядец» и «паразит» сплошь и рядом проследуют людей науки, искусства и литературы.

Художников слова и кисти особенно превозносят, ухаживают за ними, как за хорошенькими женщинами, когда они с именем, и обижают на все лады, когда они неизвестны, — и думать нечего заявлять о правах, потому что таковых им не полагается.

Немножко горько вспоминается мне, что я испытал раз большую бесцеремонность, когда был учеником Академии Художеств. Ко мне отнеслись с очень деликатною просьбою: нужно было сделать портрет с умиравшей старушки, не давая ей понять, что ее снимают, так как это дало бы ей подозрение насчет близости конца, которого она очень боялась… По той же причине

нельзя было думать и о фотографии, тогда в комнатах еще и не работавшей. Чуть не со слезами упрашивал меня офицер не отказываться помочь ему в этом, и я согласился. Пришлось употребить хитрость, и мы уговорились, что я назовусь доктором и, расспрашивая, выслушивая, буду заносить в альбом дорогие для безутешного сына черты его старушки.

Чтобы легче было схитрить, поехали вечером; ехали что-то долго, не то на Петербургскую, не то на Выборгскую сторону, и вышли, наконец, у какого-то низкого подъезда, в низкую душную квартиру. И жутко, и совестно было: прибранная на постели больная в нарядном чепце и кофте видимо ждала облегчения от новоприбывшего врача-самозванца.

— Вот, мамаша, новый доктор приехал; вы не смотрите на то, что он молодой: он опытный, дайте ему хорошенько порасспросить и осмотреть себя, — слышу из прихожей, говорит офицер своей матери.

— Ох уж эти доктора, — брюзжит больная, — сколько их перебывало, а все толку нет…

— Ну полноте, полноте, мамаша… Пожалуйте, г. доктор.

Войдя, поздоровавшись, я увидел, что надобно будет действовать осторожно, — старушка хотя и слабая, но смотрит пытливо и подозрительно.

Я вынул альбом и стал расспрашивать и осматривать, а также потихоньку рисовать: пощупаю пульс — порисую, послушаю грудь — порисую, — словом, проделываю все то, что с нами проделывают доктора. Однако остерегаться все время того, чтобы моя каверза не открылась, стало до такой степени стеснительно и неприятно, что я хотел было отказаться под каким-нибудь предлогом и уйти, но потом посовестился и, пересиливши себя, сделал-таки недурной портрет, к которому пририсовал в другой комнате спинку кресла и кое-какие аксессуары.

— Какой он внимательный, как долго расспрашивал, — говорила старушка своим в это время, — совсем замучил меня!

Разумеется, работа, сделанная в таких условиях, не была шедевром, но в конце концов она довольно хорошо передавала черты старой дамы, и портрет вышел похож, так что я оказал серьезную услугу любвеобильному сыну.

При прощаньи он сунул мне в темной передней бумажку, которую я тоже сунул в карман, — оказался государственный кредитный билет зеленого цвета, т. е. трехрублевого достоинства.

— Почему вы раньше не уговорились о цене? — спрашивали меня.

— Совестно!

— Почему после не заявили претензии?

— Совестно!

Ни с каким фабрикантом, заводчиком или торговцем не обращаются так бесцеремонно, как с нами, потому что мы — люди бесправные и с нами можно поступать, как угодно, — высокомерие, капризы, «нраву не препятствуй» — всё должны переносить.

Типы того люда, с которыми художникам, отчасти и литераторам, приходится иметь дело, очень разнообразны, — от мелких любителей, желающих иметь «хорошенькую вещь не дороже ста рублей» — наиболее симпатичных, — до Кит-Китычей, не жалеющих тысяч, но требующих «учтивства» и покорности[243].

Вспоминаю милейшего Д., затаскивавшего меня обедать вместе с покойным Д. В. Григоровичем. Несмотря на упрашивания Г., я так и не пошел, только спросил после, хорош ли был обед. «Сумасшедше хорош, — ответил Д. В., — одни чашечки перигорских трюфелей, поставленные перед каждым, чего стоили, а ведь мы только ущипнули от них».

Об этом милом самодуре, нашумевшем по всей Европе, тот же неподражаемый рассказчик Д. В. Григорович приводил немало курьезов.

Один из них. Проигравши раз в один вечер около миллиона рублей, Д. встретил пришедшего навестить его Григоровича чуть не со слезами: «Я — изверг, я — злодей, я разорил семью», — вопиял он, забывая, конечно, что кое-какие заводы, вместе с еще кое-какою хурдой-мурдой стоили все-таки миллионов 20, если не 25. «На воздух, на воздух, мне душно!»

И приятели отправились проветриться на острова, причем из экономии уселись на империал омнибуса, а в первом же большом ресторане, в который они приткнулись, Д. подарил понравившейся ему арфистке 1000 рублей.

В нашей стране, чтобы художник, литератор или человек науки был вполне оценен, ему нужно умереть, — исключение составляют немногие, успевшие получить большую известность за границей; но, несмотря на всю заманчивость этой перспективы, люди, конечно, не торопятся пользоваться этой верной рекламой.

Только, говорю, когда большой талант преждевременно умрет, то сплетни и злословие оканчиваются и начинается самобичевание: «Как могло это случиться? Как можно было это допустить? Где же мы были?» Больно, тяжело читать теперь письма Пушкина, Достоевского и других, только и думавших, что о выходе из стесненных денежных обстоятельств, бившихся из-за насущного хлеба.

Пушкин еще сравнительно нуждался по-барски, а Достоевский до того бедствовал, что запирался от домашних,

чтобы выжать из себя юмора рублей на 300, на 400, ровно настолько, чтобы не умереть с голода. Но едва он по-настоящему умер, как сочинения его стали давать по 50, 60, 80 тысяч рублей за издание. Не ирония ли это судьбы: безысходная нужда, дополняемая припадками нажитой в незаслуженной каторге падучей болезни, при жизни самого творца художественных созданий, — довольство, чуть не богатство для наследников, явившихся как нечто должное, вполне натуральное!

Интересно недавно открытое письмо Пушкина[244], в котором он откровенно отказывается от авторства известной нескромной пьесы, подозрение в котором так много навредило ему у дрянных людей, под защиту которых пришлось отдаться.

Светочи гигантов общественной деятельности бросают такие большие тени, что в них надолго устраиваются и подолгу отдыхают спутники и встречные, друзья и враги.

Изящный, отделанный стих — Пушкина! Смелая мысль, красивая фантазия — Пушкина! Непременно Пушкина, кого же, кроме него?

Как Александр Македонский на Востоке — везде он. Громкая легенда, чудесная постройка — все приписывается времени знаменитого «Искендера».

Такова царица Тамара на Кавказе: что ни руина, — то ее постройки, что ни сказка, — то о ней, об ее подвигах.

Таков и Петр Великий на нашем Севере, где множество свидетельств народного культа к его памяти: здесь дом, в котором он останавливался или который построил себе; там предмет, которым он заинтересовался, холм, на котором стоял, или камень, на котором обедал (?). Уж не знаю, правда ли, что царь обедал на камне, торчащем из воды Северной Двины, — предание, однако, настойчиво говорит так, несмотря на то, что плоский камень этот порядочно наклонен, — он мог, впрочем, наклониться уже «после обеда».

Давно я слышал от простолюдина о том, что в Архангельске, в домике Петра I, сохраняется между прочими интересными вещами, напоминающими о великом царе, лапоть, который он будто бы начал плести, но не доплел; всему, видишь, выучился, до всего дошел, а тут не хватило терпения, бросил работу, как слишком мудреную. Нужно было видеть лицо моего рассказчика-крестьянина, чтобы понять, как бережно нужно относиться к таким вещам, как этот недоплетенный лапоть, если только действительно он существовал не в одном воображении носителей и производителей лаптей.

О каких-либо вещах в домике Петра в Архангельске нет и помина теперь, и самый-то домик перенесен с того места, на

котором царь построил его и жил в нем, на бульвар! Мало того, — так как домик загрязнился от времени, то вместо всякой реставрации его выбелили известкой, и выбелили основательно, снутри и снаружи, точно окунули в известку! Как, по чьему совету или капризу проделано над известною реликвиею такое варварство?

Мне сказали, что перенос домика (!) и его «обеление» произошло несколько лет тому назад в просвещенное губернаторство князя Г.

Заговорив о сохранении у нас памятников старины, приведу несколько примеров самого варварского обращения с ними, представляющих прямо вырывание страниц из истории, — ни больше ни меньше. Если не примут серьезных мер, скоро не только исчезнет вся деревянная Русь, но и каменные здания, не угодившие гостинодворскому вкусу малообразованных заправил, будут перекромсаны и разделаны, вроде той чудесной церкви древнего монастыря в Ростове Ярославском, в котором настоятель счистил фрески и покрыл его розовым стюком под мрамор, — суди его бог!

Мне очень хотелось побывать в знаменитом храме на мысе Пицунда, близ Сухума. Насколько это большая и почтенная древность, можно судить по тому, что в ней отбывал ссылку св. Иоанн Златоуст и что стены с остатками фресок внутри, как уверяют, уцелели от этого времени (?). Неудивительно, что снаружи на стенах росли деревья!

Фрески эти или, вернее, остатки их, главным образом, и привлекали меня. Чтобы добраться до них, я поехал в Ново-Афонский монастырь, к ведомству которого Пицундский храм был в последнее время причислен. Любезные монахи обещали приготовить лошадей и в разговоре не утерпели, чтобы не похвастать улучшениями, произведенными их отцами в старой святыне, лишь только они приняли ее в свое заведование. «Улучшения? Какие?» — «А с божьей помощью все привели в благоразумный вид, почистили, побелили». — «Где побелили?» — «Внутри, выбелили купол и стены». — «А с фресками что сделали?» — «Фрески, какие фрески? Никаких там не было. Это — что осталось кое-где грязное, пятнами? Так это почистили, прикрыли».

После этого объяснения я раздумал ехать в Пицунду.

В костромском Ипатьевском монастыре есть хоромы бояр Романовых, в какое именно время, кем выстроенные, неизвестно, но по всей вероятности, дававшие гостеприимство и Михаилу Федоровичу, и Алексею Михайловичу, приезжавшим в монастырь на богомолье. Предание говорит, что в этом именно доме

спасались юноша — будущий царь — с матерью в Смутное время, когда они принуждены были укрываться за монастырскими стенами от бродивших по окрестностям шаек казаков и поляков.

Теперь палаты эти неузнаваемы, и мне объяснили, что в царствование императора Николая Павловича хоромы были подвергнуты архитектурной пытке какого-то инженерного полковника, которому было дано 10 000 рублей с приказанием «реставрировать». Все более или менее подверглось этой доморощенной реставрации, но особенно пострадало внутреннее убранство комнат, — теперь это — ряд покоев, совершенно пустых и бесхарактерных: одна клетушка выкрашена розовою краской, другая синей, третья зеленой и т. д., всеми цветами радуги.

Еще не могу помириться с исчезновением Коломенского дворца под Москвой. Долго стояла эта чудная постройка, никому не мешая, всех пленяя, и, с постоянными поправками и заменою сгнивших частей новыми, той же формы, рисунка и цвета, простояла бы и до сих пор. Нет, нужно было дать приказ «разобрать»! Легко сказать: разобрать! Вот уж можно сказать, не ведали, что творили! Сознание того, что такую прелесть, такое чудо, — как дворец этот называли, — совсем уничтожить стыдно, очевидно, было, потому что приказано было перед ломкой сделать точную модель со всех построек, — ту самую, что сохраняется теперь в Оружейной палате, — а также насадить по линиям фундамента дворца акации, составляющие теперь живые стены по всему пространству, прежде занятому зданиями.

Я не теряю надежды на то, что когда-нибудь дворец этот будет восстановлен по помянутой выше модели, так же как и по множеству сохранившихся снимков с него. Судя по некоторым, у меня имеющимся, дворец был из ряда вон интересным зданием или, вернее, группою зданий, так как главный характер его составляли всевозможные пристройки: родилась еще царевна — построена новая банька с мыленкою; стало тесно на царской кухне — для царевича построили новую кухоньку… Зала заседания царской думы была украшена большим золотым куполом, и, как говорят иностранцы, своеобразная роскошь и уютность покоев поражали посетителей.

Возобновление Коломенского дворца, которое, я уверен, рано или поздно состоится, дало бы толчок постройкам в народном стиле, вышедшим в последнее время из моды в Москве. Строят здания в стиле Ренессанс, готическом, даже мавританском, а старо-московского знать не хотят, чем совершенно обезличивают город.

Давно уже в интересе этого дела я хлопотал о том, чтобы

Большой Кремлевский дворец был раскрашен по образцу теремов, что очень легко сделать, так как оконные наличники у обоих зданий одинаковы. Я имел случай сноситься по этому поводу с тогдашним помощником министра двора, просвещенным бароном Фредериксом, поручившим приехавшему в Москву чиновнику переговорить со мною по этому поводу. Однако доклад о деле не удостоился тогда утверждения.

Теперь, как я слышал, вопрос этот снова поднят, и есть надежда на его разрешение в утвердительном смысле, — Большой Кремлевский дворец, теперь имеющий казарменный вид, сделается необыкновенно красивым, и, конечно, такой пример увлечет многих богатых москвичей, как будто стыдящихся родного архитектурного стиля.

Как только он воротится к раскраске и облицовке кафлями, так облюбованными вашими предками, так Москва сделается самым оригинальным, старинным городом в свете, и наплыв богатых иностранных путешественников скажется десятками миллионов ежегодной платы за этот интерес, эту оригинальность.

Об этом предмете я поведу, впрочем, речь в другой раз; теперь скажу еще несколько слов о бывшем Коломенском дворце или, вернее, о соседних с ним постройках.

Царские покои соединялись крытым ходом с соседнею церковью Казанской богоматери, в которой также зачем-то понадобилось не восстановить, а сломать монументальное древнее крыльцо, замененное боковым под старину, — но Федот вышел не тот. Крытый ход из дворца вел в небольшой придел, в который царь входил незаметно от других и через большое слуховое окно слушал божественную службу.

Архитектура Казанской церкви внутри напоминает Успенский собор, — она тоже недавно реставрирована местными силами и средствами, — дешево, пестро, с цветными гирляндами современного вкуса.

У старой церкви Вознесения, что близ дворца, на самом берегу реки, тоже, очевидно, переделаны монументальные лестницы, ведущие в храм и покрытые железными листами по плоской крыше, вместо стрельчатки луковицей, которая тут, очевидно, была.

Царское место на церковной галерее с течением лет все больше и больше покрывается известью; я еще застал, казалось, следы прежней раскраски, но с тех пор известка на известку совершенно облепили это оригинальное кресло-трон. Царское сиденье возвышается над идеальным видом на Москву-реку и за ней лежащую окрестность, горизонт которой расстилается верст на 25–30. Так и представляешь себе Тишайшего царя Алексея

Михайловича, после службы сидящего тут, кушающего просвирку и слушающего странников и богомольцев, сошедшихся из ближних и дальних мест, кто с дарами и приношениями, кто за милостынею.

Кремль в Москве

Говорят, что посетивший это место государь Николай Павлович, сидя на этом старом царском кресле, сказал императрице-супруге: «Вот мы ездим по заграницам в поисках за видами, а разве можно найти что-нибудь лучше такого местоположения…» Однако дворец, который император хотел тут построить, так и остался в проекте.

Вместо разобранного Коломенского дворца для Екатерины II начали было строить большой летний дворец в Царицыне, но справедливое чувство брезгливости не дало не только пожить ей там, но даже и кончить постройку. Говорят, что привезенная туда царица, увидя эти шутовские постройки, выразилась очень энергично: «Чтобы я стала жить в этой дыре!»

Стиль этого теперь заброшенного дворца тот самый, что в Петровском дворце, — экстра-балаганный. Поделом стоит теперь Царицынская постройка руиною, грустно глядящею темными оконными арками на посетителей и дачников этих мест.

Приятно думать, по крайней мере, что величайшее прегрешение, которое можно было совершить по части ломки и истребления памятников старины, не состоялось, — говорю о неудаче проекта сломки кремлевских стен и замене их разными зданиями утилитарного характера, вроде бывшего Сената, теперешнего окружного суда. Спасибо Екатерине за то, что она не приняла этого ужасного проекта и сохранила Москве Кремль.

О значении памятников старины, даже только со стороны

чисто меркантильных интересов, я поговорю в другой раз.

Наполеон I в России в картинах В. В. Верещагина

Предисловие

Изучение жизни и деятельности такого вершителя судеб своего времени, каким был Наполеон I, представляет большой интерес, — говорю об изучении разностороннем, исключающем поклонение легенде. Обыкновенно сверхъестественное в такой степени примешивается к памяти о великом полководце, что бывает трудно отличить правду от вымысла, и чем блистательнее карьера героя, чем необыкновеннее его подвиги, тем легендарные рассказы о нем чудеснее.

Жизнь Наполеона I за 20 лет представляла ряд фактов, до такой степени поражавших воображение, что люди склонялись придавать им значение свыше предопределенных событий, а в самом великом полководце видеть исполнителя неотразимых приговоров судьбы.

Позже, в кампанию 12-го года, Наполеон увлекся до того, что сразу вступил в борьбу с людьми, климатом и пространствами Севера и пал, но облик его через это не потерял своего обаяния, а, напротив, украсившись ореолом страдальчества, стал еще более интересен для всякого мыслящего человека — художника, философа, политика или военного.

Литература всех родов уже занималась изучением этой крупной личности, но живопись — искусство сравнительно отсталое в умственном отношении, как требующее трудной специальной техники, — до сих пор почти не затрагивала Бонапарта-человека, пробавляясь Наполеоном-гением, полубогом, стоящим вне условий места, климата и законов человеческой жизни[245].

Наполеон I — без сомнения, самая яркая фигура XIX столетия, а кампания 12-го года — наиболее выдающееся военное событие этого века: громадность замысла, быстрота событий и важность их последствий невольно приковывают внимание к делам, имевшим влияние на все XIX столетие.

Представляя в картинах несколько черт характера героя и его наружного облика, я хочу в то же время обратить внимание

читающего эти строки на некоторые маловыясненные факты его жизни.

К числу таких фактов, способных до некоторой степени осветить причины настойчивого недоброжелательства Наполеона к России, надобно отнести: 1) прошение поручика Бонапарта[246], поданное в 1789 г. русскому генералу Заборовскому, о принятии его на царскую службу — прошение, на которое последовал отказ из-за претензии носителя на майорский чин[247]; 2) намерение императора Наполеона породниться с императором Александром женитьбой на одной из его сестер, не удавшееся из-за нерасположения к жениху матери невесты.

Конечно, несправедливо было бы сказать, что оскорбленное самолюбие поручика-императора было единственною причиною почти постоянной вражды его к России, но, с другой стороны, нельзя смотреть на эти факты как на второстепенные при данных темперамента и характера героя.

В кампанию 12-го года Наполеон проявил столько стремительности и противоречий, составил столько порывистых, непрактичных планов, что одним желанием отомстить за несоблюдение каких-то условий трактата нельзя объяснить всего этого — очевидно, в дело замешалось смертельно ущемленное самолюбие.

При всех бесспорно высоких качествах ума Наполеон после второй женитьбы на австрийской принцессе — за отказом русской — как будто теряет свою прозорливость и, несмотря на ясно сознанную пользу союза с великою Северной державой, бьет на разрыв с нею, увлекается, теряет терпение и, по привычке действовать стремительно, решительными ударами, быстро идет к погибели.

Даже оставивши в стороне первую, как весьма отдаленную, попытку вступить в добрые отношения с Россией (поступлением в русскую службу), нельзя не признать, что вторая неудача, — неудача сватовства, при которой, с одной стороны, было пущено в ход, а с другой, отвергнуто обаяние мужчины, императора, героя, — прямо и непосредственно повела к известной развязке.

Еще за время Тильзита[248] Наполеон кидал взоры на великую княжну Екатерину Павловну, но лишь только намерение его стало известно, молодую принцессу поспешили выдать за герцога Ольденбургского[249]. Французский император не признал себя, однако, побежденным и посватался, хотя тоже секретно, но уже с соблюдением всех форм, к великой княжне Анне Павловне[250]. Когда и тут дело стало затягиваться — вместо предложенного срока 48 часов на многие и многие недели, — Наполеон понял смысл проволочки, резко оборвал переговоры и тотчас женился

на австрийской эрцгерцогине; а русская императрица-мать, Мария Федоровна, не довольствуясь сделанным афронтом, еще увеличила его, сосватав и эту дочь за одного из мелких немецких князей. Это было уже слишком, и Наполеон разразился: выгнал герцога Ольденбургского из его владений и, пообещавши ту же участь всей немецкой родне Александра, стал решительно готовиться к войне.

За подбором и подтасовкою фактов, за эффектными трескучими фразами о необходимости похода цивилизации против варварства, которое должно быть изгнано из Европы в Азию, нечего было много тратить времени, так как приниженное общество Европы, при полном сознании славы Франции и величия ее повелителя, а также и своего бессилия перед его решениями, было вполне готово к принятию всякого нового откровения этого воплощенного Провидения.

Не невозможно, что вначале Наполеон желал только застращать своего противника грандиозностью военных приготовлений и заставить его публично, перед всею Европою, смириться; так, по крайней мере, понимали французские приготовления к войне русский канцлер Румянцев[251] и многие другие лица; то же, очевидно, допускал и император Александр, потому что до последней минуты не терял надежды на возможность сговориться. Но когда он отказался сделать к этому первый шаг, императору французов не оставалось ничего иного, как, по собственному его выражению, «выпить откупоренное вино».

Тут начинается одна из самых поучительных и драматических страниц современной истории: всесветно признанный ум и военный гений, наперекор указаниям своей опытности и опытности всех своих ближайших помощников, не может, несмотря на многократно выраженное твердое намерение, остановиться, а фатально идет все вперед и вперед, идет в самую глубь вражеской страны на сознаваемую всеми окружающими его гибель! Постоянно памятуя и поминая пример Карла XII и высказывая решение никак не повторить его ошибки, делает именно эту же ошибку! Видя, что чудная армия его гибнет, тает как лед на знойных утомительных переходах, чувствуя себя поглощенным громадностью пройденного (но не завоеванного) пространства, обманутым тактикою неприятеля, превзойденным его твердостью, — все-таки идет вперед, буквально устилая путь трупами!

В Витебске Наполеон[252] объявляет кампанию 12-го года конченою: «Здесь я остановлюсь, — говорит он, — осмотрюсь, соберу армию, дам ей отдохнуть и устрою Польшу. Две большие

реки очертят нашу позицию; построим блокгаузы, скрестим линии наших огней, составим каре с артиллериею, построим бараки и провиантские магазины; в 13-м году будем в Москве, в 14-м — в Петербурге. Война с Россиею — трехлетняя война!»

Есть все основания думать, что если бы этот план остановки в Литве был приведен в исполнение, благодушный самодержавец России теми или другими мерами был бы приведен к соглашению и миру. Но Наполеон теряет терпение, покидает Витебск и идет вперед. Правда, он решается идти только до Смоленска[253], «ключа двух дорог, — на Петербург и Москву, которыми необходимо завладеть, чтобы быть в состоянии выступить весною сразу на обе столицы». В Смоленске он собирается отдохнуть, окончательно устроить все и весною 1813 года, если Россия не подпишет мира — прикончить ее! Но, наперекор этому, французская армия покидает Смоленск и идет вперед!

В Москве должна была начаться агония громадного предприятия, участники которого устали, а руководитель потерял голову, — нельзя иначе выразиться о поведении Наполеона относительно Александра, поведении не только унизительном, но как бы рассчитанном на то, чтобы выдать затруднительность и безвыходность своего положения: и стороною, и прямо он пишет письма с любезностями, с уверениями в дружбе, преданности и братской любви; посылает генералов с новыми предложениями мира, не получив ответа на старые: «Мне нужен мир, — говорит он Лористону[254], отправляемому с такою деликатною миссией в русский лагерь, — мир во что бы то ни стало — спасите только честь!»

Разрешение грабежа и гнев на невозможность остановить его; намерение идти на Петербург, т. е. на север перед самым началом зимы; приказ о закупке в совершенно разоренном, выжженном крае громадного количества провианта и фуража, а также 20 000 лошадей — все это факты, граничащие с насмешкою.

Потом обратное движение, с его расчитанною медленностью для сохранения награбленного солдатами добра, давшею возможность русским предупредить французские войска и преградить им дорогу; разделение армии на отдельные самостоятельные отряды, один за другим побитые, почти истребленные; приказ систематического выжигания передними войсками всех окрестностей пути — в прямой ущерб остальной армии; наконец, святотатственное отношение к религии страны, поблажка осквернению храмов, убийствам, замариванию голодом всякого люда, попадавшегося под руку под именем «пленных», — все это поступки, вызвавшие страшные проявления мести со стороны озлобившегося населения, поступки, о которых «свежо

предание», но которым «верится с трудом»[255].

Там и сям, как под Красным и при Березине, блещут еще искры гениального самосознания великого полководца, но эти отдельные проявления силы духа и военного таланта, эти последние лучи закатывающегося светила не в состоянии уже предупредить величайшего из представляемых историею погрома.

Кроме предлагаемых здесь объяснений к картинам, я собрал в отдельную книгу много интересных сведений, на которые и обращаю внимание читающего эти строки: это характерные выдержки из воспоминаний современников-очевидцев о пребывании Наполеона в России в 1812 году, с сохранением, по возможности, простоты и безыскусственности рассказов.

Люди, мало знакомые с войной, скажут, пожалуй, читая эти страницы: «Какой ужас! Французы только и делали, что били, жгли, расстреливали, грабили?» — Конечно, да ведь для этого они и приходили: только надобно сделать оговорку: под словами «французы в 1812 году» в России понимают всю массу войск, собранных в Европе; все «дванадесять язык», составлявших «великую армию»; что касается собственно французов, я должен сказать, что в памяти большинства русских, оставивших рассказы об этой эпохе, они, несмотря на самые бесцеремонные расстреливания, казались более великодушными, чем их союзники, особенно баварцы и виртембергцы. Поляки были также очень жестоки, но они сводили с русскими старые счеты, тогда как неистовства швабов трудно не только оправдать, но и объяснить.

I

Наполеон I на Бородинских высотах

Император сам рекогносцировал русские позиции под Бородиным, для чего, приехав с разведочною партией, долго рассматривал в подзорную трубу размещение и укрепления русских войск с колокольни Колочского монастыря[256]. Бросив взгляд на поле будущей битвы, он понял ошибку Кутузова,

принявшего новую Смоленскую дорогу за центр позиции, сильно укрепившего и без того крепкие высоты правого фланга и несколько пренебрегшего левым. Видя, что глубоко текущая Колоча сильно заворачивает на правом фланге расположения русских войск, Наполеон понял, что только крутые берега могли принудить ее к тому, понял, что эти берега должны быть трудно доступны. На левом фланге, напротив, русло реки ровнее, берега отложе; этим он решил воспользоваться и тотчас же составил свой план: вице-король Евгений[257] должен больше демонстрировать перед Бородиным и правым флангом русских, атакуя в то же время большой редут; Понятовский обойдет их левый фланг, а Ней и Даву, овладевши настоящим ключом русских позиций — Семеновскими флешами, сделают поворот налево и втопчут Кутузова с резервами в Колочу[258].

План был не дурен, но его исполнению помешали как неожиданно-отчаянная стойкость русских войск, — так и из ряда вон выдававшиеся способности генерала Багратиона: без этого последнего французские маршалы, пожалуй, выполнили бы предписанное им движение.

К счастью для нашей армии, Наполеон не согласился с предложением Даву, просившего послать его с 35 000 человек 1-го корпуса и 5000 поляков по старой Смоленской дороге, в тыл русским: в то время, как велась бы атака с фронта, он брался, зайдя глубокою ночью сзади и переходя от редута к редуту, все сокрушить и, окруживши, всех заставить положить оружие. Он ручался, что к 7 часам утра маневр будет выполнен! Принимая во внимание ошибку Кутузова, собравшего главные силы на правом фланге, который никто не думал атаковать, можно допустить, что русская армия была бы разбита. Но Наполеон не принял этого плана наиболее талантливого и тактичного из своих маршалов, из-за слишком большой смелости его, как он выражался — из-за маленькой ревности, jaloisie de metier[259], можно прибавить. Он повел атаку с фронта, и Кутузов имел время, заметив свою оплошность, хоть и в самом пылу битвы, под сильнейшим огнем, перевести войска справа налево, где Багратион уже изнемогал в непосильной борьбе. Понятовский с одними поляками сделал немного: застрявши было в болотах, он смог только заставить Тучкова отвести войска крайнего фланга на 2 версты назад[260].

Французская армия подошла к Бородинским высотам в числе 170–180 000 человек[261] и тотчас же завладела Шевардинским редутом, не без того, однако, чтобы он не перешел несколько раз из рук в руки, прежде чем остаться за французами[262]. На другой день после этого дела обе армии оставались в бездействии, как бы в негласном перемирии, будто условясь в том, что на

следующий день все будет окончательно решено, — значит, пока нечего напрасно беспокоиться.

Наполеон I на Бородинских высотах

Со стороны французов тишина лишь временем нарушалась кликами: «V'ive l'Empereur»[263] — это гвардия воодушевлялась лицезрением портрета маленького сына Наполеона, привезенного из Парижа и выставленного для гренадеров, перед палаткою императора. Со стороны русских было больше движения: по рядам коленопреклоненных войск обносили с пением псалмов икону Смоленской богоматери в сопровождении Кутузова с штабом; все плакали, молились, приготовлялись к смерти за свободу родины, за Москву.

«Великий день готовится, — сказал Наполеон одному из своих приближенных, — битва будет ужасна!»

Ночью перед сражением французский император снова стал бояться, как бы русские, пользуясь ночной темнотой, опять не отступили — эта мысль не давала ему спать. Он часто призывал, расспрашивал: не слышно ли у неприятеля какого-нибудь шума, тут ли он еще? Наконец, в 5 часов ординарец Нея пришел доложить, что маршал просит дозволения атаковать, и тут загорелся бой, равного которому по кровопролитию не было еще с самого времени изобретения пороха! Дрались с обеих сторон с таким ожесточением, что не брали ни пленных, ни каких других трофеев, только бились, бились, бились! Признано, что потери с обеих сторон превышали 100 000 человек, но принимая во

внимание, что на Бородинском поле зарыто, по официальным сведениям, до 57 000 трупов, надобно положить, что у французов и русских в этом сражении выбито из строя свыше 150 000[264].

По привычке без меры преувеличивать результаты своих успехов Наполеон объявил победу решительною и похвалился 50 000 убитых и раненых русских, сравнительно с 10 000 у себя. В действительности он потерял никак не менее 60 000, — 43 генерала с невероятно большим числом офицеров; целые полки не существовали более, кавалерия совершенно дезорганизована, почти уничтожена, и при всем том не достигнуто никакого ощутительного результата, так как русская армия отошла лишь к другому ряду высот и затем на следующий день отступила в порядке, увезя артиллерию и багаж. Действительно, к 3 часам Наполеон овладел батареей Раевского (La grande redoute) и Семеновскими флешами, но этот успех нисколько не обеспечивал за ним возможности овладеть и теми новыми позициями, в которых русские войска ожидали неприятеля до глубокой ночи. Для обращения противника в бегство нужно было еще и еще драться, на что устрашенный потерями Наполеон не решился[265]. Его умоляли дать гвардию для последнего удара, но он отказался, досадливо ответивши: «А если придется принять еще битву под стенами Москвы, с чем я ее выдержу?»

Конец Бородинского боя

Эта нерешительность была строго осуждена всею французской армией, не знавшей, что главной причиной ее была

болезнь Наполеона.

Наполеон объявил в приказе, что во время битвы будет находиться на Шевардинском редуте; в действительности он сидел на холме влево, недалеко от помещичьей усадьбы. Он пробовал ходить, но скоро в изнеможении снова садился.

«Перебирая все, чему я был свидетелем в продолжение этого дня, — говорит очевидец[266] барон Лежён в своих воспоминаниях, — и сравнивая эту битву с Ваграмом, Эйслингом, Эйлау и Фридландом, я был поражен недостатком у него энергии и деятельности… Каждый раз, возвращаясь после исполнения поручений, я находил его сидящим в той же позе, следящим в трубу за ходом битвы и с невероятным спокойствием раздающим приказания. В этот день мы не имели счастия видеть его, как в былые времена, личным присутствием ободряющим те части войск, перед которыми было наибольшее сопротивление, где успех был более сомнителен. Мы дивились, не узнавая героя Маренго, Аустерлица и других битв. Мы не знали, что Наполеон был болен и что это болезненное состояние делало невозможным его личное участие в великой драме, разыгрывавшейся перед его глазами исключительно для его славы. За и против Наполеона творились чудеса храбрости: 80 000 русских и французов проливали свою кровь исключительно для утверждения или свержения его власти, а он смотрел на это с невозмутимым спокойствием…»

«Наполеон, — рассказывает маркиз де Шамбрей, — присутствовал пеший, одетый в форму гвардейских стрелков… Завоеватель во все время битвы оставался на одном месте, прохаживаясь взад и вперед с Бертье[267]. За ним стояла пехота старой гвардии и немного впереди влево вся остальная гвардия. Он апатично сидел в продолжение всей битвы в этом месте, слишком отдаленном от театра действий, для того, чтобы следить за ходом их и вовремя распоряжаться. В критические минуты он выказал великую нерешительность и, пропустив счастливую минуту, оказался ниже своей репутации. Необходимо заметить, что он был нездоров…»

Делафлюз рассказывает, что за спиной императора стояла его свита, а дальше выстроенные в боевом порядке гвардия и резервы. «Наполеон за все время не садился на лошадь, потому что, — как говорили, — был болен; он был одет в серый сюртук и говорил мало… Ничего нельзя было разобрать на поле битвы, так как тяжелые облака дыма от тысячи орудий, не переставая стрелявших, все застилали…»

Сегюр[268] говорит: «Почти весь этот день Наполеон либо сидел, либо тихо прохаживался, влево и немного впереди от

занятого 24 числа редута (Шевардина), на краю оврага, вдали от битвы, которую едва можно было видеть; он не выражал ни беспокойства, ни нетерпения, ни на своих, ни против неприятеля. Временами только он делал рукою жест, выражавший печальную покорность, когда приходили докладывать о потере лучших генералов. Иногда он вставал, но, сделав несколько шагов, снова садился. Все окружающие, привыкши видеть его при таких важных событиях спокойно деятельным, а здесь встречая тяжелую, неуверенную бездеятельность, смотрели на него с изумлением. Видимо страдающий, опустившийся, он не сходил со своего места и вяло давал приказания, обводя мутным взглядом совершавшиеся перед ним ужасы, как будто его не касавшиеся…

Мюрат[269] вспомнил, что видел, как накануне император, осматривая линии неприятеля, несколько раз останавливался, сходил с лошади и, припав лицом к орудию, подолгу стоял с выражением страдания на лице. Король догадывался, что в эти критические минуты сила его гения была скована немощью тела, разбитого усталостью, лихорадкою и, главное, болезнью, которая более, чем какая-либо другая, способна была парализовать физические и нравственные силы человека».

Сегюр оканчивает свой рассказ о недостатке распорядительности, проявленном в этот день Наполеоном, такими строками: «Когда он остался один в своей палатке, к физическому упадку сил присоединились нравственные сомнения. Он видел поле битвы, и места говорили сильнее, чем люди: победа, которой он так добивался, которую купил такой дорогой ценой, была далеко не полная — громадные потери были без соответствующих результатов. Все его приближенные оплакивали смерть, — кто друга, кто брата или родственника, потому что жребий войны пал на самых выдающихся. Сорок три генерала были убиты или ранены. Какой траур в Париже! Какое торжество для его врагов! Какой опасный предмет для размышления Германии! В армии вплоть до его собственной палатки победа принята молча, пасмурно, угрюмо — даже льстецы молчат… Мюрат воскликнул, что „он не узнал в этот великий день гений Наполеона“. Вице-король признался, что „не понимает нерешительности, высказанной его приемным отцом“, а Ней прямо заявил, что, „по его мнению, следует отступить…“».

Те, что были все время с ним, видели, что этот победитель стольких народов был сам побежден лихорадкой и особенно возвратом той мучительной болезни, которая возобновлялась у него при всяком слишком сильном движении, всяком глубоком потрясении. Они вспоминали его собственные слова: «Для войны необходимо хорошее здоровье, которое ничем не может быть

заменено!» Вспоминали также его пророческое восклицание после Аустерлицкой битвы: «Для войны нужны известные годы. Я сам буду годен для нее только еще шесть лет — после этого мне придется остановиться». Под Бородиным, где срок прошел и где к годам и нездоровью присоединилась из ряда вон выходившая стойкость противника, ему приходилось пожалеть, что он не остановился…

II

Перед Москвой — ожидание депутации бояр

Усталый, еще не вполне оправившийся от тяжелых впечатлений Бородинской битвы, Наполеон подъезжал к Москве в карете. Последний переход, однако, он сделал верхом, двигаясь тихо, осторожно, обшаривая кавалериею все окрестные рощи и овраги.

Ждали битвы, так как местность казалась удобною для нее: кое-где находили начатые земляные работы, но они оказались покинутыми, и нигде не встречено было ни малейшего сопротивления.

Наконец, осталось подняться на последнюю перед городом высоту, называемую «Поклонною», потому что с нее богомольцы совершают первое поклонение московским святыням.

Солнце ярко играло на крышах и куполах громадного города. Было 2 часа дня, когда французские разъезды показались на этой горе и раздались их восторженные крики: «Москва! Москва!» Все бросилось вперед в беспорядке, как бы боясь опоздать, и вся армия, неистово аплодируя, повторяла: «Москва! Москва!», — подобно тому, как моряки в конце долгого и трудного плаванья кричат: «Земля! Земля!»

Подъехал сам Наполеон и остановился в восхищении, у него невольно вырвалось радостное восклицание.

Маршалы, несколько отдалившиеся от него со времени Бородинской битвы, в которой он не проявил должной решимости, теперь, при виде Москвы, — «чудной пленницы, лежащей у его ног», — пораженные таким великим результатом и под впечатлением слухов о явившемся будто бы русском парламентере с мирными предложениями, забыли свои неудовольствия: приблизившись к императору, они еще раз преклонились перед его звездой и, наперерыв высказывая свои

поздравления, пожелания, надежды, не затрудняясь, отнесли к его предусмотрительности то, за что прежде порицали его.

Перед Москвой — ожидание депутации бояр

Однако скоро беспокойство овладевает Наполеоном: не видно депутации бояр, нет ни ключей города, с преклонением перед его мощью, ни неизбежного воззвания жителей к его великодушию и милосердию, к чему так приучили его Берлин, Вена и другие столицы.

Он ждет с тем более понятным нетерпением, что еще за час до этого приказал своему адъютанту, коменданту главной квартиры графу Дюронелю, поехать в город распорядиться там и

нарядить депутацию для поднесения ключей!

Наконец, он узнает, что Москва оставлена жителями, что не только чиновники, от мала до велика, но почти все обитатели выехали, так что город пуст.

Не смея вполне верить этому, он еще продолжает надеяться, что хоть какие-нибудь посланцы выведут его из неловкого положения перед армиею, Европою, перед самим собою.

Действительно, в городе наскоро собрали кое-каких иностранных торговцев, которые просили у Мюрата защиты; их-то вместе с несколькими русскими простолюдинами представили Наполеону. На оборвышей жалко было смотреть — до того они все были перепуганы: полагая, конечно, что пришел их конец, они менее всего были готовы не только говорить речи, но и просто разевать рот перед нахмуренным, окруженным блестящею свитою императором, который, оглянув с ног до головы эту шутовскую депутацию, ответил пробормотавшему несколько слов от ее имени типографу-французу: «imbecile!»[270] Речь к боярам и другие громкие слова, издавна, конечно, заготовленные pour la circonstanse[271], эхо которых должно было разнестись по всему миру, приходилось отложить до более удобного случая.

Очевидец, русский пленный, рассказывает о том, как был поражен Наполеон известием о пустоте Москвы: «Он приведен был в чрезвычайное изумление, некоторый род *забвения самого себя*. Ровные и спокойные шаги его в ту же минуту переменились на скорые и беспорядочные.

Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавливается, вздрагивает, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, мнет его в руках и, как бы ошибкою, кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув с руки перчатку, торопливо надевает ее и повторяет то же несколько раз…

Это продолжалось битый час, и во все это время окружавшие его генералы стояли за ним неподвижно, как истуканы, не смея пошевельнуться…»

Тяжел был удар самолюбию Наполеона: громадный результат, добытый ценою невероятных усилий и жертв, разыгрывался в фарс, от которого он поспешил отвернуться, чтобы не сделаться смешным.

Со стороны города ни малейшего выражения покорности или даже почтения, о котором можно было бы заявить в газетах. Все фразы снисхождения, ласки, милости, заготовленные для москвичей, с помощью которых он надеялся, обойдя императора Александра, сговориться с московскими боярами, преклонить их

на свою сторону и вызвать рознь между двумя столицами, — оказывались мыльным пузырем, детским карточным домиком.

Он велел подать себе лошадь и поскакал к предместью.

«Свет померк, — говорит очевидец, — от поднявшейся столбом пыли».

III

В Успенском соборе

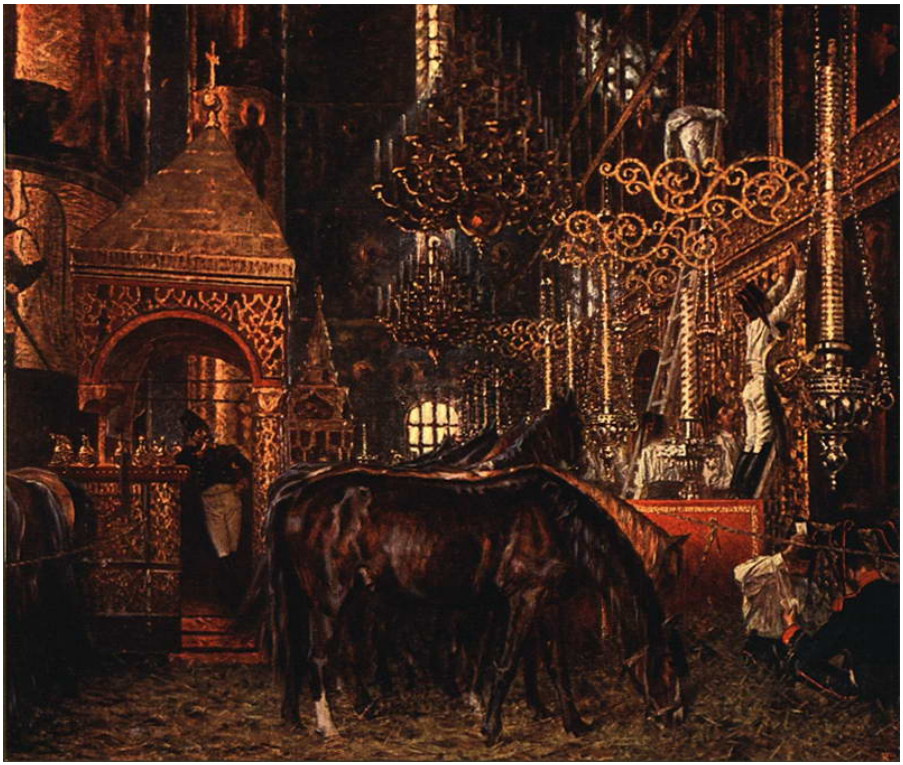
Все свидетельства современников сводятся к тому, что русские церкви по пути следования великой армии были обращены в конюшни. Над входом собора в Малоярославце красовалась надпись углем: «Ecurie du General Guilleminot» (Конюшня генерала Гильемино[272]).

«Церкви, — говорит Labaume, — как здания, страдавшие менее от пожаров, были обращены в казармы и конюшни. Таким образом, ржание лошадей и страшные солдатские кощунства заменили святые гармонические гимны, раздававшиеся под священными сводами».

R. Bourgeois коротко замечает: «Уцелевшие церкви были отданы под кавалерию».

Автор «Journal» замечает, что «церкви были очень богаты в Вязьме, за то же они и были разграблены армиею»…

Вокруг наружных стен Успенского собора стояли горны, в которых французы плавили ободранные ими оклады с образов и похищенные в храмах металлы. Количество их было записано мелом: «325 пуд. серебра и 18 пуд. золота».



В Успенском соборе

«Наглости всякого рода и ругательства, чинимые в церквах, столь безбожны, — говорит очевидец, — что перо не смеет их описывать: они превышают всякое воображение».

Престолы были всюду опрокинуты: на них ели и пили; иконы рубили на дрова, ставили как щиты для стрельбы. Все, кто мог и хотел, одевались в церковные ризы. В Чудове монастыре были лошади, в Благовещенском соборе валялось бездна бумаги, бутылок и бочек…

В Успенском соборе[273] «неприятель не только оборвал ризы со всех святых икон, не оставляя и верхних окладов со всеми их украшениями, но и самые местные и около передних столпов большие иконы, древностию своею доселе прославившиеся, похитил или истребил, оставляя одни пустые места. Три сосуда из повседневного употребления, два креста серебряные, подсвечники выносные и малые, лампады, большое паникадило[274], кадила, блюда, ковши, тоже всегда употребляемые, — также похитил. Не оставил никакой утвари, как-то евангелий, риз и проч. — все истребил или сжег, как свидетельствует найденный в соборе на полу сверток выжиги…»

Есть сведение, что Наполеон при себе приказывал обдирать

ризы с образов в Успенском соборе.

«Все было разграблено, разрушено в соборе, — говорит кн. Шаховской[275], первым вошедший в него по оставлении французами Москвы. — Рака св. митрополита Филиппа[276] не существовала, а мы, собрав обнаженные от одежды и самого тела остатки его, положили на голый престол придела.

Гробница над бывшими еще под спудом мощами митрополита Петра[277] была совершенно ободрана, крыша сорвана, могила раскопана… В соборе от самого купола, кроме принадлежащего к раке св. Ионы[278], не осталось ни лоскутка металла, ни ткани. Досчатые надгробия могил московских архипастырей были обнажены, но одно только из них изрублено, а именно патриарха Гермогена»[279]

……

«В Архангельском соборе грязнилось вытекшее из разбитых бочек вино (тут была устроена кухня для императора), была разбросана рухлядь из дворцов». В числе этой рухляди, очевидно в насмешку и поругание, поставлены были манекены и чучела из Оружейной палаты.

В Успенском же соборе Наполеон, пожелавший видеть архиерейскую службу, заставил священника Новинского монастыря Пылаева отслужить литургию в архиерейском облачении, за что наградил его потом камилавкой (!).

Между другими вещами был снят и увезен крест Ивана Великого 3 сажен вышиною, обитый серебряными вызолоченными листами, только за год перед тем перезолоченный с главою, что стоило 60 000 рублей.

Этим крестом Наполеон хотел украсить купол Дома Инвалидов, но при разгроме отступления крест, по одним сведениям, утопили в Семлевском озере[280], по другим — бросили за Вильною.

IV

В Кремле — пожар!

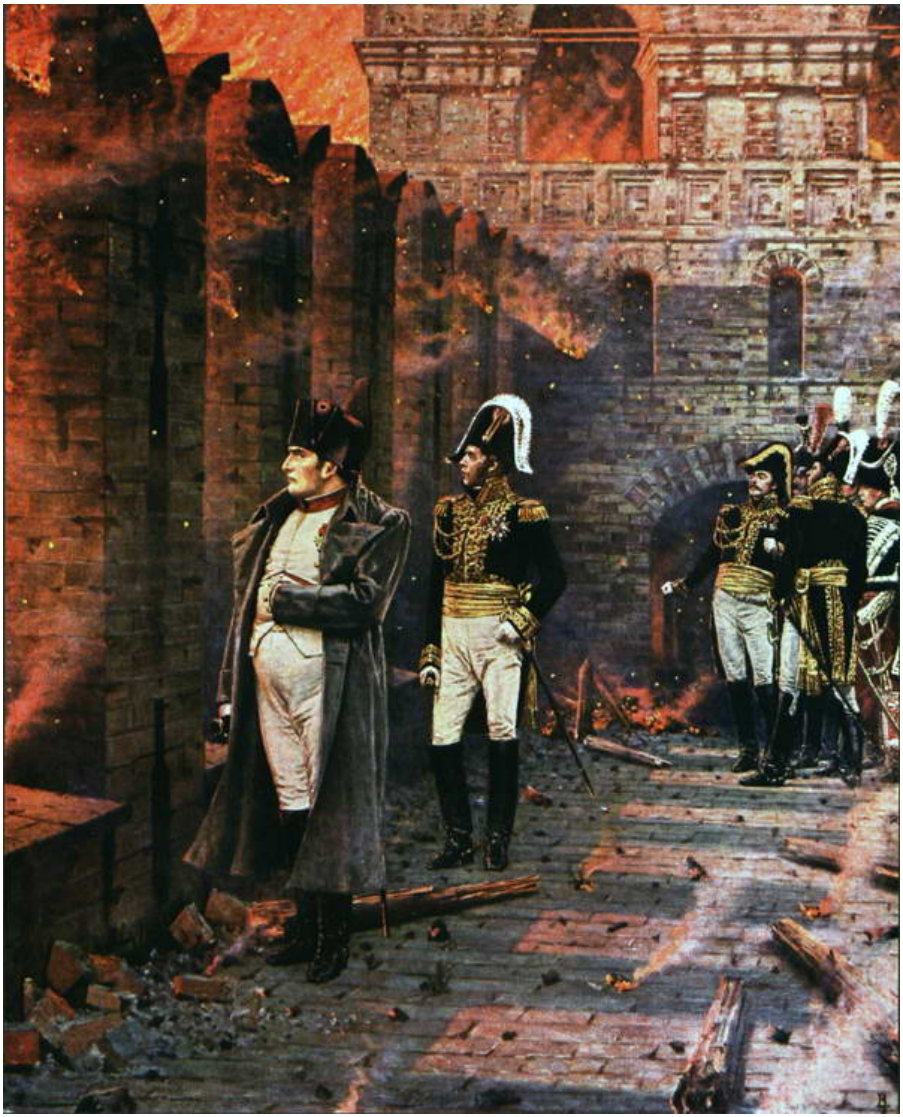
Пожары в Москве начались в первую же ночь по оставлении города нашими войсками. Когда Наполеон въехал в Кремль, уже сильно горели москательные и масляные лавки, Зарядье, Балчуг и занимался Гостиный двор на Красной площади.

Маршал Мортье[281] если не совсем потушил пожар, то

значительно ослабил силу огня, угрожавшего Кремлю. Но на следующий день пламя снова стало распространяться во все стороны с такой невероятной быстротой, что все Замоскворечье занялось. Четыре ночи, говорит очевидец, не зажигали свечей, было светло как в полдень!

Порывы северо-восточного ветра несколько раз снова обращали огонь к Кремлю, в который, как нарочно, были свезены подвижной пороховой магазин и все боевые снаряды молодой гвардии. Понятно, какая тревога стояла там!

Пожар Замоскворечья, расстилавшийся прямо перед дворцом, представлялся взволнованным огненным морем и производил поразительное впечатление: Наполеон нигде не находил себе места, быстрыми шагами перебегал он дворцовые комнаты; движения его обличали страшную тревогу… Он выходил для наблюдения на кремлевскую стену, но жар и головешки от замоскворецкого огня принудили его удалиться. Лицо его было красно, покрыто горячим потом.



В Кремле — пожар!

В своих бюллетенях Наполеон утверждал потом, что пожар Москвы был задуман и приготовлен Ростопчиным, но это совершенно неверно: так как половина оставшегося в Москве люда были сброд, бродяги, то не невозможно, что они старались о распространении пожаров, но при этом определенного плана сжечь Москву не было. Если, с одной стороны, многие русские держались того мнения, что лучше сжечь добро, чем уступить врагу, и действительно зажигали свои дома, то, с другой стороны, и неприятельские солдаты, ходившие для грабежа по домам с лучинами, огарками, факелами и зажигавшие на дворах костры,

очевидно, не принимали никаких предосторожностей; в таких условиях на ¾ деревянный город должен был сгореть — и он запылал.

Велик должен был быть ужас Наполеона при виде этого необыкновенного пожара: обратив все свои усилия на Москву и надеясь взятием ее поразить Россию в самое сердце, он с болью в душе следил за тем, как Москва превращается в груды камней и золы, которыми русские, конечно, уже не будут дорожить…

Ночью же в день вступления в Москву начался и грабеж города. Весть о том, что Москва полна богатств, которые расхищаются, с быстротой молнии облетела все лагери, и когда возвратились первые грабители с ношами вина, рома, сахара и разных дорогих вещей — сделалось невозможно удержать солдат: котлы остались без огня и кашеваров, посланные за водою и дровами не возвращались, убегали из патрулей. Добыча была так велика, что ею начали соблазняться сами офицеры, даже генералы…

Особенно свирепствовали немцы Рейнского союза[282] и поляки: с женщин срывали платки и шали, самые платья, вытаскивали часы, табакерки, деньги, вырывали из ушей серьги… Баварцы и виртембергцы первые стали вырывать и обыскивать мертвых на кладбищах. Они разбивали мраморные статуи и вазы в садах, вырывали сукно из экипажей, обдирали материи с мебели… Французы были сравнительно умеренны и временами являли смешные примеры соединения вежливости и своевольства: забравшись, например, по рассказу очевидца, в один дом, где лежала женщина в родах, они вошли в комнату на цыпочках, закрывая руками свет, и, перерыв все в комодах и ящиках, не взяли ничего принадлежащего больной, но начисто ограбили мужа ее и весь дом.

Наполеон же, решившись, наконец, покинуть Кремль, вышел из него тем же самым путем, которым вошел: от Каменного моста он пошел по Арбату, заблудился там и, едва не сгорев, выбрался к селу Хорошеву; переправившись через Москву-реку по плавучему мосту, мимо Ваганьковского кладбища, он дошел к вечеру до Петровского дворца.

V

Зарево Замоскворечья

На Красной площади, кроме рядов, горела гауптвахта и разные мелкие постройки, а Замоскворечье представляло настоящее огненное море. Зрелище было поразительное, — говорит очевидец, — в продолжении 4 суток по ночам было так же светло, как днем. Огненные стены улиц завершались огненным же куполом… Сгорело 14 000 домов.

Зарево Замоскворечья

VI

Возвращение из Петровского дворца

С 5/17 сентября пошел сильный дождь, который несколько утишил пожары, но не прекратил их, и когда Наполеон возвращался из Петровского дворца в Кремль, «к трону Московских царей», город не только дымился еще, но местами и пылал.

Бивуаки французских войск, окружавшие Петровский дворец, доходили до Тверских ворот. По словам очевидцев, генералы

стояли в зданиях фабрик, лошади — в аллеях. Повсюду горели большие костры, в которых огонь поддерживался рамами, дверями, мебелью и образами. Вокруг огней, на мокрой соломе, прикрытой досчатыми навесами, толпились солдаты, а офицеры, покрытые грязью и закоптелые от дыма, сидели в креслах или лежали на крытых богатыми материями диванах. Они кутали ноги в меха и восточные шали, а ели на серебряных блюдах — черную похлебку из конины, с золой и пеплом.

Возвращение из Петровского дворца

В городе кое-где виднелись уцелевшие остатки зданий и всюду едкая гарь, выходившая из груд обгорелых курившихся развалин, наполняла воздух. По большей части улиц трудно было пробираться из-за обгорелых обломков домов и выброшенных из них мебели и утвари.

Император встречал толпы солдат, обремененных добычею или гнавших перед собою русских, как вьючных животных, падавших под тяжелыми ношами.

Солдаты различных корпусов дрались между собою из-за добычи и не повиновались начальникам. Бóльшая часть солдат была пьяна…

Обыкновенно хладнокровно, с любопытством и удовольствием осматривавший поля битвы, усеянные трупами, Наполеон вряд ли испытывал то же чувство, когда смотрел на сожженную, ограбленную Москву и на сцены, в ней происходившие. Он тотчас принял участие в ужасном положении иностранцев, особенно французов, жавшихся около бивуаков, но

относительно оборванных, голодных, наподобие теней бродивших русских только распорядился немедленно нарядить военный суд, чтобы без жалости расстреливать заподозренных в поджигательстве, т. е. почти всех выходивших из своих ям и погребов жителей.

«Однажды я видела, — говорит одна свидетельница, — как народ сбегался на площадь, и французов много шло… Злодеи притащили наших вешать: поджигателей, вишь, поймали! Одного я узнала: из Корсаковского дома дворовый слепой старик. Сбыточно ли было ему поджигать? Уж одна нога в гробу! Хватали кто под руку попался и кричали, что зажигатели. Как накинули им веревки на шею — взмолились они, сердечные. Многие из наших даже заплакали, а у злодеев не дрогнула рука. Повесили их, а которых расстреляли для примера, чтобы другие на них казнились!»

В покоренной Москве. Поджигатели, или расстрел в Кремле

Со следующего же дня по возвращении Наполеона в Кремлевский дворец сделано было распоряжение прекратить грабеж, и это было повторено несколько раз, но безуспешно. «Император, — говорилось в приказе, — с неудовольствием усматривает, что, несмотря на строгое повеление, отданное вчера,

грабеж производится сегодня в тех же размерах…»

«С завтрашнего 18/30 сентября, — говорилось в одном из следующих приказов, — солдат, которые будут уличены в грабеже, предадут военному суду по всей строгости законов…»

Но слова Наполеона сделались уже бессильны: грабеж все-таки продолжался, и скоро вся французская армия обратилась в тяжело нагруженную добычею, нестройную, недисциплинированную орду…

VII

В Городне — пробиваться или отступать?

Императорская квартира была в Боровске, когда Наполеон получил радостное известие: «Французская дивизия заняла Малоярославец без боя[283], т. е. предупредила русских на пути в Калугу».

Весь вечер император верхом осматривал местность влево от дороги, откуда ждал появления русской армии, но ее не было, и ночь эта была сладка ему.

Однако на другой день, 24 октября, пришло донесение: «Русские подошли, разбили и прогнали из города французскую дивизию, на помощь которой должен был выступить весь корпус вице-короля Евгения; идет жаркая битва за обладание Малоярославцем».

Наполеон бросился на одну из высот и, сильно взволнованный, стал прислушиваться. Неужели эти скифы предупредили его? Неужели старая лисица Кутузов перехитрил? Неужели его движение запоздало, не удалось и он, Наполеон, из-за своей медленности оказывается виновником этой неудачи?

Если бы не остановил он Евгения на целый день в Фоминском, тот дошел бы ведь до Малоярославца, а следовательно, и до Калуги раньше своего противника, и план был бы выполнен… Непростительно было не принять всех мер к быстрейшему переходу; надобно было поджечь все те ящики и повозки, которые не везли самого необходимого… Надобно было скорее бросить несколько орудий, чем замедлять из-за них движение… Нужно было начать с уменьшения обоза маршалов и его собственного… Многое нужно было сделать не так, но теперь уже поздно…

Все благоприятствовало ему: и погода замечательно хорошая,

и состояние армии, вышедшей из Москвы оправившеюся, отдохнувшею, и самые ошибки его противника… Все рушится теперь из-за его неумелости! Это ужасно!

Он все прислушивается: шум увеличивается, слышен залп за залпом.

«Да, это большое сражение», — говорит он, хорошо понимая, что теперь дело идет уже не о славе, а о том, чтобы удержаться и не погубить армию, не побежать.

Когда выстрелы начали утихать, он вошел в одну из изб деревни Городня, в нескольких верстах от Малоярославца, чтобы, посоветовавшись с маршалами, решить, что предпринять.

Весь вечер он выслушивал донесения, сводившиеся к тому, что поле битвы осталось за французами, но что русские заняли за городом твердую позицию, примыкающую к лесам, и спешно укрепляют ее.

Доносили также о том, что, по-видимому, русские намерены обойти правое крыло армии по Медынской дороге, и, следовательно, придется или отчаянно пробиваться, или отступать.

В 11 часов вошел в избу маршал Бессиер[284], которого Наполеон посылал осматривать расположение неприятельских сил, и объявил, что «позиции русских неприступны!».

«О, боже мой! — воскликнул Наполеон, скрестив руки, — да хорошо ли вы их осмотрели? Уверены ли вы, ручаетесь ли за то, что говорите?»

Тот повторяет сказанное и утверждает, что на этой позиции достаточно отряда в 300 гренадер, чтобы задержать целую армию.

Бессиер, а за ним и некоторые другие генералы решаются дать совет *отступить*!..

Император выслушивает разные мнения. Он спрашивает графа Лобо[285]: «А ваше мнение?»

«Мое мнение, ваше величество, — отступать кратчайшим путем и как можно скорее — чем скорее, тем лучше…»

Наполеон, скрестив руки на груди, опустил голову, да так и остался недвижим, погруженный в печальные мысли: нет сомнения, его предупредили, перехитрили, — давно задуманное движение не удалось, и некого винить, кроме себя самого: еще вчера ведь дорога в Малоярославец была свободна, а он не занял ее, промедлил… не счастие изменило ему, а он изменил своему счастию!

И образ Карла XII, так часто поминавшегося в эту кампанию, ошибку которого Наполеон твердо решился не повторять, невольно представился его воображению.

Но как же это могло случиться?

И, как бывают в таких случаях проверки поступков совестью, вся история дела, с самого занятия Москвы, быстро прошла перед ним.

Он вспомнил свой наказ маршалу Мортье, назначенному военным губернатором города, не позволять ни жечь, ни грабить. «Вы мне отвечаете за это головою! Защищайте Москву от всего и против всего!»

Затем тоскливая ночь, в продолжение которой ходили зловещие слухи о поджогах. Он был расстроен всем этим и не мог найти себе покоя. Ежеминутно призывал своих людей и заставлял повторять все слухи; он еще надеялся, что авось они не сбудутся, когда в 2 часа пополуночи пожар вспыхнул!

Тогда он стал посылать приказание за приказанием, потом сам бросился к месту пожара, бранился, угрожал. Огонь стал как будто утихать, и он возвратился в Кремль несколько успокоенный; все-таки он видел себя обладателем дворца московских царей…

Посмотрим, — говорил он, — что предпримут теперь русские! Если они еще не захотят вступить в переговоры, то надобно взять терпением и настойчивостью: зимние квартиры теперь у нас есть, и мы покажем миру зрелище армии, мирно зимующей среди целого неприятельского народа, как судно между льдов! С начала весны придется возобновить войну. Впрочем, Александр не доведет дело до этой крайности, — мы сговоримся, и он заключит мир.

По-видимому, Наполеон все предвидел и предугадал: кровопролитную битву перед Москвой, долгое пребывание в самой Москве, суровую зиму, даже неудачи, но со столицею в руках и двумястами пятьюдесятью тысяч солдат, оставленных у себя в тылу, в резерве, он был уверен, что застраховался от всех случайностей.

Но вышло то, чего он не предвидел: громадный невообразимый пожар разлился по городу[286]. Казалось, сама земля разверзлась, чтобы выкинуть адское пламя, поднявшееся над столицею. Даже теперь жутко было вспомнить, как, проснувшись при двойном свете утра и этого огня, он в первую минуту рассердился, захотел во что бы то ни стало утишить пожары, однако скоро понял, что это невозможно — убедился, что чья-то решимость оказалась тверже его собственной.

Это завоевание, для которого он всем пожертвовал, которое, как какую-то тень, уже догонял, схватывал, ускользало теперь, исчезало в вихрях огня и дыма, в треске и грохоте валившихся зданий!

Наполеон вспомнил, как, охваченный волнением, он не знал,

за что взяться, что предпринять; ежеминутно садился, вставал, снова садился; хватался за какую-нибудь спешную работу и опять, бросивши ее, подходил к окнам, чтобы следить за пожаром: «Так, это они! Скифы! Столько чудесных построек, дворцов! Что за решимость, что за люди!»

Оконные стекла, у которых он стоял, уже жгли лицо, и люди, размещенные на крышах дворца, едва успевали очищать эти крыши от сыпавшихся головешек. Шел слух, что под Кремль подведены мины, и многие слуги, даже придворные офицеры, потеряли голову со страха.

Наполеон судорожно переходил с места на место, останавливался у каждого окна и тоскливо следил за тем, как огонь отнимал у него блестящее завоевание и, захватывая все проходы в Кремль, держал его точно в плену, уничтожал окружающие постройки и все более и более стягивал пылающее кольцо. Император уже стал дышать дымом и пеплом!

Неаполитанский король и принц Евгений прибегают к нему и вместе с Бертье на коленях умоляют уйти, но он остается.

Наконец, ему доносят: «Огонь в Кремле, схвачен поджигатель!»… Тогда он решается, быстро сходит к знаменитому Стрелецкому крыльцу и приказывает везти себя в загородный Петровский дворец.

Нужно торопиться: каждую минуту пламя около него усиливается… Он спускается к реке, откуда узкая извилистая улица идет к выходу из этого ада.

Как есть, пеший, он бросается в страшный огненный проход и идет среди треска этого бесконечного костра, среди грохота рушащихся сводов, падающих балок и раскаленных листов железа с крыш — такие груды всего лежали на пути, что трудно было двигаться. Пламя, уничтожавшее здания, мимо которых он проходил, возвышаясь с обеих сторон улицы, сгибалось над головою в настоящую огненную арку; он шел по огненной земле, под огненным небом, между огненными стенами!

Все пронизывающий жар жег руки, которыми приходилось закрываться. Удушливый воздух, искры, головни и громадные языки пламени захватывали ему дыхание, сухое, прерывистое.

Сквозь пожар

В этом невыразимо отчаянном положении, когда только одна быстрота могла спасти, проводник, видимо заблудившийся, остановился; тут бы, вероятно, и окончилась карьера Наполеона, если бы солдаты, мародеры первого корпуса, не узнали своего императора, не подбежали бы на выручку и не вывели его на свободное, уже выгоревшее место.

Даже теперь при воспоминании об этих тяжелых минутах он невольно содрогнулся и, несмотря на новую надвигающуюся грозу, на множество устремленных на него глаз, ждавших его решения, его сло́ва, не мог оторваться от нити воспоминаний…

Невольно приходило ему на память, как на другой день, рано утром, взглянув на Москву из Петровского дворца, он увидел, что пожар еще усилился и весь город представлял уже один необъятный столб огня и дыма. «Это сулит нам большие, большие беды!» — подумал он тогда.

Страшное усилие, сделанное для того, чтобы захватить Москву, потребовало всех наличных средств; Москва была окончанием всех замыслов, целью всех стремлений и надежд, и эта Москва теперь пропадала, улетучивалась. Что предпринять? Он недоумевал, колебался. Он, который сообщал свои планы самым близким людям только для беспрекословного исполнения, принужден был теперь советоваться.

Наполеон предлагал маршалам идти на Петербург, но они

отвечали, что время года слишком позднее, дороги дурны, продовольствия нет, поэтому предпринять этот поход немыслимо. Уговоренный, но не убежденный, он ни на что не решался, колебался, мучился…

Он так рассчитывал на мир в Москве, что даже не заготовил настоящих зимних квартир, и теперь не мог решиться на новую битву, так как она открыла бы всю операционную линию, покрытую больными, ранеными, отсталыми, загроможденную обозами. Самое же главное: он не мог расстаться с надеждой, для которой столько пожертвовал, что письмо, посланное им Александру, уже прошло через русские аванпосты и, может быть, через какую-нибудь неделю он получит желанный ответ на его предложение мира и дружбы.

Его репутация, его обаяние были еще не тронуты тогда, — как было не верить в возможность хорошего исхода! — тогда он еще держался, не отступал, не бежал, как приходилось делать теперь!

Под тяжестью воспоминаний обо всем этом Наполеон до того смутился духом, что от него долго не могли добиться ни одного слова; только кивками головы отвечал он на самые настойчивые напоминания, требования приказаний и распоряжений.

Он лег в постель, он не мог сомкнуть глаз и всю ночь то вставал, то снова ложился, призывал, расспрашивал, советовался.

Только что взошло солнце, он сел на лошадь и поехал к Малоярославцу. Четыре эскадрона кавалерии, составлявшие его обыкновенный конвой, не будучи вовремя предупреждены, запоздали выездом. Дорога была загромождена больничными фурами, зарядными ящиками, каретами, колясками и всевозможными повозками…

Вдруг влево показались сначала несколько отдаленных групп, потом целые массы кавалерии, от которой с криком без оглядки бросились бежать по дороге женщины и разный нехрабрый люд, наводя панику на всех встречных…

То были казаки, налетевшие так быстро, что император, не понявший, в чем дело, остановился в нерешительности. Генерал Рапп[287] быстро схватил его лошадь под уздцы и, повернув назад, закричал: «Спасайтесь! это они!» Наполеон успел ускакать, но лошадь Раппа получила такой удар казацкой пикой, что повалилась вместе с генералом. Подоспевшие эскадроны конвоя выручили императора со свитою; казаки ускакали так же быстро, как и налетели; занявшись грабежом, они не разглядели действительно богатой добычи, попавшейся было к ним в руки.

Бравый Рапп рассказывал после, что, увидев его окровавленную лошадь, Наполеон спросил, не ранен ли он, и на ответ: «Не ранен, а только ушибся», — принялся хохотать. «Признаюсь, — говорил генерал, — мне было не до смеха!»

Поле битвы под Малоярославцем оказалось поистине ужасным. Город, до 11 раз переходивший из рук в руки, был стерт с лица земли: различить улицы можно было только по рядам трупов, их устилавших.

На развалинах обгоревшего собора видна еще была надпись: «Конюшня генерала Гильемино».

Поздравив вице-короля с блистательным делом и лично убедившись в том, что русские с лихорадочною поспешностью работали над укреплением своей позиции Наполеон воротился в

Городненскую избу, куда за ним последовали Мюрат, принц Евгений, Бертье, Даву и Бессиер; таким образом, в этой маленькой, темной, грязной избенке собрались один император, два короля, несколько герцогов-маршалов для решения участи великой армии, а с нею и Европы.

Посредине избы на лавке сидел Мюрат, около него стояли маршалы. В углу за столом, под образами — Наполеон, подпирая руками голову, скрывая страшную тревогу и нерешительность, написанные на лице. На столе — походная чернильница, карта и знаменитая шляпа с перьями Мюрата; на скамьях — портфель и свертки карт; на полу — разорванные конверты, обрывки донесений, докладов…

Тяжелое молчание воцарилось в избе. Предстояло решить безвыходную задачу: как идти к Смоленску, каким путем? По Калужской ли дороге, пролегавшей еще нетронутыми местами, полными всяких запасов, но защищенными всею русскою армией — в чем теперь уже не было сомнения, — или через Можайск, на Вязьму, по старому, выжженному, зараженному пути?

Долго длилось молчание. Наполеон давно уже перебрал в уме все шансы на успех в том и другом случае и не мог прийти ни к какому заключению. Глаза его блуждали по разложенной перед ним карте и сотый раз останавливались на главном пункте столкновения обеих армий, но мысли невольно уносились далеко, к недавно пережитому, к Москве, к Александру и своим попыткам заключить с ним мир…

Вспоминались унижения, которые ему пришлось испытать с этими попытками посылок Александру писем с предложениями дружбы, — писем, оставшихся без ответа…

Под впечатлением этой обиды он снова предлагал своим маршалам сжечь остатки Москвы и идти на Петербург; он старался воспламенить их воображение перспективой величайшего военного подвига. «Подумайте только, какою славою мы покроемся, — говорил он, — и как возвеличит нас мир, когда узнает, что в три месяца мы покорили обе северные столицы!» Но маршалы-герцоги снова представили ему, что ни время года, ни состояние дорог, ни запасы провианта не дозволяют предпринять этого тяжелого похода: «Зачем идти навстречу зиме, которая и так уже близка! — говорили они, — что будет с ранеными? Придется бросать их на произвол Кутузова, который, конечно, пойдет следом; придется атаковать и защищаться в одно и то же время, побеждать и бежать!»

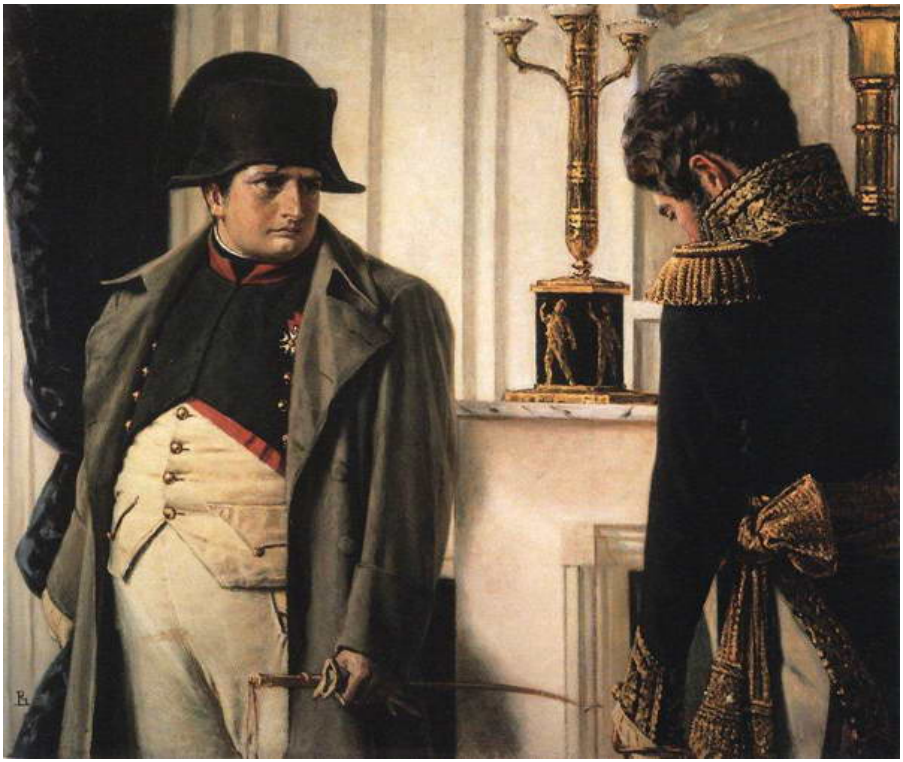
Под влиянием этих унылых, обескураженных ответов он взялся снова за первое средство: решился еще раз испытать силу своего обаяния на Александра и… только еще раз испытал

унижение! Он призвал к себе Коленкура[288], который пользовался когда-то дружбою Александра и теперь в походе был отдален за открытое, настойчивое неодобрение всей этой кампании: ему он решился поручить добиться мира. Гордость, при сознании своей неправоты, долго не позволяла императору прервать молчание и объявить о цели поручений. Наконец, он решился высказаться: он идет на Петербург, он знает, что разорение этого города огорчит Коленкура, долго жившего в нем послом… это будет большим несчастием, так как поставит в крайнее положение императора Александра, характер которого он уважает… Для предупреждения этого он и думает послать в Петербург его, Коленкура… что он скажет?

Упрямый и далеко не куртизан, хотя и бывший посол, Коленкур прямо объявил, что все это совершенно бесполезно, так как Александр не примет никаких предложений и не заключит мира, пока русская земля не будет очищена; что Россия, особенно в это время года, понимает все свои выгоды и все невыгоды неприятеля, что такая попытка принесет скорее вред, чем пользу, так как выкажет стесненное положение Наполеона и всю необходимость для него мира. В этих видах чем значительнее будет лицо, посылаемое для переговоров, тем яснее выкажется беспокойство. Он, Коленкур, ничего не добьется уже по одному тому, что с этим убеждением поедет…

«Хорошо, я пошлю Лористона», — с досадою прервал император.

Но и Лористон отказывался, советовал вместо всяких переговоров, не медля нимало, начать отступление, и императору пришлось настаивать, требовать, чтобы он ехал с письмом к Кутузову, просил бы пропуска в Петербург.



Наполеон и маршал Лористон. «Мир во что бы то ни стало!»

Неприятно было вспомнить, как Кутузов и его генералы сумели ловко обмануть Лористона своими любезностями, лестью и желанием будто бы скорейшего окончания этой ужасной войны, как сам он поддался обману и, созвав своих приближенных, объявил о предстоящем мире! «Имейте терпение ждать еще две недели, — говорил он им, — и вы убедитесь, что я один знаю натуру русских и Александра — увидите, что, когда в Петербурге получится мое письмо, город будет иллюминован!»

Тяжелые, истинно унизительные воспоминания! Зачем было так хвастать даже и своим близким?!

Пока Наполеон все это передумывал, маршалы перешептывались между собою, наблюдая и не смея беспокоить склонившегося над картой императора, еще непобедимого, еще непобежденного, но уже, видимо, находившегося в смертельном страхе за судьбу своей армии, своего имени, династии, наконец, за судьбу Франции!

Наполеон вспомнил еще свои грустные прогулки по обширному кладбищу, которое представляла тогда Москва. Эти базары награбленных вещей, маскарад костюмов забывшей

всякую дисциплину армии, ежедневные смотры со щедрыми наградами, очевидно, столько же радовавшими, сколько и устрашавшими тех, кто получал их.

Вспоминал бессонные ночи, в продолжение которых он открывал свою душу одному из приближенных, графу Дарю[289], и меж четырех глаз откровенно сознавался в безвыходности положения: у него хватило проницательности вскоре после поездки Лористона распознать истинное положение дел.

Наполеон сознавался, что в этой дикой стране он не покорил ни одного человека и владел только тем клочком земли, который в данную минуту был у него под ногами, что он чувствовал себя просто поглощенным громадными необъятными пространствами России… Сознавался, что он медлит начать отступление, потому что не решается показать Европе, будто он бежит из России — боится нанести первый удар обаянию своей непобедимости!

Теперь ему было ясно, что здесь, как и в Испании, неприложимо было постоянное правило его политики: никогда не отступать, никогда не сознаваться открыто в сделанной ошибке, как бы велика она ни была, а настойчиво идти далее.

Он понимал, что ему нечего рассчитывать на Пруссию; видел, что и на Австрию нельзя полагаться. Понял, наконец, что Кутузов прямо обманывает его, и все-таки ни на что не решился, так как не находил никакой возможности ни оставаться, ни отступать, ни идти вперед и драться с надеждою на успех!

За время этих сомнений и колебаний он старался и себя, и других мирить с совершившимся: «Потеря Москвы, конечно, была несчастием, — рассуждал он, — но, с другой стороны, она была и событием выгодным, так как, владея Москвой, трудно было бы поддерживать порядок в городе с 300 000 фанатического населения и спать в Кремле спокойно. Правда, от Москвы остались одни развалины, но зато, живя в них, нечего было тревожиться. Конечно, пропадают миллионы контрибуции, но сколько же миллиардов теряет Россия: ее торговля разорена на целое столетие, и развитие всей нации отодвинуто на доброе полстолетие — результат немалый! Когда возбуждение русских пройдет и настанет время рассудка, они ужаснутся! Без сомнения, такой удар поколеблет самый трон Александра и заставит его просить мира!»

Теперь, ввиду совершившегося, — полученного толчка под Тарутиным, оставления Москвы и безвыходной обстановки перед Малоярославцем, впервые он понял, что нужно, наконец, не рассуждая и не обманывая более себя, отступать, отступать и отступать!

Неловкое тягостное молчание было прервано Мюратом, давно

уже проявлявшим знаки нетерпения. «Пусть, — сказал он, — укоряют меня сколько хотят в неосторожности, но так как стоять на месте нельзя, а идти назад — опасно, то остается одно: атаковать! Что же, что русские засели около дороги, в лесах и за укреплениями, пусть ему дадут остатки кавалерии — он берется прорвать, прорезать неприятельские ряды и пробиться в Калугу».

Но Наполеон сразу осадил этот пыл замечанием, что довольно сделано для славы, теперь надобно думать только о том, чтобы спасти остатки армии.

Бессиер, чувствуя за собою могущественную поддержку, заметил, что для такого отчаянного усилия, какое предлагает Мюрат, в обессилевших остатках кавалерии не хватит удали: войска видят ведь недостаток перевязочных средств и понимают, что в этих условиях всякая рана отзовется смертью или пленом… Войска пойдут без энергии! и куда пойдут? На позиции прямо неприступные! На какого неприятеля? Довольно взглянуть на вчерашнее поле битвы, чтобы убедиться в храбрости русских: только что обученные солдаты их прямо лезут на смерть… Бессиер кончил свою речь советом отступать, с чем император, судя по его молчанию, не прочь был согласиться.

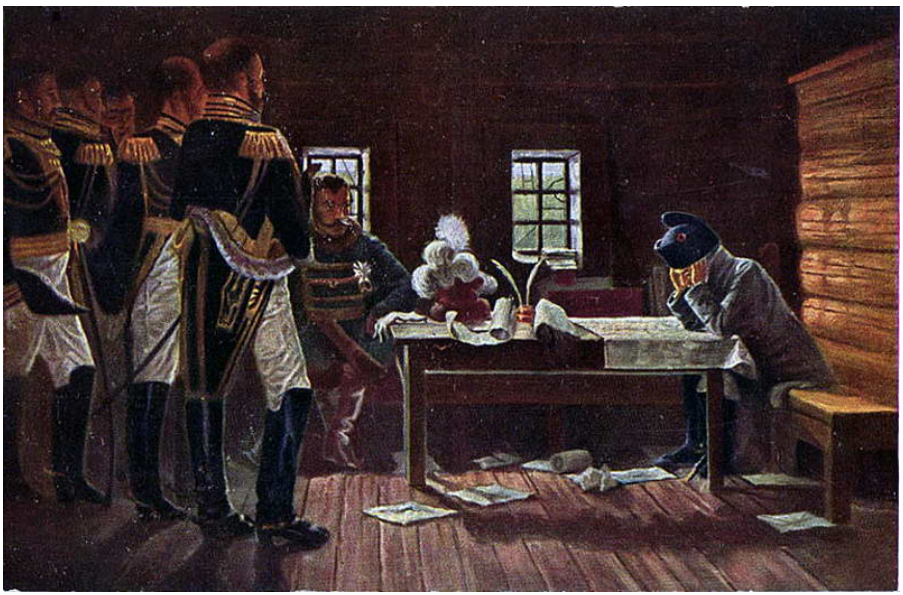
Тогда маршал Даву объявляет, что уж если решено отступать, а не наступать, то пусть идут к Смоленску через Медынь…

Но Мюрат с живостью перебивает и, по старой ли непримиримой ненависти к маршалу или потому, что его собственный план отвергнут, спрашивает: не задался ли Даву целью вконец погубить армию, советуя тащить ее со всеми тяжестями по проселкам, без проводников, имея Кутузова на фланге? Уж не он ли, маршал Даву, проведет армию и защитит ее? Да и к чему это, когда для отступления у них готовый путь на Боровск и Можайск? Дорогою этою они шли, она им хорошо известна, на ней нельзя заблудиться, да и провиант должен быть теперь по ней везде заготовлен.

Едва сдерживая гнев, Даву отвечает, что он предлагает отступать по пути еще не тронутому, полному всякого добра, через невыжженные селения, в которых солдаты найдут закрытия от стужи и непогоды, вдобавок по пути кратчайшему, так что опасности быть отрезанным от Смоленска не будет. Какой же путь предлагает вместо него Мюрат? Пустыню, песок с пеплом, на котором всё заняли и загромоздили транспорты с ранеными, где ничего не встретишь, кроме крови и развалин, мертвечины, заразы и голода! Он, Даву, предлагает этот путь, потому что считает себя обязанным дать совет императору, спрашивающему его об этом; император, если не желает слушать, может заставить его замолчать; но уж, конечно, не заставит его молчать Мюрат,

хоть и государь, но не его государь и который наверное никогда им не будет!

Неизвестно, до чего дошла бы ссора, если бы Бессиер и Бертье не уговорили и не разняли ссорившихся. Император сидел все это время неподвижно, в той же позе, наклонившись над картою и, по-видимому, не обращая внимания на этот крик и шум; в сущности, он все слышал, хотя мысли его и продолжали носиться в прошлом.



В Гродне — пробиваться или отступать?

Досадно, невыразимо досадно было ему то, что столько времени потрачено в Москве даром. Даже когда выпал первый снег, он, несколько встряхнувшись от своей летаргии, все еще медлил. Думал ли он действительно устрашить неприятеля, показывая вид, что хочет зимовать в Кремле? И эти затеи укрепить Кремль, втащивши 300 орудий на его стены, открыть театр, выписать из Парижа актеров и т. д.?

И чем он занимался? По целым часам сидел, полулежал с книжкой нового романа в руках или с листком новых, в честь его сложенных в Париже стихов[290], о достоинствах которых подолгу рассуждал с приближенными… Целые три дня писал устав Comedie Francaise, засиживался за обеденным столом, — чего прежде никогда не бывало, — как бы ища возможности забыться, отрешиться от неотвязных мыслей, забегавших вперед, искавших разрешения… Он опустился и еще потолстел за этот ужасный месяц вынужденного бездействия! Как он ни скрывал свое

смущение ото всех, приближенные видели страшную борьбу, в нем происходившую; недаром по утрам, на выходах, он чувствовал, как пронизывали его их пытливые взгляды, замечавшие бледность, усталость, следы бессонных ночей, отрывочную резкость его речи, часто переходившую в нетерпеливые выходки, даже брань… Наконец, раз уже решившись, как он выразился, «приблизиться к своим зимним квартирам» или попросту уйти из Москвы и России, он опять-таки медлил: шел тихо, жалея обозов и награбленного солдатами добра, щадя свою артиллерию…

Теперь нечего больше рассуждать, надобно действовать, т. е. бежать и бежать…

Он поднял голову, оглядел смущенные лица своих старых боевых товарищей и медленно произнес: «Хорошо, господа, я распоряжусь…»

И он решился отступить, повести армию по старому пути, как наиболее удалявшему его от русской армии, но это решение обошлось нелегко: с ним сделался продолжительный обморок…

На дороге у бивуачного огня Наполеон продиктовал начальнику штаба приказ отступления: «Мы шли, — сказано было в этом приказе, — чтобы атаковать неприятеля… но Кутузов отступил перед нами… и император решил повернуть назад».

VIII

На этапе — дурные вести из Франции

На одном из переходов, когда русская зима заявила о себе снежной бурей, к императору быстро подошел граф Дарю, и цепь часовых медленно окружила их. Эта таинственность возбудила в лицах главной квартиры не только любопытство, но и беспокойство за общую судьбу.

Эстафета, первая за шесть дней, принесла известие о заговоре Маллэ[291], задуманном в самом Париже, в тюрьме, темной личностью, малоизвестным генералом. Единственными серьезными помощниками заговорщика в этом деле были известие о гибели великой армии и поддельный приказ об аресте министра, префекта полиции и коменданта города.

Все задуманное наполовину исполнилось, благодаря хорошо направленному толчку, с одной стороны, неведению, общей апатии и удивлению — с другой.

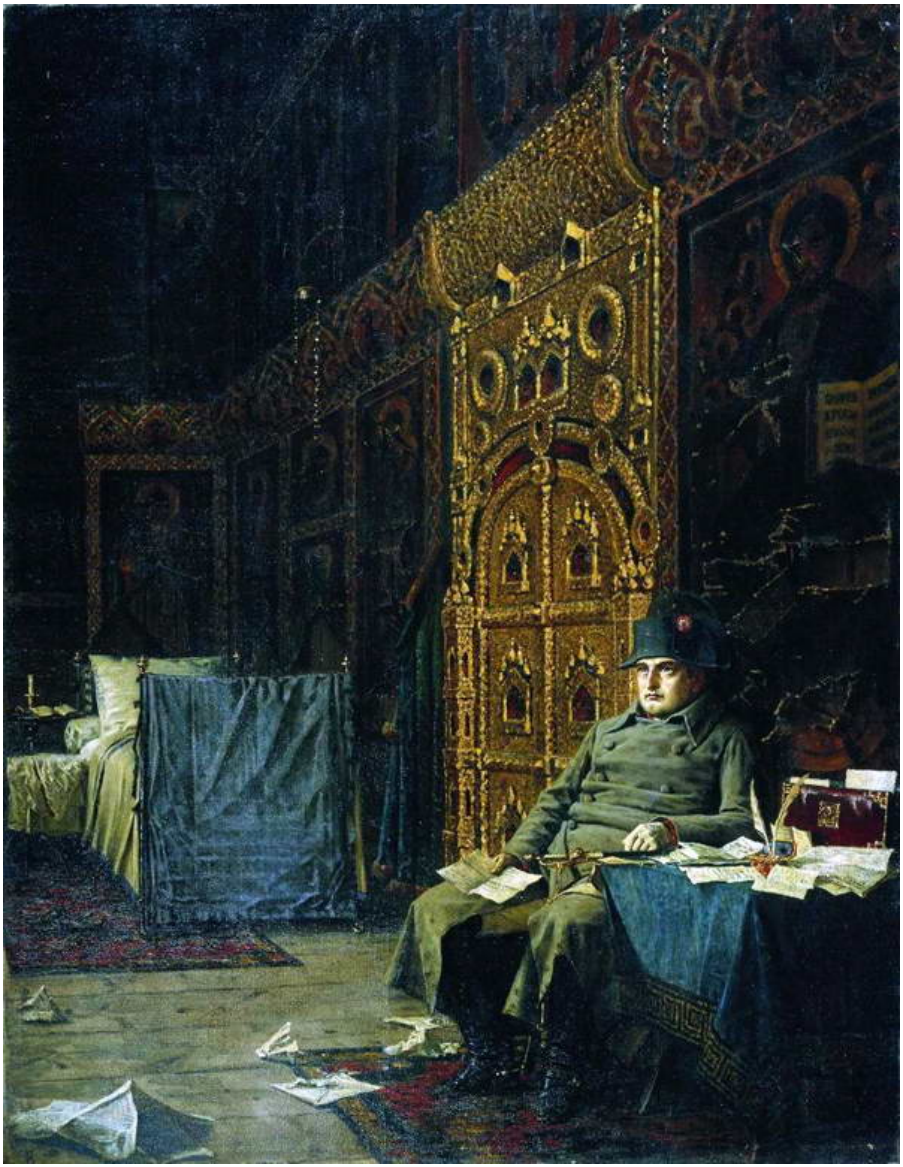
Император узнал сразу и о преступлении, и о казни преступников и сказал, обращаясь к Дарю: «Ну что! Хороши бы мы были, если бы остались зимовать в Москве!» — мера, которую Дарю рекомендовал, будучи в Кремле.

Наполеон не показал перед всеми ни беспокойства, ни негодования, но они с лихвою вылились наружу, когда он остался с близкими ему лицами; тут он разразился удивлением, досадой и гневом.

Еще тяжелее сделалось ему, когда он остался наедине с самим собою, с мыслями, давно уже не дававшими ему покоя. Что скажет Европа? Как она порадуется недостатку стойкости его хваленых новых учреждений и недостатку гражданского мужества лиц, составлявших опору государства!

Неужели эра революций и переворотов еще не закончилась во Франции, неужели его родство с цесарским домом, для которого он принес столько жертв, считается ни во что? Неужели его сын, надежда, опора государства, считается настолько несерьезным, что мысль о нем даже не приходит никому в голову в опасную и решительную минуту?..

Главная квартира расположилась в этот день близ почтовой станции, и император занял маленькую сельскую церковь, обнесенную оградой. Походная кровать с принадлежностями туалета плохо гармонировала с убранством старого храма, позолоченными славянскими орнаментами и ликами Христа, Богоматери и Святых, угрюмо, укоризненно смотревших на необычную для святого места обстановку, бесцеремонно расположившегося между ними пришельца. Образ Христа, как и все другие, был порублен, изорван и всячески обруган прошедшим здесь солдатством; лишь уцелевший глаз святого лика как бы изрекал приговор всей сцене…



На этапе — дурные вести из Франции

День быстро склонялся к вечеру; многие из старших начальников армии ожидали возможности войти к императору, но не смели сделать этого без зова; кипы нужных бумаг, лежавших на столе, ждали рассмотрения и решения, но он неподвижно сидел, не выпуская из рук листа эстафеты, погруженный в тяжелую неисходную думу…

Очевидно, рассуждал он, во Франции не хотят меня больше — ну что ж! пусть выберут другого; посмотрим, лучше ли он распорядится…

Но как мог он сам дойти до этого положения?

Что сделалось с Александром? Что довело этого добродушного человека до такого озлобления?

Правда, Нарбон[292] уже в Дрездене, по приезде из Вильны, говорил, что царь без хвастовства, но и без слабости остается непоколебимым в принятом решении; но все-таки нельзя было ожидать ненависти, сказавшейся в прокламациях и манифестах Александра.

Уже с начала похода приходилось скрывать от армии эти русские манифесты: так они были полны самых злых, ядовитых обвинений, направленных лично против него, Наполеона. Приходилось обманывать солдат, представлять русскую армию деморализованною, готовою разбежаться, и русского императора то убитым своими недовольными подданными, то беглецом, вымаливающим у Сената помощь и прощение за свое бегство… А между тем чего бы он не дал, чтобы войти опять в прямые, непосредственные сношения с этим беглецом! И в Дрездене, и в Витебске, и даже в Смоленске он ждал какого-нибудь, хоть самого ничтожного, сообщения от своего противника. Как раскаивался он теперь в том, что так высокомерно отнесся к последней мирной попытке Александра — присылке Балашова[293], важности которой он не понял: очевидно, это были последние слова мира и дружбы перед великим смертельным разрывом, после которого русский император наложил молчание на свои уста: не только не заговаривал более, но и не отвечал.

При невозможности начать переговоры лично Наполеон закидывал удочку через Бертье, который писал Барклаю-де-Толли: «Император поручил мне просить Вас засвидетельствовать его почтение императору Александру. Скажите ему, что ни превратности войны и ни что другое не в состоянии уменьшить чувства дружбы, которое он к нему питает». Вспомнилось потом, как он опять пробовал счастия в Москве, через бедного старика Тутолмина, не помнившего себя от страха во время аудиенции, на которую его притащили. Он потратил даром время на красноречие, втолковывая этому чиновнику, что мир легко будет заключен, если между ним и Александром не будет интриг, о чем и просил намекнуть в своем донесении; бедный старик, конечно, обещал все возможное и невозможное, чтобы только поскорее улизнуть от приливов императорского гнева, против воли выливавшегося во время разговора.

Еще неприятнее было вспоминать попытку возложить мирную миссию на Яковлева[294], русского барина, захваченного на выезде из Москвы. Целых два часа он объяснял свои виды и намерения этому смешному господину, обкраденному солдатами и

представшему перед ним во фраке своего камердинера. Правда, импровизированный посол дал слово лично доставить письмо своему государю, но ведь и он со страха и желания урваться из-под ареста давал, вероятно, обещания без надежды их исполнить.

А жаль! Доводы Наполеона были неотразимы, и услышь их только русский император, он сдался бы на силу их справедливости и искренности. «Пусть Александр только изъявит желание вести переговоры, — говорил он, — я готов его выслушать. Я подпишу мир в Москве, как я подписывал его в Вене, Берлине… Не затем же я пришел сюда, чтобы остаться. И не следовало бы мне здесь быть, и я не был бы здесь, если бы не принудили меня к тому. Поле битвы, на котором война должна была решиться, было в Литве. Зачем было переносить его в глубь страны?

Если бы Александр сказал хоть одно слово, я остановился бы у ворот Москвы, поставил бы войска мои бивуаком, не доходя предместьев, и объявил бы Москву вольным городом! Этого слова я дожидался несколько часов и, признаюсь, желал его. Первый шаг Александра только доказал бы, что в глубине его сердца осталось еще немного привязанности ко мне. Я оценил бы это, и мир был бы тотчас заключен между нами без всяких посредников; он сказал бы мне, как в Тильзите, что его жестоко обманули на мой счет, и все было бы сейчас же забыто!»

Возможно ли, чтобы эти великодушные слова и намерения не нашли себе отклика в сердце Александра?

На письмо, посланное с Яковлевым, тоже не было ответа, и теперь самые воспоминания об этих письмах и о всех излияниях перед людьми без авторитета, без всякого права на такую интимность были тяжелы…

Ему вспомнились прежние сношения с Александром, представилась самая фигура этого молодого энтузиаста, каким он его помнит в Тильзите; там они уверяли друг друга в дружбе, соперничали в предупредительности; Александр охотно подчинился его уму, опытности, гению и громко объявил, что «дружба великого человека есть дар богов!». Что же случилось с тех пор непоправимого, чего нельзя было уладить переговорами, обоюдными уступками? Что заставило начать эту войну, против советов всех лучших людей, против голоса своей общественности, совести и против интересов Франции, по его искреннему убеждению, бывшей не в состоянии вести сразу две такие войны, как испанская и русская.

Напрасно он искал какого-либо серьезного, существенного государственного интереса, из-за которого стоило бы бросить меч на чашку весов — всплывало в памяти лишь две причины: одна

отдаленная, почти зажившая уже рана обиды на неприятие его, Наполеона, тогда, в 89-м году, еще поручика, в русскую службу. Напрасно представлял он начальнику русской Средиземной экспедиции, что, как подполковник национальной гвардии, он имел право просить чин майора в молодой русской армии: ему отказали, — тем хуже для них! Другая — недавняя, свежая — чувство смертельной личной обиды за отказ в сватовстве: ему, Наполеону, отказали в руке Анны и еще вслед за тем, как нарочно, сосватали ее за какого-то немецкого князька!.. Ему, когда он готов был на всевозможные политические и семейные уступки! Когда он прямо объявлял, что даже рознь в религиозном исповедании не составит затруднения! Середины не должно было быть: или немедленное согласие в случае желания породниться с ним, или отказ при нежелании, и он потребовал ответа через 48 часов! Как было поступить иначе? Не представлять же влюбленного, не ухаживать, не вымаливать согласия, как милостыни — это было бы недостойно его и как человека, и как императора Франции, повелителя Запада! Он был только дальновиден в этом требовании немедленного ответа, так как вместо согласия у него выпрашивали четыре раза по десятидневной отсрочке, пока не стало наконец, ясно, что Александр не может или не хочет быть главою в своей семье, пока не начали в обществе шептаться и смеяться… какой срам!

Неужели же, однако, это было прямою и непосредственною причиной войны? Неужели теперешняя бесчеловечная резня была бы избегнута, если бы Анна стала его женою и поселилась в Тюльери?

Неужели он до такой степени позволил самолюбию и гордости овладеть собою?

На вопросы эти совесть его отвечала: да, да!

Будто же не было других обид?.. Нет!

Ужели не было между обеими странами каких-либо непримиримых интересов, неразрешимых недоразумений? Нет! И какие-то несоблюдения каких-то статей трактата, и какие-то английские товары, и самая запальчивая письменная полемика его с Александром были только предлогами…

Но ведь это просто ужасно!..

Шум в дверях церкви заставил его вздрогнуть и очнуться: встревоженный Бертье вошел без доклада, с депешами, рискуя лишний раз навлечь на себя гнев повелителя, под влиянием бедствий в последнее время так часто на него обрушивавшийся; но против ожиданий Наполеон принял начальника штаба ласково: он рад был избавиться от одиночества, от страшного душевного кошмара воспоминаний и угрызений совести.

IX

На большой дороге — отступление, бегство…

С наступлением холодов Наполеон ехал в карете, прекрасно устроенной для дневных и ночных занятий, герметически закупоренной, наполненной мехами. Но от Смоленска он шел больше пешком, одетый в длинную бархатную соболью шубу, с золотыми бранденбургами, в меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги. Он уходил из Красного. Стоял мороз. Свежевыпавший снег несколько прикрыл страшный беспорядок Смоленской дороги, по сторонам которой валялись тысячи повозок, зарядных ящиков, орудий, трупов людей и лошадей.

Главная квартира, вся в шубах, с поднятыми воротниками, тащилась за императором, унылая, молчаливая; улыбка пропала с уст самых рьяных куртизанов.

Наполеон шел несколько впереди других, опираясь на свою березовую палочку, задумчивый, грустный, хотя, видимо, желавший казаться твердым и равнодушным.

Не далее как вчера под Красным он имел случай видеть всю свою армию, так как эти жалкие остатки когда-то первого войска в мире все, в полном составе, протащились мимо него. Видел и ужаснулся! Приближенные слышали, как всю эту ночь он жаловался на то, что состояние его бедных солдат «раздирает ему душу», что «сердце его обливается кровью при виде их»…

Положение начинало делаться критическим: с каждым днем число людей, способных держать оружие, уменьшалось, дух армии падал, и дисциплина фактически пропала. До сих пор, хоть на него и смотрели как на виновника всех бед, однако никто не задумался бы при случае не только оказать ему всякую услугу, почесть и уважение, но и пожертвовать за него жизнью. Теперь солдаты стали открыто роптать вокруг бивуачных огней; не далее как вчера, когда император захотел обогреться около одного из костров, герцог Виченцский[295], посланный выбрать место, заключил по слышанным солдатским речам, что его величеству лучше не останавливаться, чтобы не подвергнуться личному оскорблению.

Наконец, и это последнее свершилось: сегодня какой-то несчастный чиновник военной администрации, которому колесами тяжелой повозки только что отдавило обе ноги, валяясь

в мучениях на снегу, закричал проходившему Наполеону: «Чудовище, ты десять лет уже грызешь нас! Друзья мои, он — бешеный, он — людоед! Берегитесь его, он сожрет всех вас…» Император молча прошел мимо, делая вид, что ничего не видит и не слышит, а бедняга, не обезоруженный этим молчанием, продолжал посылать ему вслед отборную, позорную брань…

На морозе

Нравственные мучения Наполеона были тяжелее физических, и думы, одна безотраднее другой, тревожили воображение днем, во время долгих переходов, и по ночам без сна и покоя. Все прошлое этой несчастной кампании проходило перед ним.

Вспоминалось, как военная молодежь Франции собиралась в русский поход, будто на пикник, на веселую шестимесячную прогулку, полная надежд на успех, на отличия и награды. Говорили знакомым: «Мы на Москву! До скорого свидания!» О серьезных тяжелых трудах, об опасностях не помышляли — ба! где же их нет!

Никогда, может быть, не бывало таких громадных, необыкновенных приготовлений к войне: задолго люди всевозможных профессий — слесаря, кузнецы, плотники, столяры, каменщики, механики, часовых и всевозможных дел мастера — нанимались и законтрактовывались для какого-то неизвестного гигантского предприятия целыми тысячами. Большинство даже не знало, что все это предпринимается против России, которой, напротив, общественное мнение склонно было помогать в войне ее против турок, и все терялись в догадках о том, против кого же все это собирается: перебирали Англию, Пруссию, Турцию, Персию, даже восточную Индию…

Внезапный отъезд Чернышева[296] открыл, правда, кончик завесы, но все-таки ничего верного еще не знали; тем более что приказом по армии запрещены были всякие разговоры и рассуждения о войне.

Армия была, бесспорно, самая великолепная из всех, когда-либо существовавших на свете! Одиннадцать корпусов пехоты, четыре корпуса тяжелой кавалерии и гвардия — все вместе 500 000 человек при 1200 орудий ждало только мановения руки императора…

И все это было еще так недавно! Только вчера он был в Дрездене, где роскошь, великолепие и раболепство делали из него какого-то сказочного азиатского могола, осыпавшего бриллиантами всякого, кто к нему приближался.

Император австрийский почтительно повторял ему, что «он может вполне рассчитывать на Австрию для доставления торжества общему делу». Король прусский униженно уверял «в неизменной своей привязанности к его особе и к судьбе его предприятий».

Король всех этих королей, он был стеснен знаками почтения владетельных особ, толпившихся в его передней, и принужден деликатно дать понять, чтобы они не очень надоедали ему своим поклонением. Все взоры были устремлены на него с удивлением, восхищением, в ожидании великих грядущих событий…

Теперь эти события свершились.

Начало кампании было блистательно: каждый день сказывался каким-нибудь успехом, и всякий офицер, к нему приближавшийся, приносил какую-либо радостную весть. Перед ним живо носилось и тяжелым укором ложилось на совесть сравнение нарядной блестящей молодежи на чудных конях, считавшей счастием служить величайшему из полководцев, безответно вверившей ему свою жизнь и честь, с беглецами без образа человеческого, с понуренными головами, в рубищах, тянущимися теперь по дороге и буквально устилающими ее своими телами! Поистине никогда ни одной кампании не начинал он более удачно!

Правда, опытные и бывалые люди и тогда уже высказывали ему беспокойство из-за быстрого уменьшения состава армии, огромных ежедневных потерь в людях и лошадях. Понятно, что теперь в этом ужасном отступлении все умирает и гибнет, но и тогда на пути, хоть и не беспокоимом неприятелем, но утомительном от жгучего солнца, когда сплошь и рядом приходилось пить вонючую воду луж и кормиться впроголодь сухарями и зерном на корню — голод и болезни уносили массу народа, и полки с полного состава в 2800 человек уменьшились до 1000 и даже 900.

Бывалых людей и его самого смущал также и образцовый порядок, в котором отступала русская армия, всегда прикрытая казаками, не оставлявшая ни одного больного, ни одной повозки, не только что орудий.

Наполеон молчал тогда, но хорошо видел, что в организации его армии и управлении ею сказались разные недочеты — должного порядка не было. Мосты и броды по дорогам скоро портились, но их никто не чинил, и корпуса проходили — где который хотел, так как главный штаб не занимался этими мелочами; никто не указывал ни опасных мест, ни обходных путей, и всякий корпус действовал на свой страх. Всюду отставшие и заблудившиеся солдаты разыскивали свои части; посланные со спешными приказаниями не могли исполнять поручений и толпились на загроможденной дороге среди страшных шума и беспорядка. Солдаты и тогда уже нарушали дисциплину, но успех еще покрывал все. Он вспомнил, как сам не строго отнесся и даже смеялся донесению о том, что один из новоназначенных им подпрефектов близ Вильны был начисто ограблен солдатами и явился на свой пост в одном белье! Да, он знал, что солдаты грабили, мучили и насиловали жителей, которые разбегались от них, но опять-таки успех должен был покрыть это.

На большой дороге — отступление, бегство…

Все-таки великая армия была еще великолепна тогда, и Наполеону хорошо представилась картина первого вступления в ту самую часть России, по которой он теперь отступал: страна хорошая, дорога прямая, широкая, ровная, обсаженная березами, вся залитая блеском оружия проходящих войск.

Как пали его иллюзии при виде Днепра, этой знаменитой древней реки Востока, оказавшейся незначительною и даже не живописною!

Потом битва под Смоленском с 6000 убитых и 12 000 раненых у него, с ужасным пожаром. Вспомнился этот горящий город с улицами, выложенными умирающими!.. Сожжение самими русскими своих жилищ, вместе с их отступлением в полном военном порядке, наводили его и тогда на мысль, что он может подвергнуться в этой стране участи Карла XII. Он замечал, что и в армии уже было беспокойство: мало было обычных шуток и смеха — даже офицеры, видимо нервные, исполняли свои обязанности без увлечения. Он помнил, как в Смоленске долго не решался, мучительно колебался, не сдаваясь на просьбы, мольбы большинства своих опытных советников остановиться — Мюрат упрашивал на коленях, Бертье плакал — не идти дальше, но он не вытерпел: теоретическое решение оставлено и действительность увлекла — он решился идти вперед. Как было сделать иначе? Русская кавалерия напала на Себастиана[297] и разбила его, нельзя было оставить армию под впечатлением этой неудачи…[298]

……

При общем молчаливом движении ясно слышался хруст снега под ногами офицеров свиты и следовавшего за ними конвоя; издали глухо доносился гул движущихся войск. На тихом безветренном воздухе пар поднимался от лошадей, мороз все крепчал, и дума императора делалась все мрачнее и мрачнее.

Представлялась ему большая битва под Москвою со страшною жертвой от 40 000 до 50 000 человек и нерешительным результатом…

Не он ли виновник того, что день этот был только днем величайшей резни, а не величайшей победы? Не его ли болезнь (dysirie), не позволившая сесть на лошадь, заставила его издали смотреть на поле битвы, представлявшее море дыма, с грохотом орудий и ружей, криками «Ура» и «Vive l'Empereur» — не дала довершить битвы?

Наполеон вновь переживал в воображении этот день и мысленно представлял себе, как бы следовало ему провести его: быть здоровым, бодрым, свежим, с утра сесть на коня, объехать, вдохновить войска и лично направить их в обход слабого левого фланга противника; тогда разговор был бы другой! Маршал Ней не был бы так чертовски прав, как теперь, когда, узнавши об отказе дать резерв гвардии, вскричал: «S'il a désapris de faire son affaire, qu'il aille se f… f… a Tuillerie; nous ferons mieux sans lui»[299].

Эти досадные и неотвязные мысли так растревожили императора, что он ускорил шаг и стал нервно отбивать удары своею березовою палочкой…

Ему представилась битва в самом разгаре: маршалы умоляют его о подкреплении, об окончательном ударе, и он решается дать свой последний резерв, он сам сейчас поведет гвардию в бой!.. Тогда будет сломлен остаток сопротивления русских, все еще занимающих позиции, в которые их оттеснили, но уже видимо изнемогающих. Сейчас победоносно завершится кровопролитнейшая из всех известных в истории битв, армия неприятельская будет рассеяна, и Александр волей-неволей запросит мира…

Но маршал Бессиер подходит и шепчет ему на ухо: «Не забывайте, ваше величество, что вы за 800 лье от вашего базиса!»

От волнения при этом воспоминании император внезапно остановился; остановилось и все за ним следовавшее, причем не обошлось без комических столкновений между генералитетом, криков и брани в войсках. Наполеон обернулся и осмотрелся, причем взгляд его невольно пал на маршала Бессиера… Потом он пошел далее — так или иначе дело сделано и день битвы под Москвою вписан в скрижали истории как день кровавейшего, но нерешительного побоища.

Да и то сказать: не был ли прав тогда Бессиер? Если теперь, среди страшных невзгод отступления и холодов еще не все побросало оружие и соблюдается некоторое подобие порядка, если гвардия поддерживает еще несколько дух и дисциплину армии, то не обязаны ли этим тому, что эту гвардию поберегли тогда, сохранили ее офицеров и состав, не дали охладиться ее пылу? Что было бы, если бы эта колонна из нескольких отборных тысяч людей была бы теперь в числе всего нескольких сотен, павших духом, потерявших энергию, деморализованных? Общая погибель была бы несомненна!

Лошади падают тысячами, кавалерия идет пешком, а артиллерия брошена; канавы по сторонам дороги полны людьми и лошадьми. Конечно, Парфянские всадники не были назойливее казаков, а жаркие степи Бактрианы — убийственнее снежных пустынь России; участь же обеих армий, римской и французской, очевидно, одинакова: обе уничтожены![300]

Уже бросили в воду все московские трофеи и большую часть награбленного добра. Ужас царит повсюду, все видят спасение только в бегстве. Генералы и офицеры смешались с денщиками и все одеты в те же рубища, так же обросли бородами, так же грязны, закопчены, покрыты паразитами. Это какая-то шайка воров и разбойников, между которыми ни жизнь, ни имущество не в безопасности: воруют все, что только можно воровать, обирают споткнувшихся и упавших братьев, слабых, больных, умирающих. Дорога представляет сплошное поле битвы, одно непрерывное кладбище; все окрестности разорены и выжжены.

Непостижимо, как мог он так промедлить в Москве! Он виноват во всем, и что Эйлауская кампания[301] обманула его: испытавши дурную, холодную погоду, наполовину грязь и легкие морозы польской зимы, он думал уже, что знаком с настоящей русскою зимой, но ошибся, жестоко ошибся!

Все мрачнее и мрачнее думы Наполеона, все безотраднее кажется ему его положение. Кругом трещит мороз, а Франция, Париж досадно далеки еще…

X

Маршал Даву в Чудовом монастыре

Даву имел главную квартиру в Новодевичьем монастыре, но, приезжая в Кремль, останавливался в Чудовом монастыре, где на

месте выброшенного престола была поставлена походная кровать его. Двое часовых из солдат 1-го корпуса стояли по обеим сторонам царских врат.

Маршал Даву в Чудовом монастыре

XI

«Не замай! — Дай подойти!»

Семен Архипович был старостой в одной из деревень Смоленской губернии, Красненского уезда; деревня эта находилась верстах в 40 от большой Смоленской дороги.

За первый проход к Москве неприятель продовольствовал себя и лошадей тем, что находил на полях и что попадалось в ближних деревнях, так что фуражиры его не заходили очень далеко, и староста Семен, вместе со всеми односельчанами уже переселившийся было в лес, где зарыл свой провиант и имущество, приободрясь, воротился в деревню.

Скоро, однако, неприятельские мародеры небольшими партиями стали заглядывать в избы, требовать хлеба, молока и проч., и тех, кто попадал в их руки, жестоко били и мучили.

У старосты, как и у других крестьян, чесались руки на незваных гостей, но они опасались убивать их, потому что неприятель распускал слух, будто занятые местности Смоленской губернии никогда более не будут принадлежать России, а крестьяне — своим господам. Это настолько поколебало умы в окрестности, что находились охотники помогать неприятелю, отыскивать спрятанные фураж и имущество, а местами толпы крестьян пропускались даже на грабеж помещичьих домов. В народе говорили о том, что по приказу и благословению Московского первосвященного, духовенство уже начало поминать в церквах на обедне вместо царя Александра I императора Наполеона I. Смута настолько вошла в умы, что в некоторых местах французов встречали с хлебом-солью…

Недовольство между крестьянами, бесспорно, было, и Семен Архипович видел, что по мере движения неприятеля в глубь страны дух неповиновения господам и их управляющим все увеличивался, плохо стали слушать и его го́лоса.

Скоро, однако, с разных сторон стали приходить сведения о том, что французы истребляют все, что попадется под руку; останавливаются среди полей, мнут и уничтожают жатву, а над жителями совершают неслыханные злодейства, женщин, которые не успевают бежать, насилуют: по всему пути валяются не только зарезанные крестьяне, но и поруганные девушки, дети! Пошел слух, что церкви обращают в казармы, магазины, конюшни и

бойни, что со святых икон сдирают серебряные оклады и потом выбрасывают их на улицу; колют образа на дрова, а также употребляют их и святые престолы вместо столов и скамеек. Издеваются всячески над святыми сосудами и церковными облачениями: из первых пьют вино, а вторые надевают на себя…

«Не замай! — Дай подойти!»

В достоверности этих известий нельзя было сомневаться, а

потому они вызвали большое озлобление между крестьянами и сразу пресекли попытки наиболее вольнодумных между ними, начавших было толковать о том, что «надо выждать, посмотреть, что будет, что, может, Наполеон и вправду освободит их»… В той же деревне один из крестьян, вырвавшийся из Москвы, откуда он вначале не успел выйти, рассказывал, добравшись до дома, будто в Москве своевольство неприятельских солдат так велико, что его и начальство не может сдержать: пьянствуют, грабят и убивают; в Кремле, в алтаре Архангельского собора будто бы кухня; в Успенском — лошади; наглостей и ругательств, чинимых в церквах, и описать невозможно… будто бы изрубили двух священников в Андроньевском монастыре. У Красных ворот он сам видел мишень, устроенную из образов, для стрельбы в цель. Из Вознесенского монастыря взяли священническую ризу и брачный венец, надели их на ученого медведя и заставили его плясать… Жителей будто бы всячески истязают: так, многие видели князей Волконского, Лопухина, Голицына, не успевших уехать и которых французы заставили таскать на плечах кули, крича на них: «alio, alio!» (allons, allons)!

На пути от Москвы он слышал о том, что народ сам начинает расправляться с небольшими партиями неприятеля; что крестьяне ездят на Бородинское поле сражения, собирают там ружья, сабли и прочее оружие и ими убивают французов, попадающихся в руки, на дорогах, в лесах и по деревням.

Семен Архипович собрал мир, и в присутствии батюшки было решено осведомиться у начальства, не будет ли ответа за убийство супостатов; коли нет — так собраться отрядом и промышлять против врага, сколько бог поможет.

Сомнение их очень скоро было разрешено казацким офицером из партии Фигнера[302], пробиравшимся мимо их деревни с несколькими людьми для разведок под Москву: он осведомил крестьян, что убийство неприятелей не только не будет поставлено в вину, но что еще сочтется в заслугу и даже наградится. В том, что враг будет скоро изгнан, нельзя было и сомневаться, так как Кутузов уже держал его в Москве, как в ловушке…

Быстро составился отряд партизанов-крестьян, и начальство над ними было вверено старосте Семену.

Сначала молодежь пыталась освободиться из-под власти немолодого уже начальника партии под тем предлогом, что он действовал не довольно смело и решительно, но скоро все пришло в порядок, так как эта кажущаяся несмелость и нерешительность оказалась осторожностью. Например, когда неприятеля было много, Семен Архипович не действовал один, а

старался соединиться или с другой партией, или с казаками. Зато когда потребовалась настоящая решимость, староста тотчас проявил ее: в соседней деревне стреляли по передовым неприятельского отряда, который, подойдя, захватил кого мог — старого и малого — и всех расстрелял на церковной паперти. Вот потом, когда ариергард отряда остался ночевать в опустевшей деревне, Семен распорядился обложить избы хворостом и берестою и сжег врагов, приперевши двери снаружи.

С другой стороны, староста Семен не любил чрезмерной жестокости. Рассказывали, что в М… уезде ожесточение против неприятеля достигло такой степени, что изобретались самые мучительные казни: пленных ставили в ряды и по очереди рубили им головы, живых опускали в проруби и колодцы и т. п. Старшина, начальствовавший над партией в соседнем уезде, тоже был до того строг, что все выспрашивал, какою бы еще новою смертью наказывать ему французов, так как все известные роды смерти он уже перепробовал и они казались ему недостаточными, по их злодеяниям. Жестокость эта, впрочем, оправдывалась зверством поступков неприятеля: раз, когда партизаны перебили передовых фуражиров, вступивших в деревню, подошедший отряд разослал погоню и всех схваченных, окунувши в масло, сжег на костре, около которого неприятели грелись. Другой раз враги содрали кожу с живых мужиков только за то, что те оборонялись.

Таких крайностей Семен Архипович не одобрял и без надобности не убивал неприятеля, а отправлял по начальству в уезд. Жалостливый к обезоруженным врагам, староста был неумолим относительно тех малодушных из своих, что пробовали завязать выгодные сношения с французами: некоторые крестьяне, добровольно продавшие неприятелю хлеб, были расстреляны по приговору мира и с утверждения священника.

Партизаны были вооружены не одинаково: имелись флинты начала прошлого столетия и хорошие французские ружья, взятые от убитых и пленных; у многих были тесаки и вся амуниция, отнятая у французов, у других только пики или палки с прибитыми к ним косами.

Нередко с партиею ходил сам старый батюшка, когда в подряснике, а когда, при морозах, в полушубке, и всегда с крестом в руках, что придавало народу смелость и уверенность.

Отставной солдат, находившийся в партии старосты Семена, располагал обыкновенно на возвышенных местах караулы, которые давали знать о приближении неприятеля: ударяли в набат, и крестьяне конные и пешие бросались к сборному пункту.

Между наиболее деятельными и храбрыми партизанами был дьячок, всюду поспевавший верхом на своей шустрой лошаденке;

нельзя было приблизиться ночью к деревне без того, чтобы он не задержал, не допросил и не осмотрел — и это несмотря на то, что дьячок был крив на один глаз; впрочем, на лошади, с французской саблей через плечо и драгунским ружьем наперевес, он смотрел внушительно.

Еще отличался беззаветною храбростью Федька, немолодой уже рыжий мужик, простоватый, лезший во всякую опасность.

Всего-навсего партия старосты Семена, действовавшая в числе нескольких сот человек, отправила на тот свет более 1500 да взяла в плен и сдала начальству около 2000 человек неприятеля.

XII

«С оружием в руках — расстрелять!»

Когда французы пошли из Москвы назад, люди и лошади их так голодали, что неприятельские фуражиры стали заезжать далеко в сторону, часто большими партиями, иногда с пушками.

Семенова деревня стояла почти пустая, и только по праздникам народ, выходя из лесных трущоб, пробирался к ограбленной церкви для богослужения.

Однажды ударили в набат утром, как раз в воскресенье, когда староста со своими выходил от обедни. Едва успел он, крикнувши, чтобы собирались живее, добежать до дому и, схвативши свою старую флинту, выскочить на улицу, как налетели на него конные люди — французские гусары. Старик и сам не помнил, хотел он только выстрелить или вправду выстрелил, как его смяли, стоптали и избили до полусмерти. Очнулся он только, когда стали крутить назад руки его же кушаком — так крепко перетянули, что старые кости затрещали! У одного из вязавших его была кровь на щеке: «Не я ли его так попотчевал? — мелькнуло в уме Семена Архиповича, — ишь как он около меня старается». Француз и вправду был особенно сердит на старика и стянул его, упершись коленом, как лошадь в хомут, злобно ворча: «Attends tu vas voir!» (ну, погоди у меня!)

Ничего не понимал Семен Архипович — очень уж был избит, кости ныли, в голове трещало; как в тумане он видел, что с ним вместе захватили еще 3 крестьян: рыжего Федьку, который так часто отправлял неприятелей на тот свет, Григория Толкачева, что спасся из Москвы, и, должно быть, крепко помятого, потому

что он что-то охал, стонал, да хромого Еремея, бывшего у них кузнецом и слесарем и на весь отряд точившего сабли и пики.

Когда потащили, погнали связанных молодцов, старик шел бойко, исправнее всех; Федька тоже не отставал — где бегом, где вприпрыжку, так что им меньше доставалось ударов палашами. Но хромому Еремею приходилось плохо: он часто спотыкался, падал и так как со связанными руками не мог подыматься, то каждый раз был угощаем пинками, оплеухами, палашами и прикладами. Голова его уже во многих местах была разбита, и он оставлял за собою по снегу следы крови. Еще хуже было Грише Толкачеву: этого крепкого здорового мужчину так отбарабанили еще при поимке, что он шел с помутившимися глазами, шатаясь, словно пьяный. Когда, весь избитый, окровавленный от поощрительных ударов, он стал отставать, французы перекинулись между собою несколькими словами — один из них приложил ему карабин к уху и спустил курок…

Семен Архипович с товарищами и оглянуться не посмел; они только догадались, в чем дело.

«С оружием в руках — расстрелять!»

Должно быть, верст тридцать, коли не все сорок, прошли они и стали подходить к большой Московской дороге, по которой тянулось видимо-невидимо неприятеля, укутанного кто во что попало, и с оружием, и без оружия, и пешего, и конного. Одеты

были и в женские юбки, и в кацавейки, ноги завернуты в тряпье и всякую рвань, лица грязные, закоптелые, опухшие. Пушек, повозок, карет и всякой всячины конца нет, а шум, гам — и не приведи бог! Видит Семен Архипович, что гнавшие их солдаты остановились перед кучкою каких-то людей, чисто одетых, закутанных в меха, должно быть, начальников, стоявших в стороне от дороги, кругом костра: греются и о чем-то разговаривают.

Впереди, широко расставивши ноги, в зеленом бархатном кафтане на соболях стоял невысокого роста толстый человек со звездой на груди, видимо, чем-то недовольный. «Уж не он ли?» — мелькнуло в голове старосты.

Один из солдат, тот самый, что был ранен в щеку, соскочил с лошади, подошел к маленькому человеку и, приложивши руку к козырьку, доложил ему. Тут Семен струхнул, опустил голову, закрыл глаза и стал творить молитву… недоброе предчувствие так сильно охватило его, что выжало слезу, застывшую на щеке…

А Федька, хоть тоже понимавший, что дело идет об их жизни или смерти, не утерпел, пытливо уставился в маленького человека, рассуждая про себя: «Смотри ты какой, на ногте можно пришибить, а какой прыткий, да и сердитый же, братцы вы мои — туча тучей!»

Маленький человек повернул к гусару свое невеселое, усталое лицо и только спросил: «Armes à la main?» (С оружием в руках?). «Все с оружием в руках», — отвечал гусар. «Расстрелять!» — хладнокровно произнес пузатый человечек и стал опять разговаривать с господами в шубах.

Семен Архипович опомнился и поднял голову, когда его встряхнули и заставили подняться с колен. Видит, что все засуетились: толстому человеку подали карету, он сел в нее вместе с другим начальником в русской казацкой бурке с перьями на шапке и поехал; за ним тронулись и остальные, кто в каретах, кто верхом.

«Он самый и есть!» — мелькнуло в мыслях у Семена Архиповича, а Федька даже не утерпел, шепнул товарищам: «Он, братцы, самый он и есть!..»

Как только начальство разъехалось, расправа произошла быстро: к тем же самым деревьям, около которых грелось французское начальство, привязали молодцов и без всяких формальностей приложили каждому по карабину к голове.

Семен Архипович свалился как сноп, а Федька рыжий хрипел и барахтался, так что его пришлось приканчивать…

Одежду с них сняли еще раньше, и суконный праздничный кафтан старосты достался как раз тому гусару, которого он

угостил рубленым свинцом из флинты; полушубки Федьки и Еремея достались двум другим солдатам; тулупы эти были с насекомыми, но такие теплые, что помогли обладателям их дотянуться до самой Березины.

XIII

«В штыки! Ура! Ура!»

Наполеон из Смоленска и князь Кутузов из Щелканова выступили к Красному в один и тот же день, — говорит М. Данилевский[303].

Туда же с неприятельской стороны вышли корпус Жюно[304], гвардейская артиллерия, парки, смешанные кавалеристы и обозы. Слева от дороги шел польский корпус.

Затем французы выступили из Смоленска: сначала вице-король, потом Даву и, наконец, Ней — все в расстоянии одного перехода один от другого.

Нею, к которому перешло командование ариергардом, после того, что Даву был признан слишком методичным и медлительным, велено было выпроводить всех отсталых и больных и сжечь все, чего нельзя было увезти, стены же и башни взорвать, так как Наполеон объявил, что «он не желает быть задержанным этими стенами в следующий поход».

Князь Кутузов писал о направлении главных сил армии Чичагову[305], что он будет по-прежнему держаться с левой стороны Наполеона: «Сим сохраняю я сообщение с хлебородными губерниями, верную коммуникацию с вами, а неприятель, видя меня рядом с собою идущего, не посмеет останавливаться, опасаясь, чтобы я его не обошел».

Милорадовичу[306] приказали идти на Красненскую дорогу и стараться отрезать неприятелю отступление к городу. Ему приказано было, впрочем, не доводить французов до отчаяния, давать им отступать и только беспокоить возможно больше с флангов и тыла.

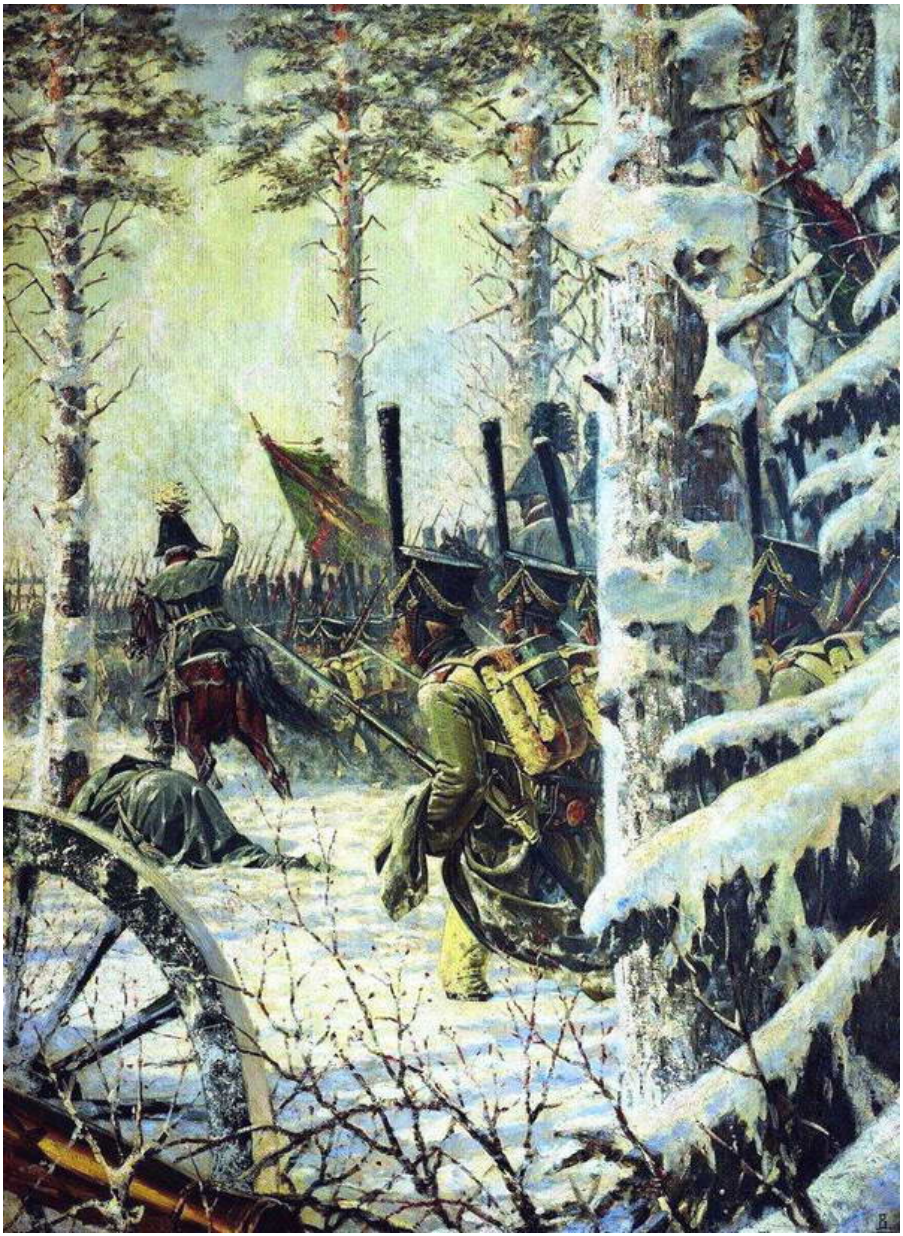
3 ноября в 4 часа пополудни Милорадович приблизился к столбовой дороге и увидел французскую гвардию, ведомую Наполеоном, для которого появление русских было неожиданно, так как он не предполагал возможности быть предупрежденным, думал, что его преследуют только казаки.

Милорадович тоже не знал, какую именно часть

неприятельских войск он имеет перед собой. Он поставил батареи, стрелял, но большого расстройства не произвел и сильного урона не нанес. Только задние части неприятельских колонн пострадали: некоторые взяты с оружием в руках, другие побежали назад к Смоленску, третьи рассыпались по лесам, прилегающим к Днепру. Наполеон с гвардией ушел в Красное.

Старший сын старосты Семена Архиповича служил в одном из гренадерских полков. Старик мог бы избавить своих ребят от рекрутчины, но, не желая отстать от господ, почти поголовно рвавшихся на войну, представил одного из молодцов в солдаты. Другой сын жил в лесу, где вместе с бабами берег вывезенное имущество, в наскоро вырытых землянках, за древесными засеками. Младший парень вместе с отцом ходил на поиски неприятеля.

Сын не знал ничего о беде, стрясшейся над его стариком, хотя слышал, что тот не на шутку воюет не только с отсталыми и мародерами, но и с малочисленными колоннами фуражиров; будучи теперь вблизи от родных мест, он постоянно ожидал встречи если не с самим стариком, то хоть с кем-нибудь из своих.



«В штыки! Ура! Ура!»

Войска мало понимали нерешительность поступков начальства относительно французов. Между солдатами слышно было, что «Сам», т. е. фельдмаршал, приказал не напирать крепко на отступающих и не доводить их до отчаянной обороны. Жаль! — всем хотелось поскорее окончить войну, хоть бы уж потому, что хуже того, что было в этот зимний поход, не могло быть, пожалуй, и на том свете! Войска Милорадовича особенно

терпели и принимали всего — голода, холода и усталости! В то время, как главная армия двигалась сравнительно медленно, с дневками, они решительно не знали отдыха за ежедневными перемещениями: с фуражировок привозилось мало, люди и лошади насилу ходили, и убыль в них была очень велика. Солдаты ночевали на открытом воздухе, жарились и прожигали свои одежды около огней… В голодные дни Милорадович говорил, что «чем меньше хлеба, тем больше славы…».

Надежда перерезать путь неприятельским полкам и захватить их в плен вместе с самим Наполеоном была общая и у офицеров, и у солдат. О том, где именно, при какой части находился император французов, — не было известно и, хотя передовой отряд уже проскочил на глазах у всех в Красное, надеялись перехватить следовавший за ним и с замиранием сердца ждали появления его.

Все утро не показывалось ни одного француза по дороге из Смоленска. Часа в три пополудни казаки донесли, что вице-король тянется густыми колоннами из Ржавки.

Милорадович расположил один пехотный и один кавалерийский корпус поперек дороги, а параллельно с нею поставил Раевского[307], имевшего в это время только одну дивизию Паскевича[308].

Видя себя отрезанным от Красного, вице-король построил корпус в боевой порядок. Его сопровождали толпы безоружных солдат, кавалеристы без лошадей, канониры без орудий. Артиллерия была почти вся брошена и подобрана казаками на реке Вони, так что тут осталось только 17 орудий.

Бой был не равен и продолжался недолго; неприятель был везде опрокинут, и только часть с вице-королем во главе успела пробиться к Красному.

Гренадеры, выйдя из закрывавшего их леса, ружья наперевес, с криком «ура!», насилу вытаскивая ноги из глубокого снега, так стремительно ударили на неприятеля, что большая колонна его положила перед ними оружие; остальные или сдались, или рассеялись и бросились на проселки, чему помогла наступившая темнота.

В общем, впрочем, и в этот раз дело было сделано не вполне, и ждали более жаркого боя к следующему дню, 5 ноября.

В этот день Наполеон, рано до света, выступил из Красного навстречу Даву, двигавшемуся от Смоленска. Французский император был во главе старой гвардии пешком, в своей шубе, подбитой соболем, в собольей шапке и меховых сапогах, с березовою палочкой в руках.

Он шел назад, в сторону России, и на замечание об

опасности, которой подвергал себя с такими ничтожными силами, ввиду всей русской армии, ответил: «Довольно мне разыгрывать императора, пора быть снова генералом!»

Понимая, что Даву нельзя будет присоединиться к нему без больших потерь, пока русские стоят у дороги, Наполеон решился атаковать главную армию, рассчитывая на то, что осторожный Кутузов отзовет тогда Милорадовича к себе и даст 1-му корпусу пройти.

Почти так и случилось: Милорадович волей-неволей пропустил главную часть отряда маршала, соединившегося с Наполеоном, и напал лишь на ариергард, из которого захватил около 7000 человек при 28 орудиях.

Князь Кутузов, проявивший такую осторожность — многие говорили, трусость, — был последователен и верен себе: лично обозревши позицию, занятую неприятелем перед Красным, и уверившись, что сам Наполеон предводительствует на ней — подтвердил ранее данные приказания не доводить неприятеля до отчаянного боя, в котором наши могли бы потерять много народа. Он держался того мнения, что нам надобно провести на границу войско, а не обрывки его и что незачем с большей потерею людей добиваться того, что само собою случится: неприятельская армия все равно сгибнет от холода, голода и всяческих трудностей зимнего похода, а на переходе через реку Березину, под нашими выстрелами, разумеется, принуждена будет положить оружие.

На левом фланге своей роты сын старосты Семена часто ходил в штыки, стоял под сильным огнем и много раз глядел смерти в глаза.

Немало ужасов насмотрелся он около неприятеля: вся окрестность была усеяна человеческими трупами и падалью животных. Везде валялись зарядные ящики, лазаретные повозки, пушки, ружья, пистолеты, барабаны, кирасы, кивера, шомполы, тесаки, сабли, множество московских колясок и дрожек, которые очень нравились французам; валялись лошади с выпущенными внутренностями и с разрезанными животами, в которые враги залезали, чтобы сколько-нибудь согреться. Неприятель кутался от холода в священнические ризы, стихари, женские салопы. Ноги обертывал соломою, на головы надевал капоры, жидовские шапки, рогожи…

Как ни терпели наши солдаты, а все же их положение нельзя было сравнить с состоянием неприятеля; довольно сказать, что французы начинали есть своих товарищей, падавших от голода, поджаривали их у костров…

Главнокомандующий и генералы в приказах рекомендовали солдатам человеколюбие и милосердие. Помимо этого, в самых

сердцах солдат невольно поднималась жалость к жертвам таких небывалых бед, и они часто отпаивали, откармливали и отогревали у своих костров ослабевших, бродивших как тени неприятельских солдат.

Скоро, однако, чувству милосердия Ивана предстало испытание; на снегу, около дороги они нашли расстрелянных троих крестьян, из которых один был уже старый. Ивану достаточно было взглянуть на них, чтобы признать в старике своего отца, а в двух других — односельчан. Они валялись запорошенные снегом, с ранами в груди и на головах. Долго горевать было некогда, так как войска двигались: наскоро вырыли в мерзлой земле могилу и схоронили в ней всех троих. С этих пор Иван стал меньше жалеть врага и на другой день при атаке колонн Нея, когда Милорадович, подскакав к их полку, сказал, указывая на французов: «Ребята! видите их: дарю вам всех!» — бросился с товарищами по глубокому снегу и жестоко отомстил за смерть своего старика.

В. В. Верещагин. 1900 г.

Побывавши после на родине, он рассказал в родной деревне, как нашел «старого» с товарищами, с простреленными грудями и головами, с объеденными собаками конечностями; всем миром была отслужена по убиенным панихида, и флинта покойного старосты вместе с несколькими другими трофеями была

повешена в церковь. Побрезговали ли французы этою флинтою или забыли ее, только по уходе их ее подняли с места свалки, и она долго служила предметом любопытства не только для окрестных крестьян, но и господ начальников, желавших взглянуть на нее, как на живой памятник славных деяний покойного старосты.

О мученической кончине Семена Архипова и его подвигах сложилась даже целая легенда: нашлись видевшие своими глазами, как покойник положил множество народа, прежде чем попался в плен, а внуки уже не стесняясь рассказывали, что старый герой едва успевал «заряжать да палить» — сколько он положил неприятеля, того и не сосчитать!

XIV

Ночной привал великой армии

Морозная зима, быстро со всею силою подвинувшаяся на не подготовленную к ней отступавшую армию, — награбившую массу ценных вещей, но не позаботившуюся о зимней одежде, — показала ей, что в этой стороне она незваная гостья. Злой приказ Наполеона жечь все кругом, имевший целью наказать русских, наказал прежде всего своих: приводившийся в исполнение не ариергардом, как бы следовало, а авангардом, он отнимал у несчастных солдат последнюю возможность хоть изредка отогреться под крышею и заставлял проводить все ночи под открытым небом. Те, которым удавалось развести огонь, по часам сидели вокруг него, наслаждаясь теплотой и не замечая, как загорались их одежды и даже обугливались отмороженные части тела. Некоторые прямо входили в костры и обгорали до смерти. Ужаснее всего были ночи во время ветров и снежных бурь: длинные ряды тесно сжавшихся солдат, укутанных в продырявленные шинели и плащи, также в женские юбки, крестьянские армяки, священнические ризы и кто во что горазд — издавали один общий протяжный стон, не заглушавшийся даже воем ветра. Тут были генералы, офицеры и солдаты — все взывали к далекой родине и кляли Россию с ее морозами, одинаково недружелюбно поминая императоров Наполеона и Александра…

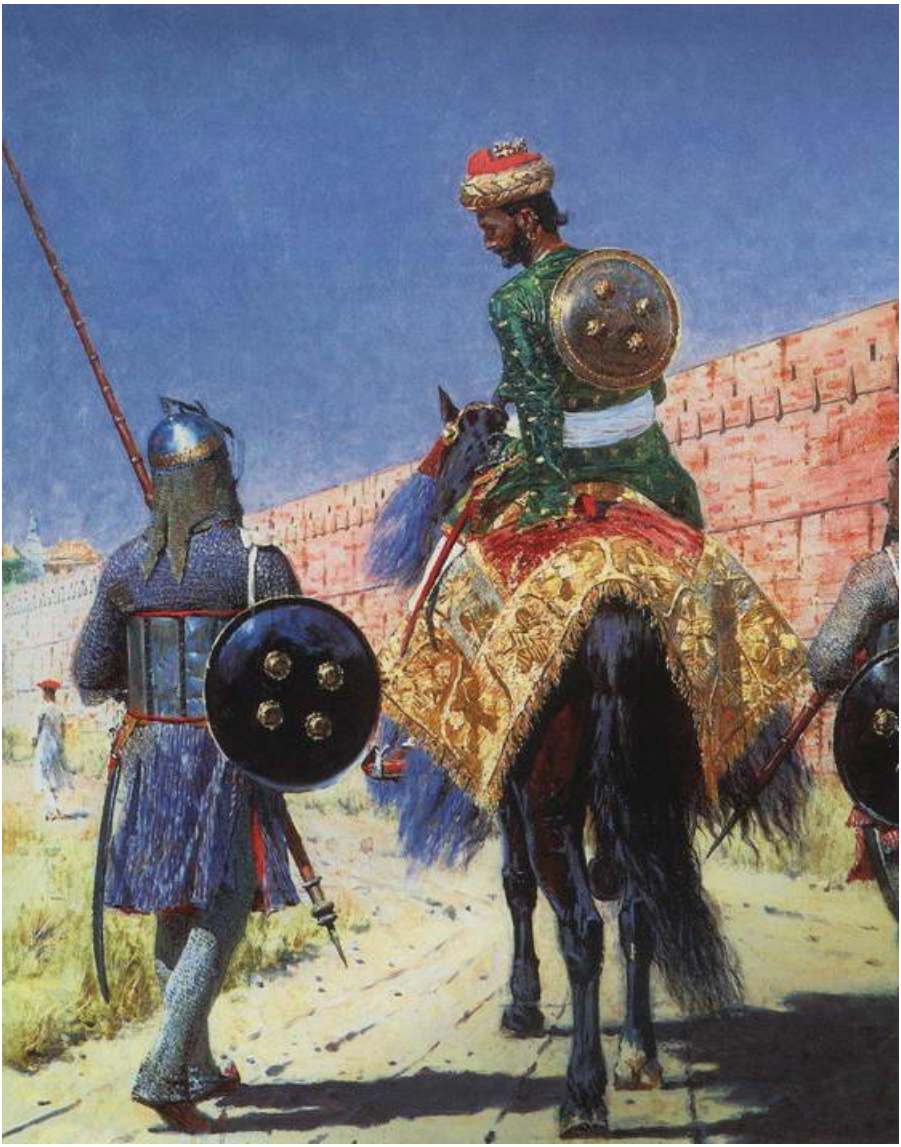
Ночной привал великой армии

Иллюстрации

Свидание заключенного со своей семьей

Аю-Даг

Гелатский монастырь



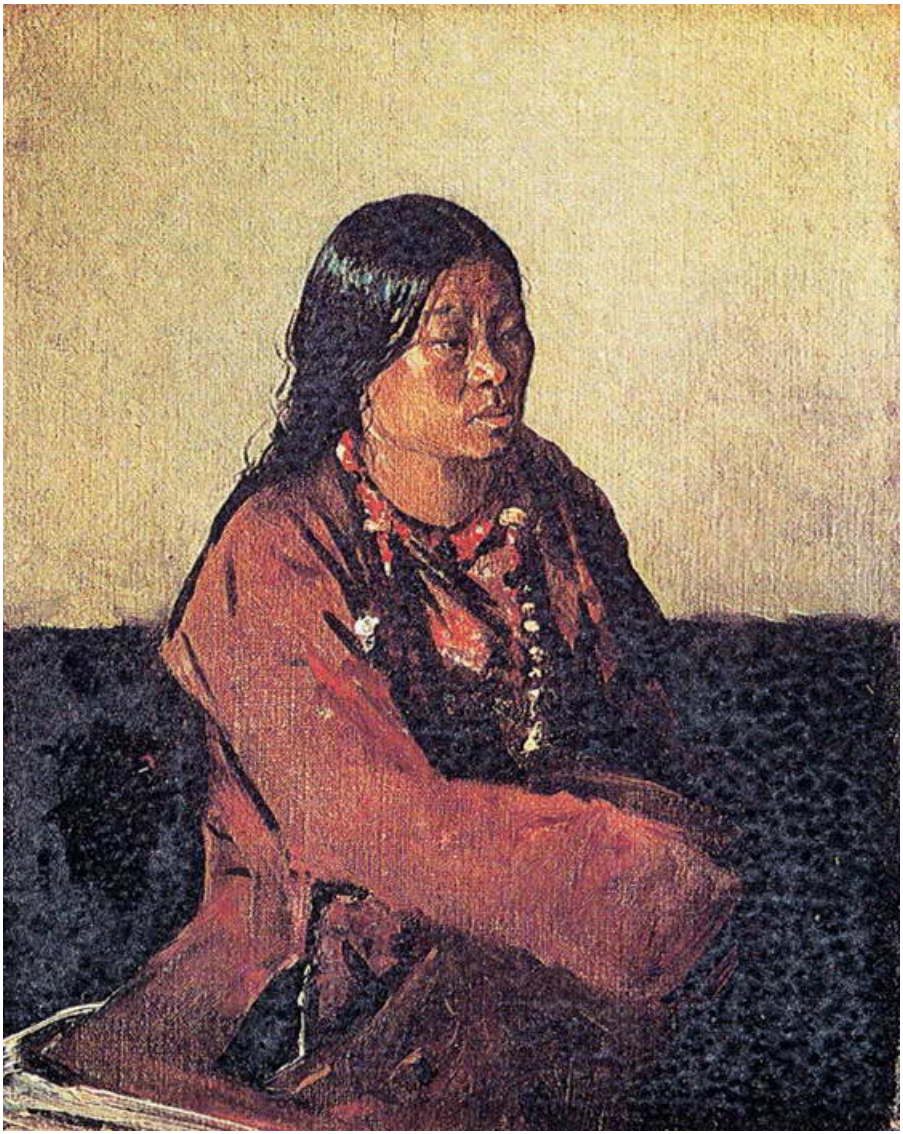
Всадник-воин в Джайпуре

Всадник в Самарканде

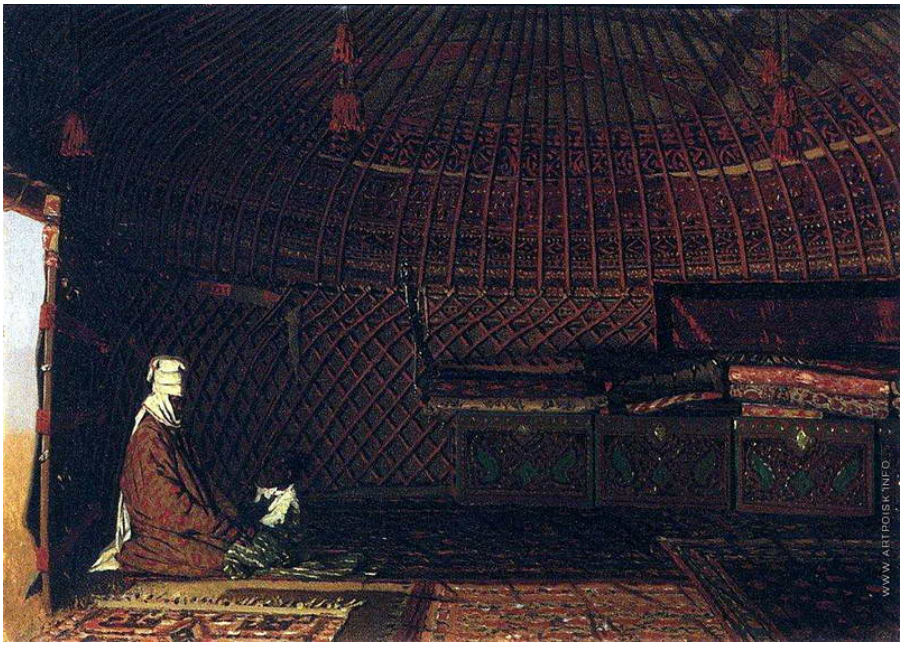
Бухарский солдат (сарбаз)

У дверей Тамерлана

В Туркестане

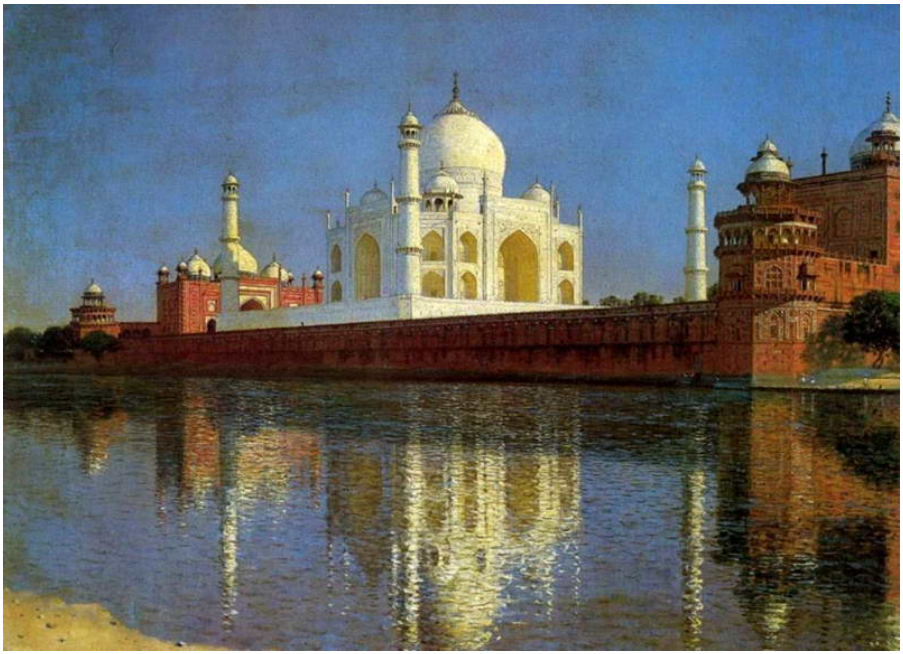


Женщина из Бутана

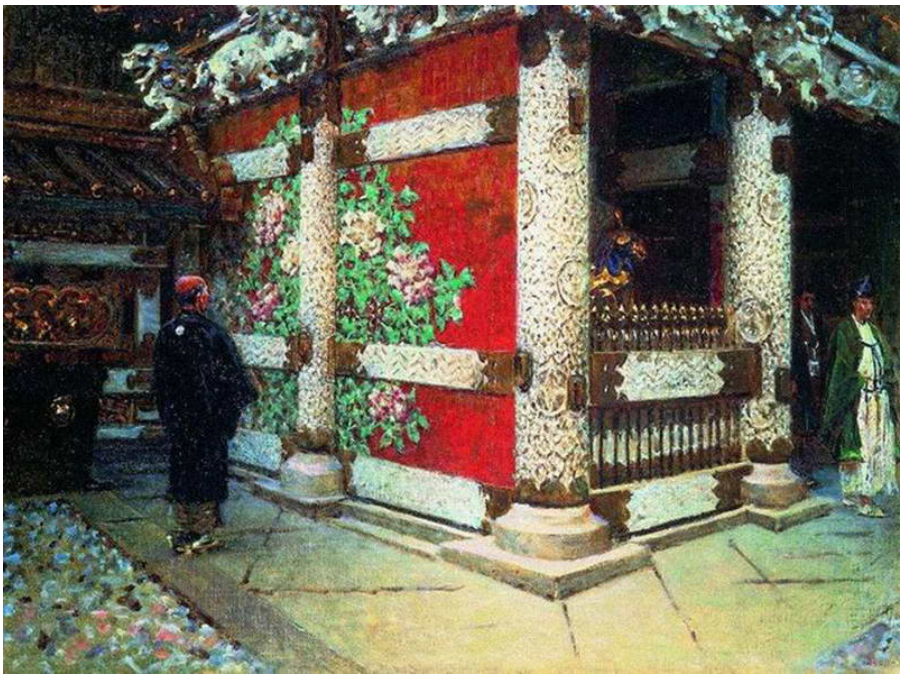


Внутренняя юрта богатого киргиза

Повозка в Дели



Мавзолей Тадж-Махал в Агре



Шинтоистский храм в Никко

Подавление индийского восстания англичанами

Примечания

Литератор

Повесть

Впервые — Русская мысль. 1894. Кн. 1–3. Отдельное издание: Художник В. В. Верещагин. Литератор: Повесть. М., 1894. Тогда же была переведена на немецкий язык и под названием «Der Kriegscorrespondent» вышла без пропусков, имеющихся в русском оригинале. Печатается по отдельному русскому изданию 1894 г.

Федор Викторович Немиров

Мастеровой

Из книги «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей»

Отдельным изданием в качестве приложения к каталогу выставки В. В. Верещагина вышла в 1895 г. Печатается по изд.: *Верещагин В. В.* Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей. М., 1895.

Очерки, наброски, воспоминания

Впервые отдельным изд.: Очерки, наброски, воспоминания. Спб., 1883.

В настоящее издание не включен очерк «По Сибири», поскольку почти весь вошедший в него материал повторяется в «листке 10-м» «Листков из записной книжки» (см. ниже).

Обер-Аммергау

Текст печатается по изд.: Духоборцы и молокане в Закавказье. Шииты в Карабахе. Батчи и опиумоеды в Средней Азии. Обер-Аммергау. В горах Баварии // Рассказы В. В. Верещагина с рисунками. — М., 1900, — С. 81–90.

Реализм

Впервые — Художник. 1891. № 1. Статья выходила также на английском языке как приложение к «Catalogue of the Veretschagin Exhibition» в «American Art Galleries», New-York, 1891.

О прогрессе в искусстве

Статья была напечатана на английском языке в виде приложения к «Catalogue of the Veretschagin Exhibition». — «American Art Galleries», New-York, 1891. Печатается по изд: *Булгаков Ф. И.* В. В. Верещагин и его произведения. Спб., 1905. С. 133–136.

Иван Николаевич Крамской к его характеристике

Впервые — Русская старина. 1889. Т. 61. № 2. С. 631–634.

Наивности

Впервые — Русская старина. 1889. Т. 64. № 12. С. 783–794.

Листки из записной книжки

В конце жизни Верещагин активно публикует в различных

газетах свои очерки и воспоминания под общим названием «Из записной книжки». Наиболее значительные очерки из этой рубрики печатаются в «Русских ведомостях» (1897–1901), в «Новостях и биржевой газете» (1899–1904), в журнале «Искусство и художественная промышленность» (1899–1900). Первые 12 очерков вышли отдельным изданием: Листки из записной книжки художника В. В. Верещагина. М., 1898. 196 с. Впервые они были напечатаны: «Листок 1-й» в кн.: Братская помощь пострадавшим в Турции армянам: Литературно-научный сб. Изд. 1. Т. 2. М., 1897. С. 494–498; остальные: Русские ведомости. 1897. № 355 (24 дек.); 1898. № 24 (24 янв.), № 56 (26 февр.), № 79 (21 марта), № 118 (1 июля), № 131 (14 июля), № 142 (25 июля), № 175 (27 авг.), № 183 (4 сент.), № 201 (22 сент), № 203 (24 сент.), № 238 (29 окт.), № 244 (4 нояб.). Печатаются по тексту отдельного издания.

Из записной книжки

После выхода отдельного издания «Листков из записной книжки» в «Русских ведомостях» было напечатано еще четыре очерка, непосредственно примыкающих к этому циклу. Печатаются по этому тексту: Русские ведомости. 1899. № 271 (1 окт.); 1901. № 185 (7 июля); 1901. № 228 (19 авг.); 1901. № 246 (6 сент.).

Наполеон I в России в картинах В. В. Верещагина

Впервые отдельным изд.: Ф. И. Булгаков. Спб., 1899. 54 с., 16 ил. К этому времени из 20 полотен, составляющих верещагинскую серию картин о войне 1812 года, было закончено 14, и книга представляет беллетризированный исторический комментарий к ним. Сюжетной основой этого комментария стали сами события Отечественной войны, представленные в хронологической последовательности. Понимание В. В. Верещагиным событий войны 1812 г. более полно было изложено в его кн.: 1812. Наполеон I: Приложение к каталогу картин В. В. Верещагина. М., 1895. В предисловии автор писал: «Я не задавался целью писать в строгом смысле „историю“ кратковременных завоеваний великой армии в России. Имея

надобность ознакомиться, для моих картин, с личностью и образом действия Наполеона I в 1812 г., я выписал из свидетельств очевидцев и современников то, что показалось мне наиболее характерным, в уверенности, что эти занятия будут небезынтересными для общества. Прилагаю список авторов, сочинениями которых я более или менее пользовался». Далее следовал список, включавший более 60 имен, около 40 из них — французских авторов. Предпочтение, отданное Верещагиным французским источникам, сказалось и в трактовке некоторых эпизодов войны, и в приводимых им цифрах.

Содержание

«Этот все может!» *В. Кошелев, А. Чернов* … 5

Литератор (*повесть*) … 23

Федор Викторович Немиров. Мастеровой. Из книги «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей» … 107

Очерки, наброски, воспоминания

Из рассказов крестьянина-охотника (Новгородской губ. Череповецкого у.) … 113

Из путешествия по Закавказскому краю … 119

Из путешествия по Средней Азии … 138

Дунай. 1877 … 157

И. С. Тургенев. (1879–1883) … 178

Воспоминания детства. 1848–1849 … 186

Обер-Аммергау … 189

Реализм … 193

О прогрессе в искусстве … 208

Иван Николаевич Крамской. К его характеристике … 212

Наивности … 216

Листки из записной книжки … 224

Из записной книжки … 272

Наполеон I в России в картинах В. В. Верещагина … 297

Примечания … 341

notes

Примечания

1

Подробнее о биографии Верещагина см.: *Лебедев А. К., Солодовников А. В.* В. В. Верещагин: Человек. События. Время. — М., 1988; *Верещагин В. В.* Воспоминания сына художника. — Л., 1978.

2

Здесь и далее автобиография Верещагина цит. по: *Лебедев А., Бурова Г.* В. В. Верещагин и В. В. Стасов. — М., 1953. — С. 228–232.

3

Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова / Под. ред. А. К. Лебедева. — М., 1950. — С. 14.

Репин И. Е. Далекое близкое. — 9-е изд. — Л., 1986. — С. 302.

5

В полном виде эта книга так же, как и некоторые другие, была переведена на иностранные языки: французский, немецкий, английский, датский. К сожалению, русский авторский текст фрагментов, вычеркнутых цензурой, не сохранился.

Нестеров М. В. Давние дни: Воспоминания, очерки, письма. — Уфа, 1986. — С. 401–402.

Стасов В. В. Избр. — Т. 1. — М.; Л., 1950. — С. 153.

8

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 19–20. — М., 1984. — С. 26.

Верещагин В. В. Избр. письма. — М., 1981. — С. 97.

10

Там же. — С. 96.

11

…с врагом на Дунае… — В начале русско-турецкой войны 1877–1878 гг. линия фронта проходила по р. Дунай.

12

…разговаривал не только с животинами, но и оглоблями и постромками… — Реминисценция из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (гл. III).

13

…*смягчение нравов эмансипациею*… т. е. отменой крепостного права.

14

…*наволока*… — пойменный луг, низменный берег.

15

Осман Нури-паша (1832–1900) — турецкий маршал, во время войны 1877–1878 гг. командовал войсками в Плевне.

16

…генерал Скобелев — Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882), генерал от инфантерии, участник Хивинского похода (1873), подавления Кокандского восстания (1873–1876), Ахал-текинской экспедиции (1880–1881). Командовал отрядом под Плевной, дивизией в сражении под Шипкой — Шейново. Близкий знакомый В. В. Верещагина.

17

Генерал Гурко — Иосиф Владимирович Гурко (1828–1901), во время войны 1877–1878 гг. во главе передового отряда совершил поход в Забалканье, командовал отрядом гвардии под Плевной, с 1894 г, — генерал-фельдмаршал.

18

…девушке в девятнадцать лет и эта шапка приставала — перефраз пушкинской строки из «Руслана и Людмилы» («А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет».)

19

Крымская кампания — война 1853–1856 гг., закончившаяся поражением России и Парижским миром 1856 г.

20

Здесь: после всего (*фр.*).

21

…новый штурм плевненских укреплений… — Плевна штурмовалась четырежды. Третий штурм проходил 30 августа 1877 г., в день именин Александра II.

22

…пажеский корпус… — закрытое военное учебное заведение для детей дворянской аристократии, основанное в 1795 г.

23

…кроки местности… — чертеж участка местности, отражающий важнейшие ее элементы, выполненный при глазомерной съемке.

24

…*Старик Скобелев*… — генерал Дмитрий Иванович Скобелев, отец М. Д. Скобелева.

25

…поручик Грин… — военный агент США, сообщивший Александру II о неудаче третьего штурма Плевны.

26

…картины, достойные кисти Сальватора Розы. — Сальватор Роза (1615–1673), знаменитый итальянский живописец.

27

…тело его оставалось на поле битвы. — В этом эпизоде отразилась гибель брата В. В. Верещагина — Сергея.

28

…генерал Глотов… — имеется в виду генерал А. Д. Зотов, об этом случае рассказывается в «Наивностях» (см. с. 218).

кислая капуста (*фр.*).

отсутствующий всегда виноват (*фр.*).

31

У Сергея… ранено бедро… куски белья… — Описание раны героя соответствует характеру ранения, полученного самим В. В. Верещагиным на Шипке. Об этом рассказывается в «Очерках, набросках, воспоминаниях» (см. с. 176).

32

Морфин сделался… потребностью… — также автобиографический момент, связанный с тяжело протекавшим выздоровлением Верещагина после ранения.

33

«Шестая великая держава», газета Times… — ежедневная английская газета «Таймс» — «Времена», основанная в 1785 г. в Лондоне.

компаньонка (фр.).

35

…случай по поводу… путешествия по Персидской границе — происшествие, случившееся с самим В. В. Верещагиным.

36

…старик Тургенев… успокаивал его… — автобиографический момент: случай, подобный описываемому, произошел с самим Верещагиным, пытавшимся опубликовать свой первый рассказ в одном из журналов.

волей-неволей (*лат.*).

38

Ищите женщину (*фр.*).

Здесь: хорошего состояния, богатства (*фр.*).

40

…*сдача Плевны*… — Плевна была сдана 28 ноября 1877 г.

41

Дорога, по которой шли пленные… одно сплошное кладбище. — Ужасная картина, которую наблюдал В. В. Верещагин, надолго захватила его сознание (см. «Реализм»), отражена в полотне «Дорога военнопленных (Дорога в Плевну)» (1878–1879).

42

…накануне Шейновского боя… — 27–28 декабря 1877 г. русские войска под командованием Ф. Ф. Раевского, М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк-Мирского окружили корпус турецкого генерала Вессель-паши, который вынужден был сдаться.

43

Адрианополь — город в Турции, современное название Эдирне.

…*масленая неделя*… — неделя до великого поста.

45

…на Иосифе Прекрасном, когда он к Пентефриевой жене в спальню приходит… — Популярный библейский сюжет, связанный с младшим сыном Иакова и Рахили, проданным в рабство своими братьями. Жена начальника телохранителей фараона, Потифара, которому был продан Иосиф, влюбляется в него и пытается соблазнить. Целомудренный Иосиф вынужден бежать, оставив одежду в руках жены Потифара, оклеветан ею и оказался в тюрьме.

46

Тюрин Платон Семеныч (1822–1882) — вологодский художник, академик живописи императорской Академии Художеств.

47

…*Аракчеевское село Грузино*… — Село Грузино, резиденция Аракчеева, подаренное ему Павлом I в 1787 г., находилось в Новгородской губернии.

48

…большой Спасов день… — Спасовы дни отмечались по ст. ст. 1 августа (происхождение честных древ креста), 6 августа (преображенье Господне), 16 августа (нерукотворного образа).

Фунт — $^1/_{40}$ пуда, около 0,4 кг.

Язвица — барсук.

Векша — белка.

52

Петровки — пост перед петровым днем, праздником, отмечавшимся по ст. ст. 26 июня.

…зимний Егорий… — по ст. ст. 26 ноября.

…добрый человек… — лесовой.

55

«Отче», «Верую» — православные молитвы («Молитва Господня» и «Символ веры»).

56

Херувимская песня — песнопение, начинающееся словами «Иже херувимы».

57

Мусульмане-шииты — представители одного из двух основных направлений в исламе, признающие законными преемниками пророка Мухаммеда 12 имамов — прямых потомков пророка (от брака Али и дочери Мухаммеда Фатимы).

Здесь и далее примечания и пояснения автора.

59

Суниты — представители другого направления ислама. Наряду с Кораном признают сунну, священные предания, состоящие из хадисов. В отличие от шиитов при решении вопроса о высшей мусульманской власти (имаме-халифе) опираются на согласие всей общины.

Из опасения слишком удлинить статью опускаю поэтические и небезынтересные подробности этого события.

61

Духоборцы (духоборы) — секта «духовных христиан», возникшая во второй половине XVIII века. Отрицает православные обряды, таинства, священников и монашество.

62

Анания, Азария, Мисаил — еврейские юноши, соратники пророка Даниила, доставленные в Вавилон по повелению Навуходоносора после занятия им Иерусалима. Их жизнь и подвиги описаны в «Книге пророка Даниила», входящей в Библию.

63

Исаия — ветхозаветный пророк. В «Книге пророка Исаии» предсказано явление Мессии.

…Авраам, Исай, Иаков-то… — Авраам — избранник бога Яхве, один из патриархов, родоначальник евреев и арабов. Исай, т. е. Исаак, — сын Авраама и Сарры, Иаков — сын Исаака.

Видимого крещения, так же как и прочих таинств, у духоборцев нет. Вообще, вероучение их лишено всяких обрядностей — чем они отличаются от сектаторов других толков.

Тут, кстати, замечу, что многое из вымазываемого здесь противоречит разговорным речам духоборцев.

Вероятно, *непохожие на картины.*

Молокане — одна из сект «духовных христиан», возникшая, как и духоборцы, во второй половине XVIII в. Ритуал богослужения во многом отличен от ритуала духоборцев.

Субботники — «жидовствующие», одна из сект «духовных христиан», близкая к молоканам, признают еженедельным религиозным праздником субботу (как и иудеи — отсюда второе название).

Скопцы — религиозная секта, возникшая в конце XVIII в.; отделившись от хлыстов, проповедовала борьбу с плотью через оскопление мужчин и женщин. Современные скопцы заменили оскопление физическое оскоплением «духовным».

Теперь эти цены выше.

69

Прыгуны — одна из сект молокан, заимствовавшая ряд элементов богослужения у хлыстов, отмечает иудейские праздники.

Пророк — вождь или *чтец слова божия*, главный блюститель «божиего стада». Общество прыгунов целой деревни имеет обыкновенно одного только пророка. За пророком следует пресвитер, или наставник; у пресвитера, как сказано выше, есть помощники — кандидаты на это место после смерти самого наставника.

знак красоты (*фр.*).

72

Дунай. 1877. — Верещагин хлопотал о причислении к главному штабу русских войск на Балканах с 1876 г. В 1877 г. он отправился на Дунай, по которому в это время проходила линия фронта. На берегу Дуная в г. Журжеве находилась дивизия Д. И. Скобелева.

73

…молодой генерал Скобелев — М. Д. Скобелев.

74

«Я знал в Туркестане Скобелева». — Верещагин участвовал в Туркестанской кампании, где и познакомился с М. Д. Скобелевым.

Драбанты — телохранители, вожатые, назначались во время сражений для охраны командующих частями войск.

Драгомиров М. И. (1830–1905) — генерал от инфантерии, в 1877–1878 гг. командовал дивизией.

77

Монитор — бронированный боевой корабль, предназначавшийся для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника в прибрежных районах, на реках.

78

…Младший брат мой, поступивший из отставки на службу во Владикавказский полк… — Александр Васильевич Верещагин (1850–1909) в 1877–1878 гг. возвращается на службу и становится ординарцем Скобелева.

79

И. С. Тургенев (1879–1883) — отрывок из этой части воспоминаний Верещагина помещен в комментарии к воспоминаниям А. А. Мещерского «Предсмертные часы И. С. Тургенева» // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 507–508.

80

…критика Антоновича на «Отцов и детей»… — Статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», опубликованная в «Современнике», в которой роман «Отцы и дети» объявляется клеветой на современную молодежь.

81

…«Новь» мне очень не понравилась… — Поздний роман Тургенева «Новь» написан в 1876 г., опубликован в 1877 г.

«Западня» (*фр.*).

83

…*«Assomoir», «Nana» Золя*… — романы французского писателя Эмиля Золя (1840–1902) «Западня» (d'Assomoir) (1877) и «Нана» (1880), вошедшие в серию «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи», состоявшую из 20 романов и выходившую с 1871 по 1893 г.

вообще, отвлеченно, умозрительно (*лат.*).

85

…*художник Боголюбов*… — Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), художник-маринист.

86

Maison Laffitte — местечко под Парижем, где были оборудованы две мастерские В. В. Верещагина.

87

Онегин… — псевдоним Александра Федоровича Отто (1845–1925), знаменитого собирателя архивных материалов о А. С. Пушкине за границей.

88

…известный немецкий критик Питч… — Людвиг Питч (1824–1911), немецкий литератор и художник, поклонник Тургенева, пропагандист его творчества, близкий друг П. Виардо.

89

«Клара Милич» — одна из «таинственных» повестей И. С. Тургенева, опубликованная в 1883 г.

90

«Стихотворения в прозе» — при жизни Тургенева публиковалась только часть «Стихотворений в прозе». Впервые — в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1882 г.

91

Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) — врач, писатель, общественный деятель.

92

Топоров Александр Васильевич — близкий приятель Тургенева.

93

…тут была забота о дочери… — все свое движимое и недвижимое имущество Тургенев завещал Полине Виардо.

…*г-жа Арнольд*… — гувернантка в доме Виардо.

Эмиль Ожье (1820–1889) — французский драматург.

очень известный драматический автор (*фр.*).

«Валленштейн» — трагедия Ф. Шиллера (1800).

98

…*кн. Мещерский* Александр Александрович (1844–?) — приятель Тургенева, друг семьи Герцена, оставил воспоминания о предсмертных часах Тургенева.

Здесь: что он сказал? (*фр.*).

100

…*Доктор Бруардель* Поль-Камилл Ипполит (1837–?) — французский медик, директор лаборатории при парижском морге.

101

Воспоминания детства 1848–1849 относятся ко времени, когда семья Верещагиных жила в имении в деревне Пертовка, на берегу р. Шексны под г. Череповцом.

Прелестно! Мило! (*нем.*).

103

Свершилось, исполнилось! (*нем.*).

великолепно! (*нем.*).

105

…из Парижа во время последней выставки моих картин в этом городе… — В период с 1869 г. Верещагин организовал за границей 30 персональных выставок. В данном случае, вероятно, имеется в виду Парижская выставка 1879 г. — первая персональная выставка русского художника в этом городе. В организации получившей огромный успех выставки принимал активное участие И. С. Тургенев.

106

…я видел, как император Александр II… — имеется в виду картина Верещагина «Под Плевной» (1878–1879).

107

…удивительный …Фридрих Германский — возможно, Фридрих Вильгельм IV (1795–1861), царствовал с 1840 г., был известен как меценат, привлекший в Германию деятелей культуры и искусства, после 1848 г. введший свободу печати. Но, возможно, имеется в виду Фридрих III — император германский и король прусский (1831–1888), находившийся на престоле с 9 марта 1888 г. до кончины 15 июня того же года, был известен современникам как гуманный и свободомыслящий человек.

108

Я изобразил перевязку (…) раненых… — картина «После атаки (Перевязочный пункт под Плевной)» (1881).

109

Я видел (…) замерзали и умирали по дороге… — картина «Дорога военнопленных (Дорога в Плевну)» (1878–1879).

110

Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд… — картина «Побежденные. Панихида» (1877–1879).

111

Один весьма известный прусский генерал… — имеется в виду прусский военный атташе в Петербурге генерал Вердер.

112

…картины с религиозным содержанием… — «Святое семейство» (1884–1885), «Распятие на кресте у римлян» (1887).

113

…мое понимание факта поклонения волхвов… — картина не была написана.

114

…изображение современной казни у другого народа… — «Казнь заговорщиков в России» (1884–1885).

сладостное безделье (*ит.*).

116

…пьесу Сарду… — В. Сарду (1831–1908) — французский драматург, автор произведений разных жанров от водевилей до драмы.

117

Аттик — архитектурная деталь, представляющая собой стенку над венчающим архитектурное сооружение карнизом.

118

Крамской И. Н. (1837–1887) — выдающийся русский художник, педагог, теоретик искусства, идейный вождь Товарищества передвижных художественных выставок.

119

…его доморощенную философию… — Крамской, выходец из семьи мелкого чиновника, не получил систематического образования. До поступления в 1857 г. в Академию художеств он окончил уездное училище, работал писцом, подмастерьем у иконописца, ретушером у странствующего художника.

120

…нужны холодные души… — холодный душ применялся как средство лечения душевной болезни, меланхолии.

121

«Неутешное горе» — одна из лучших картин в русской живописи 80-х гг. XIX в., закончена Крамским в 1884 г.; замысел картины был связан со смертью сына художника.

122

«Христос в пустыне» — во многом под воздействием А. Иванова Крамской обращается к теме Христа. Первые эскизы к картине были сделаны в начале 60-х гг., художник пытался также вылепить голову Христа из глины. Завершено полотно в 1872 г. В 1871 г. Крамской действительно ездил в Крым, в окрестности Бахчисарая, чтобы получить представление о палестинской пустыне…

123

«Русалки» — известная картина Крамского «Майская ночь» («Русалки») была написана на мотивы одноименной повести Н. В. Гоголя в 1871 г.

124

…большого полотна, над которым Крамской трудился 15 лет… — возможно, имеется в виду картина «Хохот», которую художник писал в последние годы жизни, начиная с 1874 г.

125

…в 1874 г., по открытии моей Туркестанской выставки… — Выставка туркестанских картин Верещагина открылась в Петербурге 7(19) марта 1874 г., на ней было представлено свыше 120 картин и этюдов маслом и столько же рисунков из походных альбомов художника.

126

…Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно… — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840).

127

…*Геок-Тепе* — местечко в Ахал-Текинском уезде. Здесь находилась туркменская крепость, взятая в 1881 г. М. Д. Скобелевым. Взятие крепости Геок-Тепе привело к овладению всем Ахал-Текинским оазисом и к завершению военной экспедиции.

128

…*Н. А. Северцев*… — Николай Александрович Северцев (1827–1885), русский зоолог, географ, путешественник. В 1857–1859 гг. исследовал Среднюю Азию, создал первые комплексно-географические характеристики ее природы.

129

…генерал Кауфман… — Константин Петрович Кауфман (1818–1882), с 1867 г. туркестанский генерал-губернатор, руководил завоеванием Средней Азии. В. В. Верещагин находился в Туркестане под его началом. Отношения между Кауфманом и Верещагиным несколько испортились после того, как во время выставки «туркестанских» работ в Петербурге генерал публично потребовал от Верещагина признания в том, что сюжет картины «Забытый» он взял не из жизни, поскольку ни один русский солдат не был брошен на поле боя незахороненным. Верещагин после этого уничтожил картину.

130

…генерал П. Д. Зотов… — Этот эпизод включен и в повесть «Литератор», где генерал выведен под фамилией Глотов.

гурманы (*фр.*).

говорун, болтун (*um.* parlatore).

133

…*тушины Закавказья*… — этнографическая группа грузин.

134

…таранчи… — так называемые земледельцы, выселенные Китаем в XVIII в. в Илийскую долину для развития сельского хозяйства, после 1884 г. вместе с Кульджинским краем возвращены Китаю, часть их переселилась в тогдашнюю Семиреченскую область.

135

В Закавказском крае чуть не всякий, имеющий сотню баранов, — князь.

136

Мне случилось уже писать о реализме… — имеется в виду статья «Реализм».

137

…возьму несколько примеров… — Для «примеров» приводятся картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1830–1833), А. А. Иванова «Явление Христа народу» (1837–1857), И. Н. Крамского «Христос в пустыне» (1872), серия картин Ж.-Л. Мейсонье, В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» (1895).

138

…при Седане… — Сражение у Седана произошло 1 сентября 1870 г.

139

Кортец (Кортес) Фернандо (1485–1547) — завоеватель Мексики.

140

…в картине столько битюма… — битюм — коричневая смолистая краска, употребляемая в масляной живописи.

141

Кстати о Вене… — В Вене Верещагин организовал несколько персональных выставок; здесь имеется в виду последняя венская выставка 1896 г.

142

…собор св. Стефана… — готический собор в Вене, заложенный в 1144 г.; сравнивая его со знаменитым Кельнским собором и предлагая его «достроить», Верещагин имеет в виду «достройку» Кельнского собора (залож. в 1248 г.), осуществленную в 1842–1880 гг.

судебный исполнитель (*фр.*).

144

Александр Дюма-сын (1824–1895) — французский романист, драматург и публицист.

145

«Женщины, которые убивают, и женщины, которые голосуют» (*фр.*).

146

Эмиль Жирарден (1806–1881) — либеральный журналист.

147

Реньо Александр Георг (1843–1871) — французский живописец, погибший при защите Парижа.

Фортуни Мариано (1838–1874) — испанский живописец и график.

148

Мейсонье Жан-Луи Эрнест (1815–1891) — знаменитый французский живописец, прославившийся картинами малого размера, с яркой характеристикой персонажей; рисовал также батальные полотна из эпохи Наполеона I.

149

…в перебранке с Золя… — имеются в виду полемические выступления А. Дюма против теоретических работ Эмиля Золя «Наши драматурги» и «Натурализм в театре» (1881).

никогда! (*фр.*).

151

Его путешествие по России… — В 1858 г. А. Дюма-отец совершил путешествие по России, описанное им в серии книг: «Из Парижа в Астрахань» (1858), «Кавказ» (1859), «Впечатления от поездки в Россию» (1859); книги изобилуют фактическими неточностями, но проникнуты симпатией к России.

бахвальство (*фр.*).

153

Эдисон Томас Алва (1847–1931) — американский изобретатель и предприниматель, организатор первой промышленной исследовательской лаборатории, основанной в 1872 г. в Менло-парке, под Нью-Йорком.

154

Бугро (Бугеро) Вильям Адольф (1825–1906) — французский живописец, работавший в историческом и мифологическом жанрах, представитель условно-сентиментального направления в живописи.

журнал (*англ.*).

156

Шерман Уильям Текумсе (1820–1891) — американский генерал; во время Гражданской войны командовал армией северян.

нижний (первый) этаж (*фр.*).

158

Директор бостонского журнала *Друг Юношества* заплатил мне за статью в 3000 слов 250 долларов, т. е. 500 руб. Правда, что это цена, которую он платит немногим, например, Гладстону, Спенсеру[309], королеве румынской… На мой вопрос, почему же и мне — любезно ответили: «Потому что вы тоже король».

159

Агра — главный город округа в северо-западных провинциях британской Индии.

Парсисы (парсы) — религиозная община зороастрийцев в Западной Индии; потомки выходцев из Ирана.

с душком (*фр.*).

с небом нужно договориться (*фр.*).

большой редут (*фр.*).

Толь Карл Федорович, граф (1777–1842) — генерал-лейтенант, начальник штаба русской армии.

165

Бенигсен (Беннигсен) Леонтий Леонтьевич, граф (1745–1826) — генерал от кавалерии.

Багговут Карл Федорович (1761–1812) — генерал-лейтенант.

167

Дизурия (расстройство мочеиспускания) (*фр.*).

168

…под Бородиным было… — по современным данным, численность русской армии, участвовавшей в Бородинском сражении, составляла 132 тыс. чел. при 624 орудиях; французской армии — 135 тыс. чел. при 587 орудиях; потери французов — 58 тыс. чел., русских — 44 тыс. чел.

Это неверно, у французов убито и ранено 43 генерала.

Наши потери были огромны! (*фр.*).

171

Всего на Бородинских полях зарыто свыше 56 000 трупов людей и с лишком 32 000 лошадей.

172

Лихачев Петр Гаврилович (1758–1812) — генерал-майор.

173

…женский монастырь, построенный вдовою генерала Тучкова… — имеется в виду Тучков 4-й Александр Алексеевич (1777–1812); его вдова на месте гибели мужа соорудила на Бородинском поле в 1820 г. первый памятник — церковь Спаса Нерукотворного, ставшую основой Спасо-Бородинского монастыря.

174

…*«Числом поболее, ценою подешевле»*… — цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. 1, явл. 7).

175

Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итальянский психиатр, основатель антропологического направления в криминалистике.

176

Захарьин Григорий Анатольевич (1829–1897) — выдающийся терапевт, основатель московской клинической школы.

искусная повариха (*фр.*).

178

Выходите, сударь, мне нужно все мое помещение (*фр.*).

179

…спасшихся от дунганского восстания… — восстания дунган 1862–1877 гг., одной из группы народности хуэй (Северо-Западный Китай) против национального гнета китайско-маньчжурских феодалов и династии Цин.

180

Кульджа (Инин) — город на Северо-Западе Китая на реке Или.

181

Алагез (Арагац) — самая высокая гора Закавказского нагорья, потухший вулкан.

182

Балтимор — город на востоке США.

183

…суп из ласточкиных гнезд… — имеются в виду гнезда птиц рода саланган (похожих на ласточек), состоящие в основном из выделений слюнных желез; в Юго-Восточной Азии употребляются в пищу как деликатес.

Гумбольдт Александр (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

Лайель (Лайелл) Чарльз (1797–1875) — английский естествоиспытатель и геолог.

Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) — английский естествоиспытатель; его теория происхождения видов была создана по наблюдениям, собранным во время кругосветного плавания на корабле «Бигль».

Уоллес Альфред Рассел (1823–1913) — английский естествоиспытатель, один из основоположников зоогеографии.

185

…старые заремонтные лошади… — в коннице ремонтом именовалась заготовка лошадей и пополнение ими полков в случае нужды.

186

Сибирская железная дорога… — рельсовый путь через всю Сибирь (от Челябинска до Владивостока), начатый строительством в 1891 г.

Сарты — оседлая с древних времен часть узбеков.

наоборот (*лат.*).

189

Уставы Сперанского… — реформатор начала XIX в. Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) был в 1819–1821 гг. генерал-губернатором Сибири, для которой составил новое законоположение.

Дандевиль Михаил Викторович (1829–1910) — генерал.

художественно-литературный кружок (*фр.*).

это увидено, это наблюдено (*фр.*).

193

…увидевши вашего «Скобелева»… — имеется в виду картина Верещагина «Шипка-Шейново (Скобелев под Шипкой)» (1883–1888).

194

…картина, видимо, была написана… по Тьеру… — имеется в виду 20-томное сочинение французского политического деятеля и историка Л. А. Тьера (1797–1877) «История Консульства и Империи» (1845–1862).

этот подлый господин (*фр.*).

проспект Вийе (*фр.*).

197

Это вам будет стоить 20 000 франков (*фр.*).

Это будет стоить то, чего стоит (*фр.*).

примите мои комплименты (*фр.*).

мы, парижане, другие (*фр.*).

201

Детайль Жан Батист (1848–1910) — французский живописец-баталист.

отрывок, фрагмент (*фр.*).

вымученный (*фр.*).

«Консулат и Империя» (*фр.*).

Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк.

206

Менцель Адольф фон (1815–1905) — немецкий живописец и график.

207

Горшельт Теодор (1829–1871) — немецкий живописец-баталист, приятель Верещагина.

«Королевский указ» (*фр.*).

209

Если это и не так… (*um.*).

свой миллион для себя (*фр.*).

211

Я чувствую, что мне это идет (*фр.*).

212

Жиро Себастиан Шарль (1819–1892) — французский живописец.

вокзал Сен-Лазар (*фр.*).

Мезон Лаффит (выставочный зал) (*фр.*).

он проводит свое время в том, что не узнает своих друзей и делает из них врагов (*фр.*).

зал ожидания (*фр.*).

217

Коцебу Александр Евстафьевич (1815–1889) — русский живописец-баталист.

218

…на Кавказе при князе Барятинском… — Т. Горшельт участвовал волонтером в кавказской войне 1858–1863 гг., которой посвящена серия его картин, в частности полотно «Пленение Шамиля князем Барятинским».

219

…один из сыновей Коцебу, убитого студентом Зандтом… — имеется в виду Август-Фридрих-Фердинанд Коцебу (1761–1819), немецкий драматург и романист, состоявший на русской службе в Остзейском крае, затем в Германии; убит как русский шпион в Мангейме студентом богословия К. Л. Зандом; его сыновья прославились как путешественники, писатели, художники.

220

Людвиг I, Карл Август (1786–1868) — баварский король (с 1825 г.), покровительствовал искусству; после революции 1848 г. отрекся от престола в пользу своего сына *Максимилиана II* Иосифа (1811–1864).

Робер (роббер) — круг игры в вист, состоящий из трех партий.

222

Ласса (Лхаса) — столица Тибета, резиденция далай-ламы и китайского губернатора.

223

Перед началом экспедиции Пржевальского… — здесь имеется в виду третье путешествие Н. М. Пржевальского (1879–1880), когда он, не достигнув Лхасы, должен был возвратиться вследствие враждебного настроения населения.

224

Остен-Сакен Федор Романович (1832–1910) — русский государственный деятель и путешественник.

Ладак — провинция Кашмира.

Сикким — небольшое индо-британское вассальное государство на границе Тибета.

Томлонга (Тамлонг) — столица Сиккима.

227

Полиандрия — многомужество, пережиточная форма группового брака, при которой женщина имеет несколько мужей, приходящихся друг другу братьями.

228

Знаменитый английский ученый Гукер… — имеется в виду Джозеф Долтон Гукер (1817–1911), известный ботаник, совершивший большое количество путешествий.

229

Леман Юрий Яковлевич (1834–1901) — художник-портретист, член комитета «Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже».

230

Гун Карл Федорович (1830–1877) — профессор исторической и портретной живописи.

231

…светописного заведения Лежена… (бывшего Левицкого)… — имеется в виду фотографическое ателье в Париже, основанное знаменитым русским фотографом-художником Сергеем Львовичем Левицким (1819–1898).

232

Императрица Евгения — Евгения Монтихо (1826–1920), рожд. графиня Тиба, жена императора Франции Наполеона III (была императрицей в 1853–1870 гг.).

ни много ни мало! (*фр.*).

отпечаток (*фр.*).

прекрасная Франция (*фр.*).

236

…*певицы г-жи В.*… — имеется в виду Полина Виардо-Гарсиа (1821–1910).

237

…гениальной и захватывающей игры Рубинштейна… — Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894) гастролировал в Париже с Русским музыкальным обществом в январе-феврале 1864 г.

этими дамами (*фр.*).

239

Нарышкин Василий Львович (1841–1906) — секретарь русского посольства в Париже в 60–70-х гг. XIX в.

240

Генрик Сенкевич (1846–1916) — польский писатель.

241

…При известии о смерти литератора Мачтета… — Григорий Александрович Мачтет (1852–1901) — русский писатель-народник.

242

«Чтоб одного возвеличить, борьба…» — цитата из стихотворения Некрасова «В больнице» (1855).

243

…до Кит-Китычей, не жалеющих тысяч, но требующих «учтивства»… — имеется в виду персонаж пьес Островского «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни» Тит Титыч Брусков.

244

Интересно недавно открытое письмо Пушкина… — имеется в виду письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г., в котором он отказывается от авторства «Гавриилиады».

Для примера довольно сказать, что все картины представляют Наполеона на снежных равнинах России при 25 градусах мороза в сером пальто или короткой шубке нараспашку, в треугольной шляпе и тонких сапогах, когда в действительности он преисправно кутался в длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги.

246

…прошение поручика Бонапарта… — Здесь и далее Верещагин склонен преувеличивать роль личных мотивов в действиях Наполеона; сведения о намерении будущего императора вступить на русскую службу почерпнуты из малодостоверных мемуаров Федора Васильевича Ростопчина (1763–1826), генерала от инфантерии, бывшего в 1812 г. военным губернатором в Москве.

Интересно, что Заборовский не мог себе простить впоследствии этого отказа. В 1812 году, проживая на покое в Москве, почтенный генерал горько каялся в том, что отказал Бонапарту и тем косвенно был причиною обрушившихся на Россию бед и опустошений. Император Александр в свой приезд в Москву для коронации много расспрашивал генерала об этом происшествии.

Граф Ростопчин утверждает, что имел в руках самый документ отвергнутой просьбы.

248

Еще за время Тильзита… — Унизительный для России Тильзитский мир был подписан 7 июля (н. ст.) 1807 г.

249

…поспешили выдать за герцога Ольденбургского… — имеется в виду Петр-Фридрих-Георг Ольденбургский (1784–1812), принц из Голштейн-Готторпской династии.

250

…к великой княжне Анне Павловне… — имеется в виду младшая дочь Павла I и Марии Федоровны (1759–1828) Анна Павловна (1795–1865), с 1816 г. жена принца Вильгельма, впоследствии короля Нидерландов Вильгельма II.

251

…русский канцлер Румянцев… — Николай Петрович Румянцев (1754–1826), граф, в 1812 г. был министром иностранных дел России.

252

В Витебске Наполеон… — французская армия вступила в Витебск 16 июля 1812 г.

253

…идти только до Смоленска… — В Смоленске наполеоновские войска были с 6 по 12 августа 1812 г.

254

…говорит он Лористону… — Жак Александр Бернар Лористон (1768–1828), французский генерал и дипломат, с мая 1811 по июнь 1812 г. — посол в Петербурге.

255

…поступки, о которых «свежо предание», но которым «верится с трудом» — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 2).

256

…долго рассматривал… с колокольни Колочского монастыря — подробнее см. об этом в «Листках из записной книжки» (Листок 6-й).

При этом он посетил и самый монастырь, где застал монахов за трапезой, попробовал и хвалил их щи. Уезжая, он оставил на колокольне собственноручную надпись в две строки, подписанную его именем. Надпись эту монахи замазали потом известкой.

257

…вице-король Евгений… — Евгений Богарне (1781–1824), французский генерал, вице-король Италии, в 1812 г. командир корпуса.

Понятовский Иосиф Антон (1763–1813) — командующий польским корпусом в армии Наполеона.

Ней Мишель (1769–1815) — маршал Франции, командующий корпусом.

Даву Людовик Никола (1770–1823) — маршал Франции, командир корпуса.

профессиональная ревность (*фр.*).

260

…заставить Тучкова отвести войска крайнего фланга на 2 версты назад — Николай Алексеевич Тучков (1761–1812), генерал-лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса русской армии; погиб при Бородине.

Так как через Неман перешло 400 000, то невольно является вопрос: что же сталось с остальными 220–230 000, которых недоставало? Также непонятно, откуда явилась 130 000-ная русская армия, которую, судя по бюллетеням, тысячами истребляли без перерыва в продолжение двух с половиной месяцев!

Интересно, что когда после этого первого успеха Наполеон, не видя пленных, спросил: «Что это значит?» — ему ответили: «Не сдаются, ваше величество, лезут на смерть!»

Да здравствует император! (*фр.*).

Зарыто до 32 000 трупов лошадей.

265

Очевидец, генерал-интендант французской армии, генерал Дюма[310] говорит: «Nos pertes frent immenses» («Наши потери были громадны!» — *фр.*).

266

…говорит очевидец… — Здесь и ниже Верещагин цитирует, переводя с французского и немецкого, воспоминания участников похода наполеоновской армии: Ф. Сегюра («Бородинское сражение и занятие Москвы французами»), А. Лежена («Гибель великой армии»), П. Лабома («Отчет о кампании в России»), Ф. Фецензака («Записки») и мн. др. Некоторые из них уже после издания книг Верещагина вышли в русском переводе; см.: Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. М., 1912.

267

Бертье Луи Александр (1753–1815) — маршал Франции, начальник главного штаба «великой армии» Наполеона.

268

Сегюр Филипп Поль (1780–1873) — французский генерал, состоявший в 1812 г. в свите Наполеона.

269

Мюрат Иоахим (1767–1815) — маршал Франции, король Неаполитанский, командовал кавалерией.

дурак! (*фр.*).

для этого случая (*фр.*).

Гильемино Арман Шарль (1774–1840) — граф, французский генерал и дипломат.

Согласно многим свидетельствам, в этом соборе была конюшня гвардейской кавалерии.

274

Знаменитое серебряное паникадило, пожертвованное боярином Морозовым в царствование царя Алексея Михайловича.

275

Шаховской Иван Леонтьевич (1776–1860) — князь, генерал-лейтенант.

276

Рака св. митрополита Филиппа… — погребение основателя Успенского собора, митрополита Московского и всея Руси Филиппа (ум. 1473).

277

Петр — митрополит всея Руси, сделавший местом пребывания Москву (ум. 1326).

…*св. Иона*… — митрополит Московский (ум. 1461).

279

Гермоген — патриарх Всероссийский (1606–1612), прославившийся мужеством и стойкостью во время «польского разорения».

Князь Шаховской приводит догадку, что это ожесточение против памяти великого патриота народного движения 1612 года указывает на хозяйничанье поляков.

В этом озере было утоплено столько драгоценностей, похищенных в Москве, что интересно знать, были ли деланы своевременно поиски в местах, прилегающих к большой дороге? Никаких сведений об этом не удалось найти.

281

Мортье Эдуард Адольф (1768–1835) — герцог Тревизский, маршал Франции; был назначен губернатором захваченной Москвы; под его началом находилась «молодая гвардия» Наполеона.

282

…немцы Рейнского союза… — союз государств Западной Германии (Бавария, Вюртемберг, Баден, Дармштадт, Вестфалия и др.), образованный в 1806 г. Наполеоном и находящийся под его протекторатом.

283

Французская дивизия заняла Малоярославец… — арьергард корпуса Евгения Богарне вошел в Малоярославец 11(23) октября 1812 г.

Бессиер Жан-Батист (1768–1813) — маршал Франции, командующий императорской гвардией.

285

Лобо Форж Мутон (1770–1838) — граф, маршал Франции.

286

См.: 1812 год (Пожар Москвы, — Казаки, — Великая армия. — Наполеон I). Москва. 1895 г.

287

Pann Жан (1772–1821) — французский дивизионный генерал.

288

Коленкур Арман Огюстен Луи (1773–1827) — французский генерал и дипломат, бывший в 1807–1811 гг. послом в Петербурге.

289

Дарю Пьер Антуан Бруно (1767–1829) — граф, наполеоновский генерал-интендант, впоследствии историк и писатель.

290

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.

291

Маллэ (Мале) Клод Франсуа (1754–1812) — французский генерал, составивший заговор против Наполеона; расстрелян в Париже.

Нарбон (Нарбонн) Луи де (1755–1813) — граф, французский дипломат, адъютант Наполеона.

293

Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837) — генерал-адъютант, присланный Александром I для переговоров с Наполеоном.

294

…попытку возложить мирную миссию на Яковлева… — имеется в виду Иван Алексеевич Яковлев (1767–1846), отец А. И. Герцена; см.: Былое и думы. Ч. I. Гл. I.

295

…*герцог Вичентский*… — А.-О.-Л. Коленкур.

296

Внезапный отъезд Чернышева… — Александр Иванович Чернышев (1786–1857) был в 1811–1812 гг. флигель-адъютантом Александра I, исполнял дипломатические поручения.

297

Себастиан (Себастиани) Орас (1772–1851) — граф, маршал Франции.

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.

299

Если он разучился делать свои дела, то пусть идет с… в Тюльери; мы обойдемся и без него (*фр.*).

300

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.

301

…*Эйлауская кампания*… — имеется в виду военная кампания в Пруссии и прусской Польше (декабрь 1806 — июнь 1807 гг.), одним из главных сражений которой была битва у города Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля (н. ст.) 1807 г.

302

…казацким офицером из партии Фигнера… — Александр Самойлович Фигнер (1787–1813), полковник, организатор и командир одного из первых партизанских отрядов.

303

Данилевский Михаил Петрович — русский историк, автор популярных книг «Герои Отечественной войны».

304

Жюно Андош (1771–1813) — маршал Франции, командир Вестфальского корпуса.

Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) — адмирал, командующий Дунайской армией.

306

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) — генерал от инфантерии; при отступлении наполеоновской армии командовал авангардом русских войск.

307

Раевский Николай Николаевич (1771–1829) — генерал от кавалерии, командовал VII корпусом.

Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — генерал-лейтенант.

309

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 60–90-е гг. (с перерывами), выдающийся оратор и публицист.

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ, автор «Системы синтетической философии», один из родоначальников позитивизма.

310

…генерал Дюма… — граф Матвей Дюма (1753–1837), участник наполеоновских войн, впоследствии военный историк.